Владимир Тендряков

Владимир Тендряков

4

М о с к в а
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Владимир Тендряков

Собрание сочинений в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Владимир Тендряков

Собрание сочинений

ТОМ
4

Повести

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

92
Т 33

Т $\frac{70302\text{-}224}{028(01)\text{-}80}$ подписное 4702010200

Повести

Кончина

Дом отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа,— в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна.

Хозяин, который строил этот дом, по-мужицки считал — красиво то, что вечно. Ему самому вечность была не суждена. Сейчас он умирал в этом доме.

Умирал Лыков Евлампий Никитич, знаменитый человек по области, председатель колхоза «Власть труда».

Он был не так уж и стар — на шестьдесят третьем.

Вылезая из машины у скотного на Доровищах, он рухнул на талый мартовский снежок — перекосило рот, тихо мычал, непослушное веко затянуло левый глаз.

Шофер Леха Шаблов провез его по тряской дороге шесть километров, на руках внес в дом. Спешно вызванный главврач районной больницы объявил: «Не транспортабелен».

На следующее утро на лугу за рекой приземлился самолет — из областного города прилетел профессор. Он каких-нибудь полчаса пробыл у постели больного да еще полчаса беседовал с районным начальством — улетел обратно.

И тут-то разнеслась весть — умирает.

Со всех концов большого колхоза — из самого села Пожары, из Доровищ, из Петраковской — потянулись доброхоты под окна лыковского дома. Каждому ясно — жди перемен.

Стояли кучкой у крыльца, смотрели издали, беседовали, внутрь не совались. За дверью днюет и ночует верный Леха Шаблов, у Лехи рука тяжелая...

Волоча из последних сил подшитые валенки, опираясь на деревянную клюку, с хрипотой и клекотом дыша, пришел старик — потертый треух упал на глаза, полушубок гнет к земле, мотня штанов висит у колен. Он приступом взял крыльцо, ступенька за ступенькой, попробовал открыть запертую дверь, не сумел и обессиленно сел, сразу же впал в дремоту.

В кучке толкущихся доброхотов он вызвал острый интерес:

— Это чтой за моща? Не Альки ли Студенкиной свекор?

— Он и есть! Лет пять не вылезал за порог.

— Эй, дедко Матвей! Ты ль это?

Дед разлепил веки, повел хрящеватым носом:

— Ай?

— Он самый! Что тебя с печки стряхнуло, Жеребый?

— Пийко-то... А?.. Сказывают: помирает.

Кто-то не выдержал, подпустил:

— Не в компанию ль пришел напрашиваться?

— Пийко-то... А? Я вот жив.

И все острословы вспомнили — «вечный председатель» при смерти, какие тут шуточки,— разглядывали старика недоброжелательно, ввел в грех.

А тот сидел: из-под облезлого треуха — крючковатый нос, на сизом кончике мутная капля, деревянная клюка поставлена между большими валенками, на клюке отдыхают руки — крупные окаменевшие мослы вдеты в слишком просторную, морщинисто-жесткую кожу. Сидит старый Матвей, глаз не видно из-под шапки — может, спит, может, думает...

Заставив потесниться людей, подкатил «газик». Проворно выскочил из него заместитель Лыкова — Валерий Николаевич Чистых, долговязый, без углов человек — покатые плечи, маленькая голова, болтающиеся бескостные руки. Он почтительно принял костыли, помог вылезть наружу неуклюжему, грузному человеку. И пока тот утверждался на костылях, Чистых суетливо крутился

в своем длинном, узком — что плечи, что талия — пальто, гибкий, как лоза под ветром.

У грузного гостя под мерлушковой шапкой старчески отечное, восковое лицо домоседа. Ноги, обутые в белые чесанки, не повиновались. Налегая на костыли, привычно выкидывая белые чесанки, брезгливо касаясь ими несвежего, затоптанного снега, гость направился к крыльцу и остановился...

На крыльце сидел старик Матвей — дремал или думал,— загораживал путь.

И Чистых налетел, словно хорек на ворону:

— Ты что тут расселся?.. Эй, как тебя?! Слышишь, марш отсюда!

Старик очнулся, запрокинул голову, взглянул на белый свет из-под треуха и стал с натугой подыматься.

— Давай, давай, шевелись! Торчат тут всякие... Осторожненько, Иван Иванович. Скользко тут, не оступитесь... Ах ты господи! Да не путайся ты, старик, под ногами!

Приехал главный бухгалтер колхоза, соратник Евлампия Лыкова и вторая фигура после знаменитого председателя на селе.

Дверь, до сих пор непроницаемо захлопнутая, распахнулась. На пороге вырос Леха Шаблов — шевелюра выше косяка, красные, лопатами лапищи на весу, в них услужливая готовность: «Только разрешите, внесу на ручках». И внес бы в одной охапке толстого бухгалтера с костылями и длинного, тощего Чистых.

Но Иван Иванович, усердно сопя, сам одолел последнюю ступеньку.

У крыльца, опираясь дрожащими руками на клюку, стоял дед Матвей — в серой свалявшейся шерстке провал беззубого рта, из-под шапки потухший взгляд в широкую, пухлую спину, воюющую с костылями.

Иван Иванович перевел дух у дверей, оглянулся назад, на нелегкий для него путь в десяток шагов и пять ступенек, встретился с потухшим взглядом из-под облезлого треуха.

— Эге! Да это же он,— удивился бухгалтер.

— Торчат тут всякие...

— Старый ворон на запах мертвечины...

Деду Матвею, должно быть, стало неловко под взглядами начальства, взиравшего с крыльца да и стоять не

под силу, и сесть снова на ступеньку уже не смел, потому, вяло поправив шапку, повернулся и побрел, с натугой волоча тяжелые валенки, налегая на клюку.

Иван Иванович, расслабленно повиснув на костылях, глядел вслед старику — горбом топорщащийся потертый кожушок, мотня штанов, нависающая над коленками.

Чистых и дюжий Леха Шаблов недоуменно переглядывались друг с другом — чтой это с Иваном Ивановичем, эк, диковинку узрел?..

Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. Для Чистых, для Шаблова, почти для всех в селе Пожары первый и единственный пророк — Лыков Евлампий, тот, кто сейчас лежит за стеной. Но самым-то первым колхозным пророком был не Лыков, а дед Матвей. Это помнили немногие. Помнил бухгалтер Иван Слегов.

МАТВЕЙ СТУДЕНКИН — РОДОНАЧАЛЬНИК

Привычно для России: шел солдат с фронта... Шел неспешно и споро, куличьим шагом.

Наверно, он был последний в округе солдат с войны — как-никак стояла осень 1925-го! Все остальные или давно вернулись, или сложили кости в чужих краях. Добирался издалека, с берегов Тихого океана. Сейчас последние шаги — хилые ели да голые березки, и впереди поворот, а там покажутся знакомые крыши... Дома давно устала ждать жена — помнил, как звать, да забыл, как выглядит,— и еще сынишка, родившийся в тот год, когда ушел воевать.

Сзади послышался звон бубенцов. Оглянулся, пришлось посторониться — на рысях шла серая пара. Лошади что близнецы, шеи дугой, крупы в яблоках — лебеди, а не кони! — сбруя с кистями и медными бляхами, спицы и ступицы легкой ковровки крашены ясным суриком. Прошли мимо, обдало конским потным теплом, сверху на помятого, отощавшего за долгий путь солдата глянули серые глаза с румяного лица. И вдруг руки натянули вожжи, осадили коней:

— Тпр-ру-у!.. Эй! Никак, Матвей Студенкин?..

Матвей подошел куличьим шагом, отставил в сторону ногу в тугой обмотке, сощурился, как прицелился:

— Не ошибся... А вот ты из каких-таких бар? Что-то не припомню.

— Ивана Слегова помнишь?
— Ваньку-то... Считай, соседи.
— Так я сын его, тоже Иван.
— В гимназиях который?..
— Вот-вот. Садись, подвезу.
А в пролетке сидит молодая бабенка, черные брови из-под цветастой шали, расфуфырена и одеколоном пахнет.
— Женка, что ли?
— Ее тоже знать должен — Антипа Рыжова дочь... Подвинься, Марусь, дай сесть человеку.
— Н-да-а...— Оглядел с откровенной недобротой обоих, но влез, не смущаясь, что может помять городскую юбку у бабы, удобно устроился.
— Что поздно?
— Дела держали, очищал землю от контры.
— Как — очистил?
— Там, где был,— без меня доскребут. В Охотске генерала Пепеляева застукали. Из генералов-то последний... Сюда бы пораньше, да болел вот шибко в дороге, по лазаретам валялся. Долгая дорога получилась — два года ехал. Теперь — все, приплыл.
— Чем займешься?
— Тем же самым, буду контру стричь.
— Генералов в наших краях не водится.
— Зато вижу: мелкой сволочи наплодилось.
Иван Слегов-младший усмехнулся, поднялся, крутанул над лошадиными крупами вожжами:
— И-эх! Серы кролики! Над-дай!.. Еще одного судью в село везем!
И когда кони наддали, Иван снова обернулся, оскалив крепкие зубы:
— Судей теперь у нас много, вот хлеборобов настоящих крутая недостача.
Прогнал по селу, не дал даже учуять святой момент, когда заносишь ногу в родные Палестины, осадил перед крепким домом с белыми наличниками, на задах которого громоздилось еще новое, не обдутое ветрами строение — конюшня не конюшня, коровник не коровник,— сказал:
— Слезай, ваша честь... Тут я живу. В гости особо не зову, уж извини. Что поп, что судья — гость скушный, любят проповеди.
— Обожди, может, приду гостем,— пообещал на прощание Матвей.

Дал повисеть на себе жене — баба она и есть баба, пусть на радостях слезу пустит.

Через ее плечо увидел: возле лавки стоит он — длинная грязная рубаха, короткие холщовые порточки, сизые босые ноги, похож на маленького старичка, отощавшего от долгих постов.

Отстранил жену, шагнул тяжело навстречу. Из-под нестриженных косм — замирающий от робости взгляд. И через прозрачные с нерасплесканной детской тревогой глаза словно бы сам увидел себя со стороны — грязен, мят, устрашающе щетинист, от такого отца шарахнешься в сторону. Но сынишка только всем телом вздрогнул, когда отец положил на его плечи руки.

— Сенька-а...

Сквозь рубаху — легкая связь тонких косточек, хрупкая плоть.

— Сенька-а... Сы-ын...

Знал, что ему должно исполниться скоро десять, знал, что не люлечный, но как-то не представлял — человек уже, со своим страданием, и не шуточным, считайся. Запершило в горле, глаза зажгло едкой слезой, но плакать, видать, разучился.

Тут бы подарок вынуть, но где уж — после Красноярска и вещевой мешок загнал, налегке ехал, питался по бумажке, выбивал харч у несердобольного начальства. Вздохнул, опустил плечи:

— Ты того...

Хотел сказать, что не тужи о подарке, я тебе, парень, жизнь новую привез, да постеснялся — поймет ли?..

Жена ахала:

— Ну-тка, как снег на голову. В доме-то одна квашеная капуста. Хоть щей бы сварила.

И верно, дом большой, отцовский, со старой копотью по бревнам — в нем голо и пусто, только на божнице старорежимные (тоже под густой копотью) иконы, которые надо будет, не откладывая надолго, снять и выбросить. На холодном шестке голодная кошка лазает по порожним корчажкам. И вид у жены под стать — высока, широка в кости, доброго мужика из нее можно выкроить, но эта широкая, как у старого, с запалом мерина, кость слишком наглядно выпирает из-под ветхой до прозрачности кофтенки, и плоское лицо в нездоровую зелень. Ясно, обстановочка не мелкобуржуазная.

— Сойдет,— успокоил он жену,— не жиреть приехал. Капуста так капуста — тащи и сама садись, буду задавать наводящие вопросы.

Жена собрала на стол, как приказано, села напротив — в глазах счастливо слезливый блеск, даже румянец прокрался на увядшие щеки. Сын в сторонке, смотрит диковато и завороженно, привыкает к незнакомому отцу. А тот ел хлеб, который покалывал нёбо мякиной, выуживал из миски капусту с запашком, косил глазом на сына, разузнавал об Иване Слегове.

— Он ведь чудно разбогател,— докладывала жена.— Он лошадь на поросенка сменял, с того и пошла у него прибыль...

— Как это — лошадь на поросенка? — Матвей многое повидал, удивляться разучился, а тут удивился. Даже ему, оторвавшемуся от села, была известна немудреная мужицкая заповедь: ценней лошади только твоя жизнь и не всегда-то жены,— при доброй лошади новую жену найдешь.

— Уж народ-то смеялся, уж все-то тогда потешались... Ну-ко, хряка молоденького выменял. И поди ж ты, не прогадал. Сказывают, книги такие есть... А сам знаешь, Ванька Слегов к книгам сызмала привык. Отец потакал, со старухой на картошке да на квасе сидел, а сынка единственного в гимназию сунул. Сказывают, по книгам Ванька и дошел, что ежели разыскать какого-то там англицкого хряка да свести с нашей свиньей, то приплод получится на отличку.

— Англицкий, не наш?.. Так-то, поди, мировая буржуазия и подсовывает нам свинью — хочет заново расплодить богатеев в пролетарской стране.

— Уж, право, не знаю, кто там... Но у Ваньки ловко получилось: за два года стадо набрал, а свиньи-то — что тебе чувалы, вот-вот лопнут, кажная брюхом землю гладит. Все-то на продажу везли, кто рожь, кто овес, а Ванюха — мясо. За мясо-то погуще платят, так что быстро перьями оброс: свинарник сколотил, хоть сам живи, а коней каких купил...

— Коней его видел. Агент империализма этот ваш Ванька.

— А ведь смеялись-то как люди. То-то смешки...

— Им бы плакать надо — буржуй под боком, как поганый гриб, растет.

— Ты на него зря серчаешь, он ничего, обходительный и в помощи не откажет.

— В молодости-то и волк молочко пьет.

За дверями раздались шаркающие шаги и стук тяжелой палки.

Жена Матвея встрепенулась:

— Ох, господи! Афанас Саввич идет! А что ему подать, не капусты же жменю...

Дверь распахнулась, на пороге вырос плоский, как сама дверь, старик с холщовой сумой на плече и сквозной апостольской бородой, рассыпанной по груди. Переложив из правой руки в левую суковатую палку, он степенно перекрестился в угол на еще не снятые иконы, суровым голосом потребовал:

— На пропитание, Христа ради.

Матвей проворно вскочил, выставив обтянутую обмоткой ногу, тонкую, как голень болотной птицы, сощурил глаз. В степенном старике с нищенской сумой он признал Афанасия Тулупова, самого наибогатого мужика не только по селу, но и в округе. Когда Матвей уходил в армию, Тулупов имел больше ста десятин земли, маслобойку, мельницу, широко торговал кожами. В сапогах из тулуповской кожи люди топтали дороги к Вятке, к Вологде, к Архангельску.

— Тэк, тэк... К пролетариату пришел?

— На пропитание, Христа ради.

— Тэк, тэк, Христа ради... Обличье-то новое, а песни у тебя, Афанас, старые. Нет, ты повинись передо мной: я, мол, бывший мироед и эксплуататор, прошу кусок хлеба у своего батрака Матвея Васильевича Студенкина. Тогда я, может, тобой не побрезгую, за стол посажу.

Старик, как в стенку, глянул мутными глазами в Матвея, стоявшего перед ним фертом, еще раз не спеша перекрестился:

— Бог тебя простит.

Взыграло ли прежнее, спесивое, или разглядел, что после Матвея за стол садиться нечего — хлеб с мякиной щедрый хозяин сам умял, осталась-то капустка... Повернулся и, согнувшись в низких дверях, вышел.

— Эвон, как обернулось,— вздохнула жена,— он — и перед нами христараднichает. Светопреставление.

— Дура ты несознательная. Богатого с сумой по миру пустили. Радуйся.

Давно уже в селе Пожары разделили тулуповскую землю. А земля не хлеб, ее трудно делить поровну — тебе кус, мне кус. Тебе попался черноземный клин на вылоге, мне — чистый песочек на припеке, ты доволен, а я нет!

С революции в Пожарах тянулась глухая война, подзатихла было с продразверсткой, да опять вспыхнула. Большая семья Тулуповых давно расползлась, остался лишь сам старик Афанасий, ходил под окнами:

— Христа ради, на пропитание.

И вот в спорах да дрязгах раздался трезвый голос вернувшегося Матвея:

— Ставлю два вопроса, и оба ребром. Первый: запретить поминать Христа как имя старорежимное. Всех кусошников, какие сейчас Христовым именем под окнами просят, предлагаю гнать в шею. Во-вторых, заявляю вам: несознательная стихия вы! Тулупова распотрошили, а сами?.. Каждый из вас в нутре мироед Тулупов, только кишкой потоньше. Вот лично я, как осознавший и презревший всю гнусную суть частной собственности, не хочу для себя тулуповской земли! Я за то, чтоб не делить ее вовсе, чтоб сообща ее пахать, сеять, урожаи сымать. Чтоб одной семьей — коммунией! Да здравствует, дорогие товарищи, братство да равенство!..

Мужики, поносившие друг друга, тут дружно ухмылялись — блажит Мотька, мало ли в последнее время с ума сходят.

Но должны бы знать эти мужики — коль один петух вскинется, то и другие отзовутся. Скажем, кому-то отрежут от тулуповского каравая жирный ломоть, а укусить его нечем — нет ни лошади, ни плуга, ни обрати, ни семян. Таких беззубых по селу оказалось немало. Беззубые, но не безголосые:

— Не жела-им своей земли! Артельно чтоб!

Ишь ты — «не желаим», тоже гордые — смех и грех.

Мотька Студенкин в свободное от митингов время занимался безобидным баловством, сидел на крылечке, строгал ножиком из досок ружья. Вся пожарская ребятня, как пчелы у ведра с патокой, кружилась возле него. Он им и сопли утирал, и судил, если поссорятся, снабжал всех без отлички деревянными ружьями и свистульками.

— Эх, мокроносые, счастье вам — в самое время родились. Пока доспеете, глядишь, последнего буржуя в

мире, как вошь, придавим. Богатство поровну всем, чтоб ни один человек на свете с голой задницей не ходил — у всех штаны одинаковые. Ни зависти в мире, ни злобы, ни забот тебе, чтоб деньгу зашибить — красота, а не жизнь у вас впереди, ребятки. Может, и мы на старости лет успеем того хлебнуть.

А изба у него кособочилась, прясла изгороди попáдали, жена одна, как прежде, убивалась по хозяйству.

Мотька баловался с детишками, а вокруг его имени собиралась бедняцкая голосистая вольница, для них все — трын-трава, терять нечего. Степенные мужики продолжали посмеиваться:

— Не разберешь, где стар, где мал. Ком-па-ния!..

Но вдруг Пожарский мир притих от удивления. На сторону Мотькиной вольницы встал Ванюха Слегов.

Шло обычное собрание в тулуповском доме, давно уже ставшем сельсоветом. Обычное собрание, где крикливые ораторы дубасили себя кулаками в грудь, с визгливыми бабьими криками из задворок людной горницы, с солеными шуточками парней, с густым угаром от самосада.

Тут-то и вышел Иван Слегов. Он вышел к столу, и все притихли, знали — этот пустое брехать не будет. Из молодых, да ранний, па сажень под землю видит.

Иван Слегов начал с байки:

— Бежит свора собак за зайцем. Какая быстрей да сноровистей — хватает, а другие чужой удачи не терпят, на счастливую да на удачливую скопом наваливаются. Зайца — в клочья, никто не сыт, зато все покусаны... Не напоминают ли, мужики, эти собачьи порядки нашу жизнь? Каждый старается урвать для себя, покусать другого. Не пора ли жить иначе, не по-собачьи — по-человечьи, с умом, сообща, чтоб не было обиженных...

Он говорил, а его разглядывали: полушубочек, стянутый в талии, брюки добротного сукна вправлены в бурки с отворотами, желтой кожей обшитые. Таких бурок ни у кого не отыщешь — не деревенской выделки. «Не было обиженных...» А сам-то не обижен ни богом, ни людьми, сам-то из тех быстрых да сноровистых, какие первыми зайца хватают да еще примеряются, чтобы пожирней какой. Слушали его в немом недоверии, когда зазывал объединять все хозяйства в одно-единое.

Может, слова Ванюхи Слегова не понравились какому-нибудь Петру Гнилову, у кого на дворе тоже пара коней, овцы, свиньи, три молочные коровы,— не расчет ему брататься. Петру Гнилову не понравилось, но еще больше пришлось не по душе Матвею Студенкину — неспроста кулак рвется в коммунию, держи на мушке, зри сквозь прорезь.

Матвей кривить душой не любил, решил выяснить напрямую:

— Ну-ка, по совести, чего тебя к нам потянуло?

— Масштабы,— ответил Слегов.

— Это чтой за штуковина? — Матвей книг не читал, слов мудреных не знал.

— Простор, чтоб развернуться.

— Эвон-он что! Развернуться тебе нужно?.. А дадим ли?

Иван Слегов отступил на шаг, расправил плечи:

— А ну, Матвей, погляди...

— Гляжу.

— На меня повнимательней погляди, не стесняйся, с ног до головы обозрей.

И Матвей долго и хмуро разглядывал Ивана: красив, сукин сын, рожа румяная, глаз серый с блеском, из-под мерлушковой шапки с кожаным верхом русая прядь на гладком лбу, из-под ладного полушубка брючки тонкого сукна, и эти бурки — генералу надеть не совестно. Сам Матвей, в неизносимой короткой шинелишке, обдутой ветрами Тихого океана, в старых, с чужих ног валенках, сменивших разбитые армейские ботинки с обмотками, с небритым, изрезанным морщинами лицом, почувствовал себя таким жалким, хоть возьми да запой голосом Афанаса Тулупова: «На пропитание, Христа ради!»

Матвей сглотнул комок в горле, пошевелил скрюченными пальцами:

— Картинка. Жалею — трехлинейки не захватил.

— Тебя жизнь одному научила — из трехлинейки стрелять. А пулей, Матвей, жизнь не построишь.

— Значит, сложи оружие?

— Значит, жизнь устраивай. Пора! Я себя устроил, хочу устроить других, да так, чтоб все выглядели, как я, даже лучше. Все, и ты тоже.

Матвей криво усмехнулся небритой физиономией:

— Валяй. Нам до поры до времени попутчики нужны. Но помни, Ванька, я палец-то на крючке держу.

— Попутчиком под твоей трехлинейкой?
— А то как же.
— Выходит, воевал ты воевал, да так ничего и не изменил.
— А по-моему, переменилось. Иль не замечаешь?
— Да ведь о прежнем мечтаешь: один с трехлинейкой, другой с сохой, один барин-господин, другой раб. Шубу изнанкой вывернуть — она лучше не станет.
— Ты-то чего бы хотел?
— Одного — чтоб ты в сторонку отошел. А то поведешь вперед да заблудишься, на старое место попадешь.
— В сторонку?.. Не выгорит!
— Поживем — увидим.
— Поживем — увидим,— согласился Матвей.

Иван Слегов сказал слово и продолжал жить, как и жил,— тянул с женой свое большое хозяйство, выезжал на серой паре, вечерами жег керосин, читал книги.

А Мотька Студенкин отложил нож, которым строгал балясины для забавы пожарской ребятни, натянул фронтовую шинелишку и своим куличьим шагом двинулся в город Вохрово. Без робости он вваливался в кабинеты районного начальства, наседал напористо, чуть не брал за грудки:

— Вы что это, так вашу перетак, не чешетесь? Беднякам в Пожарах продыху нет!.. Мировой революции задержка на нашем участке!..

Не Иван Слегов, а Матвей Студенкин выколотил из властей бумагу:

«Земельные угодья старорежимного кулака-эксплуататора Тулупова с этого года и навсегда подушному разделу не принадлежат, а целиком и полностью отдаются в руки беднейших крестьян села Пожары, которые объединяются в сельскую коммуну и зачинают на практике коммунизм, предсказанный великим вождем мирового пролетариата Карлом Марксом».

Землю делили раз в четыре года, подошел срок. И вот, бумага по всем правилам — с лиловой печатью и подписями. Умойся, кто ждал себе тулуповской землицы. Повоевали, и хватит — ничья, неделима.

Не Иван Слегов, а Матвей созвал голытьбу на первое собрание коммунаров, сел на председательское место, заявил: «Выбирай, народ, народного вожака!»

Выбирать?.. Да ясно же — Матвей заводила. Матвей достал бумагу, он уже сидит за столом, чего там долго тень на плетень наводить, поднять руки, и шабаш.

Но и на ясном солнышке бывают пятна, а в любом стаде коза с норовом.

— Сомненьице есть!

Одна-единственная рука над шапками и бабьими платками.

— Кто там еще?.. Э-э, Пийко... Ну что ж, давай.

Пробился к столу Пийко Лыков, один из заговевших в холостяжничестве парней — лет под тридцать, невысок, крепко сбит, голова затылком растет из широких плеч, голубые глазки ласково жмурятся, как у кошки, которую гладят. Пийко — из незаможних, живет у брата, ходит по деревням, «растирает» бревна на тес, кой-какой заработок имеет, даже старшего брата с выводком подкармливает, а в коммуну принести — только пару рабочих рук, не больше того. И еще на одно Пийко мастак — может против шерсти погладить, что и не заметишь. Сейчас в его голосе медок:

— Матвей Васильевич — человек заслуженный. Кто Колчака бил? Матвей Студенкин! Кто с японцами воевал? Матвей Студенкин! Спросите меня, кого я больше всех уважаю,— Матвея Студенкина! По моему-то разумению, мы, может, тебе, Матвей Васильевич, памятник должны поставить. Ты же что сделал? На новый путь нас толкнул! Не-ет! Памятник для внуков — вот, мол, с кого началось... Но уж не будь в обиде, Матвей Васильевич, за неуважение не сочти, а распоряжаться хозяйством я бы пригласил Ивана Слегова. Заслуг у него ровно никаких, до памятника не дорос, а вот хозяйская хватка есть. Сметлив и удачлив — все видим... Служил он себе, а теперь пусть людям послужит... под нашим доглядом, не иначе. А в первую очередь, само собой, станет за ним доглядывать Матвей Васильевич. Уж старому боевому орлу с высоты будет видней — верный ли курс берет Слегов или неверный...

Высказался, развел с улыбочкой короткие руки — мол, не судите строго, ежели что не так,— и Матвею Студенкину покивал вросшей в плечи головой,— не изволь гневаться.

Матвей, однако, не клюнул на обещание Пийко Лыкова поставить памятник. Он сам себе объявил слово:

— Эх вы, простаки, простаки! Легко же таких Пийко на кривой объехать. Чутья классового ни на понюшку! Как нынче ты живешь, Пийко? Слегов-то наверху, ты где-то у него под коленками. И не дивно ли тебе, Пийко Лыков, что Ванька Слегов к тебе вниз полез? Почему бы это ему, богатенькому, братства да равенства захотелось? А потому, проста душа, чтоб крепче тебя оседлать, снова наверх выскочить — работай, я покомандую! Братство!.. По селу головы ломают — мол, коней, свиней, коров своих — все отдает. Задаром, от доброго сердца? Ой нет, ставка-то не мала, но и выигрыш велик. За коней и свиней он силу получить хочет над нами, над деревенскими пролетариями.

Матвей помахивал сухим кулаком, с каждым словом словно гвоздь вбивал, а в толпе слышались одобрительные вздохи. Кто про себя не гадал да не носил подозрение: «Неспроста отдает хозяйство...» Теперь ясно: «Ох и ловок! Но шалишь, поплела петли лисичка, да нарвалась-таки...»

Иван Слегов сидел тут же, в первом ряду, на видном месте — полушубок распахнут, полотняная рубашка перехвачена шелковым пояском, нога перекинута на ногу, лицо спокойное, слушает, не сводит глаз с Матвея, словно речь идет не о нем.

А Матвей продолжал:

— Идет к нам — иди! Любой иди! Запрету нет, но иди на равных, не цель оседлать нас. Сдай коней, свиней, будь таким, как все, пролетарием. Только вот беда, захочешь ли? Хитрость-то твою раскусили. У меня все, граждане-товарищи. Выложил. А вы судите.

И с ходу поднялись судить:

— Пусть-ко теперь Слегов скажет!

— Вер-рна! Поделись-ка, Ванька, мыслей!

— Перед миром-то не отвертишься!

— Валяй лучше начистую!

Иван встал, все смолкли. Ждали — скажет сейчас: «Да ну вас к чертям собачьим! Велика ли мне корысть с вас!» Поди, и прав будет. Но он, повернувшись спиной к столу, к Матвею Студенкину, лицом к людям, снял шапку, помял в руках кожаный верх, глядя поверх голов, сказал твердым голосом:

— Ежели скажу: верьте — поверите? Нет, не надеюсь. Так и уверять да клясться не буду. Думайте как хотите, пока делом не докажу. Все!

Сел, перекинул ногу на ногу.

Собрание больше против Слегова не кричало, но выбрали председателем коммуны Матвея Студенкина — единогласно, и Пийко Лыков не посмел поднять руку против.

После собрания Матвей при всех подошел к Ивану:

— Ну как? Поживем — увидим?

— Так ведь жить-то еще не начали,— ответил Иван.

Бывший тулуповский приказчик Левка Ухо, один из самых наигорьких пьяниц по селу, но грамотей, собственноручно намалевал вывеску: «ШТАБ КОММУНЫ «ВЛАСТЬ ТРУДА». А в штабе — Матвей Студенкин за столом. А на столе — чугунный письменный прибор (тулуповское наследство), над дырой для чернил младенец с крылышками грозит пальцем. Об этого крылатого младенца Матвей давил махорочные окурки.

И еще сбоку стоял стол — для счетовода. Туда посадили Левку Ухо. Сидел примерно, даже когда был совсем пьян, только в те моменты делами не занимался, а, подперев голову ладонями, капая слезы на коммунарские бумаги, тянул «Лучинушку».

И-извела меня-а кручина,
По-одко-олодная змея-а...

Матвей терпел его нытье — другого верного грамотея на примете не было. Слава богу, что пьяным Левка не буянил — человек тихий, мухи не обидит.

Дело Матвея — быть председателем, держать марку и распоряжаться. А для того чтобы распоряжения передавались куда надо, без задержки, назначил заместителя попроворней да посмекалистей. Под него по всем статьям подошел Пийко Лыков.

Он родился шестым в семье, а потому в десять лет отец выдал ему двадцать пять копеек на дорогу, мать повесила на плечи мешок с сухарями. В подпаски по соседству никто не брал, издавна повелось ходить под Ярославль, а путь туда не близкий — верст триста от деревни к деревне. Триста верст пехом с котомкою, а лет тебе десять, в других семьях в такие годы мамка чуть ли не с ложки кормит. Ночевка в попутной избе стоит две копейки — место на полу и кипяток хозяйкин.

Помяла Пийко жизнь и потерла, умел ладить со всяким: голубые глазки глядят в зрачки с готовностью, порывисто быстр, только кивни — обернется на живой ноге: «Сделано!» Удобный человек, потом самого бедняцкого роду.

Весна, а в коммуне — шесть лошадей, из них четыре еле себя носят, и три плуга.

Председатель Матвей Васильевич Студенкин сидит за столом, признает:

— Да-а, туговато придется...

Но на то он и председатель, чтоб, не раскисая, давать установку:

— Мужики! Себя не жалеть — работать! Так-то!

И мужики соглашаются, не перечат.

Матвей сидит за столом, давит окурки под чугунным младенцем, подымать мужиков на работу — обязанность Пийко Лыкова.

Собралась в кучу деревенская голь. Каждый мечтал о своей земле. На вот землю — твоя!

Моя?.. Ан нет, маленькая поправочка — наша.

Земля общая, все на ней равны. Все равны, и ты снижаешь усердие, равняешься на того, кто тебе не равен. Но и тот не из последних, и он оглядывается на тех, кто силой пожиже, подравнивает себя, подравниваешься и ты. День за днем идет равнение друг на друга — до нуля, до полного покоя!

На Березовский клин наряжены пахать Федька Самоха и Гришка Кочкин. Кони брошены в борозде, Федька с Гришкой греют животы на солнышке. Попробуй на них прикрикнуть, пошлют по матушке самого Матвея-председателя, а уж Пийко-то и совсем не постесняются.

Пийко не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков:

— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну лежите, лежите, а я поработаю.

«Ребятушки» не успеют поднять очумевшие от дремы головы, а уж Пийко идет за плугом, отваливает пласт... Посидят, похлопают глазами, станет неловко:

— Эй, Пийко! Катись по своим делам!.. Мы ведь на минутку, мы — так...

— Вижу — как. На Тулупова ломали по-другому.

— Да ладно тебе.

И Пийко бежит рысцой дальше. И когда, обежав всех, является в правление, пыльный, потный, пахнущий землей, навозом, лошадьми, Матвей Студенкин встречает его вопросом:

— Ну, как там?

— Порядочек! — физиономия в красной парноте, голубые глазки в усмешечке.

Порядочек? Ой нет!

Пахали и сеяли — мучились, засеяли половину земли.

Косили — мучились: ни «живой» телеги, чтоб вывезти сено, ни целого хомута.

Мучились, убирая тощий урожай.

Сник веселый Пийко Лыков, рад бы оставить руководящую должность — пила-растируха кормила лучше.

А зимой пали три лошади.

Левка Ухо, сжимая голову руками, лил пьяные слезы на свои счетоводческие бумаги:

Извела меня кручина,
Подколодная змея...

Он уже никогда не бывал трезв.

Коммуна гибла от бедности.

Один только Матвей Студенкин не терял головы. Он читал. Читать-то умел, а вот писать — только свою фамилию под бумагами.

Матвей читал газеты. Газеты же призывали к наступлению на кулака, но по-разному — одни требовали крайних мер, другие остерегали от перегибщиков.

Матвей откладывал газеты в сторону, просил заложить рессорную пролетку, принадлежавшую не так давно Ивану Слегову; лошадь обряжалась в сбрую с бубенцами, с медными бляшками — тоже слеговскую,— и председатель отправлялся в район, к начальству, утрясать вопросы.

В районе ясных указаний не давали, кидали скупое:

— Ждем решений.

— До кой поры ждать? Нас мироеды с костьми слопают.

— Скоро съезд партии...

Пятнадцатый съезд ВКП(б) собрался в декабре. С отчетным докладом выступал генсек Сталин, он сказал:

«Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основе революционной законности. А революционная законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны замещать мероприятий экономического порядка».

Взять Петра Гнилова «экономическим порядком», а как тут возьмешь, когда он, Гнилов, едва ли не богаче всей коммуны. И есть еще Ефим Добряков, есть Митька Елькин — та компания. Да если они возьмутся, то «экономическим порядком» все село узлом свяжут, никто и не брыкнется.

Матвей угрюмо давил окурки о крылатого младенца, но в район ездить не перестал. Ездил от нечего делать, не надеялся сговориться.

Однако Сталин, видать, знал, как действовать,— слова словами, а дело делом. После одной поездки Матвей привез плакат, повесил у себя над головой. На плакате нарисован жирный, бородатый, звериного вида кулак с обрезом, стояла надпись: «Ликвидируем кулачество как класс!»

Матвей вызвал своего заместителя Пийко:

— Собери всех по селу с мала до велика. Говорить буду.

Собрались стар и млад — тревожное в воздухе, каждому хотелось узнать, что это привез Матвей Студенкин? В тулуповской горнице, что там яблоко, лущеное семечко упади — до полу не долетит.

Матвей выступал часто, ни одного собрания не проходило без того, чтобы не толкал речугу, не призывал до хрипоты к сознательности. Но эта его речь не походила на обычные.

В те дни он простыл, до прокуренных усов туго обмотан бабьим платком, голос сиплый, лицо темное, глаза сухо и зло поблескивают под изборожденным морщинами лбом.

— Хреновы наши дела в коммуне! — сипел он.— Хуже надо, да некуда. Тонем, братцы, скоро на дно сядем...

И в набитой горнице наступила погребная, бросающая в озноб тишина, даже скамьями скрипеть перестали. Шутка ли, сам начал с того — коммуна тонет, садится на дно. Сам председатель Студенкин!

А Матвей рвал эту тишину простуженным голосом:

— Нам — хреново, не на чем пахать, нечем сеять, а вокруг коммуны?.. А?.. Со сторонки на нас смотрите да похихикиваете, что вам, лошади у вас гладкие, справа добрая, семена в закромах! Кто вы в сравнении с нами, коммунарами? Богачи! А для чего революцию делали?.. А?.. Мы потопнем, пузыри пустим, а вы дальше поплывете?.. Нет, землячки, не пройдет такой номер! Мы вот что вам скажем: революция-то не кончена! Эй! Слышишь меня, Петр Гнилов? А ты, Елькин Митрий, слышишь? А Добряков Ефим здесь ли?.. Слышите вы, справные хозяева?..

После этого собрания Матвея пытались убить.

Он приказал жене истопить баню:

— Простыл шибко. Ужо толком попарюсь, может, полегчает.

Жена ушла управляться, а он прилег и заснул.

Он спал так крепко, что не слышал, как со всего села с гвалтом сбегался к его дому народ.

— Мам-ка-то! Мам-ка!..

Вскинулся:

— Ты чего?

Сынишка у изголовья, в полутьме на бледном лице виден лишь раскрытый рот, хватает воздух, цепляется руками за рубаху:

— Ма-ам-ка!.. В бане!..

За темным окном — накаленный, словно из тусклой красной меди, ствол березки. Матвея ошпарило, сорвался с койки...

Вдавленная в землю черная банька пряталась в ольховом овраге, в который упирался двор Матвея. На селе поздно увидели зарево, сбежались, когда не подступись. Бабы ахали, кричали на мужиков:

— Чего вы, охломоны, топчетесь? Живая ж душа там!

— Гос-поди! Да крючья несите!

Кто-то бегал и суетился без толку:

— Ве-едра! Где ве-едра?! К ручью цепью надоть! Кто-то стоял завороженно: банька с нижних венцов до верхних — золотисто-сквозная, крыша в чадных лохмотьях пламени. Где уж...

Кто-то судил да гадал:

— Добрались-таки до Мотьки.

— Царствие ему небесное.

— Ой, не похвалят за душегубство!

— Авдотья будто слышала: из бани-то вроде бабий голос кричал.

— Тут не по-бабьи, по-поросячьи заверещишь, коль поджарит.

И вдруг шарахнулись на две стороны — ворвался Матвей, босой, по залежавшемуся апрельскому снежку, без шапки, в исподней рубахе, воскресший для всех из огня. Он ворвался и словно наткнулся на стенку, встал на шаг от весело постреливающих, зло раскаленных бревен, дико уставился слепыми запавшими глазами. За его штаны цеплялся сынишка, тряся худеньким телом.

Какая-то баба не выдержала, взвыла позади:

— Горе-емыч-ные! Да что же теперь с вами станется!..

В это время крыша баньки прогнулась, с хрустом и шорохом обвалилась внутрь. Вспухла тугая розовая волна, осыпала искрами Матвея, его всклокоченные волосы, его полыхающую отсветами рубаху. Матвей вздрогнул, оторвал взгляд от огня, повернулся к людям, замершим от робости, от горестного сочувствия,— лицо накаленно-горячее, вместо глаз темные ямины.

А к отцу жался сынишка. Матвей заметил его, нагнулся, поднял, прижал к себе, ступая босыми ногами по расквашенному снегу, понес от огня. Люди, тесня друг друга, торопливо расступались.

Шагов через десять Матвей остановился, снова повернул безглазое лицо к бане, и лицо скривилось судорогой.

— Нет, Сенька! Нет, гляди, сын! — хрипло закричал Матвей.— Гляди, Сенька, и впитывай! Кулачье на всю жизнь запомни! Их рук дело!..

В тревожно пляшущих отсветах пламени теснился народ. А Матвей хрипло кричал:

— Гляди, Сенька! Чтоб жалости потом не знал! Чтоб давил гадов и жег! Гляди, сынок, любуйся!..

Люди поеживались, молчали. Баня догорала, багрово высвечивая Матвея, растрепанного, в длинной выпущенной рубахе, прижимавшего к груди сына.

Неизносная армейская шинелишка, единственный наряд председателя, его шапка из псиного меха попутали охотничков. Их на себя надела жена. Ее приняли за Матвея — баба была рослая, корпусом походила на мужика,— выследили, приперли дверь колом. Баня-то сгорела, а кол остался, только обуглился с одного конца. Этот кол Матвей поставил на видном месте в конторе.

— Разбираться лишка не стану,— говорил он каждому, кто приходил,— кто тут виноват, кто нет — дело судейское. Для меня все богатеи виноваты. Пусть все они загодя богу молятся.

Он почернел лицом, страшно исхудал, сквозь небритые щеки выпирали челюсти, глаза провалились. Прежде вроде бы жену ласковым словом не баловал, а теперь всяк видел — сохнет. Сыну он сам стирал рубахи, вместе с бабами не стеснялся полоскать нищенское бельишко на вымостках, сам латки ставил, сам варил варево, обиходил, как мог, и учил:

— Помни, мать, Сенька, от кулацкой руки лютую смерть приняла, держи это под сердцем. А пока ты силу не наберешь, я буду стараться... Уж буду!..

Но прошел год, прежде чем Матвей Студенкин развернулся.

В начале мая, сразу после праздников, он диктовал опухшему, вечно похмельному Левке Ухо:

— Пиши: Гнилов Петр Емельянович — две лошади, три молочные коровы... Написал?.. Теперь ставь Добрякова Ефима — тоже две лошади — кобыла да стригунок, две коровы. Елькин Митрий Осипович...

Список был длинный, в него входили все, кто жил в достатке. Последним стоял Антип Рыжов, тесть Ивана Слегова. Против его фамилии Матвей указал проставить: «Не шибко богат — лошадь да корова, зато язык длинный, пускает вражеские разговоры по селу». Жаль, что Ваньку Слегова теперь не зацепишь — ни лошадей у него, ни коров, ни даже курицы своей во дворе не держит, и разговоры вражеские не приклеишь, молчун, хотя кому не ясно — думает не по-нашему.

Самих убийц найти не смогли, да Матвей тут особо и не усердствовал: так ли уж важно открыть только убийц, война-то идет классовая — все, кто не с нами, тот наш враг.

Реквизированные у раскулаченных богатеев шубы, поневы, зипуны, сапоги раздавались по списку самым беднейшим. В беднейших числился и сам Матвей Студенкин, что у него — пара горшков щербатых, обгрызенные деревянные ложки да из живности тараканы в стенах. Он мог бы взять много — своя рука владыка,— но взял лишь полушубок с плеча Ефима Добрякова. Шинель-то сгорела вместе с женой, жену, что уж, не вернешь, а ши-

нель законно и возместить. Пригребать себе кулацкое Матвей не хотел — за идею воюем, не за барахло, пусть знают.

В освободившиеся дома вселяли тех, кто не имел крыши. На тридцать первом году своей жизни Пийко Лыков въехал в собственный дом — пятистенок Петра Гнилова. Въехал?.. Да нет, просто вошел, неся с собой фанерный чемоданчик и узел, где лежали суконные штаны и яловые сапоги.

А по селу опять ходила молва о бесовской сметливости Ванюхи Слегова. Загодя знал, к чему причалить, ехал бы теперь в компании Гниловых да Елькиных. Ан нет, цел, при деле, живет тихо и мирно, еще и наверх выбьется. Ох, ловок нечеловечески!

В доме Слеговых лила слезы Маруська, жена Ивана, дочь Антипа Рыжова. Она оплакивала отца, мать, трех братьев, высланных Матвеем Студенкиным в дальние края.

Матвей прежде читал газеты да давил окурки о чугунного младенца. Пришло время — нашлось занятие по характеру: обходил дом за домом. Дверь открывал пинком ноги, не ломал шапку, не бросал «здравствуйте», спрашивал у оробевшего хозяина в лоб:

— Заявление подал?

И если отвечали: «Нет», цедил сквозь зубы:

— Мотри у меня.

Матвей выполнял сто процентов. Ни одного человека не должно быть в селе, кто не подал бы заявление в колхоз. Охват на сто процентов, и никак не меньше.

Левка Ухо разрисовал новую вывеску — пошире и покрасней: «ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА». Уже не «штаб», а «правление» и не «коммуна», а «колхоз» — такова установка сверху, хотя сердцу Матвея старые слова милей.

Эта вывеска была последним, что сотворил в своей жизни Левка Ухо, грустного характера человек, которого даже не веселило злое вино.

Он в последнее время пил без просветов, являлся утром в контору, уже держась за стенку, до своего стула все-таки добирался, обхватывал руками голову и начинал «Лучинушку». Дошло до того, что не выдержал и Матвей. Выбрал момент, когда Левка был чуток «попрозрачней», заявил со всей прямотой:

— Хоть ты и не кулацкого роду, но работать с тобой трудно, даже совсем невозможно. Ежели бы ты революционные песни пел, а то тянешь какую-то нуду — душу воротит. Сымаю тебя с должности.

Снять просто, расчета не требовалось. Левка лучше других знал, что колхозная касса не то чтобы пуста, просто ее не существовало. Матвей же не мог дать ему из своих и щербатого гривенника на опохмелку — какие у него деньги. Левка встал и тихо ушел.

Вечером все слышали, как он нудил свою «Лучинушку» на крыльце Секлетии Клювишны. А утром исчез, говорят — тихо скончался в районной больнице.

Стараниями Матвея в Пожарах не осталось ни одного единоличника.

Матвей Студенкин — сила, Матвей Студенкин — власть. Когда он шагает по улице своей куличьей походкой, разговоры смолкают, мужики невесело расступаются, на бабьих лицах появляется невинно-постное выражение. Только дети не боялись Матвея, увязывались за ним:

— Дяденька Матвей, ты коня на колесах сделать сулился!

Матвей в жизни ни одного мальчишку не шуганул сердито, всегда сбавит шаг, пообещает:

— Обожди, милой, недосуг теперь.

А то и остановится, нагнется:

— Эх, пролетарий, нос-то у тебя... Ну-тка.

Утрет, шлепнет по заду:

— Иди, воюй!

Мальчишке и горя мало, что дяденька Матвей марширует к его отцу. Того при виде Матвея бросает в холодный пот.

— Мотри у меня...

Не дай бог, ежели прибавит — «подкулачник», недолго и зашагать из села под доглядом милиционера.

Кто теперь против Матвея Студенкина? Никого.

Ой ли?.. В колхоз вошел крепкий середняк — хозяйственные мужики, они принесли заботу и тревогу — жить-то надо, а как? В колхозе касса пуста, но бедным теперь его не назовешь — тягло, скот, инвентарь раскулаченных и высланных перешли в колхоз. Надо жить и, поди, можно жить. Но на житье-бытье студенкинской коммуны все досыта нагляделись.

Против Матвея открыто — никто, но за спиной, шепотком — все: «Пропадать нам с таким председателем, по миру с котомками пойдем».

Матвея же — как жить? — не волнует. Для него это вопрос ясный. Во-первых, новую колхозную жизнь надо начать с общего собрания, где его законно выберут председателем. Во-вторых, на этом собрании следует твердо заявить — кто не работает, тот не ест! В-третьих, если его слово собрало в колхоз все сто процентов работоспособного пожарского населения, то оно заставит собирать и стопроцентные урожаи. Матвею ясно, у Матвея — твердая линия.

На общем собрании он, как всегда, восседал в центре стола — острые плечи разведены, хрящеватый нос с сухого лица нацелен «на массы», лоб изборожден суровыми морщинами. Даже первые скамьи люди занимали неохотно — приятно ли сидеть под прицелом председателя, за спинами вольготней.

Взял слово Иван Слегов. Укатали сивку крутые горки — не тот Иван, ладный полушубочек потерт, на ногах уж не бурки городской выделки, а подшитые валенки, и в осаночке нет прежней вальяжности. Попробовал бы теперь сказать Матвею Студенкину: «Погляди на меня, хорош ли?»

Выступать Ивану против Матвея опасней, чем кому-либо,— сразу помянет старые замашки — из кулаков чудом выскочил. Никто и не ждал от Ивана храбрости:

Но Иван повернулся к Матвею и заговорил:

— Ты, Матвей, большой мастер. Вытряхнуть из кого-то там потроха умеешь. И спасибо тебе, натряс — есть лошади в колхозе, есть все, чтоб работать. Но трясти-то больше некого, вот беда. Не пригодится твое мастерство. Что же тебе дальше делать? Опять газетки читать, покуривать?.. От этого, сам знаешь, жизнь не наладится. Мой совет тебе — уходи, пока колхоз не развалил. Чем быстрей ты на это решишься, тем лучше. Все хотят! — Круто повернулся к людям: — Иль неправда?

И Матвей только успел налиться кирпичным цветом, открыть рот, но выдавить слово ему уж не дали. Взорвалось в воздухе единым дыханием:

— Пра-ав-да-а!

И загромыхало:

— Не хотим Студенкина!

— Какой ты хозяин!
— Сами выберем!
— Газетки-то читать многие умеют!
— Братцы, кричи другого!
— А вот Лыкова, что ли?..
— Обходительный!
— Пийко, бери власть!

И никто не обмолвился об Иване Слегове. О нем как-то все забыли. Иван постоял, постоял перед шумящим народом и незаметно сел на свое место.

* * *

Тащит с натугой валенки старый Матвей Студенкин. Растянулось село Пожары, длинна до дому дорога. Не верится, что доберется до теплой лежанки,— считай, пять лет от нее не отходил.

Встречаются люди. Кто помоложе, даже не оглядываются — совсем незнаком. Кто постарше, скучновато дивятся: «Эва, Альки Студенкиной свекор вылез, износу ему нет». Он — Алькин свекор, и только-то, забыли люди напрочь, что когда-то боялись его взгляда, слову его перечить не могли.

Тащит Матвей груз долгих лет, налегает на клюку...

После того собрания он махнул в район за помощью: «Добро же!» Кулацкого слова послушались. Думалось, подкулачников-то — раз-два и обчелся, ан нет, все село подкулачники! Будет работка...»

В Вохрово недавно появился новый секретарь райкома — Чистых Николай Карпович, из молодых выдвиженцев, про него уважительно говорили: «Застегнут на все пуговицы».

Застегнут-то, положим, но на шее галстук, никак не рабоче-крестьянский — интеллигентская висюлька.

— Народ против вас. Так что ж это, товарищ Студенкин, вы нас с народом поссорить хотите?..

Попробовал было Матвей прижать его по-фронтовому:

— Ты кровь проливал за революцию? Нет... То-то, вижу, тебе наша революция не дорога, перед подкулачниками потрухиваешь!

Чистых вежливенько отчесал его за партизанские ухваточки, указал на дверь:

— Идите!

И Матвей пошел бродить из кабинета в кабинет, искать правду. Кой-кто из старых работников ему сочувствовал, но грудью прикрывать не собирался.

А потом бродил с места на место: развозил мешки с почтой, подался на лесозаготовки, но там даже на самом низком руководстве требовалась грамота, а иначе бери в руки топор да пилу.

Наконец осел на маслозаводе учетчиком, хоть туго, да считал литры сданного молока, килограммы масла и просчитался — открылась недостача, чуть не попал под суд, хотя ни сном, ни духом не виноват. Пришлось завернуть лыжи в колхоз:

— Прими, Пийко.

Ан нет, уже не Пийко, а Евлампий Никитич.

— Приму. Иди конюхом.

А сам же когда-то говорил: Матвею Студенкину поставить в селе памятник.

— Не хочешь, дело хозяйское. Вот бог, вот порог — неволить не будем.

Он, можно сказать, вытащил Пийко из грязи в князи,— кто бы заметил его, если б Студенкин не пригрел в заместителях.

Он много лет работал конюхом. Не Евлампий, нет — тот и не замечал,— а любой бригадиришка из молодых да голосистых мог накричать:

— Поч-чему чересседельники на полу валяются? Почему обрати перепутаны? Рук нет, чтоб прибрать!

В войну бригадирствовали бабы, тоже командовали Матвеем:

— Эй, дед, закладывай лошадь — сено возить! Да мотню подтяни, не то запутаешься.

И сын Сенька забыл, как отец показывал ему горящую баню. Забыл? Да нет, такое не забывается. Только отцовские наказы не держал у сердца. Убийцы-то Сенькиной матери, скорей всего, сосланы, давно затерялся их след. Сенька рос смирным парнем, к отцу относился с почтением, в колхозе работал с охотой, был призван в армию, в финскую ранен, вернулся домой, успел жениться, и новая война... А вскоре и похоронная...

Матвей после этого чуть не отдал богу душу, пошел к конюшне да вспомнил, как увидел Сеньку в первый раз—в длинной рубахе, в холщовых порточках, похожего на отощавшего старичка, и не выдержал, упал, подобрали

добрые люди... Горевала и Алька, видать, это-то и свело их накрепко. Грех жаловаться на сноху—кормила, обиходила, с печи не гоняла. Вот ежели б еще внук остался, нянчил бы, совсем, считай, тогда счастливый. Но внука нет, а нынешние ребятишки не ведают, что дедко Матвей когда-то умел затейливо вырезать ружья из досок...

Плетется Матвей по улице села, даже собаки на него не лают.

Пийко-то... А?..

Он вот жив.

Нет, не старые обиды, не торжество со злобой сорвало Матвея с печи, заставило добраться до крыльца умирающего Евлампия. Давно разучился обижаться и злобиться — выгорело. Вспомнились лучшие деньки в жизни, когда сам Пийко Лыков по его кивку на живой ноге: «Порядочек!»

Пийко умирает... Приполз с ним проститься, с ним и со своим прошлым. Но не пустили, прогнали с крыльца... Что ж...

Палка ощупывает неверную землю, норовящую ускользнуть из-под ног. Шагает старый Матвей к печи... Даже Пийко... А он-то моложе лет на пятнадцать добрых, коль не больше...

Палка ощупывает неверную землю.

ИВАН СЛЕГОВ

Крашеные полы, почти больничной белизны подоконники, стол, неуютно стоящий посредине, над столом свисает электрическая лампочка, голая, ничем не затененная. От комнаты ощущение пустоты и простоты казенного места — жилье прославленного по области человека, который ворочал миллионами и не любил отказывать себе в чем-либо. Жилье?.. Председатель дома лишь ночевал, да и то далеко не каждую ночь. Он в пять утра уходил, возвращался затемно. Он здесь гостевал, а жил в стороне.

Сейчас дом пропах насквозь нечистым, почти звериным запахом, как медвежья берлога.

Иван Иванович стоял на своих костылях, громоздкий, приземистый, беспомощно неуклюжий, словно большой черный краб, морское чудо, вытащенный из воды на сушу, изнемогающий от собственной тяжести.

Он почувствовал на себе взгляд Чистых. Давно привык, что на него глядят с сожалением — калека горемычный,— но за готовной услужливостью в круглых прилипчивых глазах лыковского зама уловил тоскливую зависть. Ему, оказывается, еще могут завидовать...

Из-за перегородки вышла жена Лыкова, подавленно поздоровалась с бухгалтером, высохшая, морщинистая, в белом платочке, несвежем фартуке, под которым прятала свои корявые, натруженные бабьи руки. На унылом остроносом лице не видно большого горя, веки, нет, не красны, глаза потухшие, вылинявшие, углубленные в себя, а в фигуре неловкая связанность, как у человека, попавшего в чужой дом. Такая же, как всегда, а муж-то умирает...

Иван Иванович кивнул ей в ответ шапкой, бросил нетерпеливый кивок в сторону Чистых: «Веди».

— Сюда. В боковушке он, Иван Иванович.

Костыли глухо стукнули, валенки подмели крашеный пол.

Из открытой двери сильней ударил застоявшийся запах. Иван Иванович не удержался, поморщился. Навстречу поднялась сестра-сиделка в халате, с вязанием в руках. Она поспешно пододвинула свой стул, немо пригласила: «Садитесь».

Но Иван Иванович остался висеть на костылях, утопив глубоко в плечах голову. На лбу под шапкой собрались жирные суровые складки.

Вот он, прославленный Лыков: на подушке выделяется бескровно серый, бородавчато неровный цвет кожи, все рыхлое лицо оттянуто на одну сторону, потончавшие бледные губы, казалось, выражают предельную брезгливость, левый глаз прикрыт веком, в правом проглядывает мутноватая студенистость глазного яблока, в запавших висках копятся тени.

У Ивана Ивановича не было в жизни друзей. Кроме жены, Евлампий Лыков — самый близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал. Висит над ним на костылях верный Иван.

— Больше тридцати лет...— произнес он невнятно,— почитай каждый божий день виделись...

— Да-а, друзья,— сокрушенно вздохнул Чистых.— Нынче такое редкость.

— Тридцать лет каждый день, а сказать все друг дружке так и не успели... Кой-что осталось...

Чистых снова вздохнул с почтительным сокрушением. И снова Иван Иванович уловил на себе его тоскливо-завистливый взгляд.

Ему завидовали, а у него давно уже не было будущего, в свое же прошлое он оглядываться не любил.

* * *

Жил когда-то в селе Пожары учитель Семиреченский — из обедневших поповичей — носил косоворотку и лапти, как пророка, почитал поэта Некрасова, днем и ночью, в будни и праздники мог без устали рассуждать о великой душе русского мужика. Ванюшка Слегов на одном из его первых уроков без натуги решил задачу: «Летело стадо гусей...» И Семиреченский поверил:

— Быть тебе новым Ломоносовым!

Он заставил верить и Ванюхиного отца — «быть ему, отдай в гимназию!» — взялся хлопотать, нашел опекунов, добился-таки, что Ванька Слегов надел тужурку со светлыми пуговицами.

Семиреченский про Ванюхиного отца говорил: «Мудр в своем хозяйстве, как Соломон в государстве». А хозяйство Ивана Слегова-старшего было невелико, и мудрость его умещалась в одной заповеди: «Латай портки вовремя, тогда сносу не будет». Обвалилось прясло изгороди, видел, да рукой махнул — «а-а, потом!» А тут соседская коза влезла, обгрызла всю капусту, зимой без капусты, значит, картошки больше уйдет, значит, пойло корове пожиже, значит, молока меньше, а без достатка в картошке, без молока, без масла на хлеб расход, того и гляди, до нового урожая не достанет. Малую дырку не залатал, и разрослась прореха в хозяйстве — «латай портки вовремя».

Невелико слеговское хозяйство, земли не больше других, но крепко, опрятно, как молодой грибок боровичок: стожки на пожне огорожены — лось не подступится, лошадь одна, зато гладкая, корова обильно молочная, свиней, овец не густо, но все в теле, и над поветью всегда крыша чинена. Все потому, что латал вовремя, без дела ни минуты не сидел. Правда, после неурожайных лет поджимались, но опять же семья невелика — не семеро по лавкам, сын единственный. Зато сынок лаптей не нашивал — всегда по ноге сапожки и рубашонки из покупного ситчика.

А уж тут совсем замахнулся — в гимназию!.. Из села Пожары в гимназиях-то одни тулуповские дети учились, тому что — доходы тысячные, сравнить в округе не с кем.

Чужим и неприветливым показался город Ванюхе — земля на улицах забита камнем, дома друг к дружке вплотную, в домах людей полно, а чем люди живы — неизвестно, не пашут, не сеют, а ситный едят, на день по пять раз чаи с сахаром гоняют.

Жил у одинокой Пелагеи Клюквиной. Пелагею девкой вывез из Пожар бывший офеня, от короба с бусами да сережками дотянувший до собственной торговли льном и холстами. Задолго до приезда Ванюхи он умер, вдова жила в просторном доме, к новому жильцу была ласкова.

Первое время сильно тосковал, вспоминая: съезд с повети бревенчатый, между бревнышек трава сочится, весною черемуха цветет, по утрам под петушиный крик колодезный журавель начинает кланяться...

К учебе в гимназии он подошел с отцовской заповедью — латай вовремя, не откладывай, что наказывали выучить, помни, что ешь хлеб Пелагеи не задаром, отец ей платит, на квасе сидит. Учился хорошо, стал книги читать, удивился тургеневскому Базарову, который гордился: «Мой дед землю пахал». «Эва, дед, а у меня отец и до сих пор пашет!» Сошелся с товарищами, те тоже читали Тургенева, уважали Ванюху: «От земли человек». А домой тянуло: «Меж бревнышек травка сочится...»

И в первый же приезд в Пожары день порадовался, потом оглянулся, и разочаровало родное село. Сам город, где он учился, был тих, горбатился сорными булыжными мостовыми, а уж в Пожарах-то и совсем обычаи вятичей и родимичей (узнал о них в гимназии): ребятишки бегают без штанов, в одних посконных рубахах, землю ковыряют прадедовской сохой, мужики, сходясь на завалинках, тянут одну постылую песню: «Ох, плоха наша земля, никудышна — силушку жрет, а не родит».

Местные земли и на самом деле считались незавидными — подзол да суглинок, кой-где пополам с песком.

И все-таки с наслаждением сбрасывал куртку со светлыми пуговицами, косил, метал стога, помогал отцу подымать паровище. Соседи завидовали: «Всем парень взял, и умом, и крестьянской сноровкой». Отец раздувался от похвал, но одергивал сына:

— Не лезь, без тебя управимся. Не для того учим, чтоб руки навозом пачкал.

Увозил Ванюха в город отцовское бесхитростное понятие о счастье — трудись, чтоб прорех не было, делай вечером то, что мог бы отложить на утро. И вот тогда-то каждое утро будет тебя встречать: все налажено, все на месте. Капуста на огороде топорщится — матовые, хрящевато негибкие листья чуток за ночь подросли. Подсвинок в закутке довольно похрюкивает — сыт, стервец, за ночь нагулял золотник жирка. Корова мычит со стоном — вымя тяжело... Утро, слава тебе господи! Жизнь идет, и жизнь без прорех, с подарочками, которые не сразу-то и заметишь. Покой — дорогой, душа поет, умытому солнышку радуется.

Только в самом селе нет покою и ладу, кругом житье-бытье серенькое, дерганое, толки и перетолки только о прорехах: то дождь обошел — хлеба сохнут, то дождь подвалил — сено погнило, то овцы паршивеют, то корова брюхо проколола, а то и прямо беда — лошадь пала, кормилица, вой в доме, как по покойнику. А чаще всего о земле: «Ох, плоха! Ох, никудышна!..»

В городе Ивану попалась книга Лекутэ «Основы улучшающего землю хозяйства», в переводе Энгельгардта.

«Плоха земля, не родит...» Ой ли?.. Ежели она питает могучие леса, то уж человека пропитать как-нибудь сможет, сумей из нее взять.

Иван штудировал Лекутэ.

Ему исполнилось семнадцать лет, когда загремело по стране:

Это есть наш последний и решительный бой!

Село жило как в осаде. Мир, вставший дыбом, обложил со всех сторон Пожары. Голодный, тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал продотряды — небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганами.

— Показывай, где хлеб?

И откидывались крышки погребов, выворачивались половицы, разметывались укладки сена и прошлогодней соломы.

Село робко пряталось по избам, с тоской молило: «Пронеси, господи, лихую напасть»!

Иван сразу же после революции бросил гимназию. До нее ли — потянуло домой, к земле.

К земле! — звало Ивана воспоминание об отцовском покойном счастье. К земле! — звал читаный и перечитаный Лекутэ. К земле! — звало и гордое:

Это есть наш последний и решительный бой!

«Последний и решительный...» Но последний ли? Разве не придется воевать с пожарской землей? С винтовкой на эту клятую землю не пойдешь. Не всем стрелять, кто-то и пахать должен. До сих пор те, кто читал Лекутэ, сами не пахали и не сеяли. А кто надрывался на пахоте, не только Лекутэ, календарей не читали.

Будь жив учитель Семиреченский, он бы понял Ивана, а отец встретил его с вожжами в руках:

— Пахать-то и без гимназий можно! Для того я, дурак, на квасе сидел...

Иван отобрал у отца вожжи, отец заплакал.

У старого Слегова все шло вкривь и вкось: мобилизовали лошадь, оставили кобыленку недоростка, забрали хлеб по разверстке. «Латай портки вовремя...» Где уж... И на вот — сын, последняя надежда, отказывается учиться, вернулся на насест, значит, будет, как все, мужиком, быдлом, косолапой деревенщиной. А думалось — не отцовская доля, выбьется в люди: «Не пачкайся навозом, сокол ясный, береги себя, тебе высоко летать».

Прилетел, кукарекает:

— Хочу пахать землю!

От сплошных огорчений отец как-то круто свернулся, три месяца поболел и умер, а за ним и мать слегла на печь, тихо угасала...

Зимними вечерами село вымирало. Мужики ненавидели все — и новые песни, и новые речи, и новых людей в трепаных шинелях и кожушках, перепоясанных наганами, ненавидели разоренного богатея Тулупова, ненавидели друг друга, прятались по избам от злой вьюги, от чужого лиха. Эхма, от продразверстки бы спрятаться!

Будь жив учитель Семиреченский, он бы объяснил. Теперь Ивану приходилось дозревать один на один.

На лавке торчком круглое полено. В него вбит нехитрый железный светец, в огне корчится лучина, роняет

угли в щербатый горшок с водой. По бревенчатым стенам бесшумная, натужная война — свет лучины воюет с мраком, шевелятся конопаченые пазы, и кажется, что потолок то подымается, то опускается до макушки.

В городе он, где мог, понахватал книг, были сборники Безобразова и разрозненные журналы «Отечественных записок», Дюма и Лажечников, «Князь Серебряный» и «Заратустра» Ницше, Чичерин «Собственность и государство» и Зибер «Рикардо и Карл Маркс». Хранил кой-какие работы Тимирязева... Но самой большой ценностью оказалась недавно приобретенная брошюра Ленина — «Государство и революция». Ее-то и листал при свете лучины, как в окно, заглядывал — в будущее.

Как в окно... На низенькие оконца слеговской избы вплотную навалился тревожный мрак, выл ветер, мел снег. И где-то в этом полуночном лешачьем вое, в бесконечной метелице кружились обезумевшие люди, стреляли друг в друга, умирали от голода, от сыпняка, от морозов. Беспросветный мрак за низенькими оконцами, не жалкой лучине пробить его. Лучина освещает раскрытую брошюру, а там ясная картина:

«...Люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, *без особого аппарата* для принуждения, которое называется государством».

Неужели привыкнут?..

Иван отрывается от строчек, пляшущих вместе с неверным пламенем.

Привыкнут?..

Он знал пожарский мир, знал в нем каждого человека. Еще недавно все перегрызлись, когда делили тулуповские земли. Петр Гнилов, отец пятерых сыновей, борода сивая от седины, бросился с колом на Митьку Елькина. Теперь вроде и земля особенно не нужна, что не посей — отберут по продразверстке, за нее не только в колья, но спорить лень. А Гнилов и Елькин до сих пор готовы друг дружке клок из горла выхватить. И такие-то привыкнут без принуждения мирно жить, честь честью блюсти вежливые правила? Что-то не верилось.

Но потому-то и раскололась страна — одни верят, другие нет, одни глядят вперед, другие назад. Ты что, Иван, назад норовишь, тебя к старому тянет?..

Гуляют беспокойные тени по бревенчатым стенам, сердитая лучина воюет с мраком, и ветер воет снаружи...

Обратно в старое, где когда-то пригревало нехитрое отцовское счастье: «Латай портки вовремя...» Что скрывать — как вспомнишь, теснит сердце: капуста топорщит хрящеватые листья, подсвинок сыто похрюкивает, корова мычит со стоном — музыка! Живи, не заглядывай далеко, трудись честно, не станет сил трудиться, лезь на печь, жди смерти. Неужели только-то и надо человеку, чтоб отбыть свой срок на белом свете? Так просто отбыть, оставить детей, чтоб и они отбыли положенное. Чем тогда человек отличается от крапивы, от куста калины под изгородью? Той калине тоже век отмерен, она тоже семя бросает, чтоб рос, отбывал срок новый калиновый куст.

Мир у отца был от задворок до калитки, Иван чувствовал— уже никак не умещается в нем.

«Люди постепенно привыкнут...» Надо верить, иначе жизнь бессмысленна. Любая человеческая жизнь, и его, Ивана, и Петра Гнилова, и Митьки Елькина — всех в Пожарах, всех на всей круглой земле.

Но ведь прежде чем новая привычка росточком проклюнется, надо вырубить старый лопушник.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем!

Ленин в упор указывает — частная собственность! Вот зло!

Иван и прежде где-то нутром это чуял. Мое, кровное — не трожь, зубами вгрызусь! Как ни просторна Россия, но вся разгорожена — то твое, то мое, и кому-то не хватало, кто-то оставался без доли. Из века в век так было, только теперь полыхнуло против этого волчьего — мое, зубами!.. Из века в век, с глухой древности впервые — ты угадал родиться.

Ни мое, ни твое — общее. Как просто! И не хотят понимать, льется кровь из-за этого. Он, Иван Слегов, бывший гимназист, мужицкий сын, кровь свою не пролил за революцию. Он хлебороб, а хлеб наш насущный выращивается не на крови.

Свет лучины, неровный, больной, горячечный, как бред тифозного. И раскрытая брошюра на столе, и цветными радугами плывут мечты.

«Люди постепенно привыкнут...» — общая земля, общая забота! Раньше кому какое дело, что Ванька Слегов читал Лекутэ, для себя читал, для своей корысти. Теперь твоя башка в артели, твои мозги общие. Разве это не счастье — себя перед другими наизнанку вывернуть? Все, что знаю,— ваше, люди добрые! Еще школу особую заведу в Пожарах, мужицкие дети станут читать Лекутэ.

Вы все сейчас нищи, прячете друг от друга жалкие копейки в чулки, в кубышки, на дно сундуков под бабкины поневы. А рассудите, если эти копейки вынуть, сложить в один карман — уже богатство. Не на пьянку, не в кабак — купим машины, заставим их работать. Машины непременно родят новые машины, на автомобиль сиволапый пожарец усядется, коней для красы, для уважения держать будем — тоже потянули лямку, пусть отдохнут. И есть такая вещь, как электричество, она ночь в день повернет... Молочные-то реки и кисельные берега, право, не сказка с издевочкой, не смейтесь!

Пусть не сразу, пусть не скоро, но наступит час, когда все оглянутся и признают — с Ваньки Слегова началось! В селе Пожары мир до него — тот мир, что умирает сейчас при свете лучины! — будет так же походить на мир после него, как малярийное болото на райские кущи.

Воет ветер, заносит снегом село. Каждая изба — берлога, люди прячутся друг от друга, боятся стука в дверь, а не ведают, что уже стучится, да, сейчас, да, в лихую темень, ко всем стучится их счастье.

В Пожарах только он, Иван, слышит этот стук. Жаль, учитель Семиреченский не дожил — слушали бы вместе, было бы теплей, не так одиноко.

Лежит на столе раскрытая брошюра, обещающая: вот забросят винтовки, сделавшие свое дело. И тогда «люди постепенно привыкнут...»

Пляшущий свет лучины освещает стол, свет лучины, одной из последних в России.

Молочные реки не сказка, не смейтесь, люди!

По продразверстке у него, как и у других, отобрали хлеб, оставили только на семена. Тянул к весне на картошке. Мать до весны не дотянула, схоронил на погосте,

поставил, как просила, крест. И тут спохватился — нельзя жить только мечтаниями.

В ростепельный мартовский вечер Иван пришел к Антипу Рыжову с бутылкой первача в кармане.

— Породнимся? Отдай за меня Маруську.

А чего бы Антипу не породниться, чем Ванька Слегов плох — не богат, но собой виден, в работе сноровист и даже в гимназиях сидел.

Антип Рыжов, рослый мужик, на широком лице черти горох молотили, опрокинул стакан первача, крякнул, понюхал корочку:

— Эй, Манька!

И она вышла на обманчиво веселый огонек светца: по белой кофте сполохи неверного света, заплетенные туго косы под матицей, мрак бровей под чистым лбом, да пьяной влагой блестят глаза. Пригнула голову, спрятала лицо...

Антип ухмыльнулся:

— Ишь, кобылка, тут как тут.

В приданое Маруська получила годовалого жеребенка. В хозяйстве Ивана оказалось две лошади. А на что две, когда и с одной пока справляется, как справлялся отец: «Латай портки вовремя...»

Раскрыл ей, кто он такой — поводырь в сказку, к молочным рекам.

Она покорно поверила, раз верил он.

Она-то поверила, но должны поверить и люди. Докажи делом! Не просто — на это, пожалуй, уйдет не один год.

Земля еще пресно пахла талой водой. По стерне монахами гуляли грачи, ждали первой борозды.

Первая весна в новой семье.

Он взялся за ручки плуга, сказал озабоченно:

— Ну, лиха беда начало.

Из-под лемеха отваливались сытые куски. Грачи выстроились растянутым цугом. Спину его провожали счастливые глаза Маруси.

Первая борозда. Обоим верилось, что она уведет далеко-далеко, и не только их.

В эту весну он совершил дерзость — кто б из мужиков на такое осмелился! — лошадь сменял на поросенка. А расчет оказался верным. С тех пор начал богатеть.

Матвей Студенкин привык смотреть на белый свет сквозь прорезь винтовки.

Он, Иван, по-своему уважал Матвея, голосовал бы обеими руками за памятник ему, но Матвей лег бревном на пути...

Верил: не твое дело толкать это бревно, люди сами спихнут, а он, Иван, не спешит, он молод, ждать может, жизнь-то только началась. Он верил и ждал...

Любил и берег коней — эх, серы кролики! — но отвел их в коммуну. Коней, корову, свиней. Что еще? Рубаху с плеч? Готов! Его даже не особо огорчило, что Матвея Студенкина выбрали в руководители.

Поживем — увидим.

Его назначили заведовать живностью коммуны. А вся живность, считай,— в его бывшей свиноферме. За какой-нибудь год-два он так развернет свое дело, что все кругом ахнут от удивления.

Поживем — увидим!

Но с первых же дней неприятность. Пригнали обобществленных бедняцких свиней, хребтисто тощих, в коростах от неведомых болячек, в свежих ранах от недавних драк — лютое, визжащее зверье.

Приказ:

— Размещай!

— Куда?

— Как — куда? К твоим.

— Рядом с породистыми-то?

— Эва, твоим курорт, а наши, бедняцкие,— в канаве. Своих отличаешь! Кулацкое нутро взыграло?.. Мотри!

И попробуй докажи, что этих коростяных, чесоточных нельзя и на версту допускать до породистых. Дешевле их выгнать в лес подальше.

У Ивана на год вперед, до нового урожая, было заготовлено и муки, и картошки, овса и круп с избытком, чтоб стадо жирело и плодилось. Но нагнанная свора оказалась прожорливой. В них, как в прорву,— жрут, гадят, а глаже не становятся.

Весной приказ от Матвея, обухом по голове:

— Передать излишки кормов со свинофермы конюхам.

— Излишки? Где они?

— Не рассуждать! Передавай что есть.

Все в коммуне одобряли Матвея: на лошадях-то пахать, а на пустое брюхо они плуги не потянут, эка беда, ежели свиньи и потощают чуток.

В тесном свинарнике — голодный вой, страшно войти, породистые и те стали бешеными.

А от Матвея новый приказ:

— Выделить трех свиней на убой!

Опять верно, надо кормить не только лошадей на пахоте, но и самих пахарей.

Иван наметил на убой не трех, а пять свиней — не из породистых, из сброда. Туда им и дорога, нисколько не жаль — меньше ртов, легче прокормить.

Но как только стало об этом известно, поднялся вопль:

— Это что же, трудящемуся человеку — кусок пожестче, мягкий жадуешь?

— Свое добро бережет!

— Нутро-то кулацкое!

— Не финти, Ванька, режь тех, что пожирней.

Иван пробовал втолковывать, обещал — лошадей новых купим, плуги, машины, дайте только сохранить свиней, только они дадут доход в звонкой копеечке, помимо них коммуне рассчитывать не на что.

Сули орла в небе... Когда-то этот доход будет, а мясцом полакомиться и сейчас можно. Прежде слеговская свининка уплывала на сторону, теперь — шалишь, наша, «обчая», чего цацкаться.

Поживем — увидим.

Трезво оглянуться — это грабеж, дикий, необузданный.

Земля наша — не твоя, потому не усердствуй особо. Свиньи — наши, не твои,— чего их жалеть, режь! Не твои лошади, не твои коровы, не твой инвентарь. И ты, как в крепком хмелю,— зачем думать о завтрашнем дне, живи минутой!

Матвей Студенкин сидел в окопах, валялся в тифу, лил кровь, он не жалел себя, чтоб отвоевать новую жизнь. И отвоевал! А теперь не жалел отвоеванного.

Иван заговорил было во весь голос:

— Куда катимся? Опомнитесь! Революцию в навоз втаптываем! Жизнь это или издевательство?

Кой-кто с опаской его слушал и, должно, соглашался. А кто-то сразу затыкал ему рот:

— Эва! Это ты-то революцию спасаешь. Помним — каких коней имел. Тебе назад любо.

Коней ему припоминают, тех, что добыл своими руками, а потом сам отвел, не пожалел. Стыдись их, они на тебе Каиновой печатью.

Никто его не поддержал — молчали. Замолчал и он.

По утрам он разносил жидкое пойло, свиньи встречали его голодным ревом.

Он продал свои фетровые бурки, чтоб купить пять мешков мякины для свиней. Фетровые бурки — ложкой море не вычерпаешь.

От жены он ждал попреков. Должна бы попрекать — обманул же: расписывал себя пророком, попал к свиному корыту.

Маруся — ни слова, молча билась вместе с ним, лазала с пестерем и серпом по чужим огородам, жала для голодных свиней крапиву, запаривала, нянчилась с сосунками, выносила ехидную бабью жалость: «Болезная ты, мужик-то у тебя умом тронутый... Какое хозяйство ну-тка на распыл отдал...» Руки ее были жестки и корявы, сама похудела и почернела, от глаз потянулись морщины. И старых нарядов она уже не надевала, шелковая шаль, в которой когда-то выезжала на серой паре, лежала на дне сундука.

Однажды в масленицу, в морозный ясный день, когда солнце освещало пышное кружево заиндевевших берез, она увидела вышедшего на крыльцо Ивана в подшитых валенках, в старом заскорузлом кожушке и заплакала. Вспомнила недавно проданные нарядные бурки, обшитые желтой кожей, вспомнила, как в такие дни, празднуя масленицу, они катались по селу на серой паре: «Э-эх! Серы кролики!»

Иван стоял пришибленный, не знал, чем успокоить, не находил слов. И вдруг — диво! — вместо того чтобы от него ждать успокоения, она сквозь слезы стала успокаивать сама, нашла слова:

— Ничего, Ванечка, жизнь-то она ровно не идет. Перетерпим, масленицы дождемся.

Сквозь слезы, виновато улыбаясь дрожащими губами.

А в голубой путанице закуржавевших ветвей застряло желточно переспелое солнце, по подрумяненному снегу тянулись синие тени.

Иван сжал зубы, чтоб самому не расплакаться, приказал:

— Иди, надень шаль... Ту... шелковую... Ради праздника.

Матвей Студенкин — колода на пути. Даже ребятишкам в селе ясно — Федот, да не тот. Но что ни день, то крепче его власть — получил право указывать перстом: этого раскулачить и выслать, этого, этого!.. На Ивана не ткнул, но задеть задел. Маруся рыдала, билась головой о стену, лежала разбитая. Иван боялся — подымется ли Маруся на ноги, ездил в Вохрово за врачами. Она поднялась, пошла жать крапиву для свиней.

После того Иван пришел к Матвею, положил на стол заявление:

— Вот. Ухожу из колхоза.

Матвей ухмыльнулся:

— Уж так просто — ухожу. От раскулачивания увильнул, за коммуну спрятался, теперь — хвост трубой да на сторону. Шалишь, Ванька!

Тогда-то Иван решился: все молчат, а он скажет.

Сказал...

Эхом откликнулись люди.

Откликнулись... Казалось, тут-то и должны бы вспомнить все, что он сделал. Доверьтесь, силу и душу отдам без остатка!

Вспомнили об Евлампии Лыкове, ему доверились — он понятней, он свой, ты — белая ворона.

Мальчонка, один из лыковских племянников, в первый раз привез с маслозавода сыворотку для свиней.

— Принимай, дядя Иван.

Об этой сыворотке шла долгая переписка с районом, извели пуды бумаги — улита едет, не скоро будет. И вот улита приехала.

Лошадь у паренька была крупная, грязная, под линялой шкурой туго выпирали ребра, голову держит понуро. Иван подошел, чтоб помочь парнишке, и вдруг лошадь подняла голову, обдала влажным взглядом и тонко-тонко,

с тоской заржала. Он-то не узнал, а она узнала... Один из двух серых лебедей — копыта разбиты, бабки вздуты, брюхо в коросте грязи, и влажный взгляд, и тоскующий плач по прошлой жизни, по теплому стойлу, по ласковой руке хозяина, сующей в бархатные губы куски сахара.

Он любил своих лошадей, гордился ими... Он никогда не заглядывал в общественную конюшню; если видел серых коней на дороге — отворачивался, боялся разбередить душу.

И вот нос к морде, глаза в глаза столкнулся... Конь первым признал его...

Ночью не спал, лежал с горячей головой, видел перед собой влажный, преданный, тоскливый глаз, а в ушах — тихое, проникновенное, призывно-жалобное ржание. Копыта разбиты, бабки вздуты, ребра что обручи, проведи палкой — загремят.

Довели... Так-то, Иван, и тебя изъездят...

А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?

Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.

Иван с женой разносил пойло свиньям.

Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносился резаный крик пьяной бабы и вызверевшие от самогона голоса.

Они вдвоем сидели за столом. Маруся, старательно причесанная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось — отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.

Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавт-

ра, и на третий день, без конца — в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.

— Иван...— У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты... Разыскал деда Бляху, что ли...

Он внутренне содрогнулся от ее голоса:

— Зачем?

— Все гость у нас будет.

Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И занятие у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния.

— Марусь, ты в своем уме?

— А что тут плохого?

— Выходит, нам вдвоем плохо?

— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится... Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.

Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении...

Окна изб были по-праздничному освещены, в них качались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.

Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадью — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруська за гостем послала, за Бляхой... Сломалась!

А кругом пьют, веселятся, дерут мехи гармошек — что он для них.

Любил их, себя предлагал и оптом, и в розницу — берите, не стесняйтесь. Один Матвей Студенкин — колода?.. Ой нет, каждый! Весь путь из непролазных колод, не мечтай пройти — ноги сломаешь.

Он шел, прижимаясь к изгородям, чтоб не ступать по грязи, лез в сырую темноту, заполненную звуками чужого праздника. Стояла перед глазами лошадь с понурой мордой, с тоскливо любящим влажным взглядом. А дома под лампой сидит сейчас Маруся — причесанная

на пробор, в выглаженной кофте, с желтым, усталым лицом. Он не только собой, но и ею бросался — берите, жертвую, ничего не жалею. Маруся! Маруся!.. Ради кого?...

Выгнанный из дому, Иван вдруг почувствовал буйный приступ отчаяния — вот-вот рухнет на землю, начнет вопить и корчиться в грязи. Не-на-ви-дит! Себя! Всех! Весь свет, кроме одной жены, чью жизнь он пустил на размен! Ненавидит! Обворовали, сволочи, выхолостили, горло бы рвать каждому!..

Из проулка, веющего колодезным мраком и сыростью, заревела гармонь, стала надвигаться. Темный воздух сотряс сиплый голос:

Я на Дуньке верхом —
Ножками качаю.
При колхозе можно жить,
Сталина не хаю!

Промесили грязь плотной кучей, пахнущей избяным теплом и сивухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:

Заграницу обгоняем,
Хлещем, выпучив глаза:
Пропадай моя телега,
Все чот-тыре колеса!

«Вот они, на кого разменял себя и Марусю! Им плевать, как пойдет жизнь, плевать, будут ли сыты, плевать, как после них станут жить дети, даже в этих пьяных песнях они издеваются над собой. А на тебя им и подавно наплевать. Только юродивые в ответ на плевок утрутся и с поклоном благодарят. Ты — юродивый для них!»

В истощенный ненавистью мозг пришла простенькая мысль. Пьяное ночное село навело на нее, визгливые вопли бабы, на которые никто не обращал внимания. Ежели в такой вечер кого убить — кто удивится? В такой вечер все возможно.

В другое время эта случайная мысль, мелькнула бы и исчезла, как тысячи других нелепиц. Сейчас засела занозой, стал отгонять ее, продирался вдоль изгородей вперед, к окраине села, где стояла на отшибе, задом к полям, маленькая, как банька, изба горького бобыля Бляхи.

Он позовет Бляху, он усадит его за стол. Может, Маруся права, в ней бабья мудрость — в таком вот сирот-

ливом бобыле Бляхе и живет человечье. Пусть завтра все село начнет издеваться — вот, мол, сошлись Ванька Слегов и золотарь Бляха — два сапога пара, ха!

Вышел за село. В лицо с невидимых, спрятанных в ночи полей ударил густой и влажный ветер. Там, за толщей ночи, стоит колхозная конюшня, сооруженная из старого овина. Наверняка возле этой конюшни никого нет. Конюхи пьянствуют в селе.

Случайная мысль не давала покоя. Она росла в голове, как ряска в теплой луже.

Убить или поджечь — кто удивится! Все возможно. Конюшню поджечь, перед самой посевной. Пийко Лыкова возьмут за жабры, а в колхозе новая карусель. Ненавидит! За оплеванную жизнь, за рев голодных свиней, за Марусю, сидящую сейчас под лампой с желтым лицом, — за все!

Дул тугой, влажный ветер навстречу, за спиной гуляло село, забывшее о его существовании, там затерянная, одинокая Маруся. Она-то, может, готова простить, но он уже прощать не хочет. А ночь все покроет... А завтра он снова положит на стол заявление: не могу с вами, сплошные непорядки, и зачем я вам, я, читавший в гимназии Лекутэ, выписывавший журнал «Сам себе агроном», создавший в округе лучшую свиноферму... Как знать, спохватятся, да поздно! Перегорел!..

Искрились картины, одна другой злорадней. Иван впервые за последние годы снова почувствовал себя сильным, дерзким, способным на отмщение. Долго страдал от своей доброты, не хватит ли?..

Он только тут ощутил, насколько тяжела его ненависть. Не под силу носить ее, жить с ней изо дня в день, притворяться покорным, разносить свиньям пойло. Рано или поздно прорвется, это может случиться среди бела дня, без его воли, без его желания. Так не лучше ли сейчас, пьяной ночью, когда все возможно. Другой такой случай не скоро представится.

Руки сами стали шарить по карманам, искать спички.

Если б под рукой не оказалась коробка спичек... Наверно, он бы повернул домой, наверно, потом сам испугался бы дикой минуты, с годами пережил свою ненависть, и жизнь пошла бы иначе. Коробок спичек... Он отыскался: часа два назад Иван в свинарнике зажигал фонарь.

Сжимая в кулаке коробок, Иван ощупью по бровке грязной дороги зашагал в поле, испытывая зябкое, обессиливающее томление — за все! Сами постарались, чтоб стал врагом...

Он уходил в ночь от села, переборы гармошек становились все глуше и глуше.

Тьма и полевая тишь. Сыплет дождичек да налетает ветер, ночь похоронила пьяное село. В черном, как сама земля, небе не увидел, а скорее почувствовал вознесшуюся крышу. Сквозь дощатые ворота слышался мирный стук, то лошадь ударяла копытами о настил. Там и его кони...

И опять вспомнилось — уроненная морда, влажный взгляд в душу, нечеловечья жалоба... И их вместе со всеми?.. Подавил жалость — им-то и подавно смерть избавление, самому хозяину жить невмоготу...

На всякий случай окликнул сколовшимся от волнения голосом:

— Эй, кто тут живой?

Молчание, вздох рабочей коняги.

— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степан! Кто нынче дежурит?

Ворота не заперты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.

Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.

На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли, к чертям, затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.

Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кисловато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой кашки, сохраненными с лета.

Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет нагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревна овина старые, выстоявшиеся.

Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом...

И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежи-

лось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.

За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги... Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдавила коробок...

Хотел вскочить... Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое...

Сено колюче встретило лицо...

Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя, Максим и Степан отцов родных на смертном одре побросают, коль учуют, что спиртным пахнет.

Евлампий их отпустил — гуляйте,— сам устроился спать на сене в яслях.

Его разбудил окрик:

— Эй, кто тут живой?

Не ответил, стал осторожно выползать из ясель. Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.

У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хранящую тяжелую влажность живого дерева, Евлампий и опустил на спину Ивана.

Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, обрать, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ощупкой запряг ее, завалил в телегу размягшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.

Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:

— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!

— Заткнись, контра!

— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-олочи!!

Вопли и проклятия разносились по темным, сырым, неуютным полям. Евлампий Лыков нахлестывал лошадь,

Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.

Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.

Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченый. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.

Просил врачей и сиделок:

— Жену пустите.

Просил каждый день:

— Жену...

Другого желания не было.

А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились над койкой по нескольку человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Странный, однако, народ — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.

От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх, не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона...» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы...

— Жену пустите.

Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?

Дали...

Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.

— Ванечка, кровинка моя...

И, словно в яму, стал валиться, потемнел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:

— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут? Где доктор-то?..

Но он уже пришел в себя:

— Не надо, не зови никого.

И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:

— Думал, не увижу никогда.

— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!

Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке:

— Связаны не на счастье, выходит.

— И не смей, не смей! Какие слова говоришь!.. Как только язык повернулся!

Он прижимал к щеке ее руку и глядел в глаза. Глаза тревожные, сухие, опаляющие страданием.

Знает ли? Как не знать. Поди, по селу давно звон стоит, на нее пальцами тычут — сучка каторжная... И прощает, как всегда.

Но нет, она ничего не знала, осторожно, чтоб не разбередить, спросила:

— Кто же это тебя, Ванечка? Какая зверина?

— Кто?.. А разве не известно?

— Евлампий Никитич сказывает: за Пашутиным домом, на задах тебя нашел. И как это тебя туда занесло?.. Кляну себя, распроклятую, что толкнула из дому.

— За Пашутиным?.. На задах?.. Чего он комедию ломает?..

Не знает она, не знает и село, иначе бы донесли, уж не постеснялись. От новой тайны заметался в гипсовых оковах:

— Чего он молчит?.. Чего ему, подлецу, еще от меня надо?..

— Кто, Ванечка? Гос-поди! Кто?!

— Не спрашивай! Потом! Только не сейчас! Потом все узнаешь! Сама!.. Только теперь не спрашивай...

— Молчу, молчу. Ради Христа, утихни. Не казнись, и так сердце разрывается.

Он не сразу успокоился:

— Что ему? Не пойму, что еще?..

Глаза ее потемнели, взгляд стал тяжелый, сильно, видать, хотела знать, но не допытывалась, только гладила черствой ладонью его лицо. Ему же в эту минуту не хотелось ворошить прошлое. Минута-то счастливая.

Но из головы не выходило: все-таки, что надо Пийко? К чему эта игра в пряточки?

Скоро выяснилось. Евлампий Лыков явился собственной персоной — широкий костяк черепа проступает сквозь тугую, обветренную кожу, белесые волосы поредели, под шишкастым лбом в сумрачных яминах голубые глазки, неожиданно ласковые, с тихой улыбочкой. И пахнет от него вкусно — то ли черемухой, то ли горечью клейких листьев, обидным для закованного в тяжелый гипс человека. А в руке у Евлампия узелок — цветочками линялый ленок. От узелка тянет домашним уютом, покоем обретенной семьи. Евлампий, считай, молодожен, не столь давно, в этот мясоед, праздновал свадьбу, взял в жены Ольгу Редькину. Ей — восемнадцать, ему — за тридцать перевалило. Узелок в голубых цветочках, голубые глазки в доброй улыбочке — ну, ни дать ни взять, пришел брат, родная душа.

— Вот...— узелок положил к подушке, возле уха Ивана.— Тут курочку жинка сварила. Сам подбирал — молодая, тельная...

— Тебе чего, сукин сын? — спросил Иван в потолок.— Сам видишь, я калека, одной ногой в могиле. От меня уже не покорыствуешься.

— Выживешь. Узнавал— выживешь. Плясать — вряд ли и ходить вряд ли, а жить будешь.

— Чего тебе от меня? — сурово повторил Иван.

Он лежал на особицу в операционной палате — тесной комнатушке на одно окно, с одной койкой. И хотя кругом никого не было, но Евлампий все-таки шагнул к окну, за которым в близком и недоступном Ивану солнечном мире скандалили воробьи, захлопнул его, снова сел напротив — короткая шея, массивные салазки, крепкий череп под шершавой шкуркой, бронзовый лоб, хоронящий под собой голубые глазки. Уже без улыбки, уже деловит.

— Ты, Ванюха, жить будешь, за это лекаря скопом ручаются. Жить будешь, но сидючи. Вот я и подумал: а зачем мне тебя в тюрьму упрятывать, бог с тобой...

— Одолжил. Может, ждешь — спасибо скажу?

— Может, и скажешь. Пока я всем говорю: стукнули тебя по пьяному делу, а кто — не знаю. Конечно, и ты ведать не ведаешь. Ясно? Припутывать кого-то там не след. Мало ли в праздники чего не бывает.

— Жалостлив или боишься, что тебе самоуправство приклеят?

— Мое самоуправство законное. На разбое тебя прихватил, так что — чист и свят, даже благодарность могу заслужить.

— Все корысть, чего отказываться-то.

— С тебя корысть поболе.

— С меня?.. Я же калека без ног.

Евлампий помолчал, ощупывая голубым глазом. В его взгляде — не насмешка, не холод, а, похоже, жалость. И это поразило Ивана: застал на разбое, оглушил оглоблей и... жалеет. Притворство? Хитрость? Издевка или совесть взыграла? С чего бы?..

— Эх, Ванька, Ванька! Ведь я ждал, ждал...— произнес Евлампий.

— Чего?

— Что озлобишься. Я за тобой не один год со стороны слежу. Я, может, один только и понимал тебя: и как ты показать себя хотел, и как сорвалось, как в свином корыте надежду утопил...

— Потому и приложил?

— Все-таки не думалось, что до такого дозреешь. Враг среди ночи — ударил, прощенья за то не прошу, хотя жалею.

— Хватит ерничать-то. Я же в жалость давно не верю — ни в твою, ни в чью-то.

— Может, мне надо было свое место тебе уступить — пограмотней да и поумней меня, поди, лучше смог бы колхоз поднять. Но у меня тоже душа по большому делу зудит. И с народом я лучше тебя столковаться могу. Ни народ тебя не понимал, ни ты его. Так что — баш на баш менять, только время терять.

— Чего хочешь, Пийко?

— Иль не ясно еще? Тебя к себе приспособить. Ты мне советик, я его в дело вобью. Накормим, оденем,

обуем людей, такое, может, завернем, что никому и не снилось. Может, дома белокаменные вместо изб поставим, в них у каждого столы со скатертями, полки с умными книгами. Не жизнь, а масленица. Будет! Будет! Верю! Ради такого кровь по капельке выцедить не жаль!

И под надвинутым черепом вспыхнувшие синевой глаза — верит, не врет. Невдомек Евлампию Лыкову, что он сейчас этой верой бьет Ивана больней, чем оглоблей. Старая, безнадежно потерянная сказка о счастливом селе Пожары, где молочные реки и кисельные берега. Евлампий выкрал ее, присвоил себе и ждет, чтоб помогал. Иван дернул головой:

— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.

Евлампий сразу поскучнел, отвел глаза, сказал:

— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилуют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.

— А ты спроси: хочу ли я... жить-то?

— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.

— Мне за это перед тобой на лапках служи?

— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.

— Все равно не захочу!

— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного.— Евлампий лениво встал: — Поправляйся скорей... Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем... А курочку съешь, не брезгуй. Когда варилась, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины...

В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.

Бабы останавливались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка разнесчастный, господи!

Иван налегал на новенькие, недавно выстроганные костыли, перекидывал чужие, словно привязанные ноги, потел с непривычки.

Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.

ИВАН СЛЕГОВ

(Продолжение)

Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.

Висит над койкой грузный Иван Иванович.

Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больных почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит налитого кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загривок, ртуть-мужик, для всех неожиданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил...

Вот оно... Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.

Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.

Охватила неожиданная жалость к Евлампию, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампию, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежачему безразлично.

Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, волоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть... Зачем?

Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.

Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой недовязанный носок.

* * *

В минуты откровения Евлампий Лыков признавался: «Ты, Иван, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.

Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться —нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее — сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдабривали навозом, почаще ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:

Жила, жиловат,
Тощой ухват,
Морквой разговелся,
Брюхом исстрадался...

«Бей, братцы, жилу, круши их!»

Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:

— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.

— Чай, я квасу хлябанул — шатае...

Навряд ли справедливо, потому что «Бей жилу!» раздавалось не с квасу.

В Петраковской не было коммуны, как не было коммун в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.

Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.

Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.

Да, Пийко Лыков — пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего поспевал сам, а в молодости и подавно не знал покоя — не откажешь, вез воз на совесть.

Но с тех забыто древних времен, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повернул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни прыткость Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, ока-

жись он на месте Пийко, вышла бы осечка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.

Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммуну Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она насторожила даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».

Прыткость Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея рубаку, который сердито жал «на прóцент», сами неученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным лопухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы...

Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.

Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»

Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выручку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымался со стула, не ездил по полям, но хозяйство знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по нескольку раз. Советуй... Что ж, изволь.

— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.

— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком.— Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит...

— Раз так, не паши,— роняет Иван.

У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».

— А хлеб нам с неба упадет, что ли?

В ответ спокойный вопрос:

— А много ли сымешь за рекой хлеба?

Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже

Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-то из нее выжать. «Не паши...» — Евлампий сопит.

— Сена в эту зиму не хватило...— подсказывает Иван.

Евлампий сопит.

— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем... Нам даже суходолы — дар божий.

Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.

— А что, ежели...— говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.

Иван усмехается:

— Ну, ну, рожай.

Казалось бы, дикость — забросить земли, с которых исстари сымали хлеб. Но не хватает рук, не хватает навозу, не хватает и корму для скота. Как выкарабкаться? Просто — не паши, запусти часть земли под луга и... бросай тягло и руки на другие поля, на эти же поля можно вывезти больше навозу, значит, жди с них погуще и урожай, а колхоз со временем получит новые покосы. Попробуй поступить иначе — разбросаешь силы, останешься и без хлеба и без сена, поползет хозяйство, как прелая онуча.

Евлампий хлопает себя по ляжкам:

— Дело!

Мысль родилась в председательской голове, не первая и не последняя мысль с помощью «бабки-повитухи» — безногого Ивана Слегова.

— Дело! Кой-кто на дыбки встанет. Уломаем!

Вот уламывать Евлампий умеет мастерски: и лаской, и таской, и слезливой бумажкой в район, и хлопотливым беганьем из кабинета в кабинет по нужным начальникам.

В Петраковской, по соседству, падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из дягиля. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.

В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные

куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привычку, приезжала телега, больничный конюх Абрам наваливал трупы.

Умирали не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтоб получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.

Тридцать третий год...

А в селе Пожары, где всегда жили по пословице: наша горница с богом не спорится, первыми оставались без урожая в засуху, терпели первыми от проливных дождей, от градобития, от конского сапа, от ящура,— в этот год собрали приличный урожай.

Евлампий Лыков потирал ладони:

— Порядочек!

Пел соловьем перед сидящим в полутемной комнатенке счетоводом:

— Излишечки имеем. Ха! В такой-то год! Навар добрый. Только им любоваться нам долго нельзя. Районное начальство живо наш навар снимет. У них, сам знаешь, положение крутое, со всех сторон руки тянутся. Ты быстренько разбросай все, что есть, по работникам, и пусть не мешкают, пусть развозят. А уж развезут — шалишь, по избам районные охотники не пойдут шарить, ежели и вздумают, то следов не отыщут. Кругом-то травку жрут! Да на нас народ молиться будет!

Иван Слегов сидел, слушал, прятал под столом валенки — и летом их приходилось таскать на мертвых ногах,— наконец обдал холодом:

— С молитв шубу не сошьешь.

Евлампий Лыков раздвинул плечи, выпятил грудь, надулся индюком:

— Я с народных доходов себе шуб шить не собираюсь!

— Себе не шей, а колхоз обряди. Твой колхоз в обносках ходит: конюшня из старого овина...

— Не сразу Москва строилась. Все в свое время.

— А время-то настало. Не кажется?..

— Сейчас — время строить?! Да сейчас за бешеные деньги гвоздя ржавого не раздобудешь.

— За деньги — да. А за хлеб?..

Евлампий подобрался, уставился на небритого, пасмурного, как осеннее окно, счетовода — бабка-повитуха приказывает родить мысль.

— За хле-еб?.. Менять, что ли?.. У нас не частная лавочка. Я тебе на базаре за хлеб хромовые сапоги выменяю. А кирпич, а гвозди...

— Слыхал о Лелюшинском кирпичном заводе?

— Ну, слыхал краем уха.

— Прикинь — ты там директором. Люди у тебя в столовке гоняют пустую баланду, а им глину тяжелую ворочать, какие они работники — с ног падают. И план, значит, ты не вытягиваешь, и нагоняи от начальства огребаешь, и сам рабочий с голодного брюха на тебя волком смотрит. А теперь прикинь — картошки предлагают. Картошка все заботы сымет, с сытого можешь потребовать — выполняй план, сытый рабочий тебе поверит, на сверхурочную работу встанет, лишний кирпич выгонит, чтоб эту картошку оплатить. Пошел бы ты навстречу такому предложению?..

— Пойти-то пошел...

— Так в чем дело?

— В малом. За морем телушка — полушка... Ты, может, на Америку укажешь, там тоже кирпичные заводы есть. Лелюшино-то не под боком.

— К Лелюшино железная дорога проложена.

— У меня там родня не работает.

— Работают опять такие же рабочие, которые не калачи с маслом едят. Пообещай картошки и муки — перекинут твой кирпич, найдут способ.

— М-да-а... А не нагорит нам за такой шахер-махер?

— Я тебя не на взятку толкаю. Не начальнику мешок, не снабженцу подачку — предприятию, учреждению, с документами по всей форме, чтоб комар носу не подточил.

— Соб-ла-азн!

И вправду соблазн, да еще какой. Все колхозы кругом — еле-еле душа в теле, а тут дорога в рай — новая конюшня, коровник, свинарник, о таком и в добрые времена мечтать погоди.

Но вот ведь странно: в добрые времена не мечтай, а сейчас, когда кругом худо,— делай мечту былью, куй железо, пока горячо.

Со станции потянулись подводы — везли кирпич, стекло, кровельное железо, олифу в огромных бутылях, упрятанных в плетеные корзины... Никакого шахера-махера, не сам Евлампий, а начальство с кирпичного, начальство со строек выискивало нужный пунктик, чтоб по нему составить законную бумагу — вы нам, мы — вам, квиты. Кто сомневается — просим. Не слишком разговорчивый Иван Слегов брался за костыли, ковылял к шкафам, вынимал нужную папку: «Читайте. Продокументировано».

Евлампию только намекни — вон висит спелое яблоко, а как через забор перелезть, как сорвать — не сидячему Ивану указывать.

Пийко Лыков перерождался у всех на глазах. Давно ли к каждому подкатывал: «Лежишь, добрый молодец? Жирок нагуливаешь?.. Лежи, лежи, а я поработаю». Золотой характер, и штаны носил с заплатами. Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают, а встречаться приходилось с директорами заводов, с начальниками строительств, могут принять за несерьезного человека: по-крупному ворочаешь, у самого же на неприличном месте заплаты. Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах.

Конюх Степан Зобов, вывозя по распутице мешки с цементом, стер до мяса холку лошади. В другое бы время Евлампий его журил: «Себе вредишь. Безобразно относишься». Теперь припечатал:

— За то время, пока лошадь лечится, высчитать убытки!

Степан по старинке лягаться начал:

— Эт-то как?! Да я за вожжи больше не возьмусь! По распутице тяжесть вез, клятое дело!

— Вожжей в руки не возьмешь?.. Что ж, снять с конюхов. Поставить на рытье фундаментов, где глина покруче.

Не прежние времена.

А счетовод Иван Слегов сидел в своем закутке. С ним никаких перемен — небрит, порыжевший пиджачок на плечах, больные ноги спрятаны в теплые валенки.

К нему Евлампий Никитич с почтением, даже сердечно: «Иван — мой посох». Евлампий опирается на Ивана, Иван на костыли, которые подарил Евлампий, — квиты, выходит.

Подводы кирпича и железа быстро слизнули излишки из колхозных амбаров, тем более что Лыков в этом усердствовал. Как и ожидал Иван — не хватило, аппетит приходит во время еды. Нужны арматура, трубы, какие-то решетки на сточные колодцы, вещи, о которых и слыхом не слыхивали в Пожарах.

— Как быть? — Евлампий Никитич сивкой-буркой встает перед столом своего счетовода.

— Покупать.

— На какие шиши?

— Я попридержал окончательный расчет по трудодням. Пускай в оборот.

Евлампий Лыков дыхнул растерянно:

— Как же, брат, это?

Иван смирнехонько согласился:

— Считаешь — нельзя, не покупай.

— До будущего года отложить ежели?..

— На будущий год такой вольготности может и не случиться. Все окажутся с урожаем, хлеб упадет в цене. А у нас, как знать, вдруг да назло в урожае осечка. Вот и откладывай.

Лыков дышит в лицо Ивану:

— На трудодень законный посягаем. На то, что твердо обещали... Мужика, выходит, своего обворовываем.

— Уж так и обворовываем? Чем наш мужик питается?.. Чистым хлебом. А в других деревнях что сейчас жрут?..

— На совесть народ работал, и расчет должен быть по совести.

— По чьей? — вопрос с ледком.

— Как это — по чьей? — удивляется Евлампий. — Разве у народа совесть одна, у меня — другая?

— А разве ты во всем согласен, скажем, с Пашкой Жоровым?

— Ну нет, не во всем.

— То-то и оно. По Пашкиной совести — не сули орла в небе, дай синицу в руки, плевать на новую конюшню, отвали лишнюю жменю ржи. Можешь ты, председатель, жить Пашкиной совестью? Если — да, то грош тебе цена.

— О совести ли мы говорим? — посомневался Евлампий.— Может, о взглядах? Они того... у Пашки — недоразвитые.

— А разве совесть не на взглядах замешена? Ворюга-прохвост, когда в карман лезет, тоже, поди, подходящими взглядиками на всякий случай запасается. Свои взглядики, своя карманная совесть, так-то!

— М-да...

— Как видишь, греха нет, ежели мы у совестливого Пашки ремешок на брюхе стянем.

Евлампий долго-долго ощупывает взглядом своего счетовода. На вид ничего особого: густая копна волос, пухловато-небритое, скучное лицо, прячет неживые ноги под столом, казалось бы, такой мухи не обидит.

— До чего ты, брат, зол, однако.

— Не ты ли в компании с пашками во мне доброту повыжег? — ответил сухо Иван и добавил: — А потом, я свой хлеб не хочу зря есть...

Евлампий поступал по-слеговски, не мог иначе. Иван ощутил свою силу: вот как оно оборачивается, слушай — не слушай, да ослушаться не смей.

А он сам мог и ослушаться.

Посреди села, у крыльца бывшего тулуповского дома, ныне колхозной конторы, открылась ежедневная «ярмарка». Из Петраковской, где когда-то презирали пожарцев, из других окрестных деревень стали сходиться мужики и бабы, то в одиночку, то целыми семьями с детишками, держащимися за подолы. Они предлагали — возьмите нас, не дорого просим, кусок хлеба для детей и для себя, на любую работу готовы.

Нет, они не падали с ног, не выглядели истощенными, правда, в глазах тоскливая сухость да движения вялые.

Все хотели видеть Евлампия Никитича, палкой не сгонишь с крыльца, пока не появится председатель хлебного колхоза.

И он появлялся, крепко сколоченный, широкий, с загривочком, уже начавшим наливаться багрецом, настоящий бог сытости, только огорченный и растерянный бог, отводящий глаза от ищущих взглядов. Он разводил короткими руками, отказывал:

— Куда мне вас, посудите сами. В селе — добрая тыща ртов, как прокормить, не знаю.

А слава о новоявленной житнице росла. Из города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не сосед-

ские мужики, хоть травкой, но кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей пенкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползал, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клекотом, сквозь дыры завшивевших лохмотьев — расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирнели, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали — куда таких, одного возьми из жалости, от других отбою не будет. А председатель еще трудодни обрезал, самим бы концы с концами свести.

Евлампий Лыков ловчил, старался не попадаться на глаза, отдал приказ: закладывать лошадей, усаживать незваных гостей на подводы и увозить обратно в Вохрово.

Словчить удавалось не всегда.

Так наскочил на одного: лицо подушкой, из водянистой в затхлую зелень мякоти — совиный нос, подушками и ноги, грязные пальцы пристрочены снизу, как пуговицы. Лежит в лохмотьях на крыльце, увидел председателя, поднял нечесаную голову.

— Возьми,— просипел.— Каменщик я. В Орле работал, подряды брал. Свое дело имел. Сам дюжиной работников заворачивал...

Евлампий Лыков хотел обойти стороной и, не сдерживая прыть в ногах, удалиться от греха, но следом на костылях выползал Иван Слегов — неудобно бросить калеку, гость-то поперек крыльца лежит, путь загораживает.

Иван навис над кучей тряпья, а из нее в упор чудовищно раздутая, со смытыми чертами, затекшими глазками физиономия, нос крючком из студенистой мякоти. И по лицу Ивана прошла судорога.

— Возьмите. Каменщик я.

Иван поперхнулся и выдавил:

— Возьми.

Евлампий, отвернувшись, зло всаживал в землю каблук сапога:

— Почему этому одолжение?.. Рад бы в рай... Всех не приголубишь.

— Кирпичи-то для строительства берешь?

— Ну, беру.
— Возьми и каменщика.
— Как звать? — повернулся тугим телом Евлампий.
— Чередник Михайло.
— Э, ребята! Отведите его... К Секлетии Клювишне. Пусть накормит да в бане пропарит.

Двое зевак-парней подхватили бродягу. Иван перевел дыхание, стал с привычной осторожностью спускаться со ступенек.

— Иван...— Евлампий задержал его за костыль, глаза прячет к земле, но голос решительный.— Вот что... Кому-то надо разбираться, может, и в самом деле в этих вороньих пугалах нужные нам люди есть.

— Как не быть,— настороженно согласился Иван.

— Так вот, тебе поручаю — вникай, расспрашивай, кого нужно — пригреем. На твою совесть рассчитываю.

Иван уставился на председателя, а тот — глаза в землю, но в скулах каменность, не трудно прочитать: «Прошу пока добром, но особо не перечь — прижму». Хорош: неудобно нырять с головой в людскую беду, ковыряться в ней, быть жестоким — «на твою совесть рассчитываю»,— ты отказывай. Принимать-то нельзя, это каждому ясно, колхоз не богадельня. Отказывай, будь ты жестоким, а я в сторонке, без тревог, не пачкаясь. Не многого ли хочешь, Евлампий Никитич? Не только за тебя мозгами шевели, но и еще грязь за тебя вылизывай, оберегай боженьку.

Иван сухо ответил:

— Не смогу, не справлюсь.
— Поч-чему? — поднял сузившиеся глаза Евлампий.
— Потому что каждого буду принимать, а ты мне сам этого не дозволишь.

И, освободив костыль из лыковской руки, Иван заковылял к дому.

Евлампий стоял, расставив ноги, глядел в спину. Иван ощущал этот взгляд до тех пор, пока не завернул за угол.

И все-таки Евлампий не стал настаивать, проглотил отказ. Самому приходилось разбираться с просителями.

А Михайло Чередник, принятый по счастливой оказии, стал потом в колхозе бригадиром знаменитой строительной бригады. Его наградили орденом, о нем не раз писали газеты...

ЧИСТЫХ-СТАРШИЙ, ПРОХОДЯЩИЙ СТОРОНОЙ ПО ИСТОРИИ

У самого входа, у дверей, на табуретке сидел скромно и тихо, как ученый цирковой слон, шофер Лыкова Леха Шаблов. Руки — клешни, красные, пугающе крупные, отдыхают на коленях вместе с шапкой, в лице — лепной сдобе — прячутся маленькие глазки, выражение пшеничного каравая, но сами глазки в тревожной готовности. При появлении старого бухгалтера громадные валенки шевельнулись, попытались без успеха втиснуться под табурет,— парень хотел съежиться, стать меньше.

Иван Иванович остановился, стал хмуро разглядывать: покатые плечищи, колени округло тупые, твердые, каждое что дно чугунного казана, руки на коленях, ломающие подковы,— сила позднего Лыкова.

— Леха...

И Леха Шаблов с радостной надеждой вздрогнул — к нему обращались, он нужен.

Голос Ивана Ивановича скучен:

— Стоит ли тебе глаза добрым людям мозолить? Шел бы... Сам понимаешь, кой-кому неприятно смотреть на тебя.

Обширное сдобное Лехино лицо стало деревянным:

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Этот парень с мускулами матерого медведя надеется, что собачья верность старому хозяину будет поставлена в заслугу.

— Молодые Лыковы вот вернутся с работы... Теперь тебе скандал ни к чему.

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Бухгалтер недовольно повел плечом, бросил взгляд на Чистых, словно говоря: «Ну что тут поделаешь? Не толкать же в шею быка».

Чистых этот взгляд понял как приказ, выпрямился — рот сжат, щеки надуты, круглые глаза строго выкачены. Приблизился к Лехе скуповато чинной походочкой, выдержал паузу.

— Иль не ясно сказано? — спросил он.

Леха молчал, уныло отводил глаза.

— Ну?! — тенорком прикрикнул Чистых.

— Чего — ну?

— А того, разлюбезный... Шапку надевай и — вот бог, вот порог. Быстренько!

Леха сидел в столбняке.

— Хочешь, чтоб я к телефону подошел!

— Я от Евлампия Никитича...

— Слышали! Не ломай, браток, комедию. Хватит! Ежели сию минуту не встанешь, звоню. От имени вот Ивана Ивановича, от имени всего колхозного правления попрошу участкового вывести тебя под пистолетом.

Леха минуту тупо глядел в пуговицу пальто на животе Чистых, наконец зашевелился, разогнулся, сразу вырос под потолок, чуть ли не на голову поднялся над долговязым лыковским замом, шире его втрое, страшный деревянным выражением своего лица. Кто знает, что может прийти такому в голову, махнет клешнятой лапой — в стенку влипнет худосочный зам.

— Не заставляй упрашивать,— уж не столь напористо повторил Чистых.— По-доброму...

По пшеничной Лехиной роже медленно разливалась краска, маленькие глаза становились колючими.

— Сволочи вы все! — зарокотал он глухим басом.— Чем я хуже?..

— Н-но! Но! — Чистых подался назад.

— Чем хуже тебя, гнида?.. Не самовольствовал, исполнял что приказывали. Ослушаться-то никто не смел. И ты тоже. Теперя съесть готовы, кры-ысы! Под пистолетом еще...

— Но! Но! По-доброму просим.

— Ляпнуть бы тебе по-доброму, чтоб копыта откинул. Ишь, чистый! Ух бы, махнул! Да дерьмо тронешь — вонь пойдет.

Леха рывком натянул шапку, согнулся под притолокой, толкнул дверь.

Чистых облегченно перевел дыхание, постоял, глядя на захлопнувшуюся дверь, и с виноватой неловкостью — «за скандальчик извините» — повернулся к бухгалтеру.

На жирном, желтом лице Ивана Ивановича ничего нельзя прочесть — покойно, словно и не было скандала.

— Не понимаю,— поспешно заговорил Чистых,— Евлампия Никитича не понимаю. Из-за такого Лехи в глазах людей себя ронял.

Иван Иванович из-под заплывшего века, из глубокой щелки остро взглянул на лыковского зама, ухмыльнулся:

— Осуждаешь?

— Ну, мне ли судить... А все-таки.

— Гм... Ты не Леха, не-ет.

— Иван Иванович! Какое может быть сравнение! Обидно слышать, право.

— Он — просто заяц, а ты, вижу, заяц отважный, из тех, какие помирающего льва лягают.

Чистых, к удивлению Ивана Ивановича, побледнел, взгляд стал совиный, стеклянно-непроницаемый, и в голосе прорезалась взволнованная сипотца:

— Несправедливо же!.. А впрочем, думайте как угодно. Тут не убедишь. Но заявить уж разрешите: я Евлампия Никитича и сейчас не лягаю и лягать не стану, даже к стенке поставьте. Евлампий Никитич мне вместо отца родного.

— Поди, и Леха сейчас так же думает.

— Леха хозяина теряет. Только-то...

— Ты — отца?

— Не верьте, неволить не могу. Только напомню: из меня, может, бандюга-уголовник вырос, если б не Евлампий Никитич.

— У тебя ж отец родной жив. Его по боку?

— А что он для меня сделал? Только родил. На том и спасибо. Все знают, он ко мне, я к нему — с прохладцей. А свято место в душе пусто не бывает. У меня это место вот тут,— стукнул в грудь желтым кулаком,— Евлампий Никитич занял.

Заглядывая в округлившиеся, потемневшие глаза Чистых, Иван Иванович подумал: «Похоже, правду говорит. Не для всех Пийко — казенный человек».

Родной отец Чистых живет сейчас в Вохрове. Он старый враг Евлампия Лыкова.

* * *

Чем успешнее шли дела в колхозе, тем усерднее Евлампий Никитич мел пыль вокруг районного начальства, пуще всего боялся, как бы не приказали: делись с отстающими — пустят по ветру, долго ль. Помогали не ласковые слова, не улыбочки, а знакомства с директорами заводов, с начальниками строительств, которые снабжали колхоз стройматериалами.

В районном клубе, переоборудованном из старой церкви, протекала крыша, по этому поводу собирались совещания, принимались решения, посылались в область запросы, а крыша текла себе и текла, даже на макушку выступавшего с очередным докладом секретаря вохровского райкома Николая Карповича Чистых. И вот тут-то Евлампий Лыков выступал в роли спасителя: через влиятельных знакомых доставал кровельное железо, создавал вокруг себя мнение — полезный человек. До поры до времени район не вмешивался в жизнь села: строятся — похвально, так держать!

Но вот начали вылезать из голодного года, подсчитывали ресурсы — к весне не хватало семян. В село Пожары приехал сам секретарь Чистых.

Среднего возраста, среднего роста, средней наружности, одет средне — поношенный пиджак, галстук, тщательно расчесанные негустые волосы, лицо моложавое, но было в нем что-то особое, «останавливающее». Умел глянуть сквозь, сказать, не повышая голоса, чтоб собеседник ответил октавой ниже, обронить слово «товарищ» так, чтоб всякий почувствовал — держи дистанцию. Он имел за спиной не обширную, зато ничем не запятнанную биографию — не участвовал в оппозициях, не примыкал к группировкам, не имел отклонений, не получал ни выговоров, ни на вид,— этим гордился, при случае разрешал себе напомнить: «Я перед народом чист как слеза».

С ним одним Евлампий Лыков не сошелся на короткой ноге, хотя и старался вовсю: не только крышу на районный клуб, даже для усиления агитации кумач раздобыл — революционные-то лозунги по сельсоветам писали на старых обоях и газетах.

Чистых, не посоветовавшись заранее с Лыковым, собрал в колхозе узкий актив, выступил с предложением: выручить район, сдать сверх плана на семена столько-то пудов.

Сдать?.. Лыков еще осенью перегнал на цемент и стекло все хлебные излишки. Поздненько спохватился товарищ Чистых — мы теперь оконным стеклом богаты, не семенами, самим бы посеяться. Попробовал осторожненько убедить в этом.

Ну нет, не на того напал.

— Новую конюшню заканчиваете?— спросил Чистых.

— Заканчиваем.

— Новый коровник заложили?

— Заложили.

— Свинарник новый собираетесь строить?

— Да, собираемся.

— Так что же вы беднячками незаможними прикидываетесь? Сдать!..

— Сдадим, а в новом свинарнике свиней будем кормить чистым воздухом?

— Тов-варищ Лыков! У нас людей кормить нечем, а вы — свиней!

— Но свиней-то растим не для господа бога, для тех же людей!

Евлампий Лыков до сих пор никогда круто не возражал районным властям — бог миловал, а тут понял: отступать нельзя, накупил горы кирпича, цемента, хозяйство висит на струнке, легкий толчок... и ухнет вниз, сиди тогда среди штабелей драгоценного кирпича и кукарекай. Сдай! Нет, каждая горсть зерна наперед учтена. Сдай! Невозможно! Нашла коса на камень. Активисты, глядя на своего председателя, тоже уперлись.

Чистых поиграл желваками, со стеклянным блеском в глазах пообещал:

— Ну, тов-варищ Лыков, придется в отношении вас пойти на крайние меры.

Крайняя мера — долой с председателей! Лыков прикинул: сам Чистых без народа, без общего собрания колхозников снять его не посмеет. Ну, а на собрании посмотрим, народ-то должен тучей подняться за Евлампия Никитича, который блюдет его интересы, кормит не травкой-муравкой, а хлебом без мякины.

Наступление началось издалека, с глубокого тыла, из района. Чистых не трудно было разделаться с теми, кто в районных организациях за старые заслуги выгораживал пожарского председателя. Вынырнул на свет божий некий Семен Семенович Никодимов, кому суждено заменить не оправдавшего надежд Лыкова. Осталось одно — провести через общее собрание колхозников, заручиться поддержкой народа.

А в народ-то Евлампий Лыков верил, народ понимает свои интересы, стеной встанет, Никодимов какой-то, слыхом не слыхали, в глаза не видывали. Ну, дорогой товарищ Чистых, держись, дадим бой! Вспомни-ка: с активом не справился, а тут — массы, силища!

Евлампий Лыков верил и... чуть промахнулся:

Он малого не учел — обиженных, вроде бывшего конюха Степана Зобова. Их за последний год поднабралось — не дал лошадь пахать усадьбу, задержал на потраве хлебов коров, просто обошелся резко — мало ли чего не случалось, всем мил не будешь. Нет, их не большинство, двух рук хватит, чтоб по пальцам перечесть, не масса, но обижены.

Довольному достаточно сохранить то, что имеет. На то он и довольный, чтоб не рисковать. Обиженному терять нечего, он даже может и выиграть, если полезет на рожон.

Приехал сам Чистых проводить собрание. Довольные в присутствии высокого начальства молчали. Степаны Зобовы, уловив, куда ветер дует, старались вовсю, кричали с надрывом, только их голоса и были слышны:

— Своевольничает! Жизни нет! Ишь, загривок-то отрастил!

И товарищ Чистых с охотой их голоса принимал за глас народный.

Кричат единицы, остальные молчат, вот тебе и в массах сила.

Собрание кончилось. Чистых бросил Лыкову:

— На днях получите окончательное решение. Сдадите дела. Придется рядовым колхозником завоевывать авторитет. Эт-то потрудней.

Лыков смотрел в пол.

Народ поспешно расходился, все старались не глядеть на развенчанного председателя.

В пустом зале у дверей, пригорюнившись, стояла Секлетия Клювишна, бабка-уборщица, ждала терпеливо, когда очнется председатель, чтоб закрыть на замок контору.

Евлампий поднялся с натугой, устало побрел к выходу.

— Ох-хо-хо! — вздохнула Секлетия.

Он, переступая порог, пьяно ударился плечом о косяк.

— Охо-хо! Господи!

На темной дороге кто-то широкий и приземистый месил грязь. Евлампий Никитич нагнал — Иван Слегов на костылях, последний с собрания, все остальные уже разбежались по домам.

— Иван...— Тот, работая костылями, оглянулся — под шапкой глаз не видно.— Иван, слышал?.. Молчали!.. Что ж это? А?.. Что такое?!

— Жизнь,— короткое слово, как клок бархата, ровным баском.

Евлампий закричал тонким от горя голосом:

— Не жизнь это — бл......! Жизнь-то покатится, что бочка с горки! Никодимов какой-то! Он вас не пожалеет, на распыл пустит.

— Может быть.

— И ты спокоен?

— А я волноваться-то отучился.

— Все молчали! Бараны! Их под обушок ведут!.. Ты-то умней других! Ты-то лучше меня знаешь, чем все это пахнет! Тоже молчал!!

Крепкая, накаченная костылями рука Ивана взяла за локоть, повернула Евлампия лицом к себе. Глаз не видно под шапкой, только рот да упрямый подбородок.

— Ты много от меня хочешь, Пийко. Совет в делах — готов, спасать тебя — уволь.

Евлампий Никитич стоял посреди улицы, смутно различал, как борется в темноте со своей немощью Иван Слегов.

«На днях получите окончательное решение...» Но с решением пришлось повременить. В области собиралось крупное колхозное совещание, оттуда запросили — командировать Лыкова как участника. В последнее время фамилия Евлампия Никитича уже постоянно мелькала в отчетах — вверху знали, есть такой.

Сообщи — не может выехать, потому что снят, значит, и объясни — почему. Значит, не исключено, налетишь на упрек — разбрасываетесь кадрами, не занимаетесь воспитанием. Там, глядишь, заставят пересмотреть решение, потребуют ограничиться выговором. Пусть прокатится, а как только вернется — решение о снятии будет уже ждать. Обречен.

И Лыков это понимал, надеждами себя не убаюкивал. Однако — терять-то нечего — готовился дать бой, выступить с высокой трибуны, видите, мол, дорогие товарищи, председателя на издыхании, снимают!..

Впервые он присутствовал на таких больших совещаниях — людей без малого тысяча, его затерли где-то в задних рядах, самый неприметный, таким счет ведут даже не на дюжины, а на круглые сотни. В кармане —

заветная бумажка, назубок ее выучил, со сна спроси — не запнется. Бумажка с жалобой, стон и вопль души.

Но шло совещание, и час от часу все сильней он впадал в уныние. Что его жалоба!.. Область вылезала из тяжких голодных лет. Чего только не рассказывали с трибуны: в таком-то районе заставляли сеять сопревшей рожью, а в таком-то и вовсе не засевали, в отчетах пером выводили цифру — засеяно.

Конца нет жалобам, каждый норовит выставить свою нуждишку, надеется на помощь. У него, Евлампия Лыкова, сравнить с другими, беда не так уж горька.

Бумажка жжет карман, она выучена назубок. Грош цена этой бумажке!

И тут-то Лыков смекнул: не след слезу пускать, без нее — море разливанное. Он начал про себя сочинять другую речь.

С далекого красного стола на сцене председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Лыкову, председателю колхоза из Вохровского района.

Пора... Лыков, наступая на ноги, выбрался к проходу, зашагал по длинному ковру, продолжая сочинять речь.

— Товарищи!..

Тысяча голов, тысячи глаз, только что сидел неприметный в заднем ряду, никто и не подозревал о твоем существовании, пробил час — к тебе внимание.

— Товарищи! Тут я слышу — все больше жалуются на жизнь. А у нас нет охоты жаловаться и слезы лить...

Тишина. Внимание.

— Да разве можно нам жаловаться, товарищи, когда в прошлом году мы получили по сто пудов с гектара, а в этом поболее...

Аплодисменты смяли тишину. Они прокатились от передних рядов к задним — и снова тишина, снова внимание. Заметил: у тех, кто сидит поближе, широкие улыбки на лицах. Эх, люди, люди, осточертели вам жалобы, черно от них, как вас не понять. Наверно, у каждого сейчас в голове вертится нехитрая мыслишка: раз где-то люди уже хорошо живут, значит, и мы жить будем.

И Евлампий Никитич не давал опомниться, хлестал фактами: строим то, строим это, собираемся строить... Тишина. Слушают!

— Мы, товарищи, твердо взяли курс на индустриализацию села!..

И тут-то зал грохнул. «Индустриализация» — святое слово, святее нет, оно в каждой газетной статье, в каждом докладе, в каждом лозунге на стене. Но ведь это-то слово всегда связано с городом, с заводскими трубами, с прокатными станами, а тут село, бывшие лапотники, такие же, как все. Взяли курс, а мы что, лыком шиты, нам топать по той же дорожке. Зал грохал аплодисментами.

Где-то в зале Чистых, интересно — аплодирует он или сидит сложа ручки?

И Евлампий Никитич ни слова не обронил, что его снимают с работы. Зачем? Пусть теперь попробуют.

Ему не дали спуститься в зал, к своему месту. Секретарь обкома, с революции прославленный человек, встречавшийся с Лениным, член ЦК, поднялся, аплодируя подошел к трибуне, взял Евлампия Никитича за локоток, повел к столу президиума. Какой-то военный с ромбами на петлицах уступил свой стул — честь тебе и место, товарищ Лыков, ты наша краса, наша гордость.

Через год Лыкова от области выдвинули делегатом в Москву на Первый съезд колхозников-ударников.

Этот съезд был праздничным. Как давний сон вспоминались первые годы коллективизации — скот, сгоняемый со дворов, кулацкие семьи с сидорами, идущие на высылку, угрозы и слезы, проклятия и жалобы, «головокружение от успехов». Позади пироги из куглины, детские вздутые животы, заброшенные поля, заколоченные деревни. Позади и угрюмое, упрямое мужицкое недоверие к колхозам: «Рази можно? В семье свары, а в артели-то в общей куче и вовсе друг дружке горло перегрызем». Оказывается, можно — не перегрызлись, живы, справились с недородами, снова стали есть досыта, на базары повезли... И город ожил, забыл карточки, в магазинах и сыры, и колбасы, и конфеты на выбор. Наверное, по всей стране великой, от Балтики до Тихого океана не было ни одной самой маленькой деревни, которая бы не поднялась, не воспрянула. Можно артельно!..

До коллективизации трактор считался диковинкой, появлялся не столько для работы, сколько для показа — стар и мал высыпали, чтоб поглазеть: «Ох, страховиден!

Ох, керосином воняет! Сошка-то к земле привычней». А теперь никто и головы не повернет на ползущий по полю трактор. Даже комбайн не диво, а скажи раньше мужику, что есть такая машина — сама жнет, сама молотит, сама солому копнит — махнул бы рукой: «Бабьи сказки!»

И бабы нынче полезли на эти трактора, на эти комбайны. Бабы, которым испокон веков мужик доверял только три «механизма» — печь, прялку и серп, коса уже считалась не к бабьим рукам. Гремят по стране имена Марии Демченко, Паши Ангелиной, Полины Виноградовой...

Праздничный съезд колхозников. Всем казалось — трудности позади, впереди лишь победы, ведущие в сказочные времена, к молочным рекам и кисельным берегам.

Лыков не сробел, выступил с той же трибуны, с какой говорил свое слово сам Сталин. Правда, шуму особого не наделал — не областной масштаб. Да навряд ли Евлампий Никитич смог теперь удивить кого и в области — многое изменилось за один год, появились колхозы, догонявшие лыковский.

Однако, кой-кого потесня плечом, Евлампий сумел пролезть, снялся на фотографии вместе с вождем. На одной фотографии со Сталиным!

На этот раз на станции его встречала целая делегация во главе с товарищем Чистых. Чистых жал руку, поздравлял, но глаза отводил. Не любили они друг друга, жили по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры». С районными уполномоченными Лыков теперь обходился суровенько: «Сами с усами».

Дома же, в конторе, сидел, прислонив к креслу костыли, угрюмый, буднично небритый, начавший уже наживать бухгалтерские мешочки под глазами, Иван Слегов. Вместо поздравлений он известил:

— Пахнет дракой, Евлампий.

— Какой дракой? С кем?

На самом деле, кто в Вохровском районе осмелился сейчас поднять руку на него, председателя Лыкова, увековеченного для истории на одной фотографии с самим Сталиным?

— Как бы Чистых тебе синяков не наставил.

— Синяков?.. Хм... Только что под локоток провожал.

— Мало ли что. Похоже, слабую жилу у нас нашел.

— Какую?

— Приусадебные участки.

Сталин заявил на съезде, что колхозник имеет право на личное приусадебное пользование землей, им была даже произнесена цифра — двадцать пять соток.

Не кто иной, как Иван Слегов, год назад посоветовал урезать приусадебные участки колхозников «Власть труда» до пяти-шести соток. С ним согласился Евлампий Лыков.

Во время сева дорог каждый час, каждая пара рабочих рук, а колхозникам приходится копаться на своих огородах — раз нарезали землю, то должна же она быть обработана. Большой участок лопатой не вскопаешь, требуется лошадь, а отрывать лошадь в разгар сева от колхозной пахоты — совсем не дело. И велика ли нужда в больших личных огородах? Колхозник засеет их картошкой, но такую же картошку он получает и на трудодень, как и зерно, как и овощи. Для чего колхознику разрываться надвое между колхозной работой и своей усадьбой, не лучше ли оставить ему под домом клочок землицы на несколько грядок, чтоб был лук под рукой, морковь, свекла, капуста свежая в щи? Несколько грядок много времени и сил не отымут, обрабатывай их вечерами, на досуге, по-семейному, и лошадь не проси. Колхозники особо не возражали — участки и для них бремя, вечный раздор с бригадиром за лошадь. Зачем возиться со своей картошкой, ежели ее можно получить из колхоза.

Но сам Сталин...

Э-э нет, дорогой товарищ Чистых, нас этой дубинкой не пришибешь — подкованы, отлягнемся.

Евлампий Лыков стал ждать, когда Чистых нагрянет в колхоз.

Чистых не нагрянул, он вызвал к себе Евлампия Лыкова, на бюро.

— Вам — что, слово вождя не указ? Не желаете шагать в ногу со страной? В славе купаетесь? Слава-то глаза застит, смотреть трезво мешает! Вы думаете, что уж так высоко взлетели, что вас никто рукой не достанет? Ошибаетесь! Кто вас поднял из низов на высоту? Мы подняли! Мы — народ и партия! Нужно будет, мы и стряхнем с облаков на землю!

Лыков пробовал показать зубы:

— Словом-то товарища Сталина не прикрывайтесь. Вы это слово неверно понимаете. А потом, разве вы,

товарищ Чистых,— народ? Разве партия — вы один? Я тоже в партии и уж никак не по вашему желанию из народа-то вырос...

Но Чистых прятал тяжелый козырь. Им-то он и пошел:

— Лыков не согласен с товарищем Сталиным, готов его поправить. Что это — чванство или самовлюбленность? А может, что-то похуже?.. Оглянемся назад, вспомним, с чьей помощью прославленный Лыков начал свое хваленое строительство? У кого он брал, скажем, кирпич? Не припомните, дорогой Лыков, у кого именно?

— Помню и в документах представил,— ответил ничего не подозревающий Евлампий.— На Лелюшинском кирпичном заводе.

— А кто им тогда руководил, этим Лелюшинским заводом, не вспомните?

— Почему же, помню: товарищ Шаповалов.

— Ага! Память хорошая... Так вот, этот ваш старый товарищ на днях...— Чистых с суровым торжеством оглядел всех,— на днях арестован! Да! Как троцкист! Отсюда вывод: не следует ли нам повнимательней прощупать вас, Лыков? Ведь рука руку моет...

И даже те из районных работников, что сочувствовали Евлампию Лыкову, шарахнулись в сторону.

Чистых выдвигал нешуточное обвинение, надо было срочно принимать меры.

Какие?

Обком! Только там могли обуздать Чистых. Первый секретарь обкома, тот самый, кто после памятного выступления усадил Евлампия Лыкова рядом с собой за стол президиума, в обиду не даст — пожалеет Чистых, да поздно будет.

Евлампий сел за письмо: разберитесь, поддержите, оградите от незаслуженных обвинений — крик о помощи!

Письмо он кончил писать поздним вечером, а утром добежал до почтового отделения и сунул в ящик возле дверей.

— Газетки возьмите! — голос Лизки-почтарки, только что выскочившей из дверей почты с нагруженной сумкой.

Взял свежие газеты, пошел в контору, отдал газеты Ивану Слегову, сам было рванул к дверям — в поля, на ветер, где легче дышится, где обступают привычные заботы.

Но удивленный возглас Слегова остановил его на пороге:

— Вот так та-ак!

— Что?!

— Веселые дела: косой по шее — и головы нет.

— Что там?

— В нашей области открыта вражеская группировка. Арестованы...— И Слегов начал читать фамилии.

Евлампий бросился к столу, вырвал газету.

Нет, не ослышался — первой в списке стояла фамилия того, на чью помощь он рассчитывал.

Весь в поту, он побежал снова на почту, сунулся в окошечко, стал объяснять:

— Клаша, дорогуша, я тут письмо опустить поторопился... Деловое. Оказалось, нужно там кой-какие уточнения сделать... Очень важные... Открой ящик, пожалуйста, выуди оттуда...

Письмо врагу народа. Письмо, просящее у врага помощи. Этим письмом заинтересуются, автора письма возьмут на прицел. А этот автор уже на крючке.

Заведующая Пожарским почтовым отделением Клашка Коробова, соседка Лыковых, рада была услужить, но...

— Мы отправили почту, Евлампий Никитич. Только что. Ну, десять минут назад подвода отошла.

— А ежели я на лошади, верхом... Ведь нагоню же?

— Нагнать-то их и пешком не трудно. Кони у нас, сам знаешь, развеселые.

— Вот и добро, вот и слава богу... Я сейчас на конюшню и быстренько...

— Не утруждайся зря. Письмо-то в общей почте, а почта опечатана. Никто ее до места вскрыть не имеет права...

— Что же делать?

— Новое письмецо напиши, с поправочками.

— А ежели я в Вохрово сейчас, на почту-то, раньше ваших прискачу?

— Тогда другое дело. Заявление напишешь — отдадут.

— За-аяв-ление!..

Письмо-то на имя врага, письмо-то, просящее у врага помощи. Писать заявление, вызывать к письму интерес. Ну нет, авось пронесет.

И Евлампий Лыков стал ждать, успокаивая себя — как-никак он человек заслуженный, на одной фотографии снят с товарищем Сталиным... И сам понимал, сколь зыбки эти утешения.

Евлампий ждал, бегал по полям, по фермам, старался как можно больше бывать на народе. Среди людей легче, среди людей и под солнышком, под светом белого дня. Зато ночами лежал и вслушивался в каждый звук за окном, не смыкал глаз.

А давно ли встречали его из Москвы, жали руки, произносили речи?.. Давно ли?.. Скажи кто-нибудь в те дни, что Чистых так оседлает, посмеялся бы — у мужицкой лошадки, мол, тоже копыто твердое... Ночами не спалось.

Не ночью, а ясным днем пришло известие. Лизка-почтарка принесла ему шершавую, в голубизну, бумажку, отпечатана в типографии, только его фамилия проставлена от руки, фамилия, день, час — вызов в районный комиссариат внутренних дел с остережением: «В случае неявки в указанный срок...»

Запряг лошадь, поехал. В начале дороги знобило, потом словно окаменел, а когда входил в комнату начальника, чувствовал себя даже спокойным: «Была не была, какой да ни на есть, но конец. Все лучше заячьей жизни».

Начальника Бориса Марковича Осокоря он знал, как и всякого из районного побочного начальства, приходилось здороваться за руку, сиживать за одним столом. Борис Маркович Осокорь был тихий, какой-то печальный человек, глаза застойные, как у замученной лошади, до синевы выскобленный подбородок и большой, вечно сомкнутый рот. Даже военная форма со скрипящими ремнями не придавала ему внушительности — спина сутулится, гимнастерка на груди висит мешком. На заседаниях он обычно молчал, был чем-то вечно озабочен, может, семейными делами — ходят слухи, жена у него погуливает с учителем физкультуры.

И кабинет у Осокоря обычен: стол с пресс-папье и дешевым чернильным прибором, стулья вдоль стены, окно, о которое зудяще бьется залетевшая оса, над столом портрет — сухощавенькое личико подростка, недавно объявившийся «железный нарком» Ежов. За столом — чисто выбритый, устало печальный хозяин. Евлампий Лыков подумал: «И в такой-то скуке прячется твоя беда... Была не была...»

Осокорь протянул из-за стола руку, пригласил:

— Садитесь, прошу.— Извинился с ходу: — Простите, что в горячую пору отнимаю время.

Ишь ты — «простите», а в бумажке-то, что лежит в кармане, сказано: «В случае неявки в указанный срок...» — без всяких «простите».

Усаживаясь, старался глядеть как можно невиннее, производил впечатление.

— Что вы можете сказать нам о Чистых Николае Карповиче?

— Как — что? То, что все знают.

— Не кажется ли вам, что этот... гм... Чистых не очень, и весьма даже, расположен к вам лично?

— Борис Маркович! Я уважаю товарища Чистых, принципиальный, честный... И характер у него... ну, непреклонный, что ли... И конечно, он бдителен... Но...

— Но с вами он поступал возмутительно! Вы ведь гордость нашего района.

— Возмутительно?.. Я этого не говорю... Просто мне казалось, возможно, я ошибаюсь, если не так, вы уж, пожалуйста, поправьте...

— Ну, ну проще, по душам.

— Ежели по душам, то товарищ Чистых кой в чем передергивает...

— Евлампий Никитич, вот вам лист бумаги, присядьте сюда, вот чернила, вот ручка... Прошу... Напишите, в чем передергивает Чистых, какие выпады он по вашему адресу совершал, как он порочил ваше громкое имя...

— Но...

— Никаких — но! Не стесняйтесь... Скажу по секрету: он пытался на нас оказать давление, и даже весьма сильное. Наши органы не клюнули на эту удочку. Так что никаких «но». Пишите.

За твоей рукой, из-за твоего плеча следят чужие глаза. В другое бы время путались мысли, выпадало перо, и при полном-то покое Евлампий Никитич был не мастер сочинять, но сейчас он собрал себя в кулак, а потом недавно писал письмо в обком, к тому... Памятью бог не обидел — письмо он помнил слово в слово.

— Не миндальничайте. Смелее!

Странно. Может, это ловкий ход самого Чистых? Гаданием делу не поможешь. Была не была! Сказал «господи», скажи и «помилуй».

Товарищ Осокорь прочитал написанное и в общем-то одобрил:

— Мягковато местами. Не то чтоб весьма, но мягковато. И величать его товарищем, в общем, не обязательно... Подпись поставили? Ну и прекрасно... Спасибо за помощь, Евлампий Никитич. Весьма вам обязан.— Протянул вялую, влажную руку: — Маленькая просьба: ни один человек до поры до времени не должен знать о существе нашего разговора.

— Ясно, Борис Маркович.

Ни черта не ясно.

Светило солнце, голубело небо над головой, ветерок гнал волны по полям начавшей белеть ржи, лошадь везла его домой.

Навстречу пылила легковая машина, крытая брезентовым верхом, единственная легковая машина на весь район. Она проскочила мимо, обволокла лошадь и Евлампия пылью, мелькнула физиономия Чистых с упрямыми крепкими щеками. Чистых, конечно, узнал Лыкова,— нельзя было не узнать,— но машины не остановил, не скосил глаз в его сторону, не удостоил внимания...

Чистых и Осокорь в сговоре, они-то друг к другу ближе, рука руку моет, не трудно договориться, как утопить колхозного председателя с нашумевшим именем. Но что-то есть необъяснимое,— как, например, понимать брошенные вскользь слова: «И величать его товарищем не обязательно?» Что бы все это могло значить? Ни черта не ясно! И весьма даже!

Ясно стало через пару дней — Чистых арестовали. Чистых, а не Лыкова!

В районе, как всегда, созывались совещания, пленумы, партконференции, везде клеймили Чистых — подлый выродок, продажный наймит, запутался в связях, проводил вредительскую политику, и вот вам пример — намеревался опорочить одного из лучших по области председателей, развалить лучший колхоз...

Лыков родился в рубашке. Новое начальство трусливо заискивало. Еще бы, имя Лыкова приобрело такую угрожающую силу, что он и сам его боялся.

Спустя полгода арестовали Бориса Марковича Осокоря. А Лыкова — нет! Никто даже не ведал, что он

когда-то послал письмо на имя уже обезвреженного врага, у врага просил помощи. Где-то это письмо счастливо затерялось.

В рубашке родился Евлампий Лыков!

* * *

Старый Чистых отбыл в дальних краях почти двадцать лет — начисто облысел, сморщился, потерял зубы. После реабилитации вернулся в Вохрово сразу, получил партбилет, пенсию, комнату,— руководящей должности уже не предложили. Николай Карпович любил с важностью повторять: «Я перед своим народом чист как слеза». Этой чистоты он требует и от других, посвятил себя искоренению недостатков, во все инстанции пишет жалобы: в парикмахерских очереди, при коммунальной бане не торгуют мылом, продавщицы в магазинах хамски ведут себя с покупателями, такой-то ответственный работник пьет горькую... Имя одного человека он никогда не упоминал ни устно, ни письменно — Лыкова. Зато о сыне своем он отзывался кратко: «Лизоблюд!» К сыну в гости никогда не приезжал, даже внуков, неизвестно, видел ли в глаза. Молодой Чистых отца все-таки навещал, навряд ли часто и навряд ли охотно.

Евлампий Никитич вместо отца родного... Что ж...

ЧИСТЫХ-МЛАДШИЙ

Примерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пожары произошел маленький случай.

Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли — не любил слушать тишину в доме.

Раз он тащил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.

В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-гене-

ральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.

— Что за митинг?

Бабы, издали заметившие ковылявшего бухгалтера, все как одна прорвались хором:

— Гостюшки ночные объявились!

— На запашок прискакали!

— А ведь молоденькие, мо-ло-денькие!

— Не стыдно небось зенками-то лупать...

— Цыц! Закудахтали, бесхвостые! — стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальяжной картинностью отступил.— Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.

На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вырван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синяк под глазом.

— При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление...

— Оно и видно, жизнь подвергал опасности.

— Ну не то чтобы уж жизнь,— заскромничал Трифон.— Это, значит, марширую я мимо старой кузни, но ухо держу востро, службу помню...

Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в коптильню. Коптили свиные окорока и грудинку — дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотничка, сломав замок.

Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.

Тот, у кого фонарь под глазом,— длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светлые, круглые — совенок.

— Как фамилия? — спросил его Лыков.

— Чистых.

Лыков долго молчал, посапывая.

Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной стан-

ции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался. Выходит, промышлял.

— Хочешь стать человеком?

Парнишка заплакал.

Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал:

— Хлипок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь щупать замки. Ты сколько классов кончал?

— Восемь.

— Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.

Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудодней в месяц, угол в доме одинокой Клювишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище — Приблудный.

С первых же дней он отличился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки — подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе, там за это лишний трудодень подкидывают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди — назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга — ты в колхозном стаде яловая корова. Избач — самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.

И надо же, Валерка Приблудный обратил...

Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идейку — никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.

Своя история... Всем это понравилось, а больше всех Евлампию Лыкову.

И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет конечно, но все-таки... Не зря же вспомнили: полтрудодня на сутки получает, не густо, у ночного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудодень — можно

уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить деньжат на новые сапоги.

Решением правления Валерке выделили даже особый фонд — конечно копеечный — «на восстановление утраченных материалов по историии колхоза». Впрочем, Валерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет — те, что до его прихода были раскурены из читалки,— искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.

Конечно, Валерка сообразил, что Евлампию Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.

По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.

Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова, он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.

Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каждую его удачу — в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой,— Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов — уже не простой счетовод, подымай выше — главный бухгалтер. У него целый штат — счетовод-помощник, делопроизводитель, кассир. Все они ютились в одной комнатушке, вытеснив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея,

шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не штаб процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.

Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное — милости прошу.

У Ивана Ивановича Слегова — отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира — тяжелый несгораемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.

У Слегова — апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова — районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета озими — персональный, другой под кумачом — заседайте с удобствами.

На столе Лыкова — чернильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно в музей пойдет; на красном столе — графины с водой, не один — несколько, захотел пить — изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так понравились, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.

Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежке. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки, верхняя — для толстых книг — «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя — пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую — фикус, самим Лыковым у жены реквизированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, уборщице строго-настрого наказано поливать его каждый день.

Выше самого председателя — вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки.

И попасть в эти с любовью оформленные покои мож-

но было только через маленькую проходную комнатушку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы — ты уже у председателя, ан нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.

У таких дверей положено сидеть специальному человеку — личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.

Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.

У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей нуждишкой — э-э нет, не спеши.

— В чем дело? — круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.

Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!

Валерка женился, не с разбегу — с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.

Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собиравшуюся родить.

* * *

Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснять родственные чувства Валерия Чистых — кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? — желания не было. Пора восвояси.

— Иван Иванович! — У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.

Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:

— Ну, что тебе, голубчик? Что-то ты от меня хочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.

— Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчасика. Не думал, что мы тут так быстро...

— Вот как. Вроде бы в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?

— Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Разговор серьезный. И по душам хотелось бы... Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.

— Что ж, раз машину спровадил... Давай.

— Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда...

Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.

За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.

— Сюда... Осторожненько, тут порожек.

Узкая комнатушка с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.

— Ольга Максимовна, уж извини...

Ольга покорно поднялась.

— Извини, у нас важный разговор.

Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо, словно вымоченное, выжатое, да так и высохло — в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе — вяжут корзины, чинят сбрую,— и уж никак не Евлампию Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик — только-только перевалило за пятьдесят,— и трудилась не больше других, и родами не измучена — выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочалила?

— Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся,— сказал Иван Иванович.

— А мне все одно, где,— равнодушно отозвалась она.

— Странная ты баба — скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?

— Разучена,— бесцветно обронила Ольга.

— Что — разучена?

— Да все... Горевать, радоваться...

— Ну и ну!

— Устала я! О господи!

Она вышла, тихо прикрыв дверь.

— Не обращайте на нее внимания,— успокоил Чистых.— Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я — на стул, он хроменький.

В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленницы. В этом доме как-то все не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыковских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко невеселые».

Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то, он догадывался, о чем пойдет разговор.

За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются. По селу в каждой избе откровенно гадают — кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды — какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.

Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.

Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного...

Иван Иванович ждал, что разговор начнется издалека, с ощупкой, с пристрелкой — наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:

— Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.

— И у тебя, наверно, план есть?

— Да, есть.

— Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, послушаю.

— В прежние-то годы жизнь наша шла, как часы,— снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду, на примете, время по нему узнавали. А пружина... пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!

— Хм...

— Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто...

Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия:

— Яс-но! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.

— Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.

— Хочешь сказать: дедушка Иван, есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калеке, удобно, и молодец не останется в накладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?

— Ну и что? — смиренно признался Чистых.— Ловил бы ваше слово, считался с ним.

— Так сказать, починить подержанную пружинку.

— Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.

— Спасибо! Ой, спасибо большое, что уважил! Ведь в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в ногах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой, как не хочется! Когда-то метил — уж что скрывать! — в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь попробовать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и сидючи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчика найти не тугого на ухо. Я ему — шепотком, он — эдаким дискантиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!

Чистых, отвернувшись, спросил тихо:

— Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?

Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опухшими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчливо, с горечью:

— А что мне еще остается?

— Как что? — горячо вскинулся Чистых.— Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который станет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь — ломать, теперь — по-новому! Не-ет, добром не кончится.

— Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.

— Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, который бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово — вас послушают. Одно только слово! Назовите нужного человека — вам нужного! — поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе тоже знают — Иван Иванович Слегов слов на ветер не бросает.

— «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паиньку председателя...

— Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лыкова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.

— Тогда назови-ка — чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?

Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтера, твердо ответил:

— Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не собирался.

— Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чуток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех умных собачек — хозяин только свистнуть собирается, а они уже на задних лапках здравия ему желают. Лучшего, брат, не найду.

Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи моложавой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, молчал, помаргивал птичьими глазами.

— За что?..— наконец выдавил.

Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.

— Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друг друга накормим.

— Ненавидите! За что? Все меня ненавидят... За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..

— Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.

— По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы хра-абренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..

Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.

* * *

Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой — старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.

В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.

Он «сообразил» посылку из Германии, не барахлишко, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм, а... хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит — сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куска, и в нем-то, стирая, нашла золотые часы.

Валерий ночевал со своим командиром взвода в покоях улепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок — кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовины, у которых, кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался — отобрали. Валерий схитрил — посылочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыствовался.

На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те годы стоила двести.

А по дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.

На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился — костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозглой корове, тоже подарки — ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.

Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.

Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на склады не мечтай — занято тыловиками.

Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение — защитник родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампию Никитичу, чтоб не забывал — вот он, нужный человек.

Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди, придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали охотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу — будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась — иди пока в бригаду. «Молчи, дура!» Молчала, знала — крупно виновата, беды б не ведали, если б не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.

Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.

Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали на трудодень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампию Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места на «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие — особо бывшие фронтовики — крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой, что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионами рублей, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барин» или же — «Сердце у тебя, сатана, ссохлось камушком!» Кто-кто, а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы пере-

живать неприятности. Он от природы человек щедрый — душа нараспашку. Все должны это видеть.

Но как сделать, чтоб зайку съесть и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.

Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.

Тут-то подвернулся Валерий Чистых.

С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».

Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде; входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков — душа нараспашку!

— Так, так, верно. Положение твое того... Надо бы хуже. А заявление где? — Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.

Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, ног не чуя, летит с бумагой.

Лететь недалеко, в конец коридора. Там — комната-конурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова — едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова — Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кисловато объявляет:

— Не можем.

— К-как?! Сам Евлампий Никитич!..

— Не можем.

— Но тут же написано!..

— Тут написано: «По возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.

— Как это он не знает?!

— Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.

Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:

— Не можем.

Тряси кулаками, надрывайся, стращай.

— Не можем!

С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..

Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь:

— Вы уже были.

— На минутку... Тут безобразие сплошное!..

— Вас много, а Евлампий Никитич один. Глядите, какая очередь.

Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, исстрадавшиеся, как от Христа-спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся.

— Эй ты! Проваливай! Не маячь!

— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!

— Гнать его в шею!

Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:

— Не можем.

Лыковский заместитель Чистых и на самом деле — не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лыкова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случалось.

Для всех мил не будешь... Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты —

пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто, не тяготясь, согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.

Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвон, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампию перечит, с самим не считается».

Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.

— Нельзя! Не можем!

К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, не облает, и тронуть не смей».

Но в праздники, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.

* * *

И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:

— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Моль! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!

Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.

Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова. Один раз всего...

ПАШКА ЖОРОВ И ДРУГИЕ

Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но

он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.

«Сначала было слово, слово было бог...» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немым припевом.

Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.

У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.

«Сначала было слово...» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.

Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да́, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..

Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.

А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие дранки нашивал латки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.

— Наше вам почтеньице... Объясни ты мне, друг сердешный, по каким-таким пра́вам — мне жить под латаной крышей, а комолой Пеструхе под модной?

Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано в полшепота,— своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».

Иван нехотя ответил ему:

— Ежели на корову сверху не будет капать, то в общий подойник погуще капнет. Не хитро, сам бы мог догадаться.

— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдается мне — корова барыня.

Пашка поскреб затылок, покряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.

Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.

И стоял жаркий день, и тени, съежившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, и сияли в небе солнечные стропила, и в синеве, чуть ли не под обжигающим солнышком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.

Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают...

И себя неожиданно жаль...

Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке...

Иван костылял обратно к колхозной конторе по солнцепеку.

Поросята в изнеможении прятались в ненадежную тень под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. День как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.

Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..

Шпарит солнце, затянулось вёдро. Да, завтра день такой же.

День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.

Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня...

Иван торопливо костылял к конторе.

Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа приходо-расходные книги прошлых лет, уселся... Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.

В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году... Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят.

А цифры — вещь острая, на нее, как на рогатину, не лезь, наколешься!

Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.

— Иван! Я с ума схожу, а он, на-ко — дня не хватило, сидит себе и каракули выводит.

Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подбоченившись, покрикивал на лошадей: «Э-эх! Серы кролики!»

Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.

— Марусь...— выдавил с сипотцой, с горячим придыханием.— Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тявкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо исписанному листку.

— Чего еще? — голос ее был поникший от испуга.

— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закорючки чернильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От такого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается...

— Сказочник ты у меня. Не обломали еще Сивку крутые горки... Идем домой, голубь.

— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, копим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться. Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, досыта!

— Идем домой, Иванушка...

— Скушная ты стала, Марусь.

— Не скушная, Иван, толченая да ученая, а тебе наука все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.

— Э-эх! — Иван с досадой стал прибирать на столе бумаги, исписанный листок бережно положил в карман.— И вода плотины рвет. А тут годами текло, как не прорваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!

— Дай-кось я тебе помогу встать... Вот и ладненько, утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь, я-то бестолковая.

Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала будничный, древний мусорок на пыльной дороге — клочья сена и соломы, конский навоз. Он пружинисто перекидывал себя на костылях, топтал свою тень и говорил, говорил, упиваясь силой своего голоса.

А она молчала, скуповато вышагивала, напряженно прямая, иссушенно плоская, как монашенка.

Ее неверие не охлаждало. Он верил, верил — жизнь не прожита, впереди еще добрый кусище, нежданной гостьей с черного крыльца постучала молодость.

А утром, чувствуя непривычную крепость в теле, как всегда, добирался к конторе. В кармане вчетверо сложенный листок. То-то сейчас оглушит им друга Евлампия.

У конторского крыльца случилось маленькое несчастье: один из костылей, верно служивший Ивану с больничной койки, треснул и надломился. Иван чуть не упал на цементные ступени. Поддержал его бригадир Черепнов, оказавшийся рядом:

— Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыли-то придется выстрогать поматерей.

Евлампий Никитич за столом, в тесном креслице, как свежий пенек на пригорке — не думай выкорчевать. Над плоской повытертой макушкой нависают сапожки вождя, по обширной физиономии разлита парная краснота — под полевым солнышком уже погулял и, видать, пропустил стопочку за завтраком, поэтому благодушен и в голубых, льняными цветочками глазках сонливость.

Иван положил перед ним листок.

Он положил перед ним листок с цифрами и долго, долго смотрел на склоненную крупную голову, на вытертую плешинку на макушке. Евлампий Лыков изучал, лица не было видно.

Наконец председатель поднял взгляд, нет, не сердитый, нет, не удивленный — настороженный и задумчиво ощупывающий.

Какое-то время молчали. Иван не рассчитывал, что дорогой друг Евлампий сразу же раскроет ему объятия.

Евлампий Лыков, не спуская ощупывающего взгляда, спросил:

— Значит, Ванька Слегов горой за народ?

— Если б я только... Сама жизнь поворот указывает.

— Ты — за! Ты — в ногу с жизнью! Я, выходит, поперек?

— Не советую.

Голубой холодный взгляд:

— Сколько лет тебя знаю, Иван. И ведь плотно... А спроси — что ты за человек? — убей, не пойму. Опасный, должно. Вроде медведя-шатуна. Не угадаешь — стороной обойдет или бросится кожу драть. Давно ли ты, Иван, на меня жал: стягивай ремешок — мужикам польза...

— Тогда-то ты не говорил — опасен,— заметил Иван.

— М-да-а. Ни с того ни с сего — коленце: коровы-де баре, мужик в опале. То стягивай, то распусти, как тебя понять? Против же себя выступаешь.

— Да, против себя.

Пристальный, пристальный взгляд голубых глазок:

— М-да. Опасен... Ну ладно, давай по существу,— Евлампий подвинул к себе листок: — Дома рушатся, надо новые... Крыши перекрыть чуть ли не по всему селу. Подсчитано — полмиллиона вынь да положь. А я возражу тебе — мало! Из каких расценок ты шиферу столько накупить собираешься? Я ведь особо-то не распространялся, что на коровник мы шифер достали как выбраковочный, уцененный. На такую удачу не рассчитывай, тряси мошной...

Евлампий Лыков начал считать, загибая короткие пальцы. Иван сам научил его хитрой хозяйственной арифметике.

— Видишь: к круглому миллиону подбираемся. Подари его мужикам. А коровник, что заквасили, оборудовать надо или нет? Забросить прикажешь? А птичник?.. Лес на него уже привезен. А картошка гниет, убытки терпим. Надо нам овощехранилище или нет?..

Сам учил Евлампия Лыкова, теперь пришло время признать:

— Способный ты ученик, Пийко.

— Спасибо на добром слове,— ответил Лыков.— Но уж коль это смекнул, то сообрази и дальше: нужен ли мне теперь в упряжке конь с норовом?

Голубые глаза в упор, каменные скулы, подозрительная недоверчивость в жестких губах. Знал, что сразу не

раскроет объятия, готов был к этому, теперь почувствовал — бессилен. Возражай сколько угодно, но ведь цифрам не хочет верить, а словом уж и подавно не расколешь. «Сначала было слово, слово было бог...»

Но друг Евлампий всегда удивлял Ивана крутыми поворотами — неожиданно налился пьяным багрянцем, спросил бешеным срывающимся голосом:

— Глядишь: зачерствел Лыков, людей не жалеет?

— Чтоб жалеть, сила нужна,— уклончиво ответил Иван.

— Верно! Откуда у Пийко Лыкова сила, он же ее бережет, никому не показывает. Пашка Жоров простак, всю силушку в колхоз вкладывает. Он раньше меня встает, позже ложится. И страдает Пашка больше моего... Как бы он в моей шкуре запел. У него, видишь ли, крыша худая, а у меня?.. Старый кулацкий пятистенок обжил — углы проседают, в щели дует. У моей бабы наряды богатые, я каждый день разносолы жру? Пашку жаль, меня не стоит жалеть. Я таковский! Да почему бы тебе на свой зад не поглядеть — штаны-то у тебя, бухгалтер, не лучше Пашкиных. Так что пусть пашки не обижаются — квиты с ними!

Иван молча потянулся к костылям и вспомнил — один-то сломан. «Грузнеть стал, Иван Иваныч. Костылики-то придется выстрогать поматерей».

Вечерами в доме Слеговых уютно: горит лампа под выцветшим абажуром, рваная тень от бахромы мирно лежит на стареньких обоях, топится печь, стреляют поленья. Печь летом протапливают по вечерам, так как Мария рано утром уходит на работу, тогда уж некогда возиться с горшками.

И в этот вечер, как всегда, только сама Мария ласковее, говорит, как поет колыбельную — хошь дремли, хошь слушай:

— Чего, голубь мой, расстраиваться-то — радоваться надо. Сам же толковал — жизнь вроде хороводы водит. И уж не дай бог, чтоб она по-старому закружила, чтоб снова тебе спину перебили. Спина-то у тебя, сокол, одна. Слава богу, что не закружилось, слава богу, что так быстренько оборвалось. Живы — и ладно...

У нее и на самом деле была тихая праздничность на лице — рада, что все идет, как шло, ничего нового не случилось.

Иван слушал, угрюмо смотрел в стол.

В доме — уют, трещит огонь в печи, пахнет щами. И жена ласкова, она всегда ласкова с ним — не продаст, не озлобится, редкий человек. Уютно в доме.

Живы — и ладно... Как-никак и это счастье.

Должно быть, разговор с бухгалтером все-таки не на шутку растревожил Лыкова. Спустя неделю он с напористой настойчивостью доказывал на правлении:

— Людей не ценим, дорогие товарищи. Колхоз-то наш растет и, так сказать, крепнет. А растет ли жизнь людей? У нас один-единственный главный бухгалтер. Чтим мы его? Скажете — да, чтим! Ой ли? Старые штаны наш бухгалтер донашивает третий год. Не замечали?..

Он тут же потребовал увеличить оплату Ивану Слегову. Ни себе, ни людям — Пеструхе комолой... Так нет же, чувствуй заботу, скидывай залатанные штаны, покупай новые.

Иван равнодушно принял подачку.

Война!

Она показала, как много Евлампий Лыков научился у Ивана Слегова и как притих, огрузнел сам Слегов.

Лыкову дали бронь — нужнейший специалист, не посылать же такого в окопы. Но самому колхозу — никаких поблажек. Ушли на фронт все мужчины, мобилизовали самых здоровых лошадей, увеличили поставки — сдавай, что положено с гектара, сдавай в фонд обороны, жертвуй на танковые колонны...

Лошадей-то мобилизовали, а на МТС теперь не надейся. Там остались только изношенные машины, опытные трактористы на фронте, их заменили девчонки и сопливые мальчишки.

В Петраковской снова принялись печь колобашки из куглины. По району уже разъезжали не одинокие толкачи-заготовители, а целые бригады их, но и эти сплоченные бригады не могли достать не только сверхплановые поставки, но и законные, плановые.

В Вохровском районе насчитывалось сорок колхозов, из них добрая половина совсем «не тянула», а сам район кое-как «тянул», с натугой выполнял обязательства. За

чей счет? Да за счет наиболее крепких колхозов, и в первую очередь за счет лыковского.

В предвоенные годы догоняли Лыкова молодые председатели — Кузьма Соколов, Василий Злобин, Василий Красавин — с дипломами агрономов, ученых зоотехников, с напором, с хваткой. Правда, Лыкова на прямой не обскачешь — хозяйство поразмашистей, связей побольше и авторитет покрепче.

Кузьму Соколова мобилизовали сразу, на второй день войны — лейтенант запаса с нужной военной специальностью. Колхоз без него захирел сразу. Злобин перед тем как уйти в армию, рекомендовал в председатели свою жену, бабу самостоятельную, изворотливую, которая не хуже мужа тянула хозяйство. А вот Красавин на фронт не ушел — астма,— но колхоз не удержал, только сам сломался. Многие падали...

Отдай за петраковцев, отдай за доровищенцев, отдай за того, о ком знаешь понаслышке. С каждым годом «тянущих» колхозов становилось все меньше и меньше — надрывались. Казалось бы, должны надорваться и пожарцы.

Но нет.

Во всю силу заработала «лыковская паперть».

У села Пожары давняя слава — хлебный остров. Раньше сюда тянулись из соседних деревень, из города Вохрова, дальние не доходили. Теперь уж к лыковской паперти пролегли дороги от Москвы, от блокированного Ленинграда, от захваченных врагом Киева и Минска, даже от Одессы и Севастополя. Каждый эвакуированный сразу же узнавал — не столь далеко есть заветный хлебный остров. Такого паломничества к Лыкову не было и раньше.

Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.

— Кто таков?

— Извините, я доктор филологии, преподавал в Киевском университете...

— У нас этой... как ее... нет. У нас в земле и навозе ковыряются. Работка не докторская.

— Я мог бы быть вам полезен по части культурного воспитания. Потом, войдите в мое положение, здесь я оказался с больной женой, с маленьким ребенком...

— А ты кто?.. Ага, просто жена военного. Так... Муж, говоришь, пропал без вести... Так... И дети погибли... Сколько тебе лет?.. Что ж, молода, поди, вилы в руках держать сможешь... Пройдешь испытательный срок — месяц. Не покажешь себя — вот бог, вот порог.

Людей, как добрый барышник лошадей, он оценивал сразу на глазок. Лыков имеет право выбора, остальным пусть занимается собес и прочие.

Иван Слегов понимал: попади он сам в такое положение, его отмели бы в первую очередь — угасай с богом, калека! Тот, кто больше недоедал, кто сильней других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью — не рассчитывай на Лыкова.

Иван понимал — ни он, ни кто-либо другой не может упрекать председателя. У Лыкова колхоз без мужских рук, без крепких лошадей, без надежной помощи МТС, и такой-то колхоз должен кормить солдат в окопах, рабочих на заводах, сдавать за соседей справа, за соседей слева, за те колхозы, что захвачены сейчас немцами. Лыков, быть может, жесток, но попробуй быть добрым в войну.

Навряд ли самому Лыкову нравилось играть роль бога-кормильца: не усыхал в теле, не тощал загривочком, но глаза запали, глядел жестко, часто срывался, кричал без нужды. И вдвое против прежнего расторопен.

Руки эвакуированных женщин заменяли не только мужские руки взятых на фронт пожарцев, но даже лошадей, даже ненадежные эмтээсовские машины. На этом держится лыковская экономия.

За две машины картошки можно достать угловое железо, еще две машины — получай стекло. Ни за какие деньги не найдешь мастеров-рабочих. За деньги — нет, а за муку, за масло — пожалуйста. Рабочие ставят теплицу. В этой теплице средь зимы вызревают помидоры и огурцы. Их не нужно сдавать, они не предусмотрены планом госпоставок. Огурцы, помидоры — это теперь такая редчайшая диковина, что никто о них и не мечтает. Выкинь их на рынок — вози деньги возами. Но что деньги — они военные, хлам бумажный. Гораздо ценнее креп-

кие связи. В столовой одной воинской части для высшего комсостава в буфете появляются салаты из свежих огурцов, а на складе колхоза «Власть труда» — кабель нужного сечения. Если облисполкому понадобился бы такой кабель — бились бы год, тревожили бы Москву, а достать — вряд ли... Кабель нужного сечения такая же редкость, как зеленые огурцы среди военной зимы.

Теплица рождает электрооборудованный паточный завод.

У кого есть померзший картофель, настолько померзший, что нельзя есть? У кого? Сообщите. Купим и вывезем. Промерзший картофель скупается за бесценок, иногда просто вывозится бесплатно. Из него гонится патока, а патока — товар ходкий. Лыков доволен. Лыков посмеивается: «Из дерьма — конфетка!»

Колхоз «Власть труда», и без того раньше богатый, раздобрел уже сказочно — новые фермы, теплицы, электростанции, мастерские, подсобные заводики,— вкупе миллионные доходы!

Сам же Лыков от этих миллионов богаче не стал. Правда, снова к залатанным штанам уже не вернулся, но щеголял в старой кожанке, обнов не покупал ни себе, ни жене, ни детям. Хоть и хвалился он в свое время Ивану Слегову, что живет в старом пятистенке Петра Гнилова, где углы крошатся и промерзают, но запасец, оказывается, на сберкнижке имел — на новый дом, конечно, с размахом — знай наших! И этот личный запас Евлампий Никитич в разгар войны выбросил широким жестом — на новый танк для победы, все до последней копейки. Потребовал от других — выкладывай, кто может, не жмитесь. Одна только просьба: пусть грозный танк называется «Пожарец». Знай наших!

В конце войны экипаж написал в колхоз, что их танк «Пожарец» дошел до Берлина.

Новый дом не очень-то печалил Лыкова — успеется. И Пашка Жоров, вернувшийся с фронта только чуть попорченным — разбило осколком локтевой сустав,— тоже латал свою старую крышу.

Вот и кончилась война,
И осталась я одна....

Евлампий Лыков носил в петлице пиджака боевой орден Отечественной войны первой степени.

Чистых утомился, сбавил голос, но еще выкрикивал, Иван Иванович его перебил:

— Эх, парень, Америку мне открываешь.

— Не Америку — глаза открываю, Иван Иванович. Каждый небось в чужом-то зрачку...

— Зря стараешься — все о себе знаю. Давно, как в Страшном суде взвесил: чаша-то с добрыми делами, признаю, у меня чистенькая, словно вылизанная, а грехи были...

— А вот этого я не говорю, Иван Иванович. Я за вами и добрые дела признаю.

— Как и за собой, конечно?

Чистых уже выкричался, сидел возбужденно-помятый, с бегающими глазами, как школяр после драки, захваченный учителем.

— Я же ломовая лошадка. Неужели на мой воз только дурное клали?

— Ну, хватит нам считаться. Выскочи, погляди на машину, не пришла ли?

Чистых не особенно охотно встал, замялся у дверей:

— Иван Иванович...

— Чего еще?

— Простите, вгорячах-то чего не скажешь.

— Эх ты, человеком же стал на минуту, а теперь испугался. Не на ту сторону поклоны бьешь.

И все-таки Чистых вышел не успокоенный.

Молчал тяжко весь дом. За перегородкой что-то робко шуршало — то ли мыши возились в подпечке, то ли в соседстве, за стенкой, по-мышиному жила лыковская жена Ольга.

Молчал дом. В затянутой густыми сумерками комнатушке, прислонившись седой головой к костылям, сидел старый Иван Слегов, многотерпеливый помощник Лыкова, привыкший к непослушным ногам, к болям в спине перед дождливой погодой.

Молчит дом, и умирает за стеной хозяин Ивана, всесильный человек, почти бог.

Бог?.. Всесильный?.. Ой ли?..

Рассудить трезво: наверное, сам бы хотел, чтоб над Пашкой не протекала крыша. Хотел, да не делал. Не всемогущ.

Лыков только главный в приходе, а приход-то из Пашек. Самая большая мудрость, какую Пашка получил от дедов и прадедов: «Латай портки вовремя», и то не всегда-то ею пользовался. Новые свинарники, новые коровники, новое хозяйство и стародедовское покорное «латай» еще остается в крови. Латай и плыви, куда несет, не барахтайся. Лыков главный в приходе, его ведь тоже несло, как и Пашек. Иван Слегов попробовал барахтаться — берегись, еретик! Осадил Лыков, сам же он и не пытался: еретиком стать столь же трудно, как и святым.

Жизнь Лыкова прошла под «ура». Сейчас тишина, тишина вокруг. Иван Слегов слушает тишину, его черед пока не пришел.

Лыков использовал его. Сейчас вот пытался использовать Чистых. Кто следующий на очереди?.. Кто-то должен заменить Лыкова.

Тишина, тишина...

Легкие шажки за стеной, скрипнула дверь, бочком влез в сумеречную комнату Чистых.

— Чего в темноте-то?..

Щелкнул выключателем, свет больно хлестнул по глазам, заставил зажмуриться.

— Машина скоро будет. Леху Шаблова послал,— рванул на полусогнутых.

Иван Иванович недовольно жмурился, а Чистых, свеженький, будто успевший умыться за эти минуты, приобревший привычную ласковость и в лице и в голосе, забывший, что недавно истерически кричал на старого бухгалтера, присел снова на хромой стул.

— Идет теперь по селу гадание... Свет во всех окнах, как на праздники.

— Ладно, что уж подплывать издалека,— проворчал бухгалтер.— Пытай прямо: за кого я голос подам?

— Ежели не желательно, ежели до поры в секрете держать для вас лучше, то я — боже упаси...

— Зачем мне скрывать?

Чистых замер почти в страдальческом изгибе, словно сел на гвоздь.

— Догадываешься?

— Нет, Иван Иванович.

— Опять врешь. Мы тут кучу всякой всячины наговорили, а о нем не вспомним. Почему бы это?..

— Не о младшем ли речь?..— выдавил Чистых.

— Да.
— Иван Иваныч!..
— Что? Не нравится?
— Себя хороните, Иван Иваныч! Вот уж кто с вами церемониться не будет, вот уж кто в вашу сторону ухом не поведет...
— Опять — ухом!.. Пусть пень вместо головы, лишь бы на нем уши большие росли.
— Себя хороните, Иван Иваныч! Как этого не понять!
— Может быть, может быть, хороню...
Чистых кривовато восседал на стуле, глядя страдальчески.

* * *

Тот человек, о котором шел разговор, тоже носил фамилию — Лыков.

Он был из зеленой поросли, из тех, кто когда-то босоногими стайками бегали за грозным Матвеем Студенкиным, теребили его за штаны:

— Дядь Моть, сделай ружжо!

Сам Евлампий носил его на руках, катал на «закукорках». Его носил, а своих детей нет,— к тому времени, когда те родились, бывший Пийко Лыков стал Евлампием Никитичем, загруженным заботами председателем.

Он подрос, пошел в школу, и уже тогда его отец был в годах, занимал не копотное место колхозного пасечника, а все старшие братья, считай, встали на ноги. Один заведовал складами — все колхозные запасы под его доглядом,— второй руководил самой большой молочной фермой в колхозе, третий учился в военном училище, а четвертый кончал на инженера-лесозаготовителя. Всем покровительствовал их знатный родственник Евлампий Лыков, помнивший то время, когда зарабатывал себе хлеб пилой-растирухой, жил под крышей своего старшего брата.

Сергей был самым младшим племянником Евлампия Никитича. Соломенные волосы, крупная голова, уже в ребячестве плечи с разворотом, не высок, но плотен — лыковская порода без подмесу.

Детство как детство, счастливей вряд ли бывает: купался в речке до синевы, ловил на удочку красноглазых сорожин, имел врага в школе, долговязого, цепкого Веньку Ярцева, часто дрался с ним, случалось, до крови. Венька был из Петраковской (школа-то семилетка на

окружающие деревни одна — в Пожарах). Не замечал Сережка у Веньки голодного выражения на лице, и откуда ему было знать, что рваные сапоги на Венькиных ногах — одни на пару с матерью. Вряд ли во всей округе можно было найти семью более сытую, в какой рос Сережка. Сыновья самого председателя и ели не так жирно, и ходили не обихоженные — Ольга, жена дяди Евлампия, хозяйка не слишком тароватая, вечно в дреме.

Ясный, как вешний день, мир окружал Сережку. Самый большой человек в этом мире — дядя Евлампий.

— Как учишься, Серега?

— Хорошо.

— Учись, учись. В министры тебя не пущу, а фигурой сделаю.

А есть еще бухгалтер Слегов — калека на костылях, черствая горбушка, слова никогда от него не услышишь, ни доброго, ни худого.

А вот конюх Матвей Студенкин — свойский мужик, он тебе и свистульку вырежет, и на лошадях разрешит прокатиться, и поговорить с ним чин чином можно.

Из ребят — Лешка Шаблов на отличку. Он даже моложе чуток Сереги, но задевать не мечтай. Мужики удивляются, когда этот Лешка гирю-двухпудовку одной рукой выжимает:

— Ядреный парнишка.

Он стал тем, кем хотел,— кончил сокращенные по военному времени курсы летного состава, сел на истребитель.

Небо — извечная противоположность постылой земли. Небо — недосягаемая мечта о прекрасном, мечта о незапятнанной чистоте, мечта о бессмертии! Ложь! Красивая, благостная, тем более оскорбляющая. В небе, как и на земле, жила смерть, и облака, когда их касаешься,— просто липкий туман, нет, не белые, нет, не сияющие — мутные и серые.

Сергею случалось попадать в переплеты не раз, нагляделся, как плещут в упор жгутовидно дымные полотнища трассирующих очередей, как взбухают тугие и лобастые взрывы зенитных снарядов, слышал, как небо кругом рвется в лохмотьях. Не ласковое, не мирное небо детства, когда-то так сильно звавшее к себе.

Не раз он еле дотягивал до своего аэродрома, вслушиваясь в перебои мотора, потом на земле считал пробоины и тревожно радовался: «Пронесло».

Но однажды неспешной размашистой каруселью начала расти навстречу затянутая голубой дымкой земля. Он успел выброситься, повис между небом и землей под белым куполом... Это случилось над самой линией фронта. Повезло, что ветер дул в сторону своих, повезло, что ни одна пуля не задела его, когда он, доверчиво открытый и беспомощный, висел над землей...

Дул счастливый, услужливый ветер. Он отнес его в свой тыл, опустил на поле, истерзанное гусеницами танков, исхлестанное временными дорогами, измятое, в корявых оспинах воронок, с щетинисто-пепельными зализами обгоревших мест. Сергей опустился на неубранный хлеб, на хлеб, сожженный, потоптанный.

Отстегнул лямки парашюта и сорвал колос. Земля радушно встречала упавшего с неба гостя. Искалеченная, изорванная, она одарила тишиной и частичкой своего еще не уничтоженного богатства — колоском пшеницы.

Лежал колос на ладони, странный колос. В родных местах Сергея земля лучше рожала лес, чем хлеб. Колос был незнакомого сорта. Зерно крупное, туго налитое янтарем, сам колос украшен длинными, парадно черными усами, они, жесткие, шероховато цеплялись за кожу...

Лежал колос на ладони, стояла тишина над головой, только далеко-далеко, словно спросонья, перекатывались пулеметные очереди, погромыхивали вялые взрывы. А сердце продолжало судорожно гнать раскипяченную кровь, она туго билась в венах. Только что из-под облаков, только что нырял под дымчатую лавину трассирующих пуль, сливался в одно целое с трясущимся в судорожной ненависти пулеметом, и отравленная кровь не может еще успокоиться. А кругом тишина, а небо вновь изливает на тебя ласковую синеву. Ласковую и лживую. И колос на ладони.

Только что казалось самым важным — важней всех великих проблем мироздания, важней собственной жизни — сбить! Изрешетить! Уничтожить! Только это, ничто другое!

И вот — колос на ладони, тишина... И ясная покойная мысль: «Сбить, изрешетить?.. Нет! Важна ведь жизнь, а не смерть, колос, а не пепел».

Он не успел до конца удивиться простоте своего открытия. Прямо по измятому полю уже катил к нему приземистый, как лягушка, «виллис». К нему спешили, его хотели выручить.

— Жив, браток? Повезло тебе... Садись!

Он сел, он покорно покинул тихое, изувеченное поле и покатил туда, где люди продолжали жить знакомой ему ненавистью — убить! Изрешетить! Уничтожить! Покатил навстречу сонным перекатам пулеметных очередей, глухим погромыхиваниям артиллерии.

Сорванный колос он долго хранил, завернув в бумажку. Потом тот высох, выкрошился, измялся, потерялся по частям.

«Тот человек, который может вырастить два колоса, где рос один, заслужил бы благодарность всего человечества...» Ничто не ново в этом мире, великий англичанин за сотни лет до появления Сергея на свет красиво высказал его желание. Только великий англичанин, пожалуй, крупно ошибался насчет благодарности, ему ли не знать, что памятники охотнее ставятся воинам, чем землеробам. Даже сам Сергей был не обойден похвалой как воин — набор орденов украшал его грудь.

Колосок выкрошился, потерялся, но память о нем осталась. Только память, не больше того. Он все еще думал, что и после войны останется военным летчиком.

По чужой земле, по разгромленной Германии шла весна, и ручьи в кюветах вдоль асфальтовых шоссе пели на той нежно-высокой, радостной ноте, какой они поют по оврагам вблизи села Пожары, и так же, как в Пожарах, пахла сладко и призывно подсыхающая земля на вспаханных полях.

Их авиачасть базировалась в Восточной Пруссии, в стороне от разбитых городов, среди фермерских хозяйств, укоризненно добротных, с водонапорными и силосными башнями, с черепичными крышами над просторными коровниками, с игрушечно чистенькими домишками, никак не похожими на русские избы, в них кафельные печи и даже печные дверки из начищенной меди.

Солдаты дивились:

— И чего они, сволочи, от такой жизни к нам полезли!

Солдат из аэродромной обслуги больше всего поражали автопоилки — у каждой коровы своя чашка, нажми носом, течет вода, пей от пуза. Эти парни попали из вятских, вологодских, ярославских деревень, а в ту пору большинство северных колхозов этой нехитрой техники еще не имело.

Солдаты удивлялись, а Сергей Лыков удивлялся им — нашли диковинку, его дядя за несколько лет до войны поставил точно такие автопоилки. Эх, Пожары, Пожары! Родное место, село в петле мелководной речушки, с колокольней белой церкви над тесовыми крышами, с извечными штабелями бревен, кирпича, со свежими неоконченными срубами на окраине. Село с громкой славой, и не зря — кой в чем немцу нос утрет.

По-пожарски звенели ручьи, по-пожарски пахли распаренные поля. Там, возле дома, скоро, должно быть, зацветет черемуха, блестки опавшего цвета усеют траву... И тошно было слышать рев разогреваемых моторов, днем и ночью несущийся с аэродрома.

Он тосковал по родному селу, как молодой призывник.

После войны часть их перебросили на родину.

На родину ли?..

В Германии хоть весна походила на весну, ручьи шумели по-пожарски. За Каспием, за пыльным, сожженным солнцем Красноводском, среди песков ни в какое время года не увидишь живого ручья. Воду привозят в цистернах, вода теплая, парная, с привкусом железа, песок проникает сквозь плотно прикрытые окна, хрустит на зубах. Утречком бы пораньше, по росе, обжигающей босые ноги,— к речке да с берега вниз головой в омуток, поплавать, пока не заломит кости от холода! А из окна — пустыня до неба, шары колючек скачут по песку. Под самым окном валяются местные собаки, рослые, косматые, желтые, как песок, ленивые, как сама пустыня.

В штабах шла работа, напряженная и деликатная. Война кончилась, армии уже не нужно такое количество летчиков. Почти все они готовились в военной спешке, кто-то успел дозреть на практике. Набрал достаточное число боевых вылетов, кто-то — нет. Большинство моло-

дежь, бывшие школьники, другой профессии не знали,— лишь управлять штурвалами, припадать к гашеткам пулеметов. Товарищи Сергея жили в тревоге: демобилизуют, а дальше куда? В гражданскую авиацию? Там охотников хоть отбавляй. Учись на шофера или тракториста. Повальная мечта — попасть на переподготовку в высшее летное училище, получить новую звездочку на погоны, назначение в часть, которая расположена не в таком проклятом богом месте.

Сергей мог рассчитывать на удачу. На его счету достаточно боевых вылетов, есть сбитые самолеты, есть ордена — вряд ли обойдут. Но подал прошение о демобилизации.

Он сыт авиацией. Небо пахло для него бензином, облака — сыростью, а подымаясь над землей, разглядывая ее сверху, постоянно думал с завистью — там, внизу, люди живут не только скучными гарнизонными буднями.

Он совсем не знал, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Пойти на переподготовку — значит навеки оторваться от земли. Большим выбором его не побалуют, а вот в селе Пожары — полный выбор, хочешь на инженера учись, хочешь на агронома, а не захочешь, и в колхозе найдут работу по плечу, уж не обидят. И будешь утром по росе бегать к речке, весной слушать ручьи, дышать запахом цветущей черемухи.

И вспоминался колос на ладони, колос пшеницы, не известной в Пожарах.

Просьбу о демобилизации удовлетворили.

За тесовыми и драночными крышами, тронутыми бархатными заплатами мха, выглядывали новые крыши — шиферные и железные. С лица село, похоже, даже постарело — ниже теперь казались знакомые избы, мельче и уже родная речушка, костлявей березы, но с тылу по окраинам село неузнаваемо — среди искалеченных тракторами и грузовиками дорог целый поселок с незнакомыми службами. Маленький ручеек, сбегавший в реку по овражку, забран земляной плотиной, разлилось мутное, с истоптанными коровами и овцами берегами озерцо. На нем плавают утки и гуси, птичьим пухом покрыта вода.

Перемены — да, большие. Построены новые коровники и свинарники, новые доходные заводики, а вот бревно,

оброненное когда-то отцом Сергея посреди дороги, до сих пор лежит непотревоженное, потемнело, зацвело. Трактористу, шоферу, конюху легче каждый раз объезжать его, чем остановиться, слезть, оттащить навсегда в сторону. Мешает, конечно, но не особо, потому — пусть себе, лежит едва ли не восьмой год. Ревнитель порядка, сам дядя Евлампий, наверняка по нескольку раз на день его огибает. Загадочная русская натура — немцы бы прибрали.

Перемены — да. Валерка Приблудный, оказывается, стал замом дяди Евлампия, правая рука, ходит торопливой, подпрыгивающей походочкой очень занятого человека, таит на лице строжинку, с ним здороваются издалека, величают по имени-отчеству. Но при встрече с Сергеем расплылся, как старому знакомому:

— Сергей Николаич! Со счастливым прибытием в родные края! Поздненько вы, поздненько, мы, фронтовички, все уже слетелись. В гости заходи, чем богаты, тем и рады...

Но многое не изменилось. По-прежнему по утрам, болтаясь на костылях, волоча ноги, обутые в подшитые валенки, пробирается к конторе бухгалтер Слегов. Он изрядно поседел, заметно огрузнел, но такой же нелюдим — увидел, кивнул крупной головой, проковылял мимо, словно вчера виделись.

И старик Студенкин — жив курилка!

— Это ты ли, сокол? Вернулся...

Раздавил слезу под красным веком.

— Сеньку-то моего... А?..

Он усох, свалялся, хрящеватый нос из ржавой бороденки потоньшал, стал острей.

— При конях покуда все, но слабоват, в рейсы на сторону уж не пускают, по селу на двуколке болтаюсь, жмыха ли привезти, обрату ли. А Сеньку-то моего... А?.. Сенька того... еще в первый год...

Сергей почти не был знаком с молодым Студенкиным, не парнишествовали вместе — Семен-то постарше.

Нисколько не изменился и дядя Евлампий — налит багрецом загривочек, властная речь, порывист. На встрече служивого он подвыпил, хватал за плечи, кричал в ухо знакомые слова:

— В министры тебя не пущу, не-ет, а фигурой сделаю!

Как ни скромничай, а все же льстит, что твой приезд — событие для села, хотя уже и привыкли встречать

вернувшихся фронтовиков. Офицерские погоны, просторные и донельзя суженные у колен бриджи, хромовые сапожки, набор орденов, слава летчика — заметен! И по селу передают из уст в уста:

— Остаться решил...

— Не останется — улетит.

— А чего ему лететь, тут, поди, не прохладней будет.

— И то, Евлампий-то Никитич сразу нацелился: в министры, говорит, не пущу!..

— Парень не тюфяк, не в двоюродных братцев.

Ему исполнилось двадцать три года, жизнь ничем его не обездолила — ни умом, ни здоровьем, ни почетом. Поэтому считал — взрослый, самостоятельный, давно хозяин сам себе.

Но самостоятельным он никогда по-настоящему не был. До сих пор за него думали, им распоряжались другие. В армию ушел мальчишкой, едва исполнилось семнадцать, не сам, а военкомат счастливо распорядился им, послав успешно окончившего десятилетку, с безупречным здоровьем парня в летную школу, где вставал по команде, учился по команде, маршировал в столовую по команде, ложился по команде спать. В части старшие начальники отдавали ему приказы о вылете, диспетчер по радио — разрешение приземлиться. Даже тогда, когда он вел воздушный бой, не был полностью самостоятелен — за него прежде подумали, напичкали полезными инструкциями, советами, опытом — так-то заходи к «юнкерсу», так-то к «мессершмитту». Нет, конечно, не всегда он действовал только по указке, порой соображал сам и, наверно, не плохо уже потому, что остался жив. Но соображать самому за себя приходилось в крайних случаях, быть под чьей-то опекой — постоянно.

И он считал в порядке вещей, что дядя Евлампий, старший над ним, взял его под свою опеку.

Он появился в Пожарах как раз в тот момент, когда Евлампий Никитич с придирчивой гордостью оглядывал свое заматеревшее хозяйство: «А чего у нас нет?» Все было, не придумаешь — чего? Но Лыков открыл-таки — не ночевало в колхозе науки! Агрономы и зоотехники засылались со стороны — скороспелые, сопливые девчонки с курсов. Да бог с ними, что невелика корысть, сам

Лыков и его бригадиры не хуже дипломированных агрономов знают, на чем хлеб растет, справлялись и справятся без тех, кто штаны да юбки просидел над книгами. Но шутка ли, если начнут говорить: «У Лыкова в колхозе работает свой кандидат наук!» Обязательно кандидат, не меньше — ученый по всей форме, с утвержденным ученым чином. На добрый дом не грешно посадить и резного конька на крышу.

А тут — Серега, школу с отличием кончил, фронтовик с заслугами, имеет намерение учиться. На агронома — да, пожалуйста! И с той и с другой стороны все сошлось впритирочку.

Евлампий Никитич быстро решил, что для этого нужно.

Персональную стипендию от колхоза помимо той, студенческой, что будет давать государство. Знай наших, не нищие!

За это взять твердое слово — по окончании института мест высоких не искать, в сторону не глядеть, а вернуться в родной колхоз на постоянные времена.

И еще оговорочка: простой диплом хорош только для начала, но на этом остановиться не разрешим — получи кандидата, а дальше видно будет, может, и повыше огребем, да хоть профессорский чин. Стирание грани между городом и деревней, так сказать — политика!

Евлампию Лыкову легче всего было пристроить Сергея в областной сельхозинститут — сними только телефонную трубку. Но областной институт — не тот сорт, в колхозе у Лыкова все должно быть наивысшей марки. Тимирязевская академия в Москве пусть распахнет двери! Для этого Валерке Чистых было поручено сочинить письмо, да посолидней, с достоинством: «Наш колхоз издавна считается передовым... Наш колхоз в настоящее время крайне нуждается в высококвалифицированных научных кадрах...» И о стирании граней как бы невзначай, мимоходом... Колхоз профессорам академии наверняка известен — народ грамотный, газеты читают. Правление подпишется, а на самом верху будет стоять подпись Евлампия Лыкова. Послать письмо нужно загодя, чтоб успели его прочувствовать, чтоб ждали посланца из Пожар, честь по чести встретили.

Сергей искренне считал — взрослый же, самостоятельный! — то, что предлагает Евлампий Никитич, хочет

он и сам. Даже больше, сам-то вряд ли бы решился на Тимирязевку, скорей всего осел в областном институте. Или же — кандидат наук... Об этом, признаться, не мечтал, и напрасно — уж если думаешь приступом брать гору, то целься до самой вершины. Свободный размах дяди Евлампия вызывал восхищение.

Взрослый, самостоятельный... И в голову не приходило, что в этой напористой опеке есть что-то не совсем нормальное. Он не задумывался, почему таким же парням-фронтовикам из других сел, из других деревень нужно пробиваться к учебе своим горбом, преодолевать вступительные экзамены — фронт-то повыветрил школьные знания! — без рекомендательных писем с коллективными подписями, рассчитывать только на не слишком-то щедрые институтские стипендии и медные деньги престарелых родителей... В голову не приходило задуматься.

Бухгалтер Иван Иванович Слегов, рыхлой копной восседая за столом, выдал оформленные к отъезду в Москву документы, объяснил, не подымая пепельной от седины головы:

— Деньги на проезд, суточные на две недели, пока будешь сдавать экзамены. Стипендию станем переводить ежемесячно со дня учебы...

И вдруг поднял широкое лицо, из-под оплывших век — пытливые, льдисто-синие глаза, спросил:

— За всю войну не ранен?

— Нет.

— С наградами?

— Да. А в чем дело?

— Ни в чем. В рубашке ты, парень, родился.

Бухгалтер снова опустил к столу шевелюру, густую и сивую, как загривок старого волка, давая знать — разговор окончен.

Сергей вышел уязвленный.

Калека, судьбой обиженный, вот и завидует — в рубашке. На что он намекал? Мол, добрый дядя устраивает... И верно, не он один так думает — многие. В рубашке... А почему этот добрый дядя своего старшего сына не тянет за уши в учебу, тот даже школу бросил? Не в родственности дело — колхоз посылает. Он, Сергей, не просто кандидат в студенты, он официальный представитель передового колхоза. Повезло на войне — не сгорел

в самолете, повезло — родился в знаменитом колхозе, повезло — десятилетку кончил с отличием, как не шарь по селу, а не найдешь более достойного. И за это глаза колоть?..

Но бумаги на деньги, врученные бухгалтером, все-таки жгли руки.

Тихая окраина Москвы, статуи легконогих коней перед фасадом ветеринарного корпуса, запорошенный снегом городок Тимирязевской академии.

Ты полпред лыковской державы в науке. Вряд ли на курсе можно отыскать более добросовестного студента. Сергей не только посещал и записывал каждую лекцию, не только придерживался программы, хотел знать больше того, что дают профессора. Все свободное время он просиживал в библиотеках.

И опять послушно следовал указаниям: читай Докучаева и Вильямса, особое внимание обрати на работы Трофима Денисовича Лысенко, опасайся проявлять интерес к трудам Менделя и Моргана, их учение — диверсия враждебной идеологии. Монах Мендель колдовал над горохом, не урожаи его интересовали, нет — цветочки! Его последователи совсем спятили с ума — разводили мух!

Однажды объявили: первый академик, первый ученый, гигант отечественной агрономии сам изъявил желание читать лекции!

Профессора вместе со студентами встречали его машину на улице.

Он прошел по коридорам, напористо стремительный, сухонький, кажущийся подростком по сравнению с дородными профессорами, с суетливой услужливостью едва поспевающими за летящим шагом первого академика. Никакой академической важности в фигуре, лицо знакомо по бесчисленным портретам, лицо, где мужицкий аскетизм и мужицкая деловитость сливались воедино.

Зал ломился от народу. Сергею удалось занять место во втором ряду. Высокого лектора встретили бурей аплодисментов, все ждали чуда.

Чуда не случилось. Если сам лектор не походил по облику на привычный тип академика, то его лекция была весьма суха и академична — пространные рассуждения о влиянии среды на рост растений.

Но он все-таки оставил после себя чудо. Его показали в более узкой аудитории несколько дней спустя. По рядам передали пучок ветвистой пшеницы.

Никогда не забыть Сергею, как кто-то протянул ему этот драгоценный пучок. Он принял... Принял, как принимают обычный соломенный пук, который легко ложится в горсть. Но рука невольно качнулась от благодатной тяжести. Первое же прикосновение чуть не заставило крикнуть от изумления. Нет, не соломенная легкость, не колосковая невесомость в руке. Сергей держал увесистый кистень! Каждый колос вблизи чудовищен, нет в нем изящности, он безобразен своей толщиной, колючей бугристостью, зернам тесно, их распирает в стороны. Несколько таких колосьев и — пригоршня зерна! Сергея теребили за плечо, требовали — передавай дальше — а он смотрел, смотрел, не мог оторваться.

«Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...» Вот оно — свершилось! Сергей живет в одно время с таким человеком, которого будет с благодарностью помнить из века в век все человечество. Он видел его воочию! Он слушал его! И такие-то хлебные кистени закачаются на полях! Это вам не дрозофила — муха-цокотуха, забавляющая досужие умы! Хлебные кистени... Один урожайный год на такую пшеницу будет кормить десять лет! Забудется голод, страх перед недородами уйдет в прошлое.

Сергей был бы плохим полпредом своего колхоза, если б не попытался добыть семян ветвистой пшеницы — ну, один колосок, ну, хоть несколько зерен всего! Никто этого пообещать не мог, пообещали только свести Сергея с самим создателем.

Их встреча произошла перед очередной лекцией. Вблизи знаменитый ученый не напоминал подростка — ростом нисколько не ниже Сергея, да и сухопарость его обманчивая, под не новым и не модным пиджаком слегка проступал животик. Он выслушал сбивчивую от волнения речь студента с суровым доброжелательством, но в ответ спросил резко:

— Какие урожаи у вас пшеницы?

Пришлось признаться: не всегда-то пшеничка балует урожаями. Рожь и ячмень — вот их беспроигрышные культуры.

— Начинать освоение такой культуры с ваших мест — штаны через голову примерять.

И отвернулся, считая аудиенцию законченной.

Просто, крепко, по-мужицки грубо — вспомнишь и почешешься. Удивительный человек.

И странно, именно в эти дни Сергей сошелся с другим человеком, который довольно-таки прохладно отзывался о селекционере номер один страны.

Светлана Вартанова училась в аспирантуре, была старше Сергея года на три, профессорская дочка, видевшая изнанку жизни только во время войны, в эвакуации. Они познакомились в библиотеке, Сергей стал провожать ее сначала до метро, а потом и до дому в Скатерном переулке. У Светланы — нездоровой белизны лицо, кроткое выражение на нем, красивые ровные брови, темные глаза с восточной печалинкой — в ней текла армянская кровь, дед ее носил фамилию Вартанян.

Нет, резкость суждений не была в ее характере, ни резкость, ни категоричность, но это не мешало ей ко всему относиться с мягким скепсисом. С мягким, почти виноватым, но попробуй сбить ее с этого извиняющегося неверия.

— Сереженька,— упрекала она своим шелковым голосом,— я давно заметила — людям от земли, из кондовой деревни свойственно прекраснодушие. Просто умилительно, что ты так прекраснодушно веришь — новый сорт пшеницы станет панацеей всего человечества.

— Я держал пшеницу в руках своих! Я своими глазами видел, что это такое!

— Ее держали в руках еще хлеборобы древнего Египта, Сережа.

— Может быть, может быть! Но случайную, как исключительное уродство природы, не выведенную! Эта же выведена! Эта — уже не случайность, а норма.

— Он не в первый раз что-то выводит и всегда с шумом. Но вот ведь удивительно — выведенное как-то бесплотно пропадает потом, а шум живет, шум — материален! Великое искусство, Сереженька.

Голос Светланы обволакивающий, как паутина, отмахиваешься, а он все больше липнет.

Сергей сердился не на нее — на себя, на свою бесхарактерность.

Ехал домой на свои первые летние каникулы с ощущением — все идет как нужно, мир кристально ясен: монах Мендель с цветочками и мужицкий сын академик с образцами ветвистой пшеницы, есть псевдонаука и наука истинная, тьма и свет. Придет время, и он будет гореть вместе с другими в сияющем факеле науки. Пусть тогда нелюдимый бухгалтер Слегов попробует попрекнуть: мол, добрый дядя... У Сергея в зачетке за две сессии кругом «отлично», не прожигал время, перечитал кучу книг, изучал гербарии — кто смог бы лучше его выполнить долг перед колхозом?

А дядя Евлампий встретил Сергея сюрпризом.

В стороне от села, за молочными фермами, за только что заложенным яблоневым садом,— тоже новинка в этих елово-березовых местах! — стояла столярка-времянка, где прежде сколачивались ульи для пасеки. По приказу Евлампия Никитича эту времянку перебрали, расширили, утеплили, обшили тесом, выкрасили в салатный цвет, обнесли палисадником, над низеньким крылечком повесили строгую, под стеклом, вывеску:

СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНЫЙ
УЧАСТОК
КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА»

Евлампий Лыков сам привез племянника к этому новоиспеченному научному учреждению.

— Твое хозяйство. На правлении тебя утвердили в должности заведующего. Так что зимой, в Москве, набирайся уму-разуму, летом — здесь орудуй.

Из трех пахнущих краской комнат одна была уже оборудована под кабинет — письменный стол с новым чернильным прибором, стул, полумягкий диванчик для посетителей.

Но и этого мало. За окном тянулось в свежей зелени ровное поле.

— Твоя земля — три га! Я пока здесь вико-овсяную смесь посеял, но если что нужно посадить для опытов, только мигни — скосим, освободим. Для науки мы, как для мамы родной: чувствуй не гостьей, хозяйкой!

Сергею было неловко от таких поспешных забот.

— Пожалуй, рановато, пока все это лишнее,— сказал он.— Сажай для опытов. А что?.. Знания — не картошка,

съездил да привез мешками. Я всего-навсего студент-первокурсник.

Евлампий Никитич обиделся:

— Лишнее?.. Тебе видней. Мой — подойник, твое — молоко. Я свое для науки сделал, а ты думай.

У знатного председателя был свой упрямый расчет, которого еще не улавливал Сергей. Ремонт бывшей столярки для колхоза — смешно считать — расход копеечный, зато в приход можно записать: основан опытный участок, заложена научная база! И три га земли — пусть! С этих трех га большого хлеба не сымешь, а ученая степень вызреть может. Да и не рассчитывал Лыков, что Сергей использует эту землю, а потому заблаговременно, чтоб не пустовала зря, засеял ее под зеленую подкормку. Председатель даже выделил для Сергея штатную единицу — девятиклассницу Ксюшу Щеглову, дочь одинокой Матрены Щегловой, муж которой убит на фронте и приходился родственником лыковской секретарше Альке Студенкиной. Тут тоже двойной расчет: во-первых, помог семье погибшего фронтовика, во-вторых, взрослый колхозник потребует полный трудодень, Ксюшка еще девчонка, довольна будет сколько ни назначат. Сергей от своей новой должности не получал лишней копейки — отрабатывай стипендиальные, которые идут не только зимой, но и летом. Ксюшке выделили втрое меньше, чем зарабатывала любая баба на полевых работах. Но на поле-то гни спину, а что делать на опытном участке — не знала ни сама Ксюшка, ни Евлампий Никитич Лыков, даже новоявленный заведующий Сергей представлял смутно. Одно ясно всем: работа, должно, не бей лежачего, Ксюшке она в школе учиться не помешает.

Словом, наука не так уж и дорого обходилась для Евлампия Лыкова.

В прославленном колхозе дядя Евлампий всюду установил строгий порядок — на фермах, на складах, в мастерских, но только не в сортовом хозяйстве. Сеяли что попроще, что не сулит чудес, зато растет наверняка. И среди хлебов росло много «Иванов, не помнящих родства». Наверное, и надо начинать пожарскую науку с того, что с пристрастием допрашивать этих «Иванов»: «Кто вы такие? Кто ваши родители?»

И тут вовсе не обязательно иметь контору с вывеской, с письменным столом, чернильным прибором, с диванчиком для посетителей. И целых три гектара опытной земли пока ни к чему.

Сергей замкнул на замок дверь новоиспеченного научного заведения, предоставил на опытной земле расти незатейливой вико-овсяной смеси, связал веревочкой самодельные картонные папки для растений, вооружился широким кухонным ножом, натянул на голову старую кепку, двинулся в поля, прихватив с собой узаконенный решением колхозного правления «научный штат».

«Штату», Ксюше Щегловой, еще не исполнилось и шестнадцати лет — долговязая девчонка, две косы по узкой спине, шелушащийся нос, посаженный среди крепких скул, широко расставленные глаза, непорочно чистенькие, словно ручейковая водица над песчаным дном, в упор доверчивые, не тронутые угарным хмельком первой бабьей весны, да мальчишеские исцарапанные колени над слишком просторными голенищами стоптанных сапог.

— Сергей Николаевич, а я раз тоже нашла два колоска из одной соломинки...

Сергей учил свой, ниспосланный Лыковым «штат» и уже успел произнести назидательные слова: «Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...», успел и рассказать о чудесной пшенице, что видел в Москве, держал в своих руках. Что может быть чудесней сказки, чем сказка о сказочном хлебе, для подростка, выросшего в крестьянской семье?

— Право, право, Сергей Николаич, нисколечко не вру. Два колоска, как есть...

И в глазах наивное ожидание: «Да что ты говоришь?! Да где же они?! Да куда ты их дела?!»

— Два?.. А ты знаешь, что бывает, когда охотник гонится за двумя зайцами?

— Но ведь!..

— Запомни одно, мы с тобой охотники за обычными колосками, за самыми обычными. Чудес искать не станем.

Пожарские поля отрезвили Сергея: таблицы сортов, засушенные гербарии, которые он разглядывал в Москве, упрямо не хотели сливаться воедино с теми хлебами, по каким они ходили, не объясняли друг друга. Единствен-

ное, что Сергей способен был сделать, это собирать все подряд. Собирать, записывать, запоминать, а уж потом в академии разбираться. Там он узнает — продуктивны ли собранные им сорта, что можно сделать, чтоб стали более продуктивными, какими сортами выгоднее заменить? Возможно, он раздобудет элитные семена, а уж тогда-то — долой с опытного поля вико-овсяную смесь!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Он лазал по полям, кухонным ножом бережно выковыривал корешки кустиков ржи, ячменя, пшеницы, а вечерами наседал на бригадиров, заставлял вспоминать:

— А чем удобряли поле за Оськиным оврагом?.. А сколько навозу? Сколько суперфосфату?.. Делали ли по колхозу анализы почв? Где можно раздобыть данные?..

Ксюша Щеглова честно зарабатывала свои трудодни, в особые тетрадки переносила записи Сергея, засушивала по всем правилам растения, писала и клеила ярлычки и уже говорить стала учеными фразами, не иначе:

— Рожь у нас в сортовом отношении — не разбери чего. Ежели покопаться, то, поди, и «муравьевку» найдешь. Черт-те что — древность! И это в самом передовом колхозе!

Даже бывшая столярка пригодилась, не та комната, где стоял письменный стол и диван для посетителей, а две пустые. В них складывали собранные образцы.

Евлампий Лыков больше не интересовался Сергеем — его председательское дело сделано. О том, что пожарский колхоз обзавелся своим научно-опытным участком, узнали и в районе, и в области. В местных газетах появились краткие, но внушительные сообщения. Подойник поставлен, и в него уже капало молоко.

Пожарские земли, поросшие лесом, врезались клином в земли двух колхозов — Доровищенского и Петраковского. Там тоже находились поля-прогалины, «чертовы кулички», как звали их в селе. С них возвращался Сергей с Ксюшей. Дорога вела через деревню Петраковскую.

Разбросанная по плоскому холму, сама плоская, придавленная необъятным небом, в который лишь врезались шесты колодезных журавлей да скворечники, Петраковская поражала своей покорной унылостью. Пожары —

село скученное, зеленое, облагороженное и речкой и приветливой колоколенкой. Здесь тишина и пустынность. Громадные избы, сложенные из матерого кондача,— память о былой зажиточности,— глядят на широкие улицы заколоченными окнами. Деревня год от году все больше слепла — люди из нее уходили на сторону.

Сергей и Ксюша за целый день не присели ни разу, грыз голод. И хоть до села оставалось каких-нибудь четыре километра, Сергей предложил:

— Давай-ка купим здесь молока да перекусим.

У них был с собой хлеб и вареные яйца. Хлебом-то вряд ли в Петраковской разживешься.

Постучали в первую же избу, из которой доносился захлебывающийся плач ребенка,— значит, есть живая душа.

Показалась простоволосая, растрепанная баба, из-за ее домотканой бурой от старости юбки выглянули сопливые, измазанные ребячьи рожицы.

— Молока не продашь ли, хозяюшка?

Плач раздавался из распахнутых дверей, женщина с сонным недоумением разглядывала и молчала.

— Молока, говорю, не продашь ли?

— Молока?.. Эва. Да в нашей деревне и всего-то три коровы уцелело. Каждая на три семьи, для детишек держат, по очереди доят — седни одна, завтра друга. А мои... Вишь, ораву,— баба тряхнула юбкой.— Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...

— Пойдемте, Сергей Николаич,— испуганно потянула за рукав Ксюша.

Плач доносился из избы. Детские глаза, глаза женщины в упор, сонно-равнодушные, усталые. И нечесаные жидкие волосы, и тусклое лицо, и жилистая шея, и ключица, обтянутая коричневой кожей из утерявшего пуговицы ворота серой кофты. За спиной плач надрывающегося младенца. Сергей, уставший, пыльный, в тяжелых сапогах, в выгоревшей кепке блином, вдруг почувствовал себя до неприличия буйно здоровым и нарядным — грудаст, плечист, часы из-под рукава нагло поблескивают на запястье.

— Сергей Николаич, пойдемте. Дом же близко.

— Прости, право...— сказал Сергей хозяйке.

И та, видать, купилась его кротостью, сочувственно посоветовала:

— Ты к соседке стукнись. Та богато живет — одна-одинешенька, а козу держит. Поди, как-нибудь продаст молока.

— Лучше идемте, Сергей Николаич. Идемте скорей...

Надрывный детский плач не умолкал.

— Гру-ня! Гру-ня-а! — завопила вдруг баба, покрывая плач.— Э-эй! Выглянь-ко! Тута нужда до тебя!

Дом богатой соседки был громаден и одноглаз — пятистенок, нагромождение истлевших бревен, покрытых прогнувшейся, рыхлой, как чернозем, драночной крышей с ядовито-зелеными лишаями мха. Все окна, кроме одного, забиты досками, зато в этом одном белели занавесочки и багрянцем горел цветок герани. Из нескладного, ненадежного сочленения бревен вынырнула маленькая, опрятная, проворная старушка — веселый, в цветочках платок на голове, лицо приятно скуластое, расплывшийся от улыбочки нос.

— Аюшки?.. Кто такие будете? Чтой-то вроде знаком по обличью. Уж не родня ли самому Евлампию Лыкову?

— Вроде бы.

— Уж не Серегой ли тебя кличут?

— Сергей,— удивился Сергей.

— Гос-по-ди! — старушка всплеснула руками.— Так ты сына моего знаешь. Веньку-то!.. Забыл, поди, в училище вместе бегали.

— Веньку? Ярцева?

— Его, касатик, его. Вспомнил, родимый!

Венька Ярцев, школьный недруг Сергея, с которым так часто схлестывались на переменах. После седьмого класса с ним расстались, а потом...

— Где он?

— О-ох! — старушка засморкалась в конец платка.— О-ох, да где уж... На войне, будь трижды проклята, анафема! Один и был у меня, один-единственный, кроме него, никого чисто... Кукую вот век одна. Почто и жить-то... Да что я, нужда-то какая, сказывайте.

Ни есть, ни пить уже не хотелось, но пришлось сесть тут же на дворе.

— Уж неколи в дом войти, то туточка, туточка, на живой ноге.

Крынка густого козьего молока встала на травку перед Сергеем.

— Пейте на доброе здоровье. Гос-по-ди!.. Я хоть на тебя, любой, со сторонки погляжу. Ну-тка, сыну моему кореш. Хоть чужому счастью порадуюсь... Пейте, пейте, не гнушайтесь — уж чем богата... А чем? Какое ныне богатство. Жисть-то у нас...

Сергей выложил полбуханки пшеничного хлеба, десяток помявшихся в сумке яиц, пригласил:

— Без тебя не сядем, мать.

— Ой, сынок, да я сыта, я еще себя содержу. Грех жаловаться, у многих хуже... Христа ради, ешьте, пейте... А широко вы живете, широко. У нас яйца и ребятишкам не показывают, не-ет, только ими и откупаемся — налоги шибко большие. И хлеб у вас, гляди-ко, чистый. Ну да, одно слово—пожарцы.

— Сергей Николаич! — почти со стоном протянула Ксюша.

У изгороди выстроились в ряд детишки соседки — лет восьми самый старший, с выгоревшими, сухими кудельными космами, сквозь рваные штаны просвечивает острое, смуглое колено, с ним еще трое, друг друга меньше, самый маленький — тугой барабан живота на кривых тонких ножках, рубашка не рубашка, распашонка не распашонка, ветхая тряпка на нем. Остановившимися светлыми глазами глядят на хлеб, на яйца на мятой газете, нет, не с жадностью, с изумлением. Изумление даже у малыша.

Сергей рывком сгреб в газету хлеб, яйца, встал, шагнул к старшему:

— Возьми! — И потому, что тот оторопел, прикрикнул: — Да бери же, черт! Меньших не обдели.

Грязные зверушечьи лапки робко потянулись к свертку. Венькина мать прятала глаза, вздыхала:

— Господи, господи... Не сироты, а вроде этого. Отец-то жив, да забыл, видно,— на стороне да на стороне, и голосу не подает. Настругал бабе кучу... Меньших-то я подкармливаю, а всех — где мне. Господи, господи, сердце кровью обливается... Молоко-то хоть выпейте...

— Извини, мать. Не могу.

— Оно, конешно, с непривычки-то... Да и привыкай не привыкнешь, все одно расстройство. Господи, господи...

Уже уходя, они за спиной услышали голос старухи:

— Васька! Сенька! Идите, пострелята, сюда! Молоко-то осталось!

Сергей заскрипел зубами. Ксюша шла, словно кралась, как прибитая.

Сколько раз он пересекал знакомую дорожку, разделяющую пожарские поля от петраковских? Десятки раз, если не сотни.

Узкая дорожка в два шага в ширину — среди густой аптечной ромашки и жестких стрел подорожника вытоптанные проплешины. Тут лишь изредка проезжала телега да время от времени катит «газик», на котором сам Евлампий Никитич Лыков объезжает свои владения: «Газик» не умещается на дороге, одним колесом мнет соседский хлеб. Все лето держится промятая им колея.

Проходя здесь, Сергей всегда испытывал горделивое чувство.

Дорога, не проселок и не тропа, что-то между — граница колхозов. С одной стороны ее — хлеба, зеленеющие той благодатной утробной зеленью, которая говорит, что земля под ними жирна и плодовита. Хлеба густы, взгляд тонет в них, путается, не достигает до корней, и не увидишь ни единого веселенького цветочка, не синеет ни один василек. С другой стороны — вымоченно белесые, редкие колоски в траве. Не хлеба, а посевы мышиного гороха, сурепки, сволочного бурьяна.

Сколько раз проходил здесь и всегда гордился — наглядная картина, вот какой наш колхоз! Считал — так должно быть, так нормально! Два мира через узкую дорожку, под одним небом, под одним солнцем, на одной земле граница в два шага — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян!

Так должно быть?..

«Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...»

Так должно?..

Изумленные глаза детишек, даже маленький по-взрослому изумляется. А какой живот у этого клопа! Изумлялись — хлеб, яйца кучей, кринка козьего молока!

Так должно?..

Тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян...

Но почему?..

До чего простой вопрос: почему на одной земле, под одним небом?.. Настолько прост, что на него бы должен

натыкаться каждый. А проходил мимо, не замечал, только гордился — какая разница, какая наглядность — здесь колос, там бурьян. Так и должно быть?.. И не он один, все кругом считают — так должно, даже сами петраковцы: «Одно слово, пожарцы вы».

Почему??

Рядом шла притихшая Ксюша — девчонка же! Но Сергей был так потрясен свалившимся открытием, что не выдержал и спросил ее— почему, черт возьми?!

— У нас же — Евлампий Никитич,— с ходу, не задумываясь, ответила Ксюша.

У нас — Евлампий Никитич, у петраковцев такого Евлампия Никитича нет. Наверно, и все так отвечают — просто и ясно: Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде.

Но разве нужна гениальность, чтоб выращивать хлеб? Если так, то люди давно бы повымерли с голоду. Гении — редкость на земле, хлеб же нужен каждому каждый день.

Почему??

Петраковцы лодыри... Но петраковцы когда-то жили не хуже пожарцев,— значит, умеют работать.

Почему??

Сергей с ужасом понял — не знает ответа.

До сих пор ему кто-то задавал кем-то найденные вопросы, требовал, чтоб он ответил кем-то подсказанные, заученные ответы. Сейчас сам наткнулся на вопрос — до чего же он прост, очевиден, до чего же на него трудно ответить! Сам нашел вопрос, сам ищи и ответ. Сергей еще не догадывался, насколько это трудно — отвечать не по-заученному, шагать не по-протоптанному.

А Ксюша успокоилась, повеселела, потому что впереди приветливо замаячила колоколенка пожарской церквушки. Счастливая родина, сытое село Пожары, где в каждой избе молока вдоволь, где детишкам дают вареные в самоваре яйца всмятку — была рядом.

Ксюша успокоилась и заговорила:

— У них все мужики разбежались. Работать некому, потому и бедность.

Сергей не отвечал ей: глупая девчонка путала местами причину со следствием, мужиков-то из Петраковской повыдуло не случайным ветром...

В бывшей столярке под замком хранились собранные с пожарских полей засушенные кустики зерновых, образцы почв. Дома в полевой сумке лежали записи, сделанные в течение лета. Начало его научной деятельности, самое начало, первые шаги в далекое. А туда ли ты шагаешь, Сергей Лыков?..

Росла тревога в душе, простой вопрос не давал покоя. И глаза детишек, глядящих на хлеб...

С папками засушенных растений, с исписанной вкривь и вкось тетрадкой и с новым, непривычным недоумением в душе приехал Сергей в Москву.

А в Москве все по-старому. Выпущен парадно цветной фильм, в котором сам великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин среди цветущих садов гневно громил и без того заклейменных менделистов-морганистов.

Как-то без шума, исподволь просочилось — с ветвистой пшеницей крупные неудачи, не растет, вырождается. Но зато шумно пропагандировалась новая теория, которая предусматривала закономерность вырождения: ветвистая пшеница способна вырождаться в простую, простая — в рожь, овес — в овсюг, ель — в сосну.

— А человек в обезьяну,— кротко добавляла Светлана.

Сергей с ней теперь встречался чуть ли не каждый день.

Неожиданно для себя он встретил неудачу с ветвистой пшеницей довольно равнодушно. Жаль, конечно, но это чудо из чудес хлеборобства вряд ли сделает петраковцев сытыми, скорей всего наоборот — поля, разделенные знакомой дорожкой, станут еще более несхожими. Ветвистую пшеницу наверняка вырастить куда труднее, чем простую, а петраковцы не только пшеницы, кондовой ржи не получают, сволочной бурьян растет.

Еще недавно казалось, все просто и ясно — наука осчастливит страждущее человечество. Пойми секреты хлорофилловых зерен, деятельность анаэробных бактерий — и на полях закачаются тяжелые, как кистени древних разбойников, колосья.

Хлорофилловые зерна... Где-то возле родного села делит землю дорожка — тут сытость, там голод, здесь

колос, там бурьян. В институте не учат, как спасти петраковцев от голода и бурьяна,— не предусмотрено программой.

Светлана удивлялась:

— Сереженька, в твоем лице появилось что-то мученическое. Не рождается ли интеллект? Если так, то поздравляю, ты на верном пути.

— Светка! Ты куда собираешься податься после аспирантуры?

— Не знаю. Наверно, туда, куда не ведет ступенчатая теория стадийного развития. Не люблю лестниц, особенно парадных.

— Едем к нам, в наши места!

— Сереженька, я хочу стать настоящим ученым.

— А я тебя не в доярки зову.

— Ученый потому и называется у-че-ным, что перенимает знания и опыт других. Чтоб стать ученым — нужны ученые учителя. Докажи мне, что твой почтенный дядя — светило в науке, причем не ложное, что у него можно много отобрать, поеду.

— У моего дяди образование — три класса, да и то, поди, он округляет для солидности.

— Очень жаль. Сам понимаешь — этого недостаточно. Мне придется искать другого опекуна, который не живет на твоей благословенной родине.

Нескладная зима в жизни Сергея. В эту зиму все крошилось, все расползалось — ветвистая пшеница, такая ощутимая, лежавшая уже в руках, превратилась в бесплотную теорию, гордость за свой колхоз уступила место тревоге за колхоз чужой, святая вера в силу науки дала трещину, так как вся академия с ее лекторами и библиотеками не может ответить на простой вопрос: почему петраковцы живут плохо, пожарцы — хорошо на одной земле, под одним небом?.. Ничего прочного на свете, даже в отношениях со Светланой. Черт возьми, не станет же он менять ее на все село, на доверие дяди, доверие колхоза, даже на ту незадачливую, богом проклятую Петраковскую, о которой так часто теперь думает.

Нескладная зима, смутное время в жизни Сергея. Но и этой зиме пришел конец. Он сдал летнюю сессию и выехал в Пожары.

И там оказалось неспокойно. Всесильный дядя Евлампий изнемогал от непосильной борьбы.

СЕРГЕЙ ЛЫКОВ

(Продолжение)

В фигуре Чистых, восседающей на стуле, страдальческий изгиб. Ночь спрятала за окном угрюмые поленницы. Снова на минуту замолчал крепко сколоченный лыковский дом — молчал угрожающе.

Вдруг Чистых вздрогнул, поднял голову и Слегов — за дверью в гробовом молчании раздались легкие, торопливые шаги. Короткий стук в дверь, ни Чистых, ни старый бухгалтер не успели бросить «да», дверь распахнулась. Стояла сестра, под марлевой косынкой красное от волнения лицо, мягкие губы вздрагивают.

Чистых поднялся со стула, надломленно навесил вытянутую голову.

— Все? — хрипло выдавил он.

— Нет! Нет! — возбужденно, до неприличия громко заговорила сестра: — Кажется, лучше... Просто чудо.

Чистых медленно распрямился.

— Я укол кордиамина сделала. Прежде и не реагировал. А тут... Глаза открыл... Один глаз... На меня поглядел. Что-то сказал... Да, да, совсем непонятное. Два слова: «Мертвый князь...» Даже явственно. Ну да, «мертвый князь», как сейчас слышу. К чему — не пойму, но, значит, лучше...

— Врача! — засуетился Чистых.— Скорее врача вызывать. Вдруг да... О господи! Всякое бывает. И профессора ошибаются. Вдруг да...

В суете Чистых чувствовалась судорожная радость, на круглом лице проступили пятна. Невероятное сбывалось, утерянное находилось, вдруг да снова станет на ноги старый председатель, пойдет все по-старому. Вдруг да...

— Иван Иванович, я выскочу.

Иван Иванович только кивнул головой, сам он в эту минуту — должно от волнения — испытывал непосильную тяжесть своего располневшего тела.

Чистых плотно прикрыл за собой дверь. Молчание дома кончилось, доносились шорохи, глухой стук дверей, торопливые шаги, наконец, возбужденно придушенный голос Чистых, говорящего по телефону.

На самом деле — вдруг да...

А ведь он, Иван Слегов, пожалуй, хочет этого. Вернется старое, привычное, будет по утрам ковылять в кон-

гору, не надо гадать, каким окажется завтрашний день. Как это, оказывается, покойно, когда завтра точь-в-точь походит на сегодня. И на самом деле — вдруг да... Жизнь, в которую втянулся. Ему, старику, от перемен хорошего ждать нечего. Каким бы ни был Пийко Лыков, но сросся с ним, одна плоть.

«Себя хороните...» Пийко Лыков как-никак ценил, Сергей Лыков в лучшем случае будет терпеть. В лучшем случае...

Стул бухгалтера что пожарная вышка, с него все видно. Но поздно он, Иван Слегов, разглядел со своей вышки этого парня. Видел в нем только счастливчика, кому влиятельный дядя устилает дорожку мягкой соломкой. «В министры не пущу, а фигурой сделаю». Оказалось, не та лошадка, на какую можно делать ставку. Ошибся Евлампий Лыков, он, Иван Слегов, не разобрался вовремя, тоже ошибся.

А если б и разобрался, что от этого изменилось бы?..

* * *

Евлампий Лыков изнемогал от непосильной борьбы.

В кабинете председателя вохровского райисполкома уже несколько раз снимали со стены план района, вывешивали новый, с новыми границами колхозов. Шла перетряска: сливались земли, закрывались на замок колхозные конторы, бывшие председатели колхозов становились или бригадирами, или номенклатурно безработными, таскались по районным учреждениям, выпрашивали место с подходящим окладом. В районном Доме культуры перед танцами читались лекции: «Экономические преимущества крупных хозяйств перед мелкими».

И только Лыков отсиживался в Пожарах, как в крепости, даже пытался отшучиваться: «Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим!» Однако крепость ненадежная, ее обложили со всех сторон.

И наконец появилось специальное решение: слить в одно хозяйство село Пожары, деревню Петраковскую, деревню Доровищи, из трех небольших колхозов создать один крупный под руководством Евлампия Никитича Лыкова.

Наверно, петраковцам радость — шутка ли, пристроиться к жирному лыковскому пирогу! А лыковцы, а сам Лыков?..

Сам Евлампий Никитич знал, что лучшие работники из той же Петраковской давно правдами и неправдами переселились в село Пожары. В Петраковской остались многодетные бабы, старухи, старики и подростки. Да и те отвыкли работать, так как много лет за свою работу ничего не получали от колхоза. Нагрянет орда неспособных к работе.

А запущенные земли!..

А скот, который привязывают под брюхо веревками к потолку!..

А общая бесхозяйственность — дуги же целой во всей Петраковской не отыщешь!..

Нет, Лыков не хотел объединяться, пугал: подам в отставку!

Но если б перетряска шла от районных властей, пусть даже от областных. С областными он умел улаживать подобру-поздорову, районное начальство не раз скручивал в бараний рог. Москва требовала укрупнений, а с Москвой не повоюешь — тут уж и у всесильного Лыкова руки коротки.

И все-таки он упрямо боролся, но уже видел — не победить.

Неприятности не отразились на дядиной внешности — только упрямей блестел лоб, только решительней выдвинута нижняя челюсть и в голосе нескрываемое обильное раздражение:

— Петраковцы!.. Да как-кое нам дело до них! Сваты, браты, родня кровная? Мы четверть века кирпичик по кирпичику, щепочка по щепочке хозяйство складывали, себе во всем отказывали. Я в первые годы в дырявых штанах голым задом блестел — все для колхоза, все в общий котел. И колхозников своих не баловал, не-ет, не давал им животы распускать. И на вот, вешают, мол, судьбой обижены. На готовенькое-то кто не рад. У тебя густой навар, Евлампий Никитич, а как этот навар нам достался — никому не интересно.

С детства Сергей намертво усвоил — дядя Евлампий не простой человек, не чета всем, кто попадается на твоем пути. Он не просто по-мужицки умен, нет — по-государственному, всей стране на удивление!

И вот упрямо поблескивающий лоб, угрожающе выдвинутая нижняя челюсть, раздражение в голосе. Угроза

и раздражение — да против кого? Против старухи Ярцевой, Венькиной матери, против той бабы, сонно-равнодушной от нищеты, от обилия голодных детишек, которые забыли уже, какого цвета бывает молоко. Что-то слишком мелкое в этой гневной угрозе государственного человека, в его раздражении. Ощетинился медведь на муравья.

— Ты хоть раз заезжал в эти годы в Петраковскую? — спросил Сергей.

— А чего я там не видел? Их житья пакостного? Так я и не видючи, а-атлично представляю — надо бы хуже, да некуда. Над каждым нищим не наплачешься. Ишь ты, дядя чужой виноват, что плохо живут.

— Но могут жить хорошо?

— А чего не мочь. Чем у них условия хуже нашего? Земли у них, ежели разобраться, даже получше чуток. Нам бы их луга заливные, что по волоку лежат.

— Значит, могут жить лучше? — упрямо повторил Сергей.

Евлампий Никитич подозрительно уколол племянника не остывшим от вражды взглядом:

— И что дальше скажешь?.. Могут, братец, могут, да не живут! И пестовать их я не хочу. Слышал? Не хо-чу!

— То-то и удивляет. Человек ослаб, подняться не может — не хочу руку подать. Нечего сказать, красиво.

— А если он, доходяга, руку-то с голодухи до локтя отхватит? Не кра-си-во! Мне интересно целым быть, а уж красавцем писаным — бог с ним.

— Иным словом, боюсь, как бы не обкусали.

— Вот именно.

Государственный ум... Сергей глядел на знакомый насупленный лоб. Держит мысль на узде, боится выпустить за околицу села. Масштабно государственный, всей стране на удивление?.. Если Петраковскую ни умом, ни сердцем охватить не может, то всю-то страну — где уж. И ощетинился — как бы не обкусали. И не стыдится, скрывать не считает нужным: «Вот именно».

Вглядываясь в смутный блеск глаз, скрытых сумрачным председательским подлобьем, Сергей жестко обронил:

— Жирный всегда тощего боится.

И даже тут дядя Евлампий не оскорбился, только лицо постно отвердело, ответил сдержанно:

— И то верно, тощий зол, образ человечий куда как легко теряет.

— А жирный не теряет? Издавно замечено, чем мягче жирок, тем черствей сердце.

У дяди Евлампия откуда-то от плеч через короткую шею на физиономию пополз гневный, потный багрянец.

— Молокосос! Суслик! Да тебе ли судить о нашем жирке! Ты, что ли, нас вспаивал, вскармливал до нужной кондиции? Ты пока на нашу колхозную землю и капельки пота своего не обронил. Ты пока сам за счет нашего колхозного жирка живешь. Пока ты пиявка только, а туды же...

— Может, одумаешься, дядя,— холодно произнес Сергей,— возьмешь свои слова обратно.

— Ах, неприятны!.. Само собой, верю. Кому охота слушать правду в глаза. Ну, я-то, кажись, заработал себе право таких щелкоперов по мозгам бить!

— Бей, но справедливо!

— Иль докажешь, что твоего поту — ручьи в нашем озере?

— Ручьи не ручьи, не мерял, а пот есть, холодный пот, тот, каким я обливался, когда над Курском, над Харьковом, над Эльбой в лоб на немецкие «мессера» шел. Без этого пота жирок с твоего колхоза немцы бы освежевали. У меня — что, только пот холодный по счастью, а ты знаешь Веньку Ярцева?.. Нет. Он не пот, а всю кровь выпустил, до последней капли. Венька-то из Петраковской, его мать-старуха по двести граммов сорного ячменя на трудодень получает. Перед ней тебе не совестно за свой жирок?

— Таких Венек много и у нас, петраковцам нечем хвалиться.

— У нас, в Петраковской, в других деревнях да городах — всюду гибли за общее. А теперь Лыков Евлампий это общее на свой вкус делит — себе жирок, петраковской бабе сухую кость. Справедлив, дальше некуда.

Евлампий Никитич презрительно скривил губу:

— Грамотен. И то, на колхозные денежки в академии сидел, как не научиться политбеседы вести.

— А ты знаешь, зачем я пришел?

— Пришел разжалобить петраковской бедой.

— Пришел тебе сказать — откладываю академию пока в сторону.

Голова Евлампия Никитича стала клониться к плечу, недоброжелательно-мутненький голубой глаз сверлил в душу.

— Да, откладываю. До лучших времен, если они случатся. И хочу просить правление колхоза назначить меня бригадиром в петраковскую бригаду. Даю, если хотите, обещание — справлюсь, вытяну и так далее. Какие там слова говорят в этих случаях?

— У нас нет петраковской бригады!

— Но будет.

— Как сказать. Есть еще порох в пороховнице.

— Ой ли? Всем уже видно, а тебе лучше всех — нет пороху, весь выстрелял.

Голубой глаз сверлил в зрачок Сергею. Евлампий Никитич процедил с презрением:

— А я-то еще думал: будет Серега с ученой степенью.

Сергей пожал плечами, ничего не ответил. И дядя Евлампий опустил глаза. Он сам понял, сколь не уместно вспоминать эту ученую степень,— резного конька на крышу не ставят, когда дом валится. Опустил глаза только на секунду, встряхнулся, сказал уже другим тоном, суровато, по-председательски:

— Сам напрашиваешься? Что же, отметь себе — я не неволил. Сам! А мне, не скрою, дар божий получить такое предложеньице. От Петраковской любой и каждый из порядочных людей шарахнется в сторону.

— Видать, я не из тех порядочных. Иду в Петраковскую.

— Смотри, Серега! Слово — олово, отказа не приму. Одумайся, пока не поздно.

— Иду.

— Ну что ж... Запишем для памяти. Пока для памяти, на всяк пожарный случай. Кой-какой запасец пороха есть. Небольшой, правда. Буду отстреливаться до последнего. Ну, коль руки вверх поднять придется — что ж, ты слово сказал. Только не жди поблажек. Не-ет, Серега, поблажек тебе не будет. Тут тебе не наука, на волчий путь вступаешь. Слышишь меня?

— Слышу.

— Поворота не даешь?

— Нет.

На этом и расстались.

Лыков отстреливаться уже не отстреливался, а тянул, отсиживался, выжидал — вдруг да наверху поворот означится, прикроют кампанию на укрупнение.

Не удалось отсидеться, собрал правление.

Он сидел за своим столом под сапожками вождя напротив чугунного младенца, деловито суровый, кряжистый, Евлампий Лыков — лучших времен.

— Начнем, что ли? — объявил он.

За красным столом, напротив расставленных графинов с водой,— цвет лыковского колхоза, знатные бригадиры, не менее знатные заведующие фермами, орденоноска доярка, орденоноска свинарка, в конце ближе к дверям, не знатный, не прославленный, не орденоносный, но поболее других уважаемый бухгалтер Слегов со своими костылями. Тут же и Чистых, бывший Валерка Приблудный. Он, как и Слегов, и не знатный, и не прославленный, и не орденоносец, но не откажешь — тоже ведь уважаемый не меньше других. Попробуй-ка только не уважь — Евлампий Никитич быстренько заставит. В самом углу сидит Петр Никодимыч Гущин — секретарь колхозной парторганизации — человек среднего уважения потому, что его средне опекает Евлампий Никитич. Секретари меняются чуть ли не каждый год, всех их рекомендует райком, а значит, по мнению Евлампия Лыкова, пусть райком и блюдет их.

С тех давних пор, как он, Лыков, неожиданно-негаданно одержал победу над Чистых-старшим, секретарем райкома, человеком твердых принципов, «застегнутым на все пуговицы», пошла расти трещина между лыковским колхозом и районным руководством. «Мы сами с усами, голыми руками нас не хватай — ожгешься». Петр Гущин обязан во всем слушаться райкома, отчитываться перед райкомом, от лица райкома контролировать строптивого Лыкова, одергивать, если тот зарывается. А попробуй это сделать, когда само райкомовское начальство остерегается «длинной руки» прославленного председателя — куда как легко достает до области. Поэтому секретарь парторганизации Гущин старается не мозолить глаза, тихо сидит в углу, не собирается активно поддакивать и активно возражать, готов слушать и принимать к сведенью.

Сергей Лыков среди всех, гвоздь сегодняшнего совещания, именинник, так сказать — будничная кепочка брошена на красную скатерть, приглаженный зализ соло-

менных волос над крутым лыковским лбом, спокойнешенек. На него со всех сторон косятся, ощупывают — еще бы не интересен, из Москвы, из академии, куда никто и добраться не мечтает, в Петраковскую, надо же, добровольно, бывают же чудаки на свете.

— Значит, так,— с важностью начал свое вступительное слово Евлампий Никитич,— ученые люди говорят — крупное хозяйство производительнее мелких. Азбука экономики, словом. А уж раз ученые так говорят, то не нам, серым, с ними не соглашаться...

На всех лицах, как по команде,— смутный след суетной ухмылочки: куда как понятна издевочка Евлампия Никитича — «не нам, серым»,— серые-то и рады бы не согласиться, но сила солому ломит.

— Значит, так, линия на укрупнение — правильная. Нам, как наиболее передовым и сознательным,— Евлампий Никитич с особой расстановочкой произнес последнее слово,— не пристало быть в стороне от этой линии. Значит, так, мы за объединение с Петраковской.

Помолчал, сурово оглядывая всех. О Доровищах он не упомянул, на Петраковскую — куда ни шло, а Доровищи — погоди, от них авось теперь можно и отлягаться.

— Мы за объединение с Петраковской,— повторил председатель и не удержался, съязвил:— За союз, так сказать, горшка каши со щербатой корчажкой.

Прошелестел положенный смешок, смолк. Вступительное слово окончилось, Евлампий Никитич повернул в тугом вороте рубахи толстую шею, заговорил в сторону нового петраковского бригадира:

— Даем тебе трактора и трактористов, пашем, что попросишь и когда попросишь. Пашем, учти, на совесть, на нашей земле эмтээсовцы не шалят. Это раз! Берешь у нас семена, какие хочешь и сколько хочешь. Это два! И еще сверх всего—хлеб на прокорм голодного петраковского люда, чтоб до осени, до урожая, который ты обещаешь, у них во время работы штаны не спадали. Вот — три!

Молчание. Спокойный голос Сергея:

— Ну и добро. Больше ничего не потребуется.

— Согласен. Ишь ты! Но погоди, это только одна половинка уговора. Слушай другую. За работу тракторов кто-то должен оплачивать. Кто? Мы? Вы? Или Пушкин?..

— Мы платим из урожая, как же иначе,— согласился Сергей.

— Вот именно, по расценкам мягкой пахоты, как положено. И семена ты нам тоже возвратишь из нового урожая. Ну, а хлеб на прокорм... Хлеб этот можешь не возвращать — так сказать, наша бескорыстная помощь. И еще мы решили дать вам полную самостоятельность. Вы сами рассчитываетесь с государством, излишки берете себе. Будет много излишков...

Кто-то фыркнул за столом, но Евлампий Никитич гневно повел светлой бровью.

— Будет много излишков—ваше счастье, мы на них не позаримся. Мало — с нас уж потом милостину не тяни. Не выгорит. Вот и все наши условия. Принимаешь ли?

Молчание, вздохи украдкой, прищуренные глаза на Сергея. Сергей качнул головой, усмехнулся:

— Ты меня словно председателем другого колхоза ставишь, а не бригадиром.

Евлампий Никитич ждал этих слов, приосанился, без того строговато выглядел, теперь совсем не подступись.

— Мы решили все бригады поставить на хозрасчет. Все! Вы не исключение, тоже на хозрасчете.

— То есть под вашей вывеской, но на особицу?

— Вот именно! Мы — сами, вы — сами. А помощь вам от нас полная.

Сергей снова закачал обкатанной головой, засмеялся:

— Ну и хитер же ты, однако.

У Евлампия Никитича мягкие скулы тронулись в усмешечке, заулыбались все: еще бы не хитер, казалось бы, совсем к стенке прижат, а вывернулся. Вроде объединяется, не придерешься, а на деле — глухой заборчик между старыми лыковцами и новыми. Вы сами, мы сами — одна лишь вывеска.

У Лыкова-старшего обмякло лицо — снова добрый дядя,— все сказано, пронесло, а потому можно раскрыть и остальные карты. Он воркующе заговорил:

— Чего там скрывать, все мы боимся, как бы петраковские козы не обглодали наш огород. Будем помогать по-свойски, по дружбе, но помните — дружба-то дружбой, а табачок врозь. Для этого и существует слово «хозрас-чет»! Да еще лозунг: «Кто не работает, тот не ест!» А потом поглядим: может, козы подхарчатся, молоко станут давать, тогда и в общее стадо примем.

— Ладно, не умасливай,— ответил Сергей.— Хозрасчет так хозрасчет. Не надеюсь особо из нищеты выпол-

зать на хребте пожарцев. Помогайте как можете. А мне с хозрасчетом даже посвободнее. Лезть со стороны с советами меньше будете.

Евлампий Никитич не выдержал, легонько крякнул:

— Конечно, сам себе во князях.

И правление не выдержало, грохнуло, но смеялись не злобиво, с облегчением. Каждый был рад, что, слава тебе господи, сам не стал стольным князем петраковским. Хоть и учен парень, в академиях штаны просиживал, а в жизни не смыслит. Из сыновей в пасынки идет добровольно. Чуть сплохуй, Евлампий Никитич решением этого правления прикроется—помогал, условия посильные ставил, сам согласие давал, силой не неволили. Князь пресветлый, попадешь в стрелочники — любая вина твоя.

Евлампий Никитич пресек:

— Эй, эй! Смешочки не к месту!

Но не слишком строго.

Он, Лыков Евлампий, не считал глупость в людях уж очень большим пороком. Пусть глуп, да покладист, ума всегда вложить можно.

Через несколько дней в районной газете появилась статья: «Новаторство! В передовом колхозе «Власть труда» бригады поставлены на хозрасчет!» В те годы по деревням это слово еще не вошло в широкий обиход.

Под осень прибыли два огромных грузовика, на каждом горой тугие мешки — хлеб петраковцам. Но не просто хлеб, а с лозунгами. По бортам машин кумачовые плакаты: «Пламенный привет новым колхозникам колхоза «Власть труда»!» И тут же назидательное: «Кто не работает, тот не ест!» Хлеб привезли, но и лозунги не забыли.

Вокруг грузовиков собралось все население полузаколоченной деревни Петраковская. Босые бабы с черными ногами и спеченными лицами, за их подолы цепляются белоголовые ребятишки. Мужиков в деревне, считай, нет, а поди ж ты, плодятся... Сгорбленные старухи с жилистыми шеями, старики с седыми щетинистыми подбородками. Несколько подростков, безусых, опаленных солнцем, из тех, кто еще не доспел в армию. (Из армии уж, шалишь, в Петраковскую калачом не заманишь.) Негусто молодок, по одежке смахивающих на старух... Выцветшая, вылинявшая, иссушенная толпа, мослы да гла-

за, да нестриженные космы, и общее у всех выражение недоверия.

Тугие мешки навалом, в их сытой наглядности какое-то неправдоподобие. Даровой хлеб да еще с лозунгами: «Пламенный привет!..»

Евлампий Никитич сам привез этот хлеб, закатил речугу и тоже, как водится, с лозунгами: «Добьемся высоких урожаев! Берите, ешьте и помните: «Кто не работает...»

Евлампий Никитич — широкая физиономия словно смазана маслом, костюмчик уже тесноват — пуговицы еле сдерживают налитое брюшко. До чего же он не похож на тех, кто его слушает,— с другой планеты.

«Даем! Берите!» — широкий жест в сторону мешков. Пусть все видят, кто дает.

В стороне стоит новый бригадир — кепка надвинута на глаза, упрямый, как у дяди Евлампия, подбородок, пыльные сапоги, руки глубоко в карманах. Он обязан позаботиться, чтоб хлеб не был съеден задаром.

Он знал, что коней в Петраковской среди зимы привязывают к потолку веревками, знал, что коровник без крыши...

Одно знать понаслышке, другое видеть.

Впервые вошел в дверь скотного к коровам, увязнувшим в жидком навозе. К коровам?.. Нет! Таких коров еще не встречал — деревянные козлы, обтянутые космать ми, ржавыми шубами, не похоже, что может внутри теплиться жизнь. Живы только глаза, большие, слезящиеся, истекающие такой влажной тоской, что коченеешь, сам становишься деревянным. И вот в такую-то минуту одеревенения почувствовал на своем лице мокроту, не теплые слезы, холодная, липкая мокрота — дождь. Поднял голову и увидел над собой небо, серенькое, обычное, только перекрещенное стропилами. Обвалилось сердце, не помнил, как оказался на воле. В дверь вышел. Дверь-то была, а крыши нет.

Всего четыре километра в сторону — село Пожары. Там среди побеленных стен, под светом электрических ламп, в густом тепле, слитом из запахов парного молока, навоза и ядовито щекочущего силоса,— лоснящиеся, атласные, упругие, широкие спины рядами. Там другие

животные, нисколько не похожие на этих деревянно-шерстистых, там буйная плоть, звуки ленивой жвачки, чугунные чаши автопоилок, бетонированные дорожки со стоками, брандспойты, сгоняющие упругой струей нечистоты.

Всего четыре километра, где-то на середине — узкая дорога среди полей. Четыре километра? Нет, дорога пролегает не по земле, а по времени. Там — двадцатый век, как и положено, здесь черт-те какой — средневековье! Прыгай через столетия, Сергей Лыков!

Были лекции и библиотеки, книги и профессора, микроскопы и цветные таблицы, таинства внутри зеленого листа, откровения из загадочной жизни микробов, гнездящихся у корней растений. Это все было, а ожидалось большее — опытный участок, научная станция, своя лаборатория с пробирками и микроскопом, грядки с табличками, извещающими, что на планете появляются неведомые людям сорта, ученая степень, почет... И был бы птицей свободного полета, ни с тебя выполнения плана, ни отчетов, ни проработок на совещаниях — твори!

Бригадир в Петраковской! Бригадир в самой безнадежной бригаде, ты заведомо — мальчик для битья.

Соседку Венькиной матери, Груни Ярцевой, звали Анной — Анна Филиппьевна Кошкарева. Дети ее: погодки — Петька и Ленка, один восьми, другая семи лет, погодки — Сенька и Васька — пяти и четырех — да еще люлечный Юрка, тот, что тогда плакал с надрывом в избе.

Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву — щавель, крапиву и еще одну, называющуюся почему-то неприличным словом,— детишки сами заготовляли летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки напоминали по цвету, по виду, свежие лепехи коровьего навоза — черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.

Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб — ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены — сухо ли,— закрыл на замок.

Хлеб на замок! Это значит — опять голод, это значит — лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.

Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше — нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.

— Пожарский опричничек.

— Хлебец-то для показу с председателем привез.

— А вы что, бабы, пожировать хотели?

— Облизнись да забудь.

И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой затаенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал, пожалуй, даже в войну, где случалось натыкаться в небе одному на трех «мессеров».

Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом — не пожарская контора с колоннами и широким крыльцом,— обычная изба, ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Собрались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно дышать — платки, платки, полушалки, кой-где лохматая стариковская шапка. Большинство населения — бабы, у многих дети, все просят есть, а хлеб под замком.

Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вместо речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол.

— Вот он... От хлеба.

Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы просторной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза, много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.

— Ваш... Я его в руки больше не возьму. Кто хочет, может его взять, открыть амбар, раздать хлеб. Милицию не позову, жаловаться никуда не буду.

Тишина, вздохи, сопение. Недружелюбные глаза.

— Ну, кто хочет взять ключ?

Из-за спин, из-за платков бабий голос:

— Любой возьмет, не петушися.

— Только этого любого я спрошу: сколько месяцев ты, любой, собираешься жить на свете? Три месяца, четыре или больше?

Нелюдимое молчание, нелюдимое, но и озадаченное.

— Съедим сейчас хлеб, весной снова будем голодны.

— Не привыкать!

— То-то и оно, а я хочу, чтоб отвыкли. Для этого и пришел. Хочу хранить хлеб до весны, чтоб работать не на траве, чтоб посеять новый хлеб, чтоб собрать его, чтоб быть сытым вечно. Не согласные, собираетесь весной по привычке в кулак дудеть, травкой закусывать — берите ключ, вот он.

И Сергей сел.

Молчание, тяжкие бабьи вздохи, шевеление.

Секунда, еще секунда, еще... Секунды решали будущее деревни Петраковской. Секунды решали судьбу Сергея. Если кто-то с отчаяния надумает, подымется сейчас среди платков, подойдет, возьмет ключ — будет несколько сытых месяцев, снова голодная весна, снова сволочной бурьян на петраковских полях, а от Сергея отвернутся все — сама деревня, пожарцы, Евлампий Никитич. Он-то отвернется с издевочкой:

— Что, лихач, на первом повороте вывернуло?

И голодные дети, с изумлением глядящие на хлеб, на яйца, на молоко...

Шли секунды, тянулось молчание.

— Решайте, бабы,— угрюмо напомнил Сергей.

Никто не решался. Молчали.

— Анна Кошкарева! — позвал Сергей.— Ты здесь?

— Тута. А что? — из глубины, от стены.

— Выйди сюда.

— А чего?

— Да иди, иди, не съест! — зашипели со стороны.

Зашевелились, стали тесниться, уступая дорогу.

Вышла, встала перед столом. Глаза в пол, на растоптанные валенки, грубый, словно из дерюги, платок закрывает лицо, мужская телогрея с клочьями ваты на локтях, ветхая юбка... Даже по-петраковски — бедна.

— Анна, возьми ключ.

— А чего это я?

— Возьми и храни у себя...

— Не робей, бери уж, коль так. Чего тебе сделают, ежели в руках подержишь.

Не подымая головы, Анна взяла ключ.

— Вы видели — у кого он? Хлеб не мой, хлеб ваш. В любое время можете его взять и разделить... Если захотите.

Сергей встал.

— Все, дорогие товарищи! Собрание окончено.

Хлеб под замком. Ненавидеть за это надо того, у кого от замка ключ в кармане. А ключ этот положила себе в карман Анна Кошкарева. Ее ненавидеть?.. У нее пятеро голодных детей, они сыты не стали от того, что мать держит ключ от хлеба, которым можно накормить всю деревню.

Сергей жил у Груни Ярцевой. С оклеенной старыми газетами стены, из рамки на него теперь глядел с вызовом недруг мальчишеской поры Венька — просторная пилотка на растопыренных ушах, шея тонкая с кадычком, что петушиная нога. Как и все, Сергей питался картошкой, не навез из Пожар для себя харчей. Ключ лежал у Анны, запасы хлеба не трогались, но Сергей изворачивался...

Евлампий Лыков давал семена — какие хочешь, сколько хочешь, отбирай сам. И Сергей отбирал. Семенной фонд лыковского колхоза он знал лучше всех — не зря же целое лето толкался по полям, совал нос в закрома,— лучше самого Евлампия Лыкова, лучше кладовщиков, лучше любого из бригадиров. И он отбирал горстку по горстке наилучшее зерно, сам проверял на всхожесть, помогала проверять Ксюша Щеглова. Бывшая столярка — опытный участок — вся была уставлена блюдцами, заложенными мокрой марлей, и промокашками из школьных тетрадей, на них прорастали семена. Опытный участок работал, но не на село Пожары, на деревню Петраковскую.

А в Петраковской хранился свой семенной фонд, замусоренное зерно ржи, ячменя, тощей, как мышиный помет, пшеницы. Фонд — одно название. Его Сергей пустил на помол, выдавал, но с расчетом. Покрой крышу над скотным — получи, привез сено — получи, вычисти навоз, приведи в порядок коров... Но иногда выписывал и без работы — на детишек, многодетным матерям.

Шла вьюжная зима, на редкость снежная. Лошади, срывающиеся с дороги, тонули в снегу по уши, вытаскивать приходилось на веревках. В эту зиму в Петраковской мало ели травы, хотя и не без того — нет-нет да в морозное утро потянет сладковатым дымком из какой-нибудь трубы, значит — кто-то печет лепешки из щавеля. Даже Сергею приходилось их пробовать, первое время выскакивал на крыльцо, перегибался через перильца, отдавал травку на снег.

Не очень стеснялся челобитничать перед дядей:

— Удели возиков пять сена... Подкинь овса. Помогать обещал? Исполняй обещание — самое время.

Евлампий Никитич скорбно вздыхал:

— Ох уж вы, мои союзнички — второй фронт до гробовой доски.

Но все-таки помогал.

Коней в эту зиму не привязывали к притолокам веревками — сами держались, хотя и выглядели не для парада.

Так дотянули до марта.

Через Петраковскую прошли десятки председателей — были среди них и прохвосты, с нищей деревни сумевшие вырастить в районном городе далеко не нищенские по виду дома, были и честные люди, не присвоившие себе лишней горсти зерна. Всех их постигало одно — исчезали без следа — что были, что не были, бог ведает.

На Петраковской висело два миллиона долгу в счет кредитов, выданных государством в разные годы. «Колхоз-миллионер»,— в районе еще и пошучивали, а что оставалось делать?

Евлампий Лыков добился — долги списали.

Евлампий Лыков помогал. Мог бы щедрей, но и на том спасибо.

Евлампий Лыков — председатель колхоза, а в лыковский колхоз районные уполномоченные не суются. А это тоже немаловажно. Уполномоченные — чума для тех, кто встает на ноги.

Ни у кого из бывших председателей деревни Петраковской не было за спиной Евлампия Лыкова.

У Сергея — крепкий тыл, он мог наступать не оглядываясь, действовать с напором.

Нищая Петраковская была богата одним — навозом. Десятки лет копился он в скотных дворах, в конюшнях, в сараях самих колхозников, пропадал, перегорая до жирного чернозема, снова копился. Даже те, кто сбежали из Петраковской, оставили после себя около заколоченных изб кучи навоза. В стойлах часто коровы доставали тощими хребтами потолочные балки—утрамбованный, каменно слежавшийся навоз выпирал. От навоза подпревали нижние венцы хлевов, хозяева бросали эти хлева, строили новые. Нищая Петраковская сидела на богатстве.

Богатство, если только вывезешь все подчистую на поля, а иначе — навоз есть навоз, обычная нечисть.

Вывезти, а всего одиннадцать лошадей могло ходить в упряжке.

Трактора на помощь?.. Это пожалуйста. Но за работу тракторов нужно платить. Вырастет урожай или нет — бабка надвое гадала, трудодень же трактористу отдай, и трудодень такой, какого ни разу не получал петраковский колхозник.

Учебная программа академии не предусматривала, как на одиннадцати клячах вывезти горы навоза?

Как?

Решить этот вопрос — значит получить урожай, значит дать на трудодень, значит накормить петраковцев. А быть сытым — счастье, петраковцы пока о большем и не мечтали.

На одиннадцати клячах!.. Кажется, невозможно.

— Что ж, бабы, попросим Евлампия Никитича, пусть трактора подсылает.

— Так ведь, Сергей Николаич, голубчик, обдерет нас Евлампий Никитич со своими тракторами, как липку.

Пришло время заставить Анну-хранительницу выложить ключ от хлеба на общественный стол. Большой, тронутый ржавчиной ключ от амбарного замка. Сергей стоял над ним, глядел на сидевших баб, на свою «божью рать», как с издевочкой называли их в Пожарах. «Божья рать» взирала на Сергея уже не с прежней недоверчивостью, уже как на своего.

— Кому этот хлеб — трактористам или себе?

Вопрос дикий, вопрос крамольный. Этот хлеб перестал быть дареным, его хранили, отказывали голодным детям. Да решись сейчас Сергей отдать его на сторону, хотя бы и трактористам из МТС,— вся вера в него лопнет, лопнут надежды, ни одна рука не подымется на работу, не жди никакого урожая. Хлеб, который так долго лежал нетронутым,— священен.

Трактористам или себе?.. Вопрос дикий, вопрос крамольный и для любого уполномоченного из райцентра. Как можно спрашивать? От механизации отказываться, МТС игнорировать, технику подменять горбом — в прошлое тянешь, бригадир, наше развитие на том и основано, что грубая физическая сила подменяется силой машины. Через МТС государство получает от колхозов крупный

куш, за игнорирование МТС в районе били беспощадно, часто не ограничивались строгачами, просили выложить на стол партбилет. Но уполномоченные обходили стороной лыковский колхоз, а Петраковская жила теперь под лыковской вывеской.

— Се-бе-е! — единым вздохом откликалось собрание.

— Се-бе-е хлеб!

— Как вы думаете, если за тонна-километр вывозки навоза — пуд хлеба? Хорошая цена?

— Цена-то хорошая, только на чем повезем?

— Вот этого не знаю, бабы. Знаю одно — хлеб за навоз. Хлеб сразу, на руки, не авансом.

— Согласимся, что ль?

— Но как же, бабоньки, на чем?

— Да уж одно тягло — на карачках.

— Ежели б было на чем, не платили так.

— И хлебушко-то сразу, нас ведь всегда авансом кормили!

— Авансами мы сыты!

— Эй, бригадир! А без обману?

— Без обману.

— Вывезем! На себе! Не отдавать же хлебушко!

И повезли навоз.

Другого выхода не было. По нескольку баб впрягались в волокуши, тащили по глубокому снегу километрами. За хлеб, за настоящий, не за авансовый, не за обещанный! За хлеб, которого давно не видели вдоволь в Петраковской. Там, где лошади падали, бабы вывозили...

Варварство? Да! Бывший слушатель Тимирязевской академии пошел на это! Но в варварстве и жила Петраковская — зимой коней привязывала к потолку, коров держала под открытым небом, растила сорняки, копила навоз, ела траву. Из варварства без варварских усилий можно ли вылезти? Тимирязевка не предусматривала в своих программах, приходилось действовать на свой страх и риск.

Он метался от одного поля к другому, командовал: здесь побольше подкиньте — песочек, там хватит — без того земля добрая.

Знакомая дорога, разграничивающая пожарские земли от петраковских, была закрыта снегом, по ней не ез-

дили зимой. Сейчас ее вновь пробили, набросали вдоль щедрые кучи навоза.

А на бригадном складе уже лежало отборное зерно для семян.

А Сергей находил время, чтобы водить дружбу с трактористами, с той бригадой, которой предстояло подымать петраковские поля.

— Ребята, хочу одного, чтоб вы стали похоронной командой... Что ржете? Поля наши в сплошном сорняке. Семена этих сурепок, осота хоронить, хоронить, да глубже. Без глубокой вспашки, без оборота пласта работу принимать не стану. Учтите это заранее. А за качественные похороны сочтемся, обещаю.

Трактористы смеялись, пили водку, выставленную Сергеем.

Навоз выгребался подчистую. По деревне Петраковской вкусно пахло свежеиспеченным хлебом.

Дорога, разделяющая поля,— там колос, здесь бурьян. Еще посмотрим — у кого как.

И вот в эти-то мартовские дни впервые с удивлением стал вглядываться в Сергея не встающий со стула бухгалтер Слегов. К нему на стол ложились сводки. В сводках из Петраковской — вывезено столько-то тонн навозу. Гм... Цифры красивые, хоть вешай на стенку вместо плаката.

В неподкупном бухгалтерском деле что слишком красиво, то с запашком. Иван Иванович полистал, выудил — вот точная цифра конского поголовья в Петраковской (гм... ну и цифра!), а вот и другая — количество работоспособных... Тракторов не брали... Гм... Одни цифры отрицали другие. Как это понимать, Сергей Лыков? Кто ты — рано созревший мошенник или чудотворец? Чудотворцы, как известно, давно повывелись на земле, зато мошенники теперь не в диковинку и среди молодых.

Слегов следил со своего бухгалтерского стула. Стул — что пожарная вышка, не рассчитывай обмануть. Поживем — увидим.

Весна после снежной зимы выдалась недружная. Сугробы то прели, то каменели под морозами; казалось, конца не будет таянию. Евлампий Лыков испугался затяжной весны, послал тракторы в первую очередь на пожарские поля — петраковцы обождут.

И прогадал. На непросохших полях тракторы застревали, часто ломались, по мокрому и вспашка плоха — гряз-

ные мочажины заплывали, подсыхая, запекались коростами, а уж сквозь них, не жди, скоро не проклюнется зерно. Не всегда-то права пословица: весенний день — год кормит, на нее есть иная: поспешишь, людей насмешишь.

Сергей не спешил и выгадал, тракторы дружней работали на петраковских полях. Ходили слухи, что бригадир незаконно задабривает трактористов, в бухгалтерию, разумеется, обличающих бумаг не поступало. Если так, то парень в своего дядю Евлампия, тот при нужде никогда не упускал случая обойти по кривой закон.

Уже в середине июня заговорили о какой-то дороге, на которой стыкались поля петраковцев и пожарцев:

— А по ту сторону ныне всходы-то того, не нашим чета.

Кто ты, Сергей Лыков, мошенник или чудотворец? Всходы-то мошенников обычно растут не из земли, из воздуха.

Сам Евлампий Никитич из конца в конец прокатил по петраковским полям на своем «газике», подтвердил:

— Ай да Серега! Видать лыковскую породу!

Чудотворец?.. Нет, дудки! Давным-давно ушла вера в чудотворство.

Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме зелени — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб вступает в пору юности.

Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и вглядись — серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер,— по зелени волны с металлическим отливом. Юность

в разгаре. Серебро на колосе, не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминание старости.

Желтизна, соломенное золото — вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.

Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.

Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.

Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.

Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди...

Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивилась своим полям. Изумлялись до страха, до оторопи...

— Гос-поди! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас... Гос-поди!

Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье. Сергей не исключение, от этого счастья-отчаянья он почернел, ссохся, лицо стало каким-то глинистым, губы спеклись.

Он ждал разговора с дядей Евлампием, ждал, что тот первый начнет. И не ошибся, тот сам приехал к нему, как всегда, кипуче весел, лицо в парной красноте, загривочек гнет вперед лысеющую со лба голову. Хлопнул с размаху племянника по спине:

— Ну, академик! Потолкуем!

Сели толковать.

— Куш большой, Серега, сам вижу,— втолковывал дядя Евлампий.— Но на хромую лошадь не ставь — проиграешь.

— Это петраковцы — хромая лошадь?

— Аль у них уже все ноги выросли? Тебе-то, верно, лучше меня видно — пока хромоваты, одни с урожаем не справитесь. А чтоб сотка хлеба под снег ушла — не допущу! Такой оказии с нашим колхозом еще не случалось,

— О чем разговор,— невинно ответил Сергей,— урожай общий, вместе снимем, ровные трудодни получим.

— Хе-хе, твоей «божьей рати», как пожарцам, одинаковый трудодень? Не рановато ли?

— Иль «божья рать» — люди хуже других?

— Доказательство, что ровня, маловато. Пожарец свой трудодень не одним десятком лет достигал, твои божьи люди хотят годом достичь. Не выйдет, парень. Хозрасчетик я покуда не нарушу. Давай полюбовно: мы поможем, а за помощь возьмем, что положено.

— А петраковцам с их же собственного урожая остаточки?

— Разве не хватит? Привыкли как сыр в масле кататься?

— Чудеса в решете, дядя Евлампий. То ты боялся, что петраковцы пристроятся к твоему пирогу, то теперь сам норовишь откусить от горбушки петраковцев. Или равные права петраковцам, или уж хозрасчет до конца!

— Н-ну, н-ну,— произнес Евлампий Никитич с угрозцей.— А знаешь, чем для тебя пахнет, ежели хоть один га под снег упустишь?

— Знаю.

— Нет, видно, плохо знаешь. Сам я тобой заниматься не стану, а районным властям сдам — растреплют в пух чижика.

— Идет.

— Н-ну и н-ну...

Евлампий Никитич уехал с убеждением: поклонится, куда ему деваться, хозрасчет хозрасчетом, автономная республика, а самостоятельности — шиш! Даже с МТС договора заключить не имеет права, тра́ктор и комбайн получи из его, лыковских, рук.

Сергей заставил всех баб написать мужьям и сыновьям письма, тем, кто давно отбыл из своей деревни, работал на стороне,— берите отпуска, приезжайте на время уборки, в накладе не останетесь. А эти беглые мужички не все жили в дальних краях, многие работали рядом — на сплавучастках, на лесопунктах,— наезжали гостевать чуть ли не каждую субботу, обновленные поля видели своими глазами и, уж конечно, задумывались об урожае.

Хлеб поспевает не в один день. На местах повыше и попесчаней — зрел, а в низинах, на мокроте — с молочком, а то и вовсе зелен, как лук. «Бабы! У каждой из

вас не чугун, а крестьянская башка на плечах! Не ждите бригадирского указа, соображайте, ловите момент, бросайтесь с серпами!..»

У Евлампия Никитича колхозник не мог колдобину на дороге засыпать без приказа, для этого, скажем, лошадь нужна, чтоб песок привезти, а уж тут спросись председателя. В бригаде Сергея, если сам сообразил, сам без подсказки сделал — похвала, и честь, и награда к законному трудодню.

Нельзя предугадать, нельзя наперед запланировать ту силу, которая появляется с надеждой. «Неуж жить начнем». Разумом предугадать нельзя, а учуять можно. «Божья рать» петраковская с начала августа до глубокой осени воевала с хлебами. «Жить начинаем, не дай-то бог, чтоб сорвалось!» Воевали за жизнь, не шуточки.

И вот — чудо в Петраковской! По всему району шум. Еще весной эта деревня считалась одной из самых захудалых, бывший безнадежный «колхоз-миллионер». А урожай-то ныне выше пожарского! Кто мог ждать?

В докладах начальства, в районной газете склонялось имя бригадира Лыкова; нет, нет, не того, не Евлампия, второй Лыков объявился...

Пропыленный «газик» мял колесами до звона прокаленную стерню.

Сжатые поля всегда кажутся слишком просторными, даже небо над ними велико и безжизненно. На окраине грустного стерневого моря, под высокими выбеленными небесами копошилась куча баб — подоткнутые подолы, открывающие исподние белые юбки, задубеневшие черные ноги, цветные платочки. Они серпами добирали остатки хлеба, уже полегшего, перепутанного, который не возьмет комбайн, в котором увязнут ножи жаток.

Иван Иванович Слегов впервые за много лет решил оторваться от просиженного стула, вблизи всмотреться в странного человека, который высылал ему в сводках пляшущие цифры. Если расставить все отчеты по порядку, получится сумасшедший бег с галопцем, с коленцами, с остановочками. Цифры не купишь, рано или поздно они вскрывают нутро того, кто их посылает. Вскрывают? Не всегда-то, оказывается.

Реденькая россыпь баб, и море стерни за их спинами.

Нельзя поверить, что эти бабы освободили столько земли от хлеба. И опять в голову ползут цифры, цифры: столько-то га под яровыми, столько-то рабочих рук. Неподкупные бухалтерские цифры — и кучка баб против них.

Сергея Слегов увидел поздно вечером. Тот, на ночь глядя, проводил с бабами бригадное собрание. Пришлось терпеливо сидеть, слушать бабий гвалт, пока-то угомонились, пока-то не разошлись по домам.

Наконец они вдвоем выбрались на крыльцо. Иван Иванович пристроился на ступеньке в обнимочку с костылями.

Ночь стояла безлунная. В воздухе растворены призрачные осенние запахи увядающих на корню трав. Небо накатно-черное, трубы над крышами можно угадать лишь по пустоте — нет в тех местах звезд, а должны бы быть. На накатном небе мутная рваная дорога Млечного Пути видна отчетливо.

Петраковский бригадир, как нахохлившаяся курица на яйцах,— весь внутри, словно забыл, что рядом с ним живая душа.

— Кхм!..— кашлянул Иван Иванович.— Я к тебе не от колхоза, право, не с ревизией — не сиди, ради бога, клушей. Растревожил ты меня.

— Чем?

— А я и сам толком не знаю. Лихими прыжочками. Я сам когда-то прыгал, да вот спину сломал.

— Зачем тревожиться, Иван Иванович, ты лучше порадуйся вместе с нами.

— Готов радоваться, парень,— почти сурово ответил Иван Иванович,— если докажешь — прочно, не на час твоя удача.

— Пока на год, до нового урожая. За новый кто может поручиться наперед. Но на год-то петраковцы теперь сыты.

— Но ты, верно, хотел бы, чтоб сытость не на год — навечно.

— Хочу.

— И должно, соображения на этот счет имеешь.

— Имею. Пахать, сеять, урожай собирать, этот год перепрыгнуть.

— И в силы веришь?

— В чьи?

— Ну, в свои хотя бы.

— О моих силах говорить не стоит. Велика ли сила в одном человеке.

— Но без тебя бы Петраковская не взбурлила.

— Я — спусковой крючок в ружье, а ружье-то было заряжено.

— Чем? Какой заряд в бабах?

— Вот как-то в войну,— заговорил негромко, с ленцой Сергей,— недалеко от Волчанска какого-то прохвоста поймали. Полицая, что ли?.. Вешал наших при немцах. Одну женщину привели, чтоб опознала. У нее двух сыновей повесили, один, кажется, совсем мальчонка... Увидела она того и стала рваться... Да-а... Трое солдат держали, раскидала, как щенят. А ребятки — лбы здоровые, и баба-то уж не молода, с сырцой. Вот и ответь: откуда у нее сила взялась. Откуда у петраковских баб сил хватало на себе по снегу навоз на поля вытащить? Теперь оглядываются, сами не верят.

— И на будущий год на этот заряд рассчитываешь?

— Ну нет. Встать на ноги трудно, а раз встали — зашагаем, пожарцев-то нагоним.

— Все в это верят?

— Все.

— Хоть бы открыл, как заставил?

— Я? Нет, я не заставлял. Поля заставили, они вместо бурьяна довольно наглядно хлебом обросли. А разве можно сказать, что эти поля изменил я? Не я на них навоз таскал, не я их выпестовал.

— Ну да, ты же крючок под скобочкой, заряд в бабах, они стреляли. Крючочка, видишь ли, им не хватало. А крючочка ли?

— Иван Иванович, право, удивляюсь тебе.

— А ну-кось?

— До седых волос все героя ищешь. Героя, вождя великого, который один на блюдечке может жирное счастье принести.

— А что, нет таких?

— Один для всех?.. В одиночку?.. Думается, что нет и быть не может.

— А ведь, парень, эта песня тоже не свежая — братство да равенство до такого конца, что признавай — у всех под шапкой от бога наложено одинаково.

— Но даже если под шапкой мозги гения, то лучшее, что можно этими мозгами сделать,— указать, где оно, а

брать-то все равно придется сообща, компанией. Нет такого героя, чтоб в одиночку от начала до конца счастье довести. Ильи Муромцы только в сказках бывают.

Иван Иванович долго молчал. Тихая ночь глядела звездами на чужую для бухгалтера деревню.

— Указать — где?..— повторил он.— А у тебя не случалось такого, когда ты сам видишь ясно, пальцем указываешь, а другие слепы?.. Даже на удивленье слепы!

Сергей подумал, ответил решительно:

— Нет, не бывало.

— У меня было.

Сергей в темноте пожал плечами:

— Наверно, у меня под шапкой не больше других лежит, слишком далеко не просматриваю, вижу то, что и обычный человек разглядит.

— Счастливый ты,— вздохнул Иван Иванович.

Сергей вдруг засмеялся:

— Вот это, Иван Иванович, я уже от тебя слышал. Помнишь, ты попрекал, когда в академию меня направляли: мол, в рубашке родился.

— М-да... Винюсь, попрекал... А впрочем, чего виниться, я и тогда прав был. Ты — в рубашке, а я, похоже, в тенетах, всю жизнь в них путаюсь до сего дня... Ну, будь здоров. Ничего, ничего, сам подымусь. Ты иди шофера толкни, он в машине спит...

Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз — семья один за всех — все за одного. Еще не успела опуститься оглобля на спину Ивана, но уже хрустнула пополам вера в колхоз.

Тысячи лет попы втолковывали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тысячу лет, а проку ничуть. Человек так уж создан—больше всего любит себя, никак не соседа. Некрасиво, но что поделаешь — такова жизнь. Природа не барышня, сантиментов не признает.

Иван Слегов служил колхозу, но в душе не верил в него. И увесистые миллионные доходы, которые собственноручно записывал в бухгалтерские книги, не убеждали. Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то нет и семьи, есть казенная организация.

Вера треснула до того, как опустилась оглобля, но временами находило — а вдруг да... Смолоду пришиблен — болеть до старости.

А что, собственно, показал Серега?.. Волокушу с навозом вывезти вместе с соседом легче, чем в одиночку. Так это и сам давно знал. Но ведь если с соседом легче, то, значит, к соседу и уважение — без тебя, друг, никак! Уважение не от сладенького «возлюби», нужда заставляет.

Евлампий Лыков приказывает: делай, не то круто накажу, бойся! Что ж, приходится... Страшновато за себя, никак не за соседа. «Бойся»-то, выходит, вроде глухой стенки — людей разъединяет.

На друга Пийко киваешь, а сам?.. Считаешь доходы, прячешь их под замок в шкафы. Самое главное, самое интересное под замок — какова польза от труда? Зачем тебе знать, верь на слово, покорно слушайся. Ты — скотинка, над тобой — пастух с кнутиком. Разве тоже не строишь стенку, разве не разъединяешь? А после этого неверие: дружной семьей — да быть не может! Противно естеству!

Иван Иванович ворочался грузно на сиденье рядом с шофером, кряхтел.

Всю жизнь был убежден — выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос, где разглядеть высокого. И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет. Все как-то скрашивало костыльное житье-бытье — не признан, да не другим чета. Серега-молокосос открыл знакомое. Он открыл, ты отмахнулся — обидно! Уважение к себе он у тебя из души вырвал. Ох-хо-хо!..

Иван Иванович кряхтел.

Сергей Лыков стал районной знаменитостью, тащили в президиумы, усаживали бок о бок со старшим Лыковым, требовали — выступай, встречали аплодисментами, не дав раскрыть рот.

Чудо в Петраковской... Всем еще нравилось, что чудотворец держится скромно, от своей святости отмахивается:

— Такие чудеса творить не трудно, когда из богатого колхоза ветер в спину дует...

Его речи не могли обидеть Евлампия Никитича, настораживало другое: районные руководители слишком уж часто, слишком уж настойчиво повторяли: «Старшему Лыкову выросла достойная смена!»

«Смена... Гм!»

Евлампий Лыков не допускал, чтоб районное начальство гладило его против шерсти. Только попробуй, Евлампий Никитич сделает кругом марш из кабинета. К себе в село он, скажем, не уезжает, а оседает поблизости — в квартире, которая специально снята в городе, чтоб знатный председатель мог отдохнуть от заседаний. В этой квартире — телефон, уж он-то непременно зазвонит:

— Евлампий Никитич, что уж так-то... Зайди, обсудим без горячки. Евлампий Никитич, я жду...

И Евлампий Никитич по тому же телефону вызывает:

— Машину мне!

Шофер спешно с окраины города — он не с Лыковым квартирует, у своей родни — гонит машину, чтоб Лыков мог проехать триста метров до крыльца райкома. Не пешочком, не щелкопер какой-нибудь — солидный хозяин. Подкатит, выйдет перед райкомовскими окнами, в дорогой шубе, важный, насупленный, подымется вверх, не снимая высокой шапки ввалится в кабинет, усядется — величавый и оскорбленный, готов выслушать извинения.

Кому-то он не по нутру, кто-то его смены ждет...

И маленькое, никем не замеченное событие, но сам Евлампий Никитич его особо отметил. Главный бухгалтер Слегов сорвался со стула, самолично ездил в петраковскую бригаду. Такого никогда не бывало! Ванька Слегов, поседевший советчик, правая рука, спасенный от тюрьмы! Ванька Слегов никогда не ошибается, неужели и он верит, что песенка старого председателя спета?..

Алька Студенкина, секретарша, не смела задерживать у порога лыковского кабинета лучшего в колхозе бригадира:

— Пожалуйста, Сергей Николаич, Евлампий Никитич у себя.

И Лыков принимает Сергея.

— Трактор на недельку?.. Гм... Вроде бы все заняты, но...— Размашистым почерком выводит привычную записку: «Удовлетворить по возможности!» — К Чистых стукнись.

В кабинете Чистых нет даже второго стула, Сергей Лыков должен стоя выслушивать, как лыковский зам бросает через губу:

— Не можем.

«Старшему Лыкову выросла достойная смена!» Эт-то мы еще посмотрим. В деле Сереги — пусть не гордится! — львиная доля его, Лыкова-старшего. Что бы тот делал без лыковских тракторов, без лыковских семян, без лыковской мучки? И еще без того, что он, Евлампий Лыков, своей фигурой заслонял Серегу от районных толкачей! Сам признавал: «Из богатого колхоза ветер в спину...» Смена? Гм! Посмотрим!

Чистых бросает через губу:

— Не можем.

— Слушай, друг, я эти шуточки знаю. Со мной детское шулерство не пройдет.

— Ну, раз знаете, тогда чего ж вы в мою дверь попали? За этой дверью всегда разговор короткий.

Ждали скандала, и он случился. За двойными дверями лыковского кабинета. Перед дверями сидела только секретарша Алька, человек верный, но ни двери, ни верность Альки не помешали — по селу Пожары стали шепотом передавать: «Неприличные слова говорил младший Лыков старшему: «Ты, мол, особый сорт паразитов — не ты для народа, народ для тебя! Ты — о господи, как язык повернулся! — жирная вошь на общей макушке!»

Зам Лыкова Чистых вряд ли знал больше других (с ним Евлампий Никитич не откровенничал), но делал вид, что знает, осуждал с обидой:

— Не-ет, разговорчики ведет не наши. Разговорчики-то крайне оскорбительные. Стоило бы углубиться. Евлампий Никитич уж так, по доброте спускает.

Между дядей и племянником кончились встречи. «Автономная республика» Петраковская продолжала жить своей независимой жизнью, готовилась к весеннему севу. Но все чуяли — так просто Сереге не пройдет, добр-то добр Евлампий Никитич, но спускать не любит.

И вот весна, вот сев...

Тут даже Евлампий Никитич не может отказать в тракторах петраковцам. Иван Иванович, как положено, оформляет расчетные документы: за столько-то га мяг-

кой пахоты петраковцы должны перечислить в колхозную кассу столько-то деньгами, столько-то натурой... Казалось бы, все в порядке, тракторы выезжают на поля, пахота начинается. Но, стоп!..

С железнодорожной станции в районные организации поступает сердитое напоминание: «Вами не вывезено пятьсот пятьдесят тонн суперфосфата... Категорически требуем вывезти, в случае промедления...»

Не сумели вывезти эти пятьсот тонн дальние колхозы, пока собирались да почесывались — развезло дороги. А ждать нельзя, за каждые сутки железная дорога бьет рублем. Отдается приказ: вывози, кто может! И уж конечно, Евлампий Лыков не прозевает, зачем упускать лишние удобрения.

Но разливом сорвало мост через реку. Грузовые машины не ходят, можно вывозить только на тракторных санях в объезд по проселкам. Но трактора-то на пахоте, ни одного свободного...

Евлампий Никитич не колеблется: снять трактора с петраковской бригады! Это почему так?.. Да потому, эй, Иван Иванович, оформи документы трактористам на вывозку удобрений!

Без подписи главного бухгалтера ни один трактор не сойдет с борозды — трактористы не станут возить удобрение бесплатно. Стоит только не поставить подпись...

Нельзя сказать, что Сергей уж сильно нравился Ивану Ивановичу. Последнее отнял, что скрашивало жизнь, такое помнится, но топить парня, топить вместе с бригадой — Иван Слегов еще не утерял совести. Стоит только не поставить свою подпись...

Но тогда разгневанный друг Евлампий скажет: «Слазь со стула!» Наймет более покладистого бухгалтера, и ты с перебитой спиной, с костылями окажешься на улице. А уж другой-то бухгалтер не откажет, вместо тебя поставит подпись.

Вспомни, Иван, себя в молодости, вспомни — к святому рвался, а люди отворачивались. Они-то от неведения, ты же ведаешь, чем пахнет твоя подпись. Готов бы, всей душой!.. С костылями на улицу — цена высокая, выше некуда, а пользы от нее ни на ломаный грош.

Иван Иванович подписал бумаги. Единственное утешение — не он один молчаливо предал Сергея.

Иван Иванович сидел забытый и думал. Он не заметил, что суетливый шумок в лыковском доме утих, рассосался. Уже не слышно было торопливых шагов за стенкой, хлопающих дверей, бубнящего в телефон голоса Чистых.

С той минуты, как Евлампий Лыков упал на подтаявший снег возле скотного, подпрыгнула сила молодого Лыкова. Все сразу стали оглядываться — кто? Оказывается — пусто. Ни одного подходящего в председатели не оставил после себя знатный Лыков.

Евлампий еще уважал старого бухгалтера, Сергей — ой, навряд ли. «Себя хороните...»

Крадущиеся шаги за дверью, дверь скрипнула, вошел Чистых.

Иван Иванович с первого же взгляда понял — надежды не сбылись. Обычно круглое, моложавое лицо лыковского зама опало, вытянулось, на нем проступили рытвины и вмятины, сразу стало видно — человеку перевалило на пятый десяток, отец четверых детей, драчливых, горластых, через отца перенявших уличное прозвище «Приблудки».

Чистых вяло опустился на стул, помолчал пришибленно, произнес устало:

— Нет, еще хуже... Совсем плох. Пятна дурные пошли...— Вздохнул: — И врача на месте нет. Послал, чтоб отыскали, а когда-то разыщут... Э-эх! Никакой ответственности!

Встрепенулся, с мольбой заглянул в глаза бухгалтеру:

— Но ведь говорил! Два слова сказал! Нашел же в себе силы! Наверно, можно как-то спасти!

— А ты знаешь, что он хотел сказать? — глуховато спросил Иван Иванович.— Он хотел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Не раз эту поговорочку от него слышал.

Чистых с ужасом помаргивал увлажнившимися глазами.

— Значит...— начал он шепотом.

— Значит, хошь не хошь, а уважай. Не каждый-то перед смертью шутить может.

— Хороши шуточки.

Замолчали. Молчал и дом.

Иван Иванович взялся было за костыли, хотел решительно подняться, как вдруг по могильно молчащему дому разнеслось надрывно визгливое:

— Сводня! Сучка!! Чего тебе зде́ся-а?.. Сгинь с глаз долой!

Чистых даже подпрыгнул от неожиданности. Иван Иванович, навалившись на костыли, двинулся к дверям.

Кричала жена умирающего Лыкова, Ольга,— на тощей шее тугими жгутами налившиеся вены, лицо перекошено, с просинью:

— Потерпела я от твоего бесстыдства, потаскушка проклятая! Теперь-то молчать не буду! Жы-ызнь мне отравила! Жы-ызнь!!

Это было столь же странно, как если б в соседней комнате раздался веселый смех Евлампия Лыкова. До сих пор ни одна душа в селе не слыхала, чтоб Ольга когда-либо повысила голос, даже беседовала всегда устало, даже сердитой ее никто никогда не видел.

Чистых кособочил к плечу голову, хлопал ресницами. Иван Иванович застрял в дверях.

— Тебе бы, охальнице, скрозь землю провалиться от срама. А нет — здрасте с улыбочкой... Зен-ки твои бесстыжие!..

У порога стояла секретарша Евлампия Лыкова Алька Студенкина — короткая шубейка распахнута, из шубейки рвутся наружу обтянутые кофтой груди, на мучнисто-бледном лице багровеют густо подведенные губы да стынут кошачьи, с прозеленью, глаза. К ней бесновато тянулась своим костлявым телом Ольга:

— Чего сиськи коровьи выпятила?! Чего ждешь? Чтоб в рожу плюнула?..

Чистых проскользнул мимо бухгалтера и мелко-мелко заплясал казачка:

— Ольга... Ольга Максимовна...

— Нету у тебя заступничка! Был да паром исходит! Нажалуйся-ко! На-ко, нажалуйся теперь! Полизала кошка чужую сметану — хватит!

— Ольга Максимовна! Боже ж мой! Приди в себя, Ольга Максимовна! Срам-то какой! Бож-же ж мой, срам. У смертного одра, так сказать... Алька! Чего торчишь столбом? Марш отсюда!

— Сво-о-одня! Сука-а нечистая!

Посреди комнаты — тощая баба с синевой бешенства на лице. В одних дверях висит на костылях Иван Иванович, собрав на желтом лбу жирные складки. В других — сестра в халате. У порога — целясь грудями из распахнутой шубейки, не молодая, но молодящаяся бабенка, на мучнистом лице — кровоточащая рана губ. Мелко выплясывает растерянный Чистых.

За стеной лежит Евлампий Лыков — не встанет, не наведет порядок грозным окриком. Жизнь, которую он заквасил, продолжается.

* * *

Девки в молодости не баловали Евлампия. И за что? За то, что не крив, не кособок, здоров и чист телом, за синь глаз из-под соломенных ресниц, за веселость характера или за то, что мог и зубы заговаривать, не лез за словом в карман? Это все, конечно, хорошо, да маловато. Нужны и сапоги в гармошку, и штаны «без очей» на заду, изба и лошадь, земелька да инструмент к ней — вот только тогда тебе полная цена, тогда и можно рискнуть... Ведь у девки-то товар один — раз прогадаешь, потом на всю жизнь в накладе.

Евлампий ходил не обласканный.

В тридцать один год он получил дом-пятистенок, вполне пригодный для семьи — горницы с полатями, печь с горшками, даже тараканы в щелях откромлены, даже люлька свисает с потолка, даже закопченная икона на божнице — все для того, чтобы выполнить божеское: «Плодитесь и размножайтесь!»

Сваха и сводня, лекарка и ворожея, всему селу кума да свояченица Секлетия Губанова, за большой нос — не за свой! — за большой нос давно умершего отца прозванная Клювишной, взяла на себя хлопоты, набежала в дом Максима Редькина:

— И прослышали мы, сударики, что у вас красный товар водится...

Чего-чего у Редькина Максимки, выпивохи, неудачливого барышника в прошлом, а красного товару хватало — пять девок, бери — не хочу.

Не было в жизни Евлампия Лыкова соловьиных вечеров.

У Ольги их тоже не было.

Первый сын появился довольно скоро — что пустовать готовой люльке. В тот год все кругом еще смирнехонько переживали голод, а у Евлампия Лыкова — приплод в колхозе, приплод и дома... Сына назвали Климом. Клим — имя боевое, сам Ворошилов его носит. Имя придумал Евлампий, на этом и кончил отцовские обязанности, ни разу не держал на руках сына — не до того, руки-то заняты, на них колхоз, который прет в гору.

В самом начале войны родился второй сын, а так как тогда у Евлампия уж совсем не хватало времени на отцовство, то назвала его мать как умела — Васькой, на большее выдумки не достало.

В то время Евлампию перевалило за сорок, уже тучнел телом, багровый загривок уже гнул вперед крупную голову, выставляя всем напоказ чуть плешивевший упрямый лоб, но по-прежнему был молодо порывист, легок в движениях. Ему за сорок, а Ольге едва исполнилось тридцать, однако уже усыхала телом, увядала лицом.

Девки же в селе не считались с войной — зрели, наливались соком, свое постылое девичество глушили минутным озорством:

Эх, на юбке замок,
Да под юбкой ларек!
Приходите, лейтенанты,
Отоварить паек!

Лейтенанты проезжали в пятнадцати километрах от села Пожары, мимо и торопливо, не задерживаясь на станции,— спешили на фронт.

Гармонист Генка Шорохов без одной ноги, Иван Слегов без обеих ног и сам Евлампий Никитич Лыков с двумя руками, с двумя ногами, целенький, без изъяна — вот и весь мужской состав села Пожары, если не считать совсем заплесневелых стариков и совсем незрелых юнцов.

Часто на току, когда бабы и девки в куче, Евлампию приходилось туго. Какая-нибудь Алька или Катька, разомлев плечиками, покачивая бедрами, глядя с зовущей дремой сквозь припудренные пылью ресницы, обращалась невинно:

— Евлампий Никитич, где справедливость?

— В чем дело, бабоньки?

— Кому густо, кому пусто — непорядок сплошной.

— Да кто тебя обидел, лапушка?

— Твоя жена, Евлампий Никитич. Ей — цельный мужик, а нам на всех хоть бы кусочек. Иль она краше нас, иль перед державой в больших заслугах?

— Рад бы, девоньки, разделить себя...

И тут вступал хор, глушил его, готовую сорваться скоромную остроту.

— Так в чем дело-то?

— Може, жеребьевку кинем?

— Ты, председатель, премиальные установи!

— И то, какая злей на работе — той ночку.

— Все рекорды побьем по труду!

И Евлампий бежал, отмахиваясь:

— У-у, сбесились, кобылки!..

А потом не давал покою дремотный зазыв из-под пыльных ресниц, и вид жены выводил из себя:

— И чего бы это, не на казенной пайке живешь, а тоща, как ухват? Не в коня корм, видно.

Не знал соловьиных вечеров.

Ехал как-то в пролетке полем (тогда еще не было персональной машины). Ехал шагом. Плавились в пыльном золоте утонувшего солнца вздыбленные облака, земля томилась в лиловом, предсумеречном покое. Впереди на дороге — одинокая фигура в алеющей косыночке. Он ее медленно нагонял, а когда подъехал близко — оглянулась, над плечом полыхнуло от заката лезвие косы. Алька!

Одна из тех, что первыми нападали на Евлампия из бабьей толпы. Алька, невестка старика Матвея Студенкина — в двадцать один год осталась вдовой.

Не высока, но «рюмчата» — талия узка, а бедра просторны, тяжелы и плечи. Щедрое Алькино тело нельзя было скрыть никаким платьем, оно шевелилось, гуляло, жадно зазывало к себе из-под вылинявшего ситчика.

— Чего одиночкой-то? Садись, подвезу.

Охотно согласилась. Из-под юбки вынырнуло колено, белое, кованое, задела плечом его плечо, чуть-чуть, но обожгло так, что потемнело в глазах. Она чинно оправила юбку, выпрямилась картинно, наглядно означился весь бабий рельеф.

Шевельнул вожжами, чувствуя сухость во рту, с хрипотой признался:

— Жаром от тебя... Каменка каленая.

— Поди, прозяб с женой-то? Пришел бы — погрела.

— А вот возьму да приду.

— Напужал.

— Только ведь ты со свекром под одной крышей...

— Ну и что?

— Мне перед простым конюхом стеснение чувствовать — навроде унизительно.

— Эк, задачка. Да ставь его, козла старого, хоть кажную ночь на дежурство в конюшне.

На другой день Евлампий определил дежурство по конюшне: получалось, старик Студенкин дежурит через ночь. Кажись, свободушка, но темным вечером, когда крался к Алькину дому, робел — не простой ты человек, на виду, при почете, даже от фронта освободили, а тут — разговорчики, репутация засалится, еще моральное разложение пришьют, долго ли... Робел и так задумывался на глухой короткой тропе за огородами, что перед дверью Алькиной избы почувствовал — похоже, и не рад. Но и отступать, не солоно хлебавши, не его манера. Постучал...

А она встретила в белой кофточке, под тонким шелком гуляют груди, сдобные руки оголены. Окна занавешены, стол накрыт, на столе бутылка и закуска не очень мудрящая. И кровать у стены — пухлая, как сама хозяйка, без морщинки.

Евлампий смущенно вынул нагретую в кармане поллитровку:

— Вот и я принес к столу...

Она усмехнулась свежими губами:

— Зачем?.. Ныне такое время — бабы угощения ставят со спасибом большим.

Альку Студенкину определил своей секретаршей, чтоб была под рукой. Спасибо Альке, она не только подарила то, что как-то заменило соловьиные вечера, но и открыла глаза на самого себя... К себе аршин приставлял, каким всех меряют. Забывал, где другие вплавь барахтаются, тебе по колено. Уж ежели тебя от фронта освобождают, то грешок-то как-нибудь простят.

Спасибо Альке — стал еще тверже стоять на ногах!

Альке спасибо, а уж сама-то Алька должна вдесятеро его благодарить: не постничает, как все бабы, чистая работа с карандашиком, и будь осторожен — силой стала. Даже потом, намного позднее, когда ее силы поубыло,

все равно с ней считались — сам заместитель Лыкова Чистых к Восьмому марта с улыбочкой духи подносил.

Жена в самом начале пыталась даже попрекнуть:

— Срамотник ты...

Но Евлампий с ходу обрезал:

— Ты давно в зеркало гляделась?.. Нет?.. Так погляди!

И раньше-то в семье он — гость не гость — жилец, не более: весь день-деньской на стороне, только ночь под крышей, теперь и этого нет. Жена покорилась. Старший сын Климко — ни в мать, ни в отца — золотушного здоровья и обидчивого характера, смотрел волчонком. Ребятишки, его сверстники, не стеснялись, доводили до того, что исходил бешеной слюной, бросался в драку, а так как был слабенек, то били. Евлампий на это внимания не обращал — еще тут тратиться, когда на важные дела тебя не хватает.

Бабы и девки люто завидовали Альке, ждали — не на век же она Евлампия обратала. Евлампий-то — конь норовистый, рано или поздно узду порвет, а уж тогда: «Поласкали кобылу — хватя, теперь кнута попробуй». Не будет житья Альке.

Алька сама пошла навстречу беде, чтоб та не застала ее врасплох.

Евлампий стал косить глазом на Соньку Понюшину. Алька — к ней. Серьги Соньке подарила, чулки, кофточку и кучу похвал — мол, молода, кровь с молоком, где мне... Сонька-то — не овечка-ярочка, тоже телеса распирают, без парней бесится. А возле Альки—грех заветный живет. Сонька без Альки, как без рук. И Евлампий Никитич — тоже. Нужный человек Алька.

Алька как сидела, так осталась сидеть у дверей лыковского кабинета: «Евлампий Никитич сею минуту занят, повремените чуток». Уж коль все счастье не удержишь, то хоть часть приберечь.

Бабам и девкам оставалось одно—еще пуще поносить Альку. На здоровье. Алька не злобива, обид не вымещала.

Евлампий Никитич — конь норовистый. Что там у них случилось с Сонькой, Алька не интересовалась — ссоры да разлуки не ее дело. А вот помочь — пожалуйста. Настя Кучерова льнет к Альке. Неспроста...

Как-то Евлампий Никитич шагал со скотного двора домой. Стоял теплый августовский вечер, круглая луна держалась сбоку, перешагивала с крыши на крышу. Где-то в глубине села у клуба — не всерьез, понарошку — тосковала гармонь: «Летят перелетные птицы...»

Нет, вечер не соловьиный, со смутным запашком осени. Но вот в такие-то вечера человеку на возрасте приятно оглянуться назад. Был Пийко Лыков, полубатрак, полурабочий, резал бревна на тес, ходил в залатанных штанах, а нынче войди в любой дом — охи, ахи, суета, звон посуды: «Эй, баба! Что есть в печи, на стол мечи! Гость особый!» Каждый здесь счастлив тем, что живет в одно время, под одной луной с Евлампием Никитичем Лыковым.

Соловьиных вечеров он так и не узнал, но разве они могут сравниться с минутами, когда до ноздрей захлебываешься полнотой жизни. Чего не хватает? Пусть любой попробует отгадать. Не сумеет. Все есть у Евлампия Лыкова, все, о чем только может мечтать человек.

Евлампий Никитич шагал и отдыхал. Навстречу двигалась рослая фигура. Кто бы он ни был, обязательно первым отобьет поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич!» Кто бы ты ни был — согни голову.

Луна выпуталась из верхушки березы, осветила улицу и человека посреди нее: бескозырка, узенький бушлатик, плескают широкие штанины над пыльной дорогой. Приезжий, из отпускников... И вдруг Евлампий Никитич признал — Мишка Чередник, приемный сын бригадира строителей Михайлы Чередника, того самого, что когда-то в голодный год, опухший от водянки, приполз под крыльцо конторы. Парень у Чередника вымахал на удивление, косая сажень в плечах, и в фигуре сейчас что-то настораживающее, никак не «доброго здоровья». А кругом ни души, а путь-то перекрывает...

Евлампий Никитич помнил, что еще месяц назад он прислонялся к Гальке Чащиной. Мишка до призыва с ней погуливал, писал письма. Раз приехал — обстановочку, видать, выяснил.

Плечи у него широкие, кругом пусто...

И не стал дожидаться, когда Мишка-матросик отобьет узаконенный поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич», круто свернул, поднялся на первое крыльцо, постучал.

Оказывается, верно сделал, что свернул. Мишка-мат-

росик, рассказывают, перед отъездом жалел: «Не пришлось вырвать клок с мясом, а надо бы».

Он же — Евлампий Лыков! Кой-кто это запамятовал. Ему ли с опаской ходить по своей земле, ему ли нырять в подворотни, оглядываться по сторонам?..

На крытом току произошла драка. Схватились за грудки Леха Шаблов, механик с молотилки, и шофер с грузовой машины Гришка Фролов. Они вечно сцеплялись и всегда на людях, не из-за старых обид, не девку делили — никак не могли решить: кто сильнее?

Леха — рожа, что пшеничный каравай, во всем громаден, плечищи покаты и объемисты, кулак — шапку надеть впору. Гришка на полголовы ниже, подбористее, плечи прямые, с размахом, грудь круто сужается к сухим бедрам, руки длинные, кулаки вроде небольшие, но каждый — камешком. Как-то парни сговорились и впятером налетели на Гришку, все пятеро — лбы здоровые. Трое легли, двое сбежали.

Вдвоем с глазу на глаз Леха и Гришка могли беседовать, как все добрые люди, без гонору. Но лишь встреча при народе — любое слово затравка.

— Поди, Леха-то полегче тебя мешок на спину кидает.

— С мешком, верно, сноровист.

— Словно я на себе твою сноровку видел когда.

— Иль за ремешки подержаться хочешь?

— Ужли боюсь?..

Слово за слово, брались за ремешки, начиналось слоновье топтание, пыхтение, спор:

— Ты чего на коленку берешь?

— Возьми и ты.

— Возьму — окосеешь.

— Ух!

— Опять коленкой! Сверну шапку назад.

— М-мотри, шустрый.

— Опять... Да я тебя, гниду!..

— Ах, гнида!

Трещит Лехина скула, голова рвется с шеи.

— Н-ну-у!..

От Лехиного разворота с плеча Гришка Фролов пятится задом, давит визжащих баб.

— Ой, маменьки!

У Гришки руки длинные, достает кулаком — раз, раз, еще, еще! Мотается Лехина голова, но не собьешь — тяжел, прет прямо на кулаки, пытается нащупать Гришкин загривок, мнет его так, что и у быка шкура бы лопнула. Гришка вырывается. Раз! Раз!..

Валится кладка снопов, падает труба с грохотом, визжат бабы.

— Сторонись, кому жизнь дорога!

— Эй-эй, не суйся! Заденут лешие — не очнешься!

Какая уж тут работа. И жуть берет, и весело.

Во время такой потехи появился Евлампий Никитич, никто его не заметил — увлеклись. Евлампий постоял, посмотрел и не сразу-то окликнул:

— Эй, жеребцы породистые!

Опустили руки, отшатнулись, как два барана, уставились в землю. У Лехи под глазом набирал силу синяк.

— Озверели! Аники-воины! Встаньте-ка честь честью. Да не ко мне, не ко мне — друг к дружбе... Быстро! Быстро!.. Теперь — руки, ну! Чтоб мир... Ну, кому говорят?

И Леха первый протянул лапищу:

— Мир, что ли?..

Но Гришка, изрядно помятый, еще не остывший, сверкнул на Леху горячим глазом, отвернулся.

Евлампий Лыков с ухмылкой заметил:

— Ишь, с характером. Не кисель, как Леха. Потому он тебе, парень, и не поддается, хотя, поди, силенкой-то уступает.

Леха держал на весу руку и пунцовел от стыда.

Евлампий Никитич прикрикнул на Гришку:

— Кому сказано? Быс-тра!

Но Гришка сердито повернулся, пошел прочь, покачивая угловатыми, просторными плечищами.

Председатель проследил за ним с прищурочкой, напомнил:

— Ой, Гришка, передо мной занозистость показывать опасно. Я не Леха, вязы скручу быстренько.

А Лехе кивнул:

— Зайдешь ко мне сегодня вечерком в кабинет.

На той же неделе Леха Шаблов был с почетом уволен из механиков при молотилке, срочно отправлен на курсы шоферов, а через несколько месяцев стал личным шофером Евлампия Никитича.

Лыков давно забросил пролетку, дома в гараже у него стояла новенькая «Победа», своя, личная, купленная на сбережения. На ней делались выезды только в торжественных случаях — в район, на широкие совещания. По полям Евлампий Никитич раскатывал на колхозном «газике», сам за рулем. Шофер Леха Шаблов сидел, как праздничный сноп, на хозяйском месте, не он возил председателя, председатель его.

Лехе платили выше других шоферов, своей машиной он обычно не занимался, рук мотором не пачкал, ремонт и профилактику делали за него «братья-водители», тот же Гришка Фролов. У Лехи одна забота — подать машину, отогнать машину, чтоб в любое время дня и ночи: «Эй, Леха!», «Я тут, Евлампий Никитич!»

По селу гадали: почему председатель не взял к себе Гришку, тот уже был шофером, ему и курсы бы проходить не надо? И одно объяснение: «На норовистой лошадке трудней ездить. Помните, Гришка-то руку пожать не захотел, спиной к хозяину повернулся...»

Клим, старший из сыновей Лыкова, напился пьян.

Парню тогда стукнуло восемнадцать. В школе он никак не мог перелезть за седьмой класс, отец устроил его на курсы трактористов: «Сам не прыгает, так за уши высоко не подымешь». Но и тракторист из него получился ненадежный, машину на полную ответственность ему не доверили, «припрягали» к опытным парням. Те жаловались: «Какой, к лешему, помощник, на плуг посадить боязно, заснет да свалится». Кой-кто из старших объяснял даже на кулаках: «Иди жалуйся. Кто видел?» Клим жаловаться не жаловался, а примерней не становился.

Он напился пьян, шагал по селу — жердисто длинный, мутноглазый, прыщеватый,— размахивал руками, заносило от плетня к плетню, орал во все горло:

— Вы все—так-перетак! — пятки моему бате лижете! Вы все на лапках перед ним! А я пли-ивал! Не боюся! Он с бл..... водится! Кобелина колхозный, общий! Я от него с детства в стыде! Пли-ивал! А я пить буду, позорить буду, потому совестью мучусь. Из-за него! Из-за кобеля!..

Всем было совестно, все качали головами, осуждали, но никто не хотел остановить, слушали и, поди, не без тайного интереса.

И тут вдруг завизжали тормоза председательского «газика». Евлампий Никитич, как всегда, сидел за рулем, он не тронулся с места. Выскочил Леха Шаблов, не спеша снял с себя ремень, согнул парня, как лозинку, зажал ему голову коленями, сорвал при народе штаны и, нахлестывая ремнем по тощей заднице, приговаривал громко:

— Не позорь отца! Не позорь! Не тебе судить! Не тебе, щенок! Отец твой — великий человек! Не позорь!

А великий человек, Евлампий Никитич, сидел в машине, пасмурно поглядывал из кабинки, терпеливо помалкивал. Ясно — Леха учит не от своего ума.

Поучил всенародно, сгреб в охапку, засунул в машину. Машина тронулась к председательскому дому.

Той весной, когда дядя Евлампий снял трактора с петраковских полей, Сергей в отчаянии метался по городу Вохрову из кабинета в кабинет, пытался доказать: «Знатный председатель разбойничает! Спасайте бригаду!» Районное начальство выслушивало сочувственно, обещало уклончиво: «Выясним». И наверное, пытались выяснить. После того как Сергей закрывал дверь, наверно, снимали телефонную трубку, звонили Евлампию Никитичу, журили по-отечески. Но Евлампий Лыков есть Евлампий Лыков, не тот масштаб, чтоб на него можно было без опаски давить.

И Сергей ходил по непросохшему, зеленеющему весеннему райцентру, носил в себе недоуменную ненависть к дяде.

Был же человеком. Был! Помнит, как дядя частенько набегал к ним в дом: «Богатеи-родственнички, одолжите картошки, у меня хоть шаром покати!» Он уже тогда работал председателем, хранил в амбарах колхозный хлеб, сам сидел на картошке, которую давал отец Сергея, «богатей-родственничек», еле-еле сводивший концы с концами.

Отец Сергея, братья Сергея гордились им. Всю жизнь гордился дядей и Сергей.

Был человеком! Когда же перестал им быть?

А от нагретой земли жидким стеклом изливался вверх воздух, и лужи на топких задворках вскипали от лягушечьих перебранок, и над просохшими крышами тихого городишки — звон птичьих голосов, и черными сполохами мелькали в глазах скворцы, и даже поезда со

станции кричали бодрыми тенорами. Прекрасна бы жизнь, если б люди сами не портили ее друг другу.

В такой-то день он, оглушенный весной и своей недоуменной ненавистью к дяде, и встретил ее. На площади возле чайной, откуда обычно начинали свой трудный путь по непролазным весенним дорогам все грузовые машины и где кончали его. Площадь перед чайной — место отдохновения всех шоферов Вохровского района, их кратковременная нирвана.

— Сергей Николаич! — Знакомый голос вывел из забытья.

— Ксюша! Ты!

Он года полтора не видел ее — позапрошлой осенью помогала ему, только что ставшему бригадиром петраковцев, отбирать семена. Полтора года, но каких! Пережиты лепешки из травы, эпопея с вывозкой навоза, пережита шумная слава по всему району. А уж то время, когда за ним по пятам ходила девчонка в растоптанных сапогах, с мальчишескими исцарапанными коленками, кажется совсем далеким.

Сапоги, исцарапанные коленки... У тугих туфелек на земле — маленький чемоданчик с никелированными замками, пальто перекинуто через руку, вдумчиво уложенные на голове косы открывают просторный чистый лоб, лицо лишь отдаленно напоминает прежнее, скуластенькое, широкое, свежее сейчас, тянущее к себе, как открытая книга. И вся она занимает больше места над землей, больше настолько, что уже никак нельзя не заметить, мимо не пройдешь, оглянешься вслед. Он глядел и чувствовал, как вызревшая тяжесть заполняет ее от щиколоток над тугими туфельками до белой шеи, до мочек ушей. Эта напористая тяжесть, рвущаяся сквозь легкое платье, немного стесняет ее самою — движения чуточку связанные, и щеки опалены румянцем, и ускользающий взгляд, и глаза отливают призывной весенней зеленью. В ее глаза так же трудно смотреть, как на искрящиеся апрельские лужи, хочется зажмуриться...

Ксюша Щеглова перед ним, в шуме голосов, в птичьем звоне, в ярком солнце. Дядя Евлампий, тракторы, непаханые поля, сев, срыв, объяснения, жалобы, сор житейский — все трын-трава, все так ли уж важно! Бьющее в глаза солнце, медный отлив Ксюшиных волос, птичьи голоса лавиной, глаза, в которые больно и страшно смот-

реть. Не пропусти! В стручок ссохся в Петраковской, от земли глаз не отрывал, забыл, что помимо Петраковской мир велик во все стороны.

Когда-то девчонка — нос шелушится, колени поцарапаны, две косы по тощей спине... Не знал, что человек может так вспыхивать. Зажмурься!

И был случайный, неловкий разговор.

— Да, уезжаю... Нет, ненадолго... Узнать о поступлении в институт. На заочное хочу в этом году... На очное? Нет, мама болеет, и работу тогда бросай, а не хотелось бы... Вы меня к этой работе приворожили. Совсем забыли, не заглядываете... А мне как вас забыть, когда вашим делом живу. Каждый день вспоминаю... Ой, ой! Еще на поезд опоздаю!..

Все трын-трава! Но только на минуту, только на то время, пока видел Ксюшу.

Петраковская бригада завалила сев — дядя виноват? Нет, бригадир. Снять...

Совсем не сняли — хуже, отодвинули в сторону. Если б сняли совсем, то Сергей Лыков, бывший студент Тимирязевской академии, носивший в кармане паспорт со следами московской прописки, мог, махнув рукой, отбыть на сторону: «Прощай, Евлампий Никитич, дорогой дядюшка, не тужи обо мне!» В районе его с охотой бы посадили председателем какого-нибудь отстающего колхоза — вдруг да снова сотворит чудо. Снять совсем Евлампий Никитич не снял. Для петраковской бригады была выкроена новая должность — помощник бригадира. Не учетчик, как бывает, а что-то вроде маленького зама, меньших замов, наверно, уже не встретишь по стране. Заместитель бригадира Сергей Лыков — смех и грех.

В Петраковской появился новый бригадир — Терентий Шаблов, дальний родственник Лехи-шофера. И не Леха помог подняться ему. Терентий задолго до Лехи выбился в люди, прочно числился в лыковской номенклатуре.

Полный, с коротко стриженной седеющей головой, бабьи-мягким лицом, он смахивал на сивого от возраста, безобидного увальня хомячка. Никто не слышал, чтоб на собраниях, просто ли в беседах он подбросил толковый совет. Никогда он не был напорист, не умел даже красно выступать, что обычно и помогает выдвигаться.

Человек тишайший и добродушнейший, он не перечил даже жене, был честен, как-то безнадежно честен, никому в голову не могло прийти, что Терентий Шаблов способен чем-либо покорыстоваться. Евлампий Лыков таких похваливал: «Полезные люди, вроде электропробки. Ставь их на всякий случай, чтоб оказии не вышло».

Терентия ставили руководить механизированным током, когда этот ток был уже полностью налажен, не нужно ничего перестраивать и доводить. Его бросали следить за закладкой силоса, когда не предвиделось спешки. Он наблюдал за доставкой строительных материалов, когда дороги были в хорошем состоянии, а транспорт в достатке, тут уж каждый гвоздь попадал на склад.

У Терентия Шаблова не широкий, но крепко усвоенный опыт: следи в оба глаза и при первом намеке на оказию — сигналь. А уж ежели оказии не миновать, то с примерной стойкостью споси «кудрявую стружку», не оправдывайся, признавай: «Виноват. Исправимся».

Новый бригадир и вообще-то за всю свою посильно руководящую жизнь так и не научился разговаривать на начальственных басах, а уж к Сергею был просто почтителен.

Выпить он, однако, любил не меньше других, а потому охотно составлял компанию Сергею, тут он совсем размякал, убеждал со слезой:

— Я тебе, голубь, не помеха, а выручка. Меня все одно рано или поздно в другое место перебросят. Ты здесь останешься. Я ведь что, я везде человек временный. Так что давай-ко — тянем-потянем да вытянем бригаду.

— Не вытянем.

— Что так, дружочек?

— Тянулку мой дядя отрезал.

— Это какую-такую?

— Надежда называется. Она здесь прежде у каждого человека была. Нынче нам, брат, зацепиться не за что.

На лицах петраковских баб снова застыло знакомое выражение: «А, чихать на все». К этому «чихать» примешивалась еще жалость, не к себе, к бывшему бригадиру: «Эх, родимый, видать, стенку-то лбом не прошибешь». Но дешева бабья жалость, не лечит.

Сергей словно проснулся, с ужасом увидел — живет

в чужой деревне, в чужой избе, у чужой старухи под портретом Веньки Ярцева, который никогда не был его другом. Он не может вернуться в село Пожары, в отцовский дом, там братья, дядины друзья, все село под Евлампием Никитичем. И от Москвы, от Тимирязевки, уже оторвался, там кто-то другой учится вместо него, а Светлана, наверно, защитила диссертацию, наверно, вышла замуж. Не может вернуться и в армию. Обложен со всех сторон, как волк, вокруг ни родни, ни друзей — пустыня, только обидная бабья жалость, только Терентий Шаблов, лезущий в друзья. «Я везде человек временный», а уж друг-то и вовсе минутный, только на то время, пока не кончится поллитровка на столе.

И это открылось вдруг, без перехода, как внезапная слепота.

Жил под портретом Веньки Ярцева. И бывший враг теперь был ему всех ближе. Он хоть связан с детством, хоть заставляет чувствовать — у тебя есть прошлое. Есть прошлое, будущего никакого.

И тут-то — Ксюша Щеглова. Если б он был в прежней силе, в прежнем почете, с прежней верой в себя, то, наверное, все равно бы не прошел мимо, все равно стояла бы перед глазами — от щиколоток до плеч, налитая вызревшей весенней тяжестью, чистый лоб, глаза в зелень, лицо широкое, открытое, зовущее. Не только же для петраковских баб жить! — пошел бы к ней, быть может, еще скорей, чем сейчас, потому что верил — не откачнется, не скажет «нет».

Сейчас весь свет клином сошелся — единственная, даже жутко от мысли, что отвернется.

Он узнал — Ксюша вернулась из города. Утром снял бритвой трехдневную щетину, надел чистую сорочку, постеснялся влезть в свой праздничный «московский» костюм. Может подумать — ишь, жениться пришел со всем старанием, того гляди, в цене упадешь. Костюм не надел, а сапоги начистил — глядеться можно, старую бригадирскую кепку-блин заменил новенькой фуражкой. Оглядел себя в тусклое настенное зеркальце, в которое, наверное, смотрелась бабка Груня, когда была несватаной девкой: брови белые, ресницы рыжие, глаза глубоко всажены под лоб, сам лоб шишковат. Фу ты, черт, как на дядю Евлампия похож! Гнусная, однако, рожа, но что-что, а это и рад бы, да не сменишь.

Опытный участок, бывшая столярка. Салатная окраска по обшивке потемнела, вывеска выцвела, в палисадничке под низенькими оконцами бесхитростные цветочки и кустики смородины. Дом с низеньким крылечком и облупившимися белыми наличниками обрел обжитую уютность. И Сергей неожиданно почувствовал, что этот приземистый домишко, который он не любил прежде, держал его под замком, сейчас родственно дорог ему. И нет, не только потому, что там Ксюша. А потому, что он чувствует— мог бы связать жизнь с этим домом. Искал бы сортовые семена, испытывал их, втайне, наверное, мечтал о невозможном, о чудесной пшенице с колосом, как кистень... Ну а в Петраковской, разве там нельзя жить? Выгонял бы урожаи, завалил бы всех хлебом, отстроился бы, всю рухлядь снес, вместо старых изб поставил бы коттеджи, с водопроводом, с ваннами, с электричеством! Тут ли, в Петраковской ли, где бы ни было, лишь бы под ногами — земля, а она-то всюду будет! Дядя Евлампий родные места сделал чужбиной, так почему чужбину не сделать родиной?..

Эту-то мысль он и нес сейчас Ксюше.

Внутри все как было: письменный стол с казенным пластмассовым прибором, диванчик для посетителей. Наверно, он, Сергей, и оказался первым посетителем, почтившим служебный диванчик. Ксюша рядышком, стеснительно на краю, сложила горсткой руки на коленях, опустила плечи, нагнула голову, увитую косами. Лицо ее Сергею плохо видно, зато видна крепкая шея с тупой косточкой у самого ворота легкого платья. На литой шее под прорвавшимся в оконце солнцем — пламя выбившихся из прически волос, и маленькое розовое ухо напряженно слушает.

— Ксюша, будем жить как люди. А так как скорей всего попадем туда, где люди пока не красно живут, то не обещаю — будешь ли ты поначалу ходить в шелках. Потом — может быть, потом, когда мы... мы с тобой людей в шелка оденем. Я школу в Петраковской прошел, знаю, с чего начинать. В Тимирязевке мне этого сказать не могли, не знали. Знаю! Но здесь больше дядюшки Евлампия знать не положено. Что сверх, то душит. Мне надо отсюда отчаливать немедля. Без тебя не могу. Это

я совсем недавно понял. Ксюша, согласна со мной подняться?..

Ксюшино ухо розовело от напряжения, ждало — не скажет ли Сергей еще что. Сергей клонился вперед, старался заглянуть в ее лицо, опущенное к коленям.

— Ну, Ксюша?..

Она прерывисто вздохнула и разогнулась. Ее лицо пылало сухим румянцем.

— Сергей Николаич, что мне скрывать. С первого году, когда еще мы по полям лазали, только и мыслей... Все годы — он, только он в голове. А он-то и бровью не ведет. Что ему девчонка сопливая... И знаю, письма писал к той, к московской... Нет, нет, не в упрек сейчас. Спасибо, что наконец-то заметили. А вправду сказать, не надеялась. Шалые мысли бродили — не бухнуть ли замуж, все равно не дождусь.

— Ксюша...— благодарно дрогнувшим голосом сказал он.— И вспоминать незачем, теперь все...

— Нет, не все, Сергей Николаич.

— Да не величай ты меня, право!

— Не все, Сережа. Ты ехать меня зовешь...

— Здесь нет мне жизни и тебе не будет, если со мной свяжешься.

— Ехать?.. Ты вот говорил, что один как перст. Про себя я так не скажу. У меня мать... Мать-то прихварывает. Если я ее брошу, одна надорвется... Скажешь, возьмем? Из своего дома, из своего села, из богатого колхоза в чужие люди и наверняка на бесхлебье. Хорошо ли ты первое время кормил себя одного в Петраковской? Один-то что, а если всех — надорвешься, где уж мечтать — в шелка...

— Ксюша, остаться не могу, дядя теперь ложка по ложке меня съест.

— И еще послушай,— с пылающим лицом продолжала Ксюша,— мне, как бабе, на стороне-то трудней придется, буду я мотаться между печью и колхозным полем. И ради тебя готова, Сережа, но только жалко крест ставить на том, что вымечтала. А мечтаю не о малом — институт кончить...

— Вместе будем учиться.

— Там? С семьей? Нет, Сережа, ты это так... Под угаром ты сейчас, угар-то там скоро пройдет. Мы с тобой только здесь сможем учиться. Только здесь. Опыт-

ный участок, работа свободная, сама работа возле науки лежит. Вспомни, много ли ты учился, когда бригадиром петраковцев стал? Хоть одну книгу успел открыть? А на стороне, кем ты будешь? Тем же бригадиром или еще того занятей — председателем. В плохом колхозе, Сережа, в плохом, в хороший да налаженный тебя не пошлют, да ты в налаженном-то и не уживешься, тебе самому хочется налаживать. Какая учеба... Где уж.

— Но как быть нам, Ксюша?

— А вот как! — живо откликнулась Ксюша, верно, давно ждала этот вопрос.— Не уезжать! Забыть Петраковскую, вернуться сюда, вот под эту крышу.

— На опытный участок?

— Да, на опытный. И напрасно ты связался с петраковцами.

— Напрасно не напрасно — спорить не станем, у меня на этот счет свои взгляды. Сюда вернуться, а дядю Евлампия куда мы денем?..

— Тебе надо перед дядей повиниться.

— Что-о?

— А разве так уж обидно? Он все же старший. А уж ежели ты, Сережа, с повинной к нему придешь, то Евлампий Никитич только доволен будет.

— Еще бы.

— Он с легкой душой тебя простит, с охотой на прежнее место поставит, рядом со мной. Жить вместе, работать вместе, может, учиться вместе будем. Сереженька, да это ль не счастье! А на сторону... Да просто невозможно никак. Никуда мать моя не тронется. А я свою мать не брошу.

— За что мне виниться перед Евлампием? — спросил Сергей.— За что, интересно?

— За то, чтоб быть вместе. Не мало.

— Я перед ним или он передо мной виноват?

— Пусть он, но все-таки старший...

— Если б только передо мной, он же виноват перед петраковскими детишками, которых опять без молока оставил! Мне и свою обиду простить ему трудно, но последним подлецом буду, если обиженных детишек прощу! Нет, Ксюша, не могу!

— Понимаю, Сережа. Но что толку в моей понятливости. Уехать-то не могу.

— Что ты просишь от меня, одумайся!

— Не больше твоего прошу, Сережа. Сам-то от меня просишь, оглянись: мать старую брось без призора, без помощи! Могу ли? Нет!

Сергей возвратился в Петраковскую. Нужен? Да нет, не настолько, чтоб без него не могла жить. И в Петраковской он теперь тоже не нужен, кроме, быть может, старой Груни. Той после одинокой жизни как не дорожить, что живая душа рядом, за сына считает. Забытая людьми старуха и ненужный людям Сергей Лыков — два сапога пара.

А есть еще минутный друг Терентий Шаблов, минутный и единственный, всегда готовый распить бутылочку. Он очень покладист, во всем поддакивает, молчит с неловкостью лишь тогда, когда Сергей ругает Евлампия Никитича.

Чаще и чаще появлялась на столе водка.

Трезвый понимал: с ее «не могу» нельзя не считаться, какое он имеет право требовать — брось мать! Да и сам задумайся, на какую жизнь зовешь ее? Мечтает об институте, а если она вместе с тобой нырнет в новую Петраковскую,— какой институт? Она права.

Трезвый понимал — выхода нет, а потому пил. Выпив же, начинал верить в невозможное и тогда нетвердыми шагами шел четыре километра от Петраковской до села Пожары. И бубнил безнадежный вопрос: «Что делать, Ксюша?» И бунтовал, когда Ксюша повторяла: иди к Евлампию Никитичу с повинной.

В первое время она его мягко совестила:

— Ты сам себя топишь, не Евлампий Никитич. На водку бросился, последнее дело.

В первое время она провожала его за село, до дороги, ведущей к Петраковской.

Провожала, а хотелось, чтоб оставила у себя.

— Таким мне тебя близко не надо.

Проводы подвыпившего ухажера через все село для девки, свято берегущей честь,— пытка. Глаза встречных баб ощупывают, ухмылочки на лицах не скрываются, а уж что за спиной отпускают — лучше не думать.

Ксюша заявила:

— Сережа, не ходи. Не хочу!

Трезвым он давал себе слово не ходить.

Терентий Шаблов всегда под рукой. Терентий Шаблов без задней мысли, от души, как мог, жалел Сергея,

совестился тем, что поставлен над ним, замаливал вину, а замолить мог одним — задушевно вынуть из кармана бутылочку.

— Пей!

И после этого нетвердые ноги снова несли Сергея в Пожары.

Ксюша стала прятаться от него.

Однажды утром к Сергею пришла нежданная гостья. Представить нельзя, зачем ее принесло — секретарша Евлампия Алька Студенкина.

Бабка Груня сердито двинула ухватами, делала вид, что не замечает гостьи—такая только к беде прилетит...

У Альки лицо белое, пухлое, пшеничная складочка под подбородком, губы сально накрашены и брови выбриты в ниточку.

— Бабушка,— сказала Алька.— Выйди на минутку, мне с Сергеем Николаевичем поговорить надо.

— Это как так выйди? Я здеся хозяйка, тебе могу указать на порог.

— Выйди, Груня,— попросил Сергей.

Старуха с ворчанием забрала ведра.

— Ну?

— Извиненья просим, что рано. Но поздней надежды нет — застану ли трезвым.

— Ежели пришла, чтобы глаза колоть, то вмиг пробкой вылетишь.

— Зачем колоть, просто ты мне трезвый нужен, чтоб выслушал.

— О чем? Выкладывай.

— О Ксюше.

— Не хватай ее. Испачкаешь!

— Ну, только не я. Для этого другие найдутся.

— Ангел-хранитель.

— Ксюшка мне родня, потому и хотелось бы охранить.

— От меня, конечно?

— Да нет, не от тебя...— Крашеные губы поджались, нитчатые брови сошлись на переносице.

Где-то глубоко-глубоко шевельнулось у Сергея подозрение.

— Ну!..

— Иль не ясно — от кого? Прислоняется... До других мне дела нет. На других я, может, сама наводила. С ней — не хочу!

Сухо стало во рту, осип сразу голос:

— Сволочи вы! Гнездо сволочей!

— Руганью делу не поможешь.

— Убить мне его, что ли?

— Еще не легче. С тебя, дурака, станется. Паспорт-то в кармане! Действуй, кисель. Махни в соседний район, где о тебе тоже наслышаны. Дадут место не шаткое, заманивай оттуда Ксюшку. Побежит, знаю ее. Мать пусть здесь останется, как смогу, я помогу ей поначалу. И шевелись, поздно будет.

Алька поднялась, одернула юбку, глянула свысока, бросила на прощание:

— Поди, сам догадываешься — каркать о том, что я была здесь, не стоит. Евлампию Никитичу съесть меня, что куре просинку.

Он в детстве часто лежал на этом месте. Пологий пригорочек раньше всех протаивал от снега, раньше всех просыхал, тут всегда было можно всласть погреться на весеннем солнышке. Тут кусты шиповника цвели бледными, словно вымоченными розами. Кусты такие, как прежде, как прежде, они, наверно, цветут по весне. Теперь цвет давно опал.

Сергей лежал и глядел на дорогу, вспоминал детство, далеко и неправдоподобно счастливое время, когда на свете жили иные люди, даже дядя Евлампий был иным. И тогда еще на свете не было Ксюши...

Сергей лежал, не спускал глаз с дороги, ждал... Он уже долго здесь, с самого полудня, а солнце сейчас клонится к лесу.

Наконец по дороге пропылил председательский «газик».

Сергей вскочил.

Домик с вывеской, с пожухшими стенами. Старая береза над шиферной крышей. За низеньким штакетником цветочки. Закрыв крылечко, стоит «газик». Он там! Алька не соврала.

С земли навстречу поднялся Леха Шаблов, вытянул толстую шею, приглядывается свысока, разминает плечи.

— Куд-ды?

Крепкие, заскорузлые, тронутые пылью тяжелые сапоги, широкое, как перина, тело, рожа розовая, сонная, белесые поросячьи ресницы прикрывают глаза, руки покойно свисают, мослы перевиты набухшими венами.

— Пусти!

— Проваливай.— Сквозь зубы, взгляд величавый и дремотный из-под щетинистых ресниц.

— С дороги, сволочь! — плечом вперед на Леху.

И тот наконец-то усмехнулся:

— Столкнуть думаешь?

Сергей хотел рывком проскочить, но железная лапа сгребла за шиворот. Путаясь ногами по ускользающей земле, пробежал и всем телом грохнулся на прибитую, черствую дорогу, но вскочил сразу же с кошачьей легкостью. Крупная Лехина физиономия, словно сквозь зеленую воду,— расплывчато, цветным пятном.

— Катись по добру!

И Сергей снова рванулся вперед.

Как брошенное полено, обдав ветром, кулак прошел мимо уха. Над собой увидел туго изогнутые салазки нависшей челюсти. Упруго распрямился под ней, вкладывая в удар силу ног, поясницы, плеча, ненависть всего тела. Но Леха даже не качнулся.

— Ах так, падло!

И словно ствол березы обрушился сверху, погасло солнце, не почувствовал, как встретила земля. Но только на секунду беспамятство, очнулся уже па ногах. Дальний лес за Лехой то падал, то вздымался, а над ним солнце выделывало веселые петли в небе.

Он видел, как Леха отводил плечо, видел нацеленный тупой кулак, но увернуться, спастись был уже не способен.

Последнее, что ощутил,— живой вкус соли во рту.

Высокое-высокое небо с потеками усталого лилового света, и в нем одна-единственная, бледная, словно вымоченная звезда. Она не мигает, а тихо дышит, разглядывает землю и лежащего на ней Сергея.

Знакомый, с сипотцой голос негромко сказал:

— Жив, чего там, очухался.

Череп казался мягким, как раздутый мех, и тупо пульсировал: ух-ух! ух-ух! — шла в голову натужная накачка. Но Сергей все-таки заставил себя повернуть ее.

В трех шагах знакомые сапоги, заскорузлые, громадные, спесиво довольные собой. Из них вверх растет человек, кепка где-то в поднебесье,— Леха. Лицо медное, не человечье — падает кирпичный отсвет заката.

Где-то у Лехиной подмышки лепной лоб дяди Евлампия, тот нетерпеливо подергивает ляжкой. Их взгляды встретились, дядя перестал дергать ногой, нахмурился.

— До чего ты дожил,— сказал с проникновенным презрением.— Оглянись, вот она, водочка,— по канавам валяешься, рожа побита. Срам!

Напряженно выставив колено, подождал — не возразит ли Сергей, но тот молчал, и тогда снова начал дергать обтянутой парусиновыми брюками ляжкой.

— Срам!.. Конюха пошлю с подводой, свалит в Петраковской, сам не доберешься... Пошли, Леха.

Они зашевелились, качнувшись, исчезли из обзора.

Со стороны донеслось:

— Сбился с кругу...

Издалека Леха авторитетно подтвердил:

— Буен во хмелю.

А в голосе усмешечка.

Взвыл стартер, зарычал мотор. Через минуту тихо. Уехали.

Высоко-высоко дышала в одиночестве бледная звезда. Под ней покойно.

Но надо встать, нельзя дожидаться обещанной председателем подводы. Кто-то из конюхов с ухмылочкой взвалит его на телегу, а потом будет рассказывать — в канаве подобрал, красив...

В глазах кружилось, позывало на тошноту, под черепом словно работал паровой молот. Все-таки сумел утвердиться на ослабевших ногах, передохнул, двинулся к колонке за палисадничком. Лицо от воды сильно засаднило, но стало легче.

Окна под шиферной крышей поблескивали жирным нефтянистым отливом. Знакомый домик, выкрашенный в линяло-салатный цвет, выглядел сейчас одичало покинутым.

А Ксюша?.. Не могла же она пройти мимо и не увидеть его. Неужели поверила, что он пьян?.. И вправду,

до чего ты дожил, Серега. Мертвым найдут — никто не удивится. Может, Ксюша в машине сидела, Евлампий в угоду ей распекал его — одна шайка-лейка. Ксюша... Бог с ней, все кончено.

Ощупывая нетвердыми ногами дорогу, он двинулся в путь. Четыре километра с гаком — по его теперешнему состоянию путь не близкий.

Каждый день между десятью и одиннадцатью утра Евлампий Лыков — поднявшийся в пять, успевший уже погонять по полям — принимал у себя в кабинете Ивана Слегова. Между десятью и одиннадцатью — время бухгалтера, все это знали, никто не смел на него посягать.

Машина у крыльца, в приемной возле секретарши Альки наготове Леха Шаблов. Бухгалтер выползает из кабинета, а Евлампий Никитич снова сядет за руль «газика», опять в поля, опять на фермы — крутись колесо председательской жизни.

Алька, быть может, сама не пустила бы Сергея — не положено. Она оторопела: в военной форме, туго перепоясанный, грудь увешана орденами и медалями, а лицо страшное, желтое, ссохшееся, с раздутыми безобразными губами, ссадина на лбу и обжигающий блеск глаз. И все-таки Алька задержала бы, если б не Леха. Он тоже опешил, но выдавил:

— Туда нельзя!

И тут-то Алька Студенкина, законная хозяйка лыковского порога, норовисто вскинулась:

— Ты чего распоряжаешься тут? Чего командуешь?!

А Сергей уже рванул дверь, шагнул в кабинет.

Будничная картина, входящая в расписание колхозной жизни. Евлампий Никитич навалился грудью на зеленый стол, слушает, навесив лобастую голову. Бухгалтер Слегов рядом на приставленном стуле, на пухлых плечах горделивый поворот седой головы, не подумаешь, что калека, костыли рядом кажутся лишними. Лыкова от бухгалтера отделяет чугунный младенец, поднял вверх палец, словно вещает: внимание, внимание! В великом колхозе решаются сейчас великие дела.

Только на мгновение эта мирная картинка. Евлампий Лыков увидел обвешанную орденами грудь племянника,

встретился глазами, и челюсть отвалилась. Бухгалтер Слегов, оборвав себя на полуслове, шумно развернулся своим громоздким корпусом.

А Сергей, постукивая каблуками по паркету, двинулся вдоль красного стола, не спуская сухо поблескивающих глаз с Евлампия Никитича. И тот завороженно глядел на него.

— Встать! — приказал ему Сергей.

В глазах Евлампия Никитича мельтешилась суетливая искорка, лицо каменно.

— Ком-му сказано? Встать!

— Ты с ума сошел! — прохрипел Лыков, поднимаясь за столом.

Встревоженно зазвенели на груди Сергея медали.

— В-вот!!

Через стол, качнувшись вперед всем телом, Сергей влепил пощечину. Вытер руку, сказал:

— Ничем другим... Помни.

Последнее наставление Евлампий Никитич вряд ли слышал, потому, что, сбив в сторону кресло, сидел на полу за столом. Строго и укоризненно взирал на Сергея вождь с портрета.

Не оглянувшись на застывшего бухгалтера, врезая каблуки в паркет, Сергей прошел к двери.

Двери были двойные, обшитые клеенкой, специального устройства, чтоб внешний мир не мешал тому, что творится в глубине кабинета. Леха встретил Сергея подозрительно округлившимися глазами, но не пошевелился.

Он нагнал его на полдороге к Петраковской.

«Газик» промчался мимо, разрывая пыль, прошел юзом, застопорил. Дверка откинулась, кепкой вперед вылез Леха.

Он сделал несколько шагов навстречу, встал, широко расставив ноги. На лице деревянное выражение, глаза тяжелые, нижняя губа отвисла, плечи разведены, бугристую грудь обтягивает рубаха — вот-вот посыплются пуговицы,— руки чуть согнуты в локтях.

— Ну! — произнес он.

Сергей не спеша нагнулся, запустил пальцы за голенище, выудил нож, длинный, широкий, сточенный кусок полотна пилы-лучковки, вместо ручки обмотка изоляци-

онной ленты. Сергей приладил его поудобней в ладони, ответил в тон:

— Ну.

Деревянное лицо пообмякло, в глазах пропала тяжесть, они забегали.

— Брось нож, стерва!

Сергей скривил в улыбке разбитые губы:

— И подставь, баран, голову.

Леха переминался, давя сапогами пыль, бегающие глаза снова и снова возвращались к руке, сжимающей нож.

— Срок получить захотел?..

— Видишь? — Сергей тряхнул медалями и орденами.— Это не за покладистый характер получил. Учти, полено, я фронтовик... Но не убийца, первый нож не подыму, а задевать не советую...

И двинулся на Леху, глаза в глаза. Леха не выдержал, шарахнулся в сторону.

— Сду-у-рел!

— Вот так-то!..

Дома он бросил на шесток нож — старая Груня щепала им лучину...

Чемодан сложен. Терентия Шаблова решил протащить по полям, в последний раз давал советы: там постарайся посеять клевер, там лен, то поле на будущий год пусти под картошку — кустарник становится первым врагом, найди время, подыми на него бригаду; если сможешь, конечно, теперь не жди от петраковцев особого усердия.

Терентий ходил молчаливой тенью, пасмурный, обрюзгший.

Уже вечерело, когда Сергей переступил порог своего петраковского дома. У Груни — гостья. Сначала подумал, что так, божья старушка, какие часто налетают со стороны к богомольной хозяйке. Ан нет, молода, платок-то на плечах старушечий, а ноги крепкие, девичьи, в туфельках. И вдруг прошибло от пят до затылка — она!

Груня скинула фартук, направилась к двери:

— Господи! Господи! Святы твои слова праведны: «Не суди и не судимы будети»... К Валенке Степашихе пойду на час.

Из-под накинутого серого платка — лицо с лепными скулами, со сбежавшим румянцем, обжигающие глаза. Разлепила спекшиеся губы:

— Прощенья не прошу. Не за что!..— С сипотцой, с вызовом.

Он молчал, стоял у порога, держал в руке кепку, которую не успел повесить на гвоздь.

Она закусила губу, сморщилась и затряслась, затряслась:

— Се-ережа-а! Уво-ози-и! Свихнусь я здесь, коль оставишь!

Платок упал на плечи, волосы растрепаны, лицо перекошено, глаза блестят из глубоких ямин — некрасива. Вот, оказывается, когда нужен.

И шагнул к ней, притянул ее голову. Она прижалась, сотрясаясь всем телом, всхлипывая, как ребенок.

Чувствовал незнакомую теплоту, идущую от нее, слышал запах ее волос, почему-то смолистый. Неуклюже гладил волосы, замирал от новизны ощущений — впервые касался...

Она всхлипывала:

— Как выскочила от них. Гляжу — ты лежишь. Как закричу...

Вернулась Груня, поставила самовар. Сидели под лампой, пили чай, разговаривали уже деловито. В загсе расписаться — больше недели уйдет, и с партучета Сергея снимут не сразу. Ехать в соседний район?.. Нет уж, ехать так ехать, подальше от постылого места. Под Ленинградом у Сергея служил брат-майор, он хоть тоже в дружбе с дядей Евлампием, но приютить на неделю-другую не откажется. Оттуда и начнем танцевать.

Груня вздыхала:

— Эх-хе-хе! Опять одна. И зачем мне бог смерти не шлет...

— Мы к тебе наезжать будем каждый отпуск, письма писать будем. Мой родной дом теперь здесь. Ты для меня вроде мать вторая.

— Пишите, родненькие, оно веселей, как знаешь, что кто-то о тебе на свете помнит.

Ксюша не осталась на ночь:

— Мать изведется. Я ей все сказать должна. Теперь и она поймет. Развязался узелок, а не думала, что развяжется.

На крыльце она сама обняла Сергея и поцеловала. Смолисто-еловый запах волос...

Сергей лежал и глядел в темный потолок. Не спала и Груня, возилась за переборкой, постукивала, покряхтывала, наконец задула лампу, но щель между дверью и переборкой виднелась,— значит, старуха зажгла лампадку под иконой.

Шелестящий шепот потек по ночной избе:

— Господи праведный! Один ты всю правду видишь. Не судила тебя, господи, и не сужу, что сына отнял. Не у меня одной, чем я чище других. Таких, как я, старых, видать, много тебе надоедает... Господи! О себе не прошу. Других, господи, береги. Им ведь жить да жить. А Серега, господи, парень редкий, не бросайся им зря-то. Что пить было начал, так это он зря, конешно. Кто не слаб из людей, господи. А во всем остальном, скажу тебе, чист. Сам, чай, знаешь, как он для петраковцев вывернулся. Ты, господи, ему добро, он тебе тем же отплатит. Он может, не сумлевайся. И Ксюша мне подходящей показалась. Хорошо сделал, что ее толкнул...

Ловил Сергей шелестящий старушечий шепоток и чувствовал — сжимается горло. Сук-кин ты сын! Знал, что бабка Груня к тебе всей душой, знал, но считал — дешева, мол, старушечья любовь. А что дороже? Ничего не потребует, а отдаст все. Не каждому-то вторая мать встречается. Сжималось горло, влажнели веки.

В пропахшей щами ночи, тайком от всех, старая Груня шепотком учила бога, как лучше распорядиться людской жизнью.

Вечером обо всем договорились, а утром явился участковый Ступнин, в ремнях, при пистолете, с портфелем, с красным от избытка крови лицом и бодрый, как всегда.

— Дома застал. Тэ-эк!

Сел за стол, не снимая милицейской фуражки, положил перед собой портфель, потребовал:

— Паспорт сюда!

— Это зачем?

— Значит, надо. Я у любого гражданина в любое время любой документ, удостоверяющий личность, потребовать могу. И отказать не смей!

Сергей достал паспорт. Ступнин покрутил его перед собой, признался:

— Кто его знает, зачем он... Из районного отделения потребовали. Ты уж сам с ними объясняйся.

— Евлампий новую петлю плетет.

— Мое дело сторона. Прикажут арестовать — арестую, прикажут расцеловать — расцелую. Служба!

Ступнин сунул паспорт в портфель и ушел.

В районном отделении милиции отказались вернуть паспорт: «Распоясался, руки распускаешь, еще выкинешь новое коленце да сбежишь. Вроде и не велик преступник, чтоб розыск по всей стране устраивать, но упускать из виду тебя не след. Нам проще — документы попридержать. Живи да помни себя».

Это значило—ты теперь принадлежишь Евлампию Лыкову с потрохами, уехать без его на то воли и не мечтай.

Даже тетка Груня советовала:

— Сходил бы поклонился, голова-то не отвалится.

Но хоть и посылала Груня кланяться Сергея, чтоб отпустил Евлампий Никитич, по своей радости не скрывала, когда Ксюша переехала в Петраковскую:

— Вспомнил обо мне господь, милость за милостью посылает на старости лет. Горемыкой жила, как перст одна, могла ли гадать— на-тка, семья под боком, глядишь, скоро внука качать буду.

Наняли старика переложить печь, Ксюша и Груня выворотили грязь из нежилой половины, Сергей расшил заколоченные окна. И одна изба прозрела в Петраковской.

В Петраковской прозрела, а в Пожарах ослепла. Приемный сын остаревшего Михайлы Чередника, ушедшего с бригадирства, Мишка-матросик, отслужив свое во флоте, забрал мать с отчимом, забил окна досками. А дом-то стоял в самом центре лыковской столицы, напротив конторы. До сих пор село Пожары глядело на белый свет только полными окнами.

В горнице старой Груни, рядом с фотографией Веньки — сына, появилась фотография Сергея и Ксюши, голова к голове, как и положено молодоженам.

Доволен был и Терентий Шаблов, шутка ли — Сергей остается в помощниках, да за таким помощником как за каменной стеной — в метель не продует. Он чуть не каждый вечер заглядывал в гости, охотно ругал своего родственничка Леху, поеживался и помалкивал, когда отзывались нелестно о Евлампии Никитиче, пил чаек. Водкой Сергей перестал угощать.

Все вроде устроено. Ну, положим, далеко не все. Раз стал хозяином, то знай — ты дойная коровушка, свое гнездо тебя сосет, сыто не бывает. Надо бы и крышу перекрыть, и старые, еще довоенные, газеты по стенам обоями заклеить, пол перебрать не худо бы... Но это потом, а жить вполне уже можно.

Раз можно, то надо жить, и всерьез, не по птичьи — день прошел, да и ладно. Человек делом живет, по делам ценится.

Зрели на полях хлеба. Сергей и Ксюша не могли о них не заговорить, не вспомнить старое, как ходили по полям, как допрашивали с пристрастием: «А кто вы, Иваны, не помнящие родства? Кто ваши родители?» Дело-то оборвано, а зря, стоит продолжить.

Что им мешает снова взяться за отбор семян? Так и не выяснили до конца, какие сорта ржи самые урожайные по их местам. Евлампий Никитич мандат не выдаст на опытную работу... Евлампий Никитич замок повесил на дверь опытной станции. А нужен ли мандат, и нужна ли сама станция с кабинетным столом, с канцелярским чернильным прибором, с полумягким диванчиком для посетителей? Есть время, есть уже кой-какие знания, найдутся книги, можно найти и консультантов. Есть и земля под боком, только пожелай — вся петраковская бригада станет опытным полем.

Одним ранним августовским утром, когда вся деревня Петраковская спала, ни одна труба над просевшими крышами еще не дымила, Сергей и Ксюша вышли из дому. У Сергея старая кепчонка натянута на глаза, пиджачишко с латаными локтями, резиновые сапоги, самодельные гербарные папки под мышкой. Непослушные волосы Ксюши туго стянуты выгоревшей косыночкой, лицо широкое, свежее, не остывшее от нагретой подушки, жарком прихвачены щеки, и глаза возбужденно прыгают по сторонам.

Спит деревня Петраковская, в седых предрассветных сумерках величаво вздымаются нескладные избы, темные,

обветшавшие, но все еще могучие — бревенчатые мужицкие крепости, покорно отживающие свой век. А над ними в пепельном небе блеклое лезвие отточенного месяца. Деревня Петраковская — новая родина, общая для них обоих.

Они собрались на первую вылазку, нет, не на ближние поля, даже не на поля своей бригады — на засеянный рожью клин за Ветошкиным оврагом. А это исконно пожарская земля, сердцевина лыковской державы.

Евлампий Лыков считает: земля не смей рожать и хлеб не зрей без его указа — полный хозяин. Э-э нет, Евлампий Никитич, как ни державен ты, но придется признать — мы не меньшие хозяева, мы тобой обиженные, тобой униженные, тобой запертые в сирой Петраковской. Попробуй-ка запрети нам брать то, что дает земля, а брать будем не что-нибудь — самое ценное, оброненные в землю знания. Даже то, что ты сам обронил,— подымем и присвоим, попробуй-ка сказать — не смей! Не выгорит. Кто кого еще сильней, Евлампий Никитич? Кто — кого?..

Они шли лугом, скошенным, но уже вновь затянутым мягкой зеленью. Шли и озабоченно рассуждали о ржи: культура не в таком почете у селекционеров, как пшеница, но старое-то присловье справедливо — «ржаной хлебушко всем хлебам дедушко». Говорили о ржи и не вспоминали Евлампия Никитича.

Два темных росяных следа тянулись за ними по траве. Следы от околицы Петраковской в глубь лыковских владений.

СМЕРТЬ

Евлампий Лыков лежит за стеной, пробил его час, не встанет, не наведет порядок, какой ему нужно. Он уходит, а жизнь, заквашенная им, продолжается.

Кричит с посиневшим лицом Ольга:

— Сво-од-ня! Съела ты меня-а! Кро-овь выпила!

Алька Студенкина ударила задом в дверь.

И Ольга сразу сникла, тихо заплакала, сморкаясь в конец платка:

— Жысть моя окаянная. Не дождусь, когда и кончится.

Чистых заботливо отвел ее к лавке, усадил.

Иван Иванович застучал костылями, вышел на середину комнаты:

— Позаботься о машине, да побыстрей.

Чистых косо натянул шапку, озабоченно оглядел плачущую Ольгу и вышел.

Сестра, стоявшая в дверях, вернулась к постели больного, к недовязанному носку.

Кладбищенское молчание снова окутало дом. Кладбищенское молчание, прерываемое легкими всхлипами Ольги.

«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься».— Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери,— его подташнивало от спертого воздуха.

Но в это время Чистых вырос в дверях:

— Пожалуйста, Иван Иваныч. Машина тут.

— Слава богу, наконец-то.

Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича.

— Что?..

Иван Иванович с усилием повернулся назад.

Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.

— Что — уже?

Сестра важно кивнула:

— Минут десять назад... Пока тут...

Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых, и самых любопытних. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.

Улица села мирно светилась окнами, за каждым сейчас по-семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.

Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильней, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:

— Помогите.

Чистых и Шаблов бросились к нему, толкая друг друга от усердия, неловко тиская, засунули на сиденье.

Он поерзал, пристроился поудобнее, обернулся... Чистых и Леха Шаблов стояли рядком на дороге — один тонкий, жидкотело сутулящийся, второй — обширно плотный, тоже сутулящийся, но от собственной тяжести. Сейчас, в сумерках с мрачноватой просинью несвежих сугробов, эти два разных человека были по-братски схожи. Оба только что потеряли заступника, оба переживают сиротство.

Ивану Ивановичу близка их беда. Он ли жил по-лыковски, или Лыков по нему, но жить иначе уже не сумеет.

Два человека в сумерках, две тени — широкая и узкая, каждого из них завтра ждет людская неприязнь, опасная пустота, когда не знаешь, что делать, как поступать, к чему приспособить себя. И все-таки эти оба — счастливцы по сравнению с ним. Они молоды, они переживут, перетерпят, приспособятся. Он же стар, ломать наново жизнь не в силах.

— Трогай,— со вздохом сказал Иван Иванович шоферу, совсем молодому парнишке.— Только полегоньку, а то развалюсь по кускам.

Двое — тонкий и широкий,— сутуловато нависшие над дорогой, остались позади. Счастливцы...

И как это при сидячей жизни, заплыв жиром, он, Иван Слегов, перетянул своего кореша, здоровяка Пийко Лыкова, удивлявшего всех своей кипучестью и неутомимостью?

Но если оглянуться назад, то можно, пожалуй, угадать — носил в себе Пийко Лыков червячка. Был всесилен и отказывал Пашке Жорову в новой крыше — не могу, не неволь. Хотелось быть добрым и красивым, а позвал на помощь — кого? — вовсе не красивого Валерку Приблудного: «Повесь на себя, что мне не к лицу». Хочется и неможется, распирающая сила и сковывающее бессилие в одной груди — тайный червячок, разъедающий, оказывается, не только душу, но и неизносимое тело. Никто долго не замечал его, даже он, Иван Слегов, лучше других знавший Пийко Лыкова — глыба мужик, не треснет, не завалится.

До последних дней Пийко, как и в молодости, мотался по разросшемуся колхозу, вставал в пять, ложился затемно, был крут на расправу, ежели видел непорядок.

Но все чаще и чаще Иван Слегов чувствовал в нем усталость.

— Эх, Иван,— заговаривал Евлампий,— вот мы с тобой седые да плешивые, к черте подходим. Жизнь протопали вместе, ты, чую, всю жизнь завидуешь мне...

— Нет, не завидую.

— Врешь, все завидуют — стар и млад. В силе Лыков, в славе Лыков, чего не хватает? И сам даже не придумаю — чего?..

— Блажен, кто верует.

— То-то и оно, что не блажен. Нет, Иван, вот подхожу к черте, а покоя в душе нету. Точит душу, чего-то не хватает, кажись минутой — вот-вот ухвачу, пойму. Вот-вот! И малого не добираю.

Он иногда вспоминал то, мимо чего раньше прошел отвернувшись.

— А помнишь, Иван, ты мне когда-то говорил, что коровы у нас живут под шиферными крышами, а люди под дырявыми?

— Помню.

— Дырявых-то крыш теперь у нас, похоже, нет, но этим хвалиться, сам знаю, нечего — многие еще не красно живут. А что, ежели нам замахнуться — все село, понимаешь, заново! Чтоб с нужниками в кафеле?.. Лет бы за десять осилили? А?..

А на следующий день он забывал об этом, толковал, разогревая себя, о другом:

— Клуб у нас, как у всех. Вот то-то и плохо. Дворец культуры нужен — кресла плюшевые, картины в золотых рамах, люстры с висюльками, чтоб из города самых модных артистов — да, милости просим почаще. Да своя самодеятельность... Чтоб всего района село Пожары — центр культуры! А?

Метался Евлампий Лыков, пытался уловить — чего не хватает? Однажды специально вызвал к себе:

— Знаешь, Иван, я решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу. Сейчас он явится...

Для чего он пригласил на этот разговор в свидетели Ивана Ивановича? Может быть, потому, что бухгалтер в свое время видел, как Сергей отвесил пощечину, теперь же Евлампий хотел показать — гляди, мол, зла не помню,

* * *

А старому Лыкову уже выгодней не помнить зла племяннику.

Сергей как был, так и остался — не бригадир, и не рядовой колхозник, на птичьей должности. И по-прежнему в опале, сослан в Петраковскую, даже выехать не смей без спросу Евлампия Никитича — беспаспортный.

Сергея с женой видели то в одном конце пожарских земель, то в другом — копаются, что-то собирают, над чем-то колдуют.

Говорят, кочевники в пустыне считают святыми тех, кто ищет воду. Вода для них — жизнь. Для пожарца жизнь — это хлеб. И тот, кто по доброй воле изо дня в день упрямо ищет особые хлеба,— свят не свят, а доброго слова стоит. Прошло то время, когда завидовали: «Ишь нашел работку непыльную, за нее и платят, и почитают, даже учережденьице специально выстроили». Теперь и не платят, и не почитают — завидовать нечему. Против самого Евлампия Никитича прет мужик, на свой страх и риск действует, сил и времени не жалеет,— видать, дело стоящее.

Как-то под вечер Ксюша и Сергей, набродившись по полям, уселись у дороги. Ксюша стянула платок, раскинула на траве, Сергей высыпал из мешков собранные колоски. Склонившись голова к голове, они перебирали улов, раскладывали по кучкам, тихо беседовали:

— Дождей в налив маловато было, мелковато зерно...

Носились ласточки над землей. Где-то за полями, в оврагах вызванивали боталами коровы, тянущиеся поближе к дому. И трусил по дороге одинокий всадник. Мир кругом и усталый покой.

Неожиданно проголосили тормоза, с железной, оскорбляющей полевую тишину, истерикой. Ксюша и Сергей обернулись: вялая пыль медленно опадала на дорогу, на тусклую придорожную травку. Из председательского «газика» глядело сонно-распаренное, широкое лицо Лехи — кепчонка на глазах, взгляд из-под козырька, жесткий. У Ксюши повисли руки, Сергей отвернулся с каменным лицом.

Оседала пыль, трусил не спеша всадник, смотрел молча Леха из кабинки.

— Ну,— наконец выдавил он,— крохоборничаете?

— Давай, Сережа, складываться,— глухо сказала Ксюша.

Сергей дернул скулой:

— Пусть пялится, не обращай внимания.

— Крысы полевые — по колоску таскаете. А ну, несите сюда все!

— Пошли, Сережа.

Сергей не отвечал, продолжал шевелить колосья.

— Хуже будет, коли вылезу!

На гнедой, лоснящейся от жары и сытости лошади подтрусил бригадир Черепнов — лицо опаленное, глаза запавшие,— приподнял картузик:

— Здравствуйте.

— Оне у тебя по полям шарят, а ты им здоровы отвешиваешь. Хорош бригадир.

— А тебе что? — Черепнов дернул поводья, подал на машину коня.

— А ничего. Забери давай, что собрали оне, я в правление свезу. Пусть полюбуются.

— С-час. С поклончиком прикажешь тебе подать, али как?

— Не кобенься, Андрюха. Как бы Евлампий Никитич хвост не накрутил. Лучше делай, что говорю.

— Приказываешь?

— Советую.

— Ну так я обожду твоих советов слушаться. Ты покуда не Евлампий Никитич, а всего-то баранка от его машины. Крути, баранка, себе дальше, да пеньки огибай, а то налетишь— по частям собирать придется.

И Черепнов коленом въезжал в кабину.

— Ну, Андрюха, гляди!.. Слово не воробей... Зачешешься у меня! — голос из глубины кабинки, из-под колена.

— Не пугай! Не все-то тебя боятся.

Рассерженный рев мотора, рывок вперед, пыль...

Черепнов хмуровато проводил взглядом, развернул лошадь, еще раз приподнял картузик:

— Бывайте здоровы,—прежним уважительным баском.

Иван Иванович Слегов наблюдал конец этой истории. Как обычно в свой «бухгалтерский час» явился к Лыкову, но, оказывается, в этот святой час залезло другое дело. В кабинете стоял обиженно надутый и почтитель-

ный Леха, сидел перед Лыковым Черепнов, тоже обиженный, но сердито.

Евлампий Никитич слушал с каменными скулами, по всему видать — «сдерживал кипяточек», на вошедшего бухгалтера поглядел, как кот на нежданного пса.

Говорил Черепнов:

— Как хошь, Евлампий Никитич, но я в шею гнать их с полей не стану. Да и ты это не сделаешь, не скажешь же: «Сиди взаперти». Не арестанты они.

— А то, что по полям шарят, зерно воруют,— вставил Леха.

Черепнов только отмахнулся:

— Сам не умен, так из других дураков не делай. Во-ру-ют! Кто поверит?

Евлампий Никитич, насупившись в сторону, сказал:

— Кончим. Вон Иван Иваныч с делами меня ждет.

Черепнов стал, скупо кивнул на Леху:

— Гнал бы ты, Никитич, холуя от себя. Со стороны срамотно.

У Евлампия Никитича по скулам пополз гневливый лыковский багрянец, тускло побледнели глаза:

— Спасибо. Твоим умом буду жить. Марш!

Черепнов вышел, Леха почтительно переминался.

— Особого приглашения ждешь? Вон!.. Еще раз нарвешься, балда,— съем и косточки выплюну... Видишь, Иван, кругом дрязги. Хошь не хошь, а ковыряйся.

У друга Евлампия тоска в голосе, тоска в лице. И по всему видно, не дрязги его тревожат, кой-что похуже — Черепновы вдруг стали непослушны. Андрюшка Черепнов обязан Евлампию Никитичу — заметил его, выдвинул, жизнь устроил, как у Христа за пазухой, славу дал. Еще верный — сомненья нет. Еще предан и, поди, не собачьей Лехиной преданностью — считай, братской, временем проверенной, но вот перед строптивым Серегой-сосунком шапку ломает, хотя, конечно, наперед знает — ему, Евлампию Лыкову, это не очень-то приятно. Выходит, уже одной душой не живет. Неспроста, что-то заставило, что-то сильнее Евлампия Никитича. А что?.. Думай. Как тут не затосковать?..

И еще шли письма, на многих адрес внушительно короток: «Вохровский район, селекционеру колхоза «Власть труда» С. Н. Лыкову». Писем больше, чем председателю Лыкову,— из областного сельхозинститута, из

Москвы, из-под Саратова, даже из Прибалтики... Иногда прибывала и посылочка, обшитая мешковиной: «Селекционеру колхоза...»

Газета «Известия» напечатала статью одного доктора сельскохозяйственных наук. Он писал, что у знатного полевода Терентия Мальцева есть много последователей, перечислял имена колхозных полеводов, среди них — Сергея Лыкова.

Сразу же после этой статьи Евлампию Лыкову позвонили из областной газеты — нельзя ли дать подробный очерк о местном Терентии Мальцеве, вышлем специального корреспондента. Евлампий Никитич ответил: «Такого не знаю». И в сердцах положил трубку.

Не знать, не замечать... А все кругом помнят «чудо в Петраковской», помнят, почему это «чудо» усохло на корню.

И, конечно, теперь Серега не зря лазает по полям, получает посылочки: «Селекционеру колхоза». Наверняка внутри Лыковского хозяйства собирается завести свое, чтоб новые разговорчики о «чуде»...

Евлампий Никитич при случае прямо наказал Терентию Шаблову:

— Под фокусы-мокусы моего племянника земли не отводить. Ясно? И рабочих рук ему не смей выделять. Узнаю про его шахеры-махеры за моей спиной — тебе плакать. Ясно ли?

Куда как ясно, Евлампий Никитич слов на ветер не бросает.

Терентий свято исполнил приказ — земли не дал. Сергей сам ее взял — ненужную, «валявшуюся». А сколько такой «валявшейся» земли было еще в Петраковской. Ходить за ней не надо — прямо за околицей во все стороны пустыри, потоптанные скотом, поросшие можжевельником кой-где.

И рабочих рук Терентий не выделил, даже присланных в бригаду трактористов честно остерег:

— Ребятки, не обещайте Сергей Николаичу... Я бы и сам ему всей душой... Евлампий Никитич того... Остерегитесь.

Трактористы покачали головами: «Ну-у, жмет юшку!», сочувственно поворчали в пользу Сергея, но к сведенью приняли — кто тот лихач, который поперек «отца колхоза» пойдет?

А лихач нашелся — Гришка Фролов.

После той драки на току, которую сам Евлампий Никитич победно развел, Леху поднял, о Гришке забыл, Гришка сам напомнил о себе. Он не только был крепок на кулаки, но и зол на язык.

— Перековочка у нас в колхозе: девок в баб, мужиков в холуев.

Евлампий Никитич на такой мелкий лай не отзывался — себе дороже. Гришка ушел из гаража, стал трактористом, работал в самой выгодной бригаде, а доволен все равно не был.

— Как живешь, Гришка?

— Как тот полицай при немцах: материально ничего, только морально тяжело.

Он однажды заявился к Сергею:

— Тебе, может, дрова нужны — привезу, бутылочку разопьем.

Сергей и от дров и от водки отказался, но с этого момента сошлись.

Только этот Гришка и мог решиться — приехал на своем тракторе и на глазах у всей деревни стал пахать пустырь. Он пахал, а Сергей Лыков с бригадным пастухом Оськой Помиром обносил пахотный участок изгородью. Терентий Шаблов только помаргивал да гадал: попадет ему от Евлампия Никитича или пронесет нелегкая? Не ложиться же ему в борозду перед трактором. Да если и ляжет, Гришка на ручках ласково в сторонку отнесет. Что-то будет? Что-то будет?.. Пронеси, господи!

Сам Евлампий Никитич зажимал Серегу не для того, чтоб лишить его дела. Нет, приди, постучись к дяде: «Хочу снова стать колхозным опытником на законных основаниях». Да, пожалуйста, с милой душой, бывшая столярка ждет тебя, дурака строптивого, видным человеком сделаем, платить будем больше прежнего, дом поможем построить, брось партизанить, занимайся наукой под вывеской колхоза. Поклонись — зазорно. Ну, раз так, то чувствуй.

У Терентия пронесло, был вызван сам Гришка Фролов.

— Под суд захотел?

— За что?

— За незаконное использование техники. Кто тебе давал наряд?!

У Гришки Фролова руки в карманах, чуб на глазах и прямые рубленые плечищи широко раздвинуты.

— А я, Евлампий Никитич, инициативу проявил. Разве не полагается? Думал, что зря земле пустовать, вдруг да хлеб колхозу на ней вырастет.

И усмешечка, и глаз не отводит под председательским взглядом. «Вдруг да хлеб вырастет». А вырастет — без «вдруг», это-то Евлампий Никитич знал, знали все. Без «вдруг», то-то и оно.

— Марш! Выясним!

Все ждали грозы, но бухгалтер Слегов понимал — вряд ли грянет. Признать незаконным, привлечь к суду, припаять срок — для Евлампия Лыкова все возможно. Но тихо и гладко это дело не прошло бы — зашумит весь район. Признать незаконным, а что тогда делать со вспаханным и засеянным участком? Не сровнять же его. Такого Лыкову даже самые верные лыковцы не простят. Да и сам Евлампий Никитич—хлебороб, вытаптывать посеянный хлеб не решится. Лучше не раздувать сыр-бор.

Евлампий Лыков решился на другое — завоевать петраковцев, чтоб поверили, полюбили — выкинули Сергея из души, его, председателя, приняли. И к тому же Петраковская заставляла задумываться. Она висела на шее хомутом, портила антураж. На полях ее, как и прежде, тощенькая ржица и ячмень тонули в бурьяне. Из-за петраковцев и сводки пониже, и почет пожиже: «Темпики-то, Евлампий Никитич, у вас нынче не те, что были...» Темпы старые, петраковская «божья рать» круто вниз тянет.

И Евлампий Лыков до весны решил сам заняться бригадой. Собрал на собрание всех баб и голоса, упаси бог, не повышал, совсем напротив — что ни слово, то ласковое обещание:

— Покажите, бабы, себя — станете во всем равны пожарцам, такой же точно трудодень получите. Весь район на вас станет смотреть да завидовать.

Не кривил душой, готов был уравнять петраковцев с пожарцами. Но бабы выслушали, разошлись, и все потекло по-старому, словно и не слышали слов Евлампия Никитича. «Катись под круту горку, плевать, ничему веры нет». Это что же получается — собака лает, ветер носит?..

Евлампий Лыков мылил голову бригадиру Шаблову, тот признавал: «Виноват. Исправимся». Шаблов и рад бы исправиться, да бабам ни к чему. Тяни снова на горбу постылую бригаду.

Но после весны Петраковская вдруг проспулась. На

пустыре подымалась рожь. На этот раз чудо вроде небольшое — ржи-то всего каких-нибудь три неполных га. Но уж слишком крикливо этот бывший пустырь напоминал всем — какие бы хлеба могли расти, если б не подставили подножку Сергей Николаичу, если б, прости господи, не Евлампий Никитич... Петраковская проснулась, чтоб возроптать. Бабы останавливали Сергея на улице:

— А куды отсюда зерно-то пойдет? Теперь-то для кого ты стараешься?

— Пожалуй, для пожарцев, бабы. На вас, прямо скажу, надежд нет. Подари это вам, получится — ни богу свечка, ни черту кочерга. Пусть уж пожарцы золотой навар сымут.

И бабы, как прежде, подымали горячий крик:

— Не отдадим! Постоим за себя! Кивни, Сергей Николаич,— хоть сейчас в волокуши.

Петраковская просыпалась.

Что еще оставалось Евлампию Никитичу? Пожалуй, только одно — идти на мировую с племянником.

«Решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу...» И прими, Иван Иваныч, участие в разговоре: «Зла не помню, будь свидетелем». Еще бы...

А разговор получился не из приятных. Сергей явился чистенький, жениховски отутюженный, постный, замкнутый. Настороженно огляделся в кабинете, в котором так давно не был. А в кабинете — перемены: снят большой портрет вождя в сапожках, вместо него другой портрет — товарищ Хрущев, только по грудь. Чугунный младенец по-прежнему стоит на столе, грозит пальцем.

— Садись,— широко приказал Евлампий, словно вчера расстались друзьями. Помедлил, помигал в сторону: — Давай, Сережка,— кто старое помянет, тому глаз вон.

— Поминать не буду, забыть не прикажешь.

Старший Лыков вздохнул с небывалым смирением:

— Это уж как тебе угодно... А выслушать меня придется. И выслушать, и совет дать.

— Я — тебе?.. Ты вроде не очень-то охоч был до чужих советов.

— Нужда научит собаку грибы всухомятку есть. Вот ответь: молодежь-то на сторону потянулась. Никогда такого не было. Почему это?

— А сам что думаешь?

— Эва! Раз спрашиваю, да еще и шапку ломаю, то, видать, мне мои мысли не так уж и дороги.

— Тогда не тяни, уходи. Себе накладней — сидеть в дамках да слыть пешкой.

И Евлампий не выдержал смирения, потемнел лицом:

— Эй-эй! Сам-то могу себе отходную петь, а другие пусть повременят! Язык еще откушу!

— Все по-старому, с оскалом да с рыком. Откушу! Бойся! Страшен! А не кажется ли, что и голос сдает, да и зубы у тебя уже не те?

Лыков-старший отвернул потемневшее лицо в грозном молчании.

И вот чудо — никаких последствий: Терентия перевели на другую работу, Сергея утвердили в бригадирах, на первом общеколхозном собрании ввели в члены правления.

Тревожен был в последние годы Евлампий Лыков, что-то неуловимое происходило в лыковской державе. По-прежнему — самые породистые коровы, самые высокие удои, самые тучные свиньи, надежные урожаи, крепкий трудодень. «Власть труда» по-прежнему в числе лучших из лучших. Но...

* * *

Иван Иванович повернулся к парнишке-шоферу:

— Слышь-ко, звать-то тебя не знаю как?..

— Сашкой. Истомин я. Петра Истомина знаете, так я сын ему.

— Эвон, у Петрухи какой парнище вымахал... Не замечаю я, старик, как растет молодежь. А скажи мне, Сашок, по совести — собираешься улепетнуть из колхоза?

Сашка посопел, помолчал, настороженно спросил:

— А что?

— Ничего. Загадка для меня. Ты здесь и сыт, и одет, и кино тебе привозят. Чего тебя манит на сторону?

— Чего? — Сашка хмыкнул.— Здесь кочки да ямины обнюханные, а там — «широка страна моя родная». В одном месте не понравится, в другое махну. Волюшка.

— Волюшка...— сказал Иван Иванович и замолчал, уронив на грудь голову.

Тридцать с лишним лет назад Пийко Лыков перебил хребет, забрал навечно. Волюшка...

Но хребет человеку можно перебить не только свежеотесанной оглоблей.

В соседних деревнях — лепешки из куглины, а вам, люди добрые, чистый хлеб даю из своих рук! Спасибо тебе, Евлампий Никитич, веревки вей из нас, только от себя не гони.

Кусок хлеба при общей голодухе потяжелей оглобли.

Колхоз Лыкова и сейчас самый лучший, другие — куда ниже, сколько их, неустроенных и заваленных, не сводят концы с концами. Но даже в самых горьких колхозах теперь не на травке пасутся — хлеб едят, пусть покупной, пусть окольными путями заработанный, но чистый хлеб.

Кусок хлеба нынче не дубинка. Не пробуй махать, не напугаешь. Кто постарше — живут, как жили, молодым — тесновато.

Когда-то Евлампий Лыков умел ловко подлаживаться:

— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну, лежите, лежите, а я поработаю...

На старости лет, при громкой славе начал снова подыгрывать:

— Клуб вам, ребята, новый отгрохаю.

А клуб и старый неплох, кино и теперь почти каждый день. Кино показывает большие города, великие стройки, широк мир за околицей села Пожары, лишнее напоминание — тесновато здесь, душа на простор просится. Волюшка.

— Иван Иваныч!

— А?..

Рука осторожно трясет плечо:

— Приехали, Иван Иваныч.

— Эх-хе-хе! Помоги, дружок, выползти. Совсем что-то раскис.

Он остался перед калиткой, повиснув на костылях, долго глядел вслед машине, пока красный огонек не исчез за поворотом.

Этот желторотый, что гонит сейчас машину, не догадывается — он самая важная фигура в колхозе. Будущему председателю придется считаться с ним в первую очередь. Хлебом не прельстишь и новым клубом — навряд ли. Что нужно этому, унюхавшему волюшку парнишке? Что?..

Иван Иванович не знает, как не знал и покойный Лыков.

— Иван! — раздалось из темноты, от дому.— Да жив ли, голуба?

— Жив, Марья. Иду.

— Слава богу, а то сердце упало. Стоишь и стоишь, не стряслось ли чего, думаю.

Жена давно вышла на шум подъехавшей машины, ждала его на крыльце.

Она, услыхав, что председатель скончался, молча перекрестилась, с особой бережностью спросила:

— Ужинать будешь?

— Нет, не неволь.— И устало поинтересовался: — Чего не пожалела?

Помолчала.

— Не могу.

Если и был у Лыкова тайный враг, то это она, постоянно видевшая костыли мужа.

— Тогда меня пожалей,— сказал он тихо.

— Ты что?..— Удивление и страх в голосе.

Они не часто — чтоб не стерлось — вспоминали годы, когда молодые, здоровые, красивые проезжали по селу на серой паре. Но право, тогда они меньше любили друг друга. Без нее он не вынес бы бесконечно долгой сидячей жизни — она единственное счастье, опора.

— Ты что?.. Себя с ним путаешь?

— Иль не схожи? Близнецы же, не отличишь. И то больно уж долго в одном горшке варились.

— Полно-ко! Полно!—заговорила она бодрым, молодым, вовсе не старушечьим голосом. Эта сила в голосе прорывалась у нее всегда, когда видела — ему очень тяжело.— Лыкова нет, на тебя теперь только и надежда-то. Кого ни посадят в председатели — любой без тебя как без рук.

— Нет уж, новому по-нашенски крутить нельзя. Нашенские колеса по ступицы сносились.

— Ты молодого Лыкова примечал. Вот бы славная упряжка — у старого коня — сноровка, у молодого — силушка. Укажи на него, тебя послушают.

— Уже решил — укажу... А потом в отставку подам.

— Чего мелешь? Чего мелешь, непутевый? В отстав-ку!

Она-то понимала, что такое для него отставка. Сейчас он хоть и через силу, да вылезает из дому. Отставка,

пенсия — сиди сиднем, чувствуй себя полным калекой, исподволь разваливайся. Отставка — смерть.

— Молодого Лыкова... Да-а... Молодой Лыков — сундучок с двойным донышком. Все вот в него заглянули и увидели — в хлебах разбирается. В хлебах-то, хорошо ли, плохо, любой мужик смыслит... Тебе этот Серега никого не напоминает?

— Да вроде нет, не примечала.

— А мне кажется, смахивает он па одного Ивашку-дурачка из сказочки, какая не очень счастливо кончилась.

— Пошел загадки загадывать.

— Помнишь, я ездил к нему в бригаду? Еще до этого начал смекать, что он на молодого да необщипанного Ваньку Слегова чуток похож... Да-а... Поехал... Он с бабами собрание вел, планы со своей «божьей ратью» строил. Что за народ бабы, известно, дай только им рот разинуть — ручьем глупость хлещет. Кажись, разумней заткнуть, чем время-то на глупую болтовню терять. Нет, не затыкал, времени не жалел, слушает и слушает, как одна глупость другую перехлестывает. Долго я не мог в толк взять... Позднее понял, в чем хитрость. Глупость за глупостью, глянь, крупинку дельную ухватил, всем со всех сторон показывает — любуйтесь, мол, красива. А так как времени не жалеет, то крупинка по крупинке — дело собирается. Не ахти, не мудрящее, может, сам Серега без баб в пять минут на него смог набрести. Пять минут, а тут пять часов болтали. Кажись, какой резон? Ан нет, резон есть. Бабы-то сами дошли; значит, и дело своим считают, не казенным, не бригадировым, попробуй только поперек встать — плешь проедят. Свое! Тут великий смысл. Чужое делать — неволя, свое-то — не подневольное. Вот парнишка, который меня сейчас довез, мечтает о волюшке. А почему? Не потому ли, что кругом лыковское только видит?

И жена ободрилась:

— Вот и хорошо-то! Вот и добро! А ты — в отставку!.. Подтащи этого Сергея Николаевича к себе — сам, глядишь, помолодеешь, прежним Ванюхой Слеговым обернешься.

Он невесело и ласково усмехнулся:

— Ты еще о живой воде помечтай.

— Но ведь сам же только рассказал, своими глазами видел.

— Ну да, видел, как он баб обкручивал. Кому не известно, что к бабе надо не с таской, а с лаской, баба на доверие падка. А встань-ка на место Евлампия — тут с лыковцами столкнешься. Мы с дружком Евлампием не зря более тридцати лет трудились, оставили такую заквасочку, что раз попробуешь — навек косоротым станешь. Мне Серегу жаль, а уж сам с ним хлебать — нет, пробовать не осмелюсь.

Она зябко передернула плечами, сказала холодно:

— Раз жаль — не указывай. Чего тебе толкать мужика в яму?

— А вдруг да...

— Что — вдруг?

— Вдруг да он погуще замешен, чем твой знакомый Ванька Слегов. Под лежачий камень вода не течет.

Они замолчали, переживая одну тревогу. Впереди — отставка, а это — конец. Неужели вот так вскорости и кончится их жизнь, пусть серенькая, не праздничная, но украшенная ласковым вниманием друг к другу.

— Ты не бойся,— виновато оборвал он молчание.— Пенсию мне дадут хорошую.

Она в ответ лишь тихо обронила:

— Ты помрешь — мне не жить.

Она когда-то была красива — броваста, ясноглаза,— давно отцвела, но на старушечьем лице с запавшим беззубым ртом в каждой морщинке затаилась хватающая за сердце доброта. Та доброта, что не раз спасала его, заставляла жить.

Он потянулся к ней, обнял голову, начал гладить ее жидкие, сухие волосы. Гладил долго и нежно, гладил и тоскливо молчал.

За темным окном неожиданно раздался грубый топот, осипшие пьяные голоса проревели:

— Эй! Стервы! Попылили на задних лапках — хватя!

— Сыновья Евлампия гуляют,— произнес Иван Иванович.— Видать, узнали, что отец умер,— рады.

— Жуть-то какая.

Иван Иванович мысленно представил себе лыковских сыновей. Сварливо дружные, длинный Клим и приземистый Васька бредут, обнявшись, то шарахаясь на середину дороги, то приваливаясь к плетням. Климу уже вплотную под тридцать, а все еще молодцует в парнях — ни одна девка из местных не хочет выйти за него замуж.

— Да-а... Не повезло ему с ребятами. Мелкота, пакостники.

Пьяные голоса раздались вдали. Ночь наваливалась на село.

Никто не догадывался, что началась недобрая ночь, ночь поминок по Евлампию Лыкову.

НЕДОБРАЯ НОЧЬ

Через полчаса или менее того услышал под своими окнами голоса братьев Лыковых Валерий Николаевич Чистых, только что вернувшийся домой.

— Эй, ты! Сука приблудная! Высунься!

— Гасите скорей свет. От греха подальше,— забеспокоился Чистых.

Ребятишки были рассованы по койкам, свет погашен, сам Чистых улегся с женой. Как ни напугана была жена, но уснула быстро. Чистых спать не мог, лежал с открытыми глазами, заполненными ночью, тоской, страхом.

Если при Евлампии Никитиче у него по почам били окна, то что же будет теперь?

В чем он провинился?

Он вор?.. Он мздоимец?.. Он злодей, который только и ждет случая, чтоб кого-то сжить со свету?..

Да, украл один раз в жизни. Был глуп, был молод и очень хотел есть. Один раз, единственный — и то попался. Больше никогда не присвоил себе гроша ломаного.

Мздоимец?.. А как легко было им стать! Валерий Николаич, заходи в гости, Валерий Николаич, мы вчерась теленочка зарезали, молочный еще... Как легко было сорваться! Не попрекнете — чист!

Злодей?.. А что он сделал плохого? По своему умыслу, по своей воле?..

Что делал бы любой и каждый, если б сел на место Валерки Приблудного? То же самое в точности. Да нет, хуже, со срывами на телятинку, на дармовую водочку. Валерка-то выстоял без осечки. Уважайте!

Он нормальный человек. А нынче нормальных людей мало, кого ни задень, тот с сумасшедшинкой. Человек порядок должен любить — чем железней он, тем жить покойней.

Он служил Евлампию Никитичу, душу отдал порядку. Нормальный... Сумасшедшие вырвутся на свободу! Что-то будет, что-то будет! Пронеси, господи!..

Ночь, тишина, он, затравленный в собственной постели...

Вдруг в темном доме гулко загрохотало. Подбросило с подушки, обдало жаром, взмок лоб. Но через секунду Чистых понял — это же телефон! В душной тишине усердно натопленного дома раскатисто гремел телефон, властно звал к себе.

Кто?.. Зачем?.. Кому понадобился?.. Среди ночи, не дождавшись утра!..

Проснулась жена:

— Что это?

— Лежи!

Полез из-под одеяла, ступил босыми ногами на холодный крашеный пол, от щиколоток до ушей покрылся гусиной кожей, слыша стук собственного сердца, двинулся к телефону, в переднюю, по пути больно врезался плечом в косяк дверей.

Долго ловил впотьмах висящую трубку, наконец поймал:

— Да...— Закашлялся.— Алло!..

Послышалось что-то лающее:

— Вал!.. Вал!.. Вал!..— Наконец икающий лай прорвался в членораздельное, истошное: — Валерий Николаич!!

— Это кто? — лязгнул зубами Чистых.

— Это я — Митрий!

— Какой — Митрий?

— Да Пашенков, сторож...— И дико завыл: — У-убийийст-во, Валерий Николаич!

— Ты что?!

— То-по-ра-ми!.. Топорами порубили, паршивцы!

— Кого? Что? Чего мелешь?

— Леху-у! Леху Шаблова... Топорами!.. Я только к складам вышел на ночное дежурство, слышу крик... Я еще подумал — не по-доброму кричат. Голоса-то признал — сынки Евлампия Никитича, чтоб им лихо было, пьяные вдребезипушку...

— Они — Леху?

— Так с топорами ж... Я сразу-то не пошел, обождал, а потом — дай, думаю... О господи! Прямо на дороге, не-

далече от фуражного складу... О господи! По всей дороге раскинулся, а снег под ним черный... Топор в стороне брошен. Топорами его...

— Откуда звонишь?

— Тута, от телефонисток... Кажная жилочка дрожит.

— Беги к Наталье Петровне, фельдшерице. Может, жив еще Леха.

— Не побегу... Оне, бешеные, до сих пор где-то бродют.

— Ты — кто? Ты ночной сторож, за порядком по ночам должен следить. С ружьем иди!

— Эхма-а... С ружьем... Да мое-то ружье для красы, кабы оно стреляло.

— Беги к фельдшерице на дом! Приказываю! Я участковому звоню.

— Валерушка-а! — застонала из соседней комнаты жена.

— Цыц! — прикрикнул Чистых.— До тебя тут!.. Участкового мне!

Долго ждал, пока участковый раскачается со сна, подойдет к телефону. Ждал и зяб, стоя босыми ногами на холодном полу. Наконец дождался, недовольный, с сипотцой голос ответил:

— Младший лейтенант милиции Ступнин слушает!

— Убийство, Александр Степаныч!..

Дрожа и захлебываясь, рассказал, что узнал от ночного сторожа.

— Тэк!—голос участкового лязгнул медью.—Тэк!.. Ситуация ясна! Валерий Николаевич, ты оденься, прибудь к месту преступления, для оформления будешь нужен.

— Я срочно выезжаю в район,— соврал Чистых.— Да ты оформления потом, ты сперва преступников обезвредь, преступники-то у тебя с топорами по селу ходят. Тебе фор-маль-нос-ти нужны!..

Охота ли идти сейчас через все ночное село к складам, одному...

Дом погружен во тьму, за окнами мутно сереет снег. Где-то на дороге валяется порубленный топорами Леха Шаблов. Леха! На всех наводивший страх!..

— Валерушка-а!

— Цыц!

Лыков мертв, заместитель Чистых распутывай, влезай по уши, привлекай к себе внимание... Леху топорами... Он — не Леха, его легче...

Стучало сердце в тишине, по всей коже гулял озноб. Жена за спиной робко шевелилась, чуть слышно поскрипывала кроватью.

Он соврал участковому — едет в район. И в самом деле, куда как лучше спрятаться в городе Вохрове, хотя бы до утра, чтоб сейчас не втянули, не заставили,— шевелись! К утру с этой страшной заварухи сливочки уже снимут.

Леху — топорами...

Чистых снова снял трубку. Гараж не отвечал, но Евлампий Никитич, установивший в свое время коммутатор, щедро разбросал телефоны по селу. Телефон был на дому и у механика гаража.

«Газик», возивший не столь давно и Евлампия Лыкова, и Леху Шаблова, катил по прихваченной морозом дороге к Вохрову. Механик, в виду особого случая сам севший за руль, сурово молчал, жал на газ, лишь изредка качал головой, ронял:

— Да-а, дела... Да-а, начинается без хозяина...

Свет фар скользил по окаменевшим весенним сугробам.

У Чистых прошел испуг, вернулась способность трезво взвешивать. Надо уходить из колхоза. Какое уж тут житье.

— Да-а, дела-а... Да-а, теперь заиграют без хозяина...

Подальше от такой игры. Лучше всего обратиться к директору леспромхоза Семенову. В свое время тому «клеили дело», подводили — снять с работы. Семенов жил в тесной дружбе с Лыковым. Обсуждать директора леспромхоза решили тогда, когда Евлампий Никитич утрясал колхозные дела в области. Покатился бы товарищ Семенов, если б не он, Чистых. Это он дозвонился до Лыкова, поймал поздним вечером в номере гостиницы, Евлампий Лыков в области нажал на кого нужно, спас Семенова, тот и до сих пор директорствует. Хозяйство у него большое, местечко для Чистых подыскать не трудно. Правда, в Пожарах свой дом. Что ж, все распродаст, будут деньги на первое устройство...

— Да-а, дела-а... Теперь жди веселья...

Кто-то жди да поеживайся, а он, Чистых,— нет, увольте.

В центре Вохрова он остановил машину, сказал:

— Езжай домой. Мне придется здесь остаться.

— Дела...

«Газик» развернулся и укатил.

Городок крепко спал под черствыми заснеженными крышами — окна темны, калитки наглухо закрыты. Городок спал, но наверняка участковый из села Пожары Ступнин уже сообщил в районное отделение милиции, наверняка дежурный уже поднял начальника милиции майора Россохина, тот сейчас тревожит первого секретаря, кого-то из врачей районной поликлиники. Городок крепко спит, но тревога уже вошла в него, мечется по телефонным проводам, срывает кого-то с теплых постелей.

Чистых чувствовал успокоение и легкость в душе. Пусть разбираются, судят и рядят, наказывают, подбирают кандидатов на место Лыкова. Утром он явится к директору леспромхоза Семенову.

Утром... Но до утра еще далеко. Город спит, город будет спать еще добрых пять часов. Где-то надо прокоротать эти долгие часы.

Здесь, в районном городе, колхоз «Власть труда» имел свою квартиру — для Лыкова, на случай если тот задержится на заседании, если не посчитает нужным трястись ночью к себе в село. Квартира для Лыкова и для тех, кто к нему близок. Ее обиходит Агния Кузьминична, чистоплотная, рассудительная тетка, нагулявшая богатые телеса на харчах, отпускавшихся на прокорм Лыкова со товарищи. Она-то — милости просим — встретит как положено, чаем напоит, чистые простыни застелит. Но на той квартире одно плохо — телефон. Где Чистых? Бросятся вызванивать и вызвонят... Увольте. Завтра после встречи с Семеновым, завтра, когда схлынет первая горячка, когда он уже будет знать свое новое место,— явится, последние обязанности честно исполнит, сдаст дела, а пока — увольте.

Здесь в городе живет его отец. Валерий Чистых немного помогал старику — посылал иногда кило масла, кусок свинины, баночку меду, жалко же, как-никак родная кровь — нахлебался лиха человек, одинок, нет здоровья, нет почета. Баночки с маслом и медом пересылались, но сын и отец встречались очень редко.

В другое бы время Чистых среди ночи ни за что не постучался бы к отцу. Но теперь обстоятельства особые, вряд ли старик успел узнать, что Лыкова уже нет в живых, а к этому у него наверняка свой интерес, ради него простит ночное сыновье вторжение.

Старик долго и подозрительно выспрашивал через закрытую дверь — кто да зачем? Притворялся, что не узнает голоса сына. Наконец смилостивился, признал — «а, это ты»,— загремел запорами.

Свисающая с потолка пыльная лампочка освещала негостеприимного хозяина. Давно не стиранное белье, из распахнутого ворота выглядывали изогнутые, как дверные ручки, ключицы, рукава, лишь едва прикрывающие локти, выставляли напоказ тонкие руки в сплошных мослах, жестких сухожилиях и набухших венах, узкие кальсоны все же были слишком просторны для тощих ляжек. И над всем этим плохо укрытым костяным сочленением — глянцевитая лысина и глубоко врезанные, столь же жесткие, как и сухожилия на руках, морщины. Они изображали в данную минуту величавое презрение и подозрительную враждебность.

— Чем обязан?

— Новости знаешь?

Старик жил скучно и однообразно, как только может жить одинокий пенсионер, отпугивающий всех несносным характером. Не такому выпроваживать гостя с новостями.

— Слышал, что Лыков того... Еще вечером...

— Гм...— Нет, старик не слышал этого.

— Ну так вот, теперь пошло пузыриться, все, что наквашивал, поползет через край.

Новости должны быть приятны старику. Лыков мертв, а он, Николай Чистых, жив... Однако старик не смягчился, ничем не выразил удовольствия, по-прежнему глядел на сына с неприязнью и подозрительностью.

— Как это понимать — «поползет через край»? — холодно спросил он.

— Лыковские-то сынки отличились. Топорами, стервецы... отцовского шофера...

— Сыновья Лыкова?

— Родные сыновья. Вот дела-то какие.

— Сыновья теперь пошли не в отцов.

— Лыков — тяжелый мужик, всех гнул — хребты трещали, а теперь, видишь ли, распрямляться начнут, друг друга задевать. И еще как!

— Сыновья не в отцов — гнилое племя. Вот хотя бы ты, Валерко, ты — мой родной сын! Удивительно! Ты — и от меня родился!

Чистых-младший досадливо поморщился:

— Опять — двадцать пять! И что ты со мной все делишь? Я ведь всегда к тебе по-доброму...

— Ты — прихвостень, ты — разложившийся прохвост!

— Ну и ну, злобы же в тебе...

— К таким, как ты,— да! К таким, как ты,— не простая злоба, а классовая ненависть! Разве я не вижу сейчас, чего ты от меня ждешь?!

— Чего мне от тебя ждать? Чем ты меня одарить можешь?

— Ты ждешь, поганец, что я буду радоваться смерти Лыкова!

— Радоваться не радоваться, а уж слезы лить не станешь.

— А ты слышал, чтоб я когда-либо плохо говорил о Лыкове?

— Попробовал бы сказать.

— Подлец! На свой аршин меряешь. Все считаешь, что твой отец трус, что он из страха...

— Стыдного в этом нет, многие, не нам с тобой чета, побаивались — матер мужик.

— Я побаивался? Я — его? Что он мне мог сделать? Мне, который уже отсидел двадцать лет! Что еще можно сделать такому?

— Двадцать-то лет не без его помощи. Почешешься.

— А не приходит в твою подлую башку простая мысль, что я уважаю Евлампия Лыкова?

— Ты — Лыкова?

— Да, я — Лыкова!

Чистых-младший недоверчиво поежился под сверлящим взглядом старика.

— Все считаешь, что мы с Лыковым из-за куска пирога царапались. А между нами шла борьба. Не ради шкурных интересов! Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось. Но победил-то Лыков... Теперь должен или не должен я задать себе вопрос — кто был прав? Кто?.. Честно, без виляний! Он или я? Так вот!.. Со всей революционной прямотой теперь признаю — он прав! Он создал выдающийся колхоз, которым гордится

не только район, а и вся область. Жизнь доказала! И мне после этого ненавидеть Лыкова?.. Ты понял, пресмыкающееся? Уважаю Лыкова!

— Уж не считаешь ли, что вы — два яблока с одной яблоньки? — спросил сын.

— Считаю. Одного корня мы.

— Но и с одного корня яблоки разные на вкус — какое-то спело, другое в кислую зелень.

— Моя ли вина, что мне не дано было вызреть.

— А кто не дал? Не Лыков ли?..

— Виновника ищешь. А его нет. Что глаза таращишь?.. Нет, и все. Не каждая икринка взрослой щукой становится. Кто в этом виноват? Жизнь так устроена — нельзя без отходов.

— Выходит, тебя посадили законно и выпустили зря?

— Я перед народом чист как слеза!

Старик стоял перед сыном, горделиво откинув голову, на остром подбородке искрилась седая щетина, в выцветших глазах гордый горячечный блеск, морщины залиты густыми тенями — усохшие живые мощи, прикрытые давно не стиранным исподним.

Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:

— Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, а за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!

— Ишь ты, «презираю»...— скривился Чистых-младший.— А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал — внутрь принимал.

— Вон-но что... Медок... А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал... А почему, разреши спросить, поч-чему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку... И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот...— Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, неразгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: — Вон! Слышишь — вон отсюда, лизоблюд!..

Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.

Вечером вернулась к себе, изруганная женой Лыкова, Алька Студенкина.

Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись с головой полушубком.

Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель — ночь подходит, положено спать.

Но спать, какое уж...

Стояло перед глазами лицо Ольги — злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга-то — смирней бабы не найдешь по селу. А Чистых... К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой... Шуганул: «Марш отсюда!»

Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги... Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли... Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене — первого, что попало в детстве в твою память,— и до... до крика Ольги.

Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.

Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало... Шла из города. И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые, нацеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя — синие лужи, после дождя — медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют тучную силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.

На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть.

Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала — рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует — свертывает цигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело — рука-то одна, вторая в бинтах.

— Дай помогу.

Он вскинулся и оторопел... от ее лица. И она сразу смутилась — рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.

— Дай помогу.

— Помоги,— согласился он.

Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую — попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.

Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да не драном...

А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись — попадешь в зубы.

Долго же держалась, теперь, считай... сорвалась.

Ольга Лыкова — смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!

Бежать?.. А куда?..

Кому ты нужна, растолстевшая, сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.

Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивался к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их,— тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.

Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен — моло-

дым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные — тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.

Далеко, далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним — плевки, ругань, грязь взахлеб. Для кого-то и настанет утро, для нас — ночь без края.

Минута за минутой идет время. Идет к концу бабий век.

Она лежала с сухими глазами — не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего нет. Лежала, не спешила, спешить некуда — пока время есть, рассвет не скоро.

Лежала отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки...

Она дождалась первых петухов и поднялась... Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.

Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх — не мечтай, а делай, что решила.

Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик — сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.

Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то не доставало.

И вдруг Алька поняла — чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика. Словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.

Леденея от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нашарила — звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.

Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок.

— Дед... Эй, дед!..

Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, костляво стукнула в пол.

По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще одну петушиную перекличку.

Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал в избу, означая щели на темных бревенчатых стенах, фотографии в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.

Матвей Студенкин лежал на лавке животом и грудью, плоский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные растоптанные валенки, упираясь чугунно-темной рукой в пол.

Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела, съежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и старика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной крышей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.

Бабьи слезы целебны. Вместе со слезами растаяла решимость — не ждать утра. А утро исподволь, но упрямо наступало, рассольно мутный свет сочился в избу. Алька глядела на оброненную руку старика и уже боялась смерти, жалела себя. И суетливые мысли теснились в голове: «Может, Сережка Евлампия сменит. А Сережке она всегда добра желала. И Ксюшка его как-никак родня ей... Не дадут в обиду...» Сама не очень-то верила в это, но размякла от слез.

По улочкам спящего села полз рассвет. Ночь, начавшаяся смертью Евлампия Лыкова, первая ночь без прославленного председателя, кончилась.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Впереди несли подушечку из красного атласа с орденами. Впереди умершего шагали его заслуги.

День выдался хмурый, плотные облака висели над самыми крышами, в воздухе — пресные запахи талого

снега, на голых деревьях кричало воронье, растревоженное небывалым многолюдием.

Евлампий Лыков, мужик из села Пожары, родившийся в нищей избе, учившийся в приходской школе всего три года, бывший подпасок, бродячий «растировщик» теса, плыл над землей в гробу, обтянутом красным сукном и черным шелком. И областное начальство почтительно несло его на своих плечах.

За гробом — целая толпа с венками: в хмурый апрель — неподдельная летняя зелень, и свежая хвоя, и красные и черные ленты с надписями притушенного золота... Венки, присланные из областного города, и венки, сделанные руками школьников.

Из города прислан и военный оркестр — рослые, подтянутые ребята с малиновыми околышами, малиновыми погонами, малиновыми физиономиями, мокро сверкающие медью и серебром своих труб, рядами начищенных пуговиц.

Поначалу местный народ поглядывал на них с тайной неприязнью — красавцы писаные, чужаки, службу исполняют, что им Евлампий Лыков. А какая уж музыка без сочувствия.

Но красавцы, видать, службу свою знали крепко. Когда они впервые приложили трубы к губам и по взмаху старшего начали, то казалось, низкое небо изумленно попятилось вверх, мир стал раздвигаться. Стройно, строго, с саднящей до немоготы болью вспухали звуки. Горестно охала большая труба, навзрыд плакали трубы маленькие. Глухо отзывался большой барабан, одобрял: «Так! Так!» И медные тарелки кратко, с лязгом соглашались: «Воистину!»

В толпе по простоте душевной заголосила было какая-то баба и спохватилась — не свата хоронят,— смолкла, устыдившись.

А тоскующая медь лилась и лилась на крыши пожарских изб, увешанных сосульками, на покосившийся штакетник, на увязнувшие в размягшем снегу прясла изгородей, на людей... В каждого вливалась нежная отрава.

И бабы начали сморкаться, одна за другой смахивали слезы, закрякали мужики, тоже трубно засморкались... По растянувшейся толпе, как болезнь, как поветрие, от одного к другому стал распространяться тихий слезный плач.

Барабан одобрял: «Так! Так!» «Воистину!» — соглашались тарелки.

Село Пожары, верно, стоит на земле не одно столетие, но оно еще ни разу не было так запружено народом. Впереди несли атласную подушечку с орденами, в самом хвосте лошадь волокла по ростепели сани. В них копной сидел Иван Иванович Слегов.

Поначалу неказистое сельское кладбище с редким соснячком, с покосившимися крестами было будничным, скучным.

На пути попалась могила, свежая, в рыжей глине, бросающаяся в глаза среди осевшего снега. Здесь вчера без шума, второпях схоронили Матвея Студенкина, первого пожарского председателя, того, кто выдвинул знаменитого Лыкова.

Кладбище казалось обидно скучным лишь до тех пор, пока в него не влился весь народ, не заполнил до отказа, не прикрыл собой ветхих крестов, полузабытые могилки дедов и прадедов. Народ заполнил соснячок, народ принес с собой торжественную скорбь, музыка раздвигала небо и вершины деревьев...

Над открытой могилой, над гробом, как и положено, были произнесены короткие речи: «Спи спокойно, дорогой товарищ!..»

Речи — дело привычное, они успокоили всех, высушили даже бабьи слезы.

У края могилы в окружении гостей, но в то же время как-то наособицу стояла жена Лыкова, Ольга, пряча морщинистое лицо в грубошерстный платок. Сыновей с ней не было. Сыновья сидели в Вохрове в «предварилке». Их не пустили на отцовские похороны — убийцы, Леха Шаблов умер в больнице.

Речи кончились, приготовились спускать гроб. И снова заиграл оркестр. На этот раз знакомое: «Вы жертвою пали...» — траурный марш революционеров, который не успели исполнить по пути от села к кладбищу.

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Прежде медные тарелки лишь скромно соглашались: «Воистину!» Теперь они властно звали: «Слушайте! Слушайте!»

И тут Ольга дико вскрикнула, упала на размешанный пополам с глиной снег и забилась в истерике. К ней бросились...

Ее выкрик — что искра в сухой хворост,— в разных концах толпы заголосили бабы:

— Корми-и-илец ты на-аш! И на кого-о ты нас, сирот бе-едных, покида-ешь!

Скорбная медь воинских труб и древние вопли деревенских баб — воедино.

Сергей Лыков, стоявший в толпе, почувствовал, как против воли слезы подпирают к горлу.

Он припомнил, как дядя Евлампий,— нет, еще не гордый председатель Лыков, просто член их большой семьи — с шуточками и прибауточками мастерил им, ребятишкам, «ка́тушки» — широкие доски с сиденьями, на которых можно лихо съезжать с горок. Приносил он из города и обливные пряники: «На-ко, сморчки!» Мать ругалась: «Тратишься на пустое». Он посмеивался: «Эх, всех нищих не переФорсишь, свечой копеечной бога не замолишь».

И еще Сергей вспомнил, как вечером после страдного дня Евлампий Никитич шел домой... Только что тот прощался с кем-то из бригадиров бодрым голосом, а теперь шагал и не догадывался, что за ним следят из окна: лицо отпугивающе неподвижное, поникшие плечи, плетями висящие руки, волочащаяся походка — смертельно устал человек, несколько часов сна, и подымайся до первых петухов, до восхода солнца...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной...

Была и беззаветность, не откажешь...

На минуту накипели слезы, но... не пролились.

А Ксюша, прижавшаяся к его плечу, слез не сдержала. Она на шестом месяце беременности, но дома не осталась, приехала хоронить председателя. Сергей оберегал ее, следил, чтоб не затолкали в толпе.

А с другого боку от Ксюши стоял беспокойный мужичонка. Он то подымался на цыпочки, чтоб увидеть гроб, то начинал действовать плечами, лез вперед, но каждый раз его оттесняли обратно. Заиграли «Вы жертвою...», и он притих, завздыхал:

— Эхма! Мы, считай, с ним одногодки! Эхма!

Сухим, узловатым кулаком он начал давить слезы на морщинистых щеках, короткий вздернутый нос его вишнево залоснился, веки стали красными.

— Эхма! Евлампий Никитич! Любой!..

Это был Пашка Жоров, мужик смолоду скандальный, часто поругивавший Евлампия Лыкова. Но сам Евлампий при жизни этого, пожалуй, и не ведал — слишком мелок Пашка Жоров, чтоб в чем-то его замечать, даже в ругани.

Прежде Пашка поругивал, теперь вот давит мелкие слезинки костлявым кулаком. Да и то, пад Пашкой Жоровым нынче не каплет, не худая крыша над головой. Евлампий Лыков к концу жизни все-таки сделал это. А много ли Пашке надо? И причитающим бабам тоже.

— Эхма!..

Медь труб, бабий крик и мужские слезы.

Народ потянулся к могиле, без напора, уважительно соблюдая порядок. Каждый ждал своей очереди, чтоб набрать горсть земли, бросить в промерзшую яму на крышку гроба.

Валерий Чистых, празднично выбритый, с горестно раскисшими круглыми глазами, с помятым, смиренным лицом, с красно-черной повязкой на рукаве,— один из организаторов похорон,— утомленно упрашивал:

— Разрешите, граждане... Дорогу, товарищи... Прошу вас... Очень, очень прошу...

На голос Чистых оглядывались, видели за ним бухгалтера на костылях, поспешно сторонились.

Иван Иванович, с трудом перекидывая непослушные ноги, приблизился к насыпи. Одной рукой он стянул шапку, обнажив седину, отливающую металлом, другой взял горсть земли, помедлил, бросил, прислушался... И еще постоял в задумчивости, только потом, под почтительными и сочувствующими взглядами, стал неуклюже разворачиваться...

Добрался до могилы Пашка Жоров, суетливо кинул одну горсть, показалось мало, кинул другую, вытянув тощую шею, заглянул в глубь ямы, придавил еще одну слезу кулаком, отошел, громко и победно высморкался.

Почти позади всех в очереди ждала прощальной минуты Алька Студенкина, опухшая от слез, уставившаяся в землю.

Музыка смолкла — только глухой стук земли о крышку гроба, только напряженное шевеление толпы.

Бравые парни-музыканты деловито продували свои трубы, вытряхивали мундштуки.

Сергей стоял в стороне и смотрел.

Толпились люди над могилой, над ними висело низкое небо, темнели стволы отсыревших деревьев, и празднично кричало воронье.

Еще лежит снег, но земля уже по-весеннему потная. Обычная земля под твоими ногами, не чудо-чернозем, не из тех, что дарит диковинные ананасы, просто земля не хуже других. Земля есть и всегда будет, есть и силы, что же еще?..

Падают комья на крышку гроба. Комья земли на человека, который считал эту землю своей. И толпятся люди, хоронят тело старого Лыкова.

Ходят слухи, что перед самой смертью он успел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Ой ли, не клевещи на себя, Евлампий Никитич. Умершие часто продолжают жить среди живых.

Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив. Жив в бабах, которые только что величали его «кормильцем», жив в Пашке Жорове, в бухгалтере Слегове теплится... Лыков стал привычкой. От своих привычек люди легко и быстро не отказываются — только с болью, только с боем.

Бой... Сергей начал его, когда председатель Лыков твердо ходил по земле. Теперь комья земли падают на крышку гроба. И бой не кончен, с умершими тоже приходится спорить. Спор ради тех, кто причитал по «кормильцу», спор против тех, кто готов кормиться именем Лыкова.

Чистых с удрученным лицом хлопочет у могилы. Говорят, он собирается уйти из колхоза. Но далеко ли он уйдет?.. Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив.

Могила под низким небом. И потная от оттепели земля обступает кругом.

Земля, ждущая весны...

Апостольская командировка

Странная болезнь, не признаваемая медиками. Наверное, многие носят ее в себе и не подозревают об этом. У большинства она проходит как легкое недомогание, но порой она жестоко калечит, плодя по свету духовных инвалидов и самоубийц. Время излечивает от этой болезни, но не всегда...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Майским утром, когда на московских скверах радостно горела новорожденная листва, асфальт дышал свежей испариной, башня с часами на крыше Казанского вокзала купалась в голубой прохладе обмытого неба, я, протолкавшись целый час в душной, потной, накаленной недоброжелательством очереди, купил билет.

— Куда?..

В билете значилось — Новоназываевка.

О том, что существует на свете такая станция, я узнал уже в очереди, минут за пятнадцать до того, как протянул деньги в окошечко кассы.

За моей спиной шла назойливая, скучная беседа незнакомых мне людей, в ней мелькнуло звонкое слово «Новоназываевка», и я украл его.

— До Новоназываевки, пожалуйста.

Куда еду? Я не знал.

Зачем? Тоже представлял смутно.

Вчера я уволился с работы. По собственному желанию. Заявление, как и положено, подал за две недели. Еще раньше подготовил всех: извините, вынужден.

И прежде я частенько уезжал в командировки. Жена еще долго останется в покойном неведении, не знает, что

командировка не кончится, муж сбежал... Так лучше для нее. Так лучше для дочери. Не могу быть ни мужем, ни отцом. Нет теперь у меня ни родных, ни друзей.

Я никого не убил, ничего не украл, не растратил казенных денег. Я не совершил преступления, но бегу, хочу скрыться.

Билет до Новоназываевки. Билет в неизвестность — никуда. Билет к господу богу, если угодно.

Майское солнце стояло над городом. Не праздник, но люди на улицах одеты чуть-чуть нарядней обычного, чуть-чуть больше смеха, каждый встречный кажется сегодня чуть-чуть моложе. Весна... Видимость возрождения. Один из самых ловких обманов природы, убаюкивающий бдительность человека.

Спешащие прохожие вдруг начали весело оглядываться: по мостовой шел парень, скуластое, юношеское, тощенькое лицо наполовину скрывает борода, не стрижен и не чесан, на воротнике рубахи лежат неопрятные космы. В майский день — овчинная душегрейка, вывернутая мехом наружу, острый мальчишеский зад, обтягивают вытертые до лоска джинсы, из-под них — грязные, голодно выглядывающие лодыжки. К одной из лодыжек привязана веревкой пустая консервная банка — дребезжаще погромыхивает на каждом шагу. Скучноватое презрение во вздернутых плечах, тепло укрытых свалявшимся мехом, презрение и независимость под бородой, и что ни шаг, то кухонный звон, словно обронили кастрюлю.

— Что за чучело?

— Битник. И у нас завелись.

— Ну и мода, мать честна!

— Тунеядец перед всеми фасон давит, а милиции чихать.

— Эй, борода, присматривай! Как бы на погремушку не наступили!

А ведь это мой родственник. Жить просто так — нет, не неволь. И консервная банка гремит по асфальту...

Пока только консервная банка. Он еще не дозрел.

Может, никогда и не дозреет. Равнодушное время лучше всего лечит молодых. А я уж не очень молод.

Да, сознаю, что я странно болен, тяжко, почти смертельно.

Я горжусь своей болезнью, мне жаль здоровых людей, не ведающих о моем недуге.

Позвякивала где-то в беспокойной людской чаще удаляющаяся консервная банка. Догнать бы, сказать: я знаю кое-что, по крайней мере это лучше пустой консервки.

Не поверит.

В таких случаях на слово не верят.

Нужно дозреть.

Билет до Новоназываевки...

* * *

Когда и с чего у меня началось?

Пожалуй, с получения квартиры.

Мы с Ингой вошли впервые в свою квартиру, пустынно-светлую, пахнущую тем бравурно-праздничным запахом, который присущ всему новому, будь то новая детская игрушка, новые ботинки, новое пальто.

Мы перешагнули за порог, и я, пораженный, показал Инге на распахнутую дверь, ведущую из узкого коридора в комнату:

— Гляди! Интерьер!

За дверью вглубь уходила стена, плинтус пола вонзался в пространство. А мы привыкли к тесным комнатушкам, где стена упиралась глухо в другую стену, где почти не было глубины, и чужеземный термин «интерьер» для нас звучал такой же абстракцией, как постоянная Планка. А здесь перед глазами — мой интерьер, наш интерьер, наше собственное пространство, никто уже не посягнет на него, не прикажет: «Выезжайте!» Мы имеем охраняемое законом свое место на земле.

До этого мы с Ингой снимали комнатушки, чуть ли не каждый год новую, переезжали с чемоданами и раскладушкой из одного конца Москвы в другой. Мы ютились у вдовы с тремя детьми за фанерной перегородкой в тесном, как школьный пенал, углу. Мы пребывали в комнате бывшей опереточной актрисы, которая сама постоянно жила на даче у зятя. Нас со всех сторон окружали шкафчики и секретеры с намертво запертыми ящичками, фарфоровые пастухи и пастушки, слоники «на счастье», фотографии опереточной примадонны в расцвете творческих сил, в соблазнительных позах. Мы были скованы грозными запретами: на этот диван не ложиться, на этом столе не обедать, на этом старинном кресле, боже упаси, не сидеть, живи где-то между, дыши с осто-

рожностью. За такую возможность существовать мы обязаны были платить треть заработанных вдвоем денег.

В конце концов нам удалось отыскать изолированную комнату в шесть квадратных метров. Общий длинный темный коридор, двери, двери по обеим сторонам, ведущие в такие же, как наша, клетушки. Уборная, похожая на вокзальную, этажом ниже, а общая кухня напоминала доисторическую племенную пещеру. В ней с непривычки можно легко заблудиться среди густо навешанных простыней и кальсон. Мы с Ингой год наслаждались покоем — наши покладистые хозяева обитали в соседнем доме по этой же улице, регулярно брали плату, ничем больше не интересовались, запретами не связывали. На откупленных шести квадратных метрах мы могли делать все, что хотели,— читать, писать, приглашать гостей, спорить...

Именно в то время у Инги появилась гитара, именно в то время по Москве впервые зазвучал голос Булата Окуджавы. Он не пел с эстрады, и афиши с его именем не развешивались по заборам, он пел в кругу близких друзей, и песни его выходили на улицу, добирались через длинный и темный коридор до нашей тесной комнатушки. Перекинув ногу на ногу, подняв плечо, недоуменно подняв одну бровь, с горячим румянцем на лице (только что стояла у плиты, жарила гостям яичницу) Инга «баритонствовала» под Окуджаву.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза,—
Две вечерних звезды — голубых моих судьбы...

У Инги глаза серые в голубизну — две вечерних моих звезды. Я любовался ею.

Но через год у нас родилась дочь. И ни читать, ни писать, ни встречаться с гостями — пеленки, ночные горшки, ванночки для купания, детский крик, бессонные ночи. И гитара забыто висит на стене, и где-то поет Окуджава новые песни, но они уже не пробиваются к нам. Все книги втиснуты под стол — мешают. Постоянно мешаю и я, мне нет угла, куда бы я мог забиться. Инга в неряшливом халате, с осунувшимся деревянным лицом, с воспаленными, раздраженно блестящими глазами — «две вечерних звезды — голубых моих судьбы...».

Тогда я почувствовал, какое наказание — люди. Дома для меня не было места, по дороге на работу я должен втискиваться в битком набитый троллейбус, на работе постоянная суета, голоса, голоса, голоса, требующие, спрашивающие, просто нарушающие мое одиночество. Я изредка оставался по вечерам на работе, мог сидеть за столом, ничего не делая, не шевелясь, впитывая целебную тишину. Но это были минуты предательства, дома билась с ребенком Инга... Мне нет места дома, но я необходим там, без меня Инга не может даже выскочить на нижний этаж в уборную, дочь ни на минуту нельзя оставить.

И вот дочь выросла из пеленок, встала на ноги, сделала первые шаги. Нашлась старушка, согласившаяся за ней присматривать. Инга снова пошла на работу. И у меня удачи, меня выдвинули заведующим отделом в журнале, который читают во всех уголках страны. Я еще не член редакционной коллегии, но к моему слову прислушиваются. И наконец-то случилось долгожданное, вымечтанное — нам дают квартиру в новом доме. Две комнаты, обильно заполненные воздухом и светом, третья комната — кухня, только наша кухня, с нашей плитой, никто из чужих не появится здесь, не развесит пеленок

В первую же ночь, когда Инга с Танюшкой уснули в соседней комнате, я не выдержал, тихонько встал, пробрался в ванную, включил свет. Ванная комната была самой завершенной, уже полностью «меблированной». Она сверкала стенами, облицованными кафельной плиткой, никелем кранов и певучим глянцем самой ванны. На ванну нельзя было досыта насмотреться, взгляд мог скользить и скользить без конца, отдыхая на ровной белизне, покорно следуя текучим изгибам. Без единого острого угла, ласковая, успокаивающая — одухотворенный сосуд. В доме шли еще какие-то доделки, еще не успели подать горячую воду. Я забрался в холодную ванну, сел и просто представил себе эту горячую воду, с морским зеленоватым отливом, заливающую меня...

Тут ночью, в холодной сияющей ванне я подумал: вот оно, нашел! Кончилась унизительная борьба за существование, из нее я вышел без особых потерь. Здоровье мое не надорвано, ни мое, ни жены, ни дочери. Жену я люблю, она меня тоже. Танюшка греет нас обоих, она уже читает наизусть «Где обедал, воробей?», потешно

пляшет «барыню-сударыню», помахивая платочком, приказывая при этом: «Хлопайте все!», по утрам подымается с постельки всклокоченная, румяная, с сияющими глазами. И работа моя содержательна, интересна, никакой иной не хочу. И десятка два статей у меня на счету... Я нашел основное счастье. Жизнь поставлена на рельсы, теперь остается только катиться вперед.

Ночью в холодной сияющей ванне я обмирал от полноты жизни. Простой душе мнилось простенькое— гладкие рельсы до могилы.

* * *

Билет до Новоназываевки.

Тощие перелесочки, охваченные пожаром обновленной зелени, убегающие по болотам телеграфные столбы, ленивой каруселью просторные поля, перепаханные, влажные, обогретые, грязные проселочные дороги с мающимися на них грузовиками. Наползал и уходил в прошлое будничный мир за немытым вагонным окном.

Я лежал на верхней полке, а внизу — солидный, как судебное разбирательство, разговор.

Женщина в потертой вязаной кофте, висящей на плоском, ссохшемся теле, рассказывала шелестящим голосом:

— Говорю ей: о сынишке хоть заяви, отец он ему как-никак. А она: «Для меня и для сына такого человека нет!» А сама-то, господи! Сына, слова дурного не скажу, обиходит — вправду сказать, картиночка. У самой — глаза одне, я глаже на вид-то, а уж во мне какая гладь, сами видите. Образованная, а туфли драные, рубах нижних нету...

Мы давно уже осведомлены в подробностях нехитрой, уныло привычной и все-таки не до конца понятной истории — семья развалилась. Она, ходящая в драных туфлях, не имеющая нижних рубах,— родная дочь этой иссушенной заботами женщины. Был он, да чем-то не понравился ей, хоть не пил, не буянил, худо-бедно зарабатывал, деньги с получки «до копеечки отдавал».

— Его не виню. По всему видать, он не из прынцыпиальных. Прынцыпиальные-то самые вредные — мутят жизнь. Все не так, все с закавыкой, ухо локтем почесать норовят. У меня на них глаз что ватерпас, осечки не дает...

Осуждает категорично увесистый, сытый бас —принадлежит крутоплечему хозяину нижней (подо мной) полки. Это рослый, плотно сбитый человек с мясисто-красным, губастым лицом, водянистыми голубыми глазками. Ему жарко от собственного полнокровия, разделся до майки, открыл обильную веснушчатую плоть, загромоздил яловыми сапогами проход. От него, как от кавалерийской лошади, остро пахнет потом и кожей.

— Ты дочь мало учила, оттого у нее и завелись в голове, что воши, прынцыпы. Зудят, покою не дают ни себе, ни людя́м.

— Как же мало учила? Шестнадцать годов все в учении, институт окончила.

— В институтах жизни не учат. Жизнь родитель преподай. Вот у меня двое — сын пока в школе, дочка, считай, невеста. Они без фокусов-мокусов, сами себя не укусят и другим не дадут. Учил их, не гладил, даже ремнем особо не угощал, сразу усвоили: у отца глаз, что ватерпас, осечки не дает.

В густом, проваренном где-то в глубине желудка голосе — железное убеждение, что он, хозяин такого голоса, лучше всех, умнее всех, всех правильнее. Любой и каждый может легко ошибиться, но чтоб ошибся он — пусть в малом,— допустить нельзя, преступно и думать. И это не самовлюбленность, нет, даже не самодовольство, это просто полнейшее отсутствие воображения.

Обычно такие люди обладают могучим здоровьем, незаурядной физической силой. Они никогда в жизни не болели даже насморком, не представляют, что можно испытать не только духовные — где уж! — а даже телесные недомогания, что существует на свете такая вещь, как страдание. У самих не случалось, вообразить не дано, а потому и не должно быть, презирай тех, кто на меня не похож.

И кто осмелится возразить такому? Тот, кто похож, согласится, несхожий, чувствуя к себе искреннее, никак не наигранное презрение, без труда поймет, что возражать бесполезно, нет таких доводов, что сломят железную убежденность: «У меня глаз что ватерпас, осечки не дает». А потому таких людей окружает молчаливое согласие, ничто до них не доносится извне, живут внутри своей на зависть здоровой, непробиваемой плоти, как в глухой темнице. Живут и блаженствуют, бесстрашно радостны,

* * *

Человек, держи себя на узде, страшись радоваться!

Не правда ли, крамольные слова? Не жизнеутверждающие. Обворовывают в самом лучшем.

Страшись!.. Радость летуча.

Я порадовался, что у меня есть чудо-ванна, а на следующий день привык — есть, не могу же я без конца прыгать от восторга, есть, принимаю как должное. Но вот, оказывается, паркет на полу гнется и скрипит под ногами, вчера на это не обратил внимание. Но черт бы побрал строителей! Того и гляди, через неделю паркетины станут выпадать, как гнилые зубы. Как тут не досадовать, как не раздражаться!

А еще позавчера я бегал по малой нужде на другой этаж. Скажи мне тогда, что меня станет расстраивать скрипящий паркет,— рассмеялся бы в лицо: «Не припимай меня за неврастеника!»

Радость летуча, исчезает быстро, но не бесследно, остается восприимчивость к досадным мелочам — уязвимость. Остерегайся излишних радостей в жизни, чем бурней они, тем ты незащищенней от мелочей, пустяки вырастают в проблемы, удачливые люди несносны в первую очередь для самих себя. Бренность мира—в радостях. Это по их поводу сказал Екклезиаст: «Суета сует, все суета».

Лев Толстой в одной повести обмолвился: «Как всегда, не хватало одной комнаты и пятьсот рублей денег». На старом месте мы мечтали — еще бы одну конурку и пятьсот рублей до получки. На новом месте — то же самое: крайне нужна комната для дочки с няней, а уж пятьсот рублей — позарез...

У нас не прибавилось счастья, а забот прибавилось — приходится обеспечивать свою, изо дня в день возрастающую привередливость. Не можем жить на скрипучем паркете, надо вызвать мастера, и хорошего, пусть лучше дороже возьмет. Надо купить и письменный стол, и диван, и холодильник... А купить не так-то просто — бегай, выспрашивай, заводи полезные знакомства, давая «в лапу». И временами оглядываешься: когда же кончатся все эти «надо» и начнется нормальная жизнь? Проклятые мелочные «надо»!

И как они отличаются от тех, какие нависали над нами, когда мы ютились в шестиметровой конуре. Тогда

было тоже «надо», но не мастера для скрипящего паркета, не люстру из чешского стекла, не раздвижной диван-кровать... Надо было место на земле, крышу над головой, крайне надо по-человечески жить. Надо! Не исполнись мои желания—сойду с ума, отупею, деградирую. Надо— моя жизнь в опасности, семья в опасности! И я желал со страстью, с неистовством, висящее над головой «надо» было моей путеводной звездой, а не проклятием.

В те дни был убежден: как только большая часть моих «надо» исполнится, немедля сяду за книгу, листов так на двадцать — толстый том научной популяризации. Я уже собирал материал о таинственной силе гравитации, зажигающей звезды во Вселенной, о белых карликах, о нейтронных чудовищах, о теоретически возможных бушующих звездах-невидимках, не способных отбросить от себя ни единого луча. Это должен быть фантастический гимн, пугающий читателя величием природы и дерзостностью человеческой мысли. Мне казалось, что подобных книг еще не написано.

Садись! Но нет... Путеводное «надо» разбилось на осколки, и я метался, старался подбирать их — диван-кровать, чешская люстра, мастер-циклевщик,— некогда рассиживаться, выдавай статьи, делай поденщину.

Не скажу, чтоб эта поденщина меня иссушала. Журнал, где я вел отдел, был из числа известных научно-популярных журналов для юношества, который охотно читали и взрослые. Наука в наш век не скучна и не однообразна, нередки сенсации, в которых не сразу разберешься: где кончается реальность и где начинается сказка. Мы писали и о летающих тарелках, и о снежном человеке или же... Некий эксперт по закладу недвижимости Норман Дин изобретает машину, достойную фантазии барона Мюнхгаузена...

Садись за книгу! Пора! Надо!.. Но так ли уж «надо»? Катастрофы не произойдет, если и не напишу, буду жить, как живу — вполне прилично, лучше многих.

Я обрел благополучие, а вместе с ним терял себя. Я перестал испытывать сильные желания радоваться и огорчаться, как-то не всерьез, суетно.

Благополучие... А собственно, что это такое?

Глупо объяснять его в рублях и копейках. Не обязательно владелец «Москвича» благополучней владельца велосипеда...

* * *

В душном вагоне кончился день.

Земля за окном давно уже выцвела, стала дымчато-серенькой, невнятной. Наконец вспыхнувший в вагоне свет совсем отбросил ее от окна, она словно провалилась. Окно стало непроницаемо черным.

В вагоне шло всеобщее деловое вялое насыщение: шуршали газеты, звенели стаканы и чайники, поглощались на сон грядущий крутые яйца. Где-то в другом конце шумела подвыпившая компания, решала всепародные проблемы футбола:

— Разве Нетто игрок, у него же удар цыплячий. Вот Бобров бил так бил. Пушка! Вратарей замертво уносили.

Внизу сидела пожилая женщина в обвисшей кофте, завороженно глядела в черное окно, наглухо закрывшее землю. Мысли ее известны, страдания понятны и... далеки мне. У меня свое, у нее свое, у подвыпивших болельщиков футбола тоже свое. Тесно сбиты люди в вагоне, но теснота не сближает их — у каждого свое.

Пассажир подо мной не теряет времени, уже храпит внизу. Он и спит, как живет,— громогласно, его храп сокрушительный, жизнеутверждающий.

А поезд трудолюбиво работает, поезд несет всех нас — в разные города, в разные села, к разным судьбам. Меня подальше... от самого себя.

— Не-ет! Таких игроков долго не будет. Севка Бобров с левой и правой посылал снарядики — падай, ежели жить хочешь.

«Футбол — сгусток проблем»,— как недавно писала одна газета.

Работает поезд. Люди расположились над людьми, терпеливо сносят вынужденную тесноту, шуршат газетами, жуют, готовятся к ночи.

Ночь надвигается и на меня, забытого, чужого среди чужих. Я боюсь наступления ночи, давно уже боюсь вечеров...

Поезд трудится. Все дальше и дальше мое прошлое. Я знаю, что не усну, мне придется копаться в своем прошлом, из которого я выбросился, как выбрасывается самоубийца из окна.

* * *

Вечер — трагическое время для благополучных.

Вечера, перед самым сном, обычно ничем не заполнены, только собой, а собой ты недоволен, чем дальше, тем больше — ты утомлен собой. От этого становишься раздражительным.

— Ты, кажется, говорил, что у тебя отскочила от пальто пуговица. Дай пришью заодно,—просит Инга, умеренно заботливая жена.

— Это было три дня назад. Наконец-то просветление в заботе!

— Взял бы да сам пришил.

— Конечно. У меня жена— эмансипе, с высшим образованием!..

Я знаю не одного, а нескольких моих знакомых, которые разошлись с женами после того, как получили новые квартиры. У меня до этого не дошло, но пуговичные трагедии мы переживали часто. И после них я всегда ощущал себя обновленным.

Благополучие еще не счастье, а только гарантия, что хуже не будет. Не кривая, ползущая вверх, а ровная линия. Пуговичная трагедия!.. И ровная линия делала резкий крен вниз, вызывала страх, рождала желание — вернуть утерянное благополучие! Живое желание на минуту омолаживало.

На минуту, и снова ровная линия до следующего пуговичного скандала.

День за днем, каждый вызубрен наизусть. День за днем, шажок за шажком к могиле.

Конечная цель — могила!

Однажды перед сном я читал в каком-то научном журнале статью, ничего особенного — расчеты Фридмана, расширяющаяся Вселенная, галактики, убегающие друг от друга, и, конечно, расстояния — от самой удаленной галактики свет летит шесть миллиардов лет.

Я, сын учителя физики, с детства увлекался астрономией, не назову даже тот день, когда я впервые ужаснулся безбрежности Вселенной.

Был вечер, и я болезненно ощущал все, к чему прикасался. Я сейчас прикоснулся к мирозданию. Меня уже не удивляли его размеры, удивляло другое — насколько оно лениво.

Из дальнего угла до меня свет летит шесть миллиардов лет! Еще не было в проекте Земли, а он уже вылетел. Он пролетел треть пути, а наша планета только-только оформилась. Он пролетел почти весь путь, и тут на Земле вспыхнула жизнь — первые органические капельки в первобытном океане. Он летел, а появлялись и умирали нелепицы докембрия. Он летел, а первая рыба выползла на сушу. Расцвело и исчезло царство неуклюжих ящеров, он летел. Он был уже совсем-совсем рядом, когда волосатая обезьяна сочинила первый каменный скребок, получила право называться человеком. Он падал на Землю со скоростью триста тысяч километров в секунду, а человек выбирался из пещер, создавал государства, строил города, изобретал машины, воевал, подымался на революции, а он все еще падал триста тысяч километров в секунду...

Ленива и необъятна Вселенная, где-то в этой чудовищно косной лени, в вялом застое вспыхнула искорка, нет, не искорка, нечто столь незаметное по сравнению со вселенской ленью, что нельзя принимать в расчет,— моя жизнь. Из черного небытия каких-то тридцать два года тому назад выскочил тот, кого назвали Юрием Андреевичем Рыльниковым, пройдет еще столько же — и снова черное небытие.

Я во Вселенной!

Я появился — свершившийся факт.

А для чего?

Мое «Я», как и «Я» миллиардов других, закончится жалким холмиком земли.

И это так же неоспоримо, как и то, что в данный момент я существую.

Жалкий, бессмысленный холмик земли. Для него живу, к нему иду, не промахнусь — там исчезну.

Конечная цель — могила!

В бескрайней Вселенной нет ничего бессмысленней меня.

Вечер. Скрежет позднего трамвая на улице за окном. Свет лампы в ванной — моется Инга. Журнал со статьей...

Я физически ощущал тесные стены черного небытия, пустынного, равнодушного мрака, из которого я случайно вырвался.

Журнал со статьей... С достойной сдержанностью восхваляется проницательность ума Фридмана, открывшего то, чего не сумел заметить даже сам Эйнштейн.

Открыл, но что?.. Вселенная расширяется. Разве это так уж важно для меня, что она расширяется? Важно для Инги, для самого Фридмана, для всех живущих на земле людей? Открывают что-то, проникают во что-то, истощают мозги, чтоб спрятаться от вопиюще простого, очевидного до ужаса вопроса: для чего, собственно, мы?.. Каждый ребенок натыкается на него, а Эйнштейны и Фридманы с профессорской солидностью делают вид, что нет такого вопроса. Они забавляют себя и мир разгадкой побочных шарад — конечна или бесконечна Вселенная, как движется электрон вокруг ядра... Лишь бы убежать, лишь бы не признаться себе в своей собственной бессмысленности.

Какая конечная цель? Каков смысл жизни?

Я, как и все, всю жизнь бегал от этого вопроса. Господи! Белые карлики интересовали меня! Чудовищное легкомыслие! Но в легкомыслии-то и спасение...

Явилась Инга в халате с мокрыми распущенными волосами.

— Ты слышал,— сказала она, собирая в пучок волосы,— Риточка из девяносто шестой квартиры опять выступила с концертом. На улице слышно было. Выскочили на лестницу — она чуть ли не в нижнем белье, визжит, он пьян, еле на ногах стоит, а уж выраженьица отпускает — волосы дыбом. Соседи, кажется, подают коллективное заявление.

Лицо Инги, широкое вверху, от скул плавно стекает к точеному подбородку, банным румянцем пышет чистая кожа, брови круто изогнуты, в извечном девичьем недоумении, в синеве белков, в тени ресниц влажный блеск глаз, под тонким халатом рельефно означается плотно сбитое тело.

— То какой-то в галстучке хлестал ее по щекам, то этот мальчишка, физиономия не вполне созревшего рецидивиста... Не женщина, а сточная канава, что ни грязней, то к ней течет. А ведь, право, хорошенькая...

Инга осуждает. Очнись! Чем ты в конце концов отличаешься от Риточки? И ты, и она катитесь к одному, велико ли преимущество, что у тебя к могиле более гладкий путь!

* * *

Уж если наступает ночь, если здесь, в вагоне, от прошлого никак не спрячешься, призови то время, какое ты и раньше вспоминал охотно.

Хотя бы для того, чтоб отдохнуть.

Ведь ты страшно устал. Жизнь несносна! Ты тяготился ею, ненавидел ее. Но вот что странно — чем больше ты тяготился, тем чаще с ужасом думал о смерти. С ужасом... Казалось бы, будь последовательным — раз жизнь несносна, то думай о конце с надеждой. Нет, шарахался — изыди!

Ночь в вагоне, уснуть не в силах, но в твоих силах не травить себя памятью. Были же в жизни удачи. Было даже нечто большее — неудачи, которыми потом гордился. И от Инги ты не всегда убегал, а рвался к ней...

* * *

Я заметил ее еще во время поступления в институт. Помню даже платье, в каком была тогда,— с лиловыми разводами, с тесемчатой шнуровочкой на груди, открывающее шею и тронутые загаром руки до самых плеч. Но над легкомысленным девичьим нарядом — матовый, объемистый, выпуклый лоб и глаза темно-серые с охолаживающим блеском. Такая непременно попадет на физмат, из породы Софьи Ковалевской.

Софьи Ковалевской из Инги не получилось, но на физмат тогда она прошла в числе первых.

Я с детства отличался неуравновешенностью. В школе то хорошо учился, то носил «двойку» за «двойкой». Никак не считался лучшим игроком нашей футбольной команды, но мог и «сорваться с вербы» — метался бешено по полю, мяч тогда сам находил меня, прославленный вратарь нашего городишка Донат Тятин не держал ударов. Я запоем читал Дюма-отца, запоем писал стихи, во время войны запоем выполнял общественные поручения — собирал теплые вещи для фронта, ходил из дома в дом и с жаром доказывал: сними с себя последнее, отдай для победы! Даже в таком умиротворяюще тихом занятии, как коллекционирование марок, меня лихорадило — надоедал знакомым и незнакомым, лазал по чердакам, рылся в бумажном мусоре, отыскивая старые конверты, рассылал

письма — пришлите заграничную марку! — не просьба, вопль о помощи.

В институте я сломя голову ввязывался во все споры, был шумлив, неистово набрасывался на работы Эйнштейна, чтение которых в те годы никак не поощрялось, Эйнштейна причисляли к идеалистам, правда, не столь настойчиво, как Менделя или Винера. А Инга была рядом, встречался с нею каждый день. Покоем веяло от нее, покоем и сознанием собственного достоинства: «С разгону не подлетай — обморожу!» Этим-то и тянула к себе.

Как-то, проходя мимо конференц-зала, в полуоткрытую дверь я услышал звуки рояля. Зал был пуст и темен, на сцене, над задвинутым в угол инструментом склонилась Инга. Одна. Играет. Под высокий потолок всплывают звуки, старательные, наивные и вдумчивые. Инга пряталась, в эту минуту она была наедине с собой, я — невольный соглядатай и подслушиватель. Я выскочил из зала, как только она встала. И несколько дней жил нечаянно украденными звуками — наивно неумелыми и вдумчивыми. Неумелость подкупала — не мастер, человек, как и все.

А на встрече Нового года я увидел Ингу совсем другой — пела вместе с девчатами:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать...

Румяная, смешливая, простецкая — своя девка! И счастливое удивление, как в давнем детстве, когда разнял солидную, строгую матрешку и вынул другую — ярко окрашенную, блестящую, легкомысленную, хоть расхохочись.

А на следующий день — охолаживающий взгляд изпод матового лба: «С разгону не подлетай!..»

И я скованными кругами ходил возле нее, обмирал от сознания ее неприступности, от своего еретически дерзкого желания — выпалить все, что скопилось.

Ин-га!..

Есть же на свете волшебные слова.

Ин-га!

Звенящий звук — и серый мир становится буйно цветным. Ин-га! Мертвым услышу — проснусь, вскочу!

Она касалась ручки двери, и эта железная ручка получала душу, со страхом дотрагивался — груб, могу причинить боль железному.

Кончились лекции, все торопились вниз по лестнице одеваться, а я бежал опрометью к окну на втором этаже, припадал виском к косяку и глядел, ждал, ждал. На улицу выходили студенты и студентки, подымали воротники, натягивали на ходу перчатки, болтали и смеялись. Я ждал и дожидался...

Не похожая ни на кого, появлялась она. И было странно, что остальные выходят, видят ее, болтают друг с другом, смеются своему, не замирают в восторженном смущении. Она же в сером, плотно обтягивающем пальто удалялась легкими шажками — невысокая, стройная, упругое совершенство, исчезающее в необъятном городе.

Но вся-то беда, что исчезала она не одна, рядом с ней вышагивал, как на ходулях, счастливейший из смертных, неприятнейший из людей Игорь Вашковский, долговязый парень с нашего курса, капитан институтской сборной по баскетболу.

Я каждый раз клял себя и досадовал — не побегу больше к окну, хватит, не школьник, стыдись.

Но новое утро приносило новые надежды — а вдруг да случится чудо.

И чудо случилось.

Как всегда, после лекций я бросился к знакомому окну. И остановился... Мое место было занято. Стояла она!

На ее лице мраморное выражение, спина ссутулилась.

Ин-га! На моем месте, в моем незавидном положении!

Она вздрогнула — внизу за окном показался Игорь, он шел под руку с другой, мне незнакомой — не с нашего факультета.

Тогда я встал рядом с Ингой, плечом к плечу.

— Инга... Это мое место. Я каждый вечер провожал тебя отсюда. Каждый вечер вот уже всю эту зиму... И не отворачивайся, пожалуйста, я заслужил, чтобы меня выслушали!..

Я не просил. Я требовал внимания. Я сообщил, что просыпаюсь с ее именем, засыпаю с ним, что с замиранием сердца касаюсь дверной ручки, после того как за нее бралась ее рука.

Лицо ее утратило мраморность, обмякло, слезы потекли по щекам. Слезы, увы, по другому человеку, меня они обжигали, но не согревали.

Неизвестно, сошлись бы мы, если б на меня не обрушилось несчастье.

Не я один, многие студенты читали то, что не рекомендовалось. Не я один выискивал, где только можно, сообщения о новой науке кибернетике. Не я один запальчиво заступался за Винера — не идеалист, его наука — не лживое буржуазное учение.

Но на очередном собрании почему-то вспомнили меня одного: «Студент Рыльников храбр в коридорах, почему сейчас трусливо прячется за спины!» Я в тот момент действительно прятался, действительно боялся. Клин вышибают клином, страх оказаться трусом уничтожил страх перед трибуной.

Кажется, я молол какую-то чушь о дерзновении в науке, вспоминал «нетленный костер Джордано Бруно»... Спускаясь вниз, я уже знал, что сам запалил под собой костер.

Сразу же кое-кто из моих старых друзей стал меня обходить стороной. А Инга... С Ингой сошлись тесней.

— На дешевого червяка клюнул. Винеру помог? Как же! Помог тем, кто его топчет. Твое выступление для них крепкий костыль: вот, мол, наглядное доказательство — идеалист Винер развратил студентов. Кому плечо подставил?

Выпуклый лоб, взгляд в душу, строгий, успокаивающий — прохладный компресс. Нет, не признание у окна сблизило нас, а те дни, когда я висел на волоске в институте.

И позднее, в самые сумасшедшие моменты нашей семейной жизни — нет денег, покладистые хозяева грозят нас выселить, болеет дочь,— пасовал чаще я, Инга выстаивала. Один из моих приятелей как-то сказал: «В твоем доме не ты штаны носишь». Он прав — у Инги более мужской характер.

Меня не успели выкинуть из института — страна похоронила Сталина, газеты напечатали сообщение о реабилитации врачей-убийц...

Было смешно читать вышедший из печати «Краткий философский словарь», где против слова «кибернетика» стояло: «Реакционная лженаука... ярко выражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения — его бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в придаток машины...»

Словарь-то опоздал с выходом — кибернетика признана, Винер уже не махровый идеалист.

От отца, провинциального учителя физики, вошла в мою кровь восторженная влюбленность в науку. Ну, а моя мать еще более восторженно любила стихи, не могла без слез читать:

> Изба-старуха челюстью порога
> Жует пахучий мякиш тишины...

Как-то само собой получилось, что я стал не углублять науку, а славить ее. Первая же статья об обучающихся машинах привела меня на порог журнала, в котором я и работал до вчерашнего дня.

В чистую науку ушла Инга...

Ушла?.. Да нет! Она всего-навсего младший научный сотрудник. Многие с нашего курса — даже не особо даровитые, не чета Инге — стали кандидатами наук. Инга же никак не соберется сдать аспирантский экзамен.

Мешала наша неустроенность, мешала дочь. Выходит, я не тот человек, на кого можно опереться, не камень. Инга для меня самого была постоянной опорой.

Ин-га! Тебя тоже сейчас заедают мелочные «надо»...

Ин-га! Я же знаю, что ты мечтаешь об аспирантском, о кандидатской, быть может, о подвигах Марии Кюри. Знаю, что ждешь, терпеливо, упрямо ждешь своего часа! А придет ли он?

Ин-га! Я снова спутал тебе все, я предал тебя... Я сбежал.

И я по-прежнему тебя люблю — недоуменные брови на матовом лбу, лоб Софьи Ковалевской...

Зачем только я признался тебе тогда у окна! Почему я должен приносить тебе только несчастья?!

Тогда у окна ты еще плакала о другом... Тогда у окна нам было, наверное, столько же лет, сколько сейчас тому бородатому пареньку, что прогремел по привокзальной мостовой привязанной к ноге консервной банкой...

Он мой родственник. Глядя на него, я не выбросил билет. Билет до Новоназываевки...

Инга осталась дома...

* * *

А поезд шел, поезд вгрызался в ночь.

Для всех он идет и по расписанию, и по маршруту. Для всех, но не для меня. Поезд через ночь несет меня в неизвестность.

Вагон скудно освещен, сейчас в нем живут тени, качаются и вздрагивают — беспокойная немотная жизнь. Живет и сам вагон, стучит колесами, сотрясается, раскачивается, со стоном поскрипывает — прислонись лбом к стенке, и почувствуешь, как весь он до предела напряжен, как ему трудно.

Спят люди.

Уснула даже подгулявшая компания на другом конце вагона, оставив нерешенными животрепещущие проблемы футбола.

Спит громогласно пассажир подо мной, стелет по проходу бархатным храпом. Его мне не видно, но представляю, как он раскинулся на спине, прочно занял откупленное им место, спит потным, обморочным сном, набирается буйной жизнедеятельности. Спит пророк сам себе, все знающий наперед, неспособный ошибаться: «У меня глаз, что ватерпас, осечки не дает».

Спит женщина — приткнулась на краешке скамьи, замерла, спряталась на короткие часы от иссушающей беды. Спит, а может, и нет, притворяется.

Люди, попрятавшись от суматошной жизни, жить предоставили теням, и они выплясывают над спящими в бесшабашной толчее. Но суматошная жизнь нет-нет да прорывается — то слышится озабоченное бормотание, то вдруг сполошный выкрик:

— Пашка, не смей!

И в ответ кто-то на секунду очнулся от забытья покорным вздохом:

— О господи...

Поезд трудолюбиво вертит колесами, убегает в ночь, спешит увезти людей, но за каждым тянутся путаные нити из нынешнего мира, за каждым — свои.

За мной тоже тянутся — не оборву. Несет меня поезд. Куда?.. Зажмурив глаза, я выбросился и падаю... в Новоназываевку.

Я падаю, а все?..

Падает каждый. Рождается и начинает свое падение. Падает и заранее знает, чем кончится это. У всех одним и тем же, разница только в продолжительности падения, парящих на свете не бывает.

Считают важным продлить падение. Зачем? Мечтать о падении—значит бояться удара, значит падать и обмирать от страха, значит отравлять себе и без того-то короткое

время, которое скупо отведено тебе природой. Не лучше ли — пусть чуть короче, но без отравы, раскуйся, испытай радость свободного полета, победи смерть. Падай!

Многие пытаются сделать падение приятным — жирным куском, теплым благополучием. А с жирным, теплым, удобным расстаться трудней, страх перед концом возрастает, падение еще сильней отравлено, смерть не побеждена.

Я, кажется, нашел, как ее победить. С трудом, страдая и изнемогая, до сих пор душа в лохмотьях...

Поезд идет через ночь, тени в вагоне живут в бесплотной трясучке. Спят люди, знающие, куда они едут, зачем едут. Знают?.. Ой, нет! Обманывают себя, на самом деле просто падают. Я тоже падаю, как и все, как и у всех, у меня даже есть видимость траектории — билет до Новоназываевки! Но я вовсе не собираюсь попасть именно в эту точку на карте, мое падение свободное, раскованное. Я должен бы быть самым счастливым человеком на свете, если б... Если б не нити из дому. Связан с Ингой, с дочерью — тяжкий груз, мешающий свободно падать.

Со временем истлеют и оборвутся эти нити. Но пока тяжко, пока невмоготу. Идет поезд, все спят, никто не мешает мне допрашивать самого себя: а так ли, а оправданно ли? Я уже столько раз допрашивал себя с пристрастием, с пытками, что теперь ответ заранее известен.

* * *

В тот памятный вечер, когда я в ужасе осмелился задать себе простейший из простейших, первобытнейший из первобытных вопросов — для чего живу? — можно считать первым приступом тяжелой и благородной болезни, которая выгнала меня из дому, заставила бросить семью.

Утром же все прошло.

Утро было серенькое, дымчатое. Небо за окном низкое, ровно облачное, вид городских зданий напротив, успокаивающе знакомый. Меня окружал будничный, маленький, компактный, обжитой и уютный мир. Чудовищная Вселенная с ее галактиками и с ее бездонной ленивой пустотой отступила, я был надежно отгорожен от нее непробиваемо сереньким небом и отвечать на вопрос — для чего живу? — не испытывал никакой необходимости.

Живу — и все тут, живу, вижу небо, знакомую улицу, чувствую аппетит, а это ли не явные доказательства моего бытия.

Следует задать себе куда более важный вопрос: когда же все-таки я засяду за книгу? Хорошо бы заключить с издательством договор, тогда считай себя запряженным, хочешь не хочешь — вези воз.

Где-то около двенадцати я оделся и отправился на работу.

Спускаясь по лестнице, я увидел впереди себя легкую, ладную девичью фигурку, обтянутую плащом «болонья»,— каждая складочка играет вместе с телом, ноги с крепкими икрами задают тон суетливому приплясу, озвученному веселым шуршанием плаща и сухим прищелкиванием каблуков-шпилек. Риточка, та самая...

Та самая — знаменитость двора, едва ли не меньшая, чем жилец из соседнего подъезда, выступающий по телевизору со спортивными обозрениями. Дом недавно заселен, а Риточка уже в нем успела сменить трех мужей, и каждый, уходя, заявлял об этом шумными скандалами.

Шуршит, стучит, играет спиной, бедрами, икрами и не очень-то продвигается вперед, я ее невольно нагоняю.

— Ох! — И как раз в дверях. Взглянула на меня просяще, жалобно, с такой беспомощностью, что нельзя не откликнуться.

— Что случилось?

— Нога... Кажется, растянула сухожилие... Юрий Андреевич, можно вас на пару слов...

Мы до сих пор едва здоровались кивком головы, ни разу не заговаривали, а нате вам — оказывается, знает меня по имени-отчеству.

— Юрий Андреевич! Можно мне с вами быть откровенной, как перед братом?..

«Хорошенькая»... Возможно. У нее молочный цвет лица, подбритые брови, мелкие черты, крашенные до истекающего сального блеска губы, глаза под вызывающе подведенными ресницами зеленые, прилипчивые, подозрительно чистые. Тяжко красные губы и неверные глаза на молочном в голубизну...

— У вас, Юрий Андреевич, такое лицо... Оно издалека греет...

И губы маслено улыбаются, открывая мелкие острые зубы, и в зелени глаз неверно мерцающая искорка,

и нога подвернулась в нужном месте, и умильные слова, и как она заигрывала со мной спиной и бедрами — все фальшиво, как наклеенные ресницы, как волосы, доведенные до неестественной блондинистости.

— Только вас и могу попросить, Юрий Андреевич. Помогите! Я такая несчастная...

Крашеные губы по-детски припухли — вот-вот сорвется невинный всхлип,— и зеленые, заглядывающие в душу глаза заблестели слезой.

— Меня обливают грязью, Юрий Андреевич! Мне не дают проходу. Кругом только злоба сплошная, не к кому обратиться... Только к вам... Помогите!

— Чем?

— Вы журналист! Вы печатаете статьи! С вами не могут не посчитаться.

— Кто посчитаться?

— Из домкома. Какое они имеют право влезать в личную жизнь. Я и так несчастна!.. Неужели это не видно!

Риточка отвернулась, стала судорожно рыться в сумочке. Она несчастна? Да, пожалуй. Но как ни несчастна, а не дозволяет себе даже поплакать — потечет краска с ресниц.

Риточка промакнула глаза, страдальчески высморкалась в платочек, тихо сказала:

— Меня собираются судить товарищеским судом...

— И что бы вы хотели от меня?

— Пенсионеры, старички, масленые глазки... Им делать нечего, им, что мед лизать, выспрашивать да выпытывать, как, да что, да с кем и каким образом... Кто выдержит? Не имеют права! Не смейте ковыряться! Мне и без того тяжело... Скажите им, чтоб не смели. Прошу вас. Больше мне некого просить...

— Но я же не могу запретить товарищеский суд. Кто меня послушает?

Она вдруг разогнулась, поглядела долгим взглядом мне в лицо — в глазах ужас, громкий шепот:

— Должны же быть на свете люди с сердцем. Неужели их нет?

Я даже поморщился — распахнутые в ужасе глаза, театральный шепот. Невольно перестаешь верить во все, даже в то, что она несчастна. Несчастна, а о ресницах-то помнит. И просит не столь уж малое: чтоб вышел про-

тив всех, кому она надоела скандалами, против тех, кто себя считает защитником порядка и нравственности, наделен правом вмешиваться и судить. Выступи, поставь себя рядом. Нет уж.

Я сухо ответил:

— Извините, но... бессилен.

— Почему сильны только недобрые? Да есть ли добрые-то? — И вдруг, выгнувшись, она закричала: — Не могу-гу! Не мог-у больше! Хватит!

Все лицо — сплошные красные губы, лицо вызверившееся, безобразное и звонкий, привлекающий внимание крик. Крик человека, кому уже нечего стыдиться и нечего терять. Крик — жалкая месть, что не хочу расхлебывать ею заваренную кашу.

— Простите,— я решительно потеснил ее и вышел.

Прежде чем завернуть за угол, я кинул взгляд — Риточка шла в другую сторону, и ее ладная фигурка играла складочками плаща, играли бедра, вытанцовывали ноги, звонко прищелкивали каблуки по асфальту.

Ну вот — не могу, а уже вошла в норму, долго ли... Я даже не успел почувствовать к ней жалости.

И вечером рассказывал Инге чуть ли не с негодованием: почему-то меня особенно возмущало, что Риточка постоянно помнила о ресницах.

— А все-таки жестоко,— заметила Инга.

— Что?

— Да за свою же беду попасть на суд.

— Может, мне проявить рыцарство, разогнать суд?!

— Ну нет, рыцарской защитой тут не поможешь... Не головой живет, самочьим инстинктом. Животный инстинкт — маловато для счастья, если находишься среди людей. Как тут помочь...

Высоколобая Инга с более мужским, прямолинейным, чем у меня, характером, конечно же, презирает Риточку, но...

— Все-таки судить несчастного безнравственно.

— Какой же выход?

— Если б я знала, то, наверное бы, помогла Риточке. Не знаю.

В нашей комнате было полно света, за стеклом книжного шкафа — пестрые корешки книг, на стене — большая репродукция Ван-Гога «Подсолнухи», уютно. Инга за моим столом стучит пальцем на моей машинке, пере-

печатывает песню только что объявившейся молодой поэтессы. К новым песням у нее не просто любительский подход, а серьезный, с теоретической подкладкой — жестокий романс возродился в преображенном виде, уже не жесток, а лиричен, мещанская узость уступила место романтической широте.

Тьмою здесь все запавешено,
И тишина, как на дне...
Ваше величество, женщина,
Да неужели — ко мне?

Булат Окуджава — кумир Инги.

На следующий день в нашем подъезде было вывешено объявление: «В Красном уголке при домоуправлении состоится товарищеский суд...»

А еще день спустя наутро весь наш огромный восьмиэтажный корпус гудел: Риточка из девяносто шестой квартиры отравилась газом. Во двор с надрывным стоном заворачивали машины «Скорой помощи».

Было воскресенье, ни я, ни Инга не ушли на работу. Инга даже осунулась, зябко ежилась, повторяла удрученно:

— Надо же... Кто б мог знать... Надо же...

О мертвых плохо не говорят. К мертвым нужна бережность, к живым она не обязательна.

Только от великого отчаяния можно вот так, походя, схватить за рукав случайного, незнакомого человека, молить о спасении.

Вечера — трагическое время для благополучных.

На стене под электрическим светом полыхали ван-гоговские «Подсолнухи». Инга лежала на диване и читала книгу — пухлый сборник статей о кристаллических соединениях. Читала рассеянно, думала, глядя поверх страниц, наверняка тоже вспоминала Риточку.

А Риточка не выскочит уже больше на лестничную площадку, не взбудоражит соседей. Товарищеский суд так и не состоялся, но соседи победили.

— Инга,— сказал я,— шофера, сбившего ребенка, судят: не успел нажать на тормоз, а мог бы. Мог бы и я затормозить.

Инга отложила книгу, уставилась в сторону — темные глубокие глаза под гладким белым лбом.

— Что пользы бить сейчас себя по голове, от этого только голова распухнет,— ответила она.

У меня умная жена, на любой сложный вопрос может дать ответ. Даже на тот, который, как квадратура круга, решения не имеет.

Я не затормозил, а мог бы... Не обязательно донкихотски бросаться на домком, наверное, нужно было только посочувствовать, чуть-чуть, пусть даже неискренне. Чуть-чуть дать понять — ты услышана. Звук неверного слова лучше сплошной глухоты, расстроенная способность двигаться лучше полного паралича.

Это что же, ложь лучше правды?

Но фальшь ресниц, фальшь Риточкиного голоса, после крика «не могу» поигрывание бедрами... И страшное, неопровержимое доказательство правоты. Что такое ложь? И что такое правда?

Ночью я не мог уснуть.

Темнота... В ней исчезает пространство, далеко, близко — какая разница, когда перед глазами непроницаемость. В мире, утерявшем измерения, раздолье для мысли, удаленная на шесть миллиардов световых лет галактика так же доступна мне сейчас, как окраина города.

Удаленная от меня.

Бесконечно велик мир, ничтожно мал «Я», затерявшийся в пространстве вместе с Землей. «Я» мал, но кто дал этому необъятному пространству физиономию — шесть миллиардов световых лет? «Я», привыкший считать годы и километры на своей планете. «Я» во всем отправная точка. Не будь меня с моим разумом, нельзя сказать, что мир существует. Нужен «Я», чтобы само понятие существования проявилось.

Любая вспышка разума — это вспышка всего мироздания. Убить человеческую жизнь — убить целый мир, не имеющий границ.

Как просто было бы спасти Риточку.

Олег Зобов, физик, кандидат наук,— спортивная выправочка, мятая клетчатая рубашка под Ландау, пренебрежение к галстукам, пристрастие к парадоксам и всегда наготове куча любопытных сведений от привычек Пифагора до последних событий в литературной среде.

Олег Зобов, наш автор, клад для журнала, способнейший молодой ученый, из тех, кто считает себя солью земли, постоянно афишировал теорию:

— Все ждут, что наука осчастливит страждущее человечество. Ерунда! Заставит быстрей развиваться — да. Но можно ли развитие от ребенка в зрелого, от зрелого в старика считать вожделенным счастьем? Сомнительно.

Я много раз слышал это от него, соглашался, не соглашался, но никак и не возмущался — можно и так. Но теперь на меня от Олега повеяло крещенским холодом: уж если ты занимаешься делом, то рассчитывай, чтоб оно как-то согревало людей, иначе брось, а Олег готовил докторскую диссертацию, писал статьи, прославляющие свою негреющую науку.

Почти все, кто меня окружал, с любопытством читали статьи, в Китае всеобщее озверение, школьники-хунвэйбины хватают своих учителей, пытают, заставляют собственной кровью писать лозунги на стенах, потом убивают...

— Совсем с ума сошли... Эй! Кто стянул со стола мою шариковую ручку?..

Кровавые лозунги, предсмертные судороги, озверение детей, а «осетринка-то была с душком...».

Почему кровь, пролитая за тысячу километров от тебя, должна обжигать меньше, чем кровь, пролитая рядом с тобой?

Как просто было бы спасти Риточку!..

* * *

А поезд шел, и ночь бесконечна.

И тревожно спящие люди, как судьбе, слепо доверившиеся поезду,— довезет, куда нужно, не обманет.

И размышления, упирающиеся в один очень простой, очень важный вывод: старайся постоянно спасти другого, это самая надежная гарантия твоей безопасности. Просто, очевидно. Но люди подозрительны и очевидному не доверяют.

Я незаметно для себя забылся...

Проснулся я, когда весь вагон по-базарному шумел голосами, в проходе выстроилась очередь с полотенцами — умываться.

Поезд весело шел, бежали мимо окна согретые солнцем сосенки на косогорах.

Мой сосед по нижней полке уже приступил к своему — поучал, как нужно жить. Его сытый, вязкий голос заполнял отведенную нам часть вагона до потолка. Все молчали, никто не возражал.

— На детей нынче часто жалуются. А кто?.. От худого семени не жди доброго племени. Сами штанцы обдергайчики натянут, юбки выше колен, морды крашены, поведение легкое, а ждут, чтоб дети росли серьезные и послушные. Не пеняй на зеркало, коли рожа крива...

Все молчали.

Человек сидит в темнице из своего «Я», до него ничего не сможет пробиться извне. Доказывать ему — все равно что внушать сострадание к запертой на амбарный замок двери. Глупость глуха, а значит, неуязвима, потому-то в век космических ракет на каждом шагу встречается дикое варварство. Забронированный глупостью человек внушает, его слушают, молчат, сознавая свое бессилие. Бессильно молчу и я.

Поезд снизил скорость — очередная станция. Навстречу, утонув по белые плечи в яркой весенней зелени, поплыла церковь с гордо вскинутым темным куполом. Наверное, Россия выглядела бы иной, если б ее леса и равнины время от времени не украшали белые церкви. Поезд шел, а церковь не исчезала, только неторопливо поворачивалась. Зелень, окружавшая ее, разорвалась, и церковь стала видна вся, от шпиля на куполе до фундамента — чистая, легкая, надменная, властно зовущая к себе: посмотри кругом на придавленные тесовые крыши, на грязные дороги, на штабеля старых, полусгнивших шпал, на все суетное, примелькавшееся, прискучившее — я не похожа, я не от мира сего.

А внизу растекался густой голос:

— Манерку взяли учить: одних музычке — трям-лям на пианинке, других иностранным язычкам — «мерси, парле ву», еще на конечках кататься позатейливей. А разве в жизни-то трям-лям нужно? Ума музыка не прибавит...

Церковь из своего далека взирала на проходивший поезд, на вагоны, забитые людьми, маленькими людьми с маленькими заботами, совсем забывшими о том, что мимо окна течет яркая весенняя зелень, что за потолком

висит синее небо, что стоит церковь — взгляни, ни на что не похожа!

И я вдруг понял, что не хочу дальше ехать, слушать поучения пахнущего лошадиным потом и кожей человека. Билет до Новоназываевки, но неизвестно, будет ли Новоназываевка лучше этого поселка, украшенного горделивой церковью.

Я поспешно слез, стараясь не глядеть на мясистую физиономию соседа, натянул пальто, снял с полки свой чемоданчик и не прощаясь двинулся к выходу. Я приехал.

— Куда сноровка уходит? — слышалось за моей спиной.— На трям-лям. Ты сноровку воспитывай, чтоб тебя кто на кривой не объехал. Жы-ызнь блюди!..

Я вышел в тамбур. Поезд остановился, показались безлюдный дощатый перрон и желтое облупленное здание маленькой станции.

— Остановка две минуты,— предупредила меня проводница.

Сам начальник станции в фуражке с красным верхом принял мой чемодан в камеру хранения, выдал квитанцию.

— В командировку к нам заслали или на побывку? — поинтересовался он.— Время-то никак не побывочное.

— В командировку,— соврал я.

Мне посочувствовали.

— Оно, служба, куда не загонит.

Холм с рощей, прятавший церковь, был виден за крышами домов. Как до него добраться, спрашивать не надо, стоит только пересечь поселок.

Пересечь... Но это оказалось не так-то просто. Прогретые солнцем бревенчатые домишки выстроились по обе стороны вспученной от грязи дороги. Пожалуй, такой буйной грязи я еще в жизни не видел. Земля утратила незыблемость — не твердь, а жижа. Кофейные лужи разливались от края до края, от одного дома до другого, в них рваными рифами торчат густые глинистые замесы. Посреди одного такого кофейного озерца покоился грузовичок — засосан по самое брюхо, колес почти не видно, брошен на произвол судьбы, отдан в жертву стихии.

Хорошо, что я догадался отдать чемодан,— с ним я не преодолел бы и десятка шагов. Тесно прижимаясь всем телом к заборчикам, хватаясь обеими руками за

штакетник, балансируя, я медленно продвигался в глубь поселка, мимо низеньких окон с белыми занавесочками, с глазками красных гераней.

Иногда из-за занавесок выглядывало недоуменное лицо, провожало немым вопросом: кто ты, новичок в городском пальто, в городских щеголеватых туфлях, осмелившийся залезть в нашу грязь?

В центре поселка раскинулся пустырь с торчащими пнями. Его окружали казенной постройки здания: «Почта — телеграф», «Продовольственный магазин», «Промтоварный магазин», «Чайная»... Невыкорчеванные пни, грязь, редкие прохожие, жмущиеся к стенам и заборам, словно прячущиеся друг от друга,— тоскливое ощущение временности. Трудно представить, что здесь люди рождаются, женятся, обзаводятся детьми, умирают, нет, съехались, устроились на скорую руку тяп-ляп, чтобы снова уехать. Каким прекрасным выглядел этот мир из окна — олицетворение покоя, и каким неказистым он оказался. В нем я должен жить, рассчитываю найти душевное равновесие — моя нирвана.

Наконец-то грязный поселок окончился, я выбрался на мокрое поле, облегченно вздохнул. До рощицы на холме рукой подать... Раскисшая земля чавкала под моими туфлями.

Залившаяся в умытую зелень кустов заржавленная ограда. Я прошел мимо нее и споткнулся — каменная, вросшая в землю могильная плита.

Тишина давным-давно заброшенного кладбища, одичание и стена церкви, оскалившаяся на меня сквозь прорехи облупившейся штукатурки рыжими кирпичами. Приземистые, тяжелые, обшитые железом арочные ворота заперты на замок, ржавый и увесистый, словно гиря. Нужды в замке нет, внутрь запертой церкви может проникнуть любой через зияющее сырым погребным мраком окно. Колокольня в небе просвечивает чердачной пустотой, колоколов нет. Воздух неподвижен, празднична юная зелень, где-то в ветвях вековых берез беспокойно шевелятся птицы.

Едва ступив в поселок, я уже понял, что обманут, что церкви нет. Я шел сюда, чтоб убедиться в этом, и куда мне было еще идти, раз уж я слез с поезда.

Церкви нет, есть ее труп, но даже он красив и величав. Изъеденные временем стены уходят в синеву...

Скорей всего эта церковь построена до того, как проложена железная дорога. Еще не было станции, там, внизу, наверное, стояла обычная полунищая деревенька. Безграмотные мужики из этой деревни без машин, заступом, обушком воздвигали храм. И пусть потом в этом храме угнездился какой-нибудь попик, возможно, страдавший запоями, возможно, мелкий, корыстный, злобный человек, не способный ничему хорошему научить мужиков. Но сами-то мужики, воздвигая храм, надеялись стать чище, честней, добрей, внутренне красивей, надеялись воспитать себя, иначе зачем же сооружать им столь дорогостоящую и трудоемкую хоромину, которая не накормит, не согреет, не приютит,— практически бесполезна. Не в попике дело, в человеческом стремлении стать лучше. Люди стремились и пусть не всегда достигали, но совсем плохо, если это стремление вовсе отсутствует.

Внизу теснятся крыши станционного поселка, бывшей деревни, воздвигшей церковь. Есть ли сейчас там клуб?.. Я прошел через весь грязный поселок и не заметил клуба. Скорей всего он все-таки есть. Я немало повидал таких периферийных духовных центров — затоптанный и заплеванный пол, скрипучие скамьи в нетопленном зале, плакаты о надое молока, танцы под аккордеон, хорошо, если кино каждый день, часто пьяные драки.

Я вырос в неверующей семье. Мои родители свято читали одну лишь заповедь: «Учение — свет, неучение — тьма». Они считали доказанным, что бога нет. Библия — сказки, религия — опиум для народа, только невежественный человек может верить поповским небылицам. Отец был воспитан на законах Ньютона, и хотя не очень-то разбирался в теории относительности, но ее автора Альберта Эйнштейна уважал. Отец не дожил до тех лет, когда про учение Эйнштейна стали говорить: «Проникнуто духом идеализма». Но и при жизни отца уже поговаривали: «Эйнштейн свихнулся, в космическую религию ударился». Отец снисходительно оправдывал: «Э-э, и курица петухом поет, и у гениев бывают заскоки». Мать же моя над этими вопросами вовсе не думала, учила детей правилам грамматики, образам «лишних людей» в произведениях русских классиков, любила стихи Сергея Есенина.

Отец погиб в войну, в сорок третьем под Харьковом. Мать до сих пор жива, нянчит детей у дочки. Что она скажет, когда узнает, что ее сын стал верующим?

«Учение — свет, неучение — тьма». Ее сын окончил московский институт, работал в известном московском журнале, популяризирующем знания по всей стране. «Учение — свет».

Да, я теперь верующий. И пришел к вере от знаний.

* * *

В научных и околонаучных кругах усилился интерес к...— ни больше, ни меньше — к сотворению мира. Появилась на свет так называемая космогоническая гипотеза Зельдовича — Смородинского, которая утверждала, что наша Вселенная родилась десять — пятнадцать миллиардов лет тому назад из некоего единого куска холодной протоматерии, состоявшего из нейтрино и антинейтрино. Он взорвался, разлетелся во все стороны, образовав звездные соединения — галактики, продолжающие разлетаться до сих пор. Об этой гипотезе писали газеты, на нее откликнулись за границей, мы уже не раз освещали ее. При случае решили вспомнить снова.

Я должен был взять интервью у одного известного физика-теоретика.

В рубашке с засученными рукавами, в стоптанных домашних туфлях, энергично подвижный, с рыжеватой курчавостью над залысинами высокого лба, с веселыми морщинками от беспокойно острых глаз, он принял меня на квартире в сумрачно уютном кабинете, от пола до потолка уставленном книгами, с фотографическим портретом седовласого Альберта Эйнштейна на стене.

— У меня, увы, нет веских оснований возражать и против иных гипотез сотворения, а их гуляет сейчас по свету более десятка. Одни замешивают Вселенную на холоде, другие подают ее в горячем виде...— заявил профессор.

— Похоже, что не возражаете и в то же время не очень-то верите им, в том числе и Зельдовичу со Смородинским?

— Разумеется! — воскликнул он, бесцеремонно разглядывая меня веселыми глазами.— Не возражаю и нисколько не сомневаюсь, что на самом деле было совсем не так, а гораздо сложнее.

— А это разве не возражение?

— Нет.

— Раз вы в этом даже не сомневаетесь — значит и не соглашаетесь?

— Моему интуитивному несогласию — грош цена. Оно совершенно не аргументировано. Лучшего предложить не могу, потому принимаю, что подают.

— Выходит, от такой двусмысленности на душе покойней. С глаз долой, из сердца вон.

Он рассмеялся.

— Э-э, нет. Покой на минуту, завтра, надеюсь, откроют что-то новенькое, появятся аргументы, опровергающие или уточняющие. Моя позиция — не закисающий застойный прудик, не болото в научном форуме, а позиция боксера, готового нанести удар при первой возможности.

— И к чему же в конце концов приведет такое бойцовское положение?

— Как сами догадываетесь, к новым научным открытиям.

— Но в конце-то концов?.. Уверены ли вы, что люди когда-нибудь откроют для себя истинную картину сотворения мира?

Профессор скептически помолчал секунду-другую, ответил:

— Будем надеяться — близкую к истинному. Быть может, предельно близкую.

— Предельно близкую к началу начал, а не к какому-то этапу развития?.. Ведь этот сгусток протоматерии из чего-то прежде появился или он существовал вечно?

— В тот момент, когда это первичное тесто шевельнулось, то есть перестало быть самим собой, оно получило будущее, и прошлое, и вечность, и мгновение.

— Но из чего-то оно произошло, откуда-то взялось? Ниоткуда? Ни из чего? Так было? Прикрываться косным безвременьем — не значит ли прятаться от вопросов?

Профессор обронил с остренькой усмешечкой:

— Аминь.

— Что?

— Говорю — аминь. Договорились до точки. Вы втянули меня в область неведомого. Все, что ни спросите, и все, что я ни отвечу, будет пустым сотрясением воздуха.

Он отмахнулся от меня, неунывающий профессор, с легким сердцем: «Аминь».

Я не спеша шел от него к метро.

На город свалилась оттепель. Над крышами висело ровное хмурое небо — безликая рогожка. Асфальт был мокр и дегтярно-черен. И деревья наги и черны. И неуютно сейчас в этом маленьком мире, отгороженном облачным небом от другого мира, еще более неуютного, о существовании которого люди имели несчастье узнать. Несчастье! Теперь я в этом не сомневаюсь. Не узнай, что тот мир существует, не было бы и загадок, от которых рождается лишь чувство бессилия, мучительное сознание собственной ничтожности. А как бы хорошо оставаться в неведении, мнить себя центром мироздания.

Профессор с улыбкой проводил меня до порога. А после нашего разговора должен бы стонать и скрежетать зубами ученый муж. Неужели его не удручает бессмысленность того, чем он занимается?

И вот что странно, они, эти ученые, не самоуверенные бодрячки, мальчишество чуждо им, честней и трезвей других признают бессилие человеческого разума.

Я вспомнил недавно прочитанные слова одного из ученых. Он их бросил в книге походя, легко, без огорчения, без тени смущения: «Наше знание — остров в бесконечном океане неизвестного, и чем больше становится остров, тем больше протяженность его границ с неизвестным». Вдуматься — вот так признание! Больше знаешь — больше неведомого. Усилия ума плодят не столько знание, сколько незнание. Зловещий парадокс, что современный ученый не знает больше, чем невежественный средневековый схоласт. Для того, средневекового, незнания просто не существовало, он знал все! Это ли не говорит о тщете разума?..

И мой неунывающий профессор мне с улыбочкой лгал, что разум человеческий откроет «близкий к истинному» секрет начала начал мира, его сотворение. Не будет этого близкого! Сейчас подозревают, что мир возник из какого-то первичного комка, откуда и как появившегося — неизвестно. Через несколько лет или отвергнут этого комковатого праотца, или начнут подозревать его предка. Чем дальше в лес, тем больше дров, знание плодит незнание, близкого к истинному не будет, наоборот, откроются глазам недосягаемые дали, вычерпать колодец до дна не под силу, дно все равно будет скрыто.

Тогда какие преимущества гипотезы Зельдовича — Смородинского перед другой гипотезой, где туманноликий бог из хаоса за шесть дней сотворил мир? «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел бог, что это хорошо». Просто и ясно, по крайней мере наглядно, без каких-то там мутных для восприятий нейтрино и антинейтрино. Как первая гипотеза, так и вторая — не истина, в конечном-то счете цена им одна. Наука, выходит, не имеет преимуществ перед наивной легендой.

Я шел не спеша по оттепельной московской улице, оглушенный собственной крамолой... На что замахиваюсь? На науку? Это еще куда ни шло. Науку попинывали до меня. Руссо звал от цивилизации к естеству. Но я-то замахиваюсь на разум! На то, что отличает человека от животного! На святыню, святее которой нет ничего! Кто осмелится отказаться от разума и впасть в безумие! Нет таких!..

Падал снег и таял на мостовой, мимо меня спешили прохожие, которым было важно решить иные вопросы — купить колбасы на ужин, попасть вовремя на работу, встретиться со знакомым. Счастливцы, не задумывающиеся ни о мироздании, ни о смысле собственного существования. Колбасы на полтинник, чтоб быть сыту, — вот смысл.

Но как может быть покоен и весел мой профессор? Он-то задумывается и над мирозданием, и над смыслом бытия, задумывается наверняка больше моего — это же его профессия, за это же он получил звание доктора наук. Улыбчив, обложил все стены книгами, повесил портрет Эйнштейна: «Да здравствует разум, да скроется тьма!»

Было ли начало мира?
Будет ли его конец?
Какой смысл существования человека?
Для чего я родился?
Для чего я живу?..

Зельдович со Смородинским и Ветхий завет, нейтринная гипотеза зарождения и творящая длань всевышнего...

Знания, рождающие незнания, с трудом добытые ответы, плодящие новые мучительные вопросы.

Что есть истина?

И так ли уж она нужна?

И так ли драгоценно свойство разума?

Человек разумный существует всего какой-нибудь миллион лет. Всего один миллион! Да и то сомнительно, был ли он в это время разумен. Разжечь костер, сделать скребок — разум ли это? Цивилизация насчитывает всего шесть тысячелетий. А если погадать, сколько человек еще проживет?..

Сейчас в хранилищах сберегается столько термоядерной взрывчатки, что на каждого приходится чуть ли не тонна или того больше в переводе на тринитротолуол. Чтоб разнести в клочки меня, хватит и ста граммов. Изощренный ум изобрел и создал эту взрывчатку для себя. Так сколько же еще проживет человек с его изощренным разумом? О долголетии мечтать трудно. Еще шесть тысяч лет? Или же еще миллион?.. Сомнительно. Нет гарантии, что в ближайшее время разум не доведет человечество до братской могилы.

А таракан существует уже триста миллионов лет!

Выгоден ли разум для существования?..

Я тихо сходил с ума от этих вопросов.

— Юра, иди ужинать! — голос Инги, зовущий к столу.

Я ужинал, ложился спать, завтракал, шел на работу, правил статьи, сидел на летучках. День за днем, неделя за неделей, и страдал от того, что живу. «Лет до ста расти нам без старости!» Но для этого мне не обязателен разум. И без разума я мог бы плодить себе подобных. Без разума я был бы, пожалуй, куда счастливей, не подозревал бы о том, что надо мной застучит могильный заступ, жил бы, не тужил, встречал смерть в блаженном неведении.

Таракан существует уже триста миллионов лет, а стрекоза, кажется, и того больше.

Монтень писал: «Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его, противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать того, кто вздумал бы утверждать, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?»

Удовольствие — цель?..

Я мог бы преспокойно пользоваться тем скромным удовольствием, которого сумел добиться. А мне мало быть довольным! Даже мне, а тем, кто неизмеримо значительней меня, и подавно. Вряд ли можно сказать, что Коперник делал свое открытие ради удовольствия своего или чужого. Джордано Бруно предпочел страдание на костре ради удовольствия?

Можно возразить — мол, что считать за удовольствие? Знать истину, проникнуть в неведомое доставляет такое-де удовольствие, что живьем сгореть не жалко. Но истины бывают столь горькие, что, узнав их, отравляешься ужасом до конца дней.

Удовольствие — конечная цель?.. Философия отяжелевшего Карпа Карпыча за чашкой чая.

Так в чем же эта конечная?

Ночами, потушив лампочку у изголовья, я лежал с открытыми глазами, и надо мной нависала Вселенная — черная кошмарная пустыня с жалкими звездными островками. Моим далеким предкам было легче: они не подозревали о своем ничтожестве.

Когда-то одетый в шкуры охотник ужасался раскатам грома, сверканию молнии. Необъяснимо! Человек не может терпеть необъяснимого, нет ничего для него страшнее неведенья. И первобытный охотник объяснил, как сумел, придумал высшее существо, живущее в облаках. Могущественное, грозное, жестокое, ужасное, но всетаки менее ужасное, чем невнятное.

Мы объясняем и плодим необъяснимое. Невнятное — ужасно! Но оно растет. Мир отравлен страхом.

Было ли начало мира?

Будет ли его конец?

Ответа нет.

Но если я признаю бога, что он есть, он существует, он творец мира, разумное начало, то так ли уж важно знать мне, когда мир начался, когда он кончится? Да мое ли это дело — заниматься такими вопросами? Мне достаточно поверить — кто-то знает, кто-то непостижимо более значительный, чем я, кто-то, кому я обязан существованием. Тогда мое бессилие в этих вопросах законно — это не мои вопросы, не мне их решать.

Для чего я родился?

Какой смысл существования человека?

Для чего живу?

Об этом Он знает, мне не дано. Если поверишь в Него, то поверь и в то, что Он не допустит бессмыслицы. Я не знаю, в чем заключается Его смысл, я не самостоятелен, я просто подопечный, но мне вполне достаточно и того, что этот смысл существует, что я такой, какой есть, кому-то нужен, небесполезен. Я не бессмыслица!

Как говорили в старину, бог снизошел к моим страданиям. Он стал настойчиво стучаться в мою дверь.

* * *

Довольные не нуждаются в боге, и он проходит мимо них. Но и страдающие не все слышат его стук.

Готов преклоняться перед теми, у кого достаточно сил и мужества вынести любую боль, не прибегая ни к чьей помощи — ни к боговой, ни к человеческой. Готов радоваться вместе с теми, кому помогают добрые люди, глушат боль помощью и заботой.

А как часто добрые люди не хотят или не догадываются помочь никаким участием, никакой заботой. Справляйся сам, ищи железо в себе. Но можно ли упрекать человека, что он не железный? И надо помнить, что даже у железа есть свой предел сопротивляемости.

Разные люди и разные страдания!

Да нет. Причины страданий разные, а боль, какую они вызывают, может быть лишь больше или меньше, но одинакова для всех людей.

Та женщина в вагоне, страдающая за дочь, вряд ли поймет меня. Жена есть, дочь есть, есть здоровье и силы, и деньги водятся, с чего бы горевать... Вопросы с неба понахватал, ответить не можешь, но от этого без куска хлеба не останешься, есть из-за чего тужить, С жиру бесишься, добрый молодец!

А ведь я похож на тебя, женщина. Тебе неведома судьба твоей дочери, мне — судьба самого себя вкупе со всем родом людским. И нет ничего страшней неведомого. Неизвестности нельзя терпеть без ужаса. Пусть горькая, но известность, пусть даже вымышленная, пусть видимость ее — все легче.

Есть люди, которым все всегда ясно. Тусклые счастливцы, вроде того соседа, что любит поучать, пахнет лошадиным потом и даже спит жизнеутверждающе. Бог к нему не постучал в дверь. Нужды нет.

Ко мне постучал...

К тебе, добрая женщина, тоже может стукнуть... А может, ты давно уже распахнула ему свою дверь?..

* * *

Казалось бы, радуйся — нашел возможность сбросить проклятые вопросы. Но вместо радости — паника и растерянность...

Познать бога, а бог с раннего детства мой противник.

Шести лет я с отцом и матерью приехал на лето в деревню и открыл, что у меня есть бабушка.

До сих пор слышу ее голос, глуховато-напевный, усыпляющий:

Козлятушки, ребятушки,
Отопритеся, отворитеся,
Ваша матка пришла,
Молока принесла.
Бежит молоко по́ вымечку
Из вымечка на копытечку,
С копытечка во сыру землю...

Как вспомню, уже теперь, взрослому, становится уютно. Каждую минуту от бабушки можно было ждать подарка. Она щиплет лучину и вдруг откладывает полено, что-то строгает, прилаживает и... «На-ко, золотко, беги на волю». В руках ветрячок, на воле под ветром он весело крутится. Она собирается на речку полоскать белье и почему-то захватывает с собой горшок, немытый, испачканный тестом: «Идем, голубь, со мной...» Значит, что-то будет! Горшок набивается камнями, ставится на дно под воду: «Ужо, ужо, не спеши...» И я терплю, жду, пока бабушка кончит полоскать белье. Она кончает, горшок торжественно подымается, и в нем пригоршня мелкой, сверкающей, как серебряные монеты, рыбешки.

От бабушки всегда вкусно пахло парным коровьим молоком, у бабушки по лицу улыбчивые морщинки, у нее голубые, кротко слезящиеся глаза — не было на свете лучше ее человека.

И вдруг оказалось — в летней горенке, где живет

бабушка, весь угол уставлен иконами, бабушка каждый вечер отбивает перед ними поклоны.

Иконы! Их все презирают, все осуждают, надо стыдиться. Мне стыдно за бабушку, мне больно. Самый хороший человек на свете, никак не ожидал от нее плохого, и я с детской категоричностью бабушкины привычки оценил как предательство.

Отец почему-то не разрешил мне трогать иконы:

— Не обижай старого человека.

Но я все-таки одну икону тронул, не выбросил — мне бы за это попало,— а перевернул вниз головой. У бабушки слезились глаза, плохо видела, продолжала кланяться богу, который неприлично стоял вверх тормашками. А я испытывал торжествующе-мстительное чувство.

Мне тогда не исполнилось и шести лет, но я уже воинственно считал бога своим противником.

Теперь мне идет тридцать третий год, и я запоздало должен признать бога.

Я предаю память своего отца, предаю мать, которая до сих пор жива. Я не могу отделаться от презрения, какое сам в течение всей жизни испытывал к верующим. Пугает, что меня станут презирать мои же товарищи, такие же безбожники, каким я был до сих пор. Пугает, что должен иначе думать, иными глазами смотреть на мир, жить иначе! Вера в бога не рождается от одних только логических умозаключений, вера — скорей привычка. Я привык отрицать бога.

Да есть ли этот бог?..

Кто докажет мне его существование?..

Могу ли я верить несуществующему?..

А кто мне докажет, что этого бога нет?

Ученые с телескопами и радиолокационными установками? Они не уловили его присутствия...

Но если бог доступен тем, кого он сотворил, то что он за бог! Творец и хозяин величественнейшей Вселенной не величествен. Значит, микроб на песчинке, покоящийся на дне морском, соперничает с царственным Нептуном?

Есть ли бог?..

Но есть он или нет его, одно бесспорно — этот бог мне нужен.

Я знал человека, которого с помощью гипноза излечили от заикания. Врач внушил ему, что тот обладает способностью не заикаться. До сих пор такой способности

не было. Внушили — поверил — появилась! Внушенная способность стала реальностью.

Бог мне нужен! Нужно внушить себе и поверить — воображенный бог превратится в реальность.

Если он сможет спасти меня — он есть! Докажите обратное!

Сир! Я нуждаюсь в этой гипотезе!

Меня вызвал к себе главный редактор нашего журнала. Это был полный, округло обкатанный человек с бесхарактерным лицом, к которому навечно приклеилось выражение виноватой вкрадчивости. Говорил он всегда пониженным голосом, даже если сердился. Он не был ни ученым, ни журналистом, по непонятной причине считался специалистом по распространению научных знаний, хотя лично сам их никогда не распространял, а только руководил распространением. Руководил разъездными лекторами, отделом издательства, выпускающим доступные брошюрки, теперь руководил научно-популярным журналом.

— Что вы тут насочиняли? — спросил он меня.

Перед ним лежала запись моего интервью с профессором.

— К чему эти разглагольствования, что наука не дает абсолютно точных ответов? Выглядит так, что вы стараетесь доказать ущербность науки. Надо, надо переделать. От первой строчки до последней.

Я не стал оправдываться — к чему? Я лишь понял — теперь с каждым днем я буду непонятней и шефу, и товарищам по работе, по-иному гляжу, иначе думаю. А это ли не признак, что уже признаю бога, хотя все еще не чувствую себя окончательно верующим.

Вечером — Инга.

Инга с зачесанными назад густыми волосами, открывающими высокое чело, Инга с остужающим взглядом. Инга — прохладный компресс, с первых дней нашего сближения усвоившая материнскую снисходительность ко мне: мальчик может учудить всякое, не стоит уж очень серьезно принимать к сердцу его выходки. Могу ли теперь сказать ей все о себе?

— Юра, как твое интервью? Почему ты его мне не показал?

— Приказано переделать.

— Почему?

Могу ли я сказать ей!..

— Инга, тебе никогда в голову не приходил вопрос: для чего ты живешь на свете?

— Как это?..

— Да так, ответь...

— Наверное, для того, что и все.

— А все для чего?

— Меня Танька вчера спросила: почему кошки без крыльев?

— Разве так глуп мой вопрос?

— Неправомерен,— ответила, ни на минуту не поколебавшись.

— Именно?..

— Можно задаться вопросом: почему, по каким причинам крутятся планеты вокруг Солнца? Но задать вопрос: для чего крутятся, с какой целью — глупо.

— У планет, может быть, они неразумны, а у человека?..

— В конце-то концов какая разница. Человек тоже природное явление, как и планеты. Двигайся, изменяйся, живи, чтобы жить.

— Живи, чтобы жить?.. Но для этого не обязательно быть человеком. Живет и муравей в своей кучке, горя не знает. Мне мало муравьиного, хочу знать — не бессмыслица ли я?

— Мне достаточно знать, что у меня есть дочь, хочу вырастить ее здоровой, умной, хочу, чтоб была счастлива, а для ее личного счастья нужно, чтоб в мире не случалось войн, чтобы люди легко справлялись с болезнями, чтоб поля рожали много хлеба... И если я хожу каждый день в свою лабораторию, помогаю выращивать кристаллы полупроводников, то надеюсь, и это пойдет на пользу моей Танюшке — появятся такие машины, которые освободят ее от неприятной работы, хотя бы от того, чем занимаюсь я,— мою, подметаю, подтираю, варю, пришиваю пуговицы своему любимому мужу, не успеваю сесть за книги, сдать аспирантский экзамен, жизни не вижу. Мне моего смысла достаточно, захлебываюсь я в нем.

— О Танькином счастье мечтаешь? А станет ли она счастлива, даже если предположить, что войн не будет,

болезней не будет, грязные чашки станет полоскать транзисторная домработница? При безбедной жизни не задумается ли наша Танюшка — куда ее безбедная течет? А ответ-то один, и вовсе не утешительный,— к сырой могиле. Безбедность и безысходность — счастье? Ой ли?

— Ох, если б только от этого у нашей дочки голова болела, ни от чего другого!

— Мне кажется, такая головная боль — самое ужасное из всех несчастий. Жить и знать, что живешь для могильных червей, бесцельно!

— Не горюй, была бы шея, а хомут найдется. Человек всегда отыщет что-то такое, что позарез нужно, самой жизни не жалко.

«Не горюй...» То есть откажись от вопроса, не думай, почий в блаженном неведении.

А я не могу!..

Мои далекие предки придумывали себе безжалостных до ужаса богов, лишь бы не остаться лицом к лицу с необъяснимым.

Я боюсь нераскрытого вопроса, и нет тут ничего постыдного. Я боюсь, как боится все человечество, я поступаю так, как поступало все человечество,— пытаюсь объяснить непонятное любой гипотезой, если даже она бездоказательна.

Но тебе, Инга, хорошо, ты не нуждаешься в гипотезах.

Живи, чтобы жить! Этому правилу подчинялись всегда ничтожнейшие из людей, а те, что шли на костры, считали — есть что-то более ценное, более значительное, чем их собственная жизнь.

Живи для других, ради общего блага отдай свою жизнь. Но я свою единственную могу отдать для других только тогда, когда меня убедят, что эти другие будут жить со смыслом, а не просто так. Жертвовать жизнью, чтоб только кто-то бесцельно и ненужно жил,— нет, не хочу, чем тот лучше меня? Тогда пусть уж я прокоротаю свое бессмысленное в свое удовольствие.

Живи, чтобы жить! Прими это я, и мне уже ничто не будет мешать подличать, убивать, грабить других, лишь бы моя жизнь мне была приятна. Живи, чтобы жить — вот моя цель, мой руководящий лозунг, моего соседа, дальнего знакомого, всех! И все вцепятся в глотку друг другу.

Два разных человека встали к барьеру — вчерашний Юрий Рыльников и сегодняшний. Двое противников поднялись на поединок во имя истины, стараясь сразить друг друга аргументами.

Вчерашний нападал:

— На пустоту опираешься, на вымышленный костыль!

Сегодняшний парировал:

— И Эйнштейн опирался лишь на допущение — скорость света конечна.

— А разве это вымысел? Разве есть доказательства обратного?

— Конечно, нет, как нет доказательств отсутствия бога, а значит, мне ничто не мешает принять такую аксиому.

— Допустим. Но что это даст, кроме самообмана?

— Реально изменит существующую жизнь.

— Как? Каким образом?

— Сейчас люди живут в несогласии — по-разному думают, по-разному поступают,— а отсюда — взаимная вражда, но если появится один бог, один смысл для всех — взаимная вражда должна уступить место взаимопониманию.

— Блажен, кто верует. Единый смысл человеческого бытия!.. Но вспомни, что сам смиренно признавал,— этот смысл непознаваем, богово, не по зубам орешек!

— Можешь ты составить какое-то представление о дереве, видя только тень его?

— Какое-то могу.

— Так и тут. Если люди живут не в согласии, тянут в разные стороны, то, значит, кто-то из них непременно идет против бога, против смысла жизни. Сам по себе смысл непознаваем, но единение людей, их сплоченность, их содружество соответствуют высшему смыслу, как тень дерева соответствует самому дереву. А самое идеальное выражение единения людей — любовь их друг к другу...

— Эге! Старая и наивная песня: бог есть любовь.

— Не так уж не правы те, кто поставил тут знак равенства. Тень-то дерева принадлежит самому дереву. Бог есть любовь — не так уж это и плохо.

— Какой прогресс: от Эйнштейна к баптизму!

— А так ли редко мы отвергаем и вновь возвращаемся к давно отвергнутому?

Вчерашний Юрий Рыльников и Юрий Рыльников сегодняшний в постоянном поединке. Я чувствовал, что верх одерживает мое новое «Я». «Тень дерева соответствует самому дереву». Божеское лицезреть прямо нельзя, а тень его уловить можно.

Через знакомого букиниста я купил себе Библию.

Я не рассчитывал найти в ней себе бога. Как-никак я кончил институт, считаю себя сравнительно образованным человеком, во мне жив дух двадцатого века, навряд ли среди древней шелухи отыщу готовое, скорей создам своего бога, более достоверного, чем библейский.

И вначале, читая Ветхий завет, я чуть ли не на каждой странице удивлялся — чему же верили, до чего общепринятый бог мелочно-мнительный, болезненно-тщеславный, беспомощно-жестокий и ничтожный.

Казалось бы, раз ты, бог, сотворил Адама и Еву по образу и подобию своему, то не возмущайся, а гордись; если твое творение приближается к тебе, значит, оно совершенно. Нет, бог противится, когда Адам и Ева вкушают плоды познания добра и зла, бог не желает, чтоб у них открылись глаза, боится их похожести на себя, проклинает: «В болезни будешь рожать детей... проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее... Терние и волчцы произрастит она тебе!..»

А торговля бога с Авраамом, защищающим неправедный Содом. «И если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам ему осмеливается возразить: а если будет не пятьдесят, а сорок пять? Бог соглашается — пусть сорок пять, куда ни шло, пусть тридцать, двадцать, десять... Не бог, а Авраам великодушней, не от бога, а от Авраама исходит инициатива добра.

Верный Авраам не дает никакого повода богу не доверять ему, и все-таки бог не доверяет, в своей чудовищной подозрительности подвергает неправдоподобно жесточайшему испытанию. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь... принеси его во всесожжение на одной из гор...» Верный Авраам готов, и устами ангела бог тщеславно торжествует: «...Я знаю, что боишься ты Бога». Вот чем озабочен всесильный — боишься, а вдруг да нет.

Боги ли создают людей?.. Но в том, что люди создают богов по образу и подобию своему, сомневаться нельзя. Обычные люди — удобных богов.

Однако чем глубже я влезал в эту древнюю книгу, тем чаще я натыкался на такое, которое сбивало с меня спесивое превосходство.

Екклезиаст говорил: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни?..» А знаем ли это мы?..

Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
Что такое хорошо?
Что такое плохо?

Умудренному папаше ничего не стоит объяснить неразумному сыну: то — хорошо, а то — плохо, нужно только прилежно выслушать и запомнить, и ждет ясная жизнь, гарантированы безошибочные поступки.

В 1933 году папы и мамы Германии проголосовали за Гитлера — роковая ошибка, покрывшая Европу трупами, в том числе миллионами трупов детей опростоволосившихся пап и мам.

Что такое хорошо?
Что такое плохо?

Энгельс сказал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит... Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров собирания и хранения влаги». «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни?..» — вопрошал Екклезиаст.

Христос учил в Нагорной проповеди:

«Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших... Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Мы с пренебрежением относимся к христосовскому непротивлению — древность, архаика! — а сами вернулись к еще более архаичному утверждению, к тому, от чего Христос ушел: люби похожего на тебя по взглядам, по образу жизни, по мышлению, «люби ближнего твоего

и ненавидь врага твоего». А кто друг, кто враг? Как часто сам себе становишься невольным смертельным врагом.

Христос предупреждал:

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?»

Не в овечьей ли одежде предстал пророк Гитлер, суливший немцам царствие небесное на земле? И не обещает ли Китаю с терновника виноград пророк из пророков «самое, самое красное солнце» председатель Мао? «По плодам их узнаете их...» Берегитесь лжепророков, особенно тех, кто обещает вам с колючего терновника сладкий виноград!

Библия на моем столе, книга книг, в ней и узость, в ней и скудость наших предков, взывавших к мелкому, злобному, мстительному богу — преклонись и покорись перед ничтожеством! Но в ней и нетленная их мудрость. Люди остаются людьми: то, чем болел темный скотовод Палестины, болит и во мне, что возмущало его, продолжает возмущать и меня. В мире есть вещи непреходящие!

Никчемен ветхозаветный бог! Принять его целиком не могу, не хочу, готов отвернуться.

Но мне нужен бог! Нужен! Без него нет жизни!

Сочини себе своего бога тайком, в одиночку верь в него.

Тайком, в одиночку, воровски, стыдясь того, кому поклоняешься? Твой идеал постыден, твое поведение заворно! Ну и ну!

Не может быть бога для себя. Вера в бога была и будет руководством, как жизнь. Нельзя жить в одиночку. Нельзя иметь единоличного бога! Хочешь или нет, а придется искать тех, кто разделяет твои взгляды, твои принципы, твои идеалы. Твой бог — общий бог, не пытайся выдумать какую-то новую карманную религию для индивидуального пользования, принимай ту, какая есть.

Она чем-то тебя не удовлетворяет? Что ж, как и многое, с чем ты миришься. Мирись и в этом. Мирись и помни, что и до тебя люди искали смысл бытия, искали и многое нашли, не изобретай заново деревянного велосипеда!

От Библии я метнулся к работам Эйнштейна. Может, он уже нашел для меня бога? Мудрец двадцатого века, во всей истории таких по пальцам перечесть, и он, говорят, от атеизма повернул к религии! Он ли не авторитет для меня! Заранее готов почтительно следовать.

«Основой всей научной работы служит убеждение, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность. Это убеждение зиждется на религиозном чувстве».

И только-то?..

Религиозность, родившаяся от бессилия доказать истоки упорядоченности! Природа велика — дух захватывает, чувство бессилия тут не удивительно. И это называть религиозностью! Религиозность, не признающая верховного смысла, конечной наивысшей цели!.. «Космическое религиозное чувство», да это же просто-напросто восторг естествоиспытателя, пусть тревожный, пусть дух захватывающий. Дух захватывать может и головокружительная высота на краю пропасти, но никому и в голову не придет обожествлять пропасть.

Эйнштейн ничего не обожествляет, свое головокружение называет религией, «не ведающей ни догм, ни бога».

Мой отец, убежденный безбожник, был бы в восторге от такой религии. Уж он-то постоянно находился в дух захватывающем восторге перед величием природы.

А мне-то нужен бог!

Великий мудрец, мне с тобой не по пути: все-таки какой-никакой бог лучше, чем ничего.

— Что ты читаешь?

Танюшка садится на корточки перед диваном, на котором я валяюсь с Библией, острые исцарапанные коленки подняты до ушей, ясные глазенки снизу вверх в сиянии, вкрадчиво нежный колорит белобрысых локонов и розовой кожи, тугие щеки раздвинуты в улыбке. Сама улыбка трогательно беззуба — мы как раз расстаемся с молочными зубами.

— Ты что читаешь?

— Старые сказки, Танюшенька.

— Про бабу Ягу, костяную ногу?

— Нет, не про бабу.

— Почитай мне... Или расскажи.

Я мог бы ей рассказать сказку о том, как в семье плотника родился сын, как к его матери пришли седые волшебники и сообщили, что видели звезду, по которой узнали — родился новый царь. Во всех других сказках волшебники не ошибаются, а тут ошиблись — мальчик вырос и стал не царем, а нищим, ходил из одного города в другой, учил людей, как быть добрым. За это нищего схватили и повесили на кресте.

Я бы мог ей рассказать, но боюсь. Сказка о добром нищем не раз творила в истории зло. Боюсь, что и моей дочери она принесет беду. Пусть пока не знает эту сказку, вырастет, может, тогда расскажу, может, сама не пройдет мимо нее.

И я рассказываю обычную сказку о бабе Яге, живущей в избушке на курьих ножках: «Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом!» Безобидная сказка...

Дочь я оберегал от сказок, а себя тешил... Да, чаще всего сказкой об Иисусе Христе.

На протяжении всей жизни внушали мне, что такого не существовало, он — личность невзаправдашняя, досужая выдумка.

Вполне возможно. Хотя Корнелий Тацит в своих знаменитых «Анналах» упоминает о нем: «И вот Нерон... передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат...» Корнелия Тацита отделяло от Христа не больше времени, чем меня, скажем, от Достоевского. Но возможно, эти слова — позднейшая приписка монахов-переписчиков...

Ну, а если он и был, то наверняка нисколько не походил на того Христа, которому вот уже около двух тысяч лет поклоняются люди. Наверняка настоящий Христос не совершал тех чудес, которые ему приписывают, скорей всего не произносил и тех возвышенных речей, какие украшают Евангелие. Того Христа, которому дивились и молились поколения, создала не мать-природа, а время и люди, вкладывавшие в один образ, в одну личность то, чего искали в себе и в других.

Был ли настоящий Христос?.. Да мне наплевать на это. Я люблю выдуманного, выстраданного, люблю его, как неистовую человеческую мечту. Люблю великую, охватившую века и народы сказку о добре.

Все прежние сказки славили Силу, откровенную, грубую, которой больше свойственно разрушать, а не строить, убивать, а не защищать, карать, а не спасать. Юпитер, Марс, Аполлон, Венера — разные варианты царственной Силы, совершенные сочленения мощных мускулов, великаны телом и... пигмеи духом. Им чуждо сострадание, они целиком подвластны чувству мстительности, до крайности себялюбивы, до тупости равнодушны и не любопытны. Их было много, этих богов, нависавших над мающимся человечеством. Они величаво взирали с высоты на то, как внизу сильный душит слабого, нищий кормит богатого, превозносятся убийцы, презирается скромность. Всесильные боги были довольны стонущим от неурядиц миром.

И вот против этих богов, грозных и жестоких, выступает Он. Нет, Он не могуч и не грозен. У Него немощное тело, слабые руки, нисколько не похож ни на бога, ни на царя, ни на героя. Он родился в хлеву, вырос в семье бедного плотника, знает с детства, что такое голод и жажда. Беззащитный, как большинство людей, сильней других страдающий от жестокости своего времени.

Его слушаться, а не богов!.. Боги могут покарать, а Он...

Над Ним смеются, Его презирают, как любого слабого.

Но есть такие, которые не могут смеяться над Ним, так как сами смешны, не могут презирать, так как сами презренны. Он им нравится как собрат по несчастью, они Его слушают. А он проповедует странную вещь — любовь. То, что не кормит и не защищает. Он убеждает обиженных, что это их единственное оружие. Ежели ты полюбишь не только того, кто к тебе добр, но и врага своего, то какая нужда ему враждовать с тобой? Любовь побеждает силу.

Старые боги жили силой. Испокон веков считалось, что в палке больше правды, чем в ладони, защищающей голову. Меч праведней палки. Бога не достанешь мечом, от бога не защитишься, но можно умилостивить его, подкупить. Между человеком и языческими богами существовали многочисленные сделки и не было любви,

Тому, кто готов укрыть любовью, как плащом, даже своего врага, старые боги не подходили.

Нищий и беззащитный, Он бродит по свету. Слабые идут к Нему. В залитом кровью мире слабых больше, чем сильных. Слабые могут стать силой!

И старые боги содрогнулись от страха. Еще велика их власть над людьми, велик страх перед ними, велико желание умилостивить их.

Бос и наг, Он ходит по свету, проповедует любовь, а вокруг накаляется ненависть. Он против богов, таких привычных, таких грозных! Он, кто родился в хлеву, не силен и не грозен...

И сильные, и слабые, и злые по природе, и добрые одинаково продолжают верить в могущество насилия, в бесполезность любви. Сильные, слабые, злые, добрые, обидчики и обиженные — все ополчились против Него.

А Он не прячется и не раздает оружие своим ученикам. Он не собирается защищаться. Он знает, что обречен.

Мятежник против богов! Ха-ха! Как легко с ним справиться!..

Владыка мира Рим любил порядок, строго следил: каждому — свое. Даже смерть раздавалась строго по рангу. От цезаря до плебея каждый может быть умерщвлен, но не так, как раб. Раба казнят по-рабски — распинают на кресте. Нет более унизительной смерти.

Он родился в хлеву, а умер, как раб. Он возродился богом, смертью смерть поправ!

Старые грозные боги погибли по-божески — просто тихо исчезли из людской памяти. Он, слабый, оказался победителем, «смертию смерть поправ».

Сказка, живущая две тысячи лет! Я тешил себя ею. Я никому ее не рассказывал. Ни дочери, ни жене...

Я боюсь, это становится моим обычным состоянием.

Я открыл себе бога, чтоб мог спокойно и дерзко глядеть на жизнь, чтоб хранить твердость духа при мысли о неминуемом конце,— служу высшей цели, подчиняюсь высшим законам.

И для меня, сына неверующих родителей, для меня, с младенчества до зрелых лет слышавшего лишь одно — бога нет, религия — духовная сивуха, поклонявшегося всесильной науке, вдруг «сжечь то, чему поклонялся,

поклоняться тому, что сжигал»,— право же, не просто решительность, нет, акт мужества.

А где оно, мое мужество?

Я невольно вздрагиваю, когда слышу: «Рыльников! Тебя главный зовет!» Боюсь обмолвиться лишним словом с товарищами, боюсь всего.

Отвернутся как от помешанного — это страшит!

Хотелось бы гордо сказать: нет, презираю, все нипочем.

Хотелось бы, да не могу.

Сам я готов бросить работу, и сделал бы это с наслаждением и немедленно. Готов снести смех, издевки, общее порицание, общее презрение, готов во всем собой жертвовать... Но жертвовать-то придется не собой.

Уйти гордо с работы и с этой спесивой гордостью сесть на шею Инге, на ее не очень-то щедрую зарплату младшего научного сотрудника?..

Но это еще не страшно. Страшней, когда слава обо мне пойдет гулять среди наших знакомых. При встрече с Ингой каждое «здравствуйте» будет произноситься с особым смыслом. И ощупывающие взгляды, и уже на простенький вопрос: «Как поживаете?» — нельзя ответить с будничным безразличием: «Спасибо. Помаленьку». Какое там помаленьку, жить-то тебе, уважаемая, приходится с человеком не совсем нормальным, того... спятившим. И, возможно, эта слава докатится до жильцов дома, в спину Инге станут указывать пальцем: «Та самая, муж у которой...» Окажешься на положении Риточки из девяносто шестой квартиры — терпи, Инга.

Я верю — Инга все вытерпела бы, если б разделяла мои взгляды. Но не разделяет, и нет надежды, что когда-либо разделит. Ей терпеть? Ради чего?..

Но самое-то страшное не Инга — Танюша. Ей уже пошел шестой год, скоро и в школу. Ее там начнут учить тому, чему учили и меня: бога нет, религия — дурман. А папа-то живет в дурмане. Презирай, Таня, отца, он у тебя не такой, как у всех, с изъянцем. Но от отца-то отказаться непросто, не любить его трудно. Отец или школа? Отец или все люди кругом? На чью сторону стать? Непосильное для детских плеч, недолго и сломаться. Хочу ли этого? Нет!

Скажу больше: счастье дочери мне дороже моих принципов. Презирайте за беспринципность!.. Нет, не

смеете! Что за принципы, если они требуют человеческих жертв? Чужим не осмелюсь пожертвовать, родной дочкой и подавно. «Избушка, избушка, встань ко мне передом...»

Люблю дочь, люблю жену! Да, люблю Ингу. В эти дни я это понял с той силой, какую обычно испытывают перед утратой.

В здоровом теле — здоровый дух, гладкая кожа, влажный взгляд, плывущая походка, и жизнь свою не считает бессодержательной... Разве обязательно она должна походить на меня, так же мучиться, так же дергаться, так же исступленно искать? Что, если все люди, как я, начнут судорожно искать бога? В судорожных метаниях человечество просто забудет о жизни. А раз я признаю, что бог неспроста заселил планету людьми, то он должен быть и заинтересован, чтоб эти люди нормально жили. Инга — нормальный человек. Ей дана жизнь, и она бесхитростно ею пользуется, не смей упрекать за это!

А как Инга хороша! На раздавшихся плечах гордо посажена крупная голова с пышными волосами, скупо отливающими старой бронзой, с мраморной глыбой лба, и глубокие серые до черноты глаза, и линии тела, презирающие застенчивость, и тугие бедра, и сильные ноги, и дремотно медлительные движения рук. В здоровом теле — здоровый дух. Создана быть матерью и любовницей, одна из продолжательниц рода человеческого, из тех, кто не даст затухнуть жизни. Творец жизни должен быть ею доволен.

Я поверил в бога, значит, признал — эта гипотеза единственно верная, значит, правда на моей стороне. Но что за правда, если она стыдливо прячется? Скрывать правду — не значит ли лгать!

Совершил мужество и стал трусливым. Нашел в себе силы быть предельно честным перед собой и начал лгать другим.

Теперь вся моя жизнь состояла из лжи.

— Рыльников! Тебя главный зовет!

До сих пор мне удавалось увиливать от рубрики «На атеистические темы».

— Юрий Андреевич, вот тут пришло читательское письмо. Пишет не кто-нибудь, а учитель, причем старый,

преподававший физику. Он, видите ли, агрессивно доказывает, что наука и религия не противостоят друг другу. Примерчики исторические приводит: Кепплер хотел стать пастором, Ньютон-де писал богословские трактаты и прочее в этом духе. Надо ответить резко, но без грубостей, главное — поаргументированней. Организуйте, в ближайший номер просунем.

Старый учитель физики из провинции, по профессии, по положению, да, наверное, и по возрасту схожий с моим отцом. Как знать, не признал ли бы бога мой отец, поживи он подольше? Сын-то его, воспитанный в безбожии, признал...

На добром, бесхарактерном лице главного выжидание — говори «есть» и удаляйся. Меня подмывает сказать: «Не буду!»

И объяснить почему. Главного редактора хватит удар, мои товарищи ахнут от удивления, ахнет Инга.

Не буду!

И аукнется на Танюшке. Как ни дороги мои принципы, но счастье дочери дороже.

Я ничего не сказал и двинулся к выходу.

— А письмо-то!.. Какой-то вы теперь рассеянный...

Я молча вернулся, забрал письмо. Главный редактор проводил меня недоуменным взглядом.

Ни я богу, ни бог мне, лучше отказаться друг от друга. Сядь и напиши ответ такой, какой требует главный,— «резко, но без грубостей, поаргументированней». Откуда я возьму аргументы?..

Ни я богу, ни бог мне... Нет, этот бог уже влез в душу, не вытравишь. Не могу без бога, но не могу и походить на библейского Авраама, который бросил на жертвенник своего сына. Бог перестанет быть для меня богом, если потребует жертву близкими. Тебе, господи, дано распоряжаться судьбой рода человеческого, давать жизнь и отнимать ее, так не перекладывай эту тяжкую обязанность на мои слабые плечи, не выдержу!

Моя собственная жизнь зашла в опасный тупик — ни назад, ни вперед, ни стоять на месте.

Я показал письмо Олегу Зобову, тому автору — физику, что доказывал — наука не осчастливит. Олег с охотой согласился:

— Стоит выпороть старика за ренегатство.

Олег сам служил негреющей науке и уж, конечно, не постесняется отнять у другого то, что как-то того согревает. Я нанял убийцу на собрата по духу.

Доколе?! Противен сам себе! Доколе так жить?!

Никогда не решусь предать дочь, буду предавать из часа в час, изо дня в день самого себя. И в конце концов так изолгусь, что дочери все равно придется стыдиться отца, Инге — мужа, и знакомые отвернутся в презрении.

Да нужна ли мне такая жизнь? Да нужен ли такой отец Танюшке? Не лучше ли будет отказаться от жизни?..

Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое...

Кто подскажет мне выход!

* * *

Пустая, давно обворованная колокольня тихо и грустно плывет среди непорочно белых облаков. Мертвый памятник былой веры. Птичий хлопотливый посвист в сочной зелени. Заросшие травой и кустарником старые могилы. Настолько старые, что уже не напоминают о смерти, только о покое. Что из того, что в земле лежат кости людей, когда-то радовавшихся и страдавших,— тишина, и птичий посвист, и молодая сочная трава на удобренной земле. В таких местах невольно веришь в красоту смерти.

Но мне еще суждено жить. Это место не для меня — ошибся, надо искать другое.

Искать себя. Найду ли?

После всего, что со мной случилось, должен найти. Самое трудное позади. Перебрался, выкарабкался, не скатился в пропасть. Дорогой ценой — душа в лохмотьях.

Кто подскажет мне выход?

Отче наш, иже еси на небеси...

Бог не собирался подсказывать, бог со стороны наблюдал, как сам в себе судорожно барахтается маленький человек.

Кто подскажет?

Инга?.. Я же обязан известить ее. Мой долг открыться, а не прятаться. Самый близкий мне человек, ближе нет!

* * *

Вечера — трагическое время для благополучных. Но я уже давно забыл о благополучии, а потому стал больше страшиться утра, обещающего новый лживый день, постыдную нелегальщину: «Не дай бог, чтоб заметили...»

Вечерами я предоставлен сам себе, а значит, могу перевести дыхание.

И вот однажды вечером я набрался духу и подсел к Инге.

Теперь по вечерам она обкладывалась книгами. Их лаборатория заканчивала какую-то важную работу, руководителей, похоже, собираются выдвинуть на Ленинскую премию, перед Ингой же открывается возможность защищать кандидатскую диссертацию, перескочив аспирантуру.

Я знаю, что ей трудно будет меня понять. Меня пугает разговор, но что же делать, не сегодня, так завтра — миновать нельзя.

— Инга...

Она отодвинула книгу, положила обкусанный карандашик. Еще в студенческие времена я заметил за ней слабость — грызть в задумчивости карандаш, она не любила пользоваться авторучками.

— Инга.

Лицом к лицу, вплотную. Проникающий, внимательный взгляд, бездонный мрак зрачков, бездонный и загадочный, всегда смущавший меня. Я никогда не мог понять до конца, что у нее шевелится под чистым, неженским лбом. И бесстрастие в скулах, и твердые губы...

Сейчас я должен сообщить ей — шутка ли! — верю в бога! Ей! Которая всегда четко знает, что нужно и без чего можно обойтись, что достижимо, а что нет. У нее даже увеличения рассчитаны наперед. Расчеты не на выгоду, нет, личную выгоду она добронравно презирает, реально ли — вот ее мерило.

Мне сейчас нужно от нее немало — раздели со мной мою веру! И в оправдание не могу сказать ничего иного, как только — так хочу. А для Инги и свое собственное «хочу» — не закон. Любое «хочу» должно для нее быть доказано. Докажи я формулами, что бог существует, тогда она поверит и через «не хочу». Формулами — невозможно. На что я рассчитываю? Но если признаться,

то уже задний ход дать нельзя — мол, пошутил, наваждение, забудь, отказываюсь. Инга пока не подозревает о моем двурушничестве, о моей другой жизни. Узнает — проникнется презрением...

Лицо к лицу, мрак зрачков, одно слово — и все рухнет, одно слово — и жизнь расколется. Не осмеливаюсь, молчу.

— Что с тобой? — В голосе тревога.

— Нет, ничего.

— Рассказывай, что случилось?

— Голова болит что-то. Ничего особого, с главным на работе сцепился...

Это у меня частенько случалось, частенько приходил домой с испорченным настроением.

Зрачки в зрачки, и в ее зрачках тревога.

— Ты какой-то, Юра... Какой-то изжеванный весь в последнее время. Что с тобой?

— Ровным счетом ничего,— ответил я сердито.— Пойду прилягу.

Я лег на диван, отвернулся к стене, спиной чувствовал взгляд Инги.

Никто не подскажет. Выхода просто нет. Жить дальше нельзя.

Ночью я тихонько прокрался в ванную комнату, закрыл дверь на задвижку.

Сияющий кафель стен, текущий глянец ванны, сверкание никелированного смесителя. Когда-то, вот так же ночью, я обмирал здесь от полноты жизни — поставлена на рельсы, освобожден от тяжкого труда с натугой толкать ее вперед, сама покатится... Простой душе мнилось простенькое.

«Какой-то изжеванный весь...» Я встал перед зеркалом и начал вглядываться в себя с отвращением и с любопытством. Обычная, ничем не примечательная физиономия с бесхарактерным носом, нервические складочки в углах рта не вяжутся с простодушной полнотой губ. В молодости мне нравились эти складочки — печать одухотворенности! — жалкое щенячье тщеславие. Как невыгодно отличается эта ширпотребовски скроенная рожа от твердого, с пугающим лбом лица Инги. В последние годы я еще начал полнеть — рыхловатый жирок на ще-

ках, щеки сейчас мяты, словно захватаны пальцами, под глазами темные, как подпалины, круги, сами глаза сухо блестят, сухо и как-то судорожно. «Изжеванный...» Физиономия алкоголика, пропустившего первые выстраданные сто граммов.

И этот-то Юрий Рыльников — богоноситель! И этот-то человек дерзнул ответить на величайшую из загадок — для чего живем, какой смысл, какая цель?.. Что случится, богоноситель, если ты исчезнешь? Кто заметит и кто пожалеет?..

Инга? Да! Но она принимает тебя за другого, сочинила тебя. Инга станет жалеть свое сочинение. Станет жалеть Танюшка, но она-то уж вовсе не догадывается, что из себя представляет ее отец.

Богоноситель... Где уж... Гнешься и качаешься под своей ношей. Инга раньше всех разглядит — двуличен, лжив, несмел. Рано ли, поздно разглядят и другие. Готовься к презрению, презирай сам себя. Этого не вынесла даже Риточка из девяносто шестой квартиры.

Как просто было бы спасти Риточку!.. Спасти, а зачем?.. Чтоб сохранить жизнь, ненавистную ей самой, жизнь, ненужную другим, досадную жизнь — сплошное надругательство над человеком. Спасти! Неискреннее человеколюбие мещан, оправдывающих этим и свое ничтожное существование.

Ванна, одухотворенный сосуд со сглаженными углами. Я слышал, что она может стать и орудием убийства. Нужно налить воды, лечь, лезвием безопасной бритвы вскрыть вену... Говорят, безболезненно, просто уснешь...

Я представил, как утром Инга находит меня в кровавой ванне, и содрогнулся... И только не это, нет! Инге такой подарок! От него не очнешься до конца дней. Нужно ненавидеть своих близких, чтоб преподнести такое, а я их люблю. И стоит ли спешить...

Я вышел из ванной.

А утром... Как часто утро все переворачивает наизнанку. Утром мне уже хотелось жить. Утром мои мысли потекли совсем по-иному.

У меня не было бога, безбедно прожил без него свыше тридцати лет, нашел, призвал, принял. Но призвал-то его для того, чтобы было легче жить. А жить стало со-

всем невмоготу. Так зачем же мне бог? Сам призвал, сам могу его и отправить обратно — не нужен, мешаешь. И все станет на свои места, не нужно будет кривить душой и прятаться — нормальный человек, похожий на всех. Просто.

Я почувствовал себя счастливым от этой простоты, я радостно сообщил Инге, что вчера на меня напала хандра, что теперь здоров, голова чистая, и вызвался проводить ее до метро. Инга сначала пытливо приглядывалась, не очень-то верила в мое полное выздоровление, но я-то искренне верил, как тут не поверить и ей.

— С переливами ты у меня.

— Шелковый.

— Да уж...— Инга ответила на мою шутку блуждающей улыбкой.

Выглаженное лицо, плывущая походка, под меховой шапочкой — сумеречная синь глаз, заставляющая оглядываться мужчин,— Ин-га!.. Вчера я дошел до точки, надо же — ванная, сюрреалистический кошмар. Забыть! Забыть, что было вчера! Как прекрасно сегодня!

А днем Олег Зобов положил мне на стол статью — ответ верующему учителю физики. Я, читая, поймал себя — коробит. Олег предлагал поговорить, как физик с физиком, но где-то между строчек ощутимо давал понять, что эти физики далеко не ровня: один — ветхозаветный, ньютоновский, всю жизнь вдалбливающий девчушкам нехитрые законы классической механики, другой — дитя Эйнштейна и Нильса Бора, ниспровергатель. И этот ниспровергатель язвил над физиками, которые открыли возможность объяснить секреты природы с помощью духа святого.

Статья коробила, и это испугало меня — опять за старое! Ну, нет, принимай, если хочешь жить, как все, не занимайся богоспасением.

— Реки, отче,— попросил Олег.

И я ответил:

— Все в порядке. Пойдет.

Я послал его статью в набор. И весь день ходил с ощущением, что проявил силу воли, победил собственную слабость — выздоравливаю.

Напрасно я напускаю мистику, моя болезнь не столь уж таинственна, просто испытываю некую информационную недостаточность, а в результате — духовный кризис,

нарушение сложного процесса, который называется жизнью.

Возьми себя в руки и покончи с богом как можно быстрей! Иначе этот бог прикончит тебя. Шутка ли, ты начал уже грезить кровавыми ваннами.

Три дня бог был моим врагом, три дня я ходил в победителях. Я даже стал хорошо спать по ночам. Только одного не произошло за эти три дня — почему-то не мог заставить себя помечтать о ненаписанной книге, даже мысль о ней была неприятна. А в спокойное время неначатая книга — первое, о чем я начинал мечтать.

Через три дня в досыле пришла набранная статья. Меня вызвал главный редактор. Я-то не сомневался — уж раз мне понравилось, должно понравиться и главному, его мнение никогда не расходилось с общепринятым, а общепринятое — бога нет, верующие глубоко заблуждаются.

Главный сидел за своим столом, как нахохлившаяся курочка,— верный признак, что чем-то недоволен.

— Послушайте,— сказал он, пряча глаза,— что вы тут насочиняли?

Он подтолкнул мне мягкой ладошкой свежую полосу.

— А что? Вы же просили...

— Я просил — поаргументированней, а тут вместо аргументов щелчки с издевочкой. Придет наш журнал с этой статьей в провинцию — голос из Москвы... А в провинции всегда найдется какой-нибудь ретивый, который истолкует — раз в Москве пинают да издеваются, нам и подавно надо усердствовать. И начнут трясти этого старика. А он, может, последние дни доживает. Совесть надо иметь... И кажется, умные ребята, один вот-вот доктором станет...

«Совесть надо иметь...» — и это говорил мне наш главный. Мне — он! А при всей своей природной доброте этот человек обладал весьма покладистой совестью, допускал ее в рамках дозволенного.

И как невинно ответил я ему: «Вы же просили...» Раз просили — готов! Готов вопреки совести.

И как я быстро забыл, что сам только что сходил с ума. Сходил и страдал, другие не смей! Старика учителя, похожего на своего отца, человека, который думает так, как сам думал вчера, топчите, трясите, дозволяю, не жалко!

Но я же хочу вернуться к прежнему! К прежнему! А это возможно?.. Можешь ли ты, как прежде, верить в науку? Можешь ли из памяти выбросить разговор с веселым профессором? А сомнения в святости Зельдовича — Смородинского ты напрочь забыл? И случайно ли, что ты в эти дни не хотел думать о своей будущей книге?.. И от проклятого вопроса — для чего все живут, с какой целью? — ты можешь прятаться три дня, неделю, но не вечно, рано или поздно снова замечешься, снова кинешься к богу — выручай, без тебя не объясню!

А может, все-таки приспособишься от всего отмахиваться, от всего прятаться, лгать уже не только другим, но и самому себе. И для убедительности подбадривать себя — бей, души́ тех, кто не похож на тебя, жалеть незачем, не думай о совести, ее у тебя, насквозь изолгавшегося, просто нет.

Хочешь стать прежним? Прежний Юрий Рыльников был честным человеком, ты становишься прохвостом.

После этого незначительного случая все вернулось на круги своя. Не хочу жить, прячась и обманывая! Не хочу, но и не осмеливаюсь взбунтоваться, заявить все открыто: «На том стою и не могу иначе!» Рад бы, а Инга, а дочь, а как-то отзовется на них, как-то они примут мой бунт?..

Какой выход? Кто подскажет? Никто!

Остается одно: нет, не ванна и не лезвие бритвы, не кусок веревки... Инге это искалечит всю жизнь, всю жизнь страдать: не поняла, не разглядела, не предупредила. Я люблю ее, не хочу ей несчастья. Нет, не ванна, по-другому... Может же, скажем, произойти несчастный случай — электричка сбила зазевавшегося человека где-то на перегоне Лосиноостровская — Мытищи.

Решение зрело, но я тянул...

А тем временем пришла весна, по согретому асфальту девочки с косичками прыгали «в классики», городские скверы окутались дымком проклюнувшихся листьев... Мне не исполнилось и тридцати трех, обидно уходить из мира, так и не доказав: «На том стою и не могу иначе!» А наверное, я смог бы доказать, если б не страх за семью. Наверное, я для чего-то пригоден. Богов для веры люди создают. Я смог бы участвовать в этом созидании.

Весна входила в город. Ползла из всех щелей пронзительная травка.

Я не могу жить, но не могу и умереть. Какой выход? И есть ли он?

Весна! Весна!.. В молодом скверике напротив расцвела юная вишенка. Листьев почти нет, только белая кипень. Есть ли выход?

Есть!

Я люблю дочь, люблю жену. На всем свете нет у меня никого ближе, никого дороже. Но именно потому, что они так близки, родны до боли, я должен от них бежать...

Весна! Весна! Свадебный куст вишни...

Сейчас мы все трое — Инга, дочь, я — прикованы друг к другу. Кандальные каторжники, мы не должны мечтать о свободе до тех пор, пока вместе. Мы любим друг друга и закрепощаем друг друга. Инга не может засесть за диссертацию, я не могу оставаться самим собой — не живу, а прячусь, трусливо лгу и притворяюсь...

Весна! Весна! Пора возрождения...

Мы любим. Рано ли, поздно, эта взаимная крепостническая любовь вызовет ненависть и вражду. Я уже задыхаюсь. Пора!..

У Танюшки не будет отца, у меня — дочери.

Но другого-то выхода нет.

А может, есть? Может, не навсегда, а только на время? Проветрись, остынь и — вернись.

Надеешься: у тебя пройдет, станешь прежним? Созревший плод не может стать снова зеленым. Есть процессы необратимые, и ты это хорошо понял на горьком опыте последних дней.

Не станешь прежним, не рассчитывай на прежнюю жизнь. У Танюшки не будет отца...

Исчезни! Изыди! Сгинь! Не свершишь это сейчас, случится позже — бредишь же кровавой ванной и зловещим стуком электрички...

Исчезни, пока не поздно! Куда?..

Туда, где есть похожие на тебя. А они есть, есть, письмо старого учителя — доказательство тому. Но только не к этому учителю. Жить рядом с тем, на кого навел, кого трусливо не посмел взять под защиту, жить и помнить о своем отравленном прошлом? Нет! Прошлое зачеркнуть!

Инга примет твое бегство как предательство. Что ж, она по-своему права. Предательство, но последнее, чтоб

больше уже не предавать никого. Простите, родные, вы ведь не захотите, чтоб я исчез иным способом.

Прости, Таня... «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом». Я уже не смогу рассказать тебе самой главной сказки о добром нищем.

И вот яркий майский день, башня Казанского вокзала в голубом облачном небе, очередь у вокзальной кассы:

— До Новоназываевки, пожалуйста.

До Новоназываевки не доехал.

* * *

Стою сейчас посреди заброшенного кладбища, гляжу на облупленные стены заброшенной церкви, на пустую колокольню. Башня Казанского вокзала далеко в прошлом...

Ошибся, не там вышел, здесь бог давно не ночует. Надо искать дальше.

Отче наш, иже еси па небеси!
Да святится имя твое,
Да приидет царствие твое,
Да будет воля твоя
Яко на небеси и на земли.

Мне надо бога. Мне надо хлеба. «Даждь нам днесь», Инга еще пока ни о чем не догадывается...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Река нежно обнимает лобастый холм. С высоты холма, с крутого лбища в мутную, еще не улегшуюся после весеннего половодья воду глядит коренастая церквушка. Избы полуизумленно отбежали за реку, в гуще драночных и тесовых крыш стоят дома не кондово избяной, а казенной, под железом, постройки — здесь магазин, здесь школа, здесь контора колхоза, здесь центр села Красноглинки.

В Красноглинке единственная во всем районе действующая церковь, а потому я упрямо пробивался сюда.

В конце прошлого века Чехов добирался от Москвы до Сахалина без малого три месяца. Сейчас от Москвы

до Сахалина лету каких-нибудь десять часов. Планета сократилась по размерам раз в двести!

Сократилась, но не всюду. Село Красноглинка теперь от Москвы дальше Сахалина, дальше Антарктиды. Я до него ехал шесть дней — сутки поездом и пять от станции через районный центр Густой Бор на случайных машинах. Пятисуточная одиссея по весенним непролазным дорогам: Чехов своим «конно-лошадиным странствием» сумел бы попасть сюда куда быстрее.

Во время пути у меня было достаточно времени разузнать о Красноглинке.

Первый человек там — некий Густерин, председатель колхоза, личность, судя по рассказам, легендарная. Никого в районе не били так строгачами, никого так часто не перебрасывали с понижением, не снимали с работы, как Густерина. По причине ли — «она меня за муки полюбила» или же «битый неслух ближе сердцу ласкового неука», но так или иначе, а нынче районное начальство, как к никому, относится к Густерину с уважением, хотя колхоз у него и не самый богатый...

Жила в Красноглинке еще одна личность, не менее знаменитая — поп Амфилохий. Он славился тем, что был красив,— даже неверующие девицы ездили из райцентра за тридцать километров в Красноглинку поглазеть на него и послушать. Он подписывался всегда первый на государственный заем, сразу выкладывал на стол многие тысячи, он красочно и вдохновенно ругал в проповедях греховную страну Америку и восхвалял космические спутники. Куда и как исчез отец Амфилохий — никто мне не сказал, но славу его хранят. Кто на его месте сейчас?.. А бог его знает, церковь-то действующая, значит, и поп быть должен.

Уборщица в районном Доме колхозника мне даже посоветовала, у кого могу остановиться в Красноглинке:

— Евдокия Ушаткова, как перст одна, характером тихая, заботливая и не совсем еще стара, обиходить будет.

— Раз возле церкви живет, то, наверно, и в бога верит? — спросил я.

— Как не верить. Мужа-то у ней еще на фронте убили, а дочь лет десять тому назад похоронила. Замолишься. Да тебе-то что за беда, за свою веру она лишнего с тебя не попросит.

Евдокия Ушаткова — это то, что мне нужно.

Из окна избы тетки Дуси в наплывающих сумерках виден поросший молодой травкой тихий проулок, по которому бегают лишь отощавшие за зиму, со свалявшейся нечистой шерстью овцы. Над травянистым проулком, над черноземно-драночными крышами, над молодыми черемухами, даже над вскинутыми в небо на шестах скворечниками патриарше возвышается старая береза — ствол, как выветренная скала и угловатое переплетение костистых ветвей. Листья на них растут местами — береза клочковато зелена, долгий век ее подходит к концу — усыхает.

Усыхает и Евдокия Ушаткова, тетя Дуся — маленькая голова туго стянута ситцевым платочком, на скулах сыренький вишневый румянец, нос острый, синичий, глаза запавшие, голубые, как поблекшие цветки ленка, суетлива, но без услужливости, разговорчива, но без назойливости.

— Уж не знаю, понравится ли тебе, сокол. Палаты-то мои не красны. Сама-то сплю в обнимку с горшками.

В просторной избе какая-то нежилая пустота, некрашеный, незатоптанный пол с узловатыми глянцевитыми сучками, могучие, проморенные временем, отполированные задами не одного поколения лавки, на пол-избы печь, выбеленная серой известкой, под ней щербатые горшки, стол со скобленой столешницей, иконы в углу, безликие, сумрачно копотные, возле них — жестяной висюлькой лампада. Мой угол за занавеской, там все место занимает деревянная кровать с холщовым грубым матрасом, набитым сеном.

Я разбирал свой чемодан, вместе с электробритвой вынул свою потрепанную Библию — на ветхом кожаном переплете оттиснут крест.

— Никак, свяченое? — удивилась тетка Дуся.— Уж не веришь ли в бога, сокол?

— Верю.— Мое первое открытое признание, конец моей нелегальщине.

— Ну-тко! Вот уж по виду не скажешь. Видать, и в городе бога вспомнили... А что это за книга такая?

— Библия.

— Ох-ти, батюшки! Дай хоть в руках подержу. Издаля видеть приходилось, а в руках не держивала. Не-ет...

Всю жизнь у нее не сходило с языка имя Иисуса Христа, всю жизнь старалась жить по законам, записанным в этой книге и... «в руках не держивала...». Грубые, растрескавшиеся пальцы сейчас робко гладят потрепанный переплет.

Втихомолку, про себя я переживаю минуту недоуменной растерянности: как же так, не зная, верила — чему и кому?.. Но подкупают искренностью грубые, жесткие пальцы, робко ощупывающие святую для тетки Дуси и совсем незнакомую книгу.

— Слышь-ко, сказывают — в ней все начисто записано, что наперед будет. И война наша давным-давно была загадана, и жди, мол: сатанинское пламя возгорится, так плохо будет, так плохо — смерти все станут искать. Страсти господни, сохрани и помилуй нас! Правда ли это?

— Нет.

— Как же так?

— Наперед предсказывают цыганки-гадалки, да и те врут, не краснеют.

— А читал ли ты, молодец, книгу-то?

— Не один раз.

— И вещего слова не приметил?

— Не приметил.

Тетка Дуся вздохнула.

— Не каждому, видать, оно открывается... Тут в нонешнем году к нам на троицу старичок приходил. Вострый старичок, на память чесал, как по-писаному... Неужели сам выдумал вещие-то слова, в жизнь не поверю!

— Хочешь, я прочту тебе то место, которое считают вещим?

— А то нет?.. Господи! Господи! Помилуй и спаси нас...

Тетка Дуся с бережностью присаживается к столу, прикрывает горсткой рот, помаргивает льняными глазками в ожидании чуда. Я открываю Библию на откровении Иоанна:

— Вот слушай... «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи...»

— О господи! Господи!

— «...И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя...»

— Страсти господни! Дым-то этот будто бы уже не раз выпустили для проверки. Бонбой особой.

— «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям...»

— Свят! Свят! Велик бог во небеси. Все мы черви под ним.

— Ну вот и твои вещие слова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Тетка Дуся глядела на меня горестно раскисшими глазами.

— Как есть, все сказано, как есть...

Верит и страдает, рада бы не верить. Что же заставляет?..

Сила слова?

Саранча, подобная закованным в латы коням, жена, облеченная в солнце, зверь с семью головами и десятью рогами — далекие от жизни, потусторонние слова, бредовые образы, наивные страсти! Им трудно верить, но верят, уже много веков ждут в испуге нелепых предсказаний. Людей всегда страшит будущее, потому-то вера легко вырождается в суеверие.

— Как есть, все сказано. Ну, чисто все...

— Не прилетит из дыма саранча, не станет она мучить людей. Люди сами себя измучивают, рады свалить вину хоть на саранчу...

— Господи! Господи! Все мы грешники и к богу с прохладцей... Ты-то вот из молодых, чего тебя-то к богу потянуло? Аль тоже беда тряхнула?..

— Почему только от беды? Почему не просто так, справедливости ради?

— Э-э, милушко, люди — что колоды, лежнем лежат, толкнет вот в бок, тогда катятся.

— А тебя что толкнуло? Разве не с детства в бога веруешь?

— В детстве — одно, в детстве мамка за руку в церковь водила, забылось это потом, думать не думалось. И что думать, когда муж в доме, когда хлеб на столе, когда сама здорова — износу себе не чаешь. Господи! Господи! Что уж зря лукавить, сколько лет жила так, иконы в углу для красы держала. Господь-то и осерчал

на меня. Мужа-то моего, как война, так на третий день... Помню, прибежал с поля: «Есть ли сухари, жена? Сушить новых некогда — срочно берут». У меня только-только хлеб вынут, теплый еще, сунула в котомку два каравая... Из тех, кто с ним ушел, двое вернулись — Федька Солодкин без ноги да Василий Ситников, что через два дома живет. Доченьке моей Клавдеюшке тогда седьмой годок шел. И сели мы с ней, голубь, на травку. В колхозе-то выдавали — на весь год аванс в фартуке несешь, за день съесть можно. Дочь-то росла, а ела ли когда хлеба вдосталь — не упомню. И одежки никакой, одни валенки на двоих — она в училище убежит, а я дома босая на печи сижу. Иной раз, бывало, раздумаешься — и варом обдает: почто ты, доченька родимая, в такое время родилась? Но школу кончила, вроде и война давно позади, а травкой все одно в избе пахло, потом чуток полегче стало, так на тебе — сказалась эта травка да травка. Все девки как девки — тоже, чай, не на сдобных булках росли, одна моя, что старушка, сидпем в избе, кашлять стала до крови. Уж я крутилась, уж врачам надоедала, у меня ведь иной радости нету, тольку Клавдеюшка. С ума бы мне сойти, умереть бы вместе с нею, так нет — не умерла, только когда хоронили, ум за разум зашел, мужики держали, чтоб в могилу не кинулась. Жива осталась, а почто?.. Одна-одинешенька, без подпорки, словно столб при дороге, даже родни близкой нет, а дальняя, вроде Мишки Ушаткова,— подальше держись от такой родни. Жить дано, а зачем?.. Вот тут-то и вспомнила о боге. Без бога, поди, недели бы не протянула, а как к богу-то повернулась — согрелась. И одна — да не одна, чувствуешь, что он рядом,— значит, жить можно. Только вот за людей иной час страх возьмет. Уж очень легко они живут, а вдруг да настанет тот день, что в книге Библии записан,— смерти станут искать, ан нет, даже этого не получишь. Хоть люди мне нынче никак не родня кровная — ни мужа, ни дочери, свояка не отыщешь, а все ж как не пожалеть беспутных... Ой, что это я лясы точу?! — вскинулась тетка Дуся.— Обрадела, что живая душа рядом, не наговорюсь никак, а время-то позднее и ты с дороги. Спи, молодец, тебе постелено уже. Ты спи, а уж я по-своему, по-старушечьи с богом потолкую. Растревожил ты меня...

Крохотный, недвижный, словно железное лезвие, огонек лампадки не в силах осветить божий лик на доске. Где уж ему, крохотному, пробить едва ли не вековой слой копоти на иконе. Качается по занавеске тень тетки Дуси, течет шепоток, томится под потолком язычок лампадки, косматый сумрак бревенчатого угла обступает его.

Тетка Дуся, одинокая, словно межевой столб, тетка Дуся, чья связь с будущим, казалось бы, оборвалась на смерти дочери, молится. Ее, отвергнутую, пугает время грозной расплаты: «Люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Ей за себя бояться нечего, а вот за тех, кому предстоит жить дальше, за тех, кто, быть может, еще не родился, кто даже кровью с ней уже связан не будет,— за них страшно. Тетке Дусе, неудачнице, чужой среди современников, близки и дороги поколения, идущие ей на смену, дорога их судьба. Это ли не величайшее бескорыстие? А сумела бы тетка Дуся прийти к нему, не имей она за душой бога? Всеобъемлющая, всеобъединяющая, надежная гипотеза. Нуждаюсь в ней я, нуждается тетка Дуся, нуждаются все, она порождает любовь настоящего к грядущему. Для такой обездоленной тетки Дуси, наверное, не существует слова «чужой», а от этого легко живется ей, одинокой, нет чужих, все свои, даже не родившиеся.

Качается по занавеске тень, течет невнятный шепоток к богу, спрятавшемуся за вековую копоть.

Теперь меня удивляет, что находятся такие, кто считает своим долгом отобрать у тетки Дуси ее бога.

Висит над занавеской в косматом припотолочном сумраке легкий, как крыло мотылька, огонек, скользит тень по занавеске... Тетка Дуся разговаривает с опекуном, он всемогущ, он справедлив, никогда не ошибается, по-отцовски добр, по-отцовски суров. Не верь — опиум! А легко ли осилить тетке Дусе одинокую жизнь без этого опиума!

Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое...

Шепоток в темной избе...

Я еще не умею разговаривать с богом. Не верю, что он может услышать. Икона с копотью для меня не святость. Сумею ли?.. А как хочу! Как хочу!

Заснул я незаметно под шепоток.

Первая ночь в селе Красноглинке.

* * *

У него было много противников — одни исчезли, других заставил считаться с собой. Он из тех, кто должен носить печать победы на челе. Меня и прежде пугали победители, потому что доказывать свою победную силу можно ведь только за счет чьей-то слабости.

Я вошел в кабинет Густерина.

— Можно к вам, Валентин Потапович?

За столом сутулился лысый человек, внимательно читал, но не деловые бумаги, а какую-то книгу. Поднял голову, взглянул с учительской строгостью сквозь очки в старомодной железной оправе. Потертый пиджачишко, рубаха в полоску, застегнутая до подбородка, лицо загорелое, задубенелое, изрытое крупными морщинами, рыжие жесткие усы и выражение легкого напряжения во взгляде, какое бывает только у близоруких.

— Садитесь, одну минуточку...

Пошарил на столе рукой, нашел карандаш, что-то пометил в книге, откинулся на спинку стула:

— Я вас слушаю.

— Хочу просить вас — устройте на работу. Вот...

С излишней поспешностью я выхватил из кармана документы, положил на стол. Когда клал, разглядел отодвинутую Густериным книгу «Исследования по истории опричнины» академика Веселовского. Председателю колхоза знать ее вовсе не обязательно.

Густерин сдержанно, с прищуром, сквозь очки оглядывал меня, странного для Красноглинки типа,— мятый, но добротный костюм, серая ворсистая кепка, трехдневная щетинка на интеллигентной физиономии (у тетки Дуси не было в избе розетки, куда бы я смог включить свою электробритву). Густерин оглядел, ничего не сказал, склонил лысину и принялся внимательно изучать мой паспорт.

А я его — от объемистой лысины до крупных мослаковатых, с обломанными ногтями рук.

Право, мне хорошо известны люди простоватой наружности с обломанными ногтями на огрубевших пальцах, жадно, урывками глотающие то, что на практике им никогда не понадобится. «Исследования по истории опричнины» Веселовского... Мой отец был из таких. Периферийный учитель физики, он хорошо знал работы Гель-

веция, Канта, Шопенгауэра, но до конца жизни так и не смог толком разобраться в теории относительности. Интеллигенты с «мужицкой косточкой», провинциальные утописты, в одиночку для себя решающие проблемы переустройства мира. Не из них ли Густерин? Нет, навряд ли, утописты никогда не могут заставить кого-либо признать себя. Этот же заставил считаться с собой даже начальство.

— Москвич?

— Да.

— Образование высшее?

— Да.

— По какой специальности?

— Физик-теоретик, но научной работой не занимался, был научным популяризатором.

— Это что же, лекции читали?

— Нет, работал в журнале...— Я назвал свой журнал.

— Та-ак...— озадаченно произнес Густерин, настороженно поблескивая стеклами очков.— Та-ак... А если начистоту: милиция следом за вами не явится по розыску?

— Нет, не беспокойтесь.

— Приятно слышать. Значит, популяризировали науку?.. Та-ак... Физик-теоретик?.. Та-ак... Я бы вам предложил раз в неделю выступать у нас с лекциями. Темы сами выберете. Хотите рассказывайте — есть ли жизнь на Марсе, хотите — о строении атома. Только доступно.

— Нет.

— Почему?

— Потому что аппетит приходит во время еды. Сначала попросите рассказать о Марсе и о звездах, потом о происхождении мира, а там потребуете: докажи научно — бога нет. От этого-то я как раз и сбежал.

Густерин долго-долго вглядывался в меня.

— Не хотел влезать к вам в душу,— произнес он,— пытать — отчего да почему. Но уж раз сами заговорили, то договаривайте до точки. Почему сбежали?

— Разошелся с общепринятыми взглядами на религию.

— Верующий?

— Да.

Молчание. Густерин продолжал ощупывать меня из-за очков.

— Слыхал, что такие люди есть, но, признаться, не рассчитывал увидеть воочию.

— У вас же под боком действующая церковь, значит, верующие для вас не могут быть диковинкой.

— Есть. Бабка Пестериха, бабка Лухотина, Евдокия Ушаткова — хватает, но они институтов не кончали, не физики-теоретики... Для меня встретить вас — все равно что увидеть в колхозной конюшне зебру.

— Но надеюсь, что ваше удивление не помешало бы запрячь зебру в телегу?

— В какую? Хотел впрячь вас в руководство клубом. Оказывается, этот хомут у зебры полосатой холку трет.

— Научным пропагандистом я мог оставаться и в Москве, не стоило ехать в Красноглинку. Прошусь простым колхозником.

— Вы умеете водить трактор или комбайн?

— Нет.

— Сможете установить электрооборудование на механизированном току?

— Нет.

— И плотником никогда не были?

— Нет.

— Ну, а лошадь запрячь тоже не умеете?

— Тоже нет.

— Могу поставить вас только на земляные работы.

— Хорошо.

— Работа тяжелая.

— Что ж...

Густерин как-то грустно повесил лысину:

— Черт-те что! Физик-теоретик, подпоясанный ломом.

— Пусть вас это не смущает. Я и сам рассчитываю скоро забыть, что когда-то учился на физика.

— Видно, не в коня корм... Фрося!

Появилась одна из девиц, сидевших в соседней перед председательской комнате.

— У вас есть рабочая одежда? — спросил меня Густерин.

— Все на мне,— ответил я.

— На вас обмундировочка для прогулки по улице Горького...— Кивнул застывшей у дверей Фросе: — Пусть выдадут резиновые сапоги, брюки и старый мешок помягче — на портянки.

— Брюки только ватные, Валентин Потапович.

— Летом-то... Вот что, сведите его прямо сейчас к Пугачеву, скажите, что этот гражданин выразил горячее желание копать у него навозохранилище.

На круглом, как луна, лице Фроси удивление, но, впрочем, довольно умеренное.

— И скажите, что не найдем ему рабочие брюки, пусть уж Пугачев сам что-нибудь сообразит. И еще передайте мое сердитое: по-жеребячьи не ржать, если этот доброволец на первых порах не сможет отличить у лопаты цевье от штыка. Пусть учат и помогают... И, наверное, вы без денег, физик?

— Признаться...

— Выпишите ему авансом пятнадцать рублей. Извините, у нас гонорары скромные, авансы даем небольшие... Выпишите — не на земле, так на чем-нибудь другом отработает. Паспорт его возьмите, у себя оформите и в сельсовет сообщите, что Красноглинка обогатилась новым гражданином... Есть у вас какие-нибудь ко мне вопросы?

— Нет,— ответил я.— Спасибо.

Густерин потянулся за «Исследованиями по истории опричнины».

Нас трое землекопов — Санька Титов, Митька, по прозвищу Гусак, и я.

Санька — приземистый, угрюмо молчаливый парень. Он казался вялым, неповоротливым, ленивым, но так только казалось — копает, как машина, не успеешь оглянуться, а уже ушел по колено в землю. Митька Гусак меня предупредил: «За ним не гонись. Гналась собака за мотоциклом, да на полдороге сдохла».

Сам Митька ошпаренно-краснолиц, безбров, вечно весел, блестит белозубой улыбочкой. Он называет себя «штрафничком»: торговал в сельповском ларьке, да уличен в мелкой растрате, до суда не довели — пожалели, но с торговой точки сняли, замаливает грехи лопатой.

Митька подарил мне старые холщовые рукавицы:

— Одену тебя и обую, чтоб груши не околачивал... По-божески, как в святом писании.

И заговорщически подмигнул мне: мол, знаем, что ты за птица.

Спасибо Митьке, я и в рукавицах-то натер себе руки до мяса, а что было бы без них?

Мы втроем копаем большую яму — навозохранилище, эту яму потом обложат кирпичом, зацементируют, плот-

ники возведут над ней здание — типовой коровник на сто шестьдесят голов.

Плотников пятеро, главный из них — Пугачев, бригадир строителей, и мы, землекопы, у него в подчинении. Он суров на вид — татарская широкая физиономия из-за тупых торчащих скул кажется вогнутой, словно медная чаша, узкие глаза горячи, ноги чуть кривоваты, походка враскачечку — ни дать ни взять воин Чингисхана, такому бы по степи на коне скакать, а не обтесывать топором бревна. Я щеголяю в его штанах — «шибко глазасты»,— колени и зад в заплатах: «Ну да красоваться тебе здесь не перед кем».

Самый пожилой, самый степенный из плотников — лысина ничуть не меньше, чем у председателя Густерина, внушительный твердый нос — Михей Карпыч, за свой нос прозванный «Руль». С ним работают двое его взрослых сыновей, погодки Ванюха и Пашка, тоже смиренно-степенные, неразговорчивые, тоже, как отец, носаты, обоих зовут по отцу «Рулевичами». И еще пятый плотник — соломенно-буйноволосый, нос пуговицей, губы девичьи, пухлые, щеки тугие и вызывающе румяные — Гриша Постнов, паренек с принципами и твердыми планами. Он окончил год назад десятилетку, попробовал с разгону поступить в институт, но срезался, собирается поступать снова, а пока суд да дело — «зашибает топором копеечку». Густерин плотникам платит щедро... На сброшенном с плеч франтоватом Гришином пиджаке всегда лежит книжка...

Такова бригада, в которую я попал. Нет пока каменщиков, но они еще нагрянут.

Я не сразу всех разглядел, в первые дни мне было не до того, чтобы приглядываться.

Пугачев строгонько приказал Саньке Титову, «классному» землекопу:

— Ты собой теперь не очень увлекайся, ковыряй да одним глазом посматривай на новенького.

И Санька добросовестно косил на меня, хмуровато подкидывал советы:

— Ты коленом помогай грабарке... Вот так... И не тужься лишка, а то об...

Через минуту — новый совет:

— Не хватай полную с горушкой — к концу дня лопнешь, наверх-то кидаючи.

А Митька Гусак, кому не доверили мое обучение, скреплял «духовными» сентенциями:

— Работка — богу дар, когда из ж... пар.

Кой до чего я доходил и сам, без наставлений — беря штык, не дави лишь ногой, жми всем телом, не захватывай жадно, не захватывай и скупо, ровно столько, чтоб можно без усилия отвалить.

Но село недаром называлось «Красноглинка» — стояло на тугой глине, пот разъедал глаза, пот, как слезы орошал красноглинскую землю, плечи становились деревянно непослушными, в руках появлялась дрожь, нога срывалась с лопаты...

«Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят...» Красноглинка...

— Перекур! — раздавалось сверху.

Я еще из последних сил ковырял раз, другой, чтоб не первому бросить работу, сдерживая стон, разгибался, лез за Митькой Гусаком наверх.

Мокрое тело обдувает ветерок, от бревен, от свежей, девственно чистой щепы пахнет смолой, бездонно и голубо небо, грозово синеет лес за накатным зеленым полем — прекрасен мир, прекрасен покой, великое счастье, что можно все видеть, все слышать и не подавать самому признаков жизни.

Меня не трогали, со мной не заговаривали — понимали, что я полутруп, едва способный видеть и осязать. Только Митька Гусак не удерживался, чтоб не отметить:

— Сварился, браток.

А где-то рядом курили, умиротворенно беседовали — нет дождей, а нужны бы, не пора ли звать каменщиков, ямы-то под фундаменты готовы, Гришка Постнов, зеленый работничек, поднапортачил — взял затес широко. Говорили и обо мне так, словно меня и не было рядом:

— Надо бы еще человека на яму — новенький жидковат.

— Оклемается. Старание-то есть.

А я слушал, и ничто не шевелилось во мне, все слова проходили мимо. Важен только ветерок с поля, только смолистый запах щепы, только необъятный голубой свод с тугими дремотными облачками и покой, покой, покой — счастливая неподвижность. Но как она коротка!

— Поднялись, что ли?..

И я приводил в движение свое непослушное, скрипящее суставами тело, сначала садился, секунду отдыхал, потом, стиснув зубы, подымался, шагал к яме. Из нее неприветливо тянуло влажной глубинной прохладой. Пальцы рук в холщовых рукавицах, казалось, совсем окостенели — не разогнуть, не зажать цевье лопаты. Но кой-как зажимал, мало-помалу разогревался, и снова пот в глаза, пот на развороошенную тяжелую землю. Село Красноглинка — тугая глина ему опорой. «В поте лица твоего будешь есть хлеб...»

До нового истощения, до спасительного выкрика:

— Перекур!

Первые дни добирался до крыльца избы тетки Дуси почти на четвереньках. Но самое страшное — утро, когда вопил каждый мускул, каждый сустав прочно срастался, страшно подумать, что надо зашевелиться, но надо — подымал с жесткого матраса свое страдающее тело, и пальцы за завтраком не могли держать деревянную ложку.

В эти дни я ни о чем не думал — ни о смысле жизни, ни о боге, не вспоминал московский дом, Ингу, дочь... С лопатой в руках я отвоевывал себе право жить в Красноглинке, жить под нищей крышей тетки Дуси, питаться картошкой в мундире, стонать от ломоты и тупой боли по утрам.

Но пришла минута, когда я не упал пластом на траву, а сел вместе с другими на бревна, почувствовал, как сладок горький махорочный дым минутного отдыха.

* * *

Тетка Дуся встретила меня на крыльце:

— Гостюшко к тебе. Отец Владимир пришел познакомиться. С час, как сидит.

Я уже знал, что отца Амфилохия, красавца и ратоборца с «греховной Америкой», заменил другой отец — Владимир. До сих пор я не помышлял знакомиться с ним, до него ли, когда полумертвый едва добираюсь до постели.

Раза два за это время заходила к нам бабка Пестериха, она же церковный староста, она же в обиходе красноглинских баб-верующих — сестра Аннушка. Этой общей сестрице перевалило уже за семьдесят, водянисто-одутловатая старуха, на студенисто-желтом лице приплюснутый

нос, волосатая бородавка под правой ноздрей, натужная, с сипотцой одышка. Она разгибалась у порога и, угрожающе уставившись в угол, в полном молчании долго и размашисто крестилась.

— Бог помочь, добрые люди.

Деревянная клюка громыхала по половицам от порога к лавке. Сестра Аннушка садилась прямая, неприступная, заводила сердитую песню:

— Объясни, мил человек, что это ныне в мире стряслось? Выходит, образованным снова в бога верить выгодно стало. Иль скажешь — без выгоды? В жисть не поверю! Чтоб образованный, со сноровкой, из самой Москвы-матушки к нам, в нашу дыру, скок-поскок, просто так — здорово, ребяты! Ни в жисть!.. Что-то есть. Это наша вера чиста, как стеклышко, мы здесь люди без хитрости — для бога все, с бога нам ничего... Не корыстны-ы...

Я не возражал, я мечтал тогда только упасть в кровать, а потому шел за занавеску, ложился и засыпал под сурово бубнящий голос:

— Спаситель-то наш сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи!» То-то что горе, когда книжники к вере снова дорвутся. Образованные-то на бога с высоты поглядывают...

Сейчас я уже не так устал, могу встретить отца Владимира честь по чести. Можно считать — он угадал явиться...

Отец Владимир... Вот так отец!

Навстречу мне с лавки поднялся тощенький юнец — большие уши подпирают поля шляпы, битнические космы, узкое бледное лицо, не столь прозрачная, сколь призрачная бороденка, несмелая улыбочка, собирающая сухие ранние морщинки на запавших щеках, мешковато висящий пиджачок, брюки, заправленные в кирзовые голенища больших сапог. Отец Владимир моложе меня лет на семь по крайней мере.

— Извините... Дошло до меня... Если так, то весть благая...

— Рад с вами познакомиться... Да вы садитесь.

— С вашего разрешения.

Он был очень конфузлив, этот юный отец. Снял с головы шляпу и не знал, куда ее деть. Прямые бесцветные

волосы падали на воротник, на щеки, но не закрывали мальчишеских больших серых ушей. Затылок у отца Владимира плоский, какой-то беззащитно трогательный.

— Позвольте вас спросить прямо,— проговорил он, мучая шляпу.— Это правда? Вы разделяете?..

— Говорила же я иль повторить?..— ответила тетка Дуся, собирая на стол.— Верует. И Библию всю от корки до корки прочел.

— Невероятно!

— Что тут невероятного? — спросил я.— Вы вот тоже верите.

— Невероятно, что такой человек появился в Красноглинке. Бог услышал мои молитвы!

— Ваши молитвы?..

— Истинно! Я ждал вас!

— Меня?

— Не лично вас, конечно, но вроде вас. Да нет, что я, мечтать не смел.

— Право, не понимаю.

— Но позвольте, позвольте рассказать... Я из Прибалтики. Окончил семинарию. Моя мать была глубоко верующей, в детстве она бросила в меня семя веры. Отца не знаю и не хочу знать, по рассказам, он был весьма нехороший человек — запойный пьяница и ругатель. С детства я ничего иного не желал, как нести людям слово божие. Исполнилось — получил приход, а это... не так легко теперь получить. И все хорошо, все хорошо, не жалуюсь, но порой бывает тоскливо. Ведь я тут один... Впрочем, нет, конечно, не один... Но все, кто прислушивается здесь к слову божьему, знаете ли, в годах... и что скрывать — темны. Нет, нет, не попрекаю этим и не обижаюсь, грешно даже думать, но иногда душно, душно — старые лица, жалобы на болезни, рассуждения чаще самые ничтожные. Ох, как порой хочется услышать свежее слово, увидеть свежее лицо! Но ведь я для всех поп Володька. Кто чуть-чуть образованней — от меня нос воротит или же с первых слов норовит доказать, что бога нет. Молил господа, чтоб послал мне человека понимающего, с кем на равных бы слово сказать... Не смел надеяться, а исполнилось! И кто? Из Москвы! С научным образованием! А правда ли, что вы тот самый Рыльников, что освещающие статьи в журналах помещали?..

— Был тот, да, видимо, с тем покончено.

— Понимаю! Понимаю! Никто этого здесь не поймет, а я понимаю и преклоняюсь!.. Статьи ваши я читал. Да, да! Может, удивительным покажется, а я журналы выписываю, особенно такие, которые о науке сообщают. Великое удивление охватывает перед дарованным господом разумом. Я и научно-фантастическую литературу люблю. Братьев Стругацких весьма чту. Проникновенно пишут.

Отец Владимир передохнул после своей пылкой проповеди, на впалых щеках выступили красные пятна, глаза, блестя невылившейся слезой, почти влюбленно глядели на меня.

— Вы давно уже здесь?

— Третий год пошел. А до этого, считай, приход с год пуст стоял. Прежний-то священник, можно сказать, правдой или неправдой сбежал отсюда.

— Почему?

— Буду откровенен перед вами — корыстный был человек. До изменений жил широко — лошадь держал для разъездов, мог бы машину иметь, да это в глаза бросалось, а так — дом полная чаша, ковры, мебель дорогая, деньги направо-налево швырял, в Москву и в Ленинград ездил просто так — проветриться. А тут перемены, доходы урезали...

— Какие перемены? Верующих стало меньше?

— Верующих не меньше, только церковными деньгами теперь уже не священник распоряжается — церковный совет. Не своя рука владыка, из чужой получи, да не больше, чем назначено. А церковным старостой у нас сестра Аннушка, кажется, имеете честь знать ее?

— Имею честь.

— Она не расщедрится. Отец Амфилохий год терпел, два терпел и не вытерпел. Был — да нет, похоже, даже сан с себя снял.

— Ну, а вам как?

— Мне — что. Сыт, одет — и ладно. Вот только тоскливо. Горжусь своими святыми обязанностями, жизни не пожалею, чтоб слово божье донести, но и самому живое слово услышать хочется. Могу ж я хотеть малого?

И он так беспомощно и просяще поглядел на меня, что я поспешил его заверить.

— Можете.

— Господи! Мог ли помыслить, что меня здесь с полуслова понимать станут! Господи! Радость для меня ве-

ликая! — И отец Владимир замялся.— Не осмелюсь предложить, но отметить эту радость хочется. Я же к вам — не как облеченный саном, не-ет, как человек к человеку.. Осмелюсь ли?..

Он вдруг откуда-то из-под полы своего мешковатого пиджака вытянул поллитровку.

— Праздник отметить...

И отчаянно побагровел, заметив мое изумление.

— Ох, батюшко! Грех все же...—заметила тетка Дуся.

— Но могу же я на минуту забыть, что я не поп Володька, тоже человек, как и все! — Звонкое мальчишеское отчаяние в его голосе.

— Можете. Дуся, подай стаканы.

Закатное солнце вызолотило тихий травянистый проулок за низенькими оконцами.

Мы сидели друг против друга, тетка Дуся — сбоку на уголочке с пылающими щеками, с покрасневшим лоснящимся носом — тоже после долгих отнекиваний пригубила стопочку.

У моего нового товарища, отца Владимира, возбужденно розовели большие уши. После восторженных признаний в мой адрес: «Великую душу нужно иметь, чтоб решиться... Подвиг апостольский!» — разговор затронул Апокалипсис от Иоанна, которым я в первый красноглинский день просвещал тетку Дусю.

Я высказал свои соображения:

— Здесь неверие в торжество добра, если хотите. Иоанн Богослов, один из учеников Христа, волей или неволей тут выступает против человеколюбивых принципов своего учителя.

У отца Владимира округлились глаза, дрогнули битпические космы на висках.

— Странно,— придушенным шепотом выдавил он.

— Что же странного?

— Так можно все святое писание под сомнение поставить.

— А разве вы всему верите, что написано в Библии?

— Каждому слову, каждой буковке!

— Даже тому, что в первый день творения бог создал свет, а звезды, луну, солнце только на четвертый? Свет раньше источников света? Этому верите?

— С первых строк вам пробный камень бросается. Испытание! Осилите себя, переступите соблазн неверия,— значит, прошли проверку, значит, верующий.

— Но ведь легче всего такой экзамен выдержит доверчивый идиот. Неужели богу интересней иметь дело с безмозглыми дураками?

— А вы забываете, что Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное»?

— Это звучит для меня как оскорбление Христа. Выходит, он настолько не уверен в себе, что предпочитает блаженных и юродивых нормальным людям, бессмыслицу — мысли.

— Но это же вопиюще! Вы, оказывается, неверующий! — выкрикнул отец Владимир.

— Нет, верующий, но не из блаженных. Способен критически осмысливать, отметать нелепицы, брать полезное.

— Сначала не поверите картине творения, потом мимоходом посомневаетесь в словах учителя, дальше не поверите в исцеление Лазаря, в насыщение пяти тысяч пятью хлебами, наконец, будете отрицать божественное вознесение на небо, поставите под сомнение самого Иисуса Христа? Какой же вы верующий после этого?

— Совершенно верно, в фантастические чудеса, приписываемые Христу, не верю, но это нисколько не мешает мне верить Христу, именем бога зовущему людей к взаимопониманию!

— Христос без чудес!

— Без чудес он мне ближе, понятней.

— Христос без чудес! Обычный человек уже не сын божий! Обычных, хороших, добрых людей прошло по свету видимо-невидимо. Вы хотите, чтоб Христос затерялся среди них? А он тем только ценен, что единственный, неповторимый. Христа-спасителя отнимаете у людей своим неверием!

— А мне, собственно, все равно, из чьих уст люди услышат нужное слово, лишь бы это слово помогало людям жить.

— Нет! Нет! Вы не верите! — Голос отца Владимира дрожал.

— Тогда объясните, что же меня сюда занесло?

— Вы не верите, вы только хотите верить! И не можете! Жажда веры — еще не вера!

В это время за дверями в сенях раздался стук палки.
— Сестра Анна идет! — всполошилась тетка Дуся.— Бутылку хоть со стола, от греха подальше...
Но было уже поздно. Сестра Аннушка, пыхтя, переступила порог.

Она скользнула взглядом по столу, по нашим лицам, выпрямилась, с обычной величавостью принялась размашисто креститься в угол, не произнося ни слова.
— Та-ак! — наконец сказала она, простучав палкой к лавке.— Та-ак... Рада бы честь честью молвить: бог помочь, да язык не повернется. Дела-то деются безбожные.
На разгоревшемся лице отца Владимира появилось покорно тоскливое выражение.
— Чего присмирели-то? — продолжала сестра Аннушка.— Давайте дальше, что стесняться-то, божьи угоднички. Ну, с образованного спрос не велик. Книжники да фарисеи — народ заклятый, про них в святом писании сказано: «Любят предвозлежания на пиршествах». А вот ты-то, батюшка, чин священый срамишь, посмотрись в зеркало — лик перевернутый, волосья дыбом... Пастырь духовный, ан нет, на чучелу огородную смахиваешь.
— Хватит! — тоненько крикнул отец Владимир и с размаху стукнул узкой ладошкой о стол, зазвенели стаканы.— Сил нет сносить! Шагу не ступи, словом не обмолвись — слежка, укоры, по струнке ходи! Бога любите, а к людям злобны! Про фарисеев вспомнили, так вспомните, что Христос им ответил, какая наибольшая заповедь в законе. Возлюби господа и возлюби ближнего твоего. Обе равны, на обеих закон держится! У вас только один костыль. Хромаете!
Сестра Аннушка выслушала не дрогнув:
— Вовсе пьян, пастырь. Иди-ко проспись.
— Я не к вам в гости пришел! Не смейте гнать!
— Мотри, батюшко, мир-то на моей стороне будет, коль до большого спору дойдет. Мир и попросить может, чтоб прибрали тебя от нас. Куды ты денешься, такой лядащий, скажи спасибо, что здесь держим.
Отец Владимир схватился за волосы и застонал:
— Стыд-но! Стыд-но! Что я вам сделал?.. Перед чужим человеком! Что он подумает? Что?! Стыд-то какой!

В его стоне я услышал вопль о помощи, вопль слабого, забитого человека. И, едва сдерживая себя, я спросил:

— А любите ли вы бога, сестра Анна?

В избе стало тихо. У отца Владимира остекленели еще не остывшие от обиды глаза. На сестру Аннушку нашел столбняк, желтое водянистое лицо стало восковым, рытвины обозначились на нем. Тетка Дуся неловко стукнула о стол чашкой.

— Я что-то сомневаюсь.

— Я?.. Я?.. Бога?..

— Вы язычница, Анна. Не христианскому богу, а злому мамоне поклоняетесь.

— О господи,— тихо охнула тетка Дуся.— Уж так-то зачем?..

— Для вас бог — дубинка, чтоб дубасить ближнего по голове. Тот нехорош, этот плох, кого ни возьми — все богу не подходят. Выходит, бог-то для вас одной, вам только служит. Не верите вы в бога — пользуетесь им. И бог-то ваш единоличный — злобный, мелочный, вам под стать. Разве может он служить опорой людям? Какой он бог, идола себе сотворили, сестра Анна!

— Это я?.. Я? Идола?.. Я язычница?.. Да кто из вас столько перетерпел за бога?.. Да я за веру нашу православную, вот она знает,— кивок в сторону тетки Дуси,— в тюрьму пошла, под ружьем меня водили лес рубить... За бога, за веру нашу... Не отказалась!..— Сестра Анна задыхалась.

— Терпели? Может быть. Только много ли пользы от вашего терпения другим? Вытерпели, отвоевали, чтоб синяки ставить своим богом-дубинкой. Вы вот скажите: хоть раз в жизни вместе со своим богом доброе дело кому сделали?..

— Вот они, господи! Вот они объявились, антихристы! Образованные, язык-то ловко подвешен, с белого на черное повернуть умеют. Да за что же мне напасть такая на старости лет?! Дуська! Ты-то чего столбом стоишь? Мы-то с тобой сызмала знакомы. Ты-то знаешь, на что я пошла ради веры-то! И молчишь! Под твоей крышей срам терплю!

— Будет вам, право. Распетушились, спасу нет,— вступилась тетка Дуся.— И ты, Юрка, охолонь, круто не бери, Аннушка-то тебе не в матери, в бабки годится.

— Господи! Господи! Где правда? — по-детски со всхлипом выдохнул отец Владимир.

— Вот они, образованные-то, от них зло. От них не спрячешься, во все щели лезут. К нам ну-тко в Красноглинку... И в горло, в горло!..— Сестра Аннушка стала с натугой подыматься, выражение на ее оплывшем лице было страдальческое.

— От образованных зло.— Я повернулся к отцу Владимиру.— Слышите? Ей выгодно — «блаженны нищие духом». Среди темных да духом нищих раздолье такой праведнице, легче своим богом-дубинкой пустые головы проламывать.

— Господи! Господи! Где правда?..

— Попомни, Дуська! Давно такого сраму не терпела. Уж не чаяла, что в твоем доме на такое нарвусь...

Колыхаясь дряблым телом, сестра Аннушка выплыла в дверь, палка сердито простучала по сенцам.

— У меня на чужом пиру похмелье,— грустно промолвила тетка Дуся.

Отец Владимир скорбно сморкался в платочек.

А я вдруг с какой-то пронзающей отчетливостью, словно вынырнув из глубокого сна, увидел перед собой темные бревенчатые стены, паклю в пазах, щели, где прячутся тараканы, серую печь с разверстым зевом, щербатые горшки, ухваты, тетку Дусю в замусоленной бумазейной кофте.

— Господи! Господи!

И где-то далеко-далеко отсюда — неправдоподобно прекрасный мир: асфальтовые прямые улицы, людская суголока на тротуарах, потоки машин, комната с солнечными, яркими ван-гоговскими «Подсолнухами» на стене, книги, книги на полках, Инга, плывущая в электрическом свете... Далеко-далеко! Да жил ли я когда в том мире? Было ли?

— Господи! Господи!

Скорбно сморкающийся в платочек батюшка Владимир, отец-парнишка, полчаса назад радовавшийся столь малому — на минуту удалось стать человеком! И где-то сейчас, сердито сопя, вонзая в землю деревянную клюку, волочит ноги сестра Аннушка... К ним ехал, ради них бросил дочь, жену, налаженную чистую жизнь, работу, которой интересовались сотни тысяч читателей нашего журнала. Да было ли?.. Неправдоподобно!

— Ну, я уж пойду... Извините, что так случилось... У меня ведь в жизни всегда — чуть радость какая, и сразу же за эту радость по голове, по голове... Пойду. Извините...

Я не стал удерживать отца Владимира. Не дай-то бог, чтоб он остался и снова принялся требовать от меня безоговорочной веры. «Жажда веры — еще не вера!» Да есть ли во мне и эта жажда? И что такое вера?.. По словам правоверного отца Владимира, это просто наивное бездумие: ведь против здравого смысла, вопреки очевидности, «блаженны нищие духом»... Но я же сам сомневался в полезности разума, упрекал науку в бессилии и бесплодии, завидовал таракану — сохранил себя в течение трехсот миллионов лет? Значит, вернись к таракану, там-то уж полное отсутствие духовного, духовная нищета до нуля. И господь милостив к таракану, завидно долго сохраняет его.

Чушь какая-то.

Так что же такое вера?

И жажду ли я ее?..

* * *

Тетка Дуся была расстроена и недовольна мной.

— Много себе дозволяешь, сокол. Тебе ли судить Аннушку. Кто у нас и крепок в вере, так только она.

— Дуся, а тебе лучше от ее веры?

— А я, золотко, корысти-то не ищу для себя. И Аннушка не корыстна, напрасно ее облаял.

— Тогда бы мне пришлось слушать, как она меня и других облаивает.

— Снеси, не убудет, помоложе, чай.

— Разве старость дает право на злобу и на несправедливость?

— Жизнь дает, а ей в жизни покруче твоего пришлось. Слышал, в тюрьме сидела. Ты на какой церкви ныне колокола увидишь? Нету! Со всех давно посымали. А у нас висят, на святые праздники честь честью, как в старину, звону радуемся. Кому спасибо сказать? Аннушке. Она спасла... Начальника из району, что колокола сымать приехали, чуть не задушила. Аннушка-то тогда молода была, буйна да здорова... Ради корысти она это сделала? Уж точно корысть: пять лет в холодных местах, вернулась — в гроб краше кладут. И нынче погляди —

в лохмотьях ходит, а ведь через ее руки церковные деньги идут, поди, денежки немалые. Прилипла к ней хоть одна божья копеечка? Нет, сокол, чиста! Не суди!

Я не нашелся, что ответить.

Конечно же, Анна верит, конечно, без корысти. Религия — руководство, как жить. Но если веру сестры Аннушки считать за руководство жизнью, то страшна же тогда будет жизнь на земле.

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

Не становлюсь ли я начетчиком?

Ночь. За незавешенными окнами в зеленовато-голубом свете луны, словно на дне моря, покоится село Красноглинка.

Ночь. Надо мной теперь не нависает кошмарная Вселенная. Что мне звезды, что мне далекие галактики — близкое тревожит, то, которое меня встретит утром.

А утром — лопата и крутая глина, вечером — отец Владимир и сестра Аннушка. Бросил дочь и жену, не мог жить той жизнью...

Могу ли этой?

Так что же мне в конце-то концов нужно?

Не заблудился ли?..

Тетка Дуся, сестра Аннушка, отец Владимир — целый набор родственников. Неужели они ближе мне, чем Инга? Инга не понимала, не разделяла, а эти?..

Баш на баш?.. Нет! Инга не равноценна сестре Аннушке, этому престарелому унтеру Пришибееву в юбке.

А отцу Владимиру?.. Истошная вера этого несчастненького ничуть не лучше свирепой веры сестры Аннушки. Верь во что бы то ни стало, будь балбесом, будь тупицей, тупость даже почетна, ей первые привилегии: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное». Неразумный таракан в этом царстве должен занять более почетное место, чем я. И на здоровье, на кой черт тараканье царство! Не хочу отказаться от человеческого. Я не хочу, и природа не дозволит — вспять, к таракану?.. Ну уж нет.

Так что такое вера?

И какой веры я жажду!

Какой мне бог нужен?

Темный лес.

«Папа, расскажи сказку». Острые коленки выше ушей, ясные глаза заглядывают в душу. Я преступник!

Остановись, иначе совсем заблудишься! Брось завтра лопату, вспомни, что окончил институт, вспомни, что есть семья, что Инга намного выше и человечнее твоих новых родственников. Вернись на прежнюю тропу!

Вернись! Чтоб жить двуличной жизнью, чтоб тайком оглядываться на бога и клеймить тех, кто глядит не таясь! Вернись, чтоб лгать себе и другим, чтоб презирать самого себя, чтоб в конце концов испытать презрение дочери.

Вернись на прежнюю тропу! Пробовал уже вернуться, уже жил несколько дней в разладе с богом...

Пробовал... Тропа-то повела к перегону Лосиноостровская — Мытищи, электричку встречать... Темный лес со всех сторон!

Бог... Все-таки нуждаюсь в этой гипотезе. Нужен поводырь в лесу!

И мне, и всему человечеству.

Человечество мечется, ищет надежную, не зыбкую тропу. Планета стала зыбкой, наука постаралась — подарила людям игрушки, забыла наказать: «Вымойте руки, прежде чем браться за них». Нужно всеобщее наставление. Наставление бережности и уважения друг к другу.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это ли не идеал взаимного уважения. Пусть он недостижим, но вовсе не значит, что к нему не нужно стремиться. Невозможно построить машину с коэффициентом полезного действия в сто процентов. Но плох тот конструктор, который не стремится к этому недостижимому.

Ради чего-то же я решился бросить семью? Ради чего-то великого.

Сестра Аннушка, Инга — какое сравнение! Инга не пытается создавать бога, сестра Аннушка создает по образу и подобию своему. Неприглядному образу, недостойному подобию. Как ни возлюби, но приходится бороться с недостойными людьми. Как ни «верую, господи!», но борись против богов, созданных недостойными. И против бога должен выступать не просто человек, а тоже бог, только бог!

Неужели я ждал, что встречу в Красноглинке высоколобых апостолов? К вере пришли простые, суетные люди,

с суетными богами, рожденными куцым воображением. Тоже ведь создают гипотезы!

А моя гипотеза? Нет, она слишком смутна для меня самого, чтоб стать непреложным руководством. Предстоит вглядываться в нее, совершенствовать ее, искать, искать, искать! Потому-то я и приехал в Красноглинку, чтоб искать без помех, не скрываясь, не страшась последствий.

Возможно, искать всю жизнь. Возможно, не придется увидеть плоды.

«Возлюби ближнего твоего» — необходимость этого понятна даже детям, поверь и руководствуйся! Возможно, заставлю в это поверить даже сестру Аннушку — не спором, не трезвой логикой? Чем? Еще не знаю, буду искать.

Открывать мне придется не истины — они давно открыты! Открывать пути к сердцу человеческому. Чужая душа — потемки. Пробивать тропы в сумрачной чаще людских душ.

Прости, Инга.

Пусть простит меня дочь.

Не напрасно оставил вас. Так надо.

А сейчас я просто на минуту упал духом...

Ночь. Темная душная изба, тихая земля за окном, земля, залитая луной.

Я вдруг почувствовал радость — утерянное вновь нашлось. А чуть было все не рухнуло, чуть-чуть — и я бы капитулировал, сложил чемодан.

В эту минуту я понял, что подразумевали в житиях святых авторы, когда говорили: «бес смутил», «снизошло озарение». До сих пор для меня это были смешные, наивные, напыщенные выражения. Но сейчас я пережил и «бесовское смущение», и «озарение». Я испытываю горделивую радость от победы над самим собой. Появилось острое, подмывающее желание — излить перед кем-то свою победную радость. Сейчас! Немедленно! Пока она свежа, завтра потускнеет.

Но перед кем? Если б даже тетка Дуся и не спала, то все равно надежды мало, что поймет. Ни тетка Дуся, ни кто другой. Все, что произошло сейчас, слишком мое, слишком личное! Мне оно ясно, для других сложно и запутанно.

А радость распирала. Как жаль, что нет такого, кто понял бы ее, принял бы, как свою. Счастье поделиться

радостью. Разделенная с другим радость не убывает, наоборот, становится шире. И как жаль, что нет никого рядом.

Нет?.. Я чуть не подпрыгнул от простого открытия. Для неверующего нет, неверующий обездолен! Для верующего есть! К его услугам всегда терпеливый, чуткий, преданный и всепонимающий собеседник. Всегда рядом, только распахни душу.

И я поднялся с постели.

Я не посмел зажечь лампаду перед иконой — разбудил бы тетку Дусю. Да свет и мешал бы мне, вид закопченных досок оскорблял бы мое представление о боге. В трусах и майке, поеживаясь после теплого одеяла, я опустился голыми коленями на холодный, изношенный узловатый пол.

— Верую, господи,— зашептал я,— верю, что ты существуешь. Верю, что ты не напрасно расплодил по планетам людей, не напрасно наделил их разумом. Верю, что есть какой-то великий смысл, какая-то конечная цель. Не рассчитываю понять ее, познать ее, но верю, есть что-то, ради чего мы рождаемся и умираем, поколения сменяют поколения. Верю, господи, в собственную полезность, теперь верю даже в то, в чем всегда сомневался,— в силу свою верю, в правоту! Мне больно за Ингу, больно за дочь. И это единственная боль, которая еще мучает меня. Попытаюсь и ее снести с мужеством. Пусть простят они меня, пусть простят, и мне тогда станет совсем легко...

Моя молитва кончилась неожиданно для меня. Первая в жизни молитва, первое слово к богу, верное доказательство, что он, мой бог, существует.

Я еще в легкой растерянности постоял на коленях, чувствуя жесткость неровного пола, и поднялся. Я словно сейчас вернул висевший на мне, ежечасно мучивший, мешавший жить долг — чиста совесть, могу не стыдясь глядеть людям в глаза. Даже Инге. Даже дочери.

Вздрагивая от пережитого волнения, я снова лег на свой жесткий соломенный матрас, укрылся поуютнее и, помня, что за окном лежит тихая земля, залитая луной, уснул.

Моя первая молитва в жизни... Я тогда не мог знать, что она будет и последней.

* * *

— Перекур!

Я прислонил к глинистой стене ямы лопату и полез наверх.

Рано ли, поздно этот разговор должен был случиться. Я его ждал и знал, что скорей всего он завяжется в один из перекуров.

Начал Митька Гусак.

— Ты, говорят, даже статьи писал по науке? — спросил он.— Правда ли?

— Правда.

И тут Пугачев, наш бригадир, резко повернулся ко мне своей широкой, чашеобразной, чингисхановской физиономией:

— Хвалил, поди, в статьях науку?

— Да... Хвалил.

— Миловал да гладил и вдруг не поладил, что так?

— Надежд наука не оправдала.

— Чьих? Твоих?

— И твоих, наверное, тоже. На важные для нас с тобой вопросы отказывается отвечать.

— Наука! Отказывается?! — выкрикнул изумленно Гриша Постнов.— Да это же чушь собачья! Да он же ерунду городит!

У Гриши к науке любовь без взаимности. Он ее любит, она его нет — на вступительных экзаменах срезался, не попал в институт.

— Да разве есть такое, чего наука знать не может? Чушь собачья.

— Есть.

— Вся наука?

— Вся.

— Что за вопросы такие заковыристые, что вся наука осечку дает? — спросил Пугачев.

— Да нет, не заковыристые, а как раз самые простые.

— К примеру?

— Например, как сделать, чтоб люди не обижали друг друга?

— Так кто же тогда ответит, как не ученые люди?

— А на них и отвечать не надо, в них надо просто поверить.

— Во что поверить?

— В то, что лгать и подличать нехорошо, что следует жить в любви, в мире. Есть ли нужда это доказывать? Ты это знаешь. Он знает. Все в общем-то знают, но не все придерживаются — лгут, подличают, войной друг на друга идут.

— А ведь верно,— подал голос Руль, сидевший между своими дюжими Рулевичами.— Знаем, хорошо все знаем, а толку от этого знания чуть. Парень-то прав.

— Идиотизм! Чушь собачья.

— Значит, плохо знаем,— заявил Пугачев.— Что железно знаешь — на том не сорвешься.

Митька Гусак хохотнул:

— Не скажи, Пугач. Я вот хорошо знал, что за шахер-махер в торговом деле — того, ласково не хвалят, а не утерпел. Мотоцикл шибко хотелось купить, а зарплатишка — штаны не огорюешь.

— Вот видишь,— сказал я,— знание и вера — не одно и то же. Нужно, выходит, крепко верить в какие-то нехитрые законы — не укради, не убий, не прелюбодействуй...

— В законы верить?..— переспросил Пугачев.— В законы — готов. Но, сказывают, ты от этих законов дальше пошел, в бога верить стал.

— Это после-то науки! В бога! — выкрикнул Гриша Постнов.

— Сказал «господи», скажи и «помилуй»,— ответил я.— Признаешь, что нужно верить в нравственные законы, признай тогда и веру в бога.

— Почему же обязательно в бога? Уж так-таки без него никак?

— Никак.

— Растолкуй.

— Попробую. Если я установлю эти законы, я прикажу тебе -- верь! Ты поверишь?

— А почему бы и не верить, коль твои законы умные и нужные.

— Ну, а вдруг тебе при этом очень захочется мотоцикл иметь, а мои-то законы тебе мешают?.. Наверное, задумаешься тогда, почему бы их и не обойти на кривой. Не такой уж я для тебя авторитет, чтоб ты по моему слову без оглядки следовал, даже от соблазнов отказывался.

— Потому, наверное, и сейчас тебе я не очень-то верю, хоть и складно рассыпаешься.

— Вот, вот. И любой другой человек, пусть он самым высоким начальником будет, для тебя все-таки человек, не более того — можно верить ему, но можно и не верить. И когда он скажет: не лги, не подличай,— то ты еще подумаешь, верить ли ему, особенно в тот момент, когда тебе эта вера мотоцикл добыть мешает. Или не так?

— Пусть так.

— То, что исходит от таких, как ты, людей, для тебя не столь уж обязательно, потому как ты знаешь, что человек есть человек: он и ошибиться способен, и обмануть,— зажмурив глаза, доверять ему не всегда удобно.

— Верно,— снова степенно согласился Руль.— Всегда при себе мыслишку носишь — на простаках, мол, воду возят.

— А вот если признаешь,— продолжал я,— что эти простые законы установлены не человеком, а кем-то, кто намного выше людей. Если ты поверишь, что такая фигура есть, что он верх разумности и справедливости, если только ты поверишь в это, то его-то законы уже постараешься выполнить. Они не от меня, не от начальства, они от того, кто никогда не ошибается, кому можно и нужно доверять слепо, без оглядок, без оговорок! От того, кого ты сам принял и признал. И от такой веры плохого не будет, только польза всем. Вот и получается, что, веря в законы, приходится верить и в бога.

— Как же я поверю в него, когда его-то в наличии не имеется? Пустое место, выходит, признавай.

— А откуда ты знаешь, что его нет?

— Доказано! Доказано! — заволновался Гриша.— Раньше на небо указывали— мол, там он. Нехитрый расчет — до неба не допрыгнешь, попробуй-ка проверь. Но теперь-то поверили, теперь в космос залезли, а там не только бога — блохи живой не нашли.

— Доказано ли? — спросил я.— Блохи живой, говоришь, не нашли, а это вовсе не доказывает, что нет таких планет, которые не только блохами, но более умными, чем мы с тобой, людьми заселены. Не нашли — не доказательство.

— Я так понимаю,— снова вмешался старик Руль,— коль польза тебе прямая от веры, то какие же еще нужны доказательства? Польза, друг,— самое что ни на есть существенное доказательство, никто от него не отвернется, каждый признает.

Я с благодарностью и уважением посмотрел на старика — он за несколько минут ухватил то, до чего я дозревал в течение многих месяцев: «Нуждаемся в этой гипотезе».

— И все-таки польза от пустого места, как хлеб из воздуха,— не растет, Михей Карпыч,— возразил Пугачев.

— Ты сказки об Иване-царевиче слышал в детстве? — Руль строго нацелился своим твердым носом в бригадира.— Ивана-то царевича нет и не было, место пустое, а, поди, слушал, радовался, на ус мотал, на пользу шло. Там, может, польза и не корыстна, здесь покрупней, потому что и бог мыслится куда крупней Иванушки-дурачка.

— Внушением лечат людей,— подсказал я.— Нет у тебя здоровья, а тебе внушают— есть, ты излечиваешься. Польза, а ведь при недомыслии ее можно и отвергнуть — из пустого-де места польза-то.

— То-то и оно,— подтвердил Руль.

— А помнишь, отец, деда Костыля? — спросил один из Рулевичей.

— Ну, помню.

— Сам говорил, что сволочной старикашка, до самой смерти норовил на чужом горбу проехать. А ведь как он в бога-то верил.

— Верно! — восторжествовал Пугачев.— От веры в бога Костыль в добрые законы верить не стал.

— Да полноте! Костыль ни богу ни черту не верил. Себе одному, да и то раз в неделю, по пятницам. Мало ли кто притворяется верующим. Вот и Митька Гусак, когда торговал, честным и чистеньким, должно, притворялся.

— А как же иначе,— подтвердил Митька.— О честности очень даже часто вежливый разговор с покупателем вел. Даже чуть не плакал, так иной раз себе нравился.

— Но история-то что говорит? — запальчиво взорвался Гриша Постнов.— По истории-то видно, какую пользу приносила религия!

— Я в истории не шибко плаваю,— отмахнулся Руль.

— Не плавай, а сообрази,— сердито ухватился Пугачев.— Многие тыщи лет люди в бога верили. А раз вера к доброму ведет, то почему она за эти тыщи лет зло так и не расхлебала?

— Откуда тебе известно, что творилось бы сейчас в мире, если бы люди не знали религии? — спросил я.— Может, давным-давно друг другу глотки перегрызли бы.

— Бог спас, выходит?

— Возможно, и спас... от многого.

— Эх! — Пугачев с силой шлепнул по колену.— Кончим лучше эту панихиду! Конца ей не видно, а работа не ждет.— Повернулся ко мне: — Из Москвы убежал, ради веры жизнь на кон поставил, не укладываешься ты у меня в башке, странный, вроде лошади с рогами.

— Нет, не странный! — вскричал Гриша.— Опасный он! Ему такое привалило — институт кончил, ученым человеком стал, а для чего? Чтоб ловко тень на плетень наводить. Опасный! Заразу несет, мы эту заразу хлебаем!

— Уж и заразу,— усмехнулся Руль.— Брезговала свинья гусем, потому что рыло не пятачком.

* * *

В первые дни в Красноглинке я забыл свою сказку. Сейчас она вновь явилась ко мне.

Говорят, что ныне море Галилейское лежит среди утомительно-красных скал, и солнце немилосердно раскаляет их; воздух там сух и горяч, и кремнистая земля давно уже не плодоносит. Но когда-то ручьи там сбегали по мягкому дернистому ложу, северные сосны росли в обнимку с пышными олеандрами, могучие смоквы роняли плоды, прохладная тень покрывала цветущую землю, и на бирюзовую гладь озера стаями опускались розовые фламинго.

И было море Галилейское богато рыбой. И жили по его берегам рыбаки в плоских хижинах из камня, где дверь одновременно служила и окном.

Сказка приходит ко мне вечерами. Я растягиваюсь на своем матрасе, дожидаюсь, когда из-за занавески донесется шепот тетки Дуси. Закрываю глаза и пытаюсь представить рыбацкое поселение Капернаум. Для того времени это было такое же глухое место, как Красноглинка.

Ребристые, из серого камня стены, густой колючий кустарник по скалам, крутые тропинки, галечная отмель и зеленые валуны в воде. Вдоль берега растянуты сети. Поплескивает волна, тянет ветерком с озера, пахнет рыбой, солнце прячется за лесистый холм.

Прямо на теплом галечнике возле воды расположились рыбаки, одни сидят, поджав босые ноги, другие лежат. Все окружили узкоплечего человека.

Он однажды тихо появился здесь на берегу. Симон, сын Ионы, и Андрей, брат его, выбирали из сети рыбу. Он глядел на них и молчал, и тогда Симон, старший из братьев, спросил:

— Кто ты, прохожий?

И он ответил:

— Идите за мной, ловцы рыбы, ловцами человеков сделаю вас.

Был он худ, пропылен, но обожженное солнцем лицо покойно и в глазах озерная синь. Симону, старшему из сыновей Ионы, понравился пришелец, и он пригласил его к себе в дом.

Он называл себя Сыном Божьим, звук его голоса вливал мир и покой в душу. С его появлением больная теща Симона встала с постели.

Темнеет озеро, тянет ветерком, пахнет рыбой, он говорит:

— Не больше ли душа значит, чем пища, не изящнее ли тело, нежели одежда? Взгляните на птиц небесных: они не сеют и не жнут, ни амбара, ни житницы не имеют, и, однако же, отец наш небесный питает их. Взгляните на полевые лилии: не трудятся, не прядут, а между тем Соломон во всей славе не был так великолепен. Не заботьтесь о завтрем: завтрашний день позаботится сам о себе. Каждому дню достаточно своей заботы.

Льется голос, все пьют слова, пьют покой, и каждому начинает казаться, что жизнь проста, сложной она выглядит потому, что замусорена суетой. Люди сами себе выдумывают страдания.

«Не заботьтесь о завтрем». Как часто мы живем только для будущего — сегодня суетимся, чтоб прожить завтра, завтра вновь суета, чтоб прожить послезавтра, и так без конца. Настоящее исчезает для нас, не видим его, не можем им насладиться, порадоваться, полюбить, собственно, не живем, а суетливо мчимся навстречу смерти. А оказывается: «Каждому дню достаточно своей заботы». Очнитесь, люди!

Я лежу с закрытыми глазами, тетка Дуся в двух шагах от меня, здесь — в двадцатом веке, здесь — в глубине

России, красноглинская старая баба жалуется ему о своем старушечьем. Ему, учителю с моря Галилейского!

Я лежу с закрытыми глазами, слушаю шуршащий Дусин голос, вижу далекое — его берег, его учеников.

Симон, пожалуй, первый из его учеников. Не юноша, а муж, зрелый характер, трезвая голова, не сразу верит в притчи о «птицах небесных», туго соглашается, но, согласившись раз, стоит уже крепко. Учитель ценит эту крепость, называет его «Кефа», что по-арамейски означает «камень». Впоследствии его переиначат на латинский лад «Петром».

Открыв рты, пожирая учителя глазами, слушают сыновья самого богатого рыбака в поселке Зеведеи — Иаков и Иоанн. Они верят всему, они возмущаются любым сомнением, дети юга — разумеется, экспансивно, шумно, с горячим негодованием. Учитель зовет их с ласковой усмешкой: «Сыновья громовы». Младший Иоанн — совсем еще мальчишка, глубинный румянец под смуглой кожей, ровные, сросшиеся у переносицы брови, влажно поблескивающие глаза, темный пушок над пухлыми губами.

Запрокинув голову, собачьи преданная, с выражением скорби и счастья, боли и наслаждения, сидит у ног учителя Мария, девка из Магдалы, городишка, что стоит ниже по берегу. Мария Магдалина была недавно «одержима бесами», часто падала на улицах и билась с пеной на губах. От голоса учителя становится покойно больным. Благодарная Мария сидит у его ног, преданно смотрит снизу вверх.

Иногда приходит послушать учителя некто Матфей. Он, пожалуй, самый старый знакомый учителя, встречался с ним еще до того, как тот появился в этом поселке на берегу моря Галилейского. Матфей — мытарь, ездит из селения в селение и собирает подати, служба неприятная, но она научила его ловко обращаться с каламом — писчей тростинкой. Сейчас Матфей сидит в стороне, молчит, слушает. Он заговорит уже после смерти учителя, подробнее других изложит на пергаменте историю пророка из Назарета.

И еще один всегда присутствует на сборищах — Иуда. Он дальний, не из Галилеи, откуда-то с юга, из города Кариота, сын некоего Симона. Иуда деятелен и услужлив. Если какой-то богатый галилеянин пожелает дать денег учителю, чтоб тот роздал их нищим, то едет

получать эти деньги Иуда. Он же и передает их тем, кто нуждается. Иуда — кошель учителя, что-то вроде казначея при молодой общине.

Прежде чем уснуть, я мысленно строю незримый мост через века и земли, из сегодняшней Красноглинки в деревню Галилею.

Ноет натруженное на крутой глине тело, растекается по суставам покой. Я не думаю о своем завтра, оно меня нисколько не тревожит. «Завтрашний день позаботится сам о себе».

С лопатой в руках, в поте лица я прошел через кусок своей жизни, через то, что недавно называл своим сегодня, съел свою картошку в мундире, лег на жесткий матрас. Ничего не случилось со мной особенного, не выпало никаких удач, а я счастлив. Я сейчас в удивительном равновесии — порвал с прошлым, не трепещу перед будущим — чувствую полноту наступившей минуты, живу и наслаждаюсь.

Тетка Дуся за занавеской потушила лампадку. И закричали, закричали петухи по спящему селу. Конца этой переклички я уже не слышу...

А утром я срываюсь с постели, выспавшийся, отдохнувший, словно умытый изнутри. Я невесом и упруг, движения мои порывисты. Я пью пахучее парное молоко, ем неизменную картошку. Ем торопливо, мне не терпится вырваться из стен. Новый день ждет меня, новый день со своими заботами и открытиями.

И сказка продолжает жить во мне, я сейчас вынесу ее на волю. В рваных, грязных штанах, в тяжелых резиновых сапогах я переступаю в мир и останавливаюсь пораженный.

Чем?..

Тем, что на притоптанной травке в проулке лежит непотревоженная роса, что среди тысяч и тысяч ртутно тяжелых капель одна-единственная вдруг расцвела перед моими глазами красными, зелеными зыбкими иглами.

Тем, что стоит исцеляющая тишина не только над не проснувшейся еще Красноглинкой, но и на много сотен километров во все стороны.

Тем, что знакомый, исхоженный мною травянистый проулок оказывается не так уж и знаком, не так на нем

сейчас лежат тени, не так играет солнце,— кроткая тайна во всем.

И пылает неистово росяная капля — пучок радуги! — капля одна из сотен тысяч, из миллионов тусклых капель особо выдающаяся — гениальность, дождавшаяся великого момента. Я шагаю с крыльца — и сияющая капля пугливо гаснет. Роса обильно обмывает мои сапоги.

Прежде чем свернуть из проулка, я оглядываюсь — на росяной матовости пролегли кричаще-зеленые следы.

И вот первый петух заблаговестил осипшим спросонья голосом. И вот звякнуло за соседним домом порожнее ведро, и на соседней улочке за настороженно дремлющими черемухами начал кланяться колодезный журавль, спесиво кланяться и стонуще скрипеть...

Не я один переступил через порог, не я один вижу младенчество дня, не я один нарушаю его оцепенение. И растет во мне светлое чувство благодарности к тем, кто вместе со мною открывает сейчас наше сегодня. «Каждому дню достаточно своей заботы...» Но день только-только родился, заботы еще не начались. Раннее утро — минуты полной свободы, чувствуй их, умей ими насладиться!

Здравствуйте те, кто проснулся! Здравствуйте, братья и сестры! Как я счастлив, что живу с вами в одно время, под одним небом!

На окраине села я увидел спешащую в сторону скотных дворов доярку, плотную девку, почти совсем мне незнакомую, так как жили мы на разных концах. Однако...

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Поспешно и чуть смущенно, так как не слишком знакомы, но доброжелательно. В такое утро недоброжелательным быть просто нельзя.

Штабеля рыжего кирпича, отвалы выброшенной глины, щепа, густо покрывающая истоптанную землю, щепа́, почему-то вкусно пахнущая арбузом...

Вот уже третий день подряд я прихожу первым, сажусь на бревна, и жду, и слушаю все возрастающий шум просыпающегося села. Замычали выгнанные из-под крыши коровы на скотном дворе, раздались звонкие молодые голоса скотниц:

— Куд-ды тебя понесло, шалава!.

— Эй, Глашка! Ворота закинь, в поле вырвутся, канальи!

Глухо застучал на берегу реки в тесовой будке движок, погнал по трубам воду. Ему отозвался в самом селе железным ревом запущенный трактор. Парнишка проскакал на неоседланной лошади, глухим переплясом простучали по пыльной дороге копыта.

А сказка живет во мне. Пока никого нет, я примеряю ее на ту жизнь, которая вот-вот обступит меня вплотную.

Скоро придет Руль со своими Рулевичами.

Старик Руль быстрей других хватает то, что я говорю. «Коль польза прямая налицо, то какие еще нужны доказательства?..» Признает пользу, не нуждается в побочных доказательствах. До этого я сам с трудом и оглядками долго добирался сквозь лес логических рассуждений. Он же принял это сразу, не задумываясь. За свою долгую жизнь он узнал что-то такое, что мне было недоступно. Руль один из всех подставляет мне плечо. Пока что на него одного я могу опереться...

Не в силах устоять перед соблазном — мысленно сравниваю старика Руля с верным Петром, рассудительным рыбаком с моря Галилейского... Конечно, всякое сравнение зыбко, конечно, нет полного совпадения, я просто раздвигаю рамки своей сказки, а в сказках допустим вымысел.

Пугачев... С кем его сравнить? Он не верит мне, недоумевает. «Лошадь с рогами!» Может, с неистовым Савлом, который стал столь же неистово верным Павлом?..

Савл?.. Нет! Пугачев и умней, и благороднее. Он не отталкивает меня с пеной у рта — прочь, нечисть! — он тянется ко мне, старается понять. Говорят, у Христа был еще ученик — Фома Неверующий...

Савлом скорей может стать Гриша Постнов. Сейчас он кипит и отвергает — «заразу несешь!» — а завтра, глядя на других, поверит и непременно энергично, готов будет бить морду тем, кто уверовать не успел.

Митька Гусак... Этого легко уговорить, но он так же легко и отойдет, особенно если помаячит мотоцикл в качестве тридцати сребреников. Но при этом он искренне простодушен. Не таким ли был и Иуда Искариот?

Э-э, сказка сказкой, но не слишком ли я?.. Митьку Гусака в Иуды, себя, разумеется, в Христы — от скромности не умрешь, парень.

А собственно, что тут такого? Я стремлюсь к тому, к чему с незапамятных времен стремится исстрадавшееся человечество,— к взаимопониманию друг друга, к взаимоуважению, к взаимолюбви. «Люби ближнего твоего...»

Стремлюсь к этому, мечтаю об этом. И что за беда, если в мечтах я залечу к тем высотам, какие достигало человечество? Постыдно корчить из себя Христа, но не постыдно к нему стремиться!

— Здоров...

Нет, не Руль с Рулевичами, раньше их сегодня явился Санька Титов. Кажущийся сутуловатым от излишней просторности в покатых плечах, не столько хмурый, сколько сосредоточенно насупленный, он, пришлепывая широкими резиновыми голенищами по толстым икрам, прошел к сторожке, погремел там, вышел с топором, лопатой, молотком. Скупым и сильным движением он глубоко всадил топор в бревно, сел, положил па обух лезвие штыка и... все звуки пробуждающейся жизни утонули в жестяном скрежещущем грохоте. С сумрачной деловитостью Санька принялся отбивать лопату.

Я как-то совсем забыл его, не пустил в свою сказку. Уж больно не сказочное существо — Санька Титов.

Окажись я и в самом деле или воскресшим из мертвых Иисусом Христом, или лошадью с рогами, он нисколько не удивится, не изменится в лице, останется попрежнему насупленно сосредоточенным. Его как-то нельзя представить верящим — в бога ли, в науку ли, в коммунизм ли. Все это для него где-то в стороне, а он умеет думать только о том, что видит. Вчера увидел, что тупа лопата, подумал — надо отбить. Сегодня вспомнил — и вот исполняет.

К селу Красноглинке летят громкие жестяные звуки..

— Перекур!

Гриша Постнов, если я слишком близко приближался к нему, покрывался гусиной кожей... от неприязни.

Пугачев же бросает топор и садится напротив. Лицо его — медная чаша — темно, глаза сужены. Похоже, он уже не может без меня — лошадь с рогами! Пугачева мучает тайна: не от выгоды сменил я Москву на Красноглинку и ученые книги на святое писание — тоже не от невежества. Может, мир начал помаленьку трогаться с

ума, а может, есть какая-то правда в том, что люди держатся за бога?..

Раз даже Пугачев послал после работы за поллитровкой Митьку Гусака:

— Посидим поплотней. Тут ведь без поллитры не разберешься.

Но из этого ничего не получилось, так как сразу же нагрянул Мирошка Мокрый, первый пьяница в Красноглинке,— фетровая шляпа, утратившая и цвет и форму, но не утратившая муаровой ленты, красная рожа в зловещей медной щетине, мокрый рот до ушей...

— Бра-ат-цы! Огнем вечным горю! Негасимым! Всю жизнь заливаю, залить не могу! Не человек я, братцы, а почетная могила неизвестному солдату!

Мирошка не давал никому сказать ни слова, кричал о своей особе и водке, которая так ему люба.

— Перекур!

И Пугачев садится напротив меня — лицо темно, глаза сужены. Он уже весь изранен и ждет новых ран. Беспокойный человек, брат мне по крови.

* * *

Наконец-то я почувствовал в себе силы решиться на то, что больше всего меня пугало,— написать Инге, сообщить ей правду о себе. Тянуть дальше нельзя, Инга рано или поздно узнает — если уже не узнала,— что уволился с работы. Как ни страшна правда, а полное неведение всегда страшней.

Я не хотел писать письмо на глазах у тетки Дуси, не хотел, чтоб в эти минуты кто-то видел мое лицо. Я спрятался за занавеску, забрался с ногами на кровать, пристроил на коленях Библию, положил на нее листок бумаги, вывел:

«Инга, родная!»

И задумался... Да, родная, но сейчас собираюсь разорвать последнюю ниточку родственной связи. Родная в начале письма, чужая в конце.

«Я должен просить у тебя прощения,— начал я,— за то, что когда-то встретился с тобой, за то, что стал твоим мужем, за все семь лет совместной жизни, за дочь, нако-

нец. И прекрасно понимаю безнадежность своих оправданий. Сколько бы я ни оправдывался, все равно в твоих глазах останусь не просто виновным, а преступно виновным.

Что же случилось? Я и сам во всем толком не разберусь. Может показаться смешным, но причиной моего странного поведения стали высокие, можно назвать, потусторонние явления. Как и всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума, а так как наука — самое яркое проявление разума, то верил и в ее торжество, в ее спасительную миссию. Я был настолько слеп, что не видел — с расцветом наук войны не исчезают, а становятся страшнее, и прохвосты на свете не редеют.

Я не могу славить науку, как до сих пор славил, мне нечему стало верить, не к чему стремиться. Мои мысли, знаю, покажутся неубедительными, затрепанными, мое поведение — диким. Но что делать, когда мне начало казаться, что мое появление на свет — бессмыслица; бессмысленно, что встретился с тобой, живу с тобой, воспитываю дочь. Можно ли так жить? Не лучше ли оборвать бессмыслицу?

Осуди меня, что я от отчаяния обратился к тому, к чему люди обращались испокон веков,— к богу! Признать бога — значит, признать его руководство, признать существование некой высшей цели. Словом, я стал верующим, на свой манер, конечно. И вот тут-то начала шириться между нами незримая пропасть.

Ты, Инга, довольна жизнью, какой живешь, я — нет! Могу ли я требовать — откажись во имя меня от тех, кто тебе близок по взглядам и по духу? Могу ли я обречь тебя на осуждение, возможно, на остракизм и осмеяние? Осуждение должно пасть и на нашу дочь. В моей жизни произошел духовный скачок, почему это должны разделять со мной мои близкие?

Я не могу стать прежним, не хочу ломать вашу жизнь, значит, мне необходимо исчезнуть. Признаю — выход из положения грубый, болезненный, но болезненней вдесятеро нам жить вместе. И выход единственный, выбирать не приходится — я исчез. Так лучше вам, так лучше мне.

Едва я встану на ноги, постараюсь тебе помогать изо всех сил. Правда, вряд ли от меня теперь будет большая

помощь. На четвертом десятке лет я начинаю жить сначала. Сейчас я зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой.

Не могу быть прежним.

Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь. Так лучше.

Юрий».

Я поставил последнюю точку, обрубил нить.

Ради веры в старые времена шли на костры. Костер... А не легче ли это? Там жертвуешь только собой, только на час мучений. А здесь подписал свое имя, поставил точку — осиротил дочь. Какими бы важными причинами ты ни оправдывался, все равно из памяти не вычеркнешь — ты обездолил тех, кого больше всего на свете любишь. Будешь помнить всю жизнь, всю жизнь станет жечь совесть — медленный костер до гроба. Так ли уж страшен по сравнению с ним тот варварский, средневековый костер?..

Может, разорвать письмо? Может, поднять руки вверх — сдаюсь, каюсь, лечу обратно!

Рад бы! Но вся беда — ни покаянием, ни сдачей позиций не спасешь от несчастья дочь, жену, самого себя.

Нельзя запретить себе — не думай, о чем думается. Рано ли, поздно, не выдержишь нелегальщины, устанешь притворяться. И тогда опять придешь к тому же самому — надо исчезнуть. Хорошо, если билет до Новоназываевки, а то как электричка... Всю жизнь притворяться невозможно.

Я не разорвал письмо, запечатал, положил его в карман, вышел на улицу.

Красноглинское почтовое отделение вкупе с отделением трудсберкассы давно уже кончило свой рабочий день. Возле дверей висел вылинявший синий почтовый ящик. Щелкнув железной челюстью, он проглотил мое письмо.

Утром оно начнет свое путешествие до Москвы.

Инга узнает все.

Оборвалась последняя ниточка.

Стоит вечер, золотой пылью рассыпался сухой закат над крышами. Кожей лица, каждой порой тела сквозь рубаху пьешь теплый воздух. Вся Красноглинка повылезла из-под крыш на улицы. Такое ощущение, что село накануне какого-то праздника. Девчата в цветастых платьях,

парни в белых хрустящих сорочках, мужчины в отутюженных, торжественных, слишком теплых для такого вечера костюмах.

Почти на каждой улочке на свой лад, но одинаково старательно наигрывают гармошки. Девчата поют разнеженно умиленными голосами:

За дальнею околицей,
За молодыми вязами
Мы с милым расставалися,
Клялись в любви своей.

И бегает с воплями ребятня. И то там, то тут, вспышками, затяжным раскатцем — кочующий смех.

Идя от почты, я заблудился в этой праздничности. Во всей Красноглинке, наверное, только мне одному не до веселья. Письмо брошено, железный ящик с лязгом проглотил его...

И были три свидетеля:
Река голубоглазая,
Березонька пушистая
Да звонкий соловей.

Прямо посреди дороги, осиянный закатом, стоит Митька Гусак. Просто стоит, не двигается, должно быть, наслаждается сам собою. Он сейчас представляет удивительное зрелище, от одного взгляда на него возникает невольное — «И жизнь хороша, и жить хорошо!» В невиданно широкой кепке на маленькой голове, в тесном пиджаке какого-то невероятно кирпичного цвета, при черном галстуке, в черных брючках-обдергайчиках, в остроносых туфлях цвета беж — не человек, а олицетворение успеха. Кто поверит, что днем он кайлил землю?

А в Москве сейчас Инга укладывает спать Танюшку. У Танюшки — тугие щеки, вкрадчиво-нежная кожа со всеми оттенками розового и молочного... И улыбка ее трогательно беззуба. И она, конечно, требует рассказать ей на ночь сказку: «Избушка, избушка, встань ко мне передом...»

Инга! Ах, Инга! Гордо посаженная голова, густые волосы, отливающие старой бронзой, глыба белого лба, глубокие глаза с твердыми зрачками, линии тела, презирающие застенчивость,— создана быть матерью и любовницей.

А Митька Гусак стоит посреди дороги и наслаждается сам собой.

Я жертвую счастьем дочери, счастьем Инги не ради себя. Наверное, ради Митьки Гусака тоже. А он, этот Митька, и без меня достаточно счастлив.

Ищу смысл жизни: для чего, куда, камо грядеши?..

Митьке плевать на эти вопросы. Он сыт и одет, да еще как одет — закачаешься! Вот он, нарядный, посреди дороги, сплошное великодушие — пожалуйста, любуйтесь мной, восхищайтесь, нисколечко не жалко.

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... «Инга, родная!.. Если можешь, забудь!» Наотмашь тебя, Инга, без жалости, вместе с дочерью. Ради Митьки Гусака и ему подобных...

И стройная березонька
Листву наденет новую.
И запоет соловушка
Над синею рекой.

Умиленно разнеженные девичьи голоса.

Надо перехватить письмо, оно не должно уйти из железного ящика в Москву. Люблю тебя, Инга, и творю тебе зло! «Люби ближнего своего...» Ближнего, самого ближнего — без жалости!

Зачем?!

Поют и смеются, играют гармошки — бархатный вечер. Почему я должен быть врагом себе и своим близким? Хочу жить, как все, радоваться теплу, дышать полной грудью и не мучиться; для чего, куда, камо грядеши?

Но в том-то и дело, что не мучиться я уже не могу. Завидую счастливому бездумию Митьки Гусака и презираю его.

Инга и Гусак... Нет, я не имею права ставить их рядом. И со всеми другими тоже. Я люблю Ингу, а потому все станут мне казаться плохи, ничтожны — никакого сравнения!

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... Я люблю! Люблю!! Но если каждый вот так станет любить только самого близкого, самого-самого, а к остальным относиться враждебно?..

«Люби ближнего своего...» Почему-то эти слова обычно приписывают Христу. Ложь! Они были сказаны до него, и Христос восстал против них. Еще раз вспомни самое возвышенное место из Нагорной проповеди:

«Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите вра-

гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благоволите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Сам Христос покинул своих родных: «нет пророка в своем отечестве». Любовь к родным была бы якорем на пути к безбрежной всечеловеческой любви. И Будда Готам, юноша из царского рода Шакиев, покинул однажды ночью жену и сына, бежал из своих дворцов на дороги.

Митька Гусак не нуждается в том, что я мученически ищу. Но Митька еще не все человечество. И не ради одного только Митьки я оставил Ингу и дочь, даже не ради только жителей Красноглинки...

Гордо посаженная голова, волосы цвета бронзы... Жертвуй любовью во имя любви. Жертвовать или не жертвовать — не от меня это зависит. Цветок умирает, когда приходит пора наливаться плоду, одно отрицает другое.

Я не стану перехватывать письмо, завтра оно уйдет из железного ящика в Москву. Люблю Ингу, буду любить, всегда буду чувствовать себя преступником перед ней. Всю жизнь станет жечь совесть — медленный костер до гроба.

За те счастливые минуты равновесия, которые я теперь время от времени испытываю, приходится дорого платить.

Играют гармошки, поют девчата, то там, то сям вспыхивает веселый смех. Митьке Гусаку надоело стоять посреди дороги, лениденько побрел куда глаза глядят. В Красноглинке нежданный праздник.

И никто не знает, что я в этот счастливый вечер несу в себе бездну горя.

* * *

Утром постучали в окно, девичий голос прокричал:

— Теть Дусь! Твоему жильцу — повестка!

На клочке бумаги четким, без нажима почерком:

Гражданину Рыльникову Ю. А.

Просьба явиться к 9.00 сего дня в сельский Совет для выяснения неотложных вопросов, касающихся Вас лично.

Председатель Красноглинского с/с
Ушатков

— Ну, парень, не к добру,— объявила тетка Дуся.— Мишка Ушатков за хорошим не позовет. Уж я-то знаю, он хоть и не близкая, но родня мне.

Я уже немало слышал о председателе сельсовета Ушаткове. Не всегда он занимал сельсоветский пост, когда-то был одним из ответственных в районе работников, в свое время схлестнулся с менее ответственным Густериным, победил, высадил с высокого стула, а лет через десять скатился сам... к Густерину. «Здравствуй!..» — «Здравствуй!..» При встречах они без наигрыша приветливы, без усилий просты — старые добрые знакомые.

Ушатков — узаконенная власть Красноглинки, старший лейтенант милиции, участковый Тепляков обязан прислушиваться в первую очередь к нему. Густерин — экономика Красноглинки, тот же Тепляков не к Ушаткову, а к нему идет по нужде — выдели лошадь, уступи тесу на крышу, дай машину... Ушатков выдает справки с печатями, Густерин — деньги.

Правление колхоза и сельсовет в Красноглинке под одной крышей, кабинет Густерина и Ушаткова через стенку, но входы разные, не перепутаешь.

Чопорная неуютная старомодность — два стола, составленные буквой «Т», один под кумачом, с пыльным графином, на другом плексигласовый чернильный прибор с кремлевской башенкой. Он за столом — бочком, без чиновной осанистости, видно, что в любую минуту готов сорваться и бежать из кабинета — в жизнь, в массы.

Под морщинистой кожей лица чересчур откровенно угадывается костяк черепа, запавшие виски вызывают невольную жалость, зато скулы тверды, как лодыжки, хрящевато острый, как у тетки Дуси, синичий нос, тонкогубо сплюснутый большой рот, голубые, пристально выжидающие глаза.

Ушатков не предложил мне садиться, разглядывал голубым, уже старчески размыленным взглядом. Я вдруг не то чтобы увидел, а всей кожей ощутил себя: резиновые в засохшей глине сапоги, глазастые штаны с чужого зада, клетчатая рубаха с закатанными рукавами, щетинист.

— Вы в тюрьме не сидели?

Спросил просто, даже скучненько, без тени вражды и угрозы, словно осведомился: «Как ваше здоровье?»

— Нет,— ответил я.

Уж не пугать ли вздумал меня? Человека, который сам себя осудил, сам себя сослал в добровольную ссылку.

Я зацепил сапогом стул, пододвинул к себе и сел, перебросив ногу на ногу. Громадная казенная бахила, заляпанная красноглинской глиной, вызывающе закачалась перед Ушатковым. Но тот и внимания не обратил на мою демонстрацию, озабоченно продолжал:

— Вы о чем толковали на работе? За что агитировали?.. И откровенно, Рыльников, откровенно, без виляний.

— Может, вы мне сами доложите — о чем? Раз разговор начали с тюрьмы, так уж выкладывайте и состав преступления.

— За господа бога агитировали или нет?

— Нет, не агитировал.

— Без виляний, Рыльников, без виляний!

— Без виляний — не агитировал.

— Молчали? Все беседовали, а вы сидели паинькой?

— Объяснил, кто я, почему здесь у вас, в Красноглинке, оказался.

— И даже слово «бог» не произносили?

— Как же мог не произносить это слово, когда сообщал, что я верующий.

— Значит, признаетесь?

— В чем?

— Что верите в бога.

— А зачем, собственно?

— Без виляний, Рыльников, без виляний...

— Нет никакой нужды в особом признании, ни перед кем не скрываю: верю в бога, и вины за собой в этом не вижу.

— Увидите! Позаботимся.

— Вы, товарищ Ушатков, запамятовали: в нашей стране законом разрешена свобода вероисповедания.

— Старухам темным разрешена эта свобода — несознательны, спрос с них невелик, а вы сознательный, Рыльников, образованный,— значит, злостный мракобес, вас общим аршином мерить нельзя!

— Выходит, я повинен за свое образование?.. Вот это уже мракобесие чистой воды.

— Осторожней, Рыльников, осторожней!

— Я не так, как вы, думаю, не так гляжу, но почему это должно вам мешать? Может, от этого жизнь ис-

портится, земля станет хуже рожать, порядок нарушится, люди грызть друг друга бросятся?..

Запавшие виски, костистые скулы, голубой открытый взгляд, в голосе убежденность.

— Может!

— Как так, объясните?

— Ежели каждый будет думать во что горазд, глядеть куда заблагорассудится, то получится — кто в лес, кто по дрова. Не держава, а шарашкина фабрика. Дисциплина должна быть во всем!

— Не нарушай дисциплины, не смей думать иначе?

— Вот именно, не смей!

— Не смей думать по-новому, думай, как думали до тебя, топчись на месте, не рассчитывай на развитие... Не страшно ли вам?..

Лицо Ушаткова пыльненько посерело, взгляд потемнел, костистым кулаком он стукнул по столу:

— Вот!.. Ушатков — страшен и вреден, а ты, голубчик,— полезнейший человек!..

— А вдруг да...

— Ушатков, который к Марксу зовет!.. Полезен не он, а ты — к богу зовешь, к Христовым идейкам! Они же передовые, не обветшалые... А вправлять мозги ты умеешь, да! Послушай такие речи человек без твердых убеждений — глядишь, вместо нашей песни «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой» запел: «Спаси и помилуй, господи!»

— Почему вы думаете, что я не пою об избавленье. Пел эту песню, пою, буду петь.

— Безбожную?

— Песня-то зовет к защите угнетенных и обездоленных, к тому же, собственно, звал и Христос.

— Эвон! До чего мы ловки! И откуда вы вдруг повылезали! Раньше-то вас и на дух не было слышно. Развелось по стране нечисти, вот что значит без крепкой руки остаться...

— Без крепкой руки?.. А не кажется ли вам, что тот, кто сумел обзавестись крепкой рукой, из той святой песни невольно слово по слову выкидывал: «Ни бог, ни царь и ни герой». С крепкой-то рукой как не стать героем. Будут и возвеличивать, и молиться на тебя будут. А глядишь, в молитвах-то и до бога вознесут...

В голубых глазах Ушаткова что-то захлопнулось, они стали пустые, непроницаемые, на желтый костистый лоб набежала суровая складочка.

— Ну, хватит? — Он встал, прямой, плоский, остроплечий, дешевый пиджачишко висит, словно на вешалке.— Поговорили, обстановочку выяснили. Когда понадобитесь, дадим знать.— И отвернулся...

— До свидания,— сказал я.— Думается все же, песню ту я правильнее вас пою.

На работе мне пришлось объяснить, почему я опоздал.

Гриша Постнов, как всегда, не смотрел в мою сторону, стоял над бревном, бесстрастно тюкал топором, стесывая бок. Он всем своим существом показывал, что раз и навсегда не замечает меня, в упор не видит, не слышит — пустое место.

Митька Гусак вылез из ямы — гол по пояс, костлявое тело маслянисто лоснится от пота, волосы повязаны носовым платком, во все четыре стороны торчат рожками узелки,— представить сейчас нельзя, что этот Митька стоял вчера вечером посреди села показательно наряден, не человек, а наглядное пособие на тему: «Жить стало лучше, жить стало веселей».

Митька вылез и дружески подмигнул мне:

— На поверку-то, не бог тебя выручает, а ты его. Плоховат, выходит, у тебя товарищ. Нечего и водиться с ним.

Митька — сам «штрафничок», не столь давно еле-еле увильнул от суда — сочувствует мне.

Михей Руль, осторожненько вырубая паз — «выбирал череп»,— заговорил:

— Зря ты, парень, на весь лес кукуешь. Со всяким норовом зверь живет, кому-то может твое «ку-ку» и не понравиться.

Я возразил:

— А для меня, Михей Карпыч, никакой зверь не страшен — несъедобен я.

— Храбрился ерш перед щукой.

Пугачев, молчаливо и хмуро выслушавший мои объяснения, сейчас вдруг взорвался на старика:

— Подлости учишь, Михей! Втихаря кукуй, то есть себя стесняйся, кукушкой под ворону рядись. Ежели все ряженые станут, ненастоящие, как жить-то тогда?

— А как до сих пор мы жили? — ухмыльнулся Руль.— Ты думаешь, я весь наружу? Ан нет, кой-что под семи замочками прячу — не доберешься, шалишь.

— Утаиваешь?

— А как же иначе?

— Ты против искренности? Ты против правды?

— Правдив простак, да на нем воду возят.

— Жалко мне тебя, Михей.

— Подожди жалеть, сперва поживи с мое.

Пугачев повернулся ко мне:

— Должны люди открыто в глаза друг другу смотреть? Как ты думаешь, боголюб московский?

— Если только они не ненавидят друг друга,— ответил я.

— Эх-хе-хе! — вздохнул Руль.— Не язвил вас, парнишки, жареный петух в зад.

Рулевичи деловито махали топорами. Санька Титов ворочался в яме, выгонял «кубики». Гриша Постнов демонстрировал свое невнимание ко мне. Пугачев помялся возле меня, посверкал глазами с медного лица и вдруг с тоской воскликнул:

— Один ли ты, боголюб, непонятен! Все люди — лошади с рогами.

И резко отошел.

Я взялся за лопату. Я несъедобен, неуязвим. Что сделают со мной Ушатковы? Арестовать за то, что верую, нельзя — закон не разрешает. Снять с работы, отнять эту лопату?.. Смешно. Я свободен. Полностью.

Стало даже как-то обидно. За свои взгляды я готов на крест, на костер. Отошло время крестных казней...

* * *

— Ты уж, сокол, больно скор на расправу. Чуть что не понравилось — сразу печать Каинову ставишь: мол, ни дна тебе, ни покрышки. Эвон как сестру Аннушку припечатал— занедужила, из дому теперь не выходит. И с Михайло Ушатковым ты теперь вот разделался: ирод, да и только, анафема!

— Но ты же сама говорила, Дуся, что от этого человека добра ждать нечего.

Мы сумерничаем с теткой Дусей у подсиненного окна, обсуждаем мою беседу с Ушатковым.

— И теперь говорю — добро он часто изнаночкой поворачивает.

— «По плодам их узнаете их...» А плоды-то Ушаткова горькие.

— Ой, всегда ли? Однажды верхом он по берегу ехал. Весна была, самый ледоход. Глянь, а по реке-то старый дубас тащит. В нем девчонка, совсем мала, лет трех, что ли... На дубасе и летом, при малой воде, не каждый проплыть сможет, а уж в ледоход-то верная гибель. Толкни любая льдина — и перевернется... У каждого, поди, зашлось бы сердце — дитя же! — но, ой, не каждый полезет в полую воду, когда со льдом хороводит,— кто себе враг? Михайло-то сперва на коне хотел доплыть, да не тут-то было, разве коня загонишь в такую реку... Тогда скинул он лишнее, да и пошел среди льдин рукавами махать, притянул дубас к берегу, девку в охапку, а девка-то кошку держит, расставаться не хочет, так и принес ее в деревню с кошкой... Потом от застуды весь чирьями зарос. Да-а, доброе... Да-а... А вот в тот же год, кажись, он, Михайло, как-то ребятишек в траве застал, те с голодухи щавелек сбирали. Ведь не из баловства, с голодухи, и чего доброго — траву, так не, стребовал бумагу составить о потраве покосов. Подумай-ка, на детишек, как на скотину. Трава, выходит, дороже детишек. Вот хоть хай его, хоть хвали.

— Дуся, страшные слова! И после них еще оправдывать его!

— То-то все мы вместо бога суемся— судить да миловать. Говорю, что было. Вот Густерина нынче добром все поминают. И верно — не нагрубит, не откажет без нужды... А нырнул бы наш Валентин Потапыч дите спасать? Сдается мне, сперва подумал бы, а подумавши, в деревню повернул, мужиков сбивать... Михайло себя не жалеет, и себя, и других... Суровенький...

— Вы бы здесь его еще в святые угодники записали...

Тетка Дуся вздохнула:

— Ох-хо-хо! Сдается мне, одной вы косточки.

— Кто?— удивился я.

— Ты да Михайло — два лапотка, и оба лыковы.

— Да я с ним!..

— Уже само собой, ни ты с ним, ни он с тобой за стол не сядете. Друг за дружкой брезгаете. Он за святое дело и мать, и отца в землю вобьет, а ты?.. Ты эвон жену с дитем бросил.

Мутнел за окном тихий травянистый проулок, сидела рядом на лавке тетка Дуся, как всегда — на минутку, вот-вот спохватится: «Ой, забеседовались мы!» Сидит, растворившись в темноте. А как бы хотелось видеть сейчас ее лицо, ее глаза, отгадать по ним: нечаянно ты ударила или же с умыслом?..

С умыслом?.. Тетка Дуся?.. Более кроткого человека я не встречал в жизни. Чтоб так больно, с умыслом — нужна жестокая мстительность, нужна ненависть. Тетка Дуся ненавидит меня?.. Нет! Она так думает, таким меня видит: «Ты да Михайло — два лапотка, оба лыковые». Он — отца-мать, я — жену и дочь... «за-ради святого».

Мутнело окно, душные избяные сумерки прятали нас друг от друга — тетку Дусю от меня, меня от нее. Мы рядом — и между нами пустыня. Мы рядом — и на разных концах земли.

Она не понимает. Она, которая каждый вечер молитвенно разговаривает с Иисусом Христом. Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться!

Я стремлюсь... Я хочу стать глашатаем той сказки, в которую всем существом верит тетка Дуся, сказки, скрашивающей ее нелегкую жизнь, глашатаем того, что объединяет ее, красноглинскую бабу, со всем человечеством, с теми, кто жил когда-то, живет сейчас, кто еще не родился, кому суждено будет жить по материкам и океанам нашей планеты, а возможно, и за ее пределами. Я мечтаю объединить себя и тетку Дусю с великим и загадочным племенем людей Земли! Стремлюсь к этому! Иду на жертвы!

Да, жену! Да, дочь! Да, самых дорогих мне на свете! Бросил — да! Ради великого! Да! Всечеловеческого! На меньшее не согласен. Не собой жертвую, не собственной жизнью — бóльшим! Так скажи мне спасибо, страдающая душа, изумись моей бескрайней жертве, ну хотя бы пожалей. Стою того. А ты?..

«Эвон жену и дите за-ради святого». Эвон... Осуждение. После такого я должен люто возненавидеть — себя... или тебя, тетка Дуся. Люто, непрощающе, навсегда!

За окном в густых сумерках, за оцепенелыми избами доигрывают свои последние песни гармошки, доносятся девичьи голоса, живет Красноглинка просто, бездумно, по-своему счастливо. Убитый и растерянный сижу я в темноте.

Себя или ее?.. Не знаю, кого ненавидеть.

Будь проклята, обидчица!.. Нет, не смею. Не смею даже стонать, корчусь в темноте втихомолку.

— Ты, любый, и в бога вот веруешь, и жалостлив вроде, а не замечаешь, как вокруг тебя кипяточек нагревается...

Я молчал.

— Того и гляди, ошпаришь и сам сваришься...

Я молчал.

— Силен бес и горами качает, а уж людьми-то, словно вениками, трясет. Беса-то ищем в других. Михайло всю жизнь только тем и занимается: ищет беса да вышибает! Ты помоложе, еще не развернулся. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие! Забеседовались мы, однако! Ну-кося, свет включу, корове пойло надоть вынуть...

Я, боясь, что Дуся при свете разглядит мое лицо, поспешил в свой закуток, на свою слоновью койку.

Одной кости с Ушатковым...

Ради святости жену и дочь...

И от этой святости — кипяточек не греет, а ошпаривает.

Постыдно корчить из себя Христа, не постыдно к нему стремиться. Я стремился к Христу самозабвенно, отчаянно, с надрывом, с жертвами... Жену и дите за-ради святого... Стремился и пришел... к Ушаткову.

Что я такое? И что такое мой бог?

За окном далеко девичьи голоса пели частушки:

Ах, я иду и пыль пинаю
Туфелькой шевровою...

Поют, гуляют, целуются, а у сиротливой тетки Дуси в углу лежит занесенный странным ветром сиротливый человек. Поют, гуляют, целуются — нормальная жизнь. Я недоволен этой нормальностью, чего мне хочется?..

И что станется с людьми, если они меня послушаются, перестанут жить, как жили,— нормально?.. Жен и детей за-ради святого... Страшно! Страшно!

И вновь старые вопросы. И вновь у разбитого корыта. В который раз!..

* * *

Мы кончили все земляные работы — навозохранилище и ямы под фундамент. У плотников был почти готов сруб. Рубленные в лапу бревна Гриша Постнов нумеро-

вал масляной краской, чтоб не перепутать — какое на какое потом класть. Завтра сюда со строительства ремонтных мастерских перекидывают каменщиков.

После обеда решено было отметить «по-семейному». Митька Гусак прошелся с «шапкой»:

— Гони по рваному с рыла.

И сразу же как из-под земли вырос гость. В шляпе, утратившей цвет и форму, но сохранившей ленту, воспаленно красная рожа, мокрогубый рот, растянутый до ушей в улыбке,— Мирошка Мокрый. Он услужливо рвал у меня из рук лопату, кричал весело:

— Скос-то неровно взял! Глянь со сторонки. Ну кто так скос берет, конфуз тебе в селезенку. Учен, да плохо! И-их! Алли-го-рия!

Бросал лопату, выскакивал из ямы, мчался к плотникам:

— Гришка! Гришка! Давай полустеночки-то горушкой сложим. Учи таких сопляков порядку!

Пугачев остановил Мирона:

— Зря, Мокрый, стараешься. Сегодня не обломится.

— Что так? Аль строители скупы стали? Аль я вам не компания? Какая компания с Мироном пропадала? С Мироном всюду веселье.

— И все-таки, веселый человек, отчаливай да не мешкай. С нами сегодня Валентин Потапыч сидит.

— Эхма! Алли-го-рия! Чего бы это Густерину сегодня — праздник не тот, чтобы сам председатель веселился. Чего председателю-то с вами праздновать? И всего-то навсего — землю повыкидали...

— Не твоего ума дело. Катись подобру, а то на ручках унесем!

— Да уж ладно. Э-эх, аллигория! С Густериным Мирон не путается, дорожку уступает... Ладно, ладно...

Исчез.

Я не видел Густерина с того разу, как он нанял меня на работу, даже издали. Ни разу еще председатель не появлялся на нашей стройке. Но как дух божий, Густерин постоянно окружал меня: «Валентин Потапыч просил... Валентин Потапыч указал... Валентин Потапыч обещал...»

И вот он, парадно осиянный прокаленной (тронь — зазвенит) лысиной, морщины в застывшей прижмурочке

(полевое солнышко, видать, вечную улыбочку приклеило), выгоревшие жесткие усы, дедовские подслеповатые очки и юношески легкомысленная рубашка — ворот апаш, рукава короткие, и обнаженные выше локтей руки мускулисты, и походка упругая, молодцеватая — почтенно стар, задорно молод, зрелой середины в нем нет. Подпрыгивая прошелся вдоль ям, приготовленных под фундаменты, заметил меня:

— Здравствуйте. Как жизнь?

— Ничего.

— Бежать не собираетесь?

— Если не прогоните.

— Как, бригадир, он себя показывает?

— Старается,— ответил Пугачев.

Он мог бы отвалить и щедрее: старается не значит справляется, а я научился вымахивать лопатой, право, не хуже штрафника Митьки, отстаю только от Саньки Титова, но с тем тягаться можно лишь на экскаваторе.

— Зачем же гнать вас — живите, если хлеб наш вам солон не кажется.

— Эй, ребята! — повернулся Пугачев к братьям Рулевичам.— Накрывайте на стол!

И Рулевичи, подхватив топоры, принялись хозяйничать: пара взмахов — отесан кол, пара ударов обухом — кол вогнан в землю, еще кол, еще — четыре ножки, на них лег сколоченный из тесовых обрезков щит — готов стол с занозистой столешницей. На нем выросли три зеленоватых поллитровки, варварски разодранная банка килек, на мокром газетном листе — вялые, прошлогоднего засола огурцы, колбаса, которую один из Рулевичей тут же порубил топором, буханка хлеба, располосованная на обильные ломти, мутноватые граненые стаканы...

— Милости просим, не побрезгуйте.

Густерин сел за стол и бросил на меня из-под очков быстрый, изучающий взгляд. И сразу осенило...

Как я прост! «Семейная выпивочка», председатель колхоза на ней ни с того ни с сего. Это же заговор против меня! И глава его не Пугачев — сам Густерин. До Ушаткова дошел слух о моих «душеспасительных беседах», а до Густерина разве мог не дойти? Ушатков действовал без ухищрения, с похвальной простотой: «Бере-

гись, посажу!» Густерин не из таких, читает исследования Веселовского, интеллигентный председатель — выпивка по случаю, застольный разговор, противник, позорно прижатый к стене...

Но только осмотрительно ли это с вашей стороны, товарищ Густерин? Вы же знаете: я из-за своих убеждений решился сменить Москву на Красноглинку, семью на тетку Дусю. Значит, убеждения-то не простые, убеждения отчаявшегося, их сокрушить вряд ли можно так вот просто, с первого раза. И вряд ли вы, товарищ Густерин, здесь, в Густоборовском районе, смогли пройти такую военную подготовку, какую прошел я и в ночных студенческих спорах, и в редакции журнала, где приходилось схватываться с теми, кто находится на переднем крае современной науки, с дерзкими и зубастыми молодыми учеными. Я бретер, Густерин, я закаленный дуэлянт в диспутах! Что ж... вы сами того хотите, скрестим шпаги.

Садясь за стол, я испытывал подмывающую отвагу.

Выпили по первой, чтоб «смочить корни» будущего коровника. Густерин пригубил, поставил стакан. Наступило неловкое молчание, лица ребят торжественно натянутые, выжидающие. Митька Гусак попробовал сострить: «Милиционер родился...» Никто не поддержал.

И Густерин начал наступление:

— Признаюсь, я сам напросился в гости.

— Ради меня? — пошел я навстречу.

— Ради вас.

— Чтоб задать вопрос: как я дошел до жизни такой?

— Если неприятно — не отвечайте. Поговорим о коровнике.

— Почему же? Им отвечал, и вам готов. Но прежде вопрос: вы верите, что когда-нибудь ваш колхозник по утрам будет купаться в собственной ванне?

— Гм... Верю, иначе был бы плохим председателем.

— И я верю — будет. И пугаюсь этого.

— Нуте-с?

— Добиваться жирных щей вместо щей пустых, водопровода вместо колодца, ванной вместо лохани — да, одаривать людей, но вместе с тем, увы, в чем-то и обворовывать их.

— Это как же так? — не без враждебности удивился Пугачев.

Но Густерин не удивился, даже поерзал от удовольствия.

— Интересно, интересно,— сказал он.

— Это как же так? Ежели я эти жирные щи заработаю — значит, обкраду себя?

— Объясню. Не сразу. Прежде спрошу тебя, Пугачев: как думаешь, кому сильней хочется получить — голодному кусок хлеба или пообедавшему пирожное?

— При чем тут пирожное,— сердито проворчал Пугачев.— Не темни.

— Пирожное, может, и ни при чем, да на нем человеческая натура вылезает. Если ты будешь сыт не только хлебом, но и пирожным, и удобствами, вроде ванной да сортира в кафеле, ты, возможно, и станешь еще чего-то желать, но уже наверняка не столь сильно, как прежде. Прежде-то брюхо песни пело, простого хлеба просило, не исполни его желание — ноги протянешь. Тут уж поневоле сильно желаешь, сильней некуда. А при ванной, при большой сытости... Машину бы иметь, дом просторней, но это, право, не вопрос жизни и смерти. Твои-то желания не имеют прежней силы. А жизнь, где не очень-то желается, не ждется ничего впереди, вряд ли покажется счастливой.

— Интересно, интересно...

Пугачев недоуменно пожал плечами, но заговорил Михей Руль, на этот раз не в мою защиту:

— Что тут интересного, Валентин Потапыч, никак не пойму. Чушь какая-то. Выходит, накорми меня, тогда я испорчусь.

— Вредительская философия,— откликнулся Гриша Постнов.

— Ишь ты лягнул,— усмехнулся Густерин.— Копытом только лошадь правоту доказывает.

— С белой ванной черненькая тоска приходит! Как вам это доказать?! Живущий впроголодь никогда не поверит, как тяжело ожирение. Не рассчитываю, что и вы, Валентин Потапович, поймете, вы, честный рыцарь большого куска, всю жизнь положили на то, чтоб он рос в руках колхозника. Но в конце-то концов этот кусок вырастет до такой кондиции, что уже дальше его рост никого не будет радовать, цель потеряется. Конечно, сейчас в Красноглинке эти опасения кажутся смешными...

— А если нет? — спросил Густерин.— Если скажу, что каждому порядочному председателю теперь приходится задумываться — не хлебом единым жив человек...

— Разве?

— Не дождались, когда ванны кафельные будут, раньше времени бесимся,— съехидничал Густерин.

— Что-то не заметно ожирения в Красноглинке.

— Вам не заметно, потому что не знаете, как эта Красноглинка раньше жила. Тем, кто жрал толченку из коры, а теперь кусок хлеба свинье бросает, это заметно. Сыты! Молоко пьем, пиво варим...

— И самогончик втихаря,— постненько вставил Митька Гусак.

— Раньше красноглинец от толченки бежал — понятно. Теперь бежит тоже, от хлеба к такому же хлебу — непонятно. Ванны да сортиры его манят? Ой ли? Найдется ли такой дурак, который рассчитывает, что его в центре города квартира с ванной ждет, догадывается — ждет-то его общежитие, да еще барачное, в одной комнате — куча мала. Говорят, культуры нехватка, мол, это гонит. Культурой что хвалиться — не богаты. Но уж так ли тоскует беглый красноглинец по этой культуре? Попадая в город, он на театры да на музеи не набрасывается. В кинишко идет, какое и мы здесь крутим каждый день. Я и на самом деле, как вы выразились, рыцарь большого куска, но и меня, рыцаря, жизнь заставляет дальше этого куска заглядывать. Дозрел.

— Тогда сделайте еще один шажок вперед и дозрейте, чтоб признать: нужна людям — всем людям, на всем белом свете! — помимо жирного куска, какая-то наивысшая цель. Учтите, не к нищете зову, не к тому, чтоб жирный кусок изо рта у трудящегося вырвать, к единой цели! Бесцельность опасна! К единой, не на день, не на год вперед — на все времена, пока жив человек!

— И как вы представляете эту всевышнюю цель?

— Конкретно? Никак. Она для меня непостижима.

— Вот те раз! — изумился Густерин.— Это что же — иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что?.. Ребята, вам понятно?

Пугачев проворчал:

— Мура.

— Не знай что?.. Но разве обязательно знать солдату замыслы главнокомандующего? Если у солдата есть

вера в гений главнокомандующего, ему легко воевать, ему даже погибнуть нестрашно.

— Эге! Наконец-то мы подходим к горяченькому. И главнокомандующий этот для вас?..

— Если он будет человек — это выльется в деспотизм. Но если за главнокомандующего над людьми признать не человека, а высшее существо...

— Бога?

— Да, бога!.. Раз я верю в то, что он, бог, по своему высокому желанию создал жизнь на планетах, в том числе и нас с вами... Раз я поверю в бога, то должен поверить, что существует у этого бога своя цель, непостижимая для меня, но высшая, правая. Значит, я начинаю жить убеждением, что мое существование не бесцельно, я осознаю свое высокое призвание.

Густерин сощурился сквозь очки, но уже не добродушно, не иронически.

— Гм...— сказал он.— А самообман-то к добру не приводит.

— ...Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Вы материалист, Валентин Потапович, пользу золотого сна не признаете, а я признаю.

— Сном, даже золотым, долго не проживешь, рано или поздно проснись и живи днем, который начался, а для этого ставь цель перед собой, и не всевышнюю, туманную — не знай что! — а конкретную, достижимую.

— Коммунизм! — выкрикнул Гриша Постнов.— Он достижим! Пусть он скажет про коммунизм! Не увиливает!

— Хорошо,— согласился я.— Пусть коммунизм. Конкретная цель. Но как вы, материалисты, понимаете ее? Стремись жить для будущей жизни, для потомков? И попробуй тут не впасть в сомнение: почему я должен жить для каких-то далеких по времени, мне незнакомых людей? Чтоб не мне, а им жилось лучше. Почему им, этим далеким, такая привилегия? Почему я кому-то должен служить удобрением? После таких мыслей я скорей всего приду к выводу: не лучше ли жить только для себя? Этого не было, если бы я руководствовался: люби того,

кто рядом с тобой живет, такого, как ты сам, кто может ответить такой же любовью, согреть тебя.

— Он против коммунизма, Валентин Потапыч! Послушайте же — он против!

— Нет, за коммунизм! — ответил я.— Но не просто за материальный, а и за духовный.

— Через бога? — спросил Густерин.

— Жалкое заблуждение, что вера в бога — помеха коммунизму.

— А я не хочу жить в твоем божьем коммунизме! Не хочу! — не унимался Гриша.

— Ты хочешь жить в таком, где бы все работали поровну и получали поровну?

— Да, в таком, чтоб без бедных и богатых.

— По тебе не видно.

— А как ты можешь видеть, что я хочу?

— Я сейчас работаю не меньше тебя, устаю даже больше, топором махать все же чуть легче, чем выбрасывать глину лопатой, а получаешь ты поболе моего. И берешь не краснея, в голову не приходит тебе получать поровну со мной. Нет, ты к своему коммунизму не приспособлен.

— Себя со мной не равняй.

— То-то, мы за равенство, а равнять нас не смей.

Гриша не ответил, сердито надулся.

Наступила минутная тишина. Слышно было, как где-то у реки в прибрежном ивняке смачно щелкает и высвистывает соловей, не нашедший терпения дождаться сумерек. Щелкает и высвистывает, поет о том, как прекрасен для него этот красноглинский мир.

— Подведем итог,— подал наконец голос Густерин,— бог вам нужен ради всевышней цели, не так ли?

— Так,— ответил я твердо.

— Всевышняя цель — это конечная цель, дальше которой уже никаких целей существовать не может? Не так ли?

— Да, конечная, да, последняя, вовсе не проходная, то есть вечная.

— Вечная или конечная? Сами понимаете, одно исключает другое.

— Для человека — вечная, а поскольку сам человек скорей всего не вечен, то предполагается — эта великая цель завершит его существование.

— Ясно.

Снова молчание. Гриша Постнов сидит надутый, Пугачев весь подобрался. Густерин задумался.

Выщелкивает одинокий соловей у реки.

До сих пор Густерин только прощупывал меня, особых выпадов не делал. Должен же ударить. Все ждут. Жду я.

И он этот удар нанес с ходу, тут же, сразу после паузы.

— Ну что ж,— вздохнул Густерин,— попробую доказать, что вы или человеконенавистник, или путаник.

— Даже так? Давайте, слушаю вас.

— Цель конечная... А раз так, то опа и означать должна конец человеческой деятельности, конец житья-бытья — смерть. Этого желаете?..

— Я идеалист, но не утопист, трезво смотрю на вещи. «Вера в вечность человеческого рода на Земле столь же нелепа и бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума». Это не мои слова, а одного пашего ученого. Нашего, не буржуазного. И учтите, его никто не собирался опровергать.

— Этот ученый, может, и прав, но разговор-то теперь идет не о том — бессмертны вообще люди или смертны,— а о том, что лично вам больше нравится. Наверное, и тому трезвому ученому хотелось бы, чтоб человечество жило без конца. Хотелось, речь идет о желании. Только человеконенавистник может испытывать духовную потребность во всеобщей смерти.

— Ха! — Пугачев с размаху хлопнул ладонью по шаткому столу.— Вот оно!

— Потише! — крикнул Митька Гусак.— Жизни-то не конец, да, гляди, конец выпивке. Чуть бутылки не сбил.

— Леший с ними! Еще сбегаю.

— Послушайте,— заговорил я сердито,— ученый, который, не прячась и не лукавя, объявляет о конце,— не человеконенавистник, а я, который заявляю столь же прямо о конечной, попал в негодяи.

— Вы не заявляете, вы желаете — это большая разница. Упрекнешь врача, если он заявляет, что больного ждет смерть? А вот если он не просто заявляет, а желает смерти — значит негодяй, если не преступник.

— Сравнение хлесткое, но ко мне-то притянуто за уши.

— А разве вы не стали на путь духовного врачевания? А разве вы не втолковывали мне тут, что люди излечатся, если станут верить в то, во что вы верите, желать того, чего вы желаете? А представьте мир, где все желают по вашему рецепту конечной цели, за которой прозрачно проглядывает некая картинка общей смерти. Не случайно, видать, религия во весь голос кричала о Страшном суде. Хотите вы или нет, в старую унылую дуду трубить пробуете.

— Валентин Потапович, не смейте!..— произнес я.— Не смейте отрывать божескую цель от бога. Они едины!

— Да уж, конечно. Каков дьяк, такова и панихида.

— Может, мы, Валентин Потапович, отбросим спор, а перейдем на словесные пощечины?

— Простите, не хотел вас обидеть. Хотел лишь сказать, что раз идея конечной цели может вызывать только страх и уныние, то и сам бог неизбежно будет выглядеть эдаким пугалом. Он же и был таким — берегись, покараю!

— Верно, был. Но человечество тем и совершенствовалось, что уходило от грозных богов, богов-пугал, к добрым, любящим.— Я вспомнил сестру Аннушку с ее богом-дубинкой и добавил: — Вся история человечества заполнена борьбой с дурными богами. Боги выступали против богов. Причем кроткий Христос побеждал Зевса-громовержца.

— Эге! — Густерин весь заморщился от удовольствия.— Глядите, как вы запели — борьба нужна. Ну да, ну да, батогом против батога, богом против бога. А нельзя ли выразиться иначе — непрекращающаяся борьба одних идей с другими. Ведь ваши-то неуловимые боги — не что иное, как человеческие идеи. Если так, то спор кончен — договорились до материализма.

— Нет, не договорились, Валентин Потапович. О самом важном забыли.

— Ну-кось?

— О ванной забыли... Мы скоро без иронии будем произносить ругательную фразу: «С жиру бесятся». Взбесишься, если цель жизни утрачена.

— Но какая цель? Конечная ли? Я же не сторонник бесцельности.

— Какой смысл играть в шахматы, если ни один из противников не сможет дать мата. Мат — цель игры, которая, собственно, убивает игру. Убивает, а без конечной-то цели нет смысла играть.

— А когда-нибудь ради шутки играли в шахматы без королей?

— Нет.

— Попробуйте на досуге. Королей-то нет, мат исключен, но игру-то совершенно бессмысленной никак не назовешь: пока фигур полно на доске, игра как игра — мозгами ворочай, осмысляй.

— Но в конечном-то счете это бессмысленное занятие!

— А теперь представьте, что эта игра сложна и так длинна по времени, что поколения игроков сменяются другими поколениями, каждого из них конец игры просто не может заботить, потому что они о нем лишь смутно догадываются — мол, все на свете имеет свое начало и свой конец, значит, и игра наша когда-нибудь непременно кончится. Но будут ли они от этого меньше чувствовать смысл игры?

— Вы хотите сказать, что конечная цель не определяет смысла?

— Конечная-то каждого из нас — могилка под ракитовым кустиком, но смысла такая цель не дает, живем иными...

Я молчал.

— Проходными... В них смысл заложен.

Я молчал.

Пугачев глядел на меня с победной усмешечкой, — знай наших. Гриша Постнов не спускал с меня круглых, совиных, недобрых глаз. Остальные же давно откровенно скучали — спор-то спором, а водку на столе забыли.

Густерин встрепенулся:

— Ну, не знаю, как вам, а мне с этой конечною целью ясно. И пора отчаливать... Да и ребята носы повесили от наших с вами — ату его!

Он легко вскочил из-за стола и, уже отбежав, оглянулся и крикнул:

— Сами признались: бог-то вам нужен ради всевышней цели. Вспоминайте это почаще!

Я снова ничего не ответил. Соловьи на реке уже пели в несколько голосов.

— Ребятушки! Козлятушки! М-м-ме-е!.. Молочко-то осталось ли?..— Из-за бревен торопливо вылез Мирошка Мокрый.

Митька Гусак удивился:

— Ты, грибок, не под листом ли прятался?

— Туточка лежал. Уж и спал, и лапу сосал, весь истомился.

— Терпела лиса, пока бабка кур кормит.

— Ну и шакал же ты, Мокрый!

— Такому хоть орден за стойкость вешай.

— Орден, ребятушки,— дело наружное, у меня нутро награды просит... Эй, да вы-то что тут делали? Да боже ж мой, вы сказки-то насухую слушали, ай знали, что без Мирона спешить не следует?

И-их! Председатель, уступи,
Меня в доярки запиши,
Одну коровушку дою —
Бутылочку литровую!

Развеселю вас, братцы! Знай Мирошку Мокрого! Эй, москвич! Чего нос повесил? Давай выпьем да спляшем вместях всем на потеху!

Вскочил Гриша Постнов — волосы всклокочены, щеки вздрагивают, глаза блестят.

— Ты!..— срывающимся голосом на меня.— Ты!.. Нянчатся тут с тобой! А ты же вор! Ты весь наш советский народ обворовываешь!

— Гришка! Аллигория! Бросай политику толкать, знаем, что сознательный. Душа горит, а ты момент оттягиваешь.

— Заткнись, Мокрый!.. На тебя тратились, в институтах учили, а что из тебя толку? Выучился, извел народные денежки да отплюнулся—в святые угодники пишите!..

— Охолонь, Гришка,— вступился Михей Руль.— Пусть бы он, как Митька Гусак, от корысти, а и того нет. Какая корысть в лопате, посуди-ка.

— Если деньги растратил без корысти, по халатности — милуют? Нет, судят! Все одно вор!

— После дела кулаками машешь,— подал голос Пугачев.— Он уже побитый сидит. И не кулаком по черепу — словом по мозгам.

— А что для него слово? Что?! — кричал Гришка.— Его и в Москве словом пронять не могли. От таких сло-

ва, как от стенки горох... Не уговаривать их, а морду бить!

— И компанией еще, кучей на одного?..— процедил Пугачев.— Тоже мне праведничек.

— Брат-тцы-ы! Опосля водки доделите, опосля водки способней по-всякому, даже по мордам простительно!..— вопил Мирон.— А ну, раздвиньтесь, братцы, допустите меня, я тут по всем правилам устрою...

Но Митька Гусак придержал его:

— Э-э! Шалишь, Мокрый. Пусти лису на приступочку, из дому выставит. Садись гостем и не хозяйничай... Но в общем-то, чего это мы в самом деле... Идею помни, а о водочке не забывай. Божий человек, придвигай и свой стакашек — расплесну сейчас всем.

— Спасибо,— я поднялся.— Мне лучше уйти, а то, Мирон прав, после водки как бы кому учить не вздумалось.

— Баба с возу, кобыле легче,— веселенько откликнулся Мирон. Он уже восседал на густеринском месте, не отрывал завороженных глаз от бутылки.— Не жадуй, Митька, лей с краешком — с утра мучаюсь.

Руль остановил меня:

— Зря, паря, ты обижаешься. И Гришку понять должон: институт-то ему вроде господа бога, второй год на него молится. Ты от бога его отвернулся, как ему тебя не невзлюбить.

— Никакого бога у меня! Мечта за душой, а не бог! Он мне душу заплевал своим поведением. Прощать? Нет! Моя бы воля — душил таких!

— Иди, друг, коль собрался,— посоветовал Пугачев.— Спор-то кончен, теперь звон пустой.

Я двинулся прочь.

— У-ух! Вон оно! За что муки такие! По жилочкам, по жилочкам — аллигория!..— раздалось за спиной.

* * *

Теплой ночью, пахнущей речной влагой, укрыто село. Я показался на вымостках, перекинутых с берега на берег. Со всех сторон меня окружали соловьи, я стоял в центре соловьиной галактики. Их пение вкраплено в тишину, как звезды в ночном небе: одни ближе, ярче, сочней — голоса первой величины, другие удалены, притушены — тускло мерцающие подголосочки. И обморочно

неподвижные черные кусты, и темная громада вздымающегося берега, и смутным всплеском церковь на нем, и узкий серп молодого месяца над всем крапленным соловьиными голосами миром. А внизу, в веселенькой преисподней,— река мерцает и поеживается под луной, течет, смеется, смеется, словно защекоченная.

По этим вымосткам в ночную пору никто не ходит из села — на берегу лишь церковь да поля за холмом, а еще дальше леса... Ночь скрывает меня от всех. Похоже, что я, как искусанный волк, прячусь, чтоб зализать свои раны.

Я сам создал для себя теорию. Если есть бог, значит, есть и наивысшая, наикрайняя цель. Сам бог непостижим, и богову цель не понять слабым человеческим разумом, в нее нужно просто верить, как верят математики, что через две точки на плоскости нельзя провести больше одной прямой. Есть Всевышняя Цель! Единая для всех! Верь и стремись к единому, не тяни, кто в лес, кто по дрова. Согласие среди людей, их любовь друг к другу само по себе не есть прямой замысел бога, но отражение его — тень. А тень-то дерева соответствует самому дереву. Возлюби ближнего своего!

Такова моя теория. Право же, я испытывал от нее удовлетворение, как конструктор при виде созданной им машины,— все удачно подогнано, ничто не торчит, не гремит, не отяжеляет, нет лишнего. И главная находка: «Тень дерева соответствует самому дереву, бога видеть не дано, но его тень улавливаема». Быть может, кто-то из верующих давным-давно открыл это до меня — не знаю! Я гордился своей гуманной теорией.

И вот при первой же пробе... Да, при первой!.. До сих пор я еще ни на ком серьезно не пробовал свои взгляды. В Москве приходилось их прятать, в спор ни с кем не вступал. Здесь же одерживал победы над простоватыми ребятами своей бригады — плотниками и землекопами. Густерин первый — не простоват. И этот первый сразу же вырвал узелок — гляди, с гнильцой. Не наикрайняя цель игру делает, не стремись к ней! И через плечо с издевочкой: а бог-то тебе, любезный, нужен ради этой наикрайней да наивысшей! При первой же пробе...

Соловьиные голоса со всех сторон, голоса, освещающие непроглядную тишину. Под ногами нежно, заливчато, как от щекотки, смеется речка. Стою, облокотившись на жидкие перильца, забился сюда от всех подальше.

Приехал в Красноглинку, бросил семью. Зачем? Исстрадался по конечной...

Соловьиные голоса, соловьиная галактика...

Когда-то меня пугала кошмарность Вселенной — не познать, не охватить, жалок ты со своим умишком, случаен, бесцелен, бессмыслен. Кошмар Вселенной требовал — открой вселенскую цель, пусть даже видимость ее, самоутвердишься, перестанешь выглядеть столь жалким, ты не бессмыслица!

Не конечная цель делает игру. Гм...

Вселенная необъятна до кошмара, но тогда это уже не так и плохо. Необъятна, черпай — не иссякнет, выуживай из бесконечного одну проблему за другой, постигай цель за целью, веди игру с вечным противником. Не конечная делает игру... Вечный противник, вечная игра, никогда не утрачивающая смысла — вечная, непрекращающаяся деятельность человека.

Соловьиные голоса, буйно сочащиеся из провальной тишины. Какая ночь!..

Почему-то вдруг всплыло в памяти яркое, солнечное утро над Москвой, празднично весенняя толпа на привокзальной мостовой, бородатый парнишка в душегрейке, вывернутой мехом наружу, с независимым видом волочащий сквозь толпу по асфальту привязанную к ноге консервную банку. Консервная банка, консервный звон — презираю, люди, ваши привычки, не хочу походить на вас, вот вам, любуйтесь — не брит, не стрижен, не мыт, гремлю. Вам смешно, вам дико мое поведение, этого-то я и добиваюсь — злитесь!

Уже тогда я почувствовал, что тот нестриженый, немытый — мой непутевый родственник. Как тогда хотелось похвалиться — обрел более интересное, чем пустая консервная банка.

Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое...

Я готовился защищать бога, а Густерин его и не тронул. Сир, я нуждаюсь в этой гипотезе!

Отче наш, иже еси на небеси...

Гремлю своим богом, как пустой консервной банкой.

А соловьи-то здесь, соловьи! Над рекой млечный путь из соловьиных голосов!

На берегу вдруг захрустел песочек, скрипнули вымостки, раздался прозрачно легкий, почти девичий стук каблуков по дощатому настилу. Соловьиный мрак родил на свет юной луны тощую фигуру, шляпа бросала тень на узкое лицо — отец Владимир!

И на узких мостках спрятаться некуда. Он замедлил шаги и узнал меня:

— Юрий Андреевич! Я же вас искал!

Я только кивнул и ничего не ответил. Он встал рядом, положил бледные руки на жидкие перильца, на голубоватый острый нос, как жирная маска, надета тень от полей шляпы. С минуту мы слушали соловьев и смех реки.

— Благодать-то! Господи! — вздохнул он не очень искренне, тревожно.

И я снова ничего не ответил. Тогда он всем телом повернулся ко мне:

— Юрий Андреевич! Не могу! Не могу! Покою не нахожу после нашего разговору. Отравлен!

Еще один спор, не много ли для вечера?

— Лучше послушаем соловьев, Володя.

— Володя?!

— Простите, сейчас мне как-то неловко величать вас отцом. Впрочем, у вас, верно, мирское-то имя другое?

— Нет, нет, то самое, от рождения. Меняют имена только при пострижении в черное духовенство. Я — служитель церкви, а не монах. Да, да, зовите меня Володей... Сна вы меня лишили. Вы же веру мою... верой для дураков поименовали. А я молодости своей не жалею и готов, готов ею жертвовать, но это ж зря по-вашему?

— Володя... Вечер-то какой... Договориться не договоримся, а вечер испортим.

— А я хочу, Юрий Андреевич, со спокойной душой этот вечер принимать, без отравы. Выслушать меня должны.

— Ну что делать...

— Вам желательно верить и при этом позвольте, мол, сомненьица иметь. Возможно ли такое? Вера есть вера, сомнения ей противны. Для топора острым нужно быть, а для молотка острота ни к чему. Острый-то молоток — бесполезнейшая вещь.

— Ультиматум: или — или?

При звуке наших голосов умолкли ближние соловьи и смех реки стушевался.

— Да, Юрий Андреевич, да! Или верить, или предаваться сомнению!

— Тогда, пожалуй, я выберу сомнение.

— Ага! — возликовал на всю тихую реку отец Владимир.— Так я и знал, что вы еще неверующий, еще не дозрели! Вы жаждете, жаж-де-те! Соглашусь охотно. Но берегитесь, как бы вечные муки Тантала не испытать. Жажда-то будет, а губы не освежите влагой веры.

— Володя... Вы человеческое душить беретесь. Безнадежное дело.

— Ка-ак?! Это же смешно, Юрий Андреевич!.. Я — душить?.. Ха-ха! Смеюсь над вашими словами. Я же по стопам спасителя человечества иду! По стопам нашего Иисуса Христа шагаю. Того, кто глаза на любовь открыл, кто учил любви и всепрощению!..

— Кажется, главное отличие человека — это умение мыслить. Истина-то прописная, спорить вряд ли будете.

— Ну, положим, положим. И что из того?

— И каждое разумное открытие, большое ли, маленькое, у человека начинается с догадки. С этим тоже трудно не согласиться.

— Я — верующий, я последователь — не открыватель!

— Но если б все были покорными последователями, то, наверное, человек так и не догадался бы подняться с четверенек.

— Пусть догадки, пусть открытия, я со своей верой в святое писание тут не помеха.

— Помеха. Чтоб понять, верна догадка или ложна, нужно к ней отнестись с сомнением. Обязательно! Слепо доверять — значит не двигаться, топтаться на старом. Способность мыслить идет от догадки к убеждению только через сомнение. Без сомнений нет мышления, без способности мыслить нет человека. Вы против сомнений, значит... Элементарная логика говорит: отец Владимир, человеческое душите!

— Про разум и логику Христос ясно сказал: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну!»

— Ну, знаете, не компрометируйте Христа. Наверное, Христос это говорил о горе-мудрецах и о лжеразумных. Человечество отвернулось бы от него, если б он отвергал разум.

— О, как это страшно! Под благообразной личиной — бесовская рожа! Вы неверующий! Неверующий!

— С вашей точки зрения — да.

— А со своей-то, со своей посмотрите! В глубь себя! Есть ли там, в глубине-то, хоть золотник веры?

— Уж лучше быть неверующим, чем тупоголовым дураком. «Блаженны нищие духом...» Людям свойственно стремиться к иному, не к духовной нищете.

— Вы дьявол! Вы лазутчик сатаны!

— Одумайтесь, за что упрекаете? За то, что человеком хочу остаться. Вольно же вам.

— Сгинь! Сгинь! Искушение!

— И мой вам совет, отец Владимир, сбросьте с себя рясу. В ней вам так трудно жить, а пользы от этого никому, только вред.

— Дья-а-во-ол!

— Всего хорошего, святой отец.

Потеснив его, я двинулся по шатким мосткам к берегу.

На берегу я оглянулся: отец Владимир маячил под луной, испуганные нашими голосами соловьи снова запели... Мне жаль этого пришибленного человека.

А себя?..

«Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» — для этого не обязательно быть Христом, болваны всех мастей вершат такое ежедневно.

* * *

Как ни тихо я пробирался к своей постели, но все-таки спугнул чуткий старушечий сон тетки Дуси.

— Пришел, гулена?.. Молоко и картошка на столе. Остыла картошка-то давно. Охо-хо! — Заворочалась на печи, пристраивая на кирпичах свои кости.— Охо-хо!.. Тут батюшка Владимир тебя целый вечер ждал. Словно грачонок из гнезда выпал — торчком все перышки, и каркал о вере да о блаженных... Охохонюшки!

Взъерошенный отец Владимир сейчас слушает соловьев. Не дотронувшись ни до молока, ни до картошки, я залез на свой твердый матрас, вытянулся и чуть не застонал, обреченно, по-старушечьи, в один голос с теткой Дусей: «Охохонюшки!»

Ночь за окном. В этот час начинает утихать Москва, редеют под фонарями прохожие, по полутемным улицам плывут светлые сквозные троллейбусы. У нас дома потушен верхний свет, в стремительной позе спит набегавшаяся и навоевавшаяся за день дочь, горит лишь одна маленькая лампочка над изголовьем Инги. Инга перед сном читает. Она-то знает свою цель — кандидатская диссертация. Цель никак не конечная... Охо-хо!.. А может, забыв о книгах, думает сейчас обо мне. Она должна уже получить мое письмо.

Я себя чувствую каким-то угловатым, эдакой шляющейся по жизни нелепой и громоздкой железной печкой, всех задеваю, всем делаю больно. Даже отцу Владимиру... А уж Инге-то... Письмо получено: «Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь». Пойми?.. А понимаю ли сам? И этот благородный совет: «Если можешь, забудь». Как у тебя рука не дрогнула написать — фальшь, фальшь! «Забудь...» — желаю тебе этого. Забывают-то не по желанию, железное чучело!

Кроткая тетка Дуся жестоко указала мне: не к Христу идешь — к Ушаткову!

Густерин палачески отрубил у моей теории голову. Отрубил конечную цель и не тронул бога.

Бог без своей цели! Бог, не руководящий родом людским, быть может, не знающий о его существовании...

Наш журнал, где я возглавлял отдел, как-то напечатал статью о бесконечности. После хитроумных рассуждений автор заканчивал словами: «Мы не знаем — конечна или бесконечна наша Вселенная. Возможно, человечество так никогда и не ответит на этот вопрос. Но пусть не удручает вас это...» И стояло многоточие. Если даже и существует некий вселенский конец, то он так непостижимо далек, что есть он, нет ли его — нам, право, уже все равно.

Есть ли бог, нет бога?.. Если он есть, один на все неисчислимые миллиарды галактик, то какое ему дело до одной из незримых пылинок в его громоздком хозяйстве, слишком ничтожны мы со своей планетой, чтоб обратить на себя внимание. Богу не до нас. Ну, а нам?.. Нечего рассчитывать на помощь свыше, устраивай себе жизнь своими силами. Есть ли бог, нет бога?.. Бессмысленный и праздный вопрос.

Густерин — палач — сейчас, видно, спит сном праведника.

Отец Владимир подставил голову, и я тоже по-палачески рубанул, не удержался — не отымай у меня разума, не отдам!

Но ведь сам сомневался в ценности разума. Зельдович со Смородинским не открыли мне истины. Таракан вызывал зависть — неразумен, а живет себе и живет, только квартиры меняет. Триста миллионов лет назад прятался в трещинках на стволах древовидных папортников, сейчас прячется в щелястых пазах за печкой у тетки Дуси.

Отец Владимир зовет к тараканьему!

Куда я звал Густерина?.. Иди туда, не знай куда! Не знай, не пытайся узнать — не что иное, как бездумье, тараканье, не человечье.

Знай! — великая потребность. Сумей догадку превратить в истину. Для этого нужно обладать сомнением. Сомнение — признак разума.

Но знания и разум не всегда-то благо. Узнали атомное ядро — получили атомные и термоядерные бомбы. А сомнения?.. Так ли уж безобидна эта столь необходимая людям способность? Эйнштейн усомнился в выводах Ньютона, Лобачевский поставил под сомнение аксиому о непересекающихся параллельных прямых... Без умения сомневаться нет открытий, нет развитий — застой.

Но человечество-то состоит не только из Эйнштейнов и Лобачевских, гении редки, на грешной земле чаще встречаются тетки Дуси. А что, ежели тетку Дусю заставить — ничего не принимай за веру, сомневайся во всем? Сейчас она бесхитростно верит — надо быть доброй, отзывчивой на чужую беду. Не сметь! Сомневайся! И тетка Дуся шарахнется в другую крайность: добро невыгодно, отзывчивость — помеха. Эй-эй! Опять вера! Сомневайся и в этом. Большинство на свете не Эйнштейны, для теток Дусей лозунг «сомневайся!» равносилен — отрицай все подряд: и хорошее, и плохое. Отрицающие, недоверчивые ко всему люди, недоверчивые даже друг к другу — что может быть страшнее этого? Рухнет порядок, мир захлестнет анархия: гуляй, круши, гни кто во что горазд! Нет уж, лучше преподнеси полезные правила, заставь — верь и не смей брать под сомнение! Значит, не так уж и неправ отец Владимир. К тараканьему зовет, без сомнений нет разума. А сомнения,

огульное неверие и того хуже — разброд, хаос, неорганизованная жизнь, энтропия общества. Таракан — как-никак организация!

Нужна вера, нужны зримые символы веры!

Вера не может быть без авторитета. Чем выше авторитет, тем крепче вера.

Нет этого авторитета — создай! Авторитет сцементирует жизнь, авторитет не допустит хаоса. И уж никак нельзя удовлетвориться авторитетом в человеческих масштабах — бойся деспотии! Будешь верить, неизбежно упрешься в бога!

Густерин, ты не убил бога!

Отец Владимир, прости, я не совсем был прав, жалею, что обошелся с тобой жестоко.

За окном ночь. Должно быть, на реке до сих пор распевают под луной соловьи. В избе их не слышно, изба закупорена, потусторонняя тишь в душной избе, лишь легкий шорох по стенам. Тараканы шуршат, продолжают свою многомиллионную потайную жизнь.

Ночью мне снился бородатый парень. Он гремел по асфальту консервной банкой, указывал на меня пальцем и кричал голосом отца Владимира: «Дья-а-вол!»

Я встал в боевом и тревожном настроении, хотелось вскочить, отыскать Густерина: «Густерин, ты не убил...»

И новый день впереди. И наш травянистый проулок в матовой росе. И среди тускло-матовых капель переливаются, жарко горят капли-счастливицы, единицы на сотни тысяч, на миллионы заурядных капель!

Как хорош мир, господи!

Густерин, ты не убил...

Ко мне спозаранок явился нежданный гость.

Я умывался на крыльце под позеленевшим от времени медным рукомойником, когда услышал за спиной грузные и твердые шаги.

С борцовской грудью, с покатыми плечищами, украшенными погонами старшего лейтенанта милиции, с красными руками, вылезающими из коротких рукавов мундира, на тесаном, нескладно угловатом лице крошечный, невинно вздернутый нос — участковый Тепляков.

Он не вошел в избу, опустился на ступеньку крыльца, пригласил меня скупым поворотом головы — садись.

— Как ты думаешь,— начал он нутряным дремотно-покойным басом,— приятно со мной познакомиться?

— Наверное, не очень.

— То-то и оно. Что ты за птица? Как залетел? Не спрашиваю. Пришел дать совет — улетай подобру-поздорову.

— Совет или приказ?

— Пока совет.

— Чем вызван?

— Разве не ясно? Эх, дурак зеленый. Тебя же спасаю, или не видно этого? — В нутряном дремотном голосе то ли нотка дружелюбия, то ли наигранной боли.

— А у меня нет оснований бояться знакомства с вами.

— У тебя нет, другие найдут основаньица. Слушай, парень, ты не вор, не бандюга, не пьяница-скандалист. Зачем мне на тебя сердце держать? Я тебе добра хочу.

— Не от сердечной ли симпатии в шею гоните?

Он тяжело поглядел из-под козырька форменной фуражки.

— Ну да, конечно, разве может сердечность быть у милиции. Милиционер не человек, детей им пугают. Не знаю, ты бы каким стал, поноси эту шкуру с мое. А я уж двадцать лет ее таскаю. Что ни грязней, то я разгребаю. Муж жену избил — ко мне бегут. Пьяные сбесились — ко мне. Вор вынырнул — я держи его за шиворот. За двадцать лет я нагляделся на всякое. Никто в Красноглинке столько за каждым не знает, сколько я вот здесь храню,— красный могучий кулак ударил в грудь.— Тут ведь или на людей остервенишься, или прощать их научишься. И мне кажется, я научился людей прощать, от радости в пляс не пускаюсь, когда хватать кого-то приходится. Можешь мне верить. Я уж от людей спасиба особого себе не жду.

— Верю.

— А коль веришь, то слушай — не дурное советую.

— Но почему? Почему? Без вины же пинком в зад не выпроваживают.

— Опять двадцать пять! Тебе кажется, без вины, а другие-то иначе на это смотрят.

— Значит, эти другие смотрят мимо закона. Спасибо за совет, но никуда не уеду.

— Вольному воля.

— И ничего вы со мной не сделаете. Я не из тех бессловесных, нужно будет — закон напомню. И громко!

— Ты знаешь, кто такой Ушатков?

— Имел честь познакомиться.

— Познакомился, да плохо. Он горло драть не будет, карусель закрутит — сорвешься с этой карусели в грязь, не отмоешься.

— Тогда защитите. Вы мундир носите, который обязывает законы-то охранять.

— Нет уж, я и без тебя кручусь до беспамятства, влезать в эту карусель не хочу. Тебе и мне лучше, если ты завтра утром уедешь.

— Нет.

Тепляков поднялся, взглянул на меня с высоты своего роста:

— Что ж... Мне бы не хотелось еще раз с тобой встретиться.

Грузными и твердыми шагами он двинулся от крыльца. В его широкой спине ощущалось что-то натянутое, настороженное, должно быть, ждал, что я окликну. Я не окликнул.

Мне надо идти на работу. Гриша Постнов ненавидяще отвернется от меня. Митька-штрафничок с сочувствием станет мне подмигивать: «Заливай, бог-то бог, да, видать, ты сам не плох». Митька видит во мне собрата по несчастью — тоже чем-то крупно проштрафился, потому и скатился в Красноглинку. Михей Руль, верно, по-прежнему осуждает в душе: не будь дураком, не кукуй на весь лес. Пугачев... Он, пожалуй, будет молчать и... презирать меня, без злобы, снисходительно, но убежденно: свален «не кулаком по черепу — словом по мозгам».

Никому из них я не докажу, что Густерин еще не убил во мне бога.

И сказка все еще живет во мне. Вижу берег моря Галилейского, развешенные сети, рыбачьи барки... Его берег, его учеников.

Сказка-то живет, но сам-то я, кажется, выпрыгнул из сказки. Мне теперь, право, стыдно, что я играл в Христа, Михея Руля сравнивал с апостолом Петром, Гришу Постнова с Савлом, а Митьку Гусака — надо же! — с Иудой...

Сказочный Христос в последние дни вызывает у меня подозрения. «Блаженны нищие духом...» — поп Володька это приемлет, а меня оскорбляет. А птицы небесные, которые не сеют, не жнут, сыты бывают?.. «Не заботьтесь о завтрем; завтрашний день позаботится сам о себе».

Но даже скудоумная мышь, когда лезет из норы, имеет про себя заботу наперед — наскочить на оброненную корку, поживиться ею, и не сию минуту, но в самом что ни на есть ближайшем будущем. Не будь у мыши этой способности заботиться наперед, желать чего-то в будущем, она не жилец на свете. Отсутствие желаний — бездеятельность, бездеятельность — это смерть.

И птицы небесные полны забот о будущем, бесхитростных забот о куцем будущем. Надо искать корм, чтоб насытиться, надо сегодня высиживать яйца, чтоб завтра появились птенцы и данный вид птиц небесных не вывелся на земле.

Человек — самое дальновидное существо на планете, распространяет свои заботы не только на завтра, а заглядывает через года, а порой через столетия. Человек не просто деятелен, он сверхдеятелен. Деятельность же требует расхода сил, приносит утомление. Удивительно ли, что мы часто испытываем усталость не столько физическую, сколько духовную.

«Не заботьтесь о завтрем; завтрашний день позаботится сам о себе». И можно избежать досадной усталости, не исключено, можно впасть даже в полное блаженство, но тогда человек начнет деградировать.

Густерин не убил во мне бога, я сумел его спасти, словно знамя после поражения. Но что-то мой бог потускнел, украшавшие сказки свалились с него. Бог — сам по себе, сказки — сами по себе, и я теперь смутно вижу его. Знамя ли вынес я из боя, не древко ли?

Мне надо идти на работу. И неохота... Неохота встречаться с теми, кого я собирался учить, уже распределял им роли по сказке.

Учить... Да я же сам с собой не разберусь!

А тут еще Тепляков. «Исчезни! — совет с угрозой.— В следующий раз я пожалую уже не с советами».

Мне трудно, люди! Я ждал от вас внимания, ждал сочувствия, что скрывать, ждал даже благодарности и восхищения. Теперь не жду.

Мне трудно, люди! Не прошу от вас уже многого: лишь не трогайте меня, не гоните, оставьте в покое, дайте разобраться с собой наедине!

Надо на работу. Надо. Обязан. Я влез в рваные штаны, натянул резиновые бахилы.

На стройке у нас произошла заминка — каменщики не явились. Я с Митькой Гусаком натаскал с реки на носилках кучу песка для будущих растворов. Пугачев не нашел, чем нас еще занять, отпустил:

— Топайте по домам, чтобы здесь не курортничать.

Я давно уже хотел купить себе рабочие брюки. Штаны, подаренные Пугачевым, катастрофически расползлись. С ощущением невеселой праздности я шагал к центру села, к магазину.

Красноглинка, исхоженная уже вдоль и поперек... Тесовые крыши, получившие под дождями и ветрами закалку до сталистого цвета. Благородный цвет, не один век уже сводящий с ума русских художников. И под сталистыми крышами оконца с белыми наличниками, впюхивающиеся в черемуховые кусты. И травянистые просторные улочки, и тропинки, тропинки по ним. Тропинки здесь, в Красноглинке, особые, с игрой, с лукавством, словно их протаптывали люди после веселых праздников, не слишком трезвые, не слишком хорошо справляющиеся со своими ногами. Зеленая Красноглинка вся исхожена с переплясом. И время от времени в ней раздаются воинственные вопли несмазанного колодезного ворота. И, черт возьми, когда же я успел полюбить Красноглинку? И каждую курицу на дороге я уже, кажется, «знаю в лицо». Красноглинка знакомая, Красноглинка близкая и... чужая.

Баба с ведрами, встретившаяся на пути, говорит мне «здравствуйте» не потому, что признает меня своим. Со своим бы она перекинулась не одним словом, для своего у нее бы нашелся вопрос: «Куды, гулена, лыжи востришь?» Или шуточка: «Форсист ты, парень, штанцы, гляжу, больно нарядны». Или же какая-нибудь нехитрая просьба: «Скажи Дуське, пусть пилу принесет». В Красноглинке все соседи, все близкие, жизнь столь тесно переплетена, что при встрече всегда найдется сказать что-то такое, которое не укладывается в одно слово. Даже

молчание означает намного больше дежурного «здравствуйте»; встретил да промолчал — неспроста, значит, сердит, знать, не хочет, обиду показывает. А «здравствуйте» это — замечаем тебя, человек, нет при виде тебя ни радости, ни горя, иди себе мимо. «Здравствуйте» здесь приветствие для чужих.

А ведь я живу тут третью неделю, не скрываю, что хочу жить вечно, но приезжий, лишний...

Как-то в работах известного психиатра Бехтерева я прочитал, что личность никогда не исчезает бесследно, даже после смерти. Живи в Москве — я, наверное, оставлял бы более ощутимые следы своего «Я» и в дочери, и в Инге, и в товарищах, даже если бы я продолжал прятать свое, жил в нелегальщине. Здесь все нараспашку: предлагаю — глядите, что творится во мне. Приглядываются, и даже с любопытством, даже с досадой, но и любопытство, и досада — чувства, быстро проходящие. Исчезни я сегодня из Красноглинки, завтра, быть может, еще и вспомнят — был-де такой, послезавтра забудут.

Прав Бехтерев: личность не исчезает, а анекдот — да. Я анекдот для Красноглинки.

Центр села — травянистая площадь от магазина до клуба, от чайной до колхозной конторы (сельсовета тож) — все в тех же послеименинных тропинках. Площадь с фанерной трибункой для празднования Первого мая и Октябрьской революции. Грузовик у чайной, две козы под клубной афишей, куры и я, странный человек в истасканных до лохмотьев, латаных и перелатаных штанах, в грязных резиновых сапогах-бахилах, в теплой кепке, с обгоревшей, давно утратившей интеллектуальный лоск физиономией. Странный человек — завезенный из столицы случайный анекдот. Как мне одиноко здесь, в зеленой Красноглинке! Соглашаюсь с Бехтеревым, вместе с ним признаю духовное бессмертие каждого из людей, а сам не смею рассчитывать на это.

На стене клуба, вызывающе громоздкого здания с игривым крылечком и плакатом «Добро пожаловать!», наклеена большая афиша.

ЛЕКЦИЯ

«Религиозные верования и современная наука». Читает Лебедко А. К.— лектор областного общества «Знание».

Нач. в 8 ч. вечера.
После лекции танцы.

Любопытно. Нет, не лекция сама по себе. Крайне любопытно — случайно это мероприятие или оно как-то связано с моей особой? Пять дней назад мной заинтересовался Ушатков, за пять дней заполучить лектора, и не районного, а специального, из области,— верх оперативности. Лекторы не пожарники, по тревоге сломя голову не срываются. Случайность?.. Но что-то слишком удачная для Ушаткова. И этот утренний визит участкового Теплякова: «Уезжай подобру-поздорову». Тепляков не скрывал, что Ушатков что-то предпринимает и его мне следует бояться. Что бы все это значило?

Я отошел от афиши с предчувствием недоброго.

В магазине прохлада, полутьма, благородный блеск выставленных на продажу радиоприемников, запахи кожзаменителей. Если на улице только козы у клуба, то здесь легкая толкучка — идет бойкая торговля темно-синими твердыми фуражками. Какая-то бабушка — не из самой Красноглинки, захожая из окраинной деревеньки — купила сразу пять одинаковых фуражек, укладывает их в корзинку.

— Что, бабка, много набрала? — интересовались со стороны.

— Лишнего не взяла, на каждый картузик голова припасена, соколики. Двое внуков подросли, форсить надо? А зятю надо? А старик так ходи? Старику тоже плешь прикрыть новеньким любо. И еще племяш есть, под Костромой живет. Может, ему мое и негоже, но все подарок.

Парень, губастый, щекастый, долго примерял фуражку перед зеркалом — набок посадит, собьет на затылок, клок волос выпустит из-под козырька, любуется — ну до чего ж хорош, красавец писаный. Наконец красавец сунул старую кепку в карман, покупку уже окончательно водрузил на голову, не оторвав бумажного ярлыка с ценой. Белый ярлык торчал в сторону, как щенячье ухо, а на щекастой физиономии — откровенная, не без величия, гордость — не в какой-нибудь, а с пылу, с жару, новехонька, хоть цену гляди, без обману, то-то! Раскачивая плечами, он вынес в солнечный мир голову, украшенную синей, с биркой, фуражкой.

А рабочих брюк не было. Висели грубошерстные похоронно-черные костюмы пятьдесят шестого размера.

— Возьми фуражечку.

Нет, фуражка мне не нужна, старая кепка служит. Я двинулся домой штопать штаны мимо афиши: «Лекция — религиозные верования и современная наука».

* * *

В окно постучали:

— Эй, Рыльников.

За окном кучкой — парни, впереди всех Гриша Постнов.

— Выйди.

Я вышел на крыльцо.

Гриша Постнов, что жених на выданье,— полосатый галстук, завязанный большим узлом, тесноватый в плечах новенький пиджачок, суконным теплом вызывающий банную испарину на круглом строгом лице, пшеничный чуб начесан на брови, узкие, бархоткой наведенные до предельного блеска туфли неловко топчут мусорную землю. За Гришей человек пять — руки в карманах, плечи расправлены, ноги расставлены. Среди них тот, что днем при мне обзавелся в магазине обновой, сейчас синяя фуражка сбита на затылок, белый ярлык уже оторван.

— В чем дело?

Гриша Постнов подбоченился:

— Пришли повести тебя на лекцию.

— Гм...

— Не гмыкай, а пошли.

— Спасибо за заботу, но мне не хочется.

— Это мало ли что. Другим хочется, чтоб ты там был.

— Кому — другим?

— Ну, нам хотя бы.

— А почему я вам так уж нужен на лекции?

— Нужен — и все, лишка-то не кобенься. Одеваться иди, а то силком утащим.

— Вот это приглашение!

— Ничего. Мы не от себя, мы вроде дружинников — задание выполняем.

— Чье задание?

— Это тебя не касается.

Упрись я, начнется некрасивая свалка. Их шестеро, я один — избу разнесут.

— Отлично. Будем считать, что у меня вдруг появилось горячее желание прослушать антирелигиозную лекцию товарища Лебедко.

— Так-то, поди, лучше... Но гляди, кум, чтоб без хитростев.

Я впереди, на шаг от меня отступя, старательно соблюдая дистанцию, вся сплоченная, серьезная, преисполненная решимости компания, так что каждому встречному ясно — ведут!

На крыльце клуба — букет, красноглинские красавицы в глазастых платьях, в капроновых чулках, в туфельках на высоких каблуках и в одинаковых косыночках на плечах модернистой расцветки, с изречением: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама!» Наверное, эти косынки завезли недавно в магазин крупной партией, как и темно-синие фуражки.

— Дорогу! Дорогу! Не торчите на дороге! — покрикивал Гриша Постнов.

И дорогу уступали, с любопытством оглядывали меня, шушукались.

Хмуроватый зал еще не заполнен, только заняты самые тыловые места — по углам, вдоль стен, подальше от сцены. Парни кучками, рассказывающие что-то друг другу с гоготом; кучками, скромненько девчата, много беспокойных ребятишек разного школьного и дошкольного возраста. Уж, конечно, их-то особенно трогает проблема религии и науки, которую обещает преподнести осведомленный городской лектор товарищ Лебедко. И ни одного взрослого. Хотя нет, есть один; в самом центре зала в чинном одиночестве и примерном терпении отсвечивает знакомая лысина — Михей Карпович Руль собственной персоной в чистой рубахе. Как-то непривычно видеть его без бравых Рулевичей по бокам.

Михей Карпович, заметив меня, пошевелился, приподнялся, хотел что-то крикнуть, должно быть, позвать к себе, но, разглядев окружение, смутился и скромнехонько сел. Меня провели в самый первый ряд:

— Тут садись.

Один из моих сопровождавших пододвинул мне стул, и смущенно покраснел за свою услужливость, отвернулся под грозным взглядом Гриши Постнова.

Место по центру, в упор в трибуну, с правого плеча Гриша Постнов, с левого — внушительный парень в синей фуражке, ниточка от оторванного ярлыка висела у него над ухом, суров и серьезен — страсть!

Сцена парадно залита светом двух сильных лампочек, свисающих с потолка. Сцена спартански проста: крашенная охрой опасно неустойчивая трибунка, стол под вылинявшим кумачом, графин с водой на столе. Все готово для ритуальных церемоний, но жрецы запаздывают.

Мне немного обидно — нет, не на Гришу Постнова, что уж с него взять,— на Михея Руля. Смутился, откачнулся, а ведь если кто и сочувствует мне, то это он. Из всей Красноглинки — он единственный, не считая, быть может, тетки Дуси. Михей Руль — святой Петр. Впрочем, что же я осуждаю Руля, если настоящий Петр-камень трижды отрекся от Христа.

Сцена пуста, жрецы задерживаются. С правой руки — Гриша Постнов, губы в ниточку, с левой — сопящий парень в синей фуражке. Я один-одинешенек, мой Петр отрекся от меня, нет сочувствующих.

Чтоб как-то развлечь себя, я завел разговор с Гришей Постновым, с соседом слева не осмелился — слишком уж строг его профиль.

— Мучаюсь догадками: уж не ради ли меня пожаловал сюда высокий гость?

— Много чести,— буркнул Гриша.

— А я-то, признаться, был польщен. На борьбу со мной область выслала ответственного бойца.

— Держи карман шире. Он уже давно тут по району у нас ездит. Обслуживает. Попросили — к нам завернул, долго ли.

— Все ясно. А я-то, дурак, от гордости лопался. Думал: специальный, экстренный, мой персональный!

— Такой специально одним заниматься не станет. Ученый человек, читает лекции и по науке, и по международному положению.

— И чтец, и жнец, и на дуде игрец?..

Гриша понял, что ему выгоднее замолчать.

Первые признаки начинающейся лекции пришли не со сцены, а с улицы. За дверями зрительного зала раздался чей-то «руководящий» голос:

— Ну, давай, давай, шевелись! Миловаться пришли! Входи побыстреньку!

И за спиной начался шум вливающихся в зал людей — говорок, девичий смех, стук скамеек.

И вот наконец откуда-то сбоку, из закулисных покоев появились председатель сельсовета Ушатков и следом без величия, бочком, даже с какой-то невнушительной суетливостью — куда пристроить портфельчик? — он!

Тем не менее Гриша Постнов победоносно и горделиво сверкнул на меня глазом — мол, ну, держись теперь!

Ушатков с каким-то профессиональным навыком, скупо и непререкаемо тронул карандашом графин, стынущим взглядом обвел зал, дождался тишины, прохладновато поглядел на меня, показательно выставленного в первом ряду.

— Товарищи! К нам в Красноглинку приехал представитель... М-м... От организации... От областного общества по распространению полезных научных знаний... Товарищ Лебедко Анатолий Константинович! Поприветствуем его, товарищи.

Приветствовали аплодисментами, правда, жиденько.

— Не хочу забегать вперед, так сказать, предварять события. Скажу лишь одно — не случайно приехал к нам лектор, не случайно он обратился к нам с нужной, так сказать, актуальнейшей темой. А теперь сразу,— без разных там проволочек предоставлю слово товарищу Лебедко Анатолию Константиновичу. Поприветствуем его еще раз.

И еще раз жиденько и вежливо поприветствовали — отчего же, не жалко.

А я-то ждал, что Ушатков с ходу подымет мое имя, как рогожное знамя.

Нет, он не обладал счастливой внешностью трибуна, которая приковывает и покоряет. Невысок ростом, в приличном, в меру потертом костюме — в дорогу не жалко, перед публикой появиться не стыдно,— держится угловато, одно плечико вздернуто, другое опущено, лицо грустное, мягкое, вежливое, лицо до кротости воспитанного человека. Нет, не кулачный боец, трибун, не всесжигающий и не зажигающий. Похоже, что он книголюб, изрядно знает, не пользуется избитыми приемами заштат-

ных лекторов, не упомянул о набившей оскомину библейской оплошности, что-де бог свет сотворил раньше солнца, но сообщил о рукописях Мертвого моря, сектах ессеев, легенде о Гильгамеше, даже рассказал то, чего я, бывший сотрудник журнала, падкого на научные сенсации, не знал,— новейшие сведения о месте, которое Библия выдает за рай Эдемский...

Право же, лекцию никак нельзя было назвать бессодержательной.

— Приманка идеалистов, товарищи...— У него негромкий ясный голос и во рту уютно поблескивает искорка золотого зуба.— Приманка идеалистов, товарищи,— это учение о бессмертии души. Религия считает, что умирает только тело, а душа, отделившись, продолжает жить. Души, как вам известно, благочестивых людей попадают в рай, где их ждет вечное блаженство. Души же нечестивых низвергаются в ад, где для них приготовлены кипящая смола, раскаленные сковороды и прочие устрашающие атрибуты мучений. Мы же, материалисты, в ответ на эту наивную и прекраснодушную ложь честно заявляем — человек смертен! Нас ничто не ждет за гробом. Честно! Мечтать о бессмертии души столь же противоестественно и нелепо, как надеяться, что время потечет вспять, что старики станут юношами, а юноши младенцами. Существуют незыблемые законы, товарищи,— законы природы, их нельзя не признавать, глупо от них отворачиваться. Математик не может допустить, что сумма углов в треугольнике была, скажем, больше или меньше ста восьмидесяти градусов. Физик не может не считаться с законами сохранения энергии. Так же бессмысленно убаюкивать себя каким-то бесплотным бессмертием — бессмертием души.

Он кончил, и ему снова вежливо похлопали.

Со своего места встал Ушатков, тощий, с прозрачным лицом, бесстрастный:

— Не расходиться, товарищи! Лекция, так сказать — половина нашей сегодняшней программы...

Никто в этом и не сомневался, все пришли в клуб не ради лекции, ради танцев. Но Ушатков готовил другое.

— Мы выслушали лекцию, товарищи. Из нее мы узнали, как глядит наука на религию. Надо прямо сказать — косо глядит! И можно ли представить, товарищи, ученого, образованного человека, который бы за компа-

нию с какой-нибудь безграмотной старухой лоб разбивал перед иконами: мол, прости, господи, и помилуй! Где-нибудь в гнилых заграницах и водятся такие диковинки, а у нас — нет! Нет?.. А так ли?.. Нежданно-негаданно к нам в Красноглинку из самой Москвы пожаловал один... Тихо, товарищи, тихо! Не надо лезть друг на друга, еще наглядитесь, еще покажем его!.. Так вот, пожаловал. Кто он?.. А он кончил, товарищи, столичный институт, от больших профессоров знания получал и специальность освоил, прямо скажем, почетную — физик он, товарищи, физик! Он об этой физике даже статейки в журналах пописывал, казалось бы, грамотен и научно подкован... И вдруг откровенно, сказал бы даже — вызывающе, этот физик признается: верю в бога и горжусь этим! Подковали его научно, а он, глядите, на все четыре ноги хромает. В Москве, видать, таким идейно хромающим не сладко приходится, значит, давай к нам, в Красноглинку. Тут, мол, народец лаптем щти хлебает, возле них мило-дорого заживу. А неужели, товарищи, мы такие простачки, что гнилой гриб от здорового на глазок не отличим? И навряд ли нас испугаешь чуждой пропагандой, выслушаем и не угорим. И сейчас нам, товарищи, стоит попросить этого столичного гостя: выйди, покажись, мы поглядим да послушаем...

— Пос-лу-ушаем!

— Про-оси-им!

— Что же, Рыльников, выйди, выверни, так сказать, нам свое нутро наизнанку.

— Эй ты! Кажись! Не прячься!

Крик по всему залу. А рядом со мной, как ужаленный, взвился Гриша Постнов:

— На свет мракобеса! На люди! Вышибай из него господа!

— Требуем! — загудел мой сосед в синей фуражке.

— Товарищи! — поднял костлявую узкую руку Ушатков. Тихо! Без паники! Рыльников, народ требует! Выходи, чтоб не где-то за углом, не шепотом, а в глаза нашему красноглинскому народу...

— Иди добром, хуже будет! — Гриша Постнов весь подобрался, глаза колючи, щеки пылают — вот-вот вцепится в грудь.

И прямой, остроплечий Ушатков, взирающий на меня с высоты председательского места; и неловко поеживаю-

щийся, смущенный столь крутым оборотом лектор, старающийся глядеть мимо меня; и Гриша Постнов с товарищами; и недоброжелательно грозный гул людей за спиной... Надо выходить, будет хуже.

Я встал и двинулся к лесенке, ведущей на сцену. Тишина в зале, тишина, только слышно дыхание людей.

На верхней ступеньке я споткнулся, и кто-то засмеялся в зале. Еще этого не хватало, чтоб стать посмешищем. И смех вызвал злость. Стараясь ступать как можно тверже, я прошел к трибуне.

Я почему-то ждал, что зал набит до отказа, что народ передо мной предстанет монолитно единым, а зал наполовину пуст, населен с прорехами, и, конечно же, людей, сидящих в нем, не так уж интересует религия, танцы больше. И все-таки лица — отсюда смытые, без выражения — пугают. Лица, лица и разбросанные по залу светлые косыночки на плечах «Пусть всегда будет мама!».

Я, наверное, стоял долго, тишина стала заливаться ехидным шепотком и шушуканьем. Пора начинать.

— Ну, поглядели? — спросил я.— Глядите — вот как выглядит мракобес. Наверное, примерно так же, как в старые времена еретик,— с рогами на лбу, с копытами на ногах.

В зале засмеялись. И Ушатков сердито постучал по графину:

— Без шуточек! Без шуточек! Серьезно!

— А я со всей серьезностью, товарищ Ушатков. С серьезностью и с готовностью, как видите. Предлагаете, чтоб я вывернул свое мракобесное нутро,— пожалуйста! Готов! Выверну, если подскажете, как это делается.

За время серьезной лекции зал осоловел, истомился, он ждал развлечений, потому свирепо кричал: «Вытащить!» Ради развлечения готов был на жестокость. Но и я предлагаю развлекаться, зал и со мной согласен — почему бы и нет? Смешки и шевеление в зале. Ушатков стучит по графину.

— Для начала скажите нам,— произносит он,— согласны ли вы с лекцией?

— Нет, далеко не во всем.

Смех и шевеление разом кончились.

— Так! Выкладывайте, с чем именно?

— Ну хотя бы с тем, что бессмертия души не существует. Я считаю — есть бессмертные души!

Кто-то из глубины зала выдавил из себя насмешливо трубное:

— Ну-у!

Лектор Лебедко поглядел на меня с брезгливой иронией. Что же, выручай, Бехтерев!

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами,
Где нужно действовать умом,
Он только хлопает ушами,—

прочитал я.

— Что это?!

— Это, товарищ Ушатков, частица души человека, умершего сто пятьдесят лет тому назад.

— По чьему адресу такие слова?

— Надеюсь, не по вашему. Сто пятьдесят лет назад вас еще не было на свете... Товарищ лектор, помогите убедить мне товарища Ушаткова, что стихи — это духовное проявление человека, так сказать, выражение его души...

Лектор ничего мне не ответил, он откинулся на стуле и сердито розовел. Похоже, что и он, как Ушатков, принял стихи на свой счет.

— У известного русского ученого Бехтерева,— продолжал я,— есть сочинение, которое называется: «Бессмертие человеческой личности с научной точки зрения». Прошу обратить внимание и уважаемого лектора, и всех здесь присутствующих на слова — «бессмертие личности», и не просто, а с «научной точки зрения». Известный ученый утверждает, что духовная сторона человека никогда не исчезает бесследно, а живет в потомках. Так вот, более ста пятидесяти лет тому назад некий человек, Гаврила Романович Державин, потратил свою духовную энергию, написал это стихотворение. Сам он умер, а его духовное, частица его души продолжает жить и сейчас среди нас. Тут я смог назвать, чья это душа, в большинстве-то случаев духовное продолжает жить безымянно. Вот вы, товарищ Ушатков, сидите за столом, а кто-то впервые затратил духовную энергию на догадку — поставить на четыре ножки столешницу. Неизвестно, сколько тысяч лет назад умер тот человек, забыто его имя, истлели его кости, а его духовное, выраженная частица его души живет среди людей в виде материальных столов, за которыми едят, пьют, работают, заседают. И что бы мы ни взяли, чего бы мы ни коснулись, всюду наткнемся на

живущие души давно умерших людей. И графин с водой, о который сейчас вы вызваниваете карандашиком, товарищ Ушатков, сам карандашик, пиджак на ваших плечах, кусок хлеба, съеденный вами за обедом,— все эти вещи состоят не только из ощутимой материи, но еще из духовного проявления давным-давно умерших людей. Мы, сами того не сознавая, живем среди распыленных по частям бессмертных душ. Они, эти бессмертные, не прозябают в раю, они среди нас и умрут тогда, когда умрет все человечество...

Но Ушатков уже давно звенел по графину. Он поднялся, небрежно махнул мне рукой:

— Садитесь!..

— Но я бы хотел еще поговорить о бессмертии души.

— С нас хватит. Наслушались.

— Быть может, вам хватит, а другим нет.

— Садитесь!

Из зала никто меня не поддержал, и я, пожав плечами, пошел со сцены к своему месту, каждой клеткой тела ощущая направленные на меня взгляды. Лицо Гриши Постнова, охранявшего мое место, было угрюмо-угрожающим. Я сел, он раздраженно повел плечом — готов бы совсем отвернуться, да кресло мешает.

На костистом лице Ушаткова — красноречивое выражение значительности момента: мол, все ли слышали, видели, какие чудовищные странности случаются в мире сем?

— Что ж, товарищи!..— взгляд Ушаткова по притихшему залу, взгляд спокойный и суровый, голос уверенный, даже немного грустный.— Приоткрыл нам Рыльников свое нутро. Да! И обратите внимание — прямо фокусник из цирка, тут вам и ученого Бехтерева из рукава вынул, и стишки беспардонные, и стол, видите ли, не стол — поковыряйся в нем, душу найдешь. Надо честно признать — ловок! Какой вывод, товарищи? А вывод, думается, один — мы должны повысить свою бдительность! Сейчас у нас, товарищи, не собрание, где принимаются решения, а, так сказать, культурное мероприятие. Но разрешите заверить, что мы этого без последствий не оставим, доведем до сведения кому нужно, что нужно предпримем. Вот все!.. Объявляю перерыв. После перерыва, как обещано, танцы.

Заключительная речь Ушаткова произвела впечатление даже на областного лектора, тот сначала метнулся выходить в противоположную сторону, но потом попра-

вился и удалился мелкими шажками, бочком, вздернув одно плечо, опустив глаза долу.

Моя охрана встала, нерешительно потопталась и подалась от меня. Они выполнили свое задание. Гриша Постнов демонстративно стоял ко мне спиной, заложив руки в карманы, и по всей спине разлито красноречивое презрение.

Не уходил только парень в новой синей фуражке, нацелившись вздернутыми ноздрями, он разглядывал меня удивленно и, похоже, со страхом.

Я встал со своего места. Встал и очутился лицом к лицу со стеной. Люди плечо к плечу тесно сбились в проходе, разглядывали... В упор, молча, без какого-либо осуждения, без жалости, на лицах можно уловить лишь одно — ничем не согретое любопытство. Стеной... Только сзади легкое шевеление, задние, чтоб поглазеть, тянулись на цыпочках. Глаза парней... Глаза девчат... Белые воротники рубах, охватывающие крепкие загорелые шеи, тугие кудри шестимесячной завивки, платочки «Пусть всегда будет мама!».

Сходя со сцены, я был уверен, что говорил о бессмертии души интересно и содержательно, — должен убедить многих. Был уверен, что Ушаткову не опровергнуть меня. А он и не пытался, он лишь указал: «Опасен! Берегитесь!» Ушатков вышел победителем.

Глаза, глаза, глаза, без сочувствия, но и без осуждения. Я уже и осужден, и повержен, я стою один против всех — это ли не красноречивое доказательство моей полной беспомощности. Глаза, глаза, глаза... Не каждый-то день так близко увидишь вражеского агента.

Стена из глаз преграждала мне путь к выходу. Я двинулся вперед. Первым дал мне дорогу парень в синей фуражке. Прошипел вслед:

— У-у, контра!

Остальные расступились молча — перед обреченным, перед тем лежачим, кого уже не бьют.

Над крыльцом клуба на столбе горела электрическая лампочка, и вокруг нее кружили ночные бабочки. От них на стены, на землю падали мятущиеся тени, словно по воздуху проходили судороги. И где-то в сумерках, в стороне от фонаря, слышались пьяные голоса.

На крыльце стоял человек, смотрел на пляску бабочек под фонарем. Он повернулся, и я узнал Пугачева.

Гладко причесан, кажется выглаженной и широкая чашеобразная физиономия, под припухшими веками — сумрачный блеск глаз.

Он помолчал, разглядывая меня, сказал ворчливо:

— Напрасно ты перья распустил перед Ушатковым.— Похоже, что Пугачев меня жалел.— Ушатков-то уже давно никого не хватал зубами. Стосковался.

— А ну вас всех к черту! — сказал я устало.

— И чего это Гришка к нему в помощники полез? Ушаткова сам терпеть не может.

— Меня, видать, больше не терпит. А ну всех!..

Я стал спускаться.

В это время под фонарь вывалилась пьяная пара. По расползшейся шляпе с лентой я узнал Мирошку Мокрого. Он обнимал тощенького патлатого паренька, кричал ему в ухо:

— Ты кто? Ты аллигория!

Поп Володька в объятиях Мирошки Мокрого, в пиджаке, в сапогах, без шляпы, гнется и качается, еле держится на ногах.

— Я жить хочу! Жить! Брезгуют мной! Отворачиваются! Чем я хуже других? Я же человек, как и все! Че-ло-век!

— Ты не человек, ты аллигория сплошная! Ба-атюшка... Какой ты к ляху батюшка, ты мне в сыны годишься!..

Отец Владимир заметил меня, распрямился, оттолкнув лобызавшегося Мирона, нетвердо шагнул, с минуту качался и рвуще заголосил, перекосив мокрую бороденку:

— Он... Глядите — он... Что смотришь? В грехе святой отец! Грешник я — да! Мразь! Каюсь! А ты?.. Ты того хуже! Ты — антих-рист! Верующим себя считаешь! Врешь! Ни в бога, ни в черта не веришь! Он все-ем врет! Над все-еми изголяется! Себя любо перед всеми выставить! Тьфу, сатана! Тьфу на тебя! Вельзевул в образе человека! Не верьте ему! Не ве-ерь-те! Проклинаю! Анафема!..

А Мирошка Мокрый отплясывал рядом, восхищенно хлопал себя по тощим бедрам:

— Усь! Усь! Так его, батюшка! Куси!..

Покачивая плечами, выступил Пугачев:

— А ну, проваливайте, а то морду набью,

— Не верь этому! Сатана! Ирод! Змей! Без души он!..

— Катись, поп, по шее огрею!

— Идем, идем, аллегория... Не кобенься, Пашка Пугач шутить не любит... И-эх!

Красноглиночка не город,
Красноглиночка село!
Красноглинские робятушки
Гуляют весе-ло!

Попик-клопик, веселый человек! В жисть тебя не забуду!..

Мирон, облапив отца Владимира, потащил его в темноту.

— Ра-а-дуйтесь, праведные, о господе...

Славьте господа на гуслях,

пойте ему на десятиструнной псалтири-и-и...

Скрипучий тенорок из темноты, в ответ сплошно:

Их! Сарафан красной,
Под ним дух квасной!..

Пугачев проворчал:

— Лошади с рогами... Кого только бабы не рожают.

Заложив руки в карманы, он зашагал от меня. В клубе заиграла музыка — тустеп.

Я потащился к себе.

За мной по темному небу, лениво пересчитывая трубы на крышах, плелась выщербленная луна.

Девицы в косыночках «Пусть всегда будет мама!», принаряженные на танцы парни. Глаза, глаза, глаза...

Ушатков вышел победителем. Карающий перст вместо доказательства — преступник, распни его!

И ему поверили. Ему! Не мне и не Бехтереву! Почему?

Я остановился посреди дороги, остановилась за моей спиной луна.

Нет духовного бессмертия! Есть оно! Два крайних утверждения, одно исключает другое. Нет или есть? Девицы в косыночках, парни в фуражках, выбирайте. А их выбор был сделан давно. Они с рождения слышали: нет бессмертия, поповские враки! Жизнь любого человека кончается могильным холмиком. Такова суровая правда, верьте и не смейте сомневаться.

А всегда ли очевидное истинно?

Очевидно, что Солнце кружится вокруг Земли, всходит на востоке, заходит на западе. Солнце кружится, а Земля незыблема — любой и каждый может узреть это своими глазами.

Очевидное рождало веру в самое фантастическое, в самое неочевидное. Гремит гром в небесах, в мягких на вид облаках что-то стучит, что-то громыхает — твердое по твердому. Очевидно же, все это слышат, нельзя сомневаться. И рождалась вера в некую фантастическую колесницу в небе, вера в бога, управляющего ею...

Или же... Люди неравноправны и зависимы друг от друга, раб целиком зависит от своего хозяина, хозяин раба зависит от сатрапа или прокуратора той области, в которой живет, сатрап зависит от царя. Явная очевидность, что над каждым старшим есть наистарший, значит, есть старший и над земными царями, тот единый, высочайший, выше кого уж быть не может. От кажущейся очевидности — вера в неочевидное, в незримого царя небесного.

Ушатков вышел победителем?.. Нет! Победила ползучая очевидность, победила привычка понимать, как подсказывали, собственно, победила вера. Ушатков лишь исполнитель: верь, бессмертия нет, посмей только не верить! И карающий перст на еретика — распни его!

Девицы в косыночках, парни в синих фуражках! Вы считаете меня верующим?.. Да, я пытался им стать, а вот вам не нужно было и пытаться, вы едва ли не с рождения верующие на свой лад. А быть истово верующим можно не обязательно в господа бога, но и в заблуждение, рожденное мнимой очевидностью, не только в обветшалое слово Христа, но и в карающий перст Ушаткова. «Блаженны нищие духом...»

Я прислонился к изгороди. Над погруженной в густую ночь Красноглинкой висели освещенные луной крыши. От клуба доносилась музыка — веселый и легкий вальс. Веселились парни и девчата, забыв о еретике, осмеливающемся отрицать привычную смертность.

С бесстрастной спесивостью смотрела с высоты луна, выщербленная и чеканная. Ей, луне, нынче спесивость не к лицу — укрощена. И я сейчас вдруг изумился тому, чему уже давно не изумлялся. Как бы в подлунной Красноглинке Ушатковы ни отстаивали смертность чело-

веческого духа, там, на самой Луне, на ее мертвой каменистой почве, покоятся сейчас диковинные аппараты — дети духа людского. Они ощупали Луну, сфотографировали ее ландшафт, передали на Землю — дух человеческий обогатил сам себя.

Давно я что-то не изумлялся людской дерзости, все больше страдал за людей, страшился...

Сияет над Красноглинкой вчеканенная в небо луна. Играет музыка в клубе. А мне приходится улаживать конфликт между мной и родом людским, между мной и всем мирозданием. Звал на подмогу бога — реши за меня! Бог не решил. Стою один под луной. В клубе танцуют вальс.

В прошлый раз я оправдал перед собой отца Владимира: мол, не столь уж ты неправ, незрелый отец,— пусть люди бездумно верят во что-то единое, от этого они легче придут к согласию.

Через веру?.. К согласию?..

Да истовому верующему просто невозможно договориться с другим таким же верующим, если их вгляды, их вкусы, их привычки хотя бы чуть-чуть, на малую толику разойдутся.

Чуть-чуть всего...

Тот, кто верит и не допускает сомнения, как правило, крайне категоричен, как правило, нетерпим. С той же страстью, с какой утверждает: «Верую!» — он должен и отрицать: «Не верю! С моим не сходится!»

Вера никак не исключает неверия. Неверие не что иное, как негативная вера — две стороны одной медали.

Можно ли предположить, чтоб люди совершенно одинаково думали и чувствовали? Они обязательно в чем-то должны всегда расходиться друг с другом. Пусть чуть-чуть, пусть по смехотворным мелочам. Смехотворно расхождение — двумя перстами креститься или тремя,— но это уже был повод для непримиримой вековой вражды верующих, во имя двуперстия клали головы на плахи, сжигали себя.

К согласию?.. Через веру?..

Нет! Нет! Только к обоюдному недоверию, только к злобным непримиримым сварам!

Отец Владимир! Ты слышишь? Вера — это несогласие! Вера — это раздор! Вера — это неизбежная вражда!

Лишь те, кто способен подвергать сомнению взгляды и доводы, свои и чужие в равной мере, способны понять друг друга. И уж досадные мелочи не помешают их тесному общению, не станут причиной неистовой ненависти. Вера враждует, сомнение объединяет — не слишком ли парадоксально? В природе можно отыскать парадоксы и похлеще.

Музыка в клубе смолкла. Облитые луной крыши плавали над застойно плотной тьмой, залившей село. Я стоял посреди темной улицы, прислонившись к изгороди. Обломанная черемуха развесила свои большие рваные уши, вслушивалась в ночь. Где-то на другом конце села женский голос звал: «Марта! Марта! Марта!» У кого-то сбежала коза. От ближайшего двора доносились обреченно-тяжкие вздохи сытой и подоенной коровы. И еще далеко-далеко с полей — звук мотора запозднившегося грузовичка. Красноглинка — моя случайная Мекка, ехал сюда, чтоб обрести веру. «Иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что...»

Инга! Инга!.. «Пойми, если можешь. Прости, если можешь. Если можешь, забудь». Инга!.. Инга! Чем я оправдаюсь перед тобой?

Я оторвался от изгороди, мои шаги влились в красноглинскую ночь. «Марта! Марта! Марта!..» И луна, побежденная человеком, покорно волоклась за мной следом.

Изба тетки Дуси ярко освещена. С темной улицы через оконце, никогда не знавшее занавесок, видна разверстая печь, буйно сияет оголенная лампочка. При электрическом свете я не любил свое новое жилье, уж слишком назойливо лезли в глаза засиженные тараканьи щели, изба казалась сразу гулко-пустой. Не любила яркого света и тетка Дуся, включала лампу по крайней нужде, обычно жила ощупкой.

Раз свет включен — значит, какой-то гость вместе с хозяйкой прячется в красном углу. Мне только сейчас не хватает гостя!.. Как раз по настроению вести беседу о том, что нет дождей, что туго пробивается картошка...

Нехотя я поднялся по крыльцу, толкнул дверь.

На лавке, остолбенело вытянувшись, сидела сестра Аннушка, голова что чугун для белья от намотанных платков, в просвете между платками мягким воском

оплывающие щеки. Не взглянула в мою сторону, только шевельнулась, стала шарить рукой вдоль лавки, отыскивая прислоненную палку.

Тетка Дуся тоже встретила молча, обернулась ко мне — мягкие старушечьи губы сведены в скорбную ниточку.

Сестра Аннушка выдохнула:

— Ну, Евдокия... С богом я...

Нагнувшись вперед обмотанной тяжелой головой, с натужной дрожью в руках опираясь на толстую палку, оторвалась от лавки, туп, туп, пробуя палкой половицы, волоча галоши, подвязанные к опухшим ногам бечевой, двинулась к двери, прямо на меня. Взгляд мимо, в стенку, словно я не существую.

Я посторонился...

Тетя Дуся засуетилась:

— Дай-кось, родимушка, провожу тебя. Лихим делом, ну-ка свалишься где на дороге.

— Добреду, не печалься.

— Хоть с крыльца помогу... О, господи! Господи!..

Минут пять я стоял посреди пустой избы, ярко освещенной до последнего сучка, слышал возню на крыльце, приглушенное оханье. Наконец за провально-черными окнами — шаркающие шаги, тупые удары палки в ссохшуюся землю.

Тетка Дуся вернулась — губы, как прежде, в ниточку, прячет руки под фартук, стрельнула в меня глазом, отвернулась недружелюбно:

— Ну, чего столбом стал?.. За стол садись. Вечеряй, чем бог послал.

— Не хочу... Туши свет, глазам больно.

— Сядем-ко, сокол, разговор есть.

И я покорно сел.

Приткнулась и она на краешек скамьи, обвела взглядом свою обнаженную, словно вывернутую наизнанку избу, закачала головой, сразу помягчела лицом:

— Юрко! Юрко! Беда мне с тобой...

— Что случилось? Говори прямо.

— Вроде плохо ли мне с тобой — духом человечьим возля пахнет. Привыкла уже. С работы бегу, заботушку несу — а вдруг да ты раньше меня заявишься. За заботушку энту большое спасибо. Заботушка-то жисть красит. Ну-тко опять одной... Родной дом гробом кажется.

Зимой особо, оглохнешь, пока рассвету дождешься. Врагу не пожелаю так век доживать...

— В чем дело?..

— В том, любой, видно, Христом-богом просить тебя придется — ослобони, нельзя мне тебя держать дольше.

— Ты гонишь меня, теть Дусь?

— Не гнала бы... Пошто мне гнать, ан нет, нужда заставляет. Уж больно ты для всех поперек. Я-то ведь всю жизнь в мире и ладе со всеми. Энтим и держусь... Сам посуди, коль люди от меня откачнутся, что тогда?..

— Мешаю?..

— Все одно ты человек временный, долго здесь не проживешь. Иль, скажешь, не так, или корни тут пустишь?

— Не знаю.

— Да и знать нечего. Лист кленовый на елке до первого ветру — дунет, не ищи следов. Но вот ведь покуда тебя отсюда повыдует, от меня всех шабров отвадишь. Моя-то компания известная — старухи да полустарки. Цыкни на них сестра Аннушка, все задом повернутся. А Аннушку, любой, ты люто обидел, ни за что ни про что взял и лягнул копытцем. Из-за тебя и на меня Аннушка сердцем горит, а мне с ней не ладить расчету нет. Все мое знакомство под нею. Так подведет, что занедужь, случаем,— водички испить никто не поднесет. С тобой теперя мне вроде и потеплей, да как бы потом зябнуть не пришлось. Так что не обижайся, любой, а пожалей меня, бобылку горькую. Не руганью, не укором, а добром прошу — оставь! Невелик мой век нынче, но какой-никакой, а наперед думай, как докоротать... Что ж уж, золото, сам разумеешь, не неук какой...

Вот это, называется, дожил, даже тетка Дуся гонит от себя. Не ко двору в Красноглинке пришелся.

— Потуши свет, теть Дусь, глазам больно.

— Охо-хо! Лица на тебе нету. Бедолага ты чистая. Чую, сам себе тошнехонек.

— Верно, сам себе...

— Охо-хо!

Она встала, щелкнула выключателем. Темнота, густая душная темнота, напоенная запахами коровьего пойла и суточных щей. Но в этой темноте мне все-таки легче — отгораживает от недружелюбного мира, не вижу помятого и расстроенного лица тетки Дуси.

В косматом сумраке бревенчатого угла тетка Дуся снова затеплила огонек лампадки. И словно нет за стенами сутолочного, буйного двадцатого века, века мировых войн и космических полетов, мятежной науки и косной политики. Лампадка светит из далекого прошлого, скользит тень по занавеске.

У тетки Дуси, наверное, неспокойно на совести — привыкла ко мне и гонит от себя. Всевышний опекун слушает старушечий шепот.

Я вспомнил тот единственный случай, когда сам среди ночи разоткровенничался перед иконами: «Верую, господи, что существуешь. Верю, что есть какой-то великий смысл, какая-то конечная цель. Не рассчитываю понять их...»

Теперь мне странно и стыдно...

Сочное зернышко света над занавеской, не доходящей до потолка, размытая колышущаяся тень, шепоток...

Тетке Дусе и на самом деле трудно без опекуна, сама себе придумала сказку, время от времени убегает в нее от постылой жизни.

...Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

Но прятаться в сказку, убегать в золотой сон, в мираж — значит, соглашаться: законно, что жизнь несносна, и нет нужды пытаться сделать ее лучше, золотой сон — выход. А золотой сон можно навеять и не молитвою, надежней и проще — порцией морфия, гашиша, крупицей ЛСД, на худой конец бутылкой самогона.

Зачем действовать, зачем чего-то добиваться, чего-то доказывать свое другим, искать с ними сближения — хлопотно, требует энергии, проще прятаться от людей. Прятаться и проповедовать: «Люби ближнего твоего...» «Люби, убегая от людей в мираж, прячась в сказку. Люби из-за угла, из-за глухой стенки... Люби ближнего и избегай его!»

Тетка Дуся поднялась, покряхтывая, взобралась на лавку, я увидел поверх занавески ее лицо, освещенное огоньком лампадки,— острый синичий нос, ввалившийся рот, дряблые щеки. Лицо доброй, бесхарактерной старой женщины, измочаленной жизнью,— будничное лицо. Ого-

нек погас, тетка Дуся слезла с лавки и еще долго шуршала, покряхтывала, упрятывала себя на ночь.

И мне вдруг пришла в голову крамольная мысль: а не опасна ли для общества такая вот тетка Дуся?

Да, она никому не способна причинить зло, а ей может причинить любой — безобидна и беззащитна. И это вызывает сочувствие, это нравится. Просто потому, что рядом с такими Дусями покойно: не укусят, не подставят подножку, даже больше того, на них можно сесть верхом — повезут из последних сил.

А не должно ли каждого из нас настораживать, что в нашем мире безобидность и беззащитность почитается, как заслуга. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное». Не богатые духом, не сильные волей, а блаженны нищие... Они, эти нищие духом, безобидные,— идеал для узурпатора. Покорные, безвольные, всепрощающие тетки Дуси, не способные обидеть и мухи, несут миру своим кротким существованием заразу насилия. Не разучились ли мы ценить тех, кто сознает свое собственное достоинство и умеет его отстаивать?

Тихо в избе, тихо в себе, где-то над крышей стоит луна, верный мой сторож. Сна нет, напористо толкутся безжалостные мысли.

Верую и не допускаю сомнения, верую без оглядки, без проверки, не пытаюсь задуматься, лишаю себя права умственно развиваться. Мир, населенный верующими, охотней прислушивается к пророкам, проповедующим доступную глупость, за ними идут, их выбирают в вожди. А дерзкие умом, прозорливые, те, кто лучше других способен предвидеть бедствие, указать, как избежать его, отвергаются, если не бросаются на костры. Естественный отбор, где выживает недомыслие!

Вера как панацея от бед человеческих! Стремился к ней, теперь становлюсь ее судьей, ее обвинителем.

Растет к вере тяжелый счет. Вера в единое — в единого ли бога, в единую ли обожествленную личность, в единые и непреложные догматы — сплачивает людей: мол, единое же! Но люди не способны мыслить единообразно, неизбежны какие-то разногласия, среди допускающих сомнения это неопасно, среди верующих — непримиримая вражда. Вера и вражда тесно соседствуют!

Растет к вере тяжелый счет. Она, вера, не только плодит вражду, но и оглупляет. Прими веру как панацею, ополчись против сомневающихся — и произойдет естественный отбор: посредственность обретет силу и выживет, дерзкий ум погибнет. Не страшно ли?..

Когда-то, в свой первый красноглинский вечер, я молитвенно слушал шепоток тетки Дуси и удивлялся, что находятся такие, кто считает своим долгом отобрать у этой старой женщины ее бога,— не смей, опиум! Легко ли без опиума осилить тетке Дусе одинокую жизнь?

Да, нелегко! Наверное, с опиумом легче! Одурманить себя, притупить всякое чувство — не страдать, не болеть, не отчаиваться, не ощущать в полную силу жизнь. Легче? Да! Но легкая жизнь не есть жизнь достойная. Напротив, за возможность легко прожить и продаются обычно и человеческое достоинство, и всеобщие интересы.

Клеймят насильников, умиляются смирению теток Дусей. А ведь каждый процесс насилия с Дусей начинается, насильниками только кончается.

Девушки в косыночках «Пусть всегда будет мама!», парни в синих фуражках! Не верьте слепо, тупо, без оглядок ни Христу, который требовал: «Возлюби!», ни Ушаткову, который требует «Ненавидь!».

Помните, жизнь сложная, в ней никак нельзя ограничиться чем-то одним — или всепрощающей любовью, или всесокрушающей ненавистью.

Девушки в косыночках, парни в синих фуражках! Не зову вас к тому, чтоб любили вполсилы и вполсилы ненавидели. Нет! Любите и ненавидьте в полный накал, но толькой знайте, что любить и что ненавидеть, что и когда! В этом-то и заключается искусство жить. Пророки не обладают таким искусством — крайне предвзяты, не объективны, все пророки от Христа до Ушаткова!

Воздух начал дымчато сквозить, проступали закопченные пазы в стенах, тараканьи щели... Тихо в избе, тихо в селе и гневный бунт внутри меня, набатные мысли.

В тихие предутренние минуты свершалась революция: «Сожги то, чему поклонялся, поклоняйся тому, что сжигал...» Поклоняйся?.. Да нет, хватит! И сжигать прошлое нельзя. Пепел не помнит, а помнить надо, забывчивость — та же слепота.

* * *

День для меня начался со стука в окно:

— Дуся! Эй! Жильцу твоему письмо возьми!

И меня, полусонного, сорвало с постели.

Письмо... Дрожащими пальцами держу конверт. Сам конверт знаком — семейный, еще в прошлом году купил несколько почтовых наборов с такими вот гладкими конвертами, без украшающих рисуночков, не разграфленных стандартно на «куда» и «кому». И почерк знаком до удушья, тесно составленные, старательно выписанные буквы — рука Инги. Обратного адреса ей не писал — «если можешь, забудь», должно быть, узнала его по почтовому штемпелю. «Широка страна моя родная», но не так уж и трудно отыскать в ней затерявшегося человека.

Письмо пришло в Красноглинку еще вчера. Я выступал в клубе, а оно уже лежало в почтовом отделении, уже готово было ринуться на меня.

Трясущимися пальцами я разорвал конверт.

«Кажется, прошло... Кажется, я пришла в себя настолько, что могу взять в руки перо, в состоянии отобрать какие-то вопросы — из тысячи немногие, самые важные.

Почему я оказалась чужой для тебя? Только от того, к кому не испытывают родственности, даже элементарного дружеского доверия, можно столь долго таиться и прятать свое. Ты же прятался от меня не день, не неделю — долгие месяцы, возможно, годы. Нужно, наверное, чувствовать затаенную враждебность, чтоб выдержать столь длительную скрытность. При малейшей симпатии рано или поздно настала бы светлая минута откровения. Чем вызывала я у тебя такую беспросветную враждебность?

И почему предательство?

Даже с врагом поступать предательски недостойно.

Ты ничего не сказал, ты просто сбежал! Ты поступил, как предатель. А сбежав предательски за сотни километров, ты и там не можешь набраться смелости, в своем письме выкручиваешься, вывертываешься, прячешься за словеса: «Как всякий нормальный человек, я свято верил в торжество разума...» Какой стиль! Какой пафос! Какая выспренность! Трусливая ложь! Уж это-то зачем?

Сказать, что я ничего не видела, ничего не чувствовала, не подозревала,— нет! Чувствовала—с тобой что-то творится, ждала — откроется, значит, и уладится. Думалось, любовь — слишком высокое чувство, а долго тянуть высокую ноту нельзя — выдохнешься. Думалось, спад законен, перемелется со временем, наступят ровные родственные отношения, но получить это годами выношенное предательство — нет, этого, признаюсь, не ждала. Слишком чудовищно!

Бог? Вера?.. Пусть даже так, убийственно странно, но допускаю.

Но опять же вера-то твоя замешана на лжи, на трусливой лжи к близким людям. Просишь: «Пойми, если можешь, прости, если можешь». Нет, не пойму, потому что всегда представляла тебя иным — не лживым и не трусливым. Нет, не смогу простить. К себе предательство, куда ни шло, может, и простила бы, но к дочери... Я-то сама, возможно, и заслужила — почему бы не предположить и такое,— но дочь-то наверняка ничего не смогла свершить, чтоб быть отвергнутой отцом, быть преданной тайком!

Не все выложила, все невозможно, но на прощание скажу: если и вправду у тебя появился бог — а не другая баба! — то я презираю этого бога. Любой нормальный человек отвернется от него, холодного, черствого, аморального, допускающего — родитель, предай ребенка, затопчи отцовскую любовь!

Инга».

Внизу приписано:

«Ты разрушил так много, что пусть тебя не мучает совесть о малом. Будешь ли помогать мне воспитывать Таню или не будешь — я свою дочь как-нибудь вытяну. Через суд взыскивать алименты не хочу — противно требовать помощи от того, кого не уважаешь. И слезные отговорки — зарабатываю себе хлеб ломом и лопатой — ни к чему. Зарабатывай хоть благочестивыми проповедями, надев рясу. Да поможет тебе твой незавидный бог!»

Письмо пришло в Красноглинку еще вчера, во второй половине дня. Еще вчера я судорожно хватался за рассыпавшегося бога, жаждал веры. Прочитай это письмо

вчера, я, наверное, пытался бы оправдаться — не смей так думать! Не лгал, не был трусом! Сегодня, право, не осмелюсь.

За ночь я пришел к выводу: с верой возникает естественный отбор, где выживает недомыслие. А в наш сложный век глупость уже не просто изъян, сегодня глупость безнравственна!

Я наделал глупостей, Инга вправе упрекнуть меня в безнравственности, не осмеливаюсь ей возразить.

Когда покупал билет до Новоназываевки, я знал, что совершаю предательство. Но считал: последнее предательство, чтоб больше никого не предавать! «На том стою и не могу иначе!» Стоял, честно держался до последних сил, уговаривал себя: иначе не мо́гу!..

И крошилась земля под ногами.

Конечная цель — краеугольный камень! А Густерин, странный председатель, читающий в свободные минуты исследования Веселовского об опричнине, выбил этот камень из-под меня с легкостью... Камень, подпиравший бога...

«На том стою...» Стою-то, оказывается, на пустоте — падаю, еще раз отказываюсь от убеждений. Выходит, еще раз — предательство?.. Предаю убеждения? Да нет, на этот раз — пустоту.

Письмо... Я его ждал, я его боялся... Оно действительно страшно. Но странно, когда это письмо проглочено, страх мой прошел, руки не дрожали больше.

Что ж, все сказано, над старой главой поставлена точка, теперь надо начинать новую.

Начну. Она не поразит свежестью и оригинальностью, эта новая глава моей жизни, она будет построена по избитому сюжету блудного сына.

Не имею права на гордость, не имею права отстаивать собственное достоинство — сноси упреки и презрение тех, кого предал. Первым моим оправданием может быть только: «Прости!» Инга должна понять, что я переболел, и «не хрипотой, не грыжею», не голокружением от юбки. Наверное, любая болезнь достойна прощения, а эта тем более. Прости, Инга, и пойми! Должна понять, должна еще раз мне помочь в жизни. Старая притча о блудном сыне.

Я спокойно спрятал письмо — решение принято, почувствовал себя собранным.

Тетка Дуся бросала на меня от печи испытующие взгляды. Она по-бабьи догадывалась, что письмо — пер-

вое письмо за мое пребывание в Красноглинке! — не может быть просто листком с пожеланиями доброго здоровья. Казалось, она была разочарована: ни великой радости на моем челе, ни огорчения, спокойнешенек, — и насторожена: «Ой ли, так ли все гладко, сокол?»

— Садись за стол, болезный. Яишенку тебе сегодня сготовила и вот... расстаралась.

Передо мной встала широкая сковорода и четвертинка водки. Это проводы, тетка Дуся за ночь не изменила решения, по-прежнему желает, чтоб я оставил ее дом, морока со мной.

Оставлю, но не сию минуту. Прощусь с Красноглинкой, с Густериным.

Я налил водки:

— Не поминай лихом, тетя Дуся.

— Пей на здоровьице, соколанушка. Прости меня, старую, непутевую.

Старуха придавила концом платка слезинку.

* * *

Я бросил в угол рабочие брюки Пугачева, вернее, уже остатки брюк, резиновые сапоги вынес в сенцы — сдам при расчете, натянул хоть мятую, но чистую сорочку, пахнущую не бражным потом, не землей Красноглинки, а забытым запахом городского гардероба, влез в свой московский костюм.

Кончен маскарад, как мог, сыграл роль землекопа, никому не нужную роль.

Хочу домой, хочу покоя, любви Инги, хочу рассказывать дочери сказки, хочу быть прежним!

И все?

Нет, не все! Нужно еще на одно ответить себе: что мне делать?

Только любить Ингу и только рассказывать: «Избушка, избушка, стань ко мне передом»?.. Дожить до старости, почить в мире? А где-то стороной будет идти жизнь, где-то будут страдать люди, что-то искать и находить, торжествовать и разочаровываться, идти на сближение друг с другом и враждовать вплоть до мировых кровопролитий. Где-то, мимо... Не превратишься ли ты в таракана, забившегося в щель, выживающего благодаря своей неприметности? И станет ли любить Инга таракана?..

Человек не может считать себя полноценным, если он не чувствует, что как-то нужен всем без исключения людям на земле. Нужен — докажи делом. Так что же я собираюсь делать, кроме как любить Ингу, развлекать сказками дочь?

Засесть за свою книгу о гравитации, славить науку?..

Я презирал Олега Зобова, талантливого парня, который скоро получит степень доктора, к концу жизни, не исключено, сядет в кресло академика, презирал за то, что он убежден — наука не осчастливит,— убежден в этом и служит ей. Презирал его поведение, а не взгляды. Со взглядами Олега и не хотел бы, да соглашаюсь. Наука поможет изобрести удивительные машины, завоевать иные планеты, одарить людей дешевой энергией, она — готов верить! — поможет даже накормить голодающих. Но мне-то хорошо известно, что сытые столь же не защищены от несчастий, как и голодные. «Люби ближнего твоего...» А насчет любви наука слаба.

Блудный сын вернется.

Но что же он будет делать?.. Славить науку, как славил прежде?

Ой, не знаю...

Я шагал по красноглинской улице, стараясь пошире расправить плечи, выразить лицом снисходительную независимость,— все для того, чтоб заглушить свербящую неловкость.

Глядите все, вот идет Юрий Рыльников, тот, кого вчера принародно уличили мракобесом, на кого указали перстом — берегитесь, опасен! Так что ж, берегитесь, добрые люди! Добрые и свято верящие персту Ушаткова. Вот он! Во всем параде перед вами, глядите, потом будет поздно — лошадь с рогами.

— Здравствуйте,— баба с ведрами, живет через три дома от тетки Дуси, зовут ее Настей, по утрам вот так на улице встречаемся.

— Здравствуйте...

Это не значит, что мы знакомы. Мы просто знаем друг друга в лицо. Но если б даже она меня и ни разу не видела, все равно бы поздоровалась. Вежливое «здравствуйте» — для чужаков.

Уступают нехотя дорогу куры. Даже кур «знаю в

лицо». И тропинки, пьяно-именинные красноглинские тропинки, и обдутые до стального цвета крыши... Всетаки я сжился с Красноглинкой. И вовсе не понимаю, почему оставляю здесь врагов и не оставляю друзей.

Последние шаги по красноглинской земле, тугой земле, которую испробовал своей лопатой. Впереди Москва. Она меня может встретить тоже как чужого. Воистину, ни в городе Иван, ни в селе Селифан, заблудшая душа.

На дороге кучка парней — клетчатые рубахи, небрежно наброшенные на плечи выгоревшие пиджаки, чубы изпод фуражек, заломленные в зубах папиросы. И Гриша Постнов среди них — ворот нараспашку, рукава закатаны выше локтей. И тот, с вывернутыми ноздрями, тоже тут — не в синей фуражке, в старой кепке.

Они вряд ли специально ждали меня, просто случайно оказались на пути. Они не ждали меня, но я-то ждал такой встречи, потому и расправил плечи, старался выразить на лице независимость.

Расставленные ноги, руки, запущенные в карманы, прищуренные глаза и румянец пятнами на скулах Гриши Постнова. .

Наверное, ухмыляясь, отпустив шуточку, они пропустили бы меня, если б не моя наигранная независимость. Ее нельзя было не заметить. Кто-то сделал шаг вперед, кто-то развернулся грудью ко мне, легкое шевеление — и поперек дороги встала стенка.

Я подошел... Прямо предо мной — широкая грудь в клетчатой рубахе, нависающий тяжелый подбородок, шапочно знакомый мне тракторист Ваня Стриж, он как-то привозил на наше строительство лес. У крутого Ваниного плеча — Гриша Постнов, цветет скулами, пепелит меня из-под ресниц.

— А здороваться не положено святым апостолам? — грозно спросил Ваня Стриж.

— Здравствуй,— сказал я.

Вчера после лекции передо мной расступились — поверженный, лежащий, нет нужды ни бить, ни ругать такого. Сегодня я ожил, гляжу прямо, отвечаю без робости, держусь независимо — непорядок, должен быть тише воды, ниже травы.

— У-у! — промычал парень в синей фуражке на этот раз уже сердито.— Дай ему, Стриж!

— За что? — спросил я.

— За красивые глазки,— ответил Стриж.

— Ну тогда, конечно, стоит,— согласился я.

Мое спокойствие Ваню Стрижа озадачивало, он насупливал белесые брови, выдвигал на меня тяжелый подбородок. Гриша Постнов поиграл желваками, произнес глухо:

— Он тебя, Стриж, все равно переговорит — грамотный, институт прошел.

Гриша, видать, никак не мог простить, что институт достался мне, не ему.

— Грамотный, а невежливый, первый «здравствуй» не скажет,— Стриж не отличался изобретательностью, не находил веского повода, чтобы исполнить благой совет — «дай ему».

А вокруг уже собирался красноглинский народ: несколько девчат с граблями, голенасто загорелых, в легких платьицах, старухи в белых платочках, остановилась в стороне лошадь, степенный мужик, не слезая с телеги, принялся неторопливо свертывать цигарку, и вездесущие ребятишки просачивались поближе к центру события. На глазах стольких зрителей Ване Стрижу нельзя было ударить лицом в грязь, но, наверное, неудобно просто так, не за будь здоров, отпустить сплеча.

Гриша Постнов нашелся.

— Пусть признается при всех, что мракобес,— подсказал он.

— Верно! — обрадовался Стриж и незамедлительно забрал в лапу на моей груди городскую сорочку.— А ну!.. Давай! Я мра-ко-бес! И громче, чтобы все слышали.

— Ты дурак, Стрижов!

— Мотри!

— Что я тебе говорил? — подбросил Гриша Постнов.

— Ну!.. Кому сказано?.. Я мракобес!

— Иди ты!..

— Дай ему!

И Ваня Стриж, помаргивая белесыми ресницами, стал отводить крутое плечо. Ему явно не хотелось бить меня, но... престиж.

— Семя иродово! Стойте!..

Ваня Стриж опустил кулак. Старухи и девчата расступились. Высоко держа голову, пухлая грудь вперед, палка на весу, громко сопя, тяжело волоча по земле подвязанные бечевой галоши, появилась сестра Аннушка.

— Сгинь, бес! — ткнула узловатым костылем Ваню Стрижа.— Сгинь, нечистый!

— Чего! Ну, чего!.. Ишь, вылезла спасительница,— заворчал Ваня, отступая.

— Иль меня, старуху, кулачищем своим?..

— Да ну вас обоих... Тьфу!

Сестра Аннушка встала передо мной, желтое лицо запрокинуто, под студенисто заплывшими веками лихорадочно мельтешат глазки, палка с воинственной решимостью всажена в землю — спасительница!

Дернулась лошадь, ужаленная слепнем, мужик прикрикнул:

— Стой, шалава!

И снова тихо. Вокруг жаркое дыхание и ждущие взгляды.

— Ты, голубчик, обидел меня...— начала грудным, звучным голосом сестра Аннушка. Ее плоское нездоровое лицо выражало бесстрастность, а глаза суетно жили.— Обидел, и сильно. Никто, поди, в последнее-то время так не обижал меня...

Конечно же, за спасение от кулака Вани Стрижа мне надлежало выслушать проповедь.

— А вот я зла не держу... Ты вот безбожницей меня обозвал да язычницей: мол, Христа в тебе нет. Ан нет! Ты обидел, а я к тебе готова по завету нашего учителя: «Кто ударит тебя в праву щеку, обрати к нему и другу...»

Запрокинутая голова, грудной с сипотцой и одышкой голос, величавая осанка расползшегося тела, и в щелках век обжигающий блеск глаз.

— Злыдня я, да еще своекорыстная! Чего не приплел... А я... Я вот сношу, я ничего...

Обжигающий блеск глаз — и смиренная речь.

— И народа я не стыжусь. Не-ет! Пусть видят, как слово господне меня от лютости оберегает, как кротость я себе вымолила. Пусть видят — чиста я от злобы, благодать божью в себе несу. Ты меня попреком вострым, а я тебя любовью...

А глаза сквозь щелки выдавали иное, глаза неистово горели, и не кротостью, не любовью. Ни Гриша Постнов, ни простоватый Ваня Стриж со своими пудовыми кулаками не вызывали во мне особой неприязни. Они что чувствовали, то и выражали. В искренности им не откажешь. А тут перед всеми шла игра — злоба притворялась

доброжелательством, ненависть — любовью. Игра на людях.

— Вот ты молчком, голубь, стоишь, не знай что думаешь. А я и на это не обижаюсь. Сказано в писании: «Допрежь, чем бога славить, пойди и помирись с братом твоим...» Вот и я с миром к тебе. При всем честном народе... Я даже... Я и поклониться тебе могу. При всех...

И сестра Аннушка и в самом деле откачнулась картинно, шумно набрала в грудь воздух, отбила мне земной поклон.

Это было уже чересчур. Я не выдержал и рассмеялся. Мне в ответ радостно подвизгнул какой-то парнишка.

Сестра Аннушка медленно распрямилась. Ее лицо было кирпичным, но постепенно темная кровь стала отливать, растопленно-восковые щеки стали бледнеть до зелени, до трупной голубизны. Изрытость проступила на ее водянистой коже. Щелки век раздвинулись, злые глаза обжигали.

— Бе-ес...— чуть слышно прошептала она.

Мне стало неловко за свой смех, я попытался оправдаться:

— Не творите милостыни перед людьми с тем, чтобы они видели вас...

— Бе-ес!! — взвизгнула она и вскинула над головой палку.— Бе-ес! Бе-ес!!

Она надрывно визжала, а все молчали.

— Бе-ес!

Мне было неловко и противно.

— Бе-ес!!

Провожаемый удивленными, настороженными, неприязненными взглядами, я осторожно обогнул визжащую сестру Аннушку.

— Бе-ес!! — летело мне в спину.

Красноглинка — моя случайная Мекка. Приехал сюда искать единоверцев.

Как все это нелепо, как глупо!

— Бе-е-ес!

* * *

На задворках большого председательского дома, в окружении цветущих молодых яблонь стоял маленький, как скворечник, дощатый домик. В него задвинут грубо сколоченный, грубо оструганный, массивный стол на коз-

лах — он завален книгами, узкая железная койка, пара колченогих стульев — летняя резиденция председателя Густерина. Единственное пыльное оконце упиралось в яблоню, сплошь покрытую розовыми цветами. Среди цветов летали пчелы. От яблони, пылающего на солнце розового кострища, по сумрачной комнатушке — призрачный, прохладный, будуарно-розовый отсвет.

— Садитесь.

Он скинул пиджак, остался в белой трикотажной рубашке — ворот апаш, короткие рукава открывают мускулистые руки, сел напротив меня, ощупал из-под очков от колен до фуражки.

— Уезжаете, значит?

— Догадались?..

— Не трудно... Жаль, жаль, что вчера на лекцию не пошел. Думал: будет, как всегда, не учел, что вас вытолкнут. Все село с утра шумит.

— Поносят?

— Не без того — вешают собачек.

Я вздохнул:

— Что ж... Хоть какая-то память.

— Послушайте, идеалист-самородок, а что, ежели я вам предложу не уезжать?

— Вам-то я зачем?

— Нужен!

— Для колхоза потеря?

— Для меня потеря.

Странно. Побежден, повержен, сам перед собой капитулировал. Но, оказывается, здесь на капитулянтов спрос — недавно сестра Аннушка челом била, теперь вот Густерину понадобился.

— Я — вам? Не пойму. В качестве придворного шута если...

Густерин нахмурился, помолчал, слепенько пощурился в сторону, наконец заговорил:

— Много лет я добивался, чтоб окружающие люди думали так, как я думаю... Много лет, много сил ушло. Добился, но не того, чтоб стали думать. Стали мне верить, смотреть в рот. Раз Валентин Потапович говорит, то так тому и быть...

— Но при чем тут я?

— Помните, мы в прошлый раз говорили: мало добыть кусок хлеба с маслом, нужно большее. Да, большее.

Я себя перед людьми все чаще и чаще начинаю преступником чувствовать. Валентин Потапович говорит... Валентин Потапович за всех думает... Валентин-то Потапович кусок хлеба дал, но как бы у кого душу не выкрал.

— Но я-то при чем тут?

— Вы знаете, что такое доход?

— Смутно и теоретически.

— Не правда ли, скучное словечко, бухгалтерской пыльцой попахивает. Рубли, копеечки, ежели и вызывает какое-то чувство, то корысть, не иначе...

Густерин подался на меня телом, глядел мне в глаза требовательно. А я молчал, я ничего не понимал: нужда во мне — и вдруг доход,— в огороде бузина, а в Киеве дядька.

— Представьте себе доход, некую кругленькую сумму, которую требуется поделить,— продолжал Густерин.— Не арифметически, не разложить по карманам, а с прицелом: что же нам завтра делать, как завтра жить? Так сказать, в будущее проникнуть, предугадать его. Ты участвуешь в таком распределении, вместе со всеми предугадываешь. Вокруг тебя есть люди и поумней — доверься им. Но доверие-то доверием, а держи ухо востро — можешь на ловкача налететь, сомненьице за пазушкой не помешает. Выходит, твое завтра зависит от того, как договоритесь друг с другом: поймете ли умного, разденете ли донага глупого. Понять друг друга — в этом весь фокус. Понять и не ошибиться — трудная наука, которой надо учиться. И доход дает возможность учиться. Бухгалтерское словечко... Цемент, которым можно спаять людей.

— Валентин Потапович, но я-то...

— Дойдем до вас. Прежде вопросик: как вы думаете, кто мешает мне создать вот такую школу, где человек учится понимать человека?

— Кто вам может мешать? Районное начальство только.

— Мешает сам колхозник.

— Как это?

— Удивляетесь? А чему? Колхозник видел, что в наших снежных местах кукуруза не растет, ему приказывали: сей, не смей перечить! Он понимал, что резать стельных коров на мясо преступно, его заставляли: режь, не возражай лишка! И он перестал возражать, заодно соображать и чем-либо интересоваться. Доход подсовывают,

ломай, мол, голову — больно нужно, пусть у начальства голова болит. И припев: что Валентин Потапович скажет, так тому и быть!.. Окаменели, не уколупнешь, взорвать нужно. Нужен запал.

— Запал?.. Неужели я?..

— Лучшего не найду.

— Чем же я запалю?

— Тем, что не совсем нормальный, не приглаженный. Вон как мечетесь и прыгаете — пропадай моя телега! Не постесняетесь возразить, в голос крикнуть — глухой отзовется. А мне это и нужно, чтоб отзывались, чтоб возражали, чтоб после вашего голоса хватались за грудки. Тут-то люди и станут проявлять себя. Раскачать, взорвать — запальчик!

— Вы сказали — возразить!

— Ну да.

— Вам?

— Мне в первую очередь.

— Но чтоб возражать, нужно знать что-то. Я же, помните, лошадь не запрягу, рожь от овса не отличу.

Густерин помолчал, побарабанил пальцами:

— Вы меня не поняли. Мне вы нужны не в качестве советчика по хозяйственным вопросам. Нужен человек с независимым характером, чтоб думал по-своему, пусть даже с вывертом, чтоб умел отстаивать свое, чтобы не пасовал...

— Нужен для примера?

— Для примера, для запала.

— С меня пример?.. Валентин Потапович, а это вас не смущает?

Густерин нацелил на меня прищуренный за стеклом глаз и усмехнулся:

— Не мните о себе много. Ни вам, ни другому кому колхоз в монастырь уже не превратить. А ваши выверты, право, вреда не принесут, напротив — любопытны и поучительны. Вот какие завихрения в мозгах бывают. Нужно о них знать, нужно их иметь в виду. Слепота никогда не приносила пользы.

Густерин положил руку на мой рукав:

— Послушайте, я не шучу. Очень нужен человек с независимым характером. Оставайтесь.

Я здесь нужен. А в Москве?.. Человек должен научиться понимать человека — Олег Зобов об этом не ду-

мает, Инга тоже, а вот Густерин думает. Я не очень-то верю в его успех, мне кажется, он выбрал сомнительный путь. Через доход решить то, чем люди мучились тысячелетиями, призывали на помощь богов, подымались на революции. Через доход! Да, господи!.. Но думает, но пытается — вот что дорого. Можно ли пройти мимо. И его рука сейчас лежит на моем рукаве: «Оставайтесь. Нужен».

Странная болезнь, не признаваемая медиками. Я узнал на себе, как она страшна. Совсем я вылечился или на время? Время излечивает, но не всегда. Излечивают люди... Наверное, тоже не всегда. Хотелось бы иметь под боком врачевателя.

Его рука лежит на моем рукаве...

— Нет,— сказал я.— Я теперь уже не тот человек, Валентин Потапович, какой вам нужен.

— Догадываюсь кой о чем, но все равно тот.

— Кажется, у меня все кончилось. Стал, как все.

— Не верю.

— А кроме того, семья, Валентин Потапович. Жена-то работает в научно-исследовательском...

Густерин снял с моего рукава руку.

— Пусть так,— сказал он.— Но помните: захочется вернуться — вдруг да! — не раздумывайте, приезжайте, примем.

За окном пылала яблоня, в розовом пламени летали пчелы. Сидел напротив меня лысый, плотно сбитый человек в подслеповатых очках — Архимед местного значения: «Дайте мне точку опоры...» Точка опоры — я? Ну уж... Найдет другое.

— Спасибо. Буду помнить,— сказал я.— У вас, вижу, книг по истории много. Это что — ваше хобби?

— Законная жена, с которой разлучили, выдали за другую.

— Как это?

— Я же кончил истфак в педагогическом, много лет преподавал в школе историю.

— Как же так — в председатели?..

— Обычно. Попал на качели. Вознесли сначала почти на самый районный верх, потом спустили. Был такой отстающий из отстающих колхозов «Вторая пятилетка», коров там на зиму к потолку привязывали. Потом снова вознесли и снова спустили — покачали досыта...

— Могли бы спрыгнуть с качелей обратно в школу.

— Наверное, мог бы, да это некрасиво б выглядело — вроде дезертирства. Вы качайтесь, а я столбик подопру. А что скрывать — хотелось соскочить, мечтал диссертацию защитить, написать большую работу по истории. Взять бы какой-то исторический пример, показать — вот последствия от него. Научило это людей уму-разуму? Да нет, не очень-то, вот, мол, глядите — позже примерно такой же случай снова, с такими же последствиями. И тыкал бы людей носом: что ж вы, черти такие, задом к истории. Так и хотел назвать свою работу — «Поучительная история». Но дальше названия не пошел...— Помолчал, помигал сквозь очки в сторону, добавил: — Уже и не пойду... Хотя книги до сих пор ворошу. Без них не могу...

В это время за дощатой стеной домика раздались чьи-то тяжелые и твердые шаги. Возле самых дверей они утратили свою твердость, с минуту кто-то неловко переминался, посапывал, потом осторожненько, осторожненько не постучал, а поскребся.

— Не спрячешься, из-под земли достанут,— проворчал Густерин.— Ну, кто там? Входи!

Сгибаясь под низкой притолокой, твердой тульей вперед, выставив погоны на покатых плечах, шагнул к нам участковый Тепляков. Разогнулся фуражкой к потолку, пробасил:

— Здравствуйте.

Осторожненько опустился на застонавшую койку, избегая глядеть на меня и на Густерина, расстегнул ворот кителя, вытер ладонью мокрый лоб: «Уф-ф!» На улице стояла полуденная жара.

Густерин первый подал голос:

— Выкладывай, с чем пожаловал?

— Да не с добром, Валентин Потапович. И не к вам я, а вот к нему,— кивнул на меня.— Сам не рад.

— А вы — человек слова,— заметил я.— Обещали второй раз явиться — явились.

Тепляков повел на меня усталым глазом:

— Не послушался — вини себя.

— Он что, набуянил, украл, зарезал кого? — спросил Густерин.

— Да боже упаси. Ушатков в район стукнул: попридержать приказали.

— Уж не арестовать ли собираешься? В моем доме? Гостя?

— Да вроде этого, Валентин Потапович. Служба. Ордера на арест покуда нет, но из отделения милиции позвонили, чтоб задержал... Я ж предупреждал его...

— Верно,— подтвердил я.— Советовал катиться отсюда подобру-поздорову.

— Что ж...— Густерин сердито сверкнул очками.— Вынь пистолет, Тепляков, выведи гостя из моего дома. Но только под пистолетом, иначе не дам — вступлюсь за гостя.

— Валентин Потапович, я же человек служивый, исполняю, что прикажут.

— Сам себе не хозяин — эк, как легко признался и не покраснел ведь.

— Тогда не подчинись, мундир с плеч сними?

— И о мундире подумай, как бы его не запачкать. Ты не задумывался, почему Ушатков грязные делишки твоими руками обделывает? И не в первый же раз!

— Не только мне, но и начальству моему, перед которым я — руки по швам, с Михайло Осиповичем Ушатковым лучше не связываться.

— Верно, зачем связываться, лучше услужить.

— Вот что.— Тепляков всем своим могучим телом повернулся ко мне: — Тащить тебя под замок я не собираюсь, ты мне только слово дай, что в ближайшие дни из села дальше задворок не выйдешь.

— А я как раз собираюсь уехать, ваш прежний совет выполнить,— ответил я.

— Ну, тогда...

— Конечно, тогда придется меня вам арестовать. Сейчас, как советовал Валентин Потапович, под пистолетом.

— Не лезь бычок на рожон, на него и медведи садятся.

— Мне, видите ли, хочется проверить, есть ли закон в Красноглинке.

— Закон-то есть, но, боюсь, не про твою честь. Ты же, сказывают, черт-те как вел себя на честном собрании, ученого лектора при всех отшлепал...

— Ты был на этой лекции? — спросил Теплякова Густерин.

— Не получилось как-то.

— Хороши мы с тобой оба. Лектор из области прибыл, а два очень приметные в Красноглинке человека не посчитали нужным явиться. Почему бы это?

— Да что скрывать, Валентин Потапович, лекции-то эти того... одна на другую схожи. В шею не толкают, не обязывают, ну и думаешь — дай отсижусь.

— Ага! Признаешь — скучны лекции. Значит, не та правда в них, что за живое хватает. А уж коль живой правды недостает, то можно возражать, наверное, даже нужно возражать. Вот нашелся один — возразил, как мог, почему же его за это под пистолетом?

— Возразил-то, похоже, не в ту сторону, не в нужную.

— А если ты пистолет в руки возьмешь, это возражение поправишь?

— Мда-а...

— То-то и оно, про тебя тогда любой волен подумать: дурак ты дурак, ума не хватило ответить, пистолетом правду ищет.

— Мда-а...

— И ты ведь государственный закон здесь собой представляешь, как о законе-то будут думать?

Тепляков вдруг побагровел, заворочался:

— Ну, что вы мне гвозди в мозги вбиваете! Ну, соглашусь с вами! Ну, от службы откажусь, мундир сниму. Но кто-то этот мундир наденет... Вы Ушаткову гвозди-то подлинней вбейте!

— Придется, не миновать. Хотя — ох! — грязная это работа. Где он сейчас?

— В сельсовете. Там и лектор на чемоданах сидит.

— Ах, лектор еще там! Что ж, это лучше. Он, наверное, все-таки не Ушатков, с ним договориться будет легче. Что ж, идемте всей компанией.

— С удовольствием,— согласился я.

— Я-то тут вроде ни к чему,— заикнулся Тепляков.

— Конечно, ни к чему,— заиграл морщинками Густерин.— Если после нашего душевного разговора ты так своего мнения и не нашел, то ни к чему.

— А, черт! Иду и я! — Тепляков поднялся под потолок, с силой натянул на голову фуражку.

За окном пылала цветущая яблоня — розовый костер!

* * *

Знакомый мне кабинет с двумя столами, составленными учрежденчески-традиционной буквой «Т». Солнце в окна, скучно зудят мухи, духота! Ушатков — не человек, а нетленные мощи — при такой жаре сидит в суконном пиджаке, ворот рубахи упрятан до подбородка, на лице ни капельки пота, ни следа испарины, лоб цвета слоновой кости, словно отполирован суконкой.

Зато лектор из областного общества по распространению знаний, страдалец, изнемогает в шелковой безрукавочке, казалось, развесил себя по стулу, лицо распарено, и на нем не сходящая гримаска отвращения — должно быть, в красноглинской чайной накормили неперевариным. Ушатков поднял брови, передернул скулой, не пытался скрыть досаду и удивление при виде гостей, глаза заполнились льдистой недобренькой синевой, повернулся бочком к двери, бойцовски вздернув левое плечо. Областной же лектор сконфузился, сел прямо, поджал под стул ноги.

Густерин прошагал вперед, деловито кивнул Ушаткову, подчеркнуто-вежливо — лектору, угнездился в углу между двух столов — письменным хозяина и красным заседательским. Тепляков, сохраняя и в фигуре, и в физиономии угрюмую решимость, натянуто присел на краешек стула, боком к Ушаткову. Я скромненько занял место подальше — не стану вмешиваться, не скажу ни слова, понаблюдаю, как решают мою судьбу.

— Обсудим,— предложил Густерин.

— Что именно? — спросил Ушатков и повел глазом в мою сторону.

Лектор же Лебедко старался не замечать меня. Тепляков возвышался могучей скалой.

— Преступление этого товарища. Ведь ты же заставил милицию заинтересоваться его судьбой?

— Уж не хочешь ли ты встать грудью на защиту? — спросил Ушатков.

— Хочу.

— Почему бы это? — в голосе Ушаткова недружелюбное спокойствие.

— Хотя бы потому, что это мой рабочий.

— Да пусть он тебе братом родным будет, тем более защищать позорно.

— Как видишь, решил опозориться.

Ушатков повернулся к лектору Лебедко:

— Часто вам приходится встречать таких добряков, товарищ Лебедко? Так добры, что готовы врага грудью прикрыть.

У лектора Лебедко сразу потоскливело лицо и гримаска желудочного отвращения приобрела патетический оттенок.

— Михаил Осипович, где же машина?.. Не опоздать бы на поезд.

— Нет, товарищ Лебедко, с машиной сейчас нельзя спешить. Вам сейчас послушать надо, как в Красноглинке чуждые взгляды добрую защиту находят... А может, ошибаюсь, Густерин, может, ты нашенскими их считаешь?

— Предположим, ненашенские.

— И все-таки...

— И все-таки хочу перехватить палку.

— Какую палку?

— Ту самую, которой ты собираешься заставить — гляди, сукин сын, по-нашему!

— Не палку, а силу! Нам сила дана не для того, чтоб в ящиках письменного стола хранить без применения. Примени силу в первую очередь к чуждой идеологии.

— Силу его мускулов? — кивок Густерина в сторону напряженно сидящего Теплякова...— Силу его оружия?..

— А что?.. Против распоясавшегося хулигана можно силу оружия, а против идейно распоясавшегося врага — нет?.. Товарищ Лебедко, как вы на этот счет?..

Лектор Лебедко лишь вздохнул со скорбным осуждением — мирный человек, он не хотел влезать в чужую свару.

— Против хулиганских мускулов — мускулы, куда ни шло. Но против чуждо настроенных мозгов — мускулы тоже. Мускулы против ума — слабое оружие, Ушатков!

— Сильнее, по-твоему, совестить: не смей — бяка!

— Зачем совестить — бей! Сокруши его взгляды своими. Не можешь, к палке потянулся? Ну, тогда, Ушатков, признайся уж прямо — не сильны мои взгляды, пасую, банкрот я идеологический.

— Либерал ты, Густерин, мягкотелый либерал! Все еще веришь, что преподнеси врагу на тарелочке наши взгляды, как те сразу руки подымут: «Сдаемся!» Хе!

— Я верю, что мои взгляды глубже его взглядов, что моя идеология — грозное оружие, с таким оружием мне нет надобности хвататься за палку.

Ушатков вместо ответа всем своим плоским телом развернулся ко мне.

— Нравятся вам эти речи? — спросил он.

— Куда больше, чем ваши,— ответил я.

Ушатков сурово распрямился, кажется, даже на пядь вырос за своим столом:

Слышишь, Густерин,— нравятся. Ты бьешь, а ему нравится. Грозное оружие... Да какое же оно грозное, Густерин, когда врагу не больно, когда ему в удовольствие? Товарищ Лебедко, как вам эта приятная щекоточка вместо решительных действий? А?..

Лектор Лебедко пожал плечами так, что можно было понять и как явную поддержку Ушаткова,— и как — сами решайте, меня увольте. Но на этот раз на него уставился очками в упор Густерин, поддержал Ушаткова:

— Крайне интересно знать ваше мнение.

И Лебедко поерзал по стулу, поджал глубже ноги, смахнул ладонью пот с лица, заговорил кротким, умиротворяющим голосом:

— Вы полностью правы, товарищ Густерин... Полностью в том, что наша идеология — грозное оружие, спорить не приходится...

— Но?..

— Но нет правил без исключения. Вспомните хотя бы крылатое изречение Маяковского: «Ваше слово, товарищ маузер». В защиту наших идей, да, мы порой вынуждены предоставить слово даже маузеру...

— Так! — поддакнул Ушатков.

— Так! — в тон ему произнес Густерин.— Лектор-просветитель предоставляет маузеру провозглашать его идеи.

— Не провозглашать, а защищать, прошу меня не передергивать. И не всегда, а в порядке исключения. Революция, гражданская, Отечественная — вот этапы, исключительные по напряженности. И вы вряд ли порицаете, что мы тогда свои идеи защищали маузером, пушкой, самолетом-истребителем.

— Надеюсь, что теперешняя мирная Красноглинка не заставляет взывать вас к маузеру.

— Маузер — крайность. Но если мы признаем, что в каких-то крайних случаях вправе ставить свои идеи под

защиту маузера, то в менее крайних, наверное, нельзя чуждаться какой-то силы.

— Ага! Не маузер, а палка!

Кроткий Лебедко, видать, обладал достойной выдержкой, он лишь покачал круглой головой:

— Доводить все до абсурда — не очень-то честный прием в споре, хотя и выигрышный.

— Молчу. Говорите.

— Дело в том,— продолжал своим ровным наставническим голоском Лебедко,— что носитель, так сказать, чуждой идеологии, по моим наблюдениям,— личность незаурядная. Мы тут сталкиваемся не с каким-то там увлеченным святостью Ванькой, он, изволите видеть, Бехтеревым оперирует...

— И что же, наша идеология способна воевать только с теми, кто — темен, батюшка, темен, в дурачках хожу?

— Кроме того, товарищ Густерин, для нашего противника выгодно сложилась конъюнктура. Попробуем взглянуть трезво. Наши идеи широко пропагандируются. Это, конечно, хорошо, но часто хорошее диалектически перерастает в свою противоположность. Не слишком ли заумно я говорю?

— Не слишком.

— И прекрасно. Мы пропагандируем свои идеи в каждой газете, в каждом плакате, любой человек их постоянно видит перед собой, постоянно слышит. А при частом употреблении даже самые высокие, самые насущные идеи начинают, так сказать, неизбежно терять свежесть...

— Приедаться, попросту говоря.

— Называйте это так. И тут-то любая несъедобная... неудобоваримая свежатинка может быть проглочена из-за одного только любопытства. А раз проглотят, то кто может гарантировать, что она не станет действовать как разлагающий яд. Да еще на столь идейно неискушенных людей, какими являются красноглинцы. Разумно ли искушенному, образованному, поставленному в выгодную конъюнктуру противнику разрешать — звони во все колокола! От его звона кой у кого могут головы закружиться. Мое мнение, товарищ Густерин: следует попридержать его, а не лезть сломя голову с ним в перепалку.

— Вот так-то,— с нескрываемым удовольствием произнес Ушатков.— Попридержать!.. И про маузер это вы хорошо сказали, стоит запомнить.

Тепляков грузно заворочался на своем стуле, недовольно и озабоченно покосился на меня: попридержать...

— Зачем вы занимаетесь просветительством? — негромко спросил Густерин.

Лебедко вскинул голову, блеснул золотым зубом, отрубил холодно и твердо:

— Извините. Отчет буду давать в другом месте.

— Наши идеи стары, оскомину набили, а вот религиозные, божеские — свежатинка, на нее набросятся. Ну-у, знаете! Бросьте заниматься пропагандой своих идей, если считаете, что они обветшали!

— В-вы, кажется, переходите рубеж... Не намерен отвечать на оскорбления.

— Оскорбления?.. Возможно. Но не я их автор. Вы сами оскорбляете себя и свое дело!

Лектор Лебедко пожал сокрушенно плечами, но под веком у него нервически подергивалась жилка. А Густерин напирал:

— Маузер на идеологическом посту! Попридержать!.. Приемчики Держиморды в пропаганде!

— Эй, эй, Густерин! — постучал по столу Ушатков.— Забываешься!

— Конечно, забываюсь, как-то в голове не умещается, с кем имею дело. Я-то вас словом, а вы ведь можете маузером. Идейные просветители... Тепляков, встань во фрунт перед товарищем Лебедко. Лектору Лебедко очень нужны твои мускулы и тот веский аргумент, который ты носишь на поясе!

И Лебедко взвился:

— Послушайте!.. Вы в чем меня упрекаете? В том, что я утверждаю известную истину: революция не делается в белых перчатках...

— Бросьте! — с презрением перебил Густерин.— Какой вы революционер. Вы пораженец!

— Ка-ак?

— Вы, товарищ Лебедко, солдат, не умеющий стрелять из своего оружия. Вы рассчитываете, что за вас выстрелит Тепляков. Там, где вы стоите,— прореха на нашем фронте. И сколько бы вы ни кричали: «Да здравствует победа!» — победе способствовать не можете, только поражению. А значит, для меня, желающего победы не на словах, а на деле, вы враг!

— Что-о?! — Лебедко даже шатнуло на стуле.

— Так!..— произнес Ушатков.

И я понял, что для Ушаткова я уже перестал быть дичью, охота повернула за более крупным зверем.

— Та-ак! Учти, Густерин, слово не воробей...

— Я враг...— с хрипотцой выдавил Лебедко.— Я материалист — ваш враг! А он, идеалист?.. Он нет, он вам дороже...

— Ближе!

— Та-ак!..

— Н-ничего не понимаю...— Лебедко затравленно оглядывался.

— Товарищ Лебедко,— голос Густерина был глух и спокоен,— вы здесь откровенно признались, что боитесь идеалиста Рыльникова, потому что он не Ванька-простачок, боитесь его за ум. Тем самым признались, что этот идеалист умнее вас, материалиста. А раз так, то извините, я следую твердому правилу: «Умный идеализм ближе умному материализму, чем глупый материализм».

Лебедко не двинулся, сплюснул губы, побледнев, сидел вытянувшись, не касаясь спинки стула.

— Та-ак! — вновь на скулах Ушаткова торжествующая красочка.— А правило-то не наше, Густерин, правило-то весьма подозрительное!

— Конечно, не ваше, дорогие товарищи Ушатков и Лебедко, Ленину оно принадлежит.

Тепляков в стороне густо крякнул и проскрипел стулом. Взгляд Ушаткова стал колючим.

— Ленина тут не хватай, еще запачкаешь! — сказал он с угрозой.

— Вот как! Ушатков запрещает. Сам не пользуется и другим не дает. И вы, Лебедко, тоже не хотите подпустить меня к Ленину?

Лебедко откинулся на стуле, вытер лоб, ничего не ответил.

— Спекуляция на святыне!..— с прежней упрямой угрозой произнес Ушатков.

— Помолчите вы! Невежда! — вдруг рассвирепел кроткий Лебедко.

Ушатков повел на Лебедко льдисто-синим оком, ничего не ответил.

— Как я мог забыть эти слова! Как мог! — отчаивался Лебедко.

— Я же говорил вам, что не владеете оружием...

— Да-а, рогатина... Да-а, напоролись...— впервые Тепляков протрубил своим басом.

Лицо Ушаткова посерело.

Он резко обернулся к Теплякову:

— Суды-пересуды — зряшное времяпрепровождение. Тепляков, ты получил распоряжение?

— Словесное, по телефону.

— Так выполняй его!

Тепляков еще раз проскрипел стулом, солидно приосанился:

— Обождем, Михаил Осипович. Поспешность-то при ловле блох годится.

— Дисциплинка, Тепляков, дисциплинка! Исполняй, что наказано!

— Исполню, Михаил Осипович, когда получу форменный ордер с санкцией прокурора. Исполню... и, пожалуй, рапорт подам об увольнении.

— О чем это они? — растерянно спросил председателя Лебедко.

— Требует, чтоб этого чересчур умного идеалиста Тепляков взял под арест,— спокойно пояснил лектору Густерин.

— Ка-ак! Он еще не понял?

— И не поймет. Горбатого могила исправит.

— Ну-ну! — Лебедко поерзал и с неловкостью, но решительно повернулся в мою сторону: — Хочу сказать... Примите мои извинения. Я был не прав.

— Охотно,— разомкнул я свои уста, даже привстал и церемонно поклонился. Хорошо, что я сегодня был не в рабочих «глазастых» штанах Пугачева.

— Та-ак!.. С поклончиками... К врагу с поклончиком?.. Да что же это?.. Вырождение?! — Вместе с изумлением в голосе Ушаткова вдруг прозвучала усталость.

— Да, конечно,— согласился с ним Густерин.— Люди-столбы да люди-рельсы в обычных людей стали вырождаться, стали самостоятельно мыслить, как тут слезу не пролить.

Тепляков на крыльце с медвежеватой вежливостью задержал меня:

— Все-таки я бы попросил вас задержаться в Красноглинке, пока все до конца не выяснится.

— Сколько это протянется?

— Да денька три поперекатывают.

Я оглянулся на Густерина.

— Советую подождать,— сказал он,— чтоб ни у кого не создалось впечатления: поспешил смыться — значит, рыльце в пушку.

Письмо Инги в кармане, письмо, отвергающее меня. Без Инги не могу! Без дочери не могу! Не могу жить отверженным! Еще три дня...

— Что ж... Три дня выдержу.

Тепляков удовлетворенно козырнул и отмаршировал в сторону. Мы остались вдвоем с Густериным.

Он усмехнулся:

— Сварился Ушатков... А что я говорил: вы — сухое полено в печь. Горюч, удобно поддать жару, наш артельный суп медленно преет.

— Не могу остаться, Валентин Потапович.

— Ладно. Считаю, что на эти три дня вы мой гость. Колхоз покажу. Вы же в яме навозохранилища просидели, ничего не видели... Поглядите, вспомните в Москве при случае. А случай, думаю, представится. Вряд ли и там вас хлебом-солью встретят.

Я с удивлением вгляделся в его обдутое, прокаленное лицо: неужели понимает — я сейчас человек без будущего, потерял, что имел, должен искать... не знай что.

* * *

Красноглинка — малая часть колхоза, его клочковатые поля и его тихие деревеньки разбросаны по лесам.

Густерин — сам за рулем — гонял свой «газик» по лесным дорогам. В этом пожилом человеке со скромным обличьем сельского учителя чувствовалось расчетливое удальство — знает наизусть каждую выбоину, берет ее с лихим разгоном, бросает машину в крутые овраги с решительностью ныряльщика, дух захватывает, кажется, костей не соберешь, ан нет, дикая встряска жердей на лаве, брызги воды — и «газик», подвывая, уже упрямо берет крутой склон.

— Вежливого наши дороги не пропустят.— И ухмылочка под усами.

Так же невежливо, рисково, но, должно быть, не без точного расчета он проламывался сквозь ухабистые кампании — кукуруза, сдача скота под нож, траваполье...

Другой бы костей не собрал, а этот цел, хотя и побросало вверх-вниз. Жизнь — качели...

К вечеру добрались до самой дальней бригады — деревушки Сороки.

— А что, бригадир, покажи нам, чем богаты,— попросил Густерин.

Он только что распекал при мне бригадира — захребетники всего колхоза.

— Чем богаты?.. Смеешься, Валентин Потапович.

Бригадир, сутуловатый парнище, с лесной угрюминкой на румяном лице — дай срок, вызреет в медвежатого мужика,— виновато поеживается: чем еще прижгет председатель?

— Своди на Нутреницу, покажи товар лицом.

— Ха!.. А зачем самим идти, ночь не спать, ребятишек пошлю — принесут. Самим-то и промахнуться можно.

— Ну, нет, лестно своими руками взять.

— Добро. Накажу сейчас, чтоб пескарей наловили.

Нутреница — лесная речка, цепь черных, глубоких — «нутристых» — бочажков. В каждом полно рыбы — богатство, неистощимое для деревни Сороки.

Бочажки коряжисты, сетью не пройдешься, ловят здесь только на переметы. Пока закидывали три перемета по сорок — пятьдесят крючков каждый, с ходу схватило около десятка окуней — мелких, с ладошку, и широких, крупных, словно лапти. Разожгли костер, сразу стали варить уху.

Костер в ночи... Влажная непробиваемая тьма, упругим кольцом окружившая нас.

Костер в ночи, праздничный — не отвести глаз — перепляс языков пламени, центр тесного мира, в котором едва-едва умещаются три человека.

Костер в ночи сближает людей, вынуждает к братской откровенности.

И угрюмовато-нелюдимый парень-бригадир поведал нам свою беду, которую, наверное, в обычное время стыдливо бы прятал от всех.

— Сестра у меня — Нюшка... Помнить ее должны, Валентин Потапович, та, что в город уехала... Так вот, здесь жила — девки скромней не было, а нынче спит со всяким, кто ни поманит. В общежитие попала, там дев-

ки — та еще компания: себя не беречь и за срам не считают. Я-то, дурак, из последних тянул, от себя и от матери отрывал, думал — выучится, человеком станет. Теперь дуру никто замуж не возьмет, жизнь себе поломала...

— Вот, Валентин Потапович,— заговорил я,— вы доход собираетесь бросить, как спасательный круг утопающему. Бросьте-ка его Нюшке. Поможет ли он ей выплыть? Навряд ли. А религия ей говорила: «Не прелюбодействуй — грех!» И Нюшка верила. Религия-то помогала стать ей нравственной.

Густерин завороженно-отдыхающим взглядом смотрел в костер.

— Добавьте — через страх,— возразил он.

— Да пусть из страха, был бы нужный результат.

— Нравственность из страха! Вдумайтесь. И рад бы стать безнравственным, но боюсь наказания. По натуре-то я остаюсь человеком с воньцой, к тому же еще труслив, свою натуру прячу. Не безнравственна ли такая нравственность?

— Но доходом-то вы и такой не добьетесь.

— Как сказать. Доход — окошко, через которое Нюшка людей разглядит: кто честный, а кто жулик, кто умен, а кто просто трепач, кого уважать, а кого нет. И ее тоже разглядят. Люди-то станут открытее, обнаженнее друг перед другом. И уж тут придется больше стесняться своих дурных качеств — видны наглядно. Хочешь не хочешь, Нюшка, а прижимай себя не из страха перед раскаленной сковородкой в аду, из необходимости.

— Да людям-то, Валентин Потапович, и сейчас хорошо видно без всякого, какая такая Нюшка,— вступился в разговор бригадир.— Только Нюшка-то на людей — ноль внимания. Вот уж, право, наплюй бесстыжей в глаза...

Густерин озабоченно помешал палкой костер, ответил не сразу:

— Нюшка на людей — ноль внимания, люди на Нюшку — столько же. Это же и собираюсь вытравить.

— Как просто открывается ларчик,— сказал я.— Ключик-то нехитрый — всего-навсего доход, бухгалтерия-то им не по назначению пользовалась.

— Доход всего-навсего?..— удивился Густерин.— Мало?.. Обезьяна миллионы лет тому назад палку в руки схватила ради того, чтоб лишнюю грушу с дерева сбить,

то есть свой доход увеличить. Ради этого и первый топор изобрели, и первый плуг, и паровую машину. Доход-то помог с четверенек подняться. «Не хлебом единым жив человек» — верно. Но помнить надо, что именно добыча презренного хлеба и сделала обезьяну человеком.

Весело горел костер, упругая стена ночи обнимала нас. У костра склонился человек, прикрывший мятой кепкой зябкую лысину, он пошевеливал палкой накаленные до веселой праздничности угли. В свете костра кирпичное лицо, резкие, до краев заполненные густыми тенями морщины — шрамы, оставленные беспокойной жизнью. Жизнь — качели. Колдун над костром, завороженно смотрящий в глубь вещей.

Его вещей, ему привычных, ему подвластных! Вся жизнь этого колдуна состояла из забот о навозе, о центнерах зерна, мяса, сала, молока. Он так отравлен этими материальными вещами, что даже в навозе видит духовное.

— Я отказался от бога,— заговорил я,— похоже, что совсем. Но заменить бога доходом?! Нет, это уж сверх моих сил.

Густерин спросил:

— Откуда вы взяли, что сам я обожествляю доход?

— Только что объявили: доход создал человека, а это, извините, приписывалось только богу.

— Тогда можно сказать, что нас с вами создала болотная гниль.

— Как это так?

— Очень просто. Гниль отравляла воду, заставляла выползти каких-то рыб на сушу. От этих рыб произошли все наземные животные, в том числе и мы с вами. Обожествим гниль?..

Я ничего не ответил. А что мне еще сказать? Мир спасет коллективное распределение дохода — нет, не верю, смешно!

— Обожествление дохода...— хмыкнул Густерин.— Я же собираюсь им пользоваться... ну, как рычагом, скажем. Рычаг — бог?.. Хм!

Горел костер, держал на почтительном расстоянии упругую ночь. Где-то там, за стеной ночи, в другом мире, слышался первобытно-хвойный шум сосен, где-то ухнула по застойной воде большая рыба — не наша ли, не из тех ли, что скоро попадется на перемет? Костер в ночи, хвойный шум...

— Ты мне дай адрес, где твоя Нюшка работает,— обратился Густерин к бригадиру.— Буду в городе — загляну...

— Не уговорите, не вернется. Нравится кошке сметану лизать.

Костер в ночи, хвойный шум...

Я так и не договорился с Густериным до согласия. Густеринское мне не подходит. Но, наверное, в страну обетованную ведет не одна, а много дорог. У меня должна быть другая.

* * *

Ну вот и все. Я пришел проститься к строителям. В вырытой яме возились каменщики, выкладывали стенки кирпичами. Митьки Гусака и Саньки Титова не было — крыли шифером новый телятник. Гриша Постнов, как всегда, отвернулся от меня.

Старик Руль подошел ко мне с опаской, вытер руку о штанину, не потому, что запачкана,— от почтения.

— Будьте здоровы, не поминайте лихом.

Я не был ему странен, когда утверждал бога, я странен для него стал в последние дни — оказался не по зубам Ушаткову, сошелся по-приятельски с Густериным, черт знает что за человек. А потому и обращение ко мне теперь иное, на «вы»: «Будьте здоровы». Бережeного бог бережет. Михей Руль — святой Петр из Красноглинки, лишнее напоминание о фантастичности того, что случилось со мной.

Буду помнить сказку о древнем пророке с берегов моря Галилейского — она вошла в жизнь людей, она прошла и сквозь мою биографию. Сказку не забуду, но бежать в нее из двадцатого века, из своего сегодня — нет, этого теперь не случится. Странная болезнь, не признаваемая медиками...

Рулевичи по очереди пожали мне руку:

— Будь здоров...

С Рулевичами я и не сходился близко, расставание нормальное.

Вдавливая свежую щепу сапогами, враскачечку подошел Пугачев. Физиономия — широкая медная чаша, шалые глаза степняка, чего-то ждущие от меня, чего-то выискивающие во мне.

— Ну!..— Протянул крепкую руку. Ладонь, только что выпустившая топорище, горяча и жестка.— Так и не раскусил тебя, что ты такое.

— А ты думаешь, я сам себя раскусил?— спросил я.

Он глядел мне в зрачки — верил и не верил.

— Ну-у... Лошадь с рогами...

— А ты-то себе понятен? Себе ты никогда не удивляешься?

Пугачев отвел в сторону шалые глаза, промолчал. Теперь он не был уверен и в себе.

Человек не знает в окружающей природе такого, которое было бы сложнее его самого. И, наверное, вечно он будет искать ключ к себе, вечно будет стремиться понять себя и... страдать от бессилия. Неутоленность разума и бездонная глубина мироздания пересекаются в каждом из нас. Не все подозревают об этом. Пугачев, похоже, начинает подозревать.

Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались.

Тетка Дуся деловито помогла мне собраться. Она понимала, что я расстаюсь не только с Красноглинкой, но и с богом.

— И то... При молодой-то кровушке с нами, старухами, на одной завалинке греться.

Все-таки тетка Дуся удивляет — ее снисхождение порой вырастает до мудрости.

Я взял в руки Библию — покоробленные, потрескавшиеся кожаные корки, тисненый крест, запах тлена от желтых и ломких от старости листов. Подарить ее тетке Дусе?.. А зачем?.. Она станет выискивать в этой книге предсказания на будущее, те, что страшней и нелепей: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Книга для гадания, да и то навряд ли — тетка Дуся с великим трудом разбирается по-печатному.

А я люблю книги. Библия же средь книг занимает особое место. Ленин в свое время мечтал, что «люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторяющихся во всех прописях правил общежития...». А самая прославленная из таких прописей, полный свод элементарных правил, красочный и вдохновенный,— это Библия, книга, создан-

ная многими поколениями. Не хочу выбрасывать ее из своего багажа.

На память о себе я отдал Дусе свой шерстяной джемпер, который ни разу не надевал в Красноглинке.

За окном прогудела машина. Тетка Дуся ткнулась мне в щеку сырым носом, заголосила негромко:

— Хоть толкай, хоть держи — свы-ы-клася! Прикипела! Опять одной в пустом доме глохни!.. О-ос-по-ди!..

— Прощай, тетя Дуся!

Кого еще здесь оставлю?.. Сестру Аннушку, отца Владимира... А святой отец не на шутку загулял с Мирошкой Мокрым. Право, жаль, пропадет человек.

Река, обнимающая лобастый холм. Избы, разбежавшиеся по излучине, и мужицки коренастая церквушка, взирающая на них. Я так и не успел побывать в этой церкви...

Прощай, Красноглинка!

ЭПИЛОГ

Прощай, Красноглинка!

Поезд тронулся.

Знакомая церковь, утонувшая в потемневшей зелени по закатно-розовые плечи, осанисто повернулась передо мной — красива, хотя знаю, что стены ее облуплены, окна зияют погребным мраком, колокольня просвечивает чердачной пустотой. Знакомая церковь в пожарно-тревожном свете заката, церковь, заманившая меня в Красноглинку. Прощай!..

Странная болезнь; наверное, кто-то носит ее в себе и не подозревает об этом...

Поезд спешил к Москве.

И опять в вагоне наступила ночь, заполненная отголосками минувшего дня. И опять кто-то жизнеутверждающе храпел, кто-то постанывал во сне, бормотал, кто-то вскрикивал.

А в глубине вагона плакал ребенок, голос матери, тусклый от усталости, монотонно укачивал:

— Ба-а-ай-бай! Ба-а-ай-бай!

Идет ночь, продолжается жизнь. Жизнь, а не падение, как мне казалось раньше.

— Ба-а-ай-бай!

Ребенок, наверное, болен. Мать с тихим и несокрушимым упрямством добивается, чтоб уснул, чтоб набрался сил, одолел болезнь. С тихим упрямством до самоотречения.

— Ба-а-ай-бай! — измученный голос, воюющий за продолжение жизни, за ее нескончаемость.

Человек не может смириться с тем, что его «Я» кончится могилой. Смерть — предельная бессмыслица. Не зря же самой величайшей мечтой во все времена, у всех народов была мечта о бессмертии.

Каких только фантастических сказок не создавалось во имя этой мечты! А трезвые головы с тревогой спрашивали:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Ты родился, ты начал падать... Вниз, вниз, пока не ударишься. Откуда ты? Куда ты? Зачем ты?.. Не напрягай свою слабую голову — непостижимо!

Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Нет дыма?..

Ой ли? Почти каждый человек как-то успевает начадить за свой короткий век. После него люди дышат этим дымом, этот нетленный дым соединяется с вновь родившимися... Могила вовсе не является концом человека.

Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Дымный след и автора этой строки тянется из поколения в поколение вот уже восемьсот лет, распространяясь из страны в страну, окутывая всю планету. Когда он рассеется? И рассеется ли вообще, пока живо человечество?..

А мать укачивает ребенка:

— Ба-а-ай-бай...

Ребенок болен, мать борется за него, за человеческую бесконечность, за свое бессмертие.

— Спи, Коленька, спи, горе мое...

Коленька — живая, еще не оформившаяся душа.

Добрая женщина, желаю, чтоб твой сын скорей выздоровел.

Желаю, чтоб он окреп и стал на ноги.

Желаю, чтоб он надымил в своей жизни.

Спаси его, спаси новое бессмертие!

Коленька плачет...

— Ба-а-ай-бай,— на одной ноте.

Поезд спешит к Москве, постанывает вагон, колеса выстукивают на стыках рельсов. Поезд, состоящий из сочленений металла, дерева, неумирающей души Стефенсона и многих-многих других душ, сохранивших имена своих хозяев и давным-давно утерявших их.

Кто изобрел колесо?

Молчит история, но колеса подо мной сейчас выговаривают на рельсах:

Инга, к тебе!..

Инга, пойми!..

Инга, прости!..

Род людской никогда не перестанет мучиться от бессилия понять самого себя.

Камо грядеши?..

Плачет ребенок, трудно матери, «бай-бай» не помогает.

Красноглинка за спиной. Поезд спешит к Москве.

Аминь!..

1969

Три мешка сорной пшеницы

Однажды ночью к телефонистам затерянной среди степи промежуточной станции явились нежданные гости — дерганый, крикливый старшина и два солдата. Они притащили на себе раненного в живот лейтенанта.

Старшина долго кричал по телефону, объяснял начальству, как над их машиной «навешали фонари», обстреляли с воздуха...

Раненого пристроили на нары. Старшина сообщил, что за ним скоро приедут, помельтешил еще, надавал кучу советов и исчез вместе со своими солдатами.

Свободный от дежурства телефонист Куколев, согнанный с нар, ушел досыпать из землянки в окоп. Женька Тулупов остался один на один с раненым.

Едва дышал придавленный огонек коптилки, но даже при его скупом свете была видна потная воспаленность лобастого лица и черные, скипевшиеся, словно струпная рана, губы. Лейтенант, едва ли не ровесник Женьке — лет двадцати от силы,— лежал без сознания. Если б не потный, воспаленный румянец, то можно подумать — мертв. Но узкие руки, которые он держал на животе, жили сами по себе. Они лежали столь невесомо и напряженно на ране, что казалось — вот-вот обожгутся, отдернутся прочь.

— П-пи-и-ить...— тихо, сквозь плотную накипь неразведенных губ.

Женька вздрогнул, услужливо дернулся за фляжкой, но тут же вспомнил: среди многих советов, которые высыпал перед ним старшина, самый строгий, самый настойчивый, повторенный несколько раз подряд, был: «Пить не давай. Ни капли! Умрет».

— Пи-и-ить...

Отложив на минуту телефонную трубку, Женька распотрошил индивидуальный пакет, оторвал кусочек бинта, намочил его, осторожно приложил к спеченным губам. Губы дрогнули, по воспаленному лицу словно прошла волна, шевельнулись веки, открылись глаза, неподвижные, устремленные вверх, заполненные застойной влагой. Открылись только на секунду, веки снова упали.

Лейтенант так и не пришел в сознание; продолжая бережно прикрывать ладонями рану, он зашевелился, застонал:

— Пи-и-ить... Пи-и-и-ить...

Женька мокрым бинтом вытер потное лицо раненого. Тот притих, обмяк.

— Лена? Ты?..— неожиданно спокойный, без сипоты, без боли голос.— Ты здесь, Лена?..— И с новой силой, со счастливой горячностью: — Я знал, знал, что тебя увижу!.. Дай мне воды, Лена... Или попроси маму... Я же тебе говорил, что война уберет грязь с земли! Грязь и плохих людей! Лена! Лена! Будут города Солнца!.. Белые, белые!.. Башни! Купола! Золото! Золото на солнце — больно глазам!.. Лена! Лена! Город Солнца!.. Стены в картинах... Лена, это твои картины? Все смотрят на них, все радуются... Дети, много детей, все смеются... Война прошла, война очистила... Лена! Лена! Какая была страшная война! Я тебе об этом не писал, теперь говорю, теперь можно говорить... Золотые шары над нашим городом... И твои картины... Красные картины на стенах... Я же знал, знал, что построят при нашей жизни... Мы увидим... Ты не верила, никто не верил!.. Белый, белый город — больно глазам!.. Горит!.. Город Солнца!.. Огонь! Огонь! Черный дым!.. Го-о-орит! Жарко!.. Пи-и-ить!..

Поеживался рыжий червячок огонька на расплющенной гильзе противотанкового ружья, низко нависал косматый мрак, под ним на земляных нарах метался раненый, воспаленное лицо при тусклом свете казалось бронзовым. И бился о глухие глинистые стены рвущийся мальчишеский голос:

— Лена! Лена! Нас бомбят!.. Наш город!.. Горят картины! Красные картины!.. Дым! Ды-ым! Нечем дышать!.. Лена! Город Солнца!..

Лена — красивое имя. Невеста? Сестра? И что это за город?.. Женька Тулупов, прижав к уху телефонную трубку, подавленно смотрел на мечущегося на нарах раненого, слушал его стоны о странном белом городе. И рыжий червячок коптилки, шевелящийся на ребре сплюснутого патрона, и приглушенное кукование в телефонной трубке: «Резеда»! «Резеда»! Я — «Лютик»!.. И вверху, над накатом, в ночной опрокинутой степи, далекая автоматная перебранка.

И — бред умирающего.

Его забрали часа через три. Два спящих на ходу старика санитара в расползшихся пилотках втащили брезентовые носилки в узкий проход, сопя и толкаясь, перевалили неспокойного раненого с нар, покряхтывая, вынесли его к нетерпеливо постукивающему изношенным мотором пыльному грузовику.

А над утомленно-серой, небритой степью уже просачивался призрачно блеклый рассвет, еще не совсем отмытый от тяжкой ночной синевы, еще не тронутый солнечной золотистостью.

Женька провожал носилки. Он с надеждой спросил:

— Ребята, если в живот, то выживают?..

Ребята — тыловые старички — не ответили, карабкались в кузов. Ночь кончалась, они спешили.

На нарах остался забытый планшет. Женька открыл его: какая-то брошюра о действиях химвзвода в боевой обстановке, несколько листков чистой почтовой бумаги и желтая от старости, тонкая книжка. Письма от своей Лены лейтенант хранил где-то в другом месте.

Тонкая пожелтевшая книжка называлась — «Город Солнца». Так вот оно откуда...

Кожаный планшет Женька через неделю подарил командиру взвода, а книжку оставил себе, читал ее и перечитывал во время ночных дежурств.

За Волчанском, при ночной переправе через маленькую речку Пелеговку, рота, за которой Женька тянул связь, была накрыта прямой наводкой. На плоском болотистом берегу осталось лежать сорок восемь человек. Женьке Тулупову осколком перебило ногу, он все-таки выполз... вместе с полевой сумкой, где лежала книжка незнакомого лейтенанта.

Сохранил ее в госпитале, привез ее домой — «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.

1

Поселок Нижняя Ечма ни разу не видел над собой вражеских самолетов, знать не знал, что такое светомаскировка. Изрытые снарядами поля были где-то за много сотен километров — здесь тишь, глухой, недосягаемый тыл. И все-таки война даже издалека разрушала поселок: попáдали заборы, и некому было поднять их, разваливались,— до того ли? — дощатые тротуары, магазины стояли с заколоченными окнами, а те, что еще работали, открывались всего на два часа в день, когда привозили из пекарни хлеб, чтоб продать его по карточкам и опять закрыться.

В свое время нижнеечменские ярмарки собирали народ из-под Вятки и Вологды, но это уже помнят только старики. Однако и позднее, вплоть до самой войны, еще ходили завистливые поговорки: «На Ечме не паши, не борони, только зернышко оброни», «У ечмяка намолот — на три года вперед».

Сейчас липкое утро с натужно вялым рассветом, почерневшие бревенчатые дома, черные ветви голых деревьев, черная грязь кривых улиц, застойность свинцовых луж — одноцветность, тусклота, заброшенность. Позднее утро поздней осени.

Но это осень 1944 года! В центре поселка на площади — столб с алюминиевым раструбом громкоговорителя:

— От Советского Информбюро!..

Голосом Левитана — величавые сводки с фронтов. Что ни день, то взяты новые города, форсированы новые реки. Война перекатилась на чужие земли.

— От Советского Информбюро!..

Сильней всяких клятв эти слова. Четвертый год тянется война, но теперь-то уж скоро, скоро... Нет ничего более желанного, чем проснуться утром и услышать, что наступил мир,— счастье, одинаковое для всех!

Над поселком Нижняя Ечма — серое небо затянувшейся осени, свинцовые лужи, одноцветность. Но пусть осень, пусть свинцовость — скоро, скоро!..

Тут же у площади — двухэтажное здание райисполкома. Сегодня возле него выстроилось несколько обремененных грязью полуторок, и еще лошади, низкорослые, лохматые, запряженные в разбитые возки. На крыльце топчутся шоферы, повозочные, служилый люд.

Людно и в коридорах райисполкома — висит махорочный дым, хлопают двери кабинетов, сдержанно гудят голоса.

Вчера в район прибыла бригада уполномоченных. Не один, не два, а целая бригада с областными мандатами, но из другого района — из Полдневского, более глухого, чем Нижнеечменский. Тринадцать человек, чертова дюжина, в стареньких пальто, в дошках, в растоптанных сапогах, в брезентовых плащах — свой брат районщик, а поди ж ты — начальство, каждый призван командовать от имени области.

В кабинете на втором этаже (дверь охраняет суровая интеллигентная секретарша с махорочной самокруткой в зубах) сидит в мягком креслице сухонький старичок с коротко стриженной седой головой, с розовыми мальчишескими ушами — грубые сапоги, помятый пиджачишко, галстучек с замусоленным узлом — глава бригады уполномоченных, председатель Полдневского райисполкома Чалкин. Он морщится простецкой улыбочкой, сокрушенно качает ушастой головой, говорит со вздохом:

— Надо, детки, надо.

А «детки» перед ним — не кто иной, как местные хозяева, первый секретарь райкома и здешний предрик, люди видные, властные, с опытом, с хваткой, не столь давно занимавшие ответственные посты в областном городе, посланные сюда со спецзаданием — вытянуть из прорыва район.

Наиболее известен из них — Иван Васильевич Бахтьяров, седой, грузный, пухлоплечистый, на широком, грубовато вытесанном лице дремотная невозмутимость. Он до войны был агрономом, удивил урожаями, получил славу, орден и место директора самого крупного совхоза в области. В начале войны, с наплывом эвакуированных, в областном городе стало совсем плохо со снабжением — по рабочим карточкам выдавали хлеб да селедку. Вспомнили о Бахтьярове — кормил до войны, накорми сейчас. И он за год на пустошах, на бросовых землях сколотил вокруг города более десятка подсобных хозяйств, выдававших картофель, капусту и другие овощи. Бахтьярова начали бросать и на местную промышленность, и в захиревший без товарооборота облпотребсоюз — туда, где что-то можно получить. Одно то, что он оказался в Нижней Ечме секретарем райкома, говорит само за себя.

Как это ни странно, но Нижняя Ечма страдала от своего богатства, от вызывавших постоянную зависть земель — «зернышко оброни». С хороших земель и всегда-то спрос хорош, а уж в военное время особенно: планы госпоставок круто взлетели, да сверх их выдай в фонд обороны, да добавочные нагрузки, чтоб покрыть отстающие районы... «Зернышко оброни» только в присказках само по себе прорастает — рабочих рук нет, мужчины ушли на фронт, а вместе с ними большая часть тракторов и лошадей. Недодал в этом году — значит, за тобой должок, отдай в следующем, а на следующий и без этого должка недодача; долги растут, как крапива на навозе. Четвертый год идет война, с каждым годом район в сводках по области скатывался все ниже и ниже.

Здесь много раз менялось начальство, сюда потоком шли уполномоченные — ничего не помогало. Выходит, что и Бахтьяров на этот раз не помог, коль область решилась бросить к нему «ударную» бригаду. Не та палочка-выручалочка.

В области отставал не один Нижнеечменский район, всюду требовалось подталкивать, во все концы приходилось направлять уполномоченных. Снимались с мест не только инструктора, инспектора, штатные единицы облминзага, но и руководящие работники связи, образования, культуры, даже деятели местной кинофикации, даже партактив краеведческого музея — всем вручались командировки в глубинки. И этих уполномоченных, однако, не хватало. Тогда кому-то пришло в голову действовать «массированными ударами». (Шла война, военная терминология и военные приемы были в моде.) То есть подымать служащих из тех районов, которые числятся в передовых, бросать в отстающие. Уже не единицами, а целыми партиями-бригадами — «массированно».

Полдневский район — лесной да болотистый, областная окраина. С такого много не возьмешь — мало пахотных площадей. Потому и война его не очень подкосила. Прежде жили не красно, теперь тоже хвалиться особо нечем, но планы выполняли, иногда даже — если уж сильно нажимали — с излишком. За неимением лучших в области Полдневский район числился на хорошем счету.

В Полдневе наметили бригаду, согласовали списки с областью: заврайтоп, завкожзаготсырье, завдоротделом, словом, набор мелких завов, которыми и у себя-то обыч-

но затыкали каждую дыру. А во главе встал предрик Чалкин, чтоб общаться с местным начальством на одном уровне.

И Чалкин сейчас морщится стариковской улыбочкой:

— Надо, детки, надо. Должны, кровь из носу, добыть какой-то хлеб, иначе зачем же мы к вам нагрянули.

У Бахтьярова под дремотными веками никак не дремотные глаза — остренько ощупывают улыбчивого гостя. Сам Бахтьяров едва ли моложе старика Чалкина — не столь морщинист, зато сединой гуще. Но — «надо, детки!» — молчит, сносит. Хотя совсем недавно — повстречай он в городе такого Чалкина — в упор бы не заметил, если б тот сам о себе не напомнил. Предрик из забытого Полднева, из лесной дыры! Такие обычно обивают пороги кабинетов, выпрашивают на бедность то лишнюю сотню литров горючего, то «ради Христа каких-нибудь промтоваров подкиньте, обносился народ, сам в латаных штанах хожу»... А теперь: «Надо, детки, надо!» — похлопывает. И не вздумай осадить: «Вы не в семейном кругу, товарищ Чалкин!» Добрый дедушка живенько даст острасточку — старший, область послала.

Бахтьяров грузно ворочается в тесном кресле, отвечает глухим баском:

— Что же, действуйте. Мне лично интересно узнать, как достается хлеб там, где он не вырос.

Но Чалкин пропускает мимо ушей «не вырос», не вскидывается — что, мол, за речи? — добрейше улыбается, успокаивает:

— Как-нибудь, как-нибудь. Раз надо, так надо— отыщем резервишки.

Бахтьяров невозмутимо из-под тяжелых век ощупывает лицо гостя, каждую улыбчивую морщинку с предельным вниманием, а молчащий предрик, второй хозяин Нижней Ечмы, шумно вздыхает — от безысходного сочувствия к себе.

2

В это время члены бригады Чалкина, все эти завтоп, завкож, завдор, выбрались на крыльцо, без воодушевления взирали на унылый поселок. Люди пожилые, обремененные язвами желудка, сердечными пороками, диабетами — потому и не на фронте! — уставшие от бес-

конечных командировок, от ночевок на полу, от директивных звонков, от жалоб, от домашних забот — нет дров, картошки, одежонки,— эти районные «мальчики на посылках» жалели чужой район, но жалели без доброжелательства.

— Обрастай, овцы, шерсткой — стригалей нагнали.

— Как бы овцы самих нас не остригли. Прикажут сверху — помогай!

— Эх, веселое занятие — своих толкали, теперь чужих...

— А тут еще погодка — удавиться хочется...

И отворачивались друг от друга, скользили тоскующими глазами по грязной дороге, по черным стенам домов, по мокрым крышам — осень, унылая захребетница, ворующая у зимы неделю за неделей.

Только двое из всей бригады не разделяли общего настроения. Первый — Илья Божеумов, заместитель Чалкина. Он сейчас «зондировал почву», долговязый, тонконогий, в короткой дошке, в хромовых сапогах с галошами, бродил возле машин, заводил беседы и уже начальственно помахивал костлявым пальцем — наставлял.

Второй стоял в общей куче — молодой парень с застенчиво румяной физиономией, в шинельке, тесно ушитой в талии, приосанившийся в петушиной стоечке — одна нога (раненая) чуть поджата, тяжесть тела перенесена на толстую, выструганную из добротной доски-полуторадюймовки палку. Женька Тулупов, недавно вернувшийся из госпиталя, выдвинутый вторым секретарем Полдневского райкома комсомола...

Он глядел на всех внимательными, разнеженно теплыми глазами. Старики, встречаясь с этим взглядом, отворачивались с досадкой: уставился барашек, хорошо такому — ничто не беспокоит, ни о чем всерьез не думает. И ошибались. Парень думал, оценивал стариков, жалел их, даже презирал чуть-чуть, считал себя мудрей и старше.

Да, старше! Да, опытнее! Эти старики прожили долгую-долгую жизнь, считают — все видели, все знают. Нет! Вранье! Он, Женька Тулупов, видел и пережил больше них!

Грязь, сырость, небо лежит чуть ли не на крышах,— значит, проклятое место, нет в нем никакой радости. Избаловались старички. Каждый из них твердо знает,

что и завтра, и послезавтра увидит и это небо, и эти мокрые крыши. Увидят они и первый снег, тот слепящий, тот подмывающе чистый, который скроет эту унылую грязь. И наверняка все они доживут до весны, до лопнувших почек, до вечеров с тополиным запахом...

Он, Женька, много месяцев просыпался по утрам, видел солнце, видел облака, видел рыжую изрытую землю, все, что положено видеть человеку, но никогда не знал, что увидит это же вечером. Вечером для него могло не быть ни солнца, ни облаков, ни земли, ни воздуха. Нет для тебя ничего прочного на свете, все выдано до случая. А он, этот случай, может нагрянуть через минуту, через час, через неделю. Даже не верилось, что где-то на планете живут еще люди, которые знают — и завтра они будут жить, и год спустя. Знают и не особо этому радуются...

Низкое небо, мокрые крыши, грязь — да лишь бы они были, лишь бы знать, что навечно! Их видеть! Их чувствовать! Там он часто бывал счастлив куда меньшим: ночью в темноте вылезал из окопа, из пыльной, душной земляной норы, разгибался во весь рост, не боясь — заметят, не боясь — убьют! Во весь рост, не на брюхе, не на четвереньках — по-человечьи какой-то миг. Блаженство!

Что знают эти много-много лет прожившие на свете старики, всегда ходившие по земле выпрямившись, а потому и не замечавшие самое землю? Кислая погода, видишь ли,— кислое настроение. Он, Женька Тулупов, открыл для себя простую истину: «Дышать воздухом умеет каждый, но умей насладиться дыханием». Он дышит сейчас сколько угодно, полной грудью. Они — тоже. Какого им ляха еще?.. Живи, пока можно!

На болотистом берегу Пелеговки осталось лежать сорок восемь человек. Среди них Женькин дружок Васька Фролов. А он, Женька, не остался. Счастлив без меры.

Кто отымет сейчас это счастье? Пусть-ка попробует.

Неожиданно возле крыльца появились собаки, не одна, не две — целая свора. Лохматые, вывалянно-мокрые, они деловито, по очереди поднимали лапы на райисполкомовскую оградку, усаживались на грязный тротуар, остервенело чесались. Выделялись два рослых пса — тощие, угрюмые, волчьего склада.

Собаки сопровождали щупленького человека в гражданской кепке и в полупальто из шинельного сукна. Один рукав был пуст, но зато под локтем здоровой руки зажат снятый протез-рука. Кисть протеза в кожаной перчатке торчала за спиной, словно тайком от хозяина просила милостыню.

Божеумов, возвращаясь от машин, брезгливенько пнул галошей подвернувшуюся под ноги собачонку, та взвизгнула и залилась захлебывающимся лаем. И вся разнокалиберная стая вместе с псами волчьей масти всколыхнулась, залаяла и басовито, и сварливо, и пронзительно. Божеумов, растерянно оглядываясь, попятился...

Человек с протезом крикнул на собак, крупные псы замолчали, а мелкота продолжала неистовствовать. Божеумов, взметывая галошами, рванул на полусогнутых к крыльцу. Его встретили дружным смехом:

— Вприсядочку, Илья Дмитриевич!

— Не задевай — мы кусачие!

Божеумов неловко поеживался, приходил в себя:

— Черт их нанес. Словно с неба...

— Хлеба нет, а собак развели.

— А ну-ка, подойди сюда! — Божеумов обратил внимание на человека с протезом, поманил пальцем: — Давай, давай, пошевеливайся!

Человек, скособочив плечико, прошел сквозь обложивших крыльцо собак, задрал острый подбородок.

— А вы, похоже, невежливы не только с собаками,— сказал он.

На крыльце заинтересованно притихли. Божеумов покачивался с носков на пятки, с высоты крыльца разглядывал стоящего внизу человека с запрокинутым, истощенно бледным лицом, с протезом, зажатым под мышкой. Кисть протеза в черной перчатке торчала за спиной, по-прежнему казалось — она просит тайком от хозяина милостыню.

— Послушай, дружочек, как тебя?..

— Моя фамилия Кистерев, я председатель Кисловского сельсовета.

— Тем более... Председатель сельсовета, представитель, так сказать, власти, а оглянись-ка — на кого ты похож?..

— Вам не нравится, что я похож на самого себя?

— С собаками к учреждению... И в какое время! Стыд!

— Каждый выбирает себе компанию по вкусу.

— Председатель сельсовета со вкусом... собачьим! Ну и ну! — Божеумов перестал покачиваться, поджал губы, нацелил хрящеватый нос в запрокинутое лицо, посмурнел: — Вот что, приятель, убирай-ка отсюда своих ублюдков.

— Забыл вам сообщить, что еще и бывший фронтовой офицер.

— Ты слышал меня? Убирай. И побыстрей!

— И мне не составит большого труда наказать вас за невежливость.

— Да ты знаешь ли, с кем говоришь, братец?

— Похоже, с невменяемым грубияном...

Председатель сельсовета Кистерев осторожно опустил из-под локтя под оградку, на щетинистую мокрую траву, протез, шагнул к крыльцу. Два рослых пса сразу же поднялись и двинулись следом.

— Извинитесь за невежливость, или... или я отвешу вам пощечину своей единственной рукой.

Божеумов поводил ломаным носом с лица Кистерева на псов, стоящих у ног.

— Вы слышали?.. Или отсчитать вам до трех?..

Божеумов резко повернулся, пробил плечом своих земляков, скрылся в коридоре. Кистерев не спеша поднял протез, снова зажал его локтем, взошел на крыльцо и тоже плечиком вперед: «Прошу прощения, прошу прощения...» — скрылся за входной дверью.

— Да-а,— раздалось на крыльце,— здесь кусачи не только собаки.

А собаки расположились на грязном тротуаре, без интереса поглядывали на людей, выкусывали блох...

...Через час хмурый Божеумов отыскал Женьку:

— Едешь со мной.

— Куда?

— В Кисловский сельсовет, к этому... собаководу.

— Пришлось извиниться перед ним?

— Цацкаются, особая личность, видите ли, с боевыми заслугами.

— Нарвался ты.

— Не твоего ума дело — «нар-вал-ся»! И на заслуги бы не поглядели, если б не этот Бахтьяров. Секретарь райкома водит дружбу с чокнутым, чокнутый — с собаками. Компания! А наш старик ни с кем портить отношения не хочет.

— Выходит, все против тебя.

— Ничего, еще не вечер, поглядим, что впереди будет. Едем-то к нему в гости, к собаководу...

3

Грузовик-полуторка, сельское детище военных лет, сколоченное, свинченное из других погибших грузовиков, с рычанием, смахивающим на истерику, вгрызался в грязную дорогу. Обшарпанный кузов качало, как на морской волне. В нем страдали два знакомых угрюмых пса, которых волочило от борта к борту.

Божеумов занял место в кабине, рядом с шофером, Женька — в кузове, на смятом мокром брезенте, бок о бок с председателем Кисловского сельсовета Кистеревым. Его искусственная рука упрятана от дождя под брезент. Женька поинтересовался:

— Зачем вы ее с собой таскаете, если не носите?

— Для парадных случаев.

— Где ранены?

— Хотите спросить: где покалечен? В безымянной степи, на подступах к хутору, название которого так и осталось для меня тайной.

Сидит напряженно прямо, держась за борт единственной рукой, лицо под мокрой кепчонкой хрупко-костистое, упрямо хранит капризное выражение ребенка, презирающего взрослых. Тонкие губы сложены в пресыщенно ядовитую складку, а линия заостренного подбородка невинно чиста — старичок-подросток; трудно сказать, сколько ему лет,— может, с небольшим за двадцать, может, все пятьдесят. Вот уж воистину — маленькая собачка до старости щенок.

Какое-то время ехали молча, отдавшись качке. А мимо тянулись широкие поля, знаменитые поля Нижней Ечмы,— в гнилой стерне, размокшие, еще более унылые и однообразные, чем ровное нависшее небо. Глаз невольно с тоской рыскает по ним, ищет признаки жизни: не

выглянет ли из стерни обугленно-черная голова грача, не вспорхнет ли озябший жаворонок,— но нет, пусто, пусто, безнадежно мертво кругом. Только где-то на краю, забитые в щель между плоской землей и плоским небом,— темные крыши деревенек, почему-то трудно поверить, что и в них кто-то сейчас живет. И грязная, истерзанная дорога — рваная рана на неопрятной, до бесстыдства пебритой земле. И с истерическим воплем лезет по грязи машина. И качается кузов, и маются две собаки с мученически угрюмыми мордами, сползают то к одному борту, то к другому.

— Вы что же это не всю свору захватили? — не выдержал молчания Женька.— В селе собак вокруг вас было около десятка.

Кистерев, глядя вдаль, чеканной скороговоркой и ясным голосом ответил:

— Эти — моя семья. Те, что остались,— добрые знакомые. Так что — свиделись и расстались до новой встрёчи.

— Вы только передо мной шута разыгрываете или всегда такой?

— Придурковатый? — подсказал Кистерев.

— Да уж, не в обиду,— вроде этого.

— А кто в жизни без придури? Вот вы, например, едете сейчас собирать хлеб, когда он давно уже собран и вывезен. Собрать собранное, искать найденное, глотать проглоченное — не придурь ли это?

Машину вдруг бросило, собаки скатились на Женьку, на собак — Кистерев. Собачий визг, теноpистое чертыхание Кистерева, Женькино сопение. Наконец кой-как отделились друг от друга,— машина не застряла, вихляя кузовом, плелась дальше, захлебывалась в истерике. Посреди кузова каталась вырвавшаяся из-под брезента рука Кистерева, подпрыгивала Женькина мыльница. Женька на коленях добрался до протеза, поймал мыльницу, стал искать глазами свою полевую сумку. Она оказалась под ногами у Кистерева. Тот выудил ее, зажав сумку между коленями, попытался запихнуть вывалившееся полотенце, мешала книжка, Кистерев вынул ее, взял в зубы, справился с полотенцем, повертел перед глазами книжку:

— Вон как! Кампанелла, «Город Солнца».

— Дайте сюда! — Чего доброго, еще над этим начнет издеваться.

— Не беспокойтесь, почтительно положу на место.

Женька упрятал в брезент протез, Кистерев вернул ему застегнутую сумку, собаки на время пристроились в заднем углу кузова, с надеждой прижимаясь друг к другу,— прежний порядок был восстановлен.

Кистерев какое-то время заинтересованно разглядывал Женьку, наконец спросил:

— Как это вас бросило?

— Куда бросило?

— На утопию. «Город Солнца» — сказка о праведном мире.

— А что тут такого?

— Вы же из окопа только что выскочили.

— Окоп, по-вашему, человека снова обезьяной делает: думать не смей, интересоваться не смей!

— Окоп — самое трезвое место на земле. В нем не до сказочек. Или не так?

— Я эту книгу у раненого взял, значит, не я один в окопах сказочками интересовался.

— Мда-а... Мечтатели в обнимочку со смертью. Ликуй, святой Томмазо!

— Вы, вижу, Кампанеллу не очень...

— А разве можно к нему теперь — очень?

— Это почему же нельзя? — обиделся Женька.

— Триста лет назад он надавал людям кучу советов: как из плохого мира сделать мир хороший. Триста лет прошло, а советы так до сих пор и не использованы. Значит, одно из двух: или все человечество глупо — не умеет их использовать, или глупы сами советы. Вы считаете — глупо человечество?

— Есть ли для вас святые люди? — Женька уже не скрывал недоброжелательства.

— Часто вижу и вам покажу. Святые апостолы нынче председателями колхозов работают.

— И какая польза от этих апостолов?

— От святости никогда большой пользы не было. Пользу-то делают те, кто не боится согрешить.

— Интересно бы хоть одним глазком посмотреть на такого, кто выше святости.

— Вы сегодня видели одного.

— Кого?

— Ивана Васильевича Бахтьярова, который вас принимал.

— Не видно, чтоб он большую пользу своему району принес. Без хлеба сидите.

— Бахтьяров в нашем районе месяц с неделей.

— Тогда что же он сделал такого?

— Да у него подвигов — что у Геракла. В тридцать третьем году он спас от голода свое село да еще помимо него многих. А через пять лет на голом месте поставил город — полсотни двухэтажных домов, залюбуешься. А в войну, в сорок втором — уже и вовсе великое: накормил тысяч двести человек! Иисуса Христа славят: мол, пятью хлебами — пять тысяч, чудо! Бахтьяров — без чудес, греша по мелочам: где-то нарушал втихомолку инструкции, где-то ловчил, даже вымогательством занимался, если видел, что лежат неиспользованные кредиты, заброшенные земли, бесхозные стройматериалы. Не святой, нет. И не чудотворец.

Машина завывала, изнемогая в муках и трудах. И поля кругом не двигались — стыли в величавой унылости. Казалось, они засасывают в себя машину, она лишь роется на месте, судорожит расхлябанным корпусом, не продвигается вперед.

Женька произнес с надеждой:

— Ну, тогда он и этот район...

Кистерев ничего не ответил, глядел мимо Женьки в мутную даль, подергивал скулой.

— Здесь — не двести тысяч, здесь легче накормить...

Кистерев не отвечал. Кузов качало из стороны в сторону. Ползали по кузову собаки, не находили себе места.

4

Кисловский сельский Совет — две полутемные комнаты, занимающие чуть ли не весь каменный низ двухэтажного дома, наследство забытого всеми купчишки.

Актив уже собрался и ждал. Главным образом женщины, закутанные в платки, какие-то кротко-печальные, беседующие голова к голове с тихим шелестом. Мужчин только двое: хромой старичок с сепараторного пункта да представитель МТС, белобрысый человек с лицом, словно навечно закисшим в плаксивости.

Распоряжалась всеми легко, бойко, весело секретарь сельсовета Вера, румяная, широкобедрая, слепящая белозубым оскальцем девица.

Божеумов и Кистерев уселись за председательский стол, Вера пристроилась у того же стола на торце, положила перед собой лист разграфленной бумаги, как-то по-особому певуче выгнула спину, приготовилась записывать выступления.

Кистерев тихо, не вставая, домашним голосом открыл собрание актива и сразу же предоставил слово Божеумову.

Женька Тулупов знал этого человека еще с довоенных времен — Илья Божеумов работал завхозом в их школе. Был он тогда криклив, суматошен, за длинные ноги ребята его прозвали Циркулем.

В начале войны Божеумова не взяли в армию — нашли очаги в легких,— однако отправили на трудфронт в рабочий батальон. Рассказывают, что вернулся он скоро, еле передвигал ноги, держался за стенку. Но отлежался, отъелся на картошке и снова забегал: «Работку бы мне сподручную, на тяжелую теперь не годен».

Как-то в порядке общественной нагрузки его послали с подпиской займа в Пунькино-Осичье. Это едва ли не самая глухая деревня в Полдневском районе, народ в ней лесной, упрямый, к общественным мероприятиям всегда глух, от займов отлынивал. И вот эти-то пунькинцы у Божеумова оказались на первом месте в районе по подписке. Божеумов сразу же был примечен Чалкиным, взят на работу в райисполком. Месяц назад его перевели завотделом сельского хозяйства. Отдел ведущий, Божеумов, по сути, стал правой рукой Чалкина.

Если Божеумова спрашивали, чем же ты берешь: у тебя и госпоставки легко выполняют, и на заем без особых затруднений подписываются, и в лес по разнарядке быстренько выезжают, поделись, каким секретом пользуешься,— Божеумов отвечал:

— Секрет тут один, веди себя подобающе, чтоб видели — ты не шуточки шутить явился.

Сейчас для Божеумова — особое в жизни собрание. Он еще никогда не появлялся перед народом с таким солидным мандатом, с такими высокими полномочиями. Он сегодня не фигура районного масштаба, а наделен правом говорить от имени области. И, уж конечно, шутить не намерен.

Чуть надломленный в лопатках, свесив нос, свесив волосы, Божеумов опирался костяшками пальцев на

стол, бросал взгляды исподлобья и говорил ровно и глухо:

— Область послала к вам целую бригаду. Это, товарищи, последняя мера. Мы вынуждены поставить вопрос ребром: или хлеб, или саботаж! Других разговоров с вами не будет...

Ровно и глухо, без крика, без надрыва — обычно от такого подхода слушателям становилось зябко.

Но сейчас активисты и слушали, и не слушали, глядели без выражения в сторону, терпеливо ждали, когда приезжий оратор выдохнется. Для Божеумова — особое собрание, а для них-то — самое обычное. Сколько здесь прошло уполномоченных! Наезжали и не такие, не такими басами сотрясали воздух. Взгляды в сторону, послушание и терпеливость на лицах.

Божеумов сел, потный, бледный, недовольный собой. По собранию прошел шорох, раздались полуоблегченные вздохи, еще ниже пригнулись головы — на всякий случай, чтоб не бросаться в глаза.

Кистерев никого заставлять не стал, заговорил сам, опять домашним негромким голосом, словно извиняясь за Божеумова:

— Наш уважаемый гость не знает нашей обстановки, потому-то не совсем верно вас ориентирует, товарищи...

Божеумов откинулся назад, округлил глаза, нацелился на Кистерева гнутым носом.

— Вот тут вы, товарищ Божеумов, стращали нас. А вам было страшно, товарищи?.. Да нет, не заметно. Вы все сейчас поедете по колхозам, не перенимайте метода товарища Божеумова. Не пугайте понапрасну баб в деревнях. От громкого крика и грозного голоса они не ойкнут и хлеб из-за пазухи к нашим ногам не выронят.

— Послушайте, эт-то пахнет... — у Божеумова посерели губы.

— Вы хотите сказать — выпадом? — спросил Кистерев.

— Нет, прямой деморализацией!

— Ни то, ни другое, товарищ Божеумов. Мы давно уже примечаем, что страх в людях умер, а совесть... Представьте себе, совесть еще жива! Так давайте и пользоваться тем, что живо. Давайте соберем баб в деревнях и скажем: «Знаете ли вы, что на фронте каждый

день убивают? А умирают ли у вас в деревне каждый день? Нет! Вам трудно, вам голодно — знаем! — но кому трудней — солдатам в окопах или вам, бабы, в своих избах?» Криком, угрозами уже не возьмешь, товарищ Божеумов, а добрым словом можно. Последнее отдадут. Если есть у них это последнее...

За Женькиной спиной кто-то вздохнул:

— Эхма! Что верно, то верно — народ пуганый, какой год с осени бесхлебье.

— Страшней голоду, поди, ничего нет. Немца обломали, а голод остался.

Божеумов переводил взгляд с лица на лицо, встретился глазами и с Женькой — пепельные тени под скулами, в углах сплюснутого рта жесткие складки. Женьке даже вчуже стало жаль его: приехать впервые в жизни с таким мандатом и получить сразу в макушку — не возносись, мол! Запереживаешь.

Божеумов повернулся к секретарю Вере:

— Вы запротоколировали эти рассуждения?

— Нет.

— Прошу вас... Запишите все, и поточней. И еще запишите: я согласен! Да, товарищ Кистерев, вы считаете, что ваш метод даст хлеб. Отлично! Какой может быть разговор... Но вот ежели выяснится, что ваш метод хлебом государство не обогатил... Тогда уж извините. Тогда уж я буду вынужден поставить вопрос о дезориентации... И деморализации! Занесите все это в протокол!

Собрание притихло, женщины прятали лица в платки и отворачивались. Вера растерянно переводила взгляд с Кистерева на Божеумова, с Божеумова на Кистерева.

— Записывайте! Что же вы! — прикрикнул на нее Божеумов.

И Кистерев спокойно сказал:

— Запиши, Вера.

Народ разошелся, в комнате, загроможденной лавками и стульями, осталось только четверо: Кистерев, Вера, Божеумов и Женька.

Божеумов широкими шагами ходил от стены к стене. Кистерев сидел за столом согнувшись, на зеленом лице — ввалившиеся глаза, тонкий синий рот.

— Вы и в самом деле рассчитываете добыть хлеб одним лишь добрым словом? — обратился Божеумов к Кистереву.

Тот помолчал, сгибаясь над столом, и наконец обронил:

— Хлеба нет.

— Это как понимать?

— Да так и понимайте. Хлеба нет, его нельзя добыть ни добром, ни злом.

Божеумов повернулся всей грудью, заложил длинные руки за спину:

— Та-ак! Тогда зачем же вы свой метод подсовывали?

— Чтоб вашим не пользоваться, разумеется.

— Та-ак! — Божеумов сделал шаг вперед, грудью на Кистерева, руки по-прежнему заложены за спину: — Не знаю, как вы себя вели на фронте, а здесь вы пораженец, Кистерев! Даже удивительно, как таким доверяли взвод!

— Мне доверяли батальон.

— Тем более страшно.

— Где вы раньше были, товарищ Божеумов? Проявили бы ко мне недоверие перед тем как отправить на фронт, глядишь, был бы я сейчас таким, как вы,— с двумя руками.

— Откуда-то вы принесли пораженческие настроения. Государство это должно насторожить.

— Вы, похоже, путаете себя с государством.

— Я здесь не по своему желанию, меня сюда послало го-су-дар-ство, Кистерев. Вы этого не поняли, так поймете!

— Смотрю, вам очень хочется напугать меня до смерти.

— Не храбритесь, Кистерев, не храбритесь. С пораженцами у нас теперь разговор короткий.

Минутное молчание, затем тихий, с усилием голос Кистерева:

— Поглядите на меня, Божеумов. Поглядите внимательней — кого вы пугаете? У меня не только рука откушена, я еще ношу в себе, как дорогую память, под сердцем несколько железок. Врачи не могут понять, почему я до сих пор еще жив. Вы пугаете, Божеумов, а ведь самое страшное, что может случиться с человеком, со

мной уже случилось. Что еще?.. Что на свете может испугать меня?.. Молчите, Божеумов. Не знаете, что сказать... Сказать нечего...

Божеумов молчал, он смотрел на Кистерева, и лицо его с хрящеватым большим носом постепенно стало испуганно-асимметричным. Кистерев был голубовато бледен, на его лбу, словно роса на камне, лежал пот. Он попытался встать, к нему бросилась Вера:

— Гос-по-ди! Опять?

— Похоже...

— Обопритесь на меня, Сергей Романович. Вот так, вот так... Раньше проходило, и теперь ничего...

Кистерев доверчиво обнял единственной рукой крепкую белую Верину шею, Женька кинулся расталкивать стулья и скамьи, прокладывать проход к двери. Божеумов, по-прежнему окостеневше прямой, растерянно и чуть брезгливо взирал на них сзади.

Из двери в дверь, пять шагов по коридору,— маленькая комнатушка. В ней стояла железная госпитальская койка, стол на хлипких ножках, стул. На койке валялся знакомый протез...

Кистерева уложили на койку, накрыли одеялами, сверху набросили полупальто из шинельного сукна. Наружу торчала из-под одеяла детская макушка, заросшая редкими белесыми волосами.

За стеной, под низеньким оконцем, раздался вдруг надрывный, раздирающий душу вой, его подхватил второй голос, хриплый, с глухими утробными модуляциями. Женька вопросительно посмотрел на Веру, та объяснила:

— Собаки учуяли. Каждый раз, как Сергей Романыч свалится... Рядом не были, ничего не видели, а на́ вот — заводят... Ишь, как страдают.

У Женьки от собачьего воя першило в горле.

5

Над сельсоветом, на втором этаже, для наезжающих уполномоченных была отведена специальная комната — две койки и тумбочка.

С вечера собаки вроде притихли, но в середине ночи их словно прорвало. В два голоса под самым окном то

внеребой, переливисто, истошно тенористо, с подвизгиванием, то трубно, рвущимися басами — при обморочной тишине спящего села.

Божеумов ворочался, ворочался, наконец поднялся: «Чтоб разорвало вас, треклятые!» — зажег лампу, спросил:

— Ты спишь?

— Тут мертвый проснется,— нехотя ответил Женька.

Божеумов сидел на койке в обвисшем, слишком просторном для его костлявого тела белье, сквозь ворот рубахи проглядывала ребристая грудь, лицо кривилось как от зубной боли. Собаки внизу надрывались в звериной тоске.

— Скажи мне,— заговорил Божеумов,— но скажи откровенно, не бойся обидеть — за что ты, к примеру, не любишь меня?

— Ты что? — удивился Женька.— Мы вроде не пьяны, чтоб среди ночи выяснять — ты меня любишь, ты меня уважаешь?

— Все не любят, не только ты... Вот Чалкин... Без меня как без рук, хвалит, выдвигает, а рядком посидеть — нет, нос в сторону. И тебя сейчас к стенке воротит, тебе со стенкой приятней, чем с Божеумовым...

Выли в ночи собаки, сидел на койке в серых кальсонах непохожий на себя Божеумов, глаза у него в эту минуту были влажные, блуждающие.

— Люди больше блаженненьких любят, вроде Кистерева,— продолжал Божеумов.— И тот это знает, выламывается, красавчик: глядите, мол, какие у меня белые ручки, ни пятнышка на них. А подумать, ведь только бездельник незапятнанным может сохраниться в наши-то дни. Страна в крови, в петле — война не мать родная,— гляди в оба, успевай только чистить, чтоб не заржавело. Гордиться надо, что не белоручка.

— Ты что-то путаешь — чистые руки с чистой совестью,— возразил Женька.

— А разве это не одно и то же?

— Грязь на руках обычно от труда, так сказать, след пользы, а совесть пачкается вовсе не от полезных усилий.

— «Не от полезных усилий...» Красивых словечек из книжек понахватался. Полезному-то делу всегда кто-то крупно мешает, а раз так, то тесни его с дороги. А он

дорожку-то за будь здоров не уступит — упрется, да еще юшку тебе пустит.

— А вдруг да ты ошибаешься — не того, кого нужно, потеснишь? — спросил Женька.

— Не могу ошибиться,— возразил Божеумов.— Недопустимо!

Ни намека не спесивость, только убеждение, выношенное, твердое, не терпящее возражений. Женька даже растерялся.

— Ну-у!.. Да ты бог, что ли?

— Я маленький человек,— ответ с прежней твердостью.

— Что-то новенькое для тебя.

— Я — маленький человек,— повторил Божеумов упрямо.— Не сам нужную линию выдумываю, мне ее указывают: так держать! Мое дело проверять — по струнке идешь или на сторону тебя заносит.

— А ежели кого нечаянно чуть занесет, меня хотя бы,— простишь?

— Нет.

— Даже если нечаянно?!

— Война, брат, война! Враг кругом, отец родной подвести может. Начни кому поблажку давать — совсем распустишься.

— Вот и ответил сам себе.

— Что — ответил?

— О чем недавно спрашивал: почему тебя не любят.

— Чтой-то не пойму.

— А что не понимать — ты в каждом врага видишь, почему все тебя другом считать должны?

Божеумов долго молчал, блуждал взглядом, помаргивал на лампу, скреб грудь. Выли под окном собаки.

— Мда-а,— протянул он наконец.— А ты ведь прав, парень. Молодо-зелено, а вот ведь в точку попал. Время-то нынче шибко серьезное — война смертельная, а раз так — о любви не мечтай... Раскис я.

— Вот видишь, как легко и просто.

— Легко — не легко, а распускаться не смей.

Взгляд Божеумова успокоился, лицо обрело обычную значительную уверенность. Он полез под одеяло:

— Собаки треклятые, от них любой свихнется. Эвон надрываются — душу мутит.

А Женька поднялся, сунул ноги в сапоги, накинул шинель.

— Ты куда это?

— Собаки надрываются... Вдруг да с хозяином совсем плохо. Пойду проверю.

— Ну-ну...

Божеумов повернулся к стене.

В темном коридоре тускло светилась щель неплотно прикрытой двери. Женька осторожно заглянул. Горела на столе лампа в окружении склянок и коробочек с лекарствами. На табуретке, сложив на коленях руки, сидела Вера. Она вскинула, как конь, головой, уставилась из-под отяжелевших век на Женьку.

— Извините. Может, чем помочь?

Вера покачала головой.

Из-под кучи одеял, пальто, полушубков по-прежнему торчало беззащитное, в редких светлых волосах темя.

— Спит?

— Только что стонал... А уж если Сергей Романыч стонет, то, значит, плохо...— Вера поспешно вскочила: — Ой, да что это я! Присаживайтесь!

— А вы стоять будете?

— Я вот в ногах на койке приткнусь... А ведь похоже, что спит. Вот хорошо-то бы. К утру, глядишь, и полегчает.

Лицо Веры менялось на глазах, только что было бледное, стертое, глаза маленькие, тупо мигающие, а сейчас — греющий румянец по скулам, голова откинулась назад, веки утратили тяжесть и за ресницами беспокойный блеск.

— Вы что же, одна дежурите? — спросил Женька.

— Кому-то надо. Родных у Сергея Романыча нет. Фельдшерица ночь напролет сидеть не может, вот утречком — пожалуйста, придет, подменит меня.

— Он не здешний, Сергей-то Романович?

— Откуда-то недалече. Бахтьярова, секретаря райкома, знаете? Земляки они вроде.

— А почему он здесь оказался?.. Без родных, больной, в чужом месте?

— Поди, в тягость родным быть не хочет. Явился и живет. Вот уж год как.

— Странный он, вам не кажется?.. Эти собаки, эти речи, никого не признает, ни с кем не считается...

Вера помолчала с минутку и вздохнула:
— Потревоженный он.
— Как понять?
— Хочет еще что-то сделать, мечется: то жалеет людей, то клянет их — собаки-де милей. Жить, мол, мало осталось, так надо не тянуть, а бросаться на все, что пользу обещает. Возле него и ты начинаешь кипеть да разбегаться. Словно и у тебя жизнь вот-вот кончится — спеши-давай.
— Я его понимаю,— задумчиво заметил Женька.
Вера проблестела глазом в его сторону:
— Сергей Романович, мне сдается, и сам-то себя не понимает.
— А я понимаю: тянуть, ждать смерти — занятие унылое. Уж пусть лучше — спеши-давай.
— Смерть-то, поди, унылее жизни,— скуповато возразила Вера, пряча нескромный блеск глаз.
И Женьке стало неловко, словно Вера упрекнула: сам-то небось собираешься жить долго, а других торопишь.
— Он предложил мне поехать в колхоз «Красная нива». Говорит, там какой-то необыкновенный человек живет,— перевел разговор Женька.
— В «Красной ниве», в Княжице? — удивилась Вера.— Что-то не помню, а уж всех там знаю с мала до велика. Сама-то я из деревни Юшково, всего пять километров в сторону.
— Может, председатель колхоза это?
— Адриан Фомич?.. Старик хороший, только что́ в нем особого? Необыкновенный? В Княжице? Нет, что вы!
Наступила тишина. Торчит из-под груды одежды беззащитная мальчишеская макушка. Вера сидит в ногах у больного, стеснительно теребит пальцами пуговицу на груди, скромно опустила веки, но мечутся под ними глаза, и все горячей и горячей румянец на твердых щеках.
— А собаки-то замолчали,— спохватился Женька.
— Да... И Сергей Романыч уснул. Кажется, опять пронесло...
Снова неловкая тишина, мальчишеская макушка, и на лице Веры пышущий румянец, веки опущены и немая жалобная просьба: уж лучше бы ты ушел... И Женька стал торопливо прощаться.
Наверху все еще горел свет, но Божеумов, повернувшись лицом к стене, спал, летуче, по-детски, посапывая,

Утром в сельсовете начался трезвон. Звонили из райкома, из райисполкома, из районо, из конторы уполминзаг, требовали примерные цифры, спускали сроки, просили указать, кто персонально в какие колхозы направлен. Толкались вчерашние активисты, одетые по-дорожному: в сапогах, в плащах, с сумками, с портфелями. Одни из них выясняли — на чем добираться, другие пытались дозвониться в подопечный колхоз — пусть встретят, третьи просто выжидали — на ретивых воду возят.

Всю суету возглавлял Божеумов, висел на телефоне, ругался, ставил на место, получал сведения, просил соединить себя с Чалкиным. Вера бегала с какими-то бумагами, подсовывала их под локоть Божеумова, на ходу объяснялась с активистами...

Женька ждал подводы из «Красной нивы», глядел на суету со стороны, сопереживал и время от времени вспоминал слова Кистерева: «Собрать собранное, искать найденное, глотать проглоченное...» Телефонная перебранка, приказы, требования, запросы — крутится карусель. А нужна ли она... «Собрать собранное, искать найденное...»

Женька чувствовал странное раздвоение в душе. Чтоб как-то спастись от самого себя, он решил навестить больного Кистерева.

Кистерев лежал всеми забытый, даже Вере было не до него. В комнатушке с побеленными стенами было душно и жарко, и из-под овчинно-суконного вороха выглядывало распаренно-розовое, словно после бани, лицо. Веки дрогнули, приподнялись, открыли глаза, мутно-синие, как весенний лед.

— Как вы себя чувствуете?

— Буду жить,— тихо и серьезно ответил Кистерев.

Женька не удержал шумного облегченного вздоха.

— А зачем?..

— Что — зачем? — спросил Женька.

— Буду жить.

— Неужели вам жить не хочется?

— Хочу.

— Тогда что и спрашиваете?

Кистерев повернул к Женьке воспаленный глаз:

— Я — человек, а не трава. Хочу знать — зачем мне жить?

Женька помялся с ноги на ногу.

— А вам не приходилось под обстрелом кричать про себя,— сказал он: — Жить! Жить! Хотя бы часок! Хотя бы эту минуту!

— Было,— согласился Кистерев.

— Тогда небось не спрашивали — зачем?

— Жить?.. Жить?.. У меня, юноша, от жизни одни лохмотья остались.

— Так это же все-таки лучше, чем ничего.

— Возможно.

Кистерев прикрыл мутные глаза и замолчал. Женька, постояв, помявшись, уже хотел тихо выйти, но Кистерев снова повторил:

— Жить?..

Веки поднялись, глаза, направленные на Женьку, были уже не мутные, не воспаленные — осмысленные.

— Есть вещи на свете, за которые я бы сменял теперь жизнь. Даже не такую, какая у меня сейчас, не излохмаченную — здоровую. Да!

В эту минуту открылась дверь, и в комнату бочком протиснулся высокий старик. Был он тощ и прям, лицо бескровное, правильное, какое-то чисто вымытое, сивая бородка лопаточкой, маленькие живые глаза. Он прирос плоской спиной к косяку, участливо произнес:

— Что, Романыч, опять свалило?..

Кистерев кивнул, посмотрел на Женьку. И Женька понял — это тот самый, обещанный... Он поднялся с табуретки, протянул старику руку:

— Вы из «Красной нивы»?

— Оттуда. Глущев я, председатель,— старик, оторвавшись от косяка, осторожно подержал Женькины пальцы в шершавой ладони.— За вами, выходит, приехал.

— Я готов.

— Обиходят ли тебя, Романыч? — повернулся старик к Кистереву.— Не нужно ли чем помочь?

— А чем ты мне поможешь, Фомич? Ты не бог, мне здоровья не отвалишь.

— Может, тебе помельче что нужно — не богово, человечье?

— В том-то и дело, Фомич, мне теперь все мало... Даже полного здоровья...

— А ты поторгуйся с собой, вдруг да согласишься и не на полное — лишь бы ноги носили. Что уж...

— Мы как-то село заняли,— заговорил тихо Кистерев, глядя в потолок.— Я еще ротой командовал. Ворвались мы, глядим — на площади виселица. Каратели бабу повесили, за связь с партизанами, что ли. Смотрим — детишки в сторонке. Девчонка тощенькая, лет десяти, и мальчонка... Этот и совсем заморыш, ну, лет пять,— ватник рваный на плечах, рукава до земли, ноги босые, красные, как гусиные лапы. Стоят они рядом и глядят, не шелохнутся. Кто такие? Хотели прогнать — не для детишек картина. Оказывается, дети этой... Да, казненной. Рядком, бледные, тихие и без слез. Такое горе, что и у детей слез не хватает. И черные трубы от печей вместо улицы, и дымом вонючим тянет... И меня тогда впервые охватило... До этого я, как все, хотел до конца войны дожить, жениться хотел, детей иметь, зарабатывать... Как все.. И тут-то, под виселицей, перед сиротами, понял вдруг я — жена ласковая, обеды на скатерке, детишки умытые, а помнить-то этих стану. И чем у меня лучше жизнь устроится, тем, наверное, чаще в душу будет влезать мальчишка в ватнике, рукава до земли... После этого и начал задумываться: если уж жить случится, то делай что-то для таких. Для мальчишек, для взрослых, для всех, кто в сиротство попал. Что-то... А вот — что, что?! Если б знать! Жизнь ради этого — да пожалуйста, да с радостью! Хоть сию минуту умру, лишь бы люди после меня улыбаться стали. Но, видать, дешев я, даже своей смертью не куплю улыбок... Так-то, старик.

Бескровно чистое, подбитое аккуратной бородкой лицо старика председателя не выражало ни волнения, ни удивления, только внимание. Он покачал головой:

— Смертью целишься добро добыть, Романыч.

— Своей смертью, не чужой.

— А ежели вдруг твоей-то одной для добычи недостанет, как бы тогда других заставлять не потянуло — давай, мол, не жалей, не зря же — добра ради!

Прошла минута, другая, Кистерев лежал, глядел в потолок и молчал. Он так ничего и не ответил.

Молчал и Женька, испытывая в душе странную сумятицу. Ему приятно было спокойствие старика, о которое разбивалась надрывная смятенность больного Кистерева, но согласиться... Нет, Женька всегда считал, что общее для всех счастье можно — иногда должно! — покупать смертью. Не зря же люди славят героев.

Он зашел проститься к Божеумову.

Тот встал, одернул гимнастерку, прошагал на тонких, деревянно ломающихся ногах к дверям, поплотнее прикрыл их, повернулся фасадом — брит, строг, пасмурен.

— Ты что-то, Тулупов, к Кистереву зачастил — и ночью, и днем.

— Не положено?

— Помнить должен — служишь не Кистереву, а бригаде.

— А я-то думал, служу трудовому народу.

— Через нас, Тулупов, через нас — трудовому. А так как в бригаде уполномоченных я как-никак постарше тебя считаюсь, то и вся служба твоя народу только через меня идет. Ясно?

— Не совсем.

— А именно?

— Не ясно, зачем ты мне все это говоришь?

— Вынужден говорить, Тулупов, вынужден. Кистерев твой любезный,— сам слышал,— мутит против нас водичку. А тут все под ним ходят, да и в райопе его оглаживают. Сам Бахтьяров готов локотком прикрыть. Так что слепому видно — личность крайне опасная!

— Может, придушить, пока он болен?

— Не иронизируй, Тулупов! Ты — представитель от самой области, поэтому всякие там шуточки напрочь забудь. Едешь сейчас в колхоз, гляди там в оба, чтоб на кривой не объехали. Чуть что — сигналь. И мне! Только мне! Я — Чалкину. Никаких других инстанций для нас здесь не существует.

— Наставляешь, словно мы во вражеском лагере.

Божеумов долгим взглядом проплыл по лицу Женьки.

— Возможно,— сказал он.— Очень даже возможно. Не в гости нас посылали.

6

Председатель «Красной нивы» Адриан Фомич подогнал уже подводу к самому крыльцу, сидел, свесив сапоги с грядки.

— Случилось что? — спросил он, вглядываясь в лицо Женьки.

— Нет, ничего,— ответил Женька.

— Садись-ка... вот так. Шинелку-то подбери, а то о колесо запачкается... Н-но, родимушка, трогай!

Лошадь потянула телегу к грязной дороге.

Выехали за село, в поля, окруженные тяжелой, мутной просинью. Влажный воздух густ и недвижен, ни намека на ветерок — не вздрогнет былинка на обочине, не колыхнется волглый лист на искалеченном колесами кусте. Все замерло и подчиняется одной только силе — гнетущей вниз силе земного притяжения. Чавкают в тишине по грязи копыта да стучит, скрипит, постанывает расхлябанная телега. Недавно сыпал скупой дождь, перестал на минуту, но снова копится, снова будет жидко сеять.

Адриан Фомич помахивает концами вожжей, подгоняет:

— Эй, касаточка, шевелись! Скоро темнеть начнет, а дорога не почата.

Женька увозит с собой тупую неуютность, вызванную разговором с Божеумовым: не смей доверять... враги! Словно ты не на своей земле, не среди своих людей. На фронте досыта навраждовался — надоело!

— Чтой-то, право, ты не в себе, молодец? — снова поинтересовался старик.

И Женьке захотелось услышать утешение — нет здесь врагов, ошибается Божеумов, враги далеко, за линией укатившегося в глубь Европы фронта.

— Война, что ли, людей испортила,— сказал он.— Одну песню поют: не верь, враги кругом!

— Э-э, такие-то порченые всегда были: им жизнь не в радость, ежели за горло взять некого.

— За горло — нет, это уж совсем... Я о других — кто за горло не хватает, только печать ставит: тот, мол, нехорош, этот, мол, плох. Наслушаешься и душно становится.

Старик невесело покачал головой:

— Начинают-то с малого — с припечатывания, с истовости: защищаю-де! А конец бывает всякий, иной раз до лютости. Вот у нас в деревне в двадцать первом году случай был: один норовистый из-за слова поперечного другого убил, да заодно еще и бабу безвинную... Топором, зверь, двоих.

— Из-за слова?

— То-то, слово, брат, злая штуковина... Митрофан Зобнин... Отец у него до революции шибко широко жил:

десятин сто земли, крупорушка, маслодавильня, работников десятка два. После революции его и тряхнули: землю обрезали, крупорушку и маслодавильню — в общее пользование. Старик-то захворал с горя и помер, а сын единственный — наследник — на свой манер свихнулся. Отняли, мол, и ладно. Не большевики отняли, а бог, потому что без бога ни один волос не упадет... Да-а, бог. Стал этот Митрофан бога любить, но уж очень круто, даже на киселевского попа с кулаками бросался: плохо-де бога обиходишь! А мужик он в соку, кулаки пудовые... Но тут как раз вернулся его сосед из армии — Венко Крюков. Восемь лет дома не был, навоевался и за царя, и против царя, грамоты небольшой, но правила блюдет уже новые — бога нет, царя не надо! Как такого соседа Митрофану терпеть?.. Словом печатают, говоришь? Слово, парень, всему начало — и хорошему, и плохому. Уж как обливали друг дружку — Венко и Митрофан — крутым кипяточком, сами корчились, и другим жарко. Пасху, помнится, праздновали. Венко хоть и неверующий, а подвыпил. Нет, не сильно, так — до веселого настроения. Взял он гармошку, сел под окнами у себя и давай во всю голосинушку частушки блажить. Про бога там, про святую богородицу, и уж ради праздничка не стеснялся, конечно,— запускал такие словца, что хоть уши заткни. А Митрофан послушал, послушал — за икону со стены, и к нему: «На колени, нехристь!» Венко — гармонь в сторону, кол из ограды, да колом-то по иконе... Выбил ее на землю и еще каблуком приступил: вот, мол, твой бог — под пяткой у меня! Митрофан перед ним — пепла серей. Постоял молчком, да к себе. Венко понял, что вернется, тоже к себе домой крутанул. Дома и стены помогают... Не помогли. Вломился к нему Митрофан с топором. Жена Венкина, дура-баба, нет чтоб выскочить да народ кликнуть, промеж них кинулась разнимать. Митрофан сперва ее уложил, а потом и Венке череп раскрыл... Так-то. Слово истовое...

— Ну, отец, далеко увел. Я все-таки о другом говорил.— Женька и в мыслях не мог поставить Божеумова рядом с Митрофаном.

— Ты о тех говорил, кому богу молиться — лоб расшиби. А от таких всего жди, парень.

— Венко, пожалуй, тоже из тех — лоб расшиби, но все-таки не Митрофан, убийцей не стал.

— Убийцей не стал, а до убийства довел.

Помолчали.

— Ну и что с этим Митрофаном сделали? — спросил Женька.

— Что делают с убийцей? Руки скрутили да увели. Был да нет, царствие ему небесное. А у Венки-то в люльке пятимесячное дитя осталось...

Лошадь тянула телегу в глубь влажного мира, где все наперед известно — те же щетинистые поля, то же плоское небо, та же смытая, безликая, удручающая одноцветность.

Старик пошевеливал вожжами, глядел вперед задумчиво и грустно.

— К себе взял ребеночка-то. Жена у меня своего грудью кормила. Обоих на ноги подняли, кто свой, кто чужой — не отличали... Ровно росли ребятишки, а вот судьба вышла разная. Володька, родной-то который, еще в сорок втором... под Ростовом. Кирюха, приемыш, вместе с ним ушел, третий год в армии, а войны и не видел. Попал к большому начальнику — удобная служба, строительства военные оберегать. Даже на побывку пускают, вот и снова обещается приехать. Недалече служит... Н-но, золотая, пошевеливайся!

Старик подхлестнул лошадь.

Начало смеркаться.

Впереди замаячила одинокая фигура, сгорбившаяся под гнетом влажных сумерек. Лошадь, кивающая на каждом шагу головой, нагоняла ее.

Адриан Фомич вытягивал тощую шею, пошевеливал вожжами: «Но, касаточка!», пытался угадать со спины: кто же это?.. Уж он-то знал всех в округе.

Телега кренилась, оседала, выравнивалась без толчков, без тряски,— не путь, а качели, неспешная езда дедов и прадедов. А где-то воют пикирующие бомбардировщики, кромсают землю гусеницы танков: «От Советского Информбюро!..» Война далеко — на чужой земле. Здесь лошадь кланяется лохматой мордой придорожным кустам, пням, расквашенной дороге...

Наконец она стала отбивать поклоны в сгорбленную спину...

Не понять сзади — баба или мужик? Длинное не по росту пальто врасхлюстку — допотопный балахон с мокрыми тяжелыми полами, на голове платок, стянутый концами на затылке, а ноги в штанах, заправленных в опорки. Баба или мужик?.. Обернулся — из густой бороды торчит клином темный нос.

— Чей ты, бедолага?

— Подвези... Свалюсь...— хриплое с отдышкой из нутра, из глубины перепутанной бороды.

— Садись быстрей, заботушка.

Женька помог старцу забраться на телегу. Тот был легок, словно весь состоял из ветхого тряпья. Он пристроился сзади, лицом к Женьке, поджав под себя ноги в грязных опорках, придавил бороду к груди, нахохлился, смежил веки.

— Кто ты таков? Чтой-то тебя не знаю? — спросил Адриан Фомич, заставив лошадь снова отбивать поклоны.

— Я и сам уж себя не знаю,— пробубнил старец, не открывая век.

— Зовут-то как, человече?

— Давно не человече, а тень мающаяся.

— Куда путь держишь?

— Туды же, куды и все,— к могиле.

— Ну, с тобой не разбеседуешься,— усмехнулся Адриан Фомич.

— Верст семь мне всего осталось...

— Через семь верст по этой дороге деревня Княжица, туда и мы едем.

— Деревня Княжица — шесть верст, а на семой-то версте — лесочек должон... Аль не цел, аль свели? Часовенка еще там стояла...

— Эге! Да ты, видать, из здешних, только вот никак не признаю тебя. Лесок цел, даже часовенка не совсем еще развалилась. Кладбище, оно и есть кладбище — не скудеет, растет потихоньку.

— Приду туда и лягу. Не повезут же куда в другое место хоронить.

— Похоже, издалека тащишься?

— Отсюды ушел, сюды и пришел. Двадцать с лишком лет шел, кружным путем, через Соловки, через Колыму, через якутов... Имя потерял, лик божеский потерял,

жизнь вот потеряю, но уж там, где родился. Как в святом писании сказано: «Доколе не возвратишися в землю, из коей ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишися».

Адриан Фомич, отвернувшись от дороги, от лошади, пристально вглядывался в бубнящего старца, нахохлившегося на задке.

— Нет,— сказал он обреченно.— Не признаю. Чую, что из наших, а вот угадать не могу. Да и не диво, за двадцать лет много из деревни людей уплыло.

И Женька тоже вглядывался в старика — блаженно смеженные веки, глубоко пропаханные морщины, утопающие в грязно-серой поросли, твердый нос, черные руки с обломанными ногтями, отдыхающие на коленях. «Имя потерял, лик божеский потерял, жизнь потеряю...» — равнодушный, с замогильной успокоенностью голос. И какого только народу не бывает на свете, каких только диких мыслей не возникает в людских головах,— на родину притащился, двадцать с лишним лет шел. А родина-то для него — кладбище!

Лошадь надрывалась в бесконечных поклонах.

В деревню Княжицу — в колхоз «Красная нива» — они въехали в полной темноте.

7

Изба дыбилась черным холмом. Тускловато и покойно светилось оконце, счастливый знак пристанища — путь на сегодня окончен, рядом сухой и согретый мирок, столь несхожий с этим огромным миром, отравленным затянувшейся осенью.

Старец суровенько попросил председателя:

— Ты бы мне кусок пирога вынес. Хошь из травки. Чистого-то хлебушка, поди, у самого нету.

— Входи в дом, человече. Собаку не пустить под крышу в такую ночь совестно.

— Собака-то почище меня будет. Вошей тебе могу натрясти.

— Что ж делать, раз гость такой набежал. Не спать же тебе на земле, под дождичком.

— Сведи на конюшню вместе с лошадью. Самое таковское для меня место.

— Полно, нужда. Уж как-нибудь со своими вошками у порога перебудешь. Не топить же баню сейчас. Не чумной... Уж как-нибудь... Пошли!

Над столом висела керосиновая лампа-пятилинейка, на расколотом стекле ржавый пластырек из клочка газеты. На столе самовар, раздутый, ведерный, с царскими медалями на боку, должно быть, служивший еще деду хозяина. И широкое деревянное блюдо с дымящейся картошкой в мундире...

Женька выложил на стол свои припасы — полбуханки сельповского хлеба, тяжелого, непропеченного, но зато чисто ржаного, не мешанного ни с мякиной, ни с куглиной, в бумажном кулечке крошащийся маргарин, десяток кусков сахара-рафинада.

Адриан Фомич отрезал от полбуханки два ломтя, на каждый положил по куску сахара. Один ломоть отдал мальчугану, внуку, такому же костисто вытянутому, с голубенькой тонкой шеей, белобрысому. Другой ломоть отнес сам на печь больной старухе:

— Нут-ко, хворая, полакомься.

Женька поинтересовался:

— Давно женка свалилась?

— Да нет, не жена,— нехотя ответил Адриан Фомич.— Жена-то у меня померла, как на сына похоронную получили.

— Верно, сокол, верно! Спроси-ка его — кто я ему? Кто?! — раздалось с печи.

— Ну, заведет сейчас,— поморщился хозяин.

— Не мать, не теща,— седьмая вода на киселе, да и то есть ли,— старуха, припав виском к кирпичам, глядела вниз темными блестящими глазами, говорила же бойко, даже со страстной, надрывной силой.— Чужая я им, как есть чужая! А вот к себе забрали — лядащую. Кормят, греют, обиходят, а спроси, добрый человек, почто?.. Какая корысть с меня?

— Да ладно тебе, Пелагея. Думаешь, интересно кому слушать тебя?

— Чего ладно-то, чего ладно! От себя ж куски отрываете. Смотри-ка — хлебушка чистого да сахарку передал. А сам?.. Сам-то небось забыл, какой скус у сахару. Сам-то посовестится глазом поглядеть на сахарок-то. А на меня ли добро тратить? Меня в нужник кинуть полезно...

— Вечно недовольна, устроена уж так.

— Недовольна! Истинно! Тем, любой, что никто не видит, какой ты! Слепы люди! — Больная по-прежнему не подымала головы, но запавшие глаза дико и гордо блестели, и в голосе слышался негодующий вызов, словно не Адриан Фомич, а она сама свершила непостижимый подвиг добра.

— Соседка наша, одна-одинешенька...— пояснил Адриан Фомич Женьке,— не глядеть же, как умирает под боком. А попробуй-ка содержать ее на стороне — избу топи, по ночам к ней через улицу бегай, так вот к себе прибрали, удобнее. А она никак не успокоится...

— До гроба не успокоюсь, до гроба! Кто б другой меня вот так приютил да согрел? Нету таких, как ты! На всем белом свете не сыщешь!.. Ох, ноги бы мне, ноги! Пожила бы еще, рабой бы тебе, Фомич, стала. Ра-або-ой!..

И старуха еще сильней вжалась дряблой щекой в кирпичи, захлюпала носом. Адриан Фомич махнул в ее сторону рукой, принялся угощать Женьку:

— Ты ешь давай, картошка остынет. Чем уж богаты... А богаты мы не шибко, сам понимаешь.

Мальчуган за столом откусывал от ломтя маленькие кусочки, лизал сахар, ничего не слышал и не видел.

Мать этого мальчишки, невестка Адриана Фомича, с молодыми густыми бровями и кротко-горьким, увядшим лицом, собрав на стол, пригорюнилась, разглядывая Женьку:

— Молоденький, а уж как старичок, с палочкой ходишь. Да и то слава богу... А вот я рада бы своего увидеть хоть без двух ног.

А в стороне, поближе к порогу, на раскинутом рядне, прижимаясь сутулой спиной к печному боку, сидел раскосмаченный старец, грел чугунно-темные руки о кружку кипятка. Возле его ног стояла тарелка с картошкой.

Внезапно Женьку охватило тихое счастье любви и покоя. Сырая ночь за окном, осенняя гнилая ночь. За потным черным стеклом — обескровленный войной район. И еще продолжается эта война, наверное, самая жестокая, самая отчаянная из всех войн, какие когда-либо были на земле. А здесь, под тускло светящей лампой,— особый мир, собранный вокруг скудно уставленного стола. Здесь все бесхитростно просто — накормить голодного, согреть замерзшего, приютить бездомного, помочь обессиленному. Просто... Не об этой ли человеческой простоте из века в век мечтали лучшие из людей, ради нее

шли в тюрьмы, клали головы на плахи?.. Накормить голодного, помочь обессиленному!..

Под тусклой лампой, вокруг дощатого стола... Старуха, спасенная от смерти. Странник, подобранный на дороге, приглашенный в тепло. Голубенький, бескровный от недоедания мальчонка, углубленно терзающий лакомство — ржаной ломоть непропеченного хлеба. Мать мальчонки, усталая баба со своим нехитрым бабьим сочувствием: «С палочкой ходишь...» С бабьим сочувствием и бабьей бедой — муж убит. И всему хозяин он — Адриан Фомич, сколоченно прямой старик в вылинявшей рубахе, с бледным, чистым лицом, с бородкой лопаточкой. Хозяин и законодатель роднящей простоты.

Как прекрасно, что есть такие места на земле! Сколько их? Да, наверное, не так уж и мало. Но будет больше! Женька верит в это. Как он счастлив, что попал сюда!

Хотелось сказать об этом, но боялся походить на больную старуху, которая столь назойливо говорила о доброте, что становилось стыдно не одному Адриану Фомичу. Лучше уж молчать и отогреваться душой.

— Да-а, молодые ходят с палочками... Война,— произнес Адриан Фомич,— на моей жизни пятая... Я ведь еще японскую помню. Живут, живут люди, и нате — повылезут, прости господи, пакостники, кровушку реками пустят. Да будет ли время, когда поганые грибы в земле давить станут?

— Будет! — не выдержал Женька.— Будет! — повторил он с распиравшей от счастья силой.

— Кхе-кхе! — раздалось от порога.— Съедят люди друг друга. Кхе-кхе! — смешок у странника смахивал на кашель.

— Чтой-то обличьем ты мне знаком,— воскликнула старуха, уже переставшая растроганно хлюпать, приглядывавшаяся сверху к страннику.— Гдей-то я тебя встречала, сударик...

Странник не удостоил ее ответом, потянул с наслаждением:

— Съе-едя-ат!

— Ерунда! — сердито отрезал Женька.

— Могут и съесть,— согласился Адриан Фомич.— Очень просто, потому что война от войны все страшнее.

— Кхе-кхе!.. Из дыма выйдет саранча на землю... «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной,

и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям... И в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее...» Кхе-кхе! В книге книг вот что сказано. В Библии.

— Сказки поповские.

— Я тоже думаю — сказки,— на этот раз Адриан Фомич согласился с Женькой.— Саранча ли страшна людям?

— Кхе-кхе! Там оговорено: у саранчи-то лица человечьи. Значит, люди против людей же... Кхе-кхе! Разумей святое слово.

— Право, гдей-то я тебя, старик, видела. Знаком ты мне.

Странник только тряхнул кудлатой головой в сторону больной старухи — не липни.

— Адриан Фомич,— торжественным голосом попросил Женька,— дотянись-ка, вон моя сумка лежит... Библия — книга книг. Я вам сейчас такую книгу покажу...

Руки дрожали, когда Женька расстегивал сумку. Он давно ждал этой минуты, знал: рано или поздно она случится.

Недолгую и несложную жизнь прожил Женька до той ночи, когда к ним в землянку внесли раненого лейтенанта.

Отец его, который и до сих пор работает фельдшером в районной поликлинике, когда-то устанавливал в Полдневской волости Советы, был даже в Москве на Всероссийском совещании по работе в деревне, свято верил в скорое царство свободы и справедливости на всей планете. Этой верой он заразил и сына. Женька только не успел, как отец, подкрепить свою веру серьезными книгами. Он глотал жадно романы от Дюма-отца до Льва Толстого и не осмеливался открыть Маркса. Но помнил всегда — Маркс ждет его на отцовских полках.

Началась война. Женька только-только поднялся из-за школьной парты, а уж райвоенкомат вызвал его повесткой: «Иметь при себе кружку, ложку, смену белья...»

Он не сомневался, что война быстро кончится. Стоит только разбросать по Германии листовки с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», как там начнется революция. А за Германией подымутся другие — «пролетарии всех стран...» Тут-то и родится царство свободы и справедливости, в которое так верит отец.

Немцы бросали на Женькину каску свои листовки: «Переходя в плен, не забудь захватить котелок!» Война шла, и конца ей не было.

И вот раненый лейтенант. Он звал какую-то Лену и бредил белым городом Солнца... Если б не книга, случайно оставшаяся на нарах, этот бред так и остался бы для Женьки бредом больного.

Он читал и перечитывал случайную книгу. Мальчишка, знавший только дорогу из дома в школу, прячась теперь в окопе, вновь горячо верил: за эту страшную войну, за трупы, пепелища, за ползание на брюхе должно в будущем вознаградиться. За чудовищные страдания — великим всеобщим счастьем!

А книга рассказывала, как выглядит это счастье. Упивался ею. Упивался и ждал случая — открыть глаза другим. Дома с отцом сорвалось: «Открывать политические формы будущего даже Маркс не брался...» Но и Маркс у него пылился. Стареть стал отец, сдавать.

Ждал случая, он пришел.

Нет, наверное, большей радости в жизни, чем объявить людям: «Глядите! Вот как выглядит ваше счастье!» Но нет и большего страдания, если тебя не поймут, если высмеют твое святая святых. Поэтому руки, расстегивавшие сумку, дрожали.

— Вот! — замусоленная, пожелтевшая книжка легла на стол.— Не расстаюсь с ней. И никогда в жизни не расстанусь.

— Тонюсенька больно,— заметила от шестка невестка.

— Мал золотник, да дорог. Поувесистей будет самых толстых книг. В давние времена ее один монах написал — Кампанелла по фамилии.

— Монах? — удивился Адриан Фомич.— Уж не священное ли тоже?

— Ну, нет! Монах-то был революционный. Считай, всю жизнь в тюрьме. Да в какой — в средневековой! Его и в ямы вонючие бросали, в землю закапывали, огнем жгли, железом рвали, а за что? За справедливое слово, за светлые мысли. Запомните его имя, сто́ит — Кам-па-нел-ла! Неустрашимый человек, негнущийся!

Даже внук хозяина, лизавший сахар, оторвался от своего занятия, уставился на тоненькую книжку.

И Женька благоговейно открыл ее, обвел всех просветленным, радостным взглядом:

— Что перво-наперво людям нужно? Как вы думаете?

— Перво-наперво, парень, нужен хлеб,— ответил не задумываясь Адриан Фомич.

— Нет, отец! Нет! Ум перво-наперво! Ум! С умом-то всегда хлеб добыть можно. А как умом наградить, чтоб каждого, чтоб с мала до велика, чтоб поровну?

— Мда-а... Можно поровну землю поделить, скот, хлеб, тряпки, чтоб работящему и лядащему одинаков харч. Но ум... Нет, паренек, шалишь. У одного, мол, лишка — кус отрезать, другому подбросить. Не-ет, что матушка-природа дала, с тем и останешься.

— И все-таки можно — знания поровну, чтоб каждый проникался.

— А другой и проникаться-то не захочет, палкой не заставишь.

— Верно, Адриан Фомич! Верно! Палкой не заставишь сесть за книгу. Тут-то Кампанелла великую хитрость предлагает, простую и гениальную! Не в книги науки помещать, не под кожаные корочки, а на самое видное место — на стены!..

— На стены?.. Это как же так? — удивился Адриан Фомич.

— Очень просто. Как тебе не запомнить формулу, когда она на соседнем доме от окна до окна записана. Ты мимо соседа по десять раз на дню проходишь,— не хочешь, а наука тебе в глаза лезет. Рано или поздно, а формула-то тебе в нутро войдет, в печенках осядет. Стены учат, заборы учат, куда ни кинь глазом — всюду умные мысли написаны. Дураком остаться — ну никак нельзя! Ведь с малых лет ты жить среди этих научных надписей будешь... Любой и каждый с малых лет сталкивается с наукой, хочет не хочет — любой и каждый осваивает ее. И получается, что у всех в общем и целом знания одинаковые, все одинаково умны.

— Ловко! Походил так по деревне — и академик. Без труда — рыбку из пруда.

— А вы не смейтесь, Адриан Фомич. Осмеять-то все можно!

— Не обижайся, сынок. Я ведь на стенках да заборах покуда одни срамные слова читал. Могу по темноте и неучености и недопонимать чего-то.

— Но сообразить-то можно, какой это переворот для всей человеческой жизни. Глупость исчезает, а она очень тесно с подлостью связана. Не так ли? Или я тут ошибаюсь?

— Очень может быть,— связана,— осторожно согласился Адриан Фомич.

— То-то и оно. Примеров тому полным-полно. Возьмем хотя бы — почему бредовые идеи Гитлера силу получили? Германия — превыше всего. Мы-де раса особенная, другим не чета. Ведь глупо же! Ан эту глупость миллионы немцев съели и переварили. Глупость опасна. А Кампанелла ее уничтожает. Людям просто уж невозможно будет стать глупыми и необразованными. Дикие идейки перестанут приниматься, не появятся в мире новые гитлеры, войны исчезнут, наступит мир. Застраивай, люди, землю заводами и фабриками. Кажется, шуточка — науку на стены вынести, а это же величайший переворот. Во всей истории покопайся, такого не найдешь.

— Мда-а,— протянул Адриан Фомич.

А Евдокия завздыхала:

— Мне, поди, худо тогда придется. Туга я на науку. Мне ее хоть на лоб повесь, не то что на стенку, все одно не осилю. В училище еле-еле четыре группы кончила.

— Мда-а...

От порога раздался кашляющий смех:

— Кхе-кхе! Опять мир перевернуть... Так он уж и без того вверх дном стоит. Кхе-кхе!..

— Господи! — воскликнула с печи старуха.— Признала ведь! Святое писание толковал — не признала. Только, думаю, чтой-то знаком... А как сейчас заквохтал да боком-то повернулся — милушки мои, это же Митрофан Зобнин! Он самый, что Венку с женкой топором порушил!.. Не с того ли ты свету, Митрофан? Выжил-то как?..

Странник поднял вверх дремучее лицо, долгим, внимательным взглядом уставился на старуху, в путаной бороде означился зуб.

— Неуж угадать еще можно? — спросил он.

— Ох, трудно угадать тебя, касатик, трудно. Да и то, ведь тебя все схоронили давно.

— Поспешили, значится. А ведь никто не угадывал. Обличье потерял, имя потерял, сам себя напрочь забыл... И Адриан вон не признал...

— Легок же на помине оказался, по дороге вспоминали тебя.

— Ну, словно кольнуло меня что — батюшки, он же это! О-он!

— Умрешь, бабка, скоро,— произнес воскресший Митрофан.— Это перед смертью тебе такое прозрение.

8

В избе наступило настороженное молчание.

— Что же, Митрофан, здравствуй,— сказал Адриан Фомич.

— Уж не обрадовался ли, словно родному?

Адриан Фомич невесело усмехнулся:

— Родной не родной, а вроде свойственника. Венкин-то Кирюха отцом меня величает.

— Может, за это и спасибо отколешь?

— Нет, спасибо не говорю — не за что, но и зла держать смысла нету. Дело прошлое, а ты, поди, за все сполна получил.

— Значит, прощаешь?

— Я-то прощу! Кирюха обещается в отпуск приехать — его сторонись. Как-никак, ты его кровью родительской крестил.

— Что мне твой Кирюха, меня не такие хватали да отступались. А уж хватали, уж сполна, полней некуда. Цел не цел, а до родных палестин добрался. Все вытерпел.

— Ложись спать, Лазарь многотерпеливый. Завтра баню протопим, там, может, вместе с телом и душа отмякнет.

Митрофан показал опять в бороде желтый зуб.

— Все жалеешь, жалостивец. Даже меня... Кхе-кхе!..

— Не судить же мне тебя сызнова.

— Вредный ты человек, Адриан.

— Гос-поди! Что он говорит? — ахнула на печи старуха.

— Дело говорю. Добренькие-то люди никак не полезны. Самый вред от них. Такие, как ты, Адриан, и довели Россию до краю. Добрые да покладистые все вытерпят, все простят — крути шабаш.

— Шабаш-то ты устроил,— напомнил Адриан Фомич.

— Зазря я Венку... Жалел потом. Надо бы тебя, Адриан, да еще кого из ласковых... Венко-то лютый был. Мы

с ним — два сапога пара. Столковаться бы нам таким, попробуй тогда прижать к ногтю деревню. Уж не-ет, не-ет!..

— Да что он говорит?! Что?! — плачуще волновалась на печи старуха.

Женька сидел оглушенный. Недавно переживал радость — в тихий мир попал. За стенами — война, а здесь простые, без лукавства, законы: накормить голодного, согреть замерзшего, приютить бездомного. Приютили, согрели, накормили... убийцу! Нет, не бывшего, не раскаявшегося,— если б силы — снова готового убивать. Среди поля, на грязной дороге, просил: «Подвези... Свалюсь...» Просил жалости, просил — будьте добры ко мне. И получил... «Надо бы тебя, Адриан...» Тебя убить, тебя, который открыл дверь в свой дом. Того, кто поделился последним куском хлеба! Именно за это, за доброту! Убить?.. А если б оттолкнули — сдыхай на дороге, нисколько не жаль! — уважал, славил?.. Не связывается, не воспринимается — дико! Не человеческое... Нет, даже звериным назвать нельзя. Зверь и тот на ласку не огрызается. Что же это такое?..

Сидит растрепанным вороном под порогом, темное лицо покрыто грязной бородой, не разглядишь — вроде ни злобы явной, ни торжества — одичание, невнятность. И сиплый голос из нутра.

Женька взорвался:

— Такие!.. Такие среди людей!.. Да близко подпускать нельзя! Гнать, как прокаженных! В клетки запирать...

Митрофан презрительно повел в его сторону твердым носом:

— Ты уж молчи, мозг куриный, только и можешь что квохтать.

— Не-ет! Я и не квохтать могу! Я и с автоматом ходил... На тех, кто убийство-то заслугой считает... Ты же враг! Старый только. А то мы бы с тобой по разные стороны фронта встали... Эх, жаль, жаль! Святое бы дело против такого!..

— Повидал я петухов и понаслышался: зло, насилье, мол, разрушим, в крупу его истолчем. А оно, зло, плодуще, из каждой толченой крупинки яблоком вызревает. Чем мельче толчете, тем больше его растет. Уж лучше бы копили зло-то, в одной куче держали — оно, поди, и пригодилось бы при случае.

— Как же ты, Митрофан, свое зло с богом паруешь? — спросил Адриан Фомич.— Или забыл уже бога? Вспоминаешь ли, что из-за него сразу двоих на тот свет отправил?

— Только дурачки бога добреньким видят. А для бога зло вроде посошка.

— О господи! Речи-то какие! — простонала на печи старуха.

— Убийцы с богом-то дружат! — выкрикнул Женька.— Вот гитлеровцы... У них у каждого солдата на пряжке написано: «Готт мит унс!» «С нами бог» — то есть...

— Люди в страхе перед господом жить должны. А страх через добро не добудешь.

— Ты, Митрофан, смотрю, шибко вырос,— Адриан Фомич поднялся из-за стола.— Кажись, дальше убийцы расти некуда, ан нет, еще, выходит, можно подняться — совсем уж в кромешные ненавистники. Давайте-ка спать. Во сне-то и такого терпеть можно.

— Не боишься, добренький,— старец показывал из бороды желтый зуб,— что я добротой твоей попользуюсь. Я ведь убийца, и ухваточки у меня арестантские. Может, ночью вот встану да с ножичком прогуляюсь по избе.

— Ох! — охнула Евдокия.— Выгони его, батя. Не с нами, так с ребенком что сделает. У-у, проклятущий, такую срамоту порешь и не стыдишься.

— Пугает он, Дуняха. Еле жив, глянь-ко — с курицей не справится, а тут двое мужиков в избе.

Женька тоже поднялся:

— До сих пор только издалека, из окопа убийц видел. Чтоб так близко — впервые.

— Страшон, поди? — спросил старец, укладываясь на полу вдоль печки, ногами к порогу.

— Нет, гнусен.

«С ножичком прогуляюсь по избе...» Конечно, это сказано просто так, чтоб попугать — шуточка убийцы.

Илья Божеумов днем остерегал: враги... будь начеку. Но таких ли врагов имел он в виду? И как бы сам Божеумов отнесся к прохожему старцу? Да, наверное, так же, как и он, Женька: сплюнул да отвернулся, иначе и не поступишь. Нелепо воевать с таким. Лежачего не бьют, а этот, считай, лежит в гробу. Враг отживший.

Божеумов остерегает против других: «Едешь в колхоз, смотри в оба, чтоб не обкрутил...» Кто? Адриан Фомич?..

И Кистереву не смей верить, и выше Кистерева... Не то чтобы все враги, но лучше на всякий случай не верить — подозревай каждого! Да что это за мир получается у тебя, товарищ Божеумов? Нет своих, одни чужие, с задушевным словом к кому — не смей, подведет! Живи да оглядывайся, щелкай по-волчьи зубами. В окопе и то уютней — там только впереди враги, а за спиной-то свои, надежные. За то и воевал, чтоб землю от врагов очистить, чтоб друзья во все стороны... И Кампанеллу допытывал по ночам: подскажи, как дружней жить.

Воровато причмокивал на полатях мальчонка — старуха тайком сунула ему свой кусок хлеба с сахаром. Странник под порогом сопел и чесался во сне.

Адриан Фомич терпит этого «с ножичком», не выставил в шею из избы, а Кампанеллу, похоже, не принял. Не то чтобы не понял — понять не трудно,— не принял, не понравился Кампанелла Адриану Фомичу. Выходит, у тебя не только с Божеумовым нет согласия, но и с Адрианом Фомичом кой в чем не сходишься. А можно ли всем во всем сходиться? Можно ли всем думать одинаково? Наверное, нельзя. Но это не причина для вражды — умей принять непохожих на тебя. Божеумов на дух не принимает. Адриан Фомич принимает даже тех, кто «с ножичком»... Тут тоже перехватить можно.

Мысли метались, не находили ясного ответа.

Душно в избе. У порога сипло, с клекотом дышит натужно спящий странник-убийца. Мальчонка на полатях вздохнул сладостно и тяжко. Он разделался с куском хлеба и сахаром — вздох счастья и сожаления.

Женька не спит. Путаница в Женькиной голове.

Страдая от бессилия, Женька повернулся лицом к стене и... уснул: мгновенно, крепко, как засыпают здоровые люди, которым едва-едва перевалило за двадцать.

9

Адриан Фомич, погромыхивая тяжелой связкой ключей, отомкнул огромный замок, разогнул его заржавевшие челюсти.

— Вот еще сюда...

Председатель колхоза занимался, в сущности, нелепым делом — показывал уполномоченному колхозные закрома. А они были отменно чисты, попахивали слегка

пыльцой, даже в щелях не найдешь ни зернышка. Адриан Фомич водил Женьку от амбара к амбару, отмыкал неподатливые замки. Ничего не попишешь, так надо, Женька обязан потом с чистой совестью отчитаться: осмотрел все, убедился — чисто, ни зернышка.

На него надеются — хотя бы тонну хлеба, чтоб было за чем прислать машину. Тонну?.. Даже мыши сбежали, до того чисто.

А только что в это утро Женька пережил унижение. Евдокия к завтраку напекла картофельных оладий. Подрумянившаяся картошка лежала на черном, с отливом в рыжину и в зелень хлебе, точь-в-точь по виду напоминавшем свежий коровий навоз. «Вот о́на, травка-то...» Перед Женькой положили сельповский хлеб.

— К нашему привыкать нужно, сразу-то его не уешь.

Женька во время отступления две недели питался одними лишь сырыми бураками — только сырыми! Его желудок не способен был, пожалуй, переварить лишь железные гвозди. Трава, что ж, едят же ее другие. Даже интересно, какого она вкуса. Должно быть, никакого, недаром же говорят: «пресный как трава». И он храбро откусил.

Нет, печеная трава не была безвкусно-пресной. Липкая каша, которую он взял в рот, резко пахла гнилостным, перебродившим запахом. Человек — всеядное животное, и Женька был не самый привередливый из людей, но... не выдержал, припадая на раненую ногу, выскочил на крыльцо.

На крыльце сидел странник Митрофан в своем рваном малахае, в бабьем платке вместо шапки и уплетал из рукава такую же оладью из травы.

И на глазах-то этого Митрофана-убийцы Женька перегнулся через перильца...

— Кхе-кхе! Оскоромился...

Сейчас его водят по амбарам, где по-чердачному пахнет пылью.

— Головой не стукнись, тут низко.

Последний амбар. Адриан Фомич как-то неловко отвел взгляд в сторону, бескровное лицо его бесстрастно.

В углу под стеной куча. Женька сначала подумал — мусор, мякина. Перевалился с раненой ноги на здоровую, шагнул к куче, зачерпнул горсть и сразу же покрылся испариной — пшеница, тощая, сорная, дурно провеянная, но пшеница.

Старик бесстрастно смотрел в сторону и молчал.

Мешка три, если не меньше. Жалкая куча сорного зерна. Ее не прячут, иначе бы держали не в общественном амбаре. Унеси в любой дом, положи на поветь, накрой сеном — кто б тогда ее нашел? Прежние уполномоченные — а сколько их прошло здесь до Женьки? — наверняка знали об этой куче.

Адриан Фомич негромко произнес:

— Весна будет. Сеять придется.

И Женька ухватился за его слова:

— На семена оставили?

Адриан Фомич покачал головой:

— Какие же это семена — сор заметенный.

Да он, Женька, не хуже старика знал, что в Нижнеечменском районе забрали на госпоставки все, даже семенной фонд.

— Весной людям работать,— продолжал спокойно Адриан Фомич.— Много ли, сам посуди, на траве наработаешь. Вот все, что сберег, весной по горсточке выдавать буду... Работникам...

Женька ковырял палкой в куче: «Что ж ты мне, старик, показываешь? Я же обязан эту пшеницу сдать! Для того и приехал — найти резервы. Резерв...» Но ничего не сказал, тихо высыпал из горсти зерно в кучу, вытер ладонь о шинель. После сорной пшенички почему-то жгло ладонь.

Три мешка не спасут ни государство, ни авторитет приезжей бригады, ни самого Женьку. Если он отсюда ничего не вывезет, ни одной горсти — поругают за неактивность для порядка, но каждый поймет — уж коль нет, то и не родишь. Если же привезет всего три мешка — будут смеяться: вот, мол, это размах. И никогда он не простит себе, если отберет эти последние три мешка зерна пополам с сором.

— Да,— вдруг торопливо заговорил Женька.— Да... Весной вам круто придется. Пошли.

«Для работников, для тех, кто закладывает новый урожай. Разве не резонно?..» Знакомый командир хозвзвода старшина Лядушкин частенько говорил: «Приказ начальства для нас — закон. А закон — что телеграфный столб: перешагнуть нельзя, а обойти можно».

Они вышли из амбара под мелкий дождичек, сеявшийся на пустынную деревню Княжицу.

10

В конторе правления, в простенке, рядом с отрывным календарем, забыто висит пожелтевший портретик — седой нестриженый человек с чопорно-горделивым лицом в подслеповатых очках. Отрывной календарь меняют каждый год, а портрет бессменен, повешен, быть может, во времена зарождения колхоза «Красная нива». И как он попал сюда, в деревню Княжицу? Женька еще в школе любил почитывать стихи, только потому и угадал — изображен на портретике поэт Тютчев. Тот самый, кто написал песню: «Я очи знал,— о, эти очи! Как я любил их,— знает бог!..»

Случайно занесло сюда Тютчева, случаен и Женька. Самое разумное — встать бы сейчас, взять палку и... даже лошади бы не просил, пешком бы, хромая по грязи, из Княжицы, из Кисловского сельсовета, из Нижнеечменского района...

Хлеба нет, в амбарах даже запах чердачный. Нет хлеба — наглядно, как бывает наглядна сама пустота. Что тебе здесь делать, товарищ уполномоченный?..

До сих пор ты видел войну в лицо: освещенные луной улицы разбитого Сталинграда, улицы — что долины среди диких, выветренных скал, скованная льдом речка Царица, заваленная смерзшимися в корчах трупами, закопченные горбы печей на углищах — степные хутора... А теперь погляди вот, на эту войну сзади, с затылка: тихие-тихие, словно вымершие деревни без мужиков: подавляюще просторные — «зернышко оброни» — поля, переставшие рожать; лепешки на столах, похожие на коровий навоз...

Он, Женька, не волен взять палку и уйти, его командировочное удостоверение выписано на две недели. Ты словно дал служебную присягу, нарушение ее приравнено к дезертирству.

А можешь ли ты сказать во всеуслышание правду, простую, как капля дождя, очевидную, как грязь на дороге, безнадежную, как осенняя погода? Хлеб надо еще вырастить, а на выращивание урожая уходит целый год, две командировочные недели тут никак не помогут.

Женька глядит мимо портрета Тютчева в окно. «Я очи знал,— о, эти очи!..»

За окном — дождь не дождь, просто мокрота, за окном — осень-сверхсрочница. Всего-навсего осень, впереди долгая зима, весна, лето — ох, как далеко до нового урожая!

Адриан Фомич сидит рядом, не снимая шапки.

— Может, бумаги посмотришь?.. Документацию о сдаче,— предложил он.— У нас каждая справочка подшита.

Хлеб заменить канцелярскими бумажками!

Командировка выписана на две недели!..

За низеньким оконцем мелькнула тень, прочавкали быстрые шаги, простучали по крылечку, бухнула входная дверь.

— Кто там — кладовщица или Симка-счетоводка? — погадал равнодушно старик.

Нет, не Симка и не кладовщица. В шерстяной шали, втиснутая в подростковое пальто — талия узкая, бедра распирают,— стуча солдатскими кирзовыми сапогами, вошла Вера.

— Здрасте вам! — счастливым голосом. И белозубая улыбка, и лицо мокрое, исхлестанное ветром, и мокрые, слипшиеся ресницы, и сияние под ними.

И Женька, сам того не ведая, тоже расплылся от уха до уха. Не ждал и не верил, что такое чудо возможно — «здрасте вам!» Такой вот шальной клыкастенький оскал бывает у молодых добрых собак: «От избытка чувств даже куснуть могу, но вреда не сделаю». И чопорно глядит с простеночка засиженный мухами Тютчев: «Я очи знал,— о, эти очи!..»

— Зравствуй, сорока,— ласково поприветствовал Адриан Фомич.— Что принесла на хвосте?

— Обожди, не сразу... Отдышусь. Погодка-то — страсть. В поле дует... Как живете-можете? — И веселым, с искрою, глазом провела по лицу Женьки — обожгла.

— Да вот гадаем, что нам делать? И сгадать не можем. Хоть бы цыганка какая подвернулась, на картах раскинула.

— Может, я за нее сойду?

— Нагадаешь — спасибо скажем. Верно, товарищ уполномоченный?

Женька смущенно обронил:

— Безвыходное положение.

Вера повела в его сторону румяной скулой:

— Установочку дали...

— Уже кое-что,— одобрил Адриан Фомич.

— Те ометы, что в сырую погоду молотили,— перемолачивать. Там должно зерно остаться.

— Кто же до этого додумался?

— Да новый ихний — товарищ Божеумов. Он в колхозе «Борьба» самолично проверил солому после обмолота. Говорит: осталось зерно, можно взять...

— А можно ли?

— Мое дело передать, а вы — как знаете.

— Что ж, Фомич, надо,— подал голос Женька.— Если хоть какое-то зерно не домолочено, то оставлять его гнить — преступление по теперешнему времени.

Вера рассмеялась:

— Не сгнило бы...

— Как это? — не понял Женька.

— Они, может, так и молотили, чтоб самый чуток оставался. Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки по щепоточке, а с мякиной — пригоршня. Верно я говорю, Адриан Фомич?

— Верно, красавица, верно. Кто-кто, а ты-то своя девка, соседская, знаешь, что наш народ — ловкач. Зимой тишком жиреет, никто и не замечает.

Вера фыркнула:

— Да уж, жиреет... А что-то вам делать надо, сидеть сложа руки не дадут, да и самим, поди, тошно.

— Опять, умница, в точку попала. Сидеть сложа руки тошно. Лучше уж с пустой соломой поиграть.

— Трактор скорей просите под молотилку. Не то на лошадях прикажут. Пока трактор идет, вдруг да погодка повыветреет.

— А все-таки я хотел бы проверить прежде — осталось ли в ометах зерно,— сказал Женька.— Зачем мартышкиным трудом заниматься.

— Ометы в поле.

— Сходим сейчас к ним, Фомич.

— Сходим, коль хочешь. Ты — начальство, я обязан во всем тебя слушаться.

— Я могу показать ометы,— вызвалась Вера.— К себе в Юшково бегу, а это по дороге.

— И то дело,— хитро сощурился Адриан Фомич.— Проводишь, Евгений, девку, чтоб волки не покусали.

Вера сверкнула оскальцем.

— Волки! У нас их столько же, сколько парней. Все дороги обегала и ни одного не встретила... волка.

Поля в черной, перепревшей стерне. Скользит, скользит по ним взгляд, оглушает влажная тишина, утомляет пустынность. И не понять, чего так саднящe жаль — то ли всю эту дичающую от недостатка рук землю, то ли самого себя, слабого, неспособного помочь ни этой земле, ни людям.

А самому себе ты чем-нибудь поможешь? Тебе уже двадцать два года. Оглянись назад — жизнь твоя схожа с этими полями: скупа красками.

В восьмом классе он влюбился в Ляльку Возницыну, как ни странно, со спины. Лялька сидела в классе впереди него, и однажды он заметил — у нее из-под рыжеватых воздушных завитков твердая белая шея падает вниз с каким-то стремительным уклоном и растекается под тонким ситцевым платьем в столь же твердую, упругую, гибкую и текучую спину. После этого он стал замечать, что у Ляльки Возницыной и особая походка — порывистая и сдержанная одновременно, и движения крепких маленьких рук мягкие и решительно-властные, и голос у нее низкий, из глубины, обволакивающий. Даже сквозь лицо ее, вяловатое, с этакой не сходящей дремотцой, если вглядеться, проглядывало другое лицо — твердое, настороженное, пугавшее Женьку.

Нет, он не осмелился к ней подойти, не заговаривал, не провожал после уроков до дому. На переменах он тайком, стесняясь и страдая, любовался ею со стороны. Во время же уроков он ничего не слышал, ни о чем не мог думать, все мысли, все чувства были заняты покато падающей белой шеей. В этот год он учился много хуже.

Он ждал каждый день, каждый час, каждую минуту, от урока к уроку... Он ждал великого случая — вдруг да Лялька обернется к нему, первая заговорит... И тогда он признается во всем.

Но Лялька так и не обернулась. На следующий год она уехала из села — ее отца перевели в другой район. И впереди Женьки стал сидеть Витька Жижин — короткая шея заросла волосней. Так и прошла Женькина первая любовь — со спины. Первая и единственная.

Свои восемнадцать лет он встретил на пересыльном пункте. Потом землянки запасного полка, походы с полной выкладкой, стучащие колеса теплушек, фронт...

Вера идет рядом, выступающие из широких кирзовых голенищ колени воюют с полами пальто, норовисто

бодают на каждом шагу. Твердые и округлые колени, обтянутые рыжими чулками. Из-за края пушистой шали — мокрая лоснящаяся бровь, оброненные ресницы, короткий нос, плавная, постепенно крепнущая линия обветренной скулы. В этой скуле застывшее ожидание.

Только самому себе Женька мог признаться, что любил всего лишь раз в жизни, и то «со спины», не знал еще близости ни с одной женщиной, только слышал об этом из слишком откровенных рассказов бывалых дружков-солдат. Да читал в книгах... «Я очи знал,— о, эти очи! Как я любил их,— знает бог!..»

Заглядывался... В госпитале на сестру, толстощекую и сероглазую. В Полдневе — сразу на двух: на остроносенькую делопроизводительницу в райкоме комсомола и на учительницу математики старших классов, замужнюю женщину, а может, уже и вдову, так как от мужа с фронта давно что-то никаких вестей. Пока лишь заглядывался...

Округлые, булыжно твердые колени отгоняют от себя назойливые полы пальто. Профиль Веры застывше натянут. Надо было оборвать молчание, и Женька вспомнил о Кистереве.

— Как он себя чувствует?

Вера разлепила губы:

— Завтра, наверно, на работу выйдет.

— Может, теперь вообще на ноги встанет.

— Нет уж, чего обманываться — помрет скоро.

— Вы об этом так спокойно...

Вера резко повернулась — мрак зрачков в упор, вздрагивание отточенных ресниц:

— Не жалею, да?

— Зачем вы сердитесь?

— Я на себя!.. Рада бы всех жалеть, да не хватает меня на всех-то...— Вера отвернулась и заговорила торопливо, с легкой запальчивостью: — Сейчас еще что, а вот весной... Весной в деревнях на завалинках ребятишки сидят — ручки тонюсеньки, шейки тонюсеньки, головы как горшки, и животы, и глазищи... Глаза-то так в душу тебе и глядят. И лица их как у старичков, кожа складочками и морщинами. Хоть кричи... Возьмешь после кусок хлеба, и рука не подымается ко рту донести. Все их видишь, глазищами в тебя уставились. Ежели б своим куском накормить их можно... Отдала бы последний, умереть готова... Но своей-то пайкой одного не накормишь, не то что

всех. Дай себе волю жалеть — изведешься, а пользы что?.. Я отворачиваться научилась. А вот Сергей Романыч Кистерев научиться этому не может. Все думают, что он от ран болеет, он душой болен... Он тает, а вот я кремешок. Он помрет скоро, а я выживу.

Она шла, попинывая коленями полы тесного пальто, крепкая, рослая, с заносчивой осаночкой, до чего хороша — все простишь. Женька, опираясь на палку, тянул по грязи раненую ногу. Небо набрякло, потемнело, казалось, еще больше снизилось, мир распластанных полей съежился — надвигались очередные сумерки, до изнеможения похожие на вчерашние, позавчерашние.

— Вон омет,— остановилась Вера.— Самый близкий от дороги... По полю к нему сейчас не пройти—увязнете. А потом— зачем?..

— Как — зачем? Проверить-то нужно — есть ли зерно?

— А ежели зерна не будет, тогда что?

— Если не будет, не будем и молотить.

— И что же вам тогда делать — сидеть сложа руки?

— Сидеть?..— повторил Женька.

И ему сразу вспомнилось, что командировочное удостоверение у него выписано на две недели. Сидеть сложа руки две недели, с глазу на глаз с засиженным мухами Тютчевым?.. Страшнее казни не придумаешь.

— Уйду и честно заявлю — хлеба нет!

— Вы заявите, и вам поверят? Думаете, до вас не клялись — нет хлеба...

Посреди раскисшего поля в тусклых сумерках возвышался омет, огромный и сутулый, как допотопный мамонт. К нему не пройти, да и незачем. И Женька заговорил раздраженно:

— Что же вы раньше-то?.. Объяснили бы толком. Мне ведь по грязи скакать не просто — полторы ноги имею.

Вера примирительно произнесла:

— Все-таки, думаю, чуток возьмете хлеба. В сырость же молотили.— Смущенно отвела взгляд, передернула зябко плечами: — Мокрядь какая... До нашей деревни идемте. Тут совсем близко. Отдохнете у меня...

Глядела в сторону, каменела в ожидании. Женька молчал, переминался, наконец не обронил, а скорее сглотнул:

— Хорошо.

Все крестьянские избы похожи друг на друга — красный угол, печь, за́доски, лавки, фотографии в рамке на стене... Выглядят схоже, а пахнут по-своему. Изба Адриана Фомича пахла согретым жильем, Верина — отсыревшей нежилью.

Вера объяснила:

— Мать к сестре перебралась на всю зиму. Там ей легче. А я разве могу бегать сюда каждый день из села. Вот и стоит дом в забросе. Когда прибегу — истоплю, а так — в холоде, тараканы даже сбежали... Да вы раздевайтесь, сапоги сымите. Намяли, должно, ногу-то. Я вам сейчас валенки принесу.

В полутемной избе, под тусклым светом неохотно разгорающейся лампы, она казалась неестественно крупной. На округлых просторных плечах старенькая вязаная кофта, слепяще белая крепкая шея, лицо ее при свете лампы выглядит грубым, броским, зовущим. И тесная юбчонка обливает без морщинки бедра... Такая сильная, такая пугающе красивая выросла в этой мрачной избе, в этом кислом воздухе, в это голодное военное время!

Она металась по избе,— разгорелась печь, запахло дымком, появились валенки, новенькие, что железные на ощупь, но ноге в них было удобно, щелястая выскобленная столешница покрылась белой скатеркой, и сразу же стало уютно...

— А у меня припрятано... Хотела было отдать трактористам, чтоб дров привезли. Ничего, сделают и за спасибо... Селедочка даже есть.

На белой необмятой скатерке оказалась мутно-зеленая поллитровка, два пыльных граненых стакана, крупно нарезанная тощая селедка, хлеб в деревянной миске — покупной, с глянцевитой корочкой.

— Сейчас картошка поспеет...

Сели друг против друга, у Веры сбежал с лица румянец, глаза с вызовом блестели. Женька испытывал озноб под гимнастеркой, от смущения поспешно опрокинул в себя полный стакан водки, крякнул как можно картинней. Выпила и Вера, запрокинув голову, выставив напоказ слепяще-белое сжимающееся горло.

— Вот так! — со стуком поставила.— Молчишь? А ты хвали меня, не стесняйся.

— Молодец. Лихо водку хлещешь.

— Я вообще лихая — сама на шею вешаюсь.

— Зачем ты себя?

— Проверить хочу: могу ли такая нравиться?

— А ты не такая... Не притворяйся.

И она вдруг сникла:

— Верно. Притворяюсь. Я с мужчинами вот так еще не сиживала, водку не пила...

Женька постеснялся признаться, что и он впервые в жизни сидит вот так, с глазу на глаз, с женщиной, хотя водку пивал в разном обществе, и даже отважно.

— В нашей деревне нас девять девчонок росло,— негромко заговорила Вера.— Гулять шли — улицу перегораживали, все одна другой краше, и ростом, и статью... Бабы на нас как поглядят, так и начинают: мол, скоро от женихов деревне продыху не будет, все огороды перетопчут. А что получилось?.. Женихи... Они с винтовками поженились. Многих и вовсе уже нет. А мы, девки... Трое на лесозаготовках надрываются, что лошади. Двое в ремесленное уехали, живут кой-как на городском пайке. Две Любки, Костина да Гвоздева, из деревни так и не выехали, вместе с бабами хлебают лихо, поглядишь теперь — обе старухи, сама даже не верю, что они мне ровесницы. А Нюрка Ванина померла в прошлом году, врачи говорили — воспаление легких. С голодухи-то и насморк в могилу загонит... Все ждешь, ждешь чего-то... Нюрка тоже ждала...— Вера схватила Женькину руку, прижала к полыхающей щеке: — Как увидела тебя, так и поняла — он!.. Хоть на времечко...

Она долго возилась за занавеской, шуршала одеждой.

Лампа была погашена. Луна то заглядывала в низкое оконце у изголовья, то затуманивалась. Ветер, мотавшийся весь день по полям, разогнал наконец войлочную плотность облаков. То вспыхивали, то гасли никелированные шишечки на кровати.

Шуршание одежды за занавеской наконец стихло. Скрипнула половица... Луна осветила ее ноги. А выше полыхающих ног, в тени,— туманно-мутное, облачно-бесплотное тело, можно различить мерцание глаз, мрак волос, откровенные, как раскрытая книга, бедра... Она согнулась, окупув в лунный свет плечи и вздрагивающие груди, поднесла влотную распахнутые глаза, задышала горячим прерывистым шепотом:

— Ой, миленький, ой, родненький, боюся...

Гладко прохладная, выкупанная в остужающем лунном свете, вздрагивающая, заражающая страхом...

Они были оба одинаково неопытны и неловки.

Потом лежали, прижавшись друг к другу, вслушиваясь в собственное дыхание, в неясный скрип и покряхтывание старой избы. По-прежнему за окном среди облаков летела луна и не могла никак вылететь из тесного оконного проема. То гасли, то вспыхивали никелированные шары на кровати. Она жалась к нему, он обнял, стал гладить густые, мягкие, скользкие волосы. Рука задела за щеку, щека была мокрой и холодной.

— Плачешь?

— Ничего, лежи.

— Ты что?..

— Вот я еще хуже стала... ненамножко.

— Ты хоть сейчас-то себя не пинай.

— Уже не девка, уже порченая. Пусть.

— Глупая ты.

И она не ответила, тесней прижалась, похоже, согласилась. А он вдруг почувствовал себя умней ее, сильней ее, старше. Вдруг... Потому что несколько минут назад ни сильным, ни старшим себя не сознавал — послушный теленок...

И его затопила благодарность.

Он гладил густые, текучие под пальцами волосы.

11

Она проводила его за деревню.

Ударил морозец, и пересыщенный влагой воздух помутнел. Сухой, покалывающий туман повис над землей. А вверху размытая луна в тесном кольце — знать, мороз надолго,— и дорога похрустывает корочкой.

— Не заплутаешь в тумане?

— Дойду.

— Держись дороги, она приведет.

В небрежно наброшенной шали, в наспех застегнутом пальтишке, лицо в неверном свете начинающегося рассвета прозрачно, брови на нем кричащие и глаза неправ-

доподобно велики. Подалась вперед, он обнял, пахнуло от тела избяным теплом.

— Иди, замерзнешь — коленки-то голые.

— В субботу встретимся... Может, и раньше прибегу.

Откачнулась и сразу — уже тень, не человек — растаяла в тумане, утопившем деревню.

Почти не налегая на палку, не ощущая раненой ноги, он двинулся вперед. Хрустела морозная корочка под сапогами... И чувствовал вкус ее губ — молочный, солоноватый,— и ее избяной запах, и благовест в ушах ее голоса: «Может, и раньше прибегу!... Может, и раньше!.. Может, и раньше!.. Прибегу! Прибегу!..»

Он улыбнулся в туман, энергично и широко, до усталости, до счастливой боли в скулах.

И туман светлел, неприметно разжижался до синевы отснятого молока. И чувствовалось потаенное движение в глубине этой молочно-синей пучины. Тусклая стерня на обочине скоропостижно поседела от инея. Мерзли руки без перчаток...

«Может, и раньше, прибегу!.. Прибегу!.. Прибегу!..»

Но вот туман впереди заиграл цветами, потаенное движение стало явным, бесплотное обрело плоть. Теперь можно было видеть сам воздух, он шевелился, поеживался, расправлялся, в нем шла деликатнейшая война света и тени, нежно-розового с нежно-голубым.

Неожиданно в гуще этого цветного беспокойного воздуха открылся исступленно красный глаз. Он стал грубо, горячо назревать и расплющиваться. За великой толщей напоенного светом тумана, между небом и землей, из ничего родилось нечто — багряный бочок солнца! И начал развертываться, как зовущее к себе знамя...

Вдруг что-то неощутимо дрогнуло в мире, произошло какое-то тихое потрясение, столь же тихое и значительное, как просыпание — выныривание из небытия. В деликатнейшей войне свершился перелом — свет победил туман. Негодующе цветя и переливаясь, туман начал расползаться, цепляться за землю, но очищая ее. Мир просыпался, мир распахивался! Какой мир! Не вчерашний, гнилой от влаги, каторжно небритый. Каждая былинка сейчас в пушистой шубке инея. Розовой шубке. Застенчиво розовые поля ложились под сапоги. Рождалось солнце, земля, вчерашняя нищая золушка, на глазах превращалась в принцессу.

Ему?.. Все это ему?.. Жизнь! Земля с чудесами!..

И против воли — вина перед теми, кто был с ним рядом, кого теперь нет. Перед Васькой Фроловым, таким же, как он, парнишкой из-под Уфы. Перед теми сорока восемью, что легли вместе с Васькой у Пелеговки. Перед теми — кто под Старыми Рогачами, под Воропоновом, в самом Сталинграде!.. Их нет — он жив! Почему?! Неисповедимо! Нет тут его вины! Но совесть разбужена счастьем...

Разросшееся, варварски красное, громадное солнце жидко заволновалось, стало ломаться...

Он давно уже не плакал. Быть может, с детства.

И вообще случалось ли ему когда-нибудь плакать от счастья?

Еще не велика та радость, которую встречают смехом.

Еще то не горе, что вызывает слезы.

Только тем, кто захлебывается от богатства пережитого,— слезы при радости и смех при горе.

В деревне Княжице дымковыми столбами застолблены крыши.

Деревня Княжица приневестилась от мороза. Грязная вчера дорога сейчас словно подметена. Обсохшие избы какие-то ясные, у каждой неожиданно проступила своя физиономия.

И дым столбами, утверждающий, что тут под крышами согреваются, варят, пекут — живут люди!

Только что-то одно малое, досадное мешало Женьке насладиться видом деревни, дружно выкинувшей хвостатые дымы в небо.

Женька скоро понял, что это — запах. Деревня пахла не по-мирному. В пронзительном морозном воздухе висел силосно-сладковатый душок. Не тяжелые, дышащие, с золотистым отливом хлебы бросали сейчас с деревянных лопат бабы в печи, а лепешки из травы... Силосный запах растекался по морозцу.

Стороной по улице прошел, сгибаясь к земле, странник Митрофан в своем растрепанном балахоне, угарнокопотный, с лиловым клювом из дремучей бороды.

Он, клюя батожком в черствую землю, прошел и не заметил Женьку.

Жив, темный старец! И, поди, тоже рад сейчас солнцу, неожиданной праздничности в воздухе, столбам дыма в небе...

12

На гвозде возле дверного косяка висела военная фуражка. За столом плотно сидел незнакомый военный.

— Вот и он! Ждем тебя, Евген... А у нас — сын приехал...— Адриан Фомич в чистой рубахе, с тщательно расчесанной бородкой поднялся навстречу.— Подсаживайся побыстрей к нашему праздничку.

— Нога разболелась... Пришлось в Юшкове...

— Э-э, брось, парень. Не спрашиваем — нога иль просто назад дорогу запамятовал. Всяко случается.

— Пока молод, жизнью пользоваться следует,— подал из-за стола голос военный.— Кирилл! — Он чуть оторвался от лавки, протянул через стол руку.

Кирилл массивен, рыжеват, усеян конопушками, и все в нем добротно — крутые плечи, ширококостные руки, ладная гимнастерка с твердыми погонами старшего сержанта. Все в нем выдавало служаку-удачника, из тех, кто не в больших чинах, но возле большого начальства, кого не посылают ни в караулы, ни в очередные наряды, кому спешат услужить знакомые старшины — обмундировочка в первую очередь, питание не из общего котла,— с кем стараются завязать дружбу молодые офицеры.

На столе — початая поллитровка, белый хлеб, вскрытая банка тушенки. На Евдокии кофточка с рядом стеклянных пуговиц на плоской груди. Даже старуха на печи надела на голову белый платочек. Действительно праздничек!

— Признался я ему,— заговорил Адриан Фомич,— кого мы с тобой на дороге подобрали.

— Сейчас его мельком видел,— сообщил Женька.

— Гуляет!.. Да-а! — пробасил Кирилл.— По деревенскому сознанию я бы сейчас вскочить должен, кровушку пролитую ему напомнить.

— Знал, что ты парень рассудительный, а все ж побаивался — не сорвешься ли тут.

— Срываются те, кто в руках себя держать не умеет. Я закон чту. Может, закон тогда к этому Митрофану и не на всю железку применили. Может, следовало бы ему вышку дать. Могу теперь только сожалеть, а поправить закон не берусь. Что получится, коль всяк сам по себе порядок устанавливать станет.

Голос у Кирилла был густой, покойный, немного даже сонный.

— Ну, а ежели вам встретиться придется? — поинтересовался Женька.

— Мимо пройду.

— И в душе ничего не шевельнется?

— Шевельнется — зажму.

Адриан Фомич усмехнулся:

— Это чтой-то у тебя за душа такая послушная?

— Должна быть, отец, самодисциплинка. Ежели каждый распустится, взбесится — порядок посыплется.

— А все ж человек — не балалайка, взял себя в руки и сыграл, что схотел. Порой и не получится.

— Значит, сознательности в тебе маловато. Сознательный себе распуститься не дозволит.

В это время за окном, на солнечной обсохшей улице, раздался громкий стук мотора, кашляние, лязгание расхлябанной машины. Адриан Фомич и Женька уткнулись лбами в стекло. Сокрушая затянувшиеся молодым ледком лужи, выплескивая из них темную воду, по безлюдной деревне шествовал трактор. Шпоры на колесах игриво поблескивали на солнце, труба, как вскинутая зенитка, постреливала в небо копотным дымком. Шествовал трактор, и грохот катился впереди него...

— Неужели к нам?..— удивился Адриан Фомич.— Вчера только позвонили, и нате — уже здесь. У нас пожарные тише ездят.

— Порядок, отец.

На следующее утро Адриан Фомич бегал спозаранку от избы к избе, стучал в окна, подымал баб на молотьбу.

Баб раскачать удалось только к полудню.

Сияло холодное солнце над заиндевелыми полями. Стыли угольно-черные леса в голубом мареве. Дремал сутулый омет — иней на нем, как седина в русой бороде. Под ометом, опустив к земле брезентовый хобот,— молотилка. В стороне — трактор, мазутно-грязный колесник, настолько удручающе ветхий, что не верилось — добрался сюда своим ходом. Тракторист — девка в картузе и ватных, лоснящихся от масла штанах.

Бабы сбились молчаливой, отчужденной кучкой,— платки по самые глаза, рваные шубейки с торчащей ов-

чинной шерстью, мужские телогреи, одна в допотопном гречишном азяме, одна в пехотинском загвазданном бушлате, и разбитые, перекореженные сапоги, и опорки, и березовые «туфли в клетку»... Бабы, приодевшиеся на работу «во что похуже», смахивают сейчас на переселенок, которые уже много-много дней находились в пути. Их подняли обмолачивать обмолоченное, переделывать то, что было уже ими сделано. За такую работу нечего ждать награды — ни горсти тебе зерна, ни копейки денег.

Среди баб — Евдокия, невестка Адриана Фомича. Дома у нее не только мальчонка, не только больная старуха на печи, которая без подмоги не спустится и по малой нужде, но еще и гость. Бросить гостя без призору — кукуй себе один — по деревенским понятиям хуже, чем бросить без присмотру малого ребенка. Но Евдокия — родня председателя, не выйти на работу ей просто нельзя — целый год не оберешься попреков: «Мы-то ломи, они в закутке отсиживаются...»

Евдокия принесла старику перекусить — утром не успел даже присесть за стол. Адриан Фомич пристроился возле молотилки, подстелив соломки, разложив на коленях белый плат, торопливо жует... Те же оладьи — картошка с травкой. Гость привез хлеба — две буханки черного и буханку белого, Евдокия могла бы выделить толику свекру, но как можно на глазах всех этих баб есть чистый хлебушко. Кусок в горле камнем застрянет.

Женьке видны со спины вздернутые костистые плечи и тощая стариковская шея. И почему-то эта шея, исхудавшая, старчески беззащитная, вызывает сейчас жгучую жалость. Даже скучившихся, устало молчащих баб не столь жаль...

Женька вспомнил Кистерева, его слова на совещании актива: «Страх в людях давно умер, а совесть жива...»

Случилось все как-то само собой. Сжимая палку в потной руке, изнемогая от жалости, от любви к склонившемуся над своей снедью старику, к бабам, сбившимся в сонную кучу, Женька подковылял вплотную и заговорил сколовшимся голосом:

— Бабы! Родные вы мои! Знаю — голодны!..

И бабы оживились:

— Да ты что, мил человек, масленых блинов дома наелись!

— Обожди, Манька, не хвались, поверит еще...

— Он, может, любушки, накормить нас хочет.

— Сейчас тебе скатерку раскинет!

— Нас целая деревня, заботушка, на всех-то хватит ли?

— Нет, матери вы мои, не могу вас накормить. И вас, и ваших детишек. Рад бы, да нету! В страшное время живем — война! Вы хлебаете, я тоже нахлебался...

— Да уж верим, нанюхался дымку.

— И дымку, и мертвечинки...

— Гляжу на вас — не веселы, устали — сердце сжимается.

— Может, попляшем вместях заместо работы?

— Плясать, знаю, ни сил, ни желания нету, но и горевать нам сейчас не ко времени, бабы. Уж просто потому, что живы мы. Скажете, мол, какая это жизнь! Да какая бы ни была — все великое счастье. Тот, кто сейчас лежит в окопах, вот о таком счастье и мечтает — жить. Меня ранило, а сорок восемь моих товарищей лежать остались. Захотите с ними поменяться судьбой? Нет! Дышите, видите, землю топчете. Вспомните о тех, кто погиб, чтоб мы дальше дышали. В войну всем не сладко, только у одних это горькое пройдет, у других беду уж ничем не поправишь.

— Что уж, правда.

— И то, нам себя отпевать рано.

— Гос-по-ди! А стонем — жизни нетути! Как нетути, когда дышим.

— Стон-то который год по всей стране стоит. Только давайте, бабы, пораскинем мозгами — не прошло ли время стонать нам? Терпели четыре года без малого, сколько еще терпеть? Столько же?.. Да нет! Сами знаете — война-то кончается. Каждый день теперь нашу беду уносит. Мир-то — вот-вот... Он стучится, бабы. Он близко... А раз так, то близко и жизнь настоящая — пироги пшеничные, пляски с гармошкой, работа без надрыва и трудодни выше прежних!

— Ох, и не говори, любой, не верится...

— Врете! Верится! Каждая сейчас верит, что войне конец. Тянули из последних сил, а уж теперь-то дотянем. Еще немного, еще чуточку. Подумайте только: это же последняя такая осень без хлеба. Иль кто не согласен, кто возразит мне,— мол, до следующей осени война

протянется? Нету таких. В голову не придет сомневаться... А раз так, то нам ли унывать?!

И бабы заволновались, зашумели:

— На крохах дотянем, на карачках доползем!

— Мы-то семижильные, а вот у Гитлера тянулка лопает...

— А не хватит ли болтать, бабы, нас дело ждет...

— Поговорили — что хлебушка наелись.

— Доброе слово душу кормит.

— Давай по местам стройся!

Тракторист — девка в картузе — налегла на ручку, и разбитый трактор словно сам подогрелся вместе с бабами, чуть ли не с первого оборота чихнул, взревел, жестоко затрясся.

Адриан Фомич торопливо сунул в карман платок с недоеденной лепешкой, встал, пошел к молотилке.

Женька скинул шинель, по прислоненной лесенке полез на верх омета. Ему снизу подбросили деревянные вилы:

— Держи-и, мужичок!

Перехватил вилы наперевес, как оружие, распрямился до хруста в спине...

Солнце косматилось над хвойно-сплавленными сумеречными лесами. Насквозь промороженные, разбегались заиндевевшие поля, синими переполненными озерами копились среди них тени. Не шевельнется воздух, не мелькнет живое — не в дреме мир, в обморочном сне из сказки о спящей царевне — все замерло, все сковано. И только внизу, под самыми ногами — звонкий шабаш. Плюется грязным дымом трактор, лихорадит его, беднягу, до того, что вот-вот развалится. А громоздкий зверь — молотилка с хоботом — пока молчит, она-то поголосистей трактора. Толкутся, переругиваются, разбираются кто куда бабы, по захватанным до глянца держакам грабель плескается солнце.

И Женька не выдержал, задрал голову, захлебнул сколько мог воздуха и заголосил — бабам, Адриану Фомичу, солнцу, сумеречным лесам:

— На-ача-ли! Заводи граммофон!

Оперся покрепче на здоровую ногу, подцепил вилами охапку соломы — баньку можно накрыть,— сбросил на головы баб:

— Держи-и!

И взвыла молотилка, запричитала, покрыла рычание трактора. Замелькали солнечные держаки грабель.

На омете появилась одна кургузенькая, коротконогая бабенка в пехотинском бушлатике.

— И-ех! В хорошей компании постою...

Но стоять не стала — где там! — бойко замахала вилами, покряхтывая, поохивая:

— И-ех! И-ех!.. Берегись, бабы! Завалю! И-ех!..

Снизу кричали:

— Эй, Манька! Столкни к нам лапушку-то!

— Ой, нет, бабы, не грабьте! Я туточки хоть понюхаю, чем мужичок пахнет... И-ех! И-ех!..

Адриан Фомич в нахлобученной на брови шапке скупенько пошевеливался возле молотилки, совал в барабан перепутанную солому. И озверевшая молотилка то давилась, с глухим скрежетом пережевывала, то звонко, голодно взревывала, пока Адриан Фомич не затыкал жадную пасть.

Жарко. Ныла нога. Приловчился опираться в солому коленом, давал отдых раненой ступне. И, словно крот, рылась в соломе бойкая Манька в пехотинском бушлатике:

— И-ех! И-ех! Завалю, бабы!..

Бабы! Рваные, усохшие, морщинистые, кормленные силосными лепешками. Бабы, давно переставшие быть бабами, исстрадавшиеся над некормлеными детьми, выплакавшие слезы над похоронками... Переставшие быть бабами, но не матерями, сестрами, любящими женами.

Будет еще у вас в доме пахнуть печеным хлебом!

Вырастут ваши дети здоровыми!

К кому-то из вас вернутся мужья.

К кому-то — даже молодость, даже красота...

И солнце катилось над зубчатой хвоей дальних лесов, и пластались поля, и в ложбинках стыли нерасплесканные синие-синие тени. Рычала голодно и звонко молотилка, выплевывала изжеванную солому, гимнастерка прилипала к спине.

Очнулся он у самой земли. Омет осел, было уже темно, бабы собирали вилы и грабли, переговаривались, смеялись, поглядывали на него из-под платков.

— Горяченький мужичок нам попался!

— На ночку бы...

— У тебя, бедовая, ночное-то, поди, поприсохло все.

— А пусть проверит, може, и не присохло.

Женька, с трудом разгибая неподатливую спину, подумал: «А ведь они, наверное, не старухи, так только кажутся...» Хотел спрыгнуть лихо на землю, но вовремя спохватился — нога! Хорош бы он был, если б его после такого праздничного дня потянули в деревню волоком. Слезал бережно, с ощупочкой, по-стариковски солидно.

По другую сторону от молотилки вырос новый омет. Ничего себе горку перекинули! Подошел Адриан Фомич; даже в сумерках было видно, что старик пропылен с головы до ног. Лицо и борода сейчас одного цвета — серые.

— Ну вот,— сказал он без воодушевления,— два мешка полных намолотили да еще в третий насыпали чуток.

— Значит, все-таки было зерно! — восторжествовал Женька.— Значит, прав Божеумов!

Адриан Фомич хмыкнул:

— Выходит, что прав.

— А у вас еще три омета стоят! Если с каждого по два мешка — шесть! Немного, но помощь какая-никакая.

В стороне собирались бабы:

— Корова-то дома не доена.

— У тебя корова, а у меня одни зверушки голозадые по избе шастают. Того и гляди сами себя подпалят.

— Косточки чтой-то... Пока работала — ничего, а теперь вот не разогнусь.

Одна за другой бабы потянулись в темноту.

И вдруг Женька вспомнил слова Веры: «Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки — по щепоточке...» Эти бабы носили бы эту солому. Так вот почему Адриан Фомич сдержан! Три омета — шесть мешков (еще наберется ли?), на всю деревню — крохи, но и того теперь не будет. Зима впереди, весна, лето — только к будущей осени вырастет новый хлеб.

Бабы знали это до начала работы. Знали и согласились остаться без хлеба. Он, Женька, сам того не ведая, убедил их. Работали дружно, весело, не жалея себя. Сейчас идут темной дорогой, и наверняка каждая прикидывает, как выжить без этих «с охапки — по щепоточке». Зима впереди, весна, лето... Как выжить до будущей осени?

Прав оказался Божеумов — был в деревне хлеб. Чуть-чуть, но был.

И уж Божеумов будет торжествовать!

Теперь-то уж можно не сомневаться — бабы отдали последнее, если не считать тех трех мешков сорной пшеницы, что Адриан Фомич на свой страх и риск оставил к весне для работников.

«Страх в людях умер, а совесть жива...» Кистерев, оказывается, хорошо знал баб.

— Сейчас лошадь придет, Евген. С мешками уедешь,— озабоченно произнес Адриан Фомич.— Намял, поди, ногу-то.

Пока ждали лошадь, Женька лазал на коленях по холодной земле, искал в темноте запропастившуюся палку. Без палки нельзя — раненая нога и в самом деле сильно ныла — перетрудил.

13

Утро, на черном небе крупные звезды, рассвет еще далек, избы неприступно темны.

Деревня Княжица спит... Деревня Княжица с радостью бы не просыпалась, пропустив мимо надвигающийся день. Спать бы и спать, не надо есть, заботиться, думать — благодать!

В это утро, выйдя из дому, Адриан Фомич и Женька поделили деревню Княжицу пополам.

— Что ж, ты — направо, я — налево.

Не мог же валяться в постели Женька, когда старик председатель мотается от избы к избе, стучит под окнами.

— Кончай, бабоньки, ночевать!

Щупая палкой мерзлую землю, Женька идет в темноте к первой избе. Сейчас он подымет руку и постучит в окно. Постучать — это так просто...

Нет!

Стучаться приходится в голодный дом: иди добывать последние остатки хлеба! Ты и твои дети тайком рассчитывали на него — спасет, поможет пережить страшную зиму. Нет — отдай!

Отдай, потому что те, кто сидит в окопах, должны есть. Отдай, потому что есть хотят и рабочие, которые теперь стоят у станков по одиннадцать—двенадцать часов в сутки. Их жен, их детей тоже никто не накормит,

кроме тебя, баба из тыловой деревни. Отдай, потому что хлебородные поля Кубани и Дона, Украины и Белоруссии перепахала война. Отдай последнее, потому что другие отдают еще больше — жизнь!

Постучать сейчас в окно — значит позвать баб на подвиг, не меньше. Казалось бы, святое дело, но отчего же не подымается рука?.. Оттого, что ты останешься в стороне, требуешь — отдай, а сам сейчас ничего не отдаешь, ничем, ровно ничем не рискуешь. Через две недели ты укатишь в свое Полднево, будешь себе жить, останется ли этот последний из вымолоченных ометов хлеб в Княжице или не останется — для твоей жизни безразлично. Зима, весна, лето — что тебе, ты переживешь.

Подвиг чужим горбом, чужою судьбой. Ты похож на такого ротного, который бросает солдат в атаку, а сам прячется в блиндаже. Вся разница — рад бы сорваться, принять на себя огонь, рисковать вместе со всеми, рад бы, да невозможно...

При скудном свете звезд — окно, в нем непотревоженный, слежавшийся мрак. Протяни руку, потревожь...

Женька нерешительно топтался, медлил.

По другому концу деревни бежит сейчас Адриан Фомич, подымает баб. Одни подымутся на работу, другие будут спать... Стучи! Так надо! Иного выхода нет.

И он постучал. Во мраке закупоренного окна что-то замаячило.

— На работу собирайтесь! — крикнул Женька и побежал к следующей избе.

Стук! Стук! Стук!..

— На работу!

К следующей:

— На работу!

Давно уже рассвело, давно уже развеялись дымы над крышами, а возле крыльца конторы, куда назначено сходиться,— никого.

Женька порывался еще раз обежать деревню, Адриан Фомич останавливал:

— Пусть по дому управятся. Наш хлебец не осыплется.

Наконец потянулись одна за одной, в платках, замотанных по самые глаза, в рваных шубейках, в простор-

ных, с мужского плеча, телогреях. И опять они смахивают на переселенок — притерпевшиеся, покорно усталые лица. Подвижницы...

Такую же покорную усталость Женька часто видел в походах на лицах своих товарищей. Победа... О ней, наверное, потом без конца будут говорить — из века в век: великая война, героическая! Но забудется одно, что героические победы делаются не вдохновенными, а усталыми — предельно усталыми! — людьми.

— Все ли в сборе?

— Аниски Петуховой нету. Поленница у нее заваливается, так подпирает, чтоб на детишек не порушилась.

— Ждать не станем, пусть нагоняет. Пошли, бабоньки.

— Что ж, пошли...

Вечером дома их ждал опухший от пересыпа Кирилл. Незавидный был у него отпуск — весь день в четырех стенах, в обществе больной старухи, даже бутылочку распить толком не с кем. Кирилл ждал с мутной поллитровкой на столе и с известием на устах.

Оказывается, в деревне был Божеумов, прошелся по амбарам с кладовщицей, уехал... Странно — не завернул на ток, не встретился ни с председателем, ни с Женькой, не расспросил, не указал. Был да нет, мелькнул тенью. Что-то тут неспроста.

Женька выпил полстакана запашистого, что скипидар, самогона — пьян не стал, а сердит, пожалуй.

— Фомич, не кажется тебе, что я тут лишний? — спросил он.

— Объясни на пальцах, милок, что-то не уразумел,— попросил Адриан Фомич.

— Ты без меня этот хлеб не домолотишь?

— Домолочу.

— И сдашь?

— Сдам. Не спрячу.

— Тогда я зачем?

— Это тебе лучше, парень, знать.

— А вот не знаю, не знаю, почему я послан следить за тобой, за бабами? Я честней вас? Я больше вашего конца войны хочу? Иль вы уж без меня фронту не захотите помочь?

Кирилл хмыкнул осуждающе:

— Разговорчики. С такими и докатиться можно.

— Куда?

— К полному беспорядку. Порядок-то, братец, на старшинстве стоит. Он,— Кирилл указал перстом на Адриана Фомича,— над бабами старший,— ты — над ним, а этот, что сегодня тут мелькнул,— над тобой. Все честны, спору нет, а порядочек требует — не пускай на самотек, проверь как следует. И усердная лошадка без вожжей воз заваливает. Так-то.

— А ты не казнись, парень,— заговорил Адриан Фомич.— Ты ведь тут не только следишь да высматриваешь,— мол, не прячет ли старик председатель что в рукав. Ты и помогаешь мне, право. Вон ты как баб раскачал добрым словом.

— Их раскачал, а сам сбегу на сторону. Будете вы тут без меня качаться от травки.

— Не впервой, докачаемся, сам же говорил — конец недалече. Ты мне — подпора, даже не ждал такой — с душой и пониманием, да тут твой старшой вынырнул. Он поймет ли — вот вопросец.

— Божеумов?.. Что он?..

— Капка-кладовщица успела мне шепнуть: пшеничку-то нашу, весеннюю, углядел. Помнишь ли, показывал тебе?

— Помню. Сор, а не пшеница.

— Какая ни на есть, а заметет.

Кирилл строго заметил:

— Ты, отец, того — не влипни. Самому надо было замести и сдать, как положено.

— А весной станут сеять оголодавшие. Такие увидят семена и уж — следи не следи — половину по карманам да по загашничкам растащат. Когда дома детишки усыхают от бесхлебья — ни острастки, ни совести своей не послушаешься. Эхма! Сорная пшеничка эта семена бы нам спасла. А так и на будущий год урожая не жди.

— Объяснить это надо! Государству же вред!

— Вот и объясни Божеумову по-свойски. Поймет он? — подсказал старик Женьке.

— Поймет? Не-е знаю.

— Какое ему дело до урожая, который когда-то у нас будет. Урожай — далек, а Божеумову сейчас надо себя показать — не зря, мол, послан, хлеб добыл.

— Точно! — Кирилл опустил на стол тяжелую ладонь.— У него своя задача. А как бы ты на его месте поступил, отец?

— Да так, как и он поступал,— кивнул Адриан Фомич на Женьку.— Поглядел бы да и забыл.

— А тут проверочка! И вас за это обоих за воротник... Раз спущена установочка — выполняй ее, чтоб тютелька в тютельку. Допусти раз поблажку — все, кому не лень, уверточки попридумают, не семена, так еще что. Эдак все хозяйство по карманам да по загашничкам... долго ли.

Адриан Фомич с невеселым прищуром разглядывал сына:

— И в кого ты, Кирюха, такой рассудительный? Батя твой родной вроде таким не был, и я — тоже...

— Сам дошел, отец, за это и ценят. Прикажут мне — свято! Умру, но исполню. Так-то.

Со старческим кряхтеньем Адриан Фомич поднялся из-за стола.

— Давайте-ка спать, ребятушки. Время позднее.

Поднялся и Кирилл, тяжелой головой под темный потолок.

— Ох, влипнете вы, чует сердце.

14

День начался как всегда. Бабы, долго пособиравшись, кучно, во главе с председателем, двинулись в поле, к разворошенному омету. Женьке нужно связаться с Божеумовым. Он сел на стул, продавленный задами, наверное, многих председателей. Прямо перед ним — поэт Тютчев, по правую руку — телефон.

Женька полчаса крутил ручку, дозванивался до Божеумова, наконец дозвонился — в трубке сладко страдал Лемешев: «Куда-а, куда-а, куда вы удалились...» — и рокотал, как гром из дальней градовой тучи, Илья Божеумов:

— Ты знал об этой пшенице, Тулупов?

— Знал.

— Знал и оставил, утаил от государства?

— Я же тебе объяснял только что. Во-первых, семена!..

— Мне жаль тебя, Тулупов. Молод. Биография чистая. Фронтовик. Ты же сейчас весь свой безупречный фасад дегтем пачкаешь.

«Придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной...»

Разговор по телефону занял пятнадцать минут, не считая дозванивания. А что дальше делать? Впереди целый день. Разыгрывай начальника перед собой и перед поэтом Тютчевым.

Женька достал Кампанеллу и — в который уже раз! — принялся перечитывать, вникая в мудрость жителей счастливого города.

«Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, что они знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками, и т. д.

Община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности, и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им...»

Ну разве не удивительные слова? Триста лет назад сказаны! До чего же туго входит в людей слово правды.

Зазвонил телефон на стене. Ждал — снова услышит градобитный рокот Божеумова, а прозвенело:

— Женечка, здравствуй. Вечером буду дома. Придешь ли?

Запачканный чернилами стол, пыльные папки, осевший шкаф, портрет Тютчева...

Придешь ли?..

Ее голос, ее дыхание, ее тепло издалека! «В субботу встретимся. Может, и раньше прибегу».

Сегодня суббота?.. Вовсе нет — еще только четверг! Придешь ли?.. Господи! Да ползком!..

Снова будет луна, нескромно заглядывающая в окно, туманы над землей, голые коленки, избяной теплый запах, солоноватый вкус ее губ, солнце, рождающееся из ничего, земля-золушка, на глазах превращающаяся в принцессу...

С простенка смотрит чопорный Тютчев. «Я очи знал, — о, эти очи!..»

Сейчас, считай, еще утро. Она будет дома только вечером. И хорошо, что теперь рано темнеет.

Женька снова принялся листать Кампанеллу.

«Любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном вожделении...»

Отстранился, задумался. Любовь и вожделение... Ничего не поделаешь, приходится ставить эти слова рядом. Люблю тебя, но не просто так, не за будь здоров — удовлетворить свое хочу. Вдуматься: святое чувство любовь, оказывается, изнанку имеет, она, что шуба мехом, корыстью подбита. «Любовь у них выражается скорее в дружбе...» Вот дружба бескорыстна. Там, где просачивается хоть капля корысти, искренней дружбы уже быть не может, получится игра в дружбу, притворство.

Мореход, посетивший город Солнца, сообщает:

«Я наблюдал, что у Соляриев жены общи и в деле услужения и в отношении ложа, однако же не всегда и не как у животных, покрывающих первую попавшуюся самку, а лишь ради производства потомства в должном порядке...»

Если б, скажем, эти строчки прочитал кто-нибудь из армейских бывалых дружков Женьки, тот же старшина Лядушкин, то-то раздался бы жеребячий гогот: «Жены общие! Я, брат, без Кампанеллы всю жизнь в это верил!»

С Лядушкина взятки гладки. Ну, а тот раненый лейтенант, что оставил эту книгу... Он бредил и звал Лену. Кто она — жена? Навряд ли. Невеста? Сестра, может?.. Даже если и сестра, захотел бы этот лейтенант, чтоб она стала общей?..

Во времена Кампанеллы жили крепостники-собственники, такие уж жен наверняка держали под замком — не тронь, мое! И не побоялся же Кампанелла тогда сказать свою мысль вслух.

Мудрые жители счастливого города Солнца «издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой...».

«Вот оно что!..» — поразился Женька.

Считается: никто не смей заглядывать ко мне в постель, с кем сплю, как сплю — дело личное. Ой, нет, государственное, и весьма. В своей постели ты можешь причинить великий вред человечеству — пустишь на свет

белый худую породу, будет она размножаться дальше, теснить качественных людей. Отсюда недовольство, раздоры, войны... Нет, любовь — дело государственное! А вот дружба — твое, личное, никому не подотчетна, не подконтрольна. Отдай кому-то частицу себя и не требуй ничего взамен, что́ может быть благородней такого чувства?

А чист ли он перед Верой? А не тянулся ли он к ней с какой-то потаенной корыстью? Вглядись в себя, проверь, осуди без уступок — время есть. Если ты уважаешь Веру — а сомнений в том нет! — то постарайся предстать перед ней кристально чистым.

Тютчев с простенка слепенько пялил очки: «Я очи знал...»

Женька думал о Вере и мысленно чистил себя, приняв за руководство труд доминиканского монаха Томмазо Кампанеллы.

До вечера было еще далеко...

Как и в прошлый раз, шумно, треща и стреляя, топится печь, пахнет дымком, отпотевает промерзшая изба.

Женька, отмахавший на больной ноге «сорочьим прискоком» пять с лишним километров, обутый в валенки, сидит сейчас за столом. Вера, откинувшись назад, изломившись в поясе, семенящими шажками, словно приплясывая, про́несла на вытянутых руках расфырчавшийся самовар, примостила на сковороду, заменяющую поднос:

— Вот, обогреемся...

И быстрый взгляд — лукавый, дерзкий, обещающий. Лицо розовое, накаленное у печи, открытая белая шея, на ней ниточка матовых бус, и синие мелкие цветочки разбега́ются по тонкому ситчику под напором грудей.

— А сахару нет. И во всем сельсовете нету. А то уж достала бы, расстаралась.

Открытая шея с ровным жемчугом... Женька старается не глядеть на нее, но не получается.

Вера уселась напротив, зазвенела чашками и блюдцами:

— Чай зато настоящий, не морковный.

Бусы на шее, холодное стекло на теплой коже, разбегающиеся цветочки на туго натянутом ситчике, но помни — ты пришел сюда с самыми чистыми мыслями! Пряча глаза, Женька заговорил:

— Повис здесь у вас, словно козел на изгороди. Помогаю трясти солому. Невмоготу...

Говорил и прятал глаза, а голос какой-то отсыревший, занудливый — самому тошно. А перед ним широкое распахнутое лицо Веры, щеки горят, глаза лучатся, туго налитые соком губы морщатся смешком. А тут еще шея слепит, шея, перехваченная бусами...

— О соломе ты... Да плюнь на нее через левое плечо. Забудем на время,— советует Вера.

Женька вздохнул. Забыть-то готов, только прежде втолковать Вере должен — не с корыстными мыслями к ней пришел. А так ли? Большой уверенности в себе что-то нет. Мысли сейчас в голове путаются всякие, копни поглубже — и... хоть со стыда сгорай. Вера сегодня уж очень красива, и эти матовые бусы по белой шее...

— Вера! — набрался решимости, собрал всю волю в кулак.— Душу тебе излить... Как другу, самому близкому, единственному!

— С дружбой ко мне, значит? — глаза Веры смеются.

— Да, Вера! Да! Я, Вера, дружбу считаю самым высоким, самым дорогим...— И сам сморщился: фу-ты, черт, занесло!

— Верю, миленький, верю, что ты ко мне за этим на одной ноге прискакал.

— Вера, я, может, жалею, что в тот раз у нас так просто...

У Веры погасли глаза, исчезла улыбка, по открытому горлу под тонкой кожей скользнул тугой комок.

— Жалеешь?.. Вот как!

И голос у нее стал чужим.

— Вера... Скачу к тебе на одной ноге не для того, чтобы удовольствие получить... Нет!..

Вера молчала, у нее некрасиво растянулись влажные губы, глаза потемнели.

— Ты мне очень нравишься. Очень! Хочу другом твоим до гробовой доски... Чтоб без всякой корысти!..

— Я девка, Женечка. Девка обычная. Каждой девке важней дружбы любовь. Те, кто иное скажет,— соврут. Не верь.

— Но любовь-то должна выражаться не в пылком любовном вожделении!

У нее приоткрылись влажные губы, глаза истекали мраком расширившихся зрачков.

— Да что с тобой? И слова-то какие!.. Даже во рту от них вяжет, как от дурной ягоды.

— Вера, я на любовь стараюсь смотреть не по-обывательски. Ведь что такое любовь, если глубже вникать?

— А ты не вникай, ты к себе прислушайся: нравлюсь тебе — хорошо, нет — до свидания. На коленях ползать да за руки хватать не стану.

Назревшая слеза сорвалась с острой ресницы. Вера поспешно нагнула голову и кулачком сердито вытерла глаза. Женька растерялся уже совсем.

— Хочу, чтоб наша с тобой любовь была на такой, как у всех, Вера. Необычайной!

— А я обычного хочу, Женечка. Хочу, чтоб меня любили, как других любят, замуж выйти хочу, детей хочу, чтоб все, как у других, не хуже.

— Замуж, дети... И только-то?

— Мало тебе?

— Мало, Вера!

— Ну, а мне бы хватило. Я в войну поднялась. Не представляю даже, что может лучше быть.

— И я в войну... Война меня помиловала — жизнь оставила, как награду. Так неужели за эту жизнь я только то и сделаю, что женюсь и детей нарожаю? Мало! Награды своей недостоин.

Вера передернула плечами:

— Зябко чтой-то...— Она встала, поблекшая, без прежней пугающей осанки, взяла с лавки шаль, закуталась, не глядя произнесла: — На крыльях сегодня летела сюда...

— Вера! Ведь я же тебя люблю!

— Не надо...

— Вера!

— Что — Вера?.. Думаешь, я ждала от тебя большой любви... вечной? Нет же. Но чтоб уж такой легкой... Чтоб на второй встрече — бери дружбу, да не обижайся...

— Ты не поняла меня, Вера!

— А понимать-то нечего. Неужели я столь плоха, что с одной встречи... приелась?

— Вера!

— Необычного хочу. Ты же обычна, проста слишком.

— Ну, как сказать, чтоб поняла?!

— Зачем? Все понятно.

И Женька вконец растерялся, замолчал. У Веры на

чистый лоб страдальчески вознесены брови, глаза прячутся за ресницы, потаенно поблескивают невылившейся слезой — красива, дыхание перехватывает.

Женька подавленно молчал, а она тихо и твердо сказала:

— Ничего у нас нынче с тобой не получится, даже дружбы сердечной.

На столе все еще шумел неуспокоившийся самовар, в печке звонко и весело трещали дрова, раненая нога блаженно нежилась в теплом просторном валенке.

— Ты меня гонишь, Вера?

Она вздохнула и не ответила.

— Мне уйти?

Молчание.

Женька сидел и, пораженный, разглядывал Веру. Она сутулилась на лавке, куталась в платок, шея с ниткой матовых бус была невидна.

— Откипим вот...— глухо произнесла она в пол,— тогда уж видно будет.

Он сидел и хлопал глазами, она молчала и сутулилась. Наконец он неуклюже полез из-за стола, все еще ожидая, что она остановит: «Ладно уж, пошутили, и хватит».

Она глядела в пол, куталась в шаль и молчала.

Под низкими лохматыми звездами лежала обнаженная. каменно промороженная земля. Женька тянул по комковатой дороге раненую ногу.

«Ничего у нас нынче с тобой не получится, даже дружбы сердечной». Кому-то другому будет она подавать на стол самовар — откинувшись назад, словно переломившись в пояснице, со счастливым лицом: «Почаюем по-семейному, обогреемся». И кто-то другой снимет перед сном с ее шеи нитку бус...

Кампанелла учит...

Кто-то другой... Нет, невыносимо, хочется сесть посреди дороги, поднять голову к звездам, завыть истошно, по-волчьи: «Кто-то!.. Не-ет! Не-ет! Невмоготу! Не-е-ет!»

Тихо-тихо под звездным небом. Скован воздух, скованы морозом поля. Между звездами и мерзлой землей только глуховатый стук каблуков, шуршание шинели и собственное дыхание.

Кампанелла учит... И с каждым шагом дальше Вера. Она не читала Кампанеллу.

Буравя палкой каменную дорогу, сильно хромая, тащился в ночь прогнанный Женька.

15

На следующий день в деревню Княжицу явился участковый. Срочно был отозван от молотилки председатель Адриан Фомич.

Участковый, младший лейтенант милицейской службы Уткин,— мужчина с обширными, прямо-таки перинной пухлости плечищами и виновато-стеснительной полнокровной физиономией. Стеснительность Уткина была хронической.

Каждому встречному не станешь рассказывать, что у тебя в могучем теле бьется ненадежное сердце. До войны Уткина в свой срок призвали в армию, кончил дивизионную школу младших командиров и как-то на учении, в маршевом броске, упал. Тут-то и открылось — врожденный порок, призывная комиссия его просто не разглядела. Можно жить до старости, но можно в любой час, на ходу, без подготовки, умереть.

В начале войны его не раз вызывали на переосвидетельствование, врачи листали бумаги с его болезнью, качали головами, выстукивали, выслушивали, посылали на рентген и отпускали: не годен!

Не годен для армии, а для милиции по военному времени сгодился. Самое неприятное, Уткин не чувствовал себя больным — наливался полнотой, со стороны поглядеть — распирает от здоровья. Как тут не стесняться себя: все на фронте, а ты, этакий слон, околачиваешься в тылу. Особенно страдал Уткин, когда приходилось ему приводить в чувство загулявших инвалидов войны: «М-мы кр-ровь!.. Ты р-ряшку!» Застесняешься.

Вот и сейчас, стараясь не глядеть в глаза ни Адриану Фомичу, ни Женьке, ни кладовщице, темноликой бабе, участковый Уткин обозрел наличие пшеницы, уточнил ее вес, опечатал амбар. В конторе правления, сняв шапку, но не сняв черного дубленого полушубка с погонами, пристроился у стола на просиженном стуле, начал

медленно, старательно, сопя и потея, вырисовывать на форменном бланке акт об укрытии.

Адриан Фомич, Женька, кладовщица, пригорюнившаяся у порога, не спускали глаз с крупной, перевитой набухшими венами руки, выводящей закорючки. Все понимали, что в эти минуты свершается таинство перевоплощения. Если куча сорной пшеницы, заметенной в угол амбара, не проведенной ни по каким бумагам, до этого времени не считалась ни частной, ни колхозной, ни государственной, то теперь с каждой закорючкой невнятная пшеница обретала точную характеристику — ворованная.

Появился Кирилл, затянутый в ремни, в фуражке, посаженной на голову по-уставному — звезда точно на линии носа. Он уселся в сторонке, выражая всей своей внушительной фигурой: «Я полон почтения, но мнение свое имею».

Участковый Уткин поставил точку, насупив белесые брови, минуту-другую обозревал содеянное, потом, несмело кашлянув, протянул Адриану Фомичу:

— Все ли верно тут нацарапал?

Адриан Фомич, мельком взглянув, отодвинул:

— Да ведь лишнего ты на меня не напишешь, а вины не сымешь, что смотреть.

— Порядок такой... Ознакомьтесь и вы, товарищ Тулупов. И распишитесь.

Женька не притронулся к протянутому акту, скосил лишь глаз, сказал:

— Я против... Ни о какой подписи речи быть не может.

Наступило молчание, темноликая кладовщица у порога протяжно вздохнула, а участковый Уткин завороженно смотрел на Женьку, кротко помаргивал белыми ресницами.

— Как же так? — спросил он.

— Это не укрытие, не присвоение и уж никак не воровство!

И участковый Уткин не возразил, лишь кротко моргал.

— Как же так?

— Я выскажу свое несогласие где следует,— Женьке было неловко под кротким взглядом участкового.

Но Уткин не успокаивался:

— Как же так? Получается: документ только мною освидетельствован?

— Не подпишу, извините.

— Имеете право! — вдруг веско заявил Кирилл.

И участковый Уткин обратил помаргивающие ресницы в его сторону.

— Имеет полное право не подписывать, ежели не согласен.

— Но что же получается? Я один документ освидетельствую. Выходит, что мне одному желательно Адриана Фомича привлечь.

— Не подпишу вашу бумагу.

Участковый Уткин совсем было закручинился, но вдруг широко, во всю свою просторную физиономию, улыбнулся, стал складывать акт, засовывать его в сумку:

— Не подписываете, и отлично! Очень даже!.. Кто говорит, что вы таких прав не имеете? Имеете! Я предлагал — вы отказались, свидетели есть. Заставить силой не могу. А документик... Документик-то... Адриан Фомич, пока что силы не имеет...

— А если не секрет, как там планировалось — под статью кодекса подвести или же припугнуть только? — поинтересовался Кирилл.

— Точно не знаю,— отозвался участковый.— Я погоду не устанавливаю... По моим наблюдениям, ввиду острого положения могут и под статью. Вполне могут. Нынче с хлебом большие строгости.

— Попугать отца было бы даже очень полезно. Для оздоровления. У тебя, отец, одна болезнь,— Кирилл, скрипнув ремнями, повернулся к Адриану Фомичу: — мягкотелость! Да! Из жалости ты и пшеничку эту придержал, не для себя, для людей,— мол, им туго. А на мягком-то железные чирьяки вскакивают. Так-то!

— А я, Кирюха, пуган много раз. Видать, горбатого могила исправит.

— Было бы тебе известно, отец, неисправимых людей нет! — Кирилл поднялся, добротный, статный, в ремнях, в сукне, в начищенных пуговицах.— Приглашай, отец, гостей на чаек.

Компанией двинулись к дому Адриана Фомича.

Перед тем как сесть за стол, участковый Уткин вызвался полить Женьке на руки, вышли с ведром на крыльцо.

— Я здесь родился, здесь вырос, здесь три года уже

участковым работаю,— заговорил вполголоса Уткин.— Всех знаю, любому могу дать характеристику...

— Ну и...— подбодрил Уткина Женька, понимая — тот что-то хочет ему сказать.

— Ну и заверить вас хочу: честней человека, чем Адриан Фомич Глущев, в округе нет.

— А зачем вы меня в этом убеждаете — сам вижу.

— Затем, что дело на него собирается, похоже, серьезное.

— Какое же серьезное — три мешка сорной пшеницы!

— Совершенно верно, в другое время — плюнуть и растереть, а сейчас — нет. Сейчас у нас в районе — вы, бригада уполномоченных то есть. При вас, как при представителях, сами понимаете,— каждое лыко в строку.

— Мы не люди разве — не поймем? Нами детей пугать?

— Очень извиняюсь, неточно выразился... Наоборот, люди, и с совестью, потому и решил подсказать насчет Адриана Фомича...

— Слушаю.

— Если вы не подпишете...— Уткин крупной рукой сделал в воздухе решительный крест,— закроется! И ни-ика-аких!

— Будьте уверены — не подпишу. Вам полить на руки?

— Плесните, коль не затруднит. И еще... Я — человек служебный, склоняться в ту или в другую сторону прав не имею, так что — разговор этот между нами, надеюсь, останется.

— Никому! — пообещал Женька.

16

На следующее утро Адриан Фомич, как обычно, совершал стариковскую пробежечку от окна к окну, подымал баб молотить. Женька попросил у него лошадь, отправился в сельсовет к Божеумову.

Вера, добросовестная секретарша, склонилась над столом — прядка волос упала на насупленный лоб, пальцы в чернилах, на столе горой папки. Она разогнулась, смахнула со лба прядь, сказала чинненько:

— Здрасте.

И вздрогнула, не всем телом, даже не лицом, а еле уловимо каким-то одним мускулом. Женька почувствовал, что сейчас здесь вовсе не покойная, деловая обстановка, заставляющая обкладываться бумагами, пачкать чернилами пальцы. Вера взвинчена, хотя и не подает вида. Из-за дверей кабинета слышались голоса — рокочущий Божеумова и тенористо-сверлящий Кистерева. Они не взлетали до высоких нот, слова разобрать было трудно, но сквозь плотно прикрытую дверь ощущался нешуточный накал.

Женька сделал нерешительное движение к двери, но Вера остановила:

— Лучше обождать.

Да и он сам уже это понял — двое рубятся, третий не мешайся.

Дверь распахнулась неожиданно, показался Кистерев, косоплечий, с воинственным мочальным хохолком на макушке. Ему в спину летел глуховатый раскатец:

— Не печальтесь, еще доберемся и до вас!

Кистерев передернул плечом, хлопнул дверью. Женька вновь удивился хрупкой тонкости его лица, восковой прозрачности. «Болезный», это слово означает в деревне не только больной, но беззащитный, страдающий.

— Здравствуйте, Сергей Романович,— сказал Женька. Надлежало бы спросить: «Как себя чувствуете?» — после приступа не виделись, но не спросил.

— Это вы! — очнулся Кистерев, протянул руку.

— Пришел объясниться... Это же черт знает что! За три мешка сорной пшеницы...

— Ему — бесполезно! Объяснял элементарнейше: я приказал Адриану Глушеву оставить в колхозе злосчастную пшеницу, я настоял, чтоб ее не вносили ни в какие статьи дохода!

— Это на самом деле так было? — спросил Женька с невольным сомнением.

Кистерев сердито брызнул на него синевой глаз:

— Раз я так говорю — извольте верить! Если винить, то меня!

— И Божеумов за это ухватился?

— Нет.

— Странно.

— Ничего странного.

— Он вас... Ну как бы сказать?

— На дух не терпит,— подсказал Кистерев.— Этот унтер Пришибеев не так глуп, оказывается. Раскусил, что я вроде Кащея Бессмертного, в лоб не бери, а лови уточку с яичком, где Кащеева смерть лежит.

— Уточка эта — Адриан Фомич?

— Кто знает, может, старик Адриан всего лишь перо от уточки. Ваш унтер дальновидный человек.

Вера протянула Кистереву бумагу:

— Сергей Романович, вот переписала, как вы просили.

Он пробежал глазами бумагу, пристроил на уголок стола, расписался:

— Как в дипломатическом корпусе — нота-протест против узурпации. В райком направляем. Но райком наш сейчас под вашей бригадой сидит. Вы у нас верховная власть, божеумовы.

Женька вспыхнул.

— В данном случае к планам Божеумова я не имею никакого отношения! — отчеканил он.— Я отказался подписать акт!

— Знаю.

— Тогда что же вы ставите меня на одну доску с ним?

— Вы забываете об одной вещи, юноша.

— О какой?

— О силе коллектива.

Божеумов встретил его из-за стола прицельно-пристальным взглядом. За последние дни он тоже похудел, потемнел лицом, но подтянут, выбрит, свежая царапина украшает подбородок.

— Кончили? — спросил Божеумов.

— Что — кончили? Ты, может, здравствуй скажешь?

— Долго же вы, голубки, под дверью ворковали.

— Коршуна славили.

— Да уж догадываюсь.

Помолчал, встал, прошагал от стены к стене на ногах-ходулях, повернулся к Женьке всей грудью:

— Сообщи своему сизарю однокрылому, что я его теперь любить и холить готов, чтоб ни один волосок с многострадальной головы и прочее...

— А разве ты ему сейчас сам все это не сказал?

— Повторение — мать учения.

— Давай лучше решать мой вопрос.

— Давай,— буднично согласился Илья, деловито подошел к столу, выдвинул ящик, вынул знакомый бланк, исковырянный химическим карандашом участкового Уткина.

— Вот распишись, и делу конец,— сказал он.

— Уж так просто — раз, раз, и в дамки.

Глаза у Ильи были бутылочно-зеленого цвета с крохотным зрачком.

— Еще один в петлю лезет. Везет мне сегодня.

— Выслушай все по порядку!

— А что ты мне скажешь? То, что уже по телефону говорил: оставлено на весну... Основа нового урожая...

— Ты и вправду считаешь, что Адриан Глущев — преступник?

— Он укрыл от государства хлеб—полтора центнера! А теперь судят тех, кто горсть зерна в кармане унес.

— Акт я не подпишу!

— Так и сообщить прикажешь?

— Так и сообщи.

Илья Божеумов ленивым вздохом, потушив зеленые глаза, снял с телефона трубку:

— Нижнюю Ечму, пожалуйста. Да побыстрей... Нижняя Ечма? Станция? Барышня, отыщите-ка мне Чалкина... Он или в райисполкоме, или в райкоме у первого... Не кладу трубку...

— Вот хорошо, что с Чалкиным... Ни разу не мог ему дозвониться...

— То-то он сейчас возликует... Да! Да!.. Да, слушаю, Иван Ефимович! Это Божеумов опять беспокоит... Осложненьице, Иван Ефимович, осложненьице! Так сказать, солдат нашей роты по противнику стрелять отказывается... Да, он самый, Тулупов... Подготовили акт, Тулупов на дыбки встает, подписывать отказывается. Уж я втолковывал ему, Иван Ефимович, втолковывал... Он здесь, напротив сидит. Пожалуйста... Тебя! — Божеумов протянул Женьке трубку.

Негромкий, но внятный, озабоченно домашний голос Чалкина:

— Ты что, детка, фокусы устраиваешь?

— Иван Ефимович, мы губим человека! За три мешка сорной пшеницы...

— А нам дело надо спасти, детка. Большое дело, ради которого сюда посланы.

— Мы же в этом колхозе будущий урожай подрываем! Голодные работники сев сорвут. Три мешка сорной...

— Ты мне по телефону песню про белого бычка петь собрался? Я же сказал — надо! А дальше сам соображай.

— Сорвать сев надо?! Голодный колхоз снова без урожая оставить — это надо?! Три мешка сорной...

— Бестолков ты, детка, бестолков. Я с тобой не дотолкуюсь. Передай, детка, трубочку Илье...

Божеумов принял трубку и стал прохладненько кивать:

— Есть... Ладно... Да уж попробую. Не пойму только, зачем это с ним так... Есть! Есть! — положил трубку, сказал с досадой: — Чего это он тебя спасает? Хочешь в уголовное дело влезть — да милости просим.— Подтолкнул Женьке акт.— Положи перед собой и слушай... Сколько вы там собрали хлеба после обмолота?

— Да считай, что ничего. Мешков шесть из обмолоченных ометов наскребли.

— Значит, нет хлеба. А будет?

— Откуда он возьмется?

— Верно — взять неоткуда. Ну, а зачем нас сюда послали?

— Если арестуем Адриана Глущева, хлеб не появится.

— И с нас спросят: какие меры мы приняли? Что нам ответить? Никаких?..

— Но ведь эта мера бесполезная!

— Ой ли? Мы кто — специальная бригада, брошенная на чрезвычайно острый участок, или экскурсия? А раз чрезвычайная, то принимай чрезвычайные меры, не либеральничай. Случай с Глущевым заставит зачесаться тех, кто хлебец по тайничкам рассовал. А такие есть — да, есть в каждой деревне, в каждом колхозе. Вот и вытряхнем — у одного три мешка, у другого пять, у третьего и с десяток припрятано на черный день. В общей сумме, глядишь, кругленькая цифра набежала. Не бесполезная мера. Отнюдь!

— Давай искать тех, кто прячет. Адриан Фомич не прятал, не скрывал, держал в амбаре... сорное зерно, отходы. И за это его с милицией, как уголовника!

— Что делать, если нарвался. И, кстати, ты в этом ему помог. Забрал бы тихо-мирно эти три мешка, и ника-

ких осложнений. Нарвался — получи. Мы не в салочки-поддавалочки играть приехали.

— Чужой кровью румяна наводить! — Женька оттолкнул от себя акт.— Возьми! И разговаривать не хочу больше!

Божеумов откинулся на спинку стула. В его узкой, разделенной на две неравные части надломленным носом физиономии ни возмущения, ни раздражения, скорей удовольствие: ну и прекрасно, все дошло до нужной точки.

— Старик Чалкин что-то сдавать стал,— заговорил он, тая усмешку.— Я ведь возражал ему — не бери этого сопляка в бригаду. Нет, уперся. Нда-а...

И Женьку вдруг осенило. А Божеумову-то очень хочется, чтоб он не подписал этот акт. «Солдат нашей роты стрелять отказывается...» В бригаде уполномоченных — случай дезертирства. Получается, Чалкин распустил бригаду, срывает кампанию, он, Божеумов, ее спасает. Сдавать стал Чалкин — старик, пора на пенсию. Как же не быть довольным сейчас Божеумову — козырной туз сам в руки лезет.

— Вольному воля, спасенному рай. Я силой принудить не могу, сам подпишу акт.

— Через мою голову? По колхозу Адриана Глущева уполномоченный от бригады пока я. Я ведь крик подыму.

— Нет, дружок, ты уже к тому времени уполномоченным не будешь—отправим домой со славою. А там—сам на себя пеняй. Скандал на всю область! В Полдневской бригаде раскольник объявился, поперек пошел. Разбирать будут на областном уровне. Словом, картина ясная.

И опять Женька уловил в лице Божеумова, в его голосе надежду: «Скандал на всю область...» Сам-то он, Женька, в этом большом скандале сгорит, как мотылек в пламени костра. А Божеумова не обожжет, Божеумов поднимется. Выходит, гори во славу Божеумова. Призадумаешься...

Лежит на столе неподписанный акт. Стоит только взять ручку, написать под ним свою фамилию — скандала не будет. Про Чалкина никто не скажет, что старик начал сдавать. Божеумов как был под Чалкиным, так и останется. А он, Женька, через какую-нибудь неделю уедет отсюда вместе с бригадой, честно исполнившей свои обязанности,— ни либеральничавшей, принимавшей чрезвычайные меры. Лежит на столе помятая бумажка...

А в деревне Княжице станет на одного человека меньше.

Божеумов умехнулся:

— Муравей гору не столкнет. Сам понимать должен — не маленький. Чалкин настаивает, потому и нянчусь с тобой. А по мне — как хочешь. Ну, решай! Да так да, нет так нет, последнее твое слово, и до свидания. У меня и без тебя дел хватает.

— Обождем,— сказал Женька.

— Нет уж, ждать не буду.

— Будешь! Без согласия Чалкина не решишься, а Чалкин навряд ли торопиться станет... к скандалу-то.

Женька поднялся. Божеумов сверлил его зеленым глазом.

— Божеумов сам подпишет акт! Сам! Я не подпишу, но не поможет это. Я на все готов, если б помогло... А тут — и Фомича не спасем, и Божеумова подсадим на место Чалкина. Хозяином станет в нашем районе...

От Божеумова их отделяла лишь закрытая дверь, но Женьке уже было наплевать, что тот может его услышать. Он даже хотел, чтоб слышал: война — так война в открытую!

Вера, уронив ресницы, сидела за столом, из распахнутой старой кофточки рвутся вперед крепкие груди, лицо розовое — взволнованное и замкнутое одновременно. Рядом с ней Кистерев, приткнувшийся на стуле, смотрит в сторону, в низенькое оконце, слушает — маленький, ссохшийся, скособоченный.

— Не хочу подсаживать такого на высокое место. Не хочу!

Кистерев, не отрывая взгляда от окна, проговорил:

— Ну, а если я вам посоветую... подписать. Вы согласитесь?

И Женька замер. Робко шелестела бумагами Вера.

«Посоветую... согласитесь?..» Он же ждал, ждал такого совета. Не сам решился — подсказали, посоветовали те, кто умней, старше, опытней. Не сам — значит, не станет и мучить совесть, можно спокойно спать по ночам, жить не казнясь. Не сам — снята вина. И с Чалкиным отношения не испорчены, и скандала не случится, и гореть не придется, и Божеумов не выскочит в хозяева. Все на

своих прежних местах, знакомый скучный порядок. Конечно, жаль Адриана Фомича, очень жаль, но... Но уж тут не поможешь, не его вина.

Шуршала бумагами Вера. Женька молчал, ошеломленный открытием: тайком крался к самоспасению и не подозревал.

— Так согласитесь или нет? — повторил вопрос Кистерев.

— Нет,— сказал Женька. И решительнее: — Нет!

Кистерев оторвался от окна, повернулся всем телом — страдальческая синева глаз, узкое бледное лицо.

— То-то. Подло перекладывать на других, что обязан решать сам.

В это время дверь кабинета распахнулась, Божеумов, торжественно прямой, держа в руках бумагу, шагнул к ним.

— Интрижки плетете? Бросьте, напрасный труд.— В голосе пренебрежение, во всей вытянутой фигуре, в деревянно прямой спине, разведенных острых плечах — сознание своей праведной силы.— Ты говорил: быстро не получится, ждать придется,— обратился он к Женьке.— А стрижена девка кос заплести не успела — получилось, вот!..— Божеумов тряхнул бумагой: — Подписано.

— Ты?..

— Я.

— Ну смотри!

— Нет, теперь уж ты смотри да почесывайся.

— Я же опротестую! Я же писать буду!

— Куда? Кому?

— И Чалкину! И в область! Не остановите.

— Хм!.. Пока вы тут ворковали, я Чалкина обо всем как есть информировал. Чалкин и приказал мне подписать. А в область?.. Зачем? Чалкин раньше тебя область поставит в известность. Сейчас, верно, крутит телефон, дозванивается... Так что — пиши, бумага терпит.

Божеумов шагнул к Вере, положил перед ней акт:

— Передай Уткину, пусть оформляет ордер... как положено, с визой прокурора. И побыстрей.

Снова поворот на каблуках к Женьке:

— Пока ты еще на прежнем положении. Пока... Поворачивай обратно в колхоз, сиди там, жди. Придет время — вызовем. Здесь тебе отираться нечего. Хочешь ли, нет ли, а придется сказать старику, чтоб сухари сушил...

А вы, кажется, недовольны, товарищ Кистерев? Возразить хотите?

Кистерев каменел на стуле, покоя на коленях единственную руку, поводил глазами, следя за каждым шагом, за каждым движением Божеумова.

— Мое возражение впереди, Божеумов.

Божеумов серьезно, без улыбки, даже с важностью кивнул:

— Подождем.

17

С печи уставилась провальными глазницами больная старуха, время от времени она роняла сдавленный стон:

— Ос-по-ди! Что деется!

С полатей торчала мочальная голова мальчишки. Евдокия у шестка сморкалась в фартук.

Адриан Фомич, только что вернувшийся с молотьбы, сидел за столом с умытым, спокойным лицом, сивая бородка лопаточкой еще мокра после умывания и аккуратно расчесана гребнем. Он хлебал щи и выговаривал Женьке:

— Ты зря это, парень, на рожон прешь. Добро бы — своя корчажка вдребезги да моя квашня цела, а то ведь пользы-то никакой.

— Имеет право. Корчажку свою в огонь сую! — Кирилл в нательной рубахе, в темно-синих галифе, заправленных в шерстяные носки, вышагивал от стола к порогу, и половицы постанывали под его плотным телом.

Адриан Фомич с досадою повел плечами на его слова:

— Ты небось свою корчажку в горячее не сунешь.

Кирилл густо крякнул.

— Я тут гость нынче, а он при власти ходит. Позиции наши не одинаковы. Вот я к себе приеду, там я хоть и не в больших чинах, но фигура. Доступ имею. Я там нажму на педали. Уж будьте уверены.

— Ты, Евген,— продолжал старик,— еще ведь не жил, только на первую приступочку ногу заносишь. И на-ко, на первом шагу тебя пихнут. А за-ради чего? Да сторониться не захотел, напролом лез. Напролом-то, парень, не ездют, любая дорога с изгибочками.

— А ежели сторониться в привычку войдет? — хмуро спросил Женька.

— Аль только привычкой человек живет, не рассудком? Рассуди прежде — есть ли нужда прямиком лезть? Не к робости да оглядке зову — к пониманию. Силен медведь, но и его свалить можно при сноровке, жидка тень, да ее не сковырнешь со стены. С тенями не воюй. Какая мне польза от того, что тебя гонять станут?

— Оспо-ди! Оспо-ди, что деется!

— Не-ет, отец, не-ет — возмущает! — опять загудел Кирилл.— Перегибчик с тобой сотворили. Ежели б это зерно у тебя в закутке нашли, тогда и я слова бы не сказал,— хоть и отец ты мне, но ответь по всей строгости!

Светила лампа сквозь туманное, со ржавой заплатой стекло. Всхлипывала и сморкалась в конец платка Евдокия. Торчали с полатей мочальные космы мальчишки. Маячили над печью черные глазницы старухи. Беда движется к этому дому, она близко, она рядом.

Женька гнется на лавке и думает. Адриан Фомич пытается сейчас решать за него. Вчера, пожалуй, и послушался бы его. Сегодня стариковская доброта настораживает. Чуется в ней еще невнятная, еще не ущупанная фальшь.

— Сколько тебе лет, Фомич? — спросил Женька.

— Э-э, милый, под метку дотягиваю. Через три годика семь десятков стукнет.

— А сколько тебе дадут — год, три, пять, может?

— Это уж все едино. Даже год... Разве выдюжу?

Евдокия, тихо давившаяся от слез, запричитала в голос:

— Кормилец ты наш! Не свидимся!..

И Женька вскинулся:

— О жизни и смерти вопрос! Человек гибнет, а ты подпишись! Если б ты сделал такое — простил бы себе? Нет, всю бы жизнь себя клял. На клятую жизнь толкаешь!

Адриан Фомич ничего не ответил. Сдавленно подвывала у шестка Евдокия.

— Что деется! Ос-по-ди! — глухой стон с печи.

Кирилл остановился посреди избы, громадный, всклокоченный, растерянный.

Адриан Фомич отодвинул от себя миску с недоеденными щами, поник над столом лицом.

— Да-а,— выдавил он.— Совесть зла... С ней не поладь — заест. Что ж, может, ты прав, парень.

Женька не поддался, решил по-своему. Кистерев был бы им доволен сейчас. Горькая гордость от ненужной победы.

А утром, до рассвета, при стынущих звездах, Адриан Фомич, как всегда, побежал сзывать баб на работу. Оставался недомолоченным последний омет...

18

И вот... Возле крыльца лошадь, впряженная в широкие розвальни, щедро набитые сеном.

Евдокия, тихонько подвывая, собирала старика в дорогу. Долгую ли, короткую? С возвратом или без возврата? Ни участковый Уткин, ни кто другой ответить на это не мог.

Участковый сидел на лавке, сняв шапку, в полушубке, громоздкий и смирный, как ручной медведь, вытирал пот. На печи, в пещерном мраке, словно в бреду, металась старуха:

— Оспо-ди праведный! На кого кару наводишь?

И выла вполголоса слепо тычущаяся по избе Евдокия, глядел с полатей, как сурок из норы, мальчишка. Кирилл в гимнастерке распояской, в синих галифе, заправленных в шерстяные носки, нечесаный, неумытый, еще днем опроставший бутылку, крикнул:

— Дусь! На стол подай! Знаешь, где у меня стоит... И-эх! Проводы тебе, отец, вышли. Все садись к столу! И ты, служивый, подваливай.

— Не имею права,— сокрушенно ответил Уткин.— При исполнении обязанностей нахожусь. А вы — давайте. Никак не тороплю. Сколько нужно, столько подожду.

Евдокия сунула на стол бутылку самогона, снова с подвываниями заходила кругами по избе.

Женька за стол сесть отказался. Адриан Фомич сел:

— Щец домашних напоследки похлебаю. И что уж, плесни, Кирюха, для согрева. Только малую...

Адриан Фомич не спеша, сквозь зубы, процедил стопочку, принялся есть свои еще вчерашние щи, не спеша, с той проникновенной, вдумчивой аккуратностью, с какой едят только пожилые крестьяне, больше других знающие, какова ценность пищи, Кирилл опрокинул в себя стакан,

крякнул. Он был бледен, россыпь веснушек выступила на его тесаных скулах.

— Вот думал, отец, сегодня... Весь день думал: кого я на свете люблю, кто мил?.. Уважаю многих, а люб-то мне ты один. На всем свете — ты только!

— Бедновато живешь,— ответил Адриан Фомич.

— Я бедноват, а ты богат лишка, батя. За то и страдаешь — за лишнее богатство души. Встречного и поперечного готов миловать и приголубливать. А то ли время для милованья? Ныне полмира кровью обливается. Раньше-то говорили: кто не с нами, тот наш враг! А теперь враги нам даже те, кто с нами. Вон Англия и Америка — союзнички, пока с нами, но до первого поворота. В такое время очень-то жалостливым быть нельзя: рано или поздно — ожжешься.

— Оспо-ди! Меня накажи, оспо-ди! Меня — нестоящую! Зачем, осподи, добрых людей губишь?

— Вот и ее, батя, ты себе на шею повесил, а зачем? Какая нужда в том?

— Ну, хватя пустое болтать! — оборвал Адриан Фомич, отстраняясь от стола.— Поговорим о деле. Тут Дуська остается с парнем. Меня любишь — полюби-ка их.

— Отец! Евдокия! Слушай!.. В жизнь не оставлю! Аттестат переведу. Приезжать буду, следить, чтоб зазря не обижали. Родные вы мне али не родные? От исполнения долгу Кирилл Глущев никогда не уклонялся!

— И ее тоже! — дернул бородкой в сторону печи Адриан Фомич.

— Ее?..— Кирилл потряс отяжелевшей головой и неожиданно согласился: — А пусть... Ежели Дуська не прогонит.

— В жизнь не прогоню,— откликнулась Евдокия со стороны

— Тогда — пусть...

— Ос-спо-ди! Прибери меня, оспо-ди! Хоть энту-то милость сделай, коль на другое тя не хватает!

— Дотлевай, старая, хоть это и на чужом загорбке... Но пусть!

— Она всю жизнь на своем загорбке других возила,— напомнил старик.

Адриан Фомич встал, высокий, плоский, с обычным покойным бескровным лицом, повернулся в угол, к темным забытым иконам, перекрестился.

— Все ли изготовила, Евдокия?

— Ох, готово, родной! Ох, кровинушка наша горькая! На кого ты нас покидаешь, лю-у-убый!

Старик повернулся к участковому Уткину:

— Что, служивый, вези, коли так.

Лошадь застоялась, била копытом в мерзлую землю.

На отдалении толпились бабы и детишки, должно быть, все население деревни Княжицы от мала до стара: вздохи, горькое сморкание, сдавленный шепот. Среди баб, сам как баба — в рваном балахоне распояской, в платочке по волосам, только дико бородат — странник Митрофан, держит в очугуневших от холода руках батожок, глядит недвижными, пустыми глазами. Где-то живет, чем-то кормится, чьей-то пользуется добротой, забыл, видать, о кладбище, вот пришел проводить нелюбимого Адриана Фомича...

Адриан Фомич в лохматой собачьей шапке, туго подпоясанный кушаком,— словно собрался в поле, только котомка в руках. Кирилл, обтянутый ремнями поверх шинели, но без синей фуражки, простоволосый. Плачущая Евдокия, мальчишка-внук в больших валенках, участковый Уткин, смиренно-неуклюжий в нагольном полушубке, и Женька в наспех накинутой шинели, с палкой.

Евдокия кинулась на шею старику.

Слабым тенорком заплакал мальчонка, стал цепляться за деда. Запричитали бабы:

— Фоми-ич! Золотко!

— Стыдобушки у людей нету! Такого человека сердешного!..

— Заботушка ты наша!..

Адриан Фомич отстранил ласково Евдокию, приподнял и притиснулся бородой к лицу внука, шагнул к Кириллу, обнял:

— Помни, Кирюха!

— Эх, отец!

— Одне остаются!

— С себя кожу сыму да согрею.

— То-то.

Женька стоял за спиной родни. Старик подошел к нему:

— Ну, Евген, прощай...

— Нет, до свидания... Еще не конец, Фомич, еще драться за тебя станем. И не только я, Фомич...

— Э-э, золотко, что уж... Ну-ка, обнимемся.

Борода старика попахивала хлебным мякинным запахом.

Старик повернулся к бабам:

— Не осудите, любые. Как мог, так и жил, может, и делал что поперек — так простите.

— Да уж бог с тобой, Фомич, на тебя ли нам обижаться?

— Ласковей тебя мы не знали.

— Заботушка ты наша...

Участковый Уткин разровнял в розвальнях сено, почтительно поддержал Адриана Фомича под локоток.

— Я тут тулупчик специально прихватил. Ноги накрой, Адриан Фомич... Вот так, тепленько... Ну что ж?..

— Едем.

Медвежковато-громадный участковый подоткнул тулуп под Адриана Фомича, завалился боком, шевельнул вожжами. Конь — не из деревенских конюшен — резво взял с места.

Завопила Евдокия, запричитали потянувшиеся к ней бабы.

От толпы, от крика и плача, сутулясь, уходил странник Митрофан, бывший убийца.

Кирилл длинно выругался, поминая бога, мать, жизнь в одной хитросплетенной фразе.

— Пошли, там у меня еще одна бутылка припрятана.

А в избе металась на печи старуха:

— Да как же он уехал?! Да что же он на ноги-то обул? Валенки-то его вона стоят. Валенки совсем новые, теплые.

— Валенки! Новые! — взъярился Кирилл.— Вы все думаете, что старик на курорт поехал. Валенки! Тулупчик...

Пришла Евдокия, привела трясущегося сына. Старуха уползла вглубь, забилась к стенке, притихла, Женька сидел, не снимая шинели, смотрел в пол. Кирилл выудил непочатую бутылку, вышиб пробку, расплескивая самогон на стол, разлил в стаканы.

И никак он не мог успокоиться, ворчал рычаще:

— Тулупчик! Ноги продует! Так вашу мать!..

19

Позднее утро, сквозь окна в избу сочится натужный нечистый рассвет, освещает на неприбранном столе пустые бутылки. За занавеской спит пьяным, обморочным сном Кирилл. Шуршит на печи старуха. Евдокия звенит в сенцах ведром, собирается доить корову.

Позднее утро. Сегодня никто не бегал по деревне, не стучал в окна: «Бабы! На работу пора!»

Адриан Фомич успел управиться до приезда Уткина — вчера кончили перемолачивать последний омет.

Колхоз остался без руководителя. Кого вместо Фомича?.. Женька даже представить не может — мужиков в деревне нет, из баб председателя?.. Женька перебрал в памяти тех, с кем сталкивался, ни одна не подходит.

И чего он ломает голову — не ему решать. В районе станут прикидывать, примеривать и скорей всего пришлют человека со стороны. Тот будет изо всех сил — правдами и неправдами — отказываться от Княжицы, где весной в поля выйдет полтора десятка голодных баб, где своих семян нет, их выдадут в счет будущего урожая, да и они, эти семена, до земли в целости не дойдут — порастащат: детишки голодные. Кому охота взваливать на шею неподъемное хозяйство!.. И прибудет такой сторонний председатель с одной лишь мыслью — потянуть до случая, пусть снимут, пусть даже с нагоняем, но без особых мер, портящих послужную биографию. Нет большей беды для колхоза, чем такие вот птицы перелетные — руководители.

Адриан Фомич... Он не семи пядей во лбу, не агроном с образованием, не организатор с размахом — простой мужик, кого до войны, пожалуй, и простым-то учетчиком не выдвинули бы. А сейчас этот Адриан Фомич незаменим, потому что свой — не улетит на сторону, потому что его в Княжице знают, ему верят, без хитрости честен, без суемудрия сведущ. Три мешка сорной пшеницы — дорого же они обойдутся для Княжицы. И для государства, в конце концов, тоже... Как этого не понимают Божеумов с Чалкиным?

Ометы перемолочены, все, что можно было сделать, сделано, торчать здесь Женьке смысла нет. В полевой сумке весь его дорожный скарб: полотенце, мыло, зубная

щетка, бритва-безопаска и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.

Кирилл спал, старуха на печи не откликнулась на «прощай», шуршала, постанывала. С исчезновением Адриана Фомича больную старуху мир, что дальше края ее лежанки, интересовать перестал.

Евдокия в сенцах процеживала молоко.

— Дуся, я уезжаю.

Она разогнулась — лицо темное, в резких морщинах, губы спеченные, глаза вдавленные — за одну ночь стала старше лет на десять. Вытерла фартуком руку, молча протянула. Женька подержал ее черствую, безжизненную ладонь, сказал горячо:

— Лоб расшибу, а докажу — не виновен!

Евдокия, судорожно сглотнув, кивнула головой.

На том и расстались.

Женька не пошел даже в контору — там пусто, дежурит на стенке бессменный Тютчев,— направился прямо в конюшню. Он решил не брать с собой провожатого. Лошадь обратно пригонит Вера — лишний раз съездит к себе в Юшково.

Не спеша ехал по гулкой, окаменевшей от мороза земле, среди доверчиво распахнутых полей, под высоким умыто-бледным зимним небом, на котором без вражды жили косматое холодное солнышко и сквозная, как клок легкого облачка, луна.

Подъезжая к сельсовету, Женька насторожился — что-то тут происходит. Две машины стояли под окнами: черная изношенная «эмка» и приземистый, как лягушка, «виллис», превратностями судьбы выброшенный с фронта на тыловые нижнеечменские дороги. Две легковые машины,— значит, здесь, в Кислове, районное начальство. Должно быть, и Чалкин тоже...

У крыльца, как всегда, лежали, положив угрюмые морды на лапы, два кистеревских пса. Их присутствие говорило: раз мы здесь, то здесь и хозяин, раз мы спокойны, то и с хозяином все в порядке — не болен.

Вера вскинулась при виде Женьки:

— Я вам звонила, звонила!.. Никто не отвечает в Княжице.

— Некому отвечать.

— Идите быстрей, там вас ждут! — Вера кивнула на дверь кабинета.

За столом, который в последнее время по-хозяйски занимал Божеумов, снова восседает Кистерев. На этот раз он выглядит необычно, словно сразу же из этого сельсоветского, с продавленными стульями кабинета собрался отправиться на военный парад: на глаженой суконной гимнастерке от плеча до плеча по впалой груди — пестрота ленточек, блеск серебра и эмали. И вторая рука у него сегодня на месте: бережно положена на стол, рукав гимнастерки облегает ее торжественно-мертвыми складками. Кистерев кажется сейчас выше ростом, шире в плечах, хотя лицо синюшное, глаза беспокойно поблескивают откуда-то издалека — из-подо лба.

У стены, локти в стороны, коротколапые руки давят в разведенные колени, выпирающий под пиджаком живот, поднятые плечи, крупная седая голова — секретарь райкома Бахтьяров. Лицо у него утомленно-озабоченное, угловатое, отражающее суетные тревоги этой нескончаемой, неприветливой осени, что тянется за окном.

Напротив него, у другой стены, Чалкин, шея обмотана теплым шарфом, нос лакированно красный — простужен,— глядит сквозь слепенькие очки в железной оправе, очень похожие на те, какие носил поэт Тютчев.

Божеумов — рядом с Чалкиным, сцепил костлявые пальцы на остром колене, выкинул вперед хромовый сапог с отчетливым следом снятой галоши, надломленный нос нацелен на Бахтьярова. С появлением Женьки все пошевелились, оглянулись на него: Чалкин пытливо сквозь очки, Божеумов пренебрежительно поведя носом, Бахтьяров с отрешенной терпеливостью, так как что-то говорил, пришлось прерваться, Кистерев с коротким кивком.

— Садись, голубчик,— указал Чалкин на свободный стул рядом с собой.

Женька сел и оказался напротив Бахтьярова. Все ясно — два лагеря, предстоит бой. Женьке указали место — в каком лагере быть.

— Продолжайте, Иван Васильевич. Внимательно вас слушаем,— произнес Чалкин.

— Так вот...— продолжал Бахтьяров глуховатым голосом.— Не нужно быть пророком, чтоб понять — новый год для нас будет уже мирным годом. А значит, сейчас мы должны готовиться к мирной жизни.

— Разве для этого нужна какая-то особая подготовочка?— ласково спросил Чалкин.

— Нет, не подготовочка,— твердо ответил Бахтьяров.— Придется менять весь образ жизни. В войну жили одним — выстоять, выжить сегодня, сейчас! Кто сомневается теперь, что выстояли?! А раз так, то думай о будущем, о том урожае, который вырастет в конце следующего года, не будь врагом самому себе.

— А посему?..— подкинул Чалкин.

— А посему — сменим педали, товарищ Чалкин, не станем выжимать из колхозов последние силы, побережем их.

— Инте-ре-есно! — протянул Божеумов.— Эт-то выходит, что лозунг: «Все для фронта, все для победы!» — уже снят с повестки дня?

Узкое лицо Кистерева при звуке голоса Божеумова дрогнуло, он уставился, но не на Божеумова, а куда-то мимо него, вдаль.

— Пока нет, товарищ Божеумов, но нужно быть слепым и глухим, чтобы не готовиться к тому дню, когда фронт, как таковой, перестанет существовать, наша победа окажется свершившимся фактом, а военный лозунг сам собой снимется.

Божеумов нетерпеливо дернул навешенным сапогом:

— Вот когда он снимется, когда будут поставлены новые лозунги, тогда и начнем по-новому действовать. Пока что не снят!

У Кистерева тонкие губы в брезгливом до страдания изгибе. Бахтьяров же, не шевелясь, раздвинув локти в стороны, тяжело опираясь на колени, изучающе, в упор разглядывал Божеумова. В маленьких, упрятанных глазах мерцала колючая искорка.

— Пока не подстегнут вожжой... Хороший конь сам выбирает дорогу, не ждет понуканий. А может, вы не верите в близкий конец войны, Божеумов?

Божеумов снова пнул сапогом воздух:

— Верю в конец, жду его, но боюсь, как бы при виде этого близкого конца мы не расслабились, не раскисли благодушно.

— Вы видели наш район, Божеумов?

— Да уж видел, во всей, так сказать, обнаженности.

— Так о каком расслаблении речь, Божеумов? Расслабляют силы, когда они есть. А нам бы здесь, Боже-

умов, сохранить сейчас остатки сил. Их очень мало, Божеумов! Неужели не заметили?

Божеумов решительно скинул ногу с колена, собирался ринуться на Бахтьярова, но Чалкин перехватил его:

— Минуточку... Иван Васильевич, дорогой, что вы говорите, все верно, но это, извиняюсь, общая стратегия. Опустимся-ка пониже. Двиньте-ка нам конкретные предложения, а мы послушаем.

— Согласен, слушайте... Вы сделали свое дело — нашли в районе какой-то хлеб...

— Мало. Ой, мало! — пожаловался Чалкин.— Не того от нас ждали.

— Мало. Но я буду требовать от области, чтобы и это малое осталось у нас.

— К-как?! — удивился Божеумов.

— А вот так: отымете и это — окончательно подорвете район. Богатейший район, когда-то бывший житницей области.

— Тэк, тэк, тэк!..— Чалкин даже встал и снова сел.— Что же это получается, дорогой Иван Васильевич? Мы же сюда приезжали не ревизовать, мы сюда за хлебом приезжали... Да! Для страны. А уедем с пустыми руками. Нас не похвалят, да и вас по головке не погладят.

— Вот поэтому-то я к вам и обращаюсь: давайте встанем плечо в плечо и будем защищать район. Крайне необходимо!

— То есть сядь, дорогой товарищ Чалкин, на одну со мной скамеечку?

— Не хотите?

— Да уж признаюсь откровенно: большого желания не испытываю.

На тяжелое лицо Бахтьярова легла тень.

— А вы задайте себе вопрос,— проговорил он,— почему я горю желанием помочь этому обессиленному району?

— Хе-хе! Не меня, а вас поставили к печке дрова шевелить. Приходится.

— Я ведь мог пошевелить да сказать: не разгораются дрова и не разгорятся — тяги нет. Но вот хочу все-таки влезть в печь с головой, исправить тягу, растопить, чтоб грело, всех, и вас в том числе. Помогите. Не мне — району. Вас ведь тоже, как и меня, послали сюда... дрова шевелить.

— Да очнитесь вы, товарищ Бахтьяров! — холодно, не без пренебрежения одернул его Божеумов.— На что вы нас толкаете? Мы же шутами гороховыми выглядеть будем. Приехали с заданием взять у вас хлеб, приняли для этого ряд решительных мер, вплоть до того, что привлекаем кой-кого — того же Глущева хотя бы — к судебной ответственности. За что? Да за укрытие пшеницы! Теперь эту пшеницу оставить, где лежала? Нас же спросят: что это вы одной рукой отбираете, другой отдаете, караете и по головке гладите — несерьезно, шутовство какое-то!

— Верно,— не дрогнув ни одной складкой на лице, ответил Бахтьяров.— Не должно быть шутовства. Поэтому Глущева надо срочно освободить. Он делал то, что, на мой взгляд, сейчас нужней всего, на свой страх и риск пытался сохранить в колхозе силы на будущее.

На минуту наступила тишина. Чалкин ерзал и досадливо морщился. Божеумов в упор сверлил глазами Бахтьярова. Парадный Кистерев, сплющив тонкие губы, глядел загадочно скользящим мимо виска Божеумова взглядом, и гримаса брезгливого страдания лежала на его лице. Женька цепенел на своем стуле и ждал, ждал, сам не зная чего — какого-то чуда.

Чуда не случилось, вновь раздраженно заговорил Божеумов:

— Лихо же вы подминаете под себя. Ну да и мы не дети. Мы приехали не разводить поблажечки, жалостливыми словечками нас не расколешь.

И снова на минуту молчание. Бахтьяров пошевелился:

— Что ж... Я, признаться, и не надеялся особо...

И Женька вскочил. У Чалкина под очками, средь добрых дедовских морщинок,— остановившиеся глаза, в них отчетливое: «Эй, детка! Эй! Не шали!»

— Иван Ефимович,— обратился к нему Женька, сдерживая рвущийся голос,— неужели вы не поняли?..

— Чего, голубь?

— Не поняли, что в яму район толкаем. Я понял, а вы — нет? Ну, Божеумов не понял — не удивляюсь. Он нормально глядеть на человека не умеет, только целится — враг! Где тут понять...

— Не зарывайся, Тулупов! — бросил Божеумов.

— А может, ты, Божеумов, зарываешься? С первого дня, как сюда попал.

— Похоже, яйца курицу учат,— сдвинул в усмешечке морщины Чалкин.

— Нет, Иван Ефимович, нет! Сам сейчас учусь. Глядя вот на вас, задачу трудную решаю...

— Какую, золотко?

— Кто вы такой, Иван Ефимович? Трус или...

— Или?.. Договаривай, детка.

— Или наполовину мертвый, кому уже ни горячо, ни холодно от чужой беды. Без сердца надо быть: видеть, что тут творится, и соглашаться — пусть еще хуже будет.

— А не кажется ли тебе, молодец: оскорбляешь меня, старика? Могу и не стерпеть, в сознание привести.

— Пугаете, Иван Ефимович? Не стоит. Уж как-нибудь смерти не боялся на фронте, а тут струшу... Вы лучше задумайтесь, чего вам-то бояться? Сесть на одну скамеечку с Бахтьяровым страшно? Чем вы рискуете, Иван Ефимович? Самое большее — на пенсию выставят. У вас, я слышал, сын на фронте убит. Так вспомните — он бо́льшим пожертвовал.

Лицо Чалкина стало прозрачно-восковым, бесчисленные морщинки утонули в бледности.

— Не трогай моего сына, паренек,— сказал он.

— Я не его трогаю. Мне, может, перед ним совестно, что случайно счастливее оказался. Перед всеми, кто там остался... Не лучше я их, а мне жить выпало, им — лежать. Ну, а раз выпало, то уж хочется жить так, чтоб они попрекнуть меня не могли. А вот вы, Иван Ефимович, наберетесь ли храбрости сказать перед памятью сына: «Верно живу»?

— Что я вам говорил: нечего было этого молокососа в бригаду тащить,— чеканно, даже с ноткой торжества произнес Божеумов.

— Конечно, нечего! — подхватил Женька.— Чужой, на вас непохожий. Мир жить должен, как Божеумов прикажет. Вот, оказывается, ради чего мы воевали, за что ваш сын, Иван Ефимович, голову сложил. А может, все-таки смилостивишься, Божеумов, посоветуешься с нами, как жить дальше. С ним хотя бы...— Женька указал на Кистерева.— Он же полжизни своей за нашу будущую жизнь в окопах оставил.

— Я ем-му рта не затыкаю, Тулупов, но и слушаться его ник-как не обязан. В армии он надо мной был бы старшим, а здесь — извиняюсь!

А Чалкин молчал.

Кистерев же на этот раз глядел из-за стола не скользяще мимо виска Божеумова, а прямо ему в лоб.

Женька повернулся к Бахтьярову:

— Не знаю, товарищ Бахтьяров, поможет ли вам мое слово, но я его скажу... Я отдельную записку составлю о том, как Глущева за три мешка сорной пшеницы... О том, как в Княжице последние надежды на урожай украли! Напишу и пошлю. Вот и все!

Женька сел. Бахтьяров в ответ легонько кивнул тяжелой головой.

— Кажется, ясно,— повернулся Божеумов к Чалкину.— Не пора ли нам кончать?

Чалкин молчал. И Божеумов ответил сам себе с холодной убежденностью человека, верящего в свою власть над другими:

— Поговорили. Выяснили. Вы, Бахтьяров, сулите орла в небе, а нам нужна синица в руки. Все ясно. Будем делать, что делали.

— Не все ясно! — поднялся Кистерев, подтянуто стройный, взведенный, на запавших щеках пунцовеют пятна.— Не ясно мне, Божеумов, кто вы?

— Может, документы вам предъявить? — усмехнулся Божеумов.— Извинить прошу, раньше не догадался.

Кистерев с цветущими пятнами, бледным лицом подался к нему через стол:

— До-ку-мен-ты?! — с клекотом в горле.— То-то и страшно — у вас, Божеумов, документы... с печатями, подписями... по всей форме! Кто вы — с начальственным мандатом в кармане?! Вы! Который видит, что богатый район дошел до истощения, и старается истощить до дна! Вы! Который знает, что война кончается, победа близка, и портит эту победу!

— Но-но! Полегче, Кистерев!

— Полег-че! — Кистерев громыхнул стулом, вышел из-за стола, встал напротив Божеумова — вишневые пятна на запавших щеках, жесткая складка тонких губ, заполненные мраком глазницы.— Нет, вы не портите победы, вы ждете...

— Не меньше вас, Кистерев.

— Ждете и делаете все, чтоб после нее богатые поля зарастали чертополохом! Чтоб в деревнях жрали траву и

толченую кору, а в городе сидели на голодном пайке! Такую победу ждете, Божеумов?

— Вы слышали?! — голос Божеумова сололся на тенорок, он оглянулся на Чалкина.

Чалкин молчал. А Кистерев, подавшись вперед узкой, украшенной орденами грудью, задыхаясь, продолжал:

— Вы враг победы, Божеумов! Враг с мандатом в кармане! Враг, порожденный войной! Да, да! Война рождала не только героев, но и разную сволочь — предателей, вроде генерала Власова, полицаев, а в тылу... божеумовых! Да, таких вот, без души и сердца. Когда кипит, пену наверх выносит...

Божеумов сорвался со стула, головой под потолок:

— Как вы смеете?!

— Смею!

— Иван Ефимович! Слышите? Оскорбления!

— А вы хотите, чтоб я с врагом осторожничал? Целовал вас в сахарные уста?

— Иван Ефимович!

Но Чалкин глядел в пол, прятал подбородок в шарф.

— С врагом — по-вражьи: или он тебя, или ты его! — Угрожающе цветут пятнами щеки Кистерева, бледный лоб лоснится испариной.— Только так, Божеумов! Фронт приучил меня!

Чалкин молчал, и Божеумов понял — надо защищаться в одиночку; сутуловатый, с нависшим носом, он тоже подался на Кистерева и закричал:

— Война рождает еще и неврастеников, сумасшедших! Вы ненормальны, Кистерев! Не в себе! Больны!..

— Да, болен...— тихо, сквозь зубы.— Да, ненавистью... к тем, кто мешает жить.

— Вот, вот! Ваше место в больнице! В желтом доме! В смирительной рубахе!..

— Мешала гитлеровская сволочь — бил их, не жалел себя... А с вами как?..

— Бейте! Давно стращаете. Бейте! Вот он — я!.. — Божеумов тянулся к Кистереву, подставлял себя.

Кистерев стоял, опираясь здоровой рукой на край стола, пятна слиняли с его лица, оно стало пугающе зеленым, на белом лбу — мелкой росой — капельки пота.

— Никакой нейтральной полосы — рядом...

— Бейте! Докажите всем, что вы сумасшедший!

— Рядом, лицом к лицу...

— Да, рядом! И не боюсь вас!

— Эй, Сергей! Не вздумай! — колыхнулся всем телом Бахтьяров.

— Ага-а! — торжествовал Божеумов.— Ничего вы со мной не сделаете, Кистерев! Руки коротки!

А рука Кистерева слепо шарила по столу, наткнулась на чернильный прибор, сбила стеклянную чернильницу. На вылинявшей кумачовой скатерти стало расползаться лиловое пятно.

— Сергей! — Бахтьяров поднялся.

Кистерев подымал тяжелую подставку чернильного прибора, плитку тусклого серого мрамора. Бахтьяров шагнул вперед, закрыл собой Божеумова:

— Не дури, фронтовичок!

Кистерев постоял, глядя поверх плеча Бахтьярова на Божеумова, и осторожно-осторожно опустил на стол мраморную подставку.

— Да... Да... Ты прав, Божеумов... Я ничего с тобой... Ты не танк, чтоб со связкой гранат... не взорвешь...

И вдруг пошатнулся, начал медленно клониться вперед, зеленое лицо стало сонно-равнодушным. Бахтьяров подхватил падающего Кистерева. Женька кинулся на помощь.

Придерживая с двух сторон, они повели обмякшего Кистерева к двери. Божеумов, пятясь, уступил им дорогу, встал у стены, сгорбленный, с желтым, перекошенным лицом. Чалкин растерянно блестел подслеповатыми очками, тянул тощую шею из просторного шарфа.

20

Вера убежала за фельдшерицей. На крыльце выли собаки. Бахтьяров сидел возле койки Кистерева — локти в стороны, руки в колени. Женька топтался у него за спиной.

Кистерев пришел в себя, лицо стало, как в прошлый раз, из бледного до зелени воспаленно-розовым, лоснилось от пота. Он лежал и глядел в потолок мутными глазами.

Выли собаки на улице.

— Иван...— позвал Кистерев тихо, почти одним дыханием.

— Что, Сережа? — склонился Бахтьяров.

— Иван... помнишь... элитные поля за Звонцовом?

— Лежи, брат, лежи. Не трать сил.

— Колосья на них... на ладони не помещались...

— Еще будет расти такой хлеб у нас! Будет, Серега!

Молчание. Выли на улице собаки.

— Без меня...—шелестел шепот.

— Нет уж, держись до победы. Не смей сдавать.

— Иван... ведь получился бы из меня агроном, если б... не война!

— Из тебя я, Серега, тогда хотел не простого агронома — метил вместо себя двинуть. Думал: сам на пенсию — директором совхоза тебя оставлю.

И больной слабо пошевелился:

— Хотел тут в колхоз... председателем... Но где... бегать по полям... Вот в сельсовете... должность кабинетная...

— Молчи. Я буду вспоминать, а ты слушай... Помнишь, как в школу к вам пришел, рассказывал, что такое элита?

— Хлебный жемчуг...

— Рассказываю, а сам приглядываюсь: деревенские парнишки — волосня кудельная, носы от солнца облезли, рубахи латаные. Среди них один — ростом мал, но, видать по всему, гвоздь, не хватай голой рукой — уколешься. И вопросы задает дельные, и в глазах интерес. Вот, думаю, кого надо выманить на селекционную работу...

— Как давно...

— Да не так уж и давно по времени — восемь лет. Только годы-то уж очень крупны, из них четыре военных — эпоха... Черт! Что это твои собаки так закатываются? Под такую музыку и здоровый сляжет.

— Боятся — помру...

— Сергей, держись! Мир скоро.

— Не будет мира...

— Будет! В дверь стучится!

— Мир? Пока божеумовы живы?..

— Божеумовы истории не остановят.

Собаки на минуту перестали выть. На крыльце раздались шаги. Это Вера привела фельдшерицу.

В тесной комнатушке пятерым не пошевелиться. Женька вышел, чтоб не мешать.

За окном на дворе стояла лошадь, на которой Женька приехал из Княжицы.

Чалкин с Божеумовым за закрытой дверью в кабинете что-то сердито бубнят между собой. Скорей всего обсуждают его, Женьку. С ними связан, числится в одной бригаде, вместе придется возвращаться обратно в свой район. А там-то Чалкин и Божеумов хозяева... В их глазах он, Женька,— предатель.

А для Кистерева и Бахтьярова он — приезжий, временный, собственно, тоже чужой.

Дремлет на морозе лошадь за окном. Воют собаки.

Вернуться в Княжицу?.. Уже простился. Там-то он и вовсе теперь не нужен.

Не нужен и Вере...

Женька никогда в жизни еще не был одиноким. До войны — какое одиночество у мальчишки. Дома — отец с матерью, улица полна товарищей... На фронте... Там и днем, и ночью с людьми: спишь под одной плащ-палаткой, ешь из одного котелка, даже если вылезешь на порыв линии один в открытое поле, под пули, под рвущиеся мины, то знаешь — о тебе сейчас думают, на тебя рассчитывают, твоего возвращения ждут.

Сейчас словно подвешен в воздухе — все рядом и все в стороне. Куда девать себя? К кому приткнуться? И собаки воют, выматывают душу.

Проскрипели половицы, кто-то встал за спиной. Заставил себя обернуться. Вера! Закутана в шаль, под длинными ресницами страдальческая синева, глаза устремлены в окно, на Женькину заиндевевшую лошадь.

— Ты сейчас куда? — спросила она.

— А не знаю.

— Вот и я... не знаю.

— Тебе ночью придется дежурить, как в прошлый раз.

— Не придется. Фельдшерица ни на шаг не отойдет. Бахтьяров не разрешит.

Помолчали. Неспокойный блеск глаз из-под шерстяной шали, тихое:

— Едем в Юшково.

— Если приглашаешь...

Она качнулась к нему, припала лицом к шершавому шинельному плечу:

— Ой, Женечка!.. Спрятаться от всего, хоть на времечко!

И стало сразу жарко. И весеннее таяние в груди: смейся и плачь — не одинок.

На сельсоветском крыльце выли кистеревские псы...

21

Луна снова заглядывала в оконце, только сегодня она была не целой, а споловиненной. В темноте сияли никелированные шары на кровати. Вера, уткнувшись в плечо Женьке, тихо дышала — то ли забылась в дремоте, то ли тоже обдумывала свое.

Как-то осенью, такой же глубокой, как и эта, что упрямо держится за окном, был поход. Под дождем, по перемешанным танками, машинами, пушками степным дорогам, по колено в грязи. Позади — окопы, впереди — окопы, еще не вырытые.

На пути стоял хутор, отрадно целый, обойденный войной. И врезался в память один дом, ничем, ровно ничем не отличающийся от других. Разве что под окнами у него стоял кленок-подросток, еще не облетевший, весь кричаще-багряный, да за мокрыми стеклами в окнах маячили белые занавески.

Из дома вышел старик, крепкий, несгорбленный, с топором в руках. Вышел старик, вынес на лице мелкую хозяйскую заботу — дров наколоть, поправить ступеньку крыльца. Поход без сна и отдыха сквозь грязь, окопы за спиной, окопы впереди — и дровишки для печки, ступенька крыльца подгнила, и багряный кленок под окнами, и белые занавесочки... Прожил этот старик, день за днем, год за годом, немыслимо долгую, ровную жизнь.

Месящий грязь Женька позавидовал ему лютой завистью. Ничего не надо — ни славы, ни богатства, ни власти — только ровной жизни, где завтра будет походить на сегодня, где какой-нибудь кленок под окном, то распуская почки, то багрянея от первых заморозков, станет напоминать о повторяемости, о неизменности, значит, о надежности текущего времени. Только тот может оценить эту надежность, кто, просыпаясь утром в окопе, не знает, доживет ли он до вечера. Великое счастье заложено в однообразии.

Упрямый монах Томмазо Кампанелла заставил Женьку забыть кленок под окном: не в однообразии счастье, совсем в ином — твое завтра должно стать новым, не похожим, ищи его, беги от того, что было.

А Вера нет, не приняла: дай тихое счастье, самое обычное, самое бесхитростное — похожие дни, плывущие один за другим.

— Вера...

— Что? — отозвалась она одним дыханием.

— А если мы... поженимся.

Она помолчала.

— Только здесь жить не станем, и в своем Полдневе не хочу.

Она потерлась щекой о его плечо и опять ничего не ответила.

— Я тебе серьезно...

— Миленький, только не серчай...

— Ты не хочешь?

— Не пара мы.

— Это почему?

— Снесло нас нынче вместе, а люди-то мы не подходящие друг к дружке.

— Ты мне подходишь.

— Ой ли? Вспомни: я же хочу — как у всех.

— Вера, я, пожалуй, тоже...

— Это сейчас, это на минутку у тебя. А потом ты из моего «хочу», как из тесного хомута, выпрастываться станешь. Ты рвешься, я держи — что за жизнь? Кончится тем, что ты остервенишься, а я надорвусь.

— Вера, в прошлый раз я говорил глупость, самому стыдно.

— Миленький,— она греющей ладошкой провела по его щеке,— не серчай уж. Ты — что сосновое полено, ровно гореть не можешь, только с треском, со вспышечками. Эвон как вспыхнул сегодня — жизнь пополам, лишь бы правда-матка цела осталась.

— Разве это плохо, Вера?

— Очень даже хорошо, миленький. Для правды... А для семьи?.. Жизнь пополам — семья вдребезги. Ты ведь в семью меня зовешь. Как не задуматься, а задумавшись, не ойкнуть.

Он помолчал и спросил с обидой:

— Сколько тебе лет, Вера?

— А что?

— Слушаю сейчас, и кажется — не старуха ли рядом учит?

— И верно, иной раз спохватываюсь — не в матери ли тебе гожусь. Муж?.. Мне надо потяжелей, понадежней. Да ты не серчай и горевать не вздумай. Еще многие из девок по тебе сохнуть будут. Без жены не останешься, авось и я в бобылках не просижу. Война кончится, парни придут, там выберу.

Он лежал, глядел вверх, пытался смахнуть веками темноту с глаз. Лежал и мигал.

Уехать в случайно уцелевшее покойно-райское место... Клен за окном с переливами — весной в зеленой дымке, осенью в багрянце, сегодня в точности похоже на завтра. А возможно ли такое?.. Никак не отвыкнет от детской привычки раскрашивать мир розовыми красками. Раскрасит и верит, хочет, чтоб и другие верили. Дураков нет!

Он все-таки попытался защищать себя, просто так — с отчаяния:

— Что ж ты допустила меня к себе, коли не нравлюсь?

— Кто тебе сказал, что не нравишься? Ласков, добр и собой не дурен. И почему бы мне отказываться... Может, вдруг заболею завтра, помру в одночасье... Зачем мне отказываться?

— Хищница ты — вроде хорька.

— Какая же я хищница, миленький? Опомнись! Хищное-то чужой кровью да чужой бедой живет. А от меня кому плохо? Тебе?.. Не наговаривай зря. Видать, хорошо, ежели жениться предлагаешь. Не вырываю у тебя куски, сама даю, что могу. Хоть минутку, да радости. Сказал бы лучше спасибо за эти минутки, нет, обзываешь — хищная-де, на злого хорька смахиваю.

Она отодвинулась. Он долго молчал, наконец сказал:

— Прости... Это я сдуру брякнул.

— Вот и ладно,— она снова обняла его.

— Согрела... а тут опять на холод выскакивай.

— Болезный ты мой! Пожалеть, что ли, да выйти за тебя? Будь что будет.

— Нет уж, не надо.

От мороза во тьме крякали нагие березы. Звуки шагов по каменной земле, скрип ворот, собственный голос, понукающий лошадь, не желающую выходить из стойла,— все какое-то призрачное, потустороннее.

Она ловко и быстро помогла запрячь, только попросила затянуть супонь: «Юбка узка, мешает».

Женька решил: не вернется в Княжицу. Пить там с Кириллом самогон, ждать, как решат за тебя,— нет, уж лучше быть со всеми. Поедет вместе с Верой.

В скудном свете налитых звезд она стояла перед ним — большая от намотанной шали голова, смутно поблескивающие глаза на размытом лице, куцее пальтецо, едва прикрывающее каменно крепкие колени, все еще избяно теплая, вытащенная из постели. Навéрное, в последний раз вот так они близко с глазу на глаз. Будут видеть друг друга, будут и разговаривать, но уже на людях, по-чужому.

— Ну, лезь первый. Да ноги-то в сено зарой. В сапожках ведь при таком морозе,— сказала она.

И бесхитростная забота обварила как кипятком: век бы от нее такие слова слышать, ан нет. Он взял ее за плечи, взглянул в глаза — там, в глубине, во мраке, поблескивали пылинки звезд — притянул, поцеловал:

— Спасибо.

— За что, миленький?

— За минутки.

— Тебе спасибо. Помнить буду.

Прощание, но странное — не друг с другом пока, с теми «минутками», которые удалось провести вместе.

Залезли в телегу, устроились. Вера укрыла его ноги сеном, сама прислонилась к нему поплотней. Он разобрал вожжи, лошадь тронулась.

В звездной ночи страдающе заплакало несмазанное колесо.

Звезды еще не слиняли, только потеряли свою чеканность, но краешек неба вылинял, и по земле, прижимаясь, полз едва уловимый — зыбкая мечта о новом дне — рассвет. Можно уже различить рваную комковатость дороги, сухие остья травы на обочине.

И причитает во всю ширь полей, во всю глубь неба, до водянистых звезд, несмазанное колесо. И согревает сквозь шинель тесно прижавшаяся Вера.

Неожиданно она отстранилась:

— Кто это?

В плотной, неподатливой просини что-то маячило на дороге, словно под ветром шатало забытое с лета огородное пугало. Но нет ветра, нет вблизи огородов — поля и дорога, и застывший воздух, и завороженные звезды вверху.

— Кого это несет?

А лошадь не спеша шагала вперед, везла их навстречу пьяно бредущему путнику. Страдало несмазанное колесо.

Бесформенный, не похожий на человека,— встрепанная копна, решившаяся двинуться по дороге. Женька потянул вожжи, лошадь остановилась, колесный истошный плач захлебнулся. Гулкая тишина скованных морозом полей надвинулась на них, оглушила. И в этой тишине послышалось неровное звонкое постукивание палки о мерзлую землю.

— А-а, знаю...— произнес Женька.— Старый знакомый.

Поклевывая палкой черствую дорогу, он приблизился — без своего бабьего платка на голове, волосня раскосмачена, лицо безглазое, с чугунным клювом из бороды, — Митрофан, странник-убийца. Стук палки и натужное дыхание...

— Ты куда это? Эй! — окликнул Женька.

На секунду палка повисла в воздухе.

— Туды... куды и ты придешь,— с сиплым выдохом, с нелюдимой важностью.

И, шевеля тряпьем, с присвистом дыша, ожесточенно вбивая палку в непробиваемую землю, он миновал телегу.

— Сумасшедший! По такому морозу! Шуба-то у тебя сквозная! — крикнул Женька вслед.

Тишина окоченевших полей, упрямый стук палки.

— Женечка, это тот самый?

— Да, Митрофан Зобнин.

— Ой, слыхала о нем.

— Носит нечисть. И куда?

— Совесть, поди, покою не дает.

— Да нет у него совести. И была ли?

Стук палки стал тонок-тонок, как звон сухих промерзших травинок, бьющихся под ветерком друг о друга,— вот-вот оборвется...

— Блукает — его дело... Ладно, поехали.

И снова над землей раздался колесный плач, снова Вера прислонилась к Женькиному боку.

В это утро так и не показалось солнце. Незаметно прокравшиеся облака ровно и плотно затянули небо. Неохотно посыпал сухой, редкий колючий снежок, копясь в дорожных выбоинах.

Но Митрофан не выходил из головы. Бродит неприкаянная старая беда по свету, настолько старая и дряхлая, что уже никого не пугает. Но зачем-то шатается, живет, не хочет исчезнуть.

Живет?!

Женька вздрогнул и остановил лошадь.

— Ты что? — спросила Вера.

— В ту сторону... куда шел этот... там у вас кладбище?

— Да. За овражком, в березнячке.

— Так он же на кладбище!

— Нам-то что, пусть ходит.

— Он умирать шел... На могилу. Давно собирался.

И Вера отстранилась.

— Ляжет и замерзнет, скотина. Может повернем?

Вера промолчала с натянутым лицом, словно изо всех сил вслушивалась — не застучит ли в тишине палка.

— Мы, считай, час едем,— тихо сказала она.— Да туда — еще час...

Женька нерешительно перебирал вожжи. Мертвеца от смерти не спасешь. Митрофан давно мертв. И два часа...

Он неуверенно тронул лошадь.

Вера остаток дороги сидела отстраненно. Чужая смерть встала между ними, сделала чужими. А может, невольное чувство вины: не повернули, не пытались даже спасти, пусть никому не нужную — совсем никому! — жизнь, но жизнь же!.. Два часа...

Уже показались крыши села Кислова.

Сыпал реденький снежок, укрывал скованную землю. Первый снег в этом году. И надрывал душу надсадный крик несмазанного колеса.

Едва они въехали в село, как сразу же пришлось забыть кладбищенского Митрофана...

22

Захлебываясь, лают собаки. Напротив магазина толкутся люди, люди торчат и на высоком магазинном крыльце. Падает снежок. Черные люди на белой земле. И остервенелый собачий лай.

Женька скатился с телеги, забыв палку, судорожным сорочьим прискоком кинулся к толпе, стал расталкивать, пробиваясь вперед. Путь преградила широкая спина, хотел потеснить и ее, но стоявший впереди оглянулся — известковая маска, расплывшиеся зрачки истекают мраком — Бахтьяров. Он узнал Женьку, подался в сторону...

На сияющей белой припорошенной земле лежал он лицом вниз, маленький, скомканный, неловко выбросивший вперед единственную руку, в коротком пальтишке шинельного сукна, раскидав в стороны валенки с галошами. Шапка свалилась с головы, снег падает на жидкие белесые волосы.

А над ним, распушив загривки, прыгают собаки — глаза налиты кровью, уши прижаты, желтые клыки напоказ, и захлебывающийся бешеный лай. Маленький, скомканный, без шапки — великий господин на земле. Он изнемог, не смей его тревожить! Остервенелые оскалы, красные глаза, рычание. Великий господин изволил лечь посреди улицы... И люди свято блюдут невидимую черту, дальше которой им заказано переступать, кто потрусливей — прячутся за спины, митингуют в задних рядах, размахивают руками.

— Настька Семехина первая его увидела...

— Уже с полчаса лежит.

— Шестом бы их...

— Попробуй. Поглядим — резво ли ты бегаешь.

— Ишь, загривки-то!

— Ружьишко бы...

— Есть у старой Нюшки, что сторожит горючее.

— Ружье-то у нее есть, да патронов нету.

— Живой ли?

— На мерзлой земле и здоровый загнется...

Желтеет на белом снегу кисть руки, валяется возле нее серая армейская ушанка. Собаки, напружинившись, стоят перед шевелящейся толпой, скалятся.

Женька дернулся вперед:

— Я отвлеку собак... Тащите его!

Рука Бахтьярова тяжело легла на плечо:

— Не сметь! Изорвут.

Из толпы поддакнули:

— Да уж, в клочья.

— Еще один покойник будет.

Держа Женьку за плечо, Бахтьяров сказал:

— Сейчас... участковый с оружием... Я послал.

Известковое лицо, тусклый голос... И колышется вокруг толпа.

— А вон и он...— возглас позади.

— Милиция да пожарные — всегда последние!

— Скорей, брат, скорей. Давно ждем!..

Участковый Уткин в черном, туго перепоясанном широким ремнем полушубке, просторно тяжелый, красный, запыхавшийся, прорезал толпу, встал расставив валенки.

Собаки взъярились с новой силой, припадали к земле, хрипли от лая.

— А ну, все... по сторонам! — участковый Уткин произнес это негромко, и, наверное, многие из-за лая не услышали его голоса, но все поняли.

Вместе со словами Уткин скупым жестом вынул из кобуры наган, чеканно-вороненый, с хищным тонким стволом. Под мирным небом села Кислова такая вещь не часто появлялась на свет божий. При виде нагана толпа расплеснулась — одни хлынули к магазину, другие тесным роем сплотились за овчинной надежной спиной участкового. И все замерли, и даже собаки на минуту оборвали лай. В тишине хрустнул взведенный курок.

— Смотри, брат, не влепи в лежачего,— трезвенько предупредил кто-то из-за плеча.

Подняв хищный ствол, участковый враскачку двинулся, но не прямо на собак, а по дуге, выманивая в нужную сторону. Собаки разрывались в лае, припадали к земле. Наконец одна рванулась прямо на ствол. Хлопок! Собака перевернулась в воздухе, покатилась по земле, завизжала. Вторая перемахнула через нее. Хлопок! Хлопок! Лохматая морда уткнулась в валенки участкового Уткина.

И толпа вздохнула, зашевелилась, загудела сдержанно:

— Чисто сделал.

— Заработали себе, дурьи головы.

Первая собака продолжала визжать и кататься по застланной ярким снежком земле. Участковый сверху вниз в упор дважды выстрелил в нее.

Женька одним из первых подскочил к Кистереву.

Его осторожно перевернули на спину. Он лежал, уронив за голову единственную руку, падал снег, и снежинки не таяли на костисто-желтом лбу. Голубые, ничуть не потускневшие глаза успокоенно и важно взирали в небо, куда-то в незримую бесконечность.

Уткин, пригнувшись, обхватив за грудь, Женька, бережно придерживая падающую голову, какой-то доброволец из толпы в ногах, обутых в валенки с галошами, медленно, толкаясь, неслаженно понесли тело к сельсовету. Бахтьяров, не сводя разлитых зрачков с разглаженного лица Кистерева, шагал рядом, слепо спотыкался на каждом шагу.

А сзади, плотно сбившись, двигалась толпа — скорбно сморкающиеся, утирающие слезы женщины, среди их платков то там, то сям торчали шапки мужчин. Молчание, шорох одежды, хруст снега под ногами, прерывистое дыхание несущих.

На крыльце сельсовета стояли Чалкин, зябко зарывающийся подбородком в шарф, и надсадно прямой, в распахнутой дошке Божеумов. Толпа, торжественно молчащая, пугающе медлительная, двигалась прямо на них. И они при ее приближении беспомощно зашевелились: Чалкин шагнул было навстречу, остановился, передернул плечами, втянул голову, отступил в сторону. Божеумов потоптался на месте, словно решая, куда деваться, сошел с крыльца, остолбенело вытянулся.

Бахтьяров первый поравнялся с ними. Распрямил пухлую спину, с натугой повернул крупную голову, бросил отрывисто:

— Пройдите в кабинет. Ждите меня.

Отрывисто, вполголоса.

И Женька понял: обстановка изменилась — с этой минуты Бахтьяров снова хозяин Нижнеечменского района.

Участковый Уткин, не сняв полушубка, занял стол Веры, углубленно сочинял отчет о случившемся.

— «Собак приш-лось»... «Аннулировать» — через два «нэ» пишется или через одно?..

Женька следом за Бахтьяровым прошел в кабинет. Чалкин и Божеумов ждали их.

Чалкин при появлении Бахтьярова встрепенулся, уставился тревожным вопросительным взглядом. Божеумов выпрямился и застыл.

Бахтьяров занял место за столом. На кумачовой скатерти — лиловое пятно от пролитых Кистеревым чернил. Чернильный же прибор стоял, однако, на своем месте — стеклянная чернильница на подставке из тусклого мрамора.

Складки на лице Бахтьярова утратили свою рубленую резкость, само лицо — известковость, рыхлое, мятое, старческое, без былой тяжеловесности.

Чалкин заговорил первым:

— Иван Васильевич, что с ним?

— То, что нужно было ждать.

— Но почему это он на улице оказался? Словно сам смерти искал.

— Искал возможности жить...— глухо возразил Бахтьяров.— И что-то делать. С утра почувствовал себя лучше и поднялся... Таких смерть настигает на полпути.

— Больной человек, ненормальный,— подал голос Божеумов.

Бахтьяров повел в его сторону глазом, холодно ответил:

— Никто вас не собирается обвинять в этой смерти, товарищ Божеумов. Чужой смертью себя оправдывать!

— А я вовсе и не собираюсь оправдываться! — с вызовом возразил Божеумов.

Бахтьяров налег пухлой грудью на стол.

— Я вас позвал не в связи с кончиной Кистерева, а чтобы сообщить свои окончательные решения, к которым пришел в последние дни.

— Да, да, слушаем,— откликнулся Чалкин.

— Я подаю в обком партии официальное заявление, где доказываю, что действовать через бригады уполномоченных — порочный метод. Как вы понимаете, я постараюсь мотивировать это.

Божеумов хрустнул переплетенными пальцами на колене. Чалкин озадаченно глядел и молчал.

— Я буду настоятельно просить обком,— продолжал Бахтьяров,— оставить на местах те скудные резервы хлеба, заготовку которых вы производите сейчас.

— Тэ-эк! — протянул Божеумов.— Никак не новенькое. Ну, а еще чем вы нас обрадуете?

— Еще буду решительно требовать немедленного освобождения Глущева. Вот мои решения. Ваше дело — согласиться или протестовать.

— И вы еще думаете, что мы можем согласиться с вами? — спросил Божеумов.

— Лично вы — не думаю. Нет! А бригада... Не все в вашей бригаде такие, как вы, Божеумов. Многие, наверное, тяготятся выпавшими обязанностями. Что вы скажете, Чалкин?

Чалкин сосредоточенно помаргивал под очками, соображал.

— Я протестовать не намерен,— сказал он негромко.

— Что-о?! — удивился Божеумов.

— То, что ты слышал, голубчик. Не буду протестовать!

Бахтьяров пожал губами, покачал головой.

— Этого мало, Чалкин,— устало, без напора, произнес он.— Не протестовать, но и не поддерживать. Ни на той, ни на другой стороне... Не получится! Вы участник событий, Чалкин. Вам придется выбирать позицию.

— Наша позиция выбрана. И не нами!..— возвысил голос Божеумов.— Вы запамятовали, Бахтьяров, что мы посланы сюда с готовым заданием!

— Да, вы правы — приехали с готовым заданием, столкнулись с жизнью, вынуждены решать: выполнить это кем-то придуманное задание или отказаться от него?

— Вот именно — отказаться, сдать позиции! — выкрикнул Божеумов.

— Слышите, Чалкин, как мы недовольны вами — и я, и Божеумов, оба. Довольны ли будут другие?

Чалкин долго сидел согнувшись, смотрел в пол, наконец пошевелился:

— Мне пора на покой.

— Что это значит?

— Значит — напоследки крутить и изворачиваться навряд ли стоит. Значит, считайте, что с вами буду...

Божеумов вскочил со стула:

— Вам на покой! Может, и мне прикажете на покой? Не вый-дет, Иван Ефимович! Я тут вам не слуга покорный! Не-ет! Меня поддержат, не вас! Там, наверху, когда нас посылали, наверное, думали, а не на картах гадали! Лезьте в петлю, если хотите, меня не тащите!

Чалкин искоса, нехотя взглянул на него:

— Петля тебе страшна, а целый район пусть загибается?.. Дорого же ты себя ценишь, друг Илья.

— Ценю доверие, которое мне оказали! Спасайте перед смертью кого хотите, меня не невольте!

— Вот и договорились. Ты — сам по себе. Я же попробую заручиться поддержкой всей бригады. На этом и кончим.

23

Ночь. Вера одна погнала лошадь в Княжицу — не держать же ее на морозе под открытым небом. Бахтьяров ушел спать к кому-то из знакомых, Чалкин и Божеумов — наверху, в комнате для приезжающих. Женька устроился в кабинете председателя сельсовета на продавленном диванчике, по-походному — шинель вместо одеяла.

Не спалось. Поставил в изголовье лампу, вынул из полевой сумки «Город Солнца», начал листать знакомые, читаные и перечитаные страницы. В тяжелые минуты рассказ о справедливом Городе всегда успокаивал Женьку надеждой — сейчас трудно, но как, однако, хорошо станет в будущем.

«Верховный правитель у них — священник, именующийся на их языке «Солнце»... При нем состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или, по-нашему, Мощь, Мудрость и Любовь...»

Женька вдруг поймал себя на том, что не испытывает сейчас прежнего подмывающего чувства — равнодушен, листает книгу со скукою, как старую, давно приевшуюся сказку, которая должна кончиться неизменной прибауткой: «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».

Все работают в «Городе Солнца»... «Хромые несут сторожевую службу... слепые чешут руками шерсть...» Наконец, самые обиженные судьбой, те, кто «владеет какимнибудь членом... получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

А что, если эти обиженные станут завидовать здоровым, полным сил счастливцам? Из зависти они могут донести такое, что счастливые, здоровые люди окажутся без вины виноватыми перед своим Городом. Город праведников, а нуждается в соглядатаях!

Наверху, в комнате, где расположились Чалкин с Божеумовым, все время слышны шаги и глухие голоса — там не спали. Хлопнула дверь, шаги раздались на лестнице, в сенях, в соседней комнате, в дверь осторожно стукнули:

— Не спишь, детка? Можно к тебе?

— Входите.

Чалкин в пальто, наброшенном поверх нижней рубахи, в сапогах, натянутых на теплые байковые кальсоны, жмурящийся, взъерошенный, домашний. Он подтянул к Женькиной койке стул, стеснительно запахнул пальто.

— Не гляди, дружок, на меня круглым глазом. Не надо. Я к тебе не с камушком за пазушкой пришел. Да!

Женька ничего не ответил, да и Чалкин не ждал ответа, продолжал:

— Клюнул ты меня, голубь, больно. Сына, сказал, стесняться должен... Леньку.

— Я же не для больно это, Иван Ефимович...

— Знаю.

Чалкин завороженно загляделся на огонек лампы.

— В райзо я работал, инспектором,— продолжал он после молчания.— Не война, так бы и вертелся десятой спицей в колеснице. Война подмела всех, кто помоложе, поэнергичней, головой покрепче. Не успел оглянуться — отвечай, Иван Чалкин, за весь район. Легко сказать — отвечай... Война-то приказывает: не надорвешься — не вытянешь, погибай! Это как на кручу с тяжелым возом: не подхлестни лошадь, сорвется, от лошади костей не соберешь, от воза — щепок. Как бы ты, милок, поступал, кого бы себе в помощнички тянул?.. Да тоже, наверное, хлестунов. Ты думаешь, я не видел, что этот Божеумов — кисло яблочко, надкуси — скосоротишься... Видел, парень, хорошо видел. Но те, от кого рот на сторону не ведет, кнутом-то махнуть стесняются. От Божеумова стеснения не жди. Вот и вытащил его... в помощнички.

И снова Чалкин замолчал, поправляя на коленях полы пальто. Молчал и Женька.

Оглохшее от ночной тишины, цепенело за окном село. Под одной крышей, в угловой комнате с выставленной рамой, лежит Кистерев. В доме покойник. Его присутствие постоянно ощущает Женька, ощущает наверняка и Чалкин, ищет общества живых. От Божеумова он сбежал — не тот живой, возле которого можно согреться.

Неожиданно оба насторожились: за окном завизжал снег под медлительными тяжелыми шагами — громкий журавлиный плач в оцепенелой тишине,— хлопнула входная дверь, грузные шаги раздались в соседней комнате, заглохли...

— Не спите?

Присыпанный снежком, в громоздком пальто, с волной холодного воздуха — Бахтьяров.

— Э-э, да у вас гость. Помешал, похоже.

— Мне-то нет, а вот для вас удобен ли? — отозвался Чалкин, поплотнее запахиваясь.

— Удобен... Что-то гонит нас друг к другу...

— Вас — ко мне? — удивился Чалкин.— Вы же не Иван Чалкин, вы Иван Бахтьяров — чистая совесть!

Бахтьяров не спеша снял шапку, расстегнул пальто, сел — локти в стороны, руки в колени:

— Места вот себе не нахожу.

Чалкин сочувственно вздохнул:

— Кто в наши дни не потерял близких?

— Теряем, страдаем и друг друга едим. Привыкли к потерям,— резко произнес Бахтьяров.

Чалкин сморщился:

— Опять вы!.. Лежачего же бьете.

— Да не страдайте — не вас бью. До вас ли мне теперь. Себя проверяю: сумею ли после войны район поднять?.. Не знаю.

— Э-хе-хе! — Чалкин вздохнул и по-стариковски закручинился.— Без отчаяния да без риска кобылу не объездишь, не то что жизнь.

Губы Бахтьярова тронула улыбка:

— Давно вы это поняли, Чалкин?

— Понять-то, поди, понял давно, да — что уж!..

— На старости лет вдруг почему-то расхрабрились? Рисковать же собрались... вместе со мной. Или особо надеяться нельзя — раздумаете?

— Нет! Не раздумаю.

— Кому славу петь? Кто растолкал?

— Не вы, Иван Васильевич.

— Кто же тогда? Навряд ли Кистерев.

Чалкин скупо кивнул в сторону Женьки:

— Он... мальчишка-сосунок, под самое сердце ткнул... Стыдобушка. Обжег ты, парень, меня.

Бахтьяров помолчал и серьезно согласился:

— Тогда все в порядке.

И наступила тишина. Спало за окном село. Но сон ли это? Не обманывает ли тишина? Не в такие ли глухие минуты поворачивается колесо истории? Не с этой ли ночи Нижнеечменскому району, раскинувшемуся сейчас в темноте заснеженными полями и затаившимися деревеньками, придется отсчитывать время новой жизни? Во всяком случае, хочется в это верить.

Новая жизнь — в мире, без войны... Женька знает — нет, она не будет легкой и гладкой, наверняка откроются новые сложности, наверняка пот, усталость и слезы тож... Но жизнь, но мирная!

Бахтьяров давно уже косился на книгу под лампой, потянулся к ней, взял:

— Гм... Вот не ждал...

И Женька засмущался:

— Что-то у меня к ней сейчас... досада какая-то.

Бахтьяров бережно положил «Город Солнца» обратно под лампу:

— Всему свое время. Не сразу человек распрямился, когда-то пришлось побегать на четвереньках. И через утопию, как через четвереньки, люди должны были пройти.

— Но я-то еще совсем недавно каждому слову тут... Еще удивлялся — другие отмахиваются.

— Говорят, в утробе матери каждый из нас был и рыбой, и хвостатой ящерицей, и четвероногим, то есть за короткое время созревания приходится пробегать все, что в природе менялось миллионами лет. Так и в сознании... Вы созревали, вы перешагнули через то, что у человечества давно позади,— через утопию, четвереньки общественной мысли.

Потянулся к книге и Чалкин, повертел в руках:

— «Город Солнца»... Нет, не читывал.

И положил обратно, вздохнул скорбно.

Бахтьяров с натугой поднялся:

— Спите. Нам тоже надо соснуть. Идемте, Чалкин.

Они ушли.

Женька достал сумку, засунул в нее «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Вряд ли когда-нибудь его откроет. Пройдено. За эти дни в Нижней Ечме он повзрослел — поднялся с четверенек...

Кистерева хоронили в Нижней Ечме. Ребята-призывники, совсем еще мальчишки, круглолицые, тонкошеие, с неловкой связанностью обращающиеся с громоздкими для них винтовками, дали залп над свежей могилой.

Рядом с Женькой стоял Адриан Фомич, ничуть не изменившийся, все с тем же бескровно кротким лицом, аккуратно расчесанной сивой бородкой лопаточкой.

Уходили обратно тесной кучкой — Бахтьяров, Чалкин, члены бригады. Не было Божеумова. Он сидел в Доме колхозника в одиночестве.

При выходе с кладбища Адриан Фомич остановился, обернулся назад, снял свою лохматую собачью шапку, перекрестился:

— Прими, господи, беспокойную душу — чиста была.

— Воин! — сказал Чалкин.

Бахтьяров отозвался:

— Не по своей воле — лихолетье заставило.— Помолчал секунду, добавил: — Воин... Теперь нужны строители.

И они двинулись по протоптанной в неглубоком снегу дорожке к селу. А из села, через крыши, навстречу им, голосом Левитана, властно звучало радио — передавали очередную сводку Совинформбюро.

1972

Весенние перевертыши

Дюшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

1

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно. Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то она похожа, на кого-

то из знакомых,— но как-то недодумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад,— стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немытые весенние двойные рамы средь других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

> Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
> Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было, и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются надсадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом

пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженых висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвенит на прощание: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем подымающуюся легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь зимнюю шапку: бежит вприпрыжечку, бережно несет перед собой готовые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — невесомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрым глазом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову? «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.
Значит — он сам... Что с ним?
Вдруг да сходит с ума?
Что, если все об этом узнают?
Страшней всего, если узнает она.

2

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятничек на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпаешь, чувствуешь — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по ночам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комнатка, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обреченно.— Жизнь прожить — не поле перейти».

3

Непривычная, словно раскаленная, улица остыла, снова стала по-знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом – оставались ляжины, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильней Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех

в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джиу-джитсу и каратэ. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убегала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маменькин сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплюнул Санька.— Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Глядите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, веревочку неси!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Глядите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается вниз в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом,— клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку —

«косорукий, не попал!» И Колька Лысков осклабился, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнется, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит»,— подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину,— подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордочке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь,— ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маменькин сынок!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня.— Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька наставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит.— Слезы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо — от страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Санька заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?..— сказал Дюшка.— Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька завороженно и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит,— повернулся спиной к Дюшке, все той же ощупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съеженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильней: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поеживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки растроенно зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпанные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран. Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить? Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... и он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик исступленной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

4

Дома шел разговор. Как всегда, шумно говорил отец, как всегда, о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок. Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол,— накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы...— с досадой бормотал отец.— Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачу о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мечутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас, он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрыл книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

5

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но, спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие парадно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, черные как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Сковывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошеный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пень посреди истоптанного двора. Днем этот пень как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солн-

це переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помятую машинами дорогу, грачи блуждали между тенями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все,— невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть свое хрупкое неведенье. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбаламученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыш улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вмятую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома. Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного времени...»

Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы,

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пень — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка...— И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот,— объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То нет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были да улетели... И еще пень этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал поросячьими ресницами, губы его начали кривиться.

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— «Чего, чего»! Ты пойми — пень-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пень этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом.— Минька расстроенно зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой! Что — ой? Чего ты на меня так таращишься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?

И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза, и старый пень всего-навсего старый пень. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума посходили — на лягушки ни с того ни с сего!.. Что вам лягушки сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться? Сам знаешь, он и ножом... Что ему.

Минька поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый,— сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель,— сказал он.— Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо,— опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачником по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Поджидать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты уснул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозится уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с висячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из началь-

ных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом.— Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?..— Густые брови Васи-в-кубе выползли почти на лысину.— В итоге ты второгодник. Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж...— Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковатой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мя-

тый пиджачок, жеваный галстук,— но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмурое, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не полезет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстерегать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках,

Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Непавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт-те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул напоследок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девчонки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дымком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт-те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел пружинящей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

7

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно, давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издали к нам притащен. Он самый старый в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с ленцой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, средь других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов поспевал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу.— Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И растем и все видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка, ему надо ее убить. Живем мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить куда хочу, глядеть что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюшка. Он говорил, говорил, словно пел, и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке,— ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтобы другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой... Минька!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши.

8

С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незваный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гремевшему басу.

Посреди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.

Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос.— Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильней на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич...— начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич,— голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно,— что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь,— отмахнулся огорченно отец.— И мать тоже по горло занята. На Клавдии Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня,— снова зарокотал Василий Васильевич,— я вовсе не хочу, чтобы каждый... каж-дый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием оградил детей. Возьмите

всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передается на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и ненужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся с Левой Гайзером. Он-то уж поможет... По-тес-ней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съябедничала:

— У него Минька, сын Богатова,— первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам,— подала голос мать.— Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я, со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропащий ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустилась на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка...— И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна,— выдавил Дюшка, в тон матери, тихо.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт!— В полном расстройстве отец пнул ногой стул, было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам...— У Дюшки сжалось горло.— Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... ду-мать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пущу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчину... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запани! А если ночью прорвет запань?.. Нет, дружочек, нет, не крути! Вышибай платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными полами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мятое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Странный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

9

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжечку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом со своим потасканным портфелем.

Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши. У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику словно в воду.

— Вот...— Левка протянул Дюшке книгу.— Нырни в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до конца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего.— Дюшка теперь готов был великодушно простить Левке и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представив себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмуря брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..

— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо.— Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.

— Кирпич?! Зачем?

Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.

— Мускулы развиваю.

— Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.

— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал..

Левка только махнул рукой:

— Чудной!

Они расстались.

10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринев любил капитанскую дочку, Том Сойер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло: на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ерахе нет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытянутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок клочьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съеживался, становился все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделино, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К ним-то и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучащимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

— Лучше, покойней.

— Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?

— Нет.

— И я не хочу.

— Значит, хочешь все-таки знать?

— Все-таки хочу.

— А страх, а покой?

— Пусть.

— Ты дочитал свою книгу?

— Нет, не до конца.

— Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучащимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Куделино. Стояли друг против друга — мерзнущий от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

11

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пень, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, снова перевернулся.

Береза, пень, старуха с козой...

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл вселенную,— возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не,— сознался Минька.

— А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдавил из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка.— Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными поросячьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — насторожился Дюшка.

— Тоже жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, значит, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью все... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Мамка каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Минька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!..— Слезы в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос.— Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем, мамка себе платья купить не может. Если б еще пил отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий

ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ, топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съежилась, погасла разгоревшаяся вчера вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос — для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слезы. Хочется любить и жалеть все на свете — эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку:

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки — жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от нее к нему, и изумляться взахлеб лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мироздание. Что делать, когда один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуешься. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустился рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Все равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, косил строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся вселенная поместилась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан — уж извини! — самое великое, что есть во вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начиненную сейчас

вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, ученые, в телескопы все это увидели,— несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все, даже в телескоп?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно,— ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед: в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего будет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен я, Левка. Какую задачку ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачки бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся.— Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, неинтересны трудные.

— А ты представь себе: задачка — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильней хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут.

Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б двигается наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле шарахнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задачка с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед станешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что,— ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней нащупал... тайну...— сказал он. И замолчал, и еще сильней закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может — не может, надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.
— Вроде привидения? Да?
— Привидение — сказки!
— А как тогда?
— По-настоящему, как сейчас.
— Левка-а, ты не болен?
— Ничуть.

Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.

— Вот это-о да-а!.. Умереть и — снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.
— Пусть.
— А может, ты все-таки болен?
— Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.
— Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!
— Надо для этого открыть одну проблему...
— Чего?
— Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.
— Какая она, Левка?
— Да с виду простая: бесконечна наша вселенная или конечна?
— А-а,— протянул Дюшка разочарованно.— Зачем это?
— Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.
— Бесконечна... Вселенная... Ключ?
— Скажи: из чего я состою?
— Из костей, из мяса, как все.
— Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.
— Ну и что?

Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, вселенная, атомы, черт знает что!

— Атомов во мне очень, очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?
— Нет, Левка.
— Я конечный, а вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.
— Тебе-то от этого какая выгода?
— Большая, Дюшка. Раз наша вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-

нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, наверня-ка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.

Левка замолчал, торжествующе, изумленно, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:

— И что?..

— Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голосе.— Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?

— Нет, Левка.

И Левка сразу увял:

— Туп же ты, таракан.

— Ну, а я — после смерти?

— И ты тоже.— Ответ без энтузиазма.

— А другие?..

— И другие. Все. Я не исключение.

Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:

— Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.

— Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности.— Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубаху.

Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Тайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалящие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачником и стал думать.

13

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащая желтым брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если б эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков,— с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братеневу внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-в-кубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали

в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не пришло, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!

Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевше-знакомая фигура Кольки Лыскова. В мягкой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расставался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Ераха, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неуемные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в не помрачневшем еще небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с новой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой,— Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца

с планетами, для него нет бесконечной вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так, как вокруг Дюшки,— другой мир, нисколько не похожий. Сейчас Санька шагнет... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он налегке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незваный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-ти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильней всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, не-

уклюжий, но все-таки человек иной, не мальчишечьей породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Прольется кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал оттеснять Дюшку в сторону: — Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу...

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суетящийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то на́ вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки,— идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неужели, сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается

какой-то ненастоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань всегда наготове в каждом лежит... Пущу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю,— неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду.— И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть...

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А,— сказал он вяло, едва оглянувшись.— Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьет тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьет?

— И не пьет.

— И не ругается?

— И не ругается.
— Что тогда? Что?!
— Он... Он не такой, как все, Дюшка.
— А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?
— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.
— Так не бывает, Минька.
— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

14

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется больное сердце.
— Должна знать. Не проверила.
— Но у нее же воспаление легких!
— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:
— Охо-хо! Одна у всех голова и та на ниточке!

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:
— Мам, а я виноват?
— Ты?.. В чем?
— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.
— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:
— Мам, эта девочка, может, не насовсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:
— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился. А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не насовсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что вселенная бесконечна. Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец.— Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э, нет, Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спасать себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветрен-

ным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый,— сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец.— Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно,— подтвердила Климовна.— Их-то атла́с липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с «молнией», как у Левки Гайзера,— мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня... День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка знаешь кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал, никому, секрет!

15

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол,— потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти

на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?..

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да...— сказал он.— Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потерянно торчал на его макушке.

— А я, сынок,— подняла рюмку мать,— пью за то, чтобы стал ты нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку:

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец.— Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригибался к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клевещешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносясь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные

незаживающие раны... В конце концов исступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнутся!

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболевшееся!

— Мир?.. От тебя? Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку.— Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться,— сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедем отсюда... в город. Я снова поступлю в газету.

Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильней пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаться бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любится, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги!

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь средь беспокойных.

16

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-те-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = Х». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.

С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбка.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбка, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?..

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время, подальше от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрым голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду=X». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче,— проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!..— наконец подал он голос.— Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу.— Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

...Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:

— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместе с Левкой откроет, что вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает насовсем.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет».— «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистейшей прелести чистейший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадется ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет:

«Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улицы Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрей идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт-те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

17

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распустившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось,— состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька по-поросячьи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его сипловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка...— Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость).— Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не

выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пущу!»

Колька улыбчиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбчивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубины, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шарахнулся от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим маревом поднимается над землей.

И смех толкнул... Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую, узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провальных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые клочья: нацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки, кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрым блеском в глазах ощупывал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается,— сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с немыслимой высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело завороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг, и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит,— рубаха располосована, окровавлен, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарахаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

...Окровавленную располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

18

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь.

Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть, как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шарахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и, непонятно, почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадаются эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти вкривь и вкось,— продолжал отец.— Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнется, всем мешает, все

его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну, а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать. И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что л ю б и т Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давясь словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?

— Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!

— Эй, что с тобой?

— Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет и меня!..

— Дюшка, опомнись!

— Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что. Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..

Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?

— Принеси стакан воды.

Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.

— Что с ним, Вера?

— Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далекий из всех — он сам, пропащий человек.

19

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с новой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами,

громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно,— зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая...— охотно отозвался Колька.— Сзади по затылку — тяп, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдавил:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крякнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдавила из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты,— признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным.— На всякий случай, когда Санька полезет..

— Полезет?..— переспросила Анна Петровна.— Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крякнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная, оказывается, вещь, им можно убить человека.

Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробующий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом стращал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот...— Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не полезет, испугается. И верно, верно — Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне

тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

20

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нем не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыл грудью.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

...Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька нисколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька?» Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?!

— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, нож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрям.

21

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом сплавщик, одетый по-праздничному в темно-синий в полоску костюм, в галстуке, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному подбородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек, Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Ни сват, ни брат, даже за столом вместе не сиживали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня, из-за безыдейного, эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть, не отымешь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко богородица с эдаким, как я, понянчится. Не ради бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отвалят или награду золотую на грудь. Тут тебе богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — наставительно отвечал отец.— А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должон соответственно, не распыляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверное, вас еще надолго хватит.

— Сколько ни проживу — все людям. Осветили вы мне нутро, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать? Вот было бы счастье. Не сумею, поди,— мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платьице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал: слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка вгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскочил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...

И Дюшка все понял, Дюшка закричал:

— Минь-ку-у!

— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..

— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!

— Дюшка, помолчи! Где он?

— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!

— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери. А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием.— Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Больной он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает...

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачки не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого урода еще и оправдать могут.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверное, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а нападал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя произносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — сущая правда, это — сама жизнь. И вот сущая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог поднять над поселком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилен. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап,— произнес Дюшка сколовшимся голосом,— неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват, если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разливисто зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю — мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну не-ет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегаю, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегаю, можно?

Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

23

За столом встретились два отца, более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с широкостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было тру́дно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничаю, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горбящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умен ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю — камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи о силосе, о навозе — нет! Мне же «угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предначертано «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненые рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и пачкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы серы, сыры, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки...— произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смешком:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крякнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— Я рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва спрятанная, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это — освободить?

— Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять! — с придыханием.

— Что — опять, Федор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середке зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?.. Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоотверженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Но что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с жепой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте ее, Федор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты — что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим,— сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня,— убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три

месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шаришь, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!

Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше. Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой наваляется.

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я...— Отец подмигнул Дюшке.— Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Мам, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

24

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал.. Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из поселка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрей нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна, еще и потому, что Минькино узкое, с проступающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька,— сказал ему Дюшка при первом же посещении,— мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой теннисniске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоем кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не дает — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут над твоими кошкиными секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живет, наверно, еще не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдешь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж очень.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего нет на свете! А я тут, Левка, такое открыл...— И Дюшка запнулся, но только на секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке.— Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда,— серьезно возразил Левка.

— Ты и про кошкины секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Левка замялся, кисленько замямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушней, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а.— Голос у Левки не дрогнул.— Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

25

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?

Он по нескольку раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По нескольку раз каждый день.

. . .

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке,

с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубинный, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она нисколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Римка... Левка хороший парень. Очень! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, нехотя ползущая по глубинному, опушенному румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилось оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.

1973

Ночь после выпуска

1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было — двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной взрослостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя — именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.

Директор школы Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной,— Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам, Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью,— Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе их.

Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто, как не она, должен поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невольно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный.— Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому ненравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка постояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все,— объявила она и мелкими дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

2

Года два назад был спущен запрет — в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета — бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в гороно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристоен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Подымались тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охолаживающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связанно. К ней

время от времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов — выражал свою солидарность — и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна!

«Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, подобранно-стройна. Тот первый, десятилетней давности урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на брудершафт! Чтоб на ты,— предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружочек: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономию. Астрофизики что ни год — делают сногсшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами — лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студёнцевой:

— Наша альма-матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно — рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутой бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством,— с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Трепетно уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать

ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные натуры, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно чистым лбом несолидный коровий зализ, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрельнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется,— до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.

Заиграла радиола, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и веж-

ливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали — ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил пушечное ядро?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, фратер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

3

Большинство учителей разошлось по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимой,— жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустилась на стул у самой двери. Она здесь гостья — в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми

борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны — время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол,— натянуто-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют,— и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.

— Ну так что скажете о выступлении Студёнцевой? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А, собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очередной раз умыли,— сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особенного не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого,— съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу.— И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным

образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное,— чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой плетенке — «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обыденных слов — «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладе комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение — поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома — то тяп-ляп на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски-добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище перекати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаянье милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух — он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась

вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни — Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка—слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И, наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немыслимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.

И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо, ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что загнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Онучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обличью и по вывеске—папину фамилию окрутила

с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немытой шее девичью цветную косынку, на груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суетливо вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга — всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студёнцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в антилопу:

Поднялся тут галдеж и лай,
И только старый попугай
Кр-р-рык-нул из ветвей:
«Жыр-раф-ф бал-шой,
Яму вид-ней!..»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой
Базаев Борис Андреевич — рядовой
Бутырин Василий Георгиевич — старший сержант...

И так далее, тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, воины пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь

когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой,— болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светляки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, гражданская. И революция. А раньше революции правили цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но, когда

он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напирающая на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира.

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля,— провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон! — подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенных скул — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту-другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.

— Друзья-путники! — с пафосом провозгласил он.— Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бода раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-ода!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы! — возвестил он.— А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет,— осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.

Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы,— Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.

— Кон-нечно,— с величавой снисходительностью согласился Игорь.— Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Кай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия.— Все ли здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо щита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отрава: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемыми? Или такого быть не может?

— Может,— согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?

— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное,— сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливее представляю.

Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!..— Генка выпил до дна, с минуту глядел повлажневшими глазами на невозмутимую Натку.— Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка...— попросил Генка.— Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движениях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой. Сейчас рано. Сейчас...— вскинутый стакан в белой струящейся руке.— За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскучнел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттеночек — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь черед... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть...— произнесла она,— Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышиному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена...— подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом.— Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех откровение Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена...— Замороженный голос.— Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону.— Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?.. Но поч-чему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.

Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твое счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостно-

го писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрей баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся женихаться на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались,

пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорть по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе,— только для учеников! А ученики забывают о ней, не успев переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — попривыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцевой казалось Зое Владимировне чудовищным. Если б такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна,— с нажимом, с приглушенным недоброжелательством,— что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?

— Я вижу тут только одно — плевок в сторону школы.

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда податься, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?.. Только она, Студёнцева, такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?.. Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нра-

вится? Вы не заставляли — уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?

— Да, ребятам нравится собак гонять па улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же...— проговорила Ольга Олеговна.— Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробую сейчас доказать.— Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?

Директор устало опустился на стул: он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?

— Да боже упаси,— вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять, процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увядшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю...— выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала,— не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.

— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня...— тихо, с внутренней дрожью.— Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому, как не вам, и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны — устаревшие

программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати — восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом женщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крякнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Петухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей остановившимися глазами. Физик Павел Павлович хмурился и курил. На искалеченном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

6

Юлечка Студёнцева выпила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — пригубила. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддержала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил щуплого мальчишку — большая ученическая фуражка, налезающая на острый нос, короткие штанишки, тонкие ноги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий вьюн, писклява, шумен, совался постоянно под руку, а в драках кусался. И Юлечку помнит, она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Натку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн. Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В попутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо! — заговорил он с силой.— Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счаст-

ливый, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры,— создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ.— Лети себе куда несет.— Он забренчал: — Эх, по морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там... Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает,— напомнил Игорь.— А ты не птица, ты пушинка от одуванчика.

— Пушинки-то с семечком. Куда ни упадем — корни пустим...— Генка с хрустом потянулся.— И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть,— напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозмутимостью, застыв в отдыхающей позе — вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!.. Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое,— ответил Игорь.— Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до донышка, сроднились — и вдруг...

— А до донышка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что? — удивилась Вера.— Десять лет вместе — и не до донышка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случалось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случалось. Я ни о ком плохо...

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг,— я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался:

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юлечка встрепенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет,— заявил Игорь.

— Не выйдет, не додружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну, тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе,— бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки, капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте. — Сократ Онучин провел пятерней по струнам.— Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже,— признался Игорь.

— И мне...— произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прощу, если скажете обо мне плохое,— сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

— Я остаюсь,— решила Натка.

— Будешь говорить все до донышка и открытым текстом.

— Не учи меня, Геночка, как жить.

— С кого начнем? Кого первого на суд?

— С меня! — с вызовом предложила Юлечка.

— Давайте с Веры. Ты, Верка, паинька, с тебя легче взять разгон,— посоветовал Игорь.

— Ой, я боюсь первой!

— Можно с меня,— вызвался Генка.

— Фратеры! — завопил плачуще Сократ.— Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!
Дайте похмельным кваса,
Авось они перебьются!

— Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем нараспашку!

— Собрание же, фратеры, с персональными делами! Это надолго! Вся ночь без веселья!

Генка встал перед скамьей:

— Господа присяжные заседатели, прошу занять свои места!

Генка нисколько не сомневался в себе — в школе его все любили, перед друзьями он свят и чист, пусть Натка услышит, что о нем думают.

7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, иссушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице — мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олеговна, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю. И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое. Всю школу, какая есть, вам крест-накрест перечеркнуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась, сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до краев залиты тенями. И шелестящий голос Зои Владимировны:

— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсиживал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Студёнцевой была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него и жалела... Да, да,

жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки не напишет, страницу прочитает — пóтом обольется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет покоя. И уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут, бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня убить собираетесь, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна.— Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите — не ваш ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче — быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому, как не ему, первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:

— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно гядела в сторону.

— Я скажу,— вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако,— Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решилась! — уселись поплотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка,— заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо,— знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родился — папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастливчик от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот ты, Гена, черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой,— а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка,— перебил Сократ.— Не выгнала, а сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабль.

— То-то, Сократик, не комфортабль. Трудно даже

представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, немытого.

— Н-но! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастненький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над твоей вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю ночевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же, велосипед загнал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедного Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рублику собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка.— До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту канитель, ребята,— вяло произнес Игорь.— Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студёнцевой... Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы.— Уж нет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно — никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь...— Блестящие глаза в упор.— Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствуешь смелым, себя — благородным! Ты так себе нравиться любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбец-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена,— красиво горишь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?..— с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?..

— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не поделаешь,— не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.

— Спасаешь, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не увиливай.

— Н-да-а.

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студёнцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядеть, без вины оболган, заклеймен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно,— то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж...

9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось.— Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд... Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал подозрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой польза?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обессмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный

огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна,— огорченно произнес Иван Игнатьевич.— Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студёнцевой неожиданность?

— Да уж признаюсь: от любого и каждого ждал коленца, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.

— Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду,— сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел

попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел? — спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: врачу — излечися сам!

— Ты считаешь, что я?..

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Решников поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски-скуластое, плоское, как глиняная чаша.

10

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — всклокоченная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженного через дорогу не переведет, для себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь,— отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За негорючесть я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, он или кто кругой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э! — отмахнулся Игорь.— Сама хоть с крыши вниз головой, лишь бы вовремя схватили, не то уши-

биться можно. Верка лучше Генку нащупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое,— усмехнулась молчавшая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения,— с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ копеечный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, начал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... Почтеннейшая публика, мы с ним часто играли в диспуты, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпанзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься — груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды схлестнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподнесу ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся и,

казалось, ничего особенного, все осталось как было — ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие! С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил пообкатанней, боялся — отобью мяч в твои же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливым тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно таращил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокоен.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не набивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!..

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие.

Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай,— тихо попросил он.— Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остановился, хрипло выдохнул:

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда кончим,— откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами.— Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!..— Вера всхлипнула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройтесь, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фратеры. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети.

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тонким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замер с перекошенными плечами...

11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненный под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след

войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение — надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненный, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели — нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна,— начал преподавать по-своему. Остальных преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, но делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставали его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходился, не вступал в споры, не навязывал своих взглядов. Его кто-то назвал однажды — вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не назовут». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранники, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышанье произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеймить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или пропал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала

недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскинутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватаешь за полу — стой, не смей шевелиться!

— Не говори шарадами, Павел.

— Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!

— Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?

— Прямая.

— Не вижу.

— Я люблю свою науку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?

— Нет.

— Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?

— Наверное, нельзя.

— Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильней он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:

— Естественно!

— Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?

На этот раз Ольга Олеговна не ответила.

— Делать вид — не отличаются и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я нач-

ну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь — любимчиков пестуешь? И ты, право, недалека от истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю — с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.

— Ну, а как быть с остальными?..— спросила Ольга Олеговна.— С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?

— Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.

— Они для тебя второй сорт люди, парни. Не так ли?

— Э-э, нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицеист Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в Царскосельском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить — я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крякнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного — не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал,— произнес он.

— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно,— все! — от кан-

целярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное — пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

12

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а...— с ленивенькой растяжечкой, нутряным, обволакивающим голосом.— Что тут только не наговорили про тебя, бедненький! Даже пугали — нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Нат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не залезают. Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегись, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любишь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают — нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?..— Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза.— Я — не смей?.. А может,

мне обидно за тебя, Генка,— обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассякой, черствый, себялюбец негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Натка,— без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?..— обернулась к ней Натка.— Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканными бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того,— жестким голосом.— И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамеечкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Ваня бедный... Зато чистенький-чистенький, без щепоточки соли. Одно остается — подержать во рту да выплюнуть.

Натка отвернулась.

В листве молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травою рваный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколотая шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город — россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиола, тарахтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка,— безжалостно сказала Натка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Н-ну, Натка... Ну-у!..— из горла хриплое.

13

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно,— говорил он неторопливым глуховатым голосом.— Люди бродили бы по миру нагие и голодные,

если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников.— Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине.

— То-то и оно, все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрываться. Все работают по семь часов в сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем, для произведений живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Галилей добыл с помощью механизма под названием телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья физики, разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугун выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из существующего ремесленничества — миллионы учителей по стране преподают одни

и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старину от умения отдельного кустаря-сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься—лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте. Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников.— По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику — один усваивает быстрей, другой медленней, третий совсем не тянет. Да что там говорить, обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да боже упаси! Хочу лишь снять часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втолковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время... Вре-мя, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками — способным преподавал сверх стандартной нормы, неспособных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете,— отмахнулся Решников.

— То-то и оно, нет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна.— Как преподнести знания — механизирован-

ным или немеханизированным путем! Юлия Студёнцева до ноздрей нами набита этими знаниями, а тем не менее... Снова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звериности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!..

Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую,— затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А самим себе мы доверяем?..

14

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До донышка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты—я светлячок-себялюбец. Ты—в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До донышка... Но почему у вас донышки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Насквозь!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя копнуть до донышка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих.— Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настойчивого? Шарь не шарь — пусто. А пустоту-то показной добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-неподвижных глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитить себя? Одно спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до донышка твоего не добрался. У тебя на донышке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть, и к Игорю... Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт-те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили,— можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались. И ты старалась.

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно. Разве ложь может быть откровенной?

— Я говорила, что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Не надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь.

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдем вместе, Москву возьмем?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Сперва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты... ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не вытанцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей.

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит.

— А представь,— сказал Генка,— жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем? Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно отмолчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь — Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупней? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, поспособней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут. Всюду, всю жизнь! От злобы сгоришь. Будет вместо Цезаря головешка. Ну, разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мягкой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злобы!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо,— сказал он сипло.

— За что, Цезарь?

— За то, что предупредил. Честное слово, учту.

Генка оскалился:

— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?

— Хотя бы.

— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь.

Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листвы, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.

— Рад? — наконец выдохнул Игорь.

Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.

— Рад, скотина?!

И Генка оскалился. Тогда Игорь вскочил, задыхаясь закричал в смеющееся голубое лицо:

— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем! Кому?

Генка скалил отсвечивающие зубы.

— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом-спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..

Взлохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скалил зубы.

15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.

Решников хмыкнул:

— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задачка не школьного масштаба.

— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение — не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы. Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.

— Но ты начал с того, что мы не верим сами себе,— напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь!.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне гороно с его методическим кабинетом? И от областных организаций, и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой просветительной армии, нас миллионы, но я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин.

Один!.. Школа — масштабное явление, но я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, одиночек? — спросил с усмешкой Решников.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой песенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже поначалу были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу,— спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо,— над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоволен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготятся своим благополучием. Юлия Студёнцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе,— неожиданно колыхнулся на своем стуле директор Иван Игнатьевич,— чем мы тут занимаемся? В облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

16

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок,

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Ну-ну, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онучин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложи — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался:

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напружиненно поднялась Натка — вскинутая голова, покатые плечи.

— С меня хватит. Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Нет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

— Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.

— Генка, не надо.

— Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!

— Генка, я прошу...

— Ага, просишь, а раньше?.. Раньше-то пинала — трус, размазня!

— Прошу, слышишь?

— А ты на колени встань — может, пожалею.

— Совсем свихнулся!

— Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня. Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!

— Очнись, сумасшедший!

— Очнулся! Всю жизнь как во сне прожил — дружил, любил, уважал. Теперь очнулся!.. Слушайте... Ничего особенного — картинка с натуры, моментальный снимочек...

— Не-го-дяй!

— Негодяй. Да. Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше ничего, чище ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.

— Гена-а...— дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину.— Пошли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.

— Ага, будь послушненьким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хоть в какой узелок свяжу... Нет, Натка, теперь не обманешь, ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое и тело твое, которое ты мне...

— За-мол-чи!!!

— Злись! Злись! Кричи. Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки... Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...

— Прошу же! Прошу!

— ...Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о ней думал, каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...

— Последний раз, Генка! Пожалеешь!

— Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!.. И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...

— Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — закричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятенно-суматошным «вай! вай! вай!».

— Купается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...

— Давай! Давай! Не стесняйся!

— Вай! вай! айся! — отозвалась ночь.

— Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал я столбом и рот раскрыл как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...

— О-о-о! — застонала Натка.

— А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...

Натка всхлипнула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.

— Голая... Это она-то, на которую издалека взглянуть страшно. Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй — может, ближе бы подошел, тары-бары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться — уходи. На улице издалека увижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб нечаянно как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу — вода заплескалась, трава зашуршала, значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика. Она! И холодно мне и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, низко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина сгорбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!» Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она, мокрая, белая— ослепнуть! Плечи разведены и все распахнуто — любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильней солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!.. А теперь-то понимаю — ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе.

Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груди у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!

Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.

С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.

17

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы — вы! — на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете — хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? — Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку.— А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик, не веря в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность,— сухо бросил со стороны Решников,— а твои упования, согласись, из области фантазии.

— Не такая уж фантазия — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем,— напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич.— Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете — кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут — принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одиночку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем — трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич,— Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили — даешь высокий показатель, и баста?! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало — надели́ ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва прошла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за кончик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич,— произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.

18

На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Сам-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он — сам-ка!.. Под-лец!

Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натыкаясь па Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцеву, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?..

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он! — Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца,— заговорил Игорь.— Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! — металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке...— Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое — и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... Бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет,— объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара,— процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел говорить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем.

Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее отвердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся.— Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело! — Спрятанные за упавшими волосами Наткины глаза враждебно ощупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшийся на Натку Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь! Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-навидишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не захочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что.

Натка подалась к Вере:
— А ты?
— Что, Наточка?
— Что? Что? Не понесешь завтра на хвосте?
— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.
— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшненькое готовит.
И Натка вскипела:
— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшненький, и — простим, простим, спасать наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!
— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.
— Ну, Верка?
— Наточка, если уж все...
— И все-таки жаль?
— Противен он мне.
— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?
— Да... даю.
Натка развернулась к Юлечке:
— Ты?
Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.
— Что тянешь? Отвечай!
— А если Яшка покалечит... или убьет?
— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.
— Даже если убьет?..
Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятанными глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:
— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими руками!.. Нен-на-виж-жу! Не смей. Не смей дорогу перебегать! Только шепни... Мне терять нечего!
Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы — Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — звон один.

— Нет, фратеры, не звон.— Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны.— Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни.

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Онучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — раз чихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных приятелей нет. Выкладывай.

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожа в веснушках, волосы белые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож... Он у меня, фратеры, уроки берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну, так.

— А шоссе мимо чего идет, помните?

— Шоссе длинное.

— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Пашка Чернявый и выскочит...

— Один? На Генку?

— Ты слушай... Будет Пашка в рваной рубахе и портрет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помогите! Убивают!» Ну, а Генка мимо проскочит, не остановится? Нет уж, сами знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прошлый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что, ой, мама, не жди меня обратно — самбо не поможет.

19

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес нежданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеновна?

— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустилась рядом с Ниной Семеновной:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девица настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя...— Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна, они время несут на своих плечах. Можно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кюри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла — не случится. Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже,

какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала— будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич.— Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета,— с горечью проговорила Ольга Олеговна.— Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это...— Нина Семеновна даже задохнулась от волнения,— это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предвидеть гения, тем более научить гениальному,— нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, тому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде уважай достоинство ближнего, возмущайся насилием... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди.

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна.— Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда остается только одно — повеситься на первом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: господи, дай мне

силы отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна.— Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже,— напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни...— Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом.— Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь нен-навижу! Не прощу!

— Щу! — отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка,— вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, Иисусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил — они друг друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я...— Юлечка задохнулась.— Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат, даже убить могут — тебе плевать. Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрупкая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, на выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ.— Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда... Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. Раньше — не сомневаюсь. Значит, хорош был раньше, а на него накинулись. Зачем? Что-то не то...

— А кто накинулся? Кто?! — с отчаяньем закричал Игорь.— Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему — не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! На меня как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать. Ну, а мне-то зачем врага спасать? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же дела́ть? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко.— Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке. Только

заикнитесь! Пеняйте на себя. Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли — Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Наточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану.

Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы...— тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился, казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед острый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечке.— За волосы держать — больно нужно.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька! — заволновался Сократ.— Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя... Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке...

Сократ поводил зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре... Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя и всех нас... Меня Яшка первого... Ему убить— раз плюнуть.

– Слышишь, Игорь,— раз плюнуть. Так помогите Яшке, он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту.— Вяло, без энергии: — С ума посходили... — И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает — за такое ему вышку врежут. Ну, проучит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ.

— Он пугает, Юлька. Ничего не случится, цел Генка останется.

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль.

— Игорь, ты не трясись. Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой, вон как он от страха выплясывает.

— Юль-ка-а...— Сократ заговорил сдавленным шепотом.—Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь, место глухое, потому... Глухих мест без Карьеров много. А в Старых Карьерах захоронения есть. Слышала — туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры: стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то странные кислоты, они все разъедают — и мясо и кости. Был человек да растаял, ничего-шеньки от него не осталось. Яшка может каждого так...

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в ту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и высился обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, лепное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте, заполненные ядовито-зловонными, разъедающими все живое отходами ямы. Для Генки. Генка Голиков — и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. Но до этой тихой минуты никто из вчерашних школьников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое. Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка—и ямы...,

21

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих проблемах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском языке — в сочинении насадил ошибок. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень понюхал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже, скажу, с облегчением встретил решение, сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде подымают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна,— отсутствие воли, характера? Не скажу, чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм! Да сколько угодно. Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употреблял слова «ребята сказали... все говорят... все так делают». Все носят длинные волосы на загривке— и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» —и я это делаю, все берут призы по спортивным соревнованиям — и мне не след отставать, покажу, что не хуже других, волю проявлю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отнюдь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, но гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, необязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она.

Остановился и Иван Игнатьевич.

Над ними сиял фонарь — пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим,— виновато проговорил Иван Игнатьевич.— Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да. Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щекочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да. Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушие и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если б такой появился сейчас на улице.

— Все?.. Но вы, Иван Игнатьевич, сами только что сказали: кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».

— Если вы о Студёнцевой, так она и прежде была исключительна, не отымешь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали, и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек разве не отрадное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да...— произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице — дробные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

22

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлипнула, Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виновато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлипнула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить,— глухо выдавил из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал...—Плечи Веры затряслись от рыданий.—Сказал, это он сделал. Я не просила, он сам... Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключали,— засуетился Сократ.— Мне было кисло, фратеры. Мать

совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы?— выкрикнул он сдавленно.— Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой пацан нашей школы ходил по улице задрав нос, никого не боялся. Каждый знал — Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка.— Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела...— заливалась слезами Вера.— Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке.— Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали,— жестко отрезала Юлечка.— Согласились помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одеревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами...

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаянье в голосе Игоря.— Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившиеся, тревожно-птичьи глаза в упор — Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегающие зрачки. Молчали все.

Натка, окоченев, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера.

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, неловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, обмяк.

— Юль-ка...— снова просяще заговорил он.— Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже... Каждый думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прошу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все косились на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой
Базаев Борис Андреевич — рядовой
Бутырин Василий Георгиевич — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания, как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодою позолотой.

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой
Базаев Борис Андреевич — рядовой...—

и еще тридцать два имени, кончающихся на неком Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

Артюхов Павел Дмитриевич...
Базаев...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнущаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли,— сказал Решников,— у меня есть бутылка коньяку.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое пареньков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном синело. За узким кухонным столиком перед початою бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить нынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти, каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

— И все-таки в счастливое время они живут.

— Не удивительно, как сказала эта Нина Семеновна, добры от природы. Должны быть добрее нас.

— Ну, сия гипотеза еще нуждается в проверке... На посошок, Иннокентий?

— Выпьем за то, чтоб они не мерзли в окопах.

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбеза.

Нина Семеновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спеша шла сейчас пустыми улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый тупичок, каждый перекресток и каждый угол, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверику она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице — Сократ Онучин с гитарой, встрепанный,

как всегда, нахохленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева и Вера Жерих, увалисто-широкая, покойно-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая присказка: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В необмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплавятся — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличье. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжко вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька.

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли неряшливые клочья серого тумана. Натка с мокрым, липнущим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Генку.

Ночь после выпуска кончилась.

1974

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. ТЕНДРЯКОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Тендряков В.

Т33 Собрание сочинений. В 4-х т. М.: Худож. лит., 1980.

Т. 4. Повести. 1980. 702 с.

Завершающий Собрание сочинений том составили пять повестей, написанных В. Тендряковым в 1968—1974 годах.

Т $\frac{70302\text{-}224}{028(01)\text{-}80}$ подписное 4702010200 Р2

Владимир Федорович Тендряков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 4

Редактор
Н. Иванова

Художественный редактор
И. Сальникова

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
М. Муромцева
Т. Максимова

ИБ № 1864

Сдано в набор 15.10.79. Подписано к печати 21.05.80. А09364. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн, журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 36,96 усл. печ. л. 38,533 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III6-10. Зак. № 406. Цена 2 р. 70 к.

Издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.